Доброе слово лучше богатства.

Публилий Сир

СИБИРСКОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ
К выходу на русском языке сочинений Шимона Токаржевского

Издательство «Кузбассвузиздат» только что опубликовало перевод восьми книг польского политического и общественного деятеля XIX века Шимона Токаржевского, в одном большом томе под общим названием «Сибирское лихолетье».[1]

«Сибирское лихолетье» в заглавии книги звучит не случайно: Шимон Токаржевский половину сознательной жизни провел на каторге и поселении именно в Сибири. В его воспоминаниях упомянуты Тобольск, Омск, Тара, Иркутск, Благовещенск, и множество других городов. Известен он и тем, что отбывал каторгу в Омске вместе с писателем Ф.М. Достоевским.

Творческая судьба Токаржевского была непростой. При жизни его книги не публиковались, их польский вариант увидел свет только в 1907-1918гг.

Выход его книг в Польше произвел сенсацию. Появилось множество газетных и журнальных откликов. Артур Оппман в «Иллюстрированном еженедельнике» писал:

> «К многочисленному собранию польских воспоминаний из эпохи после раздела Польши, добавилось ещё одно ценное с точки зрения богатства содержащихся в нём фактов и проникнутое искренностью и правдой, которая обращается к сердцу читателя и приковывает внимание к каждой странице книги от первой до последней. Воспоминания Шимона Токаржевского – это книга, написанная кровью и слезами, в которой мы чувствуем ужас тюремных камер, слышим звон и бряцание кандалов, и вся эта книга проникнута великой, неизбывной любовью к Отчизне, которая как луч никогда не гаснущей звезды освещала печальную долю изгнанников… В последнее время появилось несколько воспоминаний, интересных со всех точек зрения. Как уже сказано, “Семь лет каторги” заслуживает особого внимания. На то есть несколько причин. Во-первых, в ней описана очень мало известная эпоха, во-вторых, автор точно описывает то, чему был непосредственным свидетелем, что видел собственными глазами, и, в-третьих,

вся книга проникнута отпечатком совершенной правды. Трудно найти нужные слова, чтоб достаточно восхищённо пригласить читателя к ознакомлению с литературой такого типа».[2]

Но многие, конечно, о рукописях Токаржевского знали задолго до их публикации. Выдающийся польский историк Тадеуш Корзон в своих воспоминаниях писал, что держал в руках часть рукописей Токаржевского, которую тот подарил польским студентам Московского университета. Рукописи ходили по рукам, пока, наконец, не попали к Тадеушу Корзону. Некоторые современные польские авторы, к чему мы ещё вернёмся, выдвигают гипотезу, что с рукописями Токаржевского мог ознакомиться и Фёдор Достоевский, как раз в период, когда работал над «Записками из Мёртвого дома». Тадеуш Корзон сообщает:

«…Шимон Токаржевский подарил нам свои воспоминания о наказании палками в тюрьме в Модлине, а также об омской каторге. Воспоминания Токаржевского содержанием и формой имеют сходство с не менее известными воспоминаниями Сильвио Пеллико “Годы моего заключения”, но превышают их объективным, неизменно спокойным наблюдением и повествованием собственных впечатлений о пережитых муках, что объясняется удивительной силой духа»…[3]

В России книги Токаржевского полностью никогда не переводились. Не очень удачная попытка перевода двух глав наследия Токаржевского была предпринята семь десятилетий назад В.Б. Арендтом.[4] О качестве означенного перевода красноречиво свидетельствует тот факт, что эффектно поданная в книге «Каторжники» история о покушении в Омском остроге на жизнь Токаржевского вдруг превратилась в переложении В.Б. Арендта в покушение… на Ф.М. Достоевского. И эта легенда, пущенная в ход переводчиком, неверно понявшим текст Токаржевского, вошла в научный оборот и даже упоминается в первом томе академической «Летописи жизни и творчества Ф.М. Достоевского».[5]

Разумеется, неточность переводов более чем полувековой давности, неверно переданный смысл написанного Токаржевским ни коим образом не должны бросать тень на польского

автора. Токаржевский – честный мемуарист. В его книгах встречаем отдельные искажения, вызванные тем, что человеческая память иногда слаба на даты и имена, но в целом его воспоминания достоверны, причём живость изложения соседствует с глубоким «историзмом» повествования. Здислав Денбицкий ещё в начале XX века писал:

«…“Семь лет каторги” – воспоминания, которые лежат передо мной, описывают первые времена в тюрьмах и первую каторгу Шимона Токаржевского. Он рассказывает о своей собственной жизни и о своих товарищах, описывает тюрьмы и своё пребывание в Сибири. Может быть, именно потому, что те слова, которыми пользуется автор, так просты, коротки и сжаты, оттого, что нет в них погони за яркими фразами, производят они глубокое и незабываемое впечатление. По мере перелистывания страниц этой книжки, перед нами рисуется облик человека, который принадлежал череде тех героев свободы, каких наш народ выдвинул из своей среды целыми легионами».[6]

На обложке книги «Сибирское лихолетье» стоят две транскрипции одной фамилии: *Токаржевский*, и в скобках, уже без «р»: *Токажевский*. Да не удивится читатель этой разностью в написании. Фамилия его традиционно пишется в России как *Токаржевский*, что не совсем верно, но что поделаешь: авторитетные академические источники (такие, как тридцатитомное Полное собрание Сочинений Ф.М. Достоевского, уже упомянутая трёхтомная «Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского» и множество иных) используют именно такую неверную передачу, на что уже обращали внимание московский поэт Лиян Контер и виднейший славист Европы Елена Логиновская. Составители, готовившие к изданию сочинения Токаржевского, вынужденно придерживаются традиции, но сочли своим долгом предупредить читателя о явной несостыковке на титульном листе и в предисловии. Удивительно: загадки, которые ставит перед нами Токаржевский, начинаются уже с его фамилии!

Книги Токаржевского поражают колоритным литературным слогом, несмотря на трагичность сюжета, проникнутого, порой, лёгким юношеским юмором. Закованный в кандалы каторжанин –

экзальтированный юноша, выросший в высококультурной среде: он владеет французским, итальянским и немецким языками и, конечно же, латынью, – ведь он глубоко верующий католик, слушающий мессы на латыни. Польский автор Ян Бельчиковский был очарован искренностью повествования Шимона Токаржевского:

> «Особого внимания заслуживают воспоминания Шимона Токаржевского, которые называются “Семь лет каторги”. Помимо очарования, полного простоты и искренности повествования, эти воспоминания дают почву для многих размышлений, тем, для кого вопрос освобождения Отчизны не безразличен…
>
> Эти воспоминания – важный источник познания польской души, каждый, кто хочет понять сущность народа, обязан помнить эту книгу».[7]

Свою первую книгу «Семь лет каторги» Шимон Токаржевский начал писать ещё будучи молодым человеком, сразу после первого выхода на поселение, близ Омска. В дальнейшем, в последующих книгах, стиль несколько меняется. Их пишет уже зрелый муж, свободно и раскованно, мы обнаруживаем в них и его глубокое знакомство с музыкой, живописью и поэзией. Проходят годы, прежние восторги в адрес Наполеона I, некогда обещавшего свободу Польше, сменяются разочарованием в великом императоре. Но глубокая и непоколебимая вера в освобождение Польши, также и готовность посвятить всю свою жизнь этой главной идее, Токаржевский и вся горстка его сотоварищей по Сибири, которые проходят сквозными персонажами и по другим его книгам, остаются нерушимыми до конца дней. Об идеалах Токаржевского очень верно написал Евстахий Чекальский:

> «Воспоминания “Тернистый путь” написал щегиенщик Шимон Токаржевский. Они, несомненно, вносят интересные добавления не только в историю, но и в само движение щегиенщиков в Польше.
>
> До сих пор, насколько нам известно, никто об этом интересном вопросе не высказывался, никто подробно не освещал идеологию этого движения. Воспоминания Шимона Токаржевского

> поэтому тем более должны вызывать интерес: во-первых, как воспоминания Токаржевского, а затем как добавление к описанию деятельности щегиенщины…
>
> Воспоминания проникнуты горячим чувством патриотизма и подтверждают, что Шимон Токаржевский был одним из тех великих сердец, которые порождала Польша. Читайте эти воспоминания, читайте!»[8]

Книги Токаржевского представляют и огромный познавательный интерес, поскольку он исколесил всю Сибирь от Урала до Приамурского края и красочно, сочно, – местами идиллически, – описывает увиденные города, поразившую его незнакомую и изумительную природу, быт и нравы многих народов Сибири; не без иронии, но без всякого зла пишет он о повадках сибирского купечества, достоверно передаёт быт, нравы и страдания заключённых, а также подвиг многих польских женщин, которые последовали за своими мужьями, и пребывали в Сибири долгие годы, повторяя скорбный путь российских «декабристов». К. Раковский как-то написал, что книги Токаржевского должны быть в каждом польском доме. Мы, в свою очередь, считаем, что книги Токаржевского должны быть в каждом доме Сибири или, по крайней мере, в каждой сибирской библиотеке. Трудно не согласиться с Раковским, что к книгам Токаржевского надо относиться не только с глубоким уважением, но и почитанием:

> «Сразу же, с первой страницы, нами овладевает некое знакомое уже настроение, как светлое воспоминание юношеских лет, где о тех, что впоследствии шли тернистым путём, рассказано как бы приглушённым голосом. Это настроение сохраняется до последней страницы. Помимо исключительных своих литературных заслуг, воспоминания Токаржевского являются произведением, к которому надо подходить с иной мерой, чем просто мерой литературной ценности: с мерой почитания…
>
> Эта книжка должна находиться в каждом польском доме».[9]

Книги Токаржевского – своеобразная «энциклопедия» Сибири, её географии, флоры, фауны, нравственного климата,

уровня цивилизации. Этот каторжник, претерпевший в Сибири несколько десятилетий изгойства, тем не менее, восхищается ею и предсказывает этому богатейшему краю великое будущее.

Мы же, читатели, знакомясь с книгами Токаржевского, научаемся с огромным сочувствием и великим уважением относиться к Польше, стране во многих отношениях необыкновенной, которая в самые лихие годины верила, что её былое, единственное в своём роде, правление, с «выборными Королями», такое, «к которому – ни прибавить, ни убавить».

Оно давало право польскому шляхетству верить в свою избранность и абсолютную свободу, неподвластную никому, ради которой не жаль положить жизнь, что герои книг Токаржевского, да и он сам и совершили. Именно верность народным польским идеалам пронёс через всю свою жизнь Шимон Токаржевский, о чём читаем в отклике уже упомянутого Здислава Денбицкого:

> «…Книга, которая обогатила литературу о Сибири, это новый фрагмент воспоминаний Шимона Токаржевского “Без паспорта”.
>
> Токаржевский выдающийся мемуарист, прежде всего, потому что, без всяких литературных претензий, писал просто и искренне, и тем самым сумел заинтересовать и растрогать читателя…
>
> Жизнь Токаржевского была сплошной, или с коротким перерывом, горестной полосой. Но сильный духовный костяк помог ему всё стерпеть, и когда мы видим на титульном листе его воспоминаний портрет хрупкого юноши в каторжной одежде, трудно поверить, что это тот же самый человек, который через несколько десятков лет расскажет нам, непринуждённо, нередко с юмором, о пережитых страданиях, о познанных им печали и сомнениях. Велика была, видимо, сила, которая позволила ему пронести через всю жизнь идею, которая, как зажжённый светильник, не гасла перед вихрями, что могли так легко его погасить. И именно это придаёт скромным воспоминаниям изгнанника ценность и значение важного документа народной жизни…».[10]

Шимон Токаржевский большую часть жизни провёл на каторге и поселении в Сибири, за активную деятельность по

освобождению Польши. Как уже сказано, интерес к Токаржевскому и к его воспоминаниям не угасал и не угасает по сю пору, начиная с момента, когда его не стало. Остаётся удивляться, что восемь представленных в «Сибирском лихолетье» книг не были до сих пор переведены на русский язык, хотя прошло боле ста лет после его смерти. И это притом, что, как отмечал Евстахий Чекальский, редко в ком так явственно, как в Токаржевском, проявлялся «благородный и прекрасный облик идеалиста», а многие из описанных им сцен «поистине, достойны кисти Гойи»:

> «Прочитал все воспоминания и рассказы Шимона Токаржевского, какие уже появились в печати… Меня захватила необычность этих любопытных сцен и описаний природы, мне интересна была жизнь тех, что шли “тернистым путём” к цели своих убеждений и привязанностей… Токаржевский был именно одним из тех твёрдых духом, что стояли у древка знамени. Он стоял около него более 35 лет и, хотя единственным вознаграждением ему были только каторги и изгнания, он оставался верен словам своего Щегиенного евангелия… В сборнике этих рассказов Токаржевский правдиво описывает жизнь изгнанников, без тенденциозных преувеличений… Шимон Токаржевский, несомненно, был одной из самых любопытных фигур своего времени… Редко можно встретить такой благородный и прекрасный облик идеалиста… Среди рассказов этого тома весьма художественно написан “Суанго”. В рассказе “Через тайгу в Монголию”, помимо интересных обычаев туземцев, мы находим красочное описание природы, а некоторые сцены проникнуты сильнейшим драматическим напряжением. Интересен также рассказ: “Видение, или действительность”. Трудно даже представить, что в действительности могли происходить такие сцены, поистине достойные кисти Гойи…».[11]

Сегодня книги Шимона Токаржевского по-прежнему вызывают пристальный интерес, о чём свидетельствуют десятки польских статей, очерк экс-директора Омского музея Достоевского, Виктора Вайнермана, опубликованный нами в четвёртом выпуске альманаха «Голоса Сибири»[12], перевод фрагментов книг Токаржевского на английский язык, напечатанный на страницах «Сарматского обозрения» etc.

Интерес к Токаржевскому проявляется ныне и в Казахстане, и это неудивительно, поскольку он побывал в Усть-Каменогорске и в Семипалатинске, и посвятил им несколько глав своих воспоминаний. Кстати, на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в ноябре 1997г., польский президент Александр Квасневский в своей торжественной речи упомянул в ряду славных польских имён, связанных с этой дивной страной, также и Шимона Токаржевского, как человека, побывавшего в Казахстане и писавшего о нём.[13]

Ряд глав наследия Токаржевского обсуждается в дискуссионном ключе, они по-прежнему актуальны. В частности, это касается фигуры писателя Фёдора Михайловича Достоевскому, с которым Токаржевский был знаком, поскольку они вместе отбывали срок в омской каторге. Так, дебатируется вопрос, насколько ёмко и точно отражена в литературе суть описанных Токаржевским разногласий между поляками и Достоевским, которые далеко выходили за пределы личной приязни или неприязни? Ведь это ни много – ни мало – тот самый «польский вопрос», в который упиралось противостояние Запада и Востока, а, вернее, России и Запада ещё с начала XIX века.

Элизабет Блэйк из Мемфисского университета пишет:

> «…Отношение к полякам в “Записках из Мёртвого Дома” следует рассматривать в свете отношений Достоевского к современным реалиям польского вопроса, в историческом контексте. Например, А.Е. Врангель в своих мемуарах подчёркивает отношение Достоевского к многочисленной группе поляков в Семипалатинске как весьма неприязненное, хотя сам Врангель относится к ним с большой симпатией… Написание “Записок из Мёртвого Дома” в начале 60-х годов совпадает с горячими политическими дебатами вокруг польского вопроса: А.П. Милюков в воспоминаниях, касательно Достоевского и его описаний поляков-политических преступников, подчёркивает политические соображения, лидирующие у автора. И, наконец, исследование истории публикации “Записок из Мёртвого Дома” во “Времени” (журнал, в котором Достоевский был соредактором своего старшего брата) показало в дальнейшем, в какой мере первые изображения поляков на каторге связаны с политическим национальным конфликтом тех дней»[14].

Загадкам нет конца. Так в чём же, в чём корни взаимной неприязни юных шляхтичей, втянутых в политические смятения сороковых годов, в том числе и Токаржевского, и Достоевским, который попал в процесс Петрашевского, тем самым вызывая справедливое удивление поляков – ибо, по их описаниям, Достоевский неустанно подчёркивал «особость» дворянства и отличие его от всего прочего люда, чем и удивляет поляков.

Вполне очевидно, как и утверждает ряд авторов, которые в начале XXI века вдруг начали проявлять огромный интерес к личности Токаржевского и его литературному наследию, что поляки оказались правы: начитавшись в домашней библиотеке готических романов с одной стороны, и современной тому времени французской классики, Достоевский был объят типичным «соломенным огнём», который и привёл его в ряды петрашевцев.

Однако, как только он столкнулся с реальными последствиями этого своего пылкого увлечения, он вновь стал просто самим собой, потомком военного лекаря, который получил дворянство за службу в войсках, человеком, который потому так и подчёркивает своё дворянское происхождение, что оно благоприобретённое, а не врождённое, как у его собеседников, Токаржевского и прочих шляхтичей, насчитывающих четыреста или пятьсот лет своего шляхетства.

Артур Новачевский подчёркивает, что Шимон Токаржевский писал о Достоевском без всякой симпатии, поминая его вспыльчивый характер и его политические весьма неопределённые убеждения. Новачевский делает вывод, что шляхетство – в русском варианте дворянство – всю жизнь было «комплексом великого писателя». Тем более, что, как мы уже знаем, и это вновь подчёркивает Новачевский, оттого, что он не принадлежал к старинному дворянскому роду, а обрёл дворянство лишь благодаря заслугам отца, который был военным лекарем. «Поэтому, – пишет Новачевский, – наверное, сам Достоевский, который так ненавидел поляков, очевидно, опираясь на звучание

своей фамилии, тем не менее, пристально выискивал корни своего собственного происхождения в Литве».[15]

Удивительно, что Достоевский, по рассказам Токаржевского, всячески не только принижал поляков, их имена, их внешность, но даже утверждал, что если бы у него было хоть несколько капель польской крови, он просто бы не перенёс этого, и велел бы их выпустить.

Удивляться не приходится. Как пишет в статье «Присутствие имперской России в литературе» Разван Унгуреану («Сарматское Обозрение», апрель 2007г.), «среди апологетов Российской империи не было более красноречивого, чем Фёдор Достоевский. И случилось так, что он и Шимон Токаржевский, польский шляхтич, противник империи, одновременно отбывали каторгу как политические преступники в одной и той же сибирской крепости, и оба оставили о том свои воспоминания. Их мемуары очень сходны; большая часть фактов, написанных Токаржевским в 1857 году, всплывает у Достоевского в “Записках из Мёртвого Дома” (1862) в художественно обработанной форме. Оба автора описывают коменданта крепости, прибытие поляков, обитателей тюрьмы, также, как повседневный быт заключённых. Сопоставляя эти два описания, мы видим удивительный пример разных отношений к постколониальному времени России, поскольку Достоевский пишет для Российской Империи, тогда как Токаржевский говорит от имени польских инородцев, вернее, *других*».[16]

Ибо для Достоевского, как для любого русофила той поры, и это видно по описаниям Токаржевского, мир делится на Россию и всех остальных, то есть инородцев, то есть *других*. Поляки были теми *другими*, отсюда и отношение к ним, что нашло отражение и в ряде произведений великого писателя, где многие проходимцы и прохвосты оказываются поляками.

«Если проанализировать мемуары Токаржевского и Достоевского, – продолжает далее Унгуреану, – учитывая эту точку зрения, мы понимаем, что “Записки из Мёртвого Дома” защищают русский колониализм, что видно даже по портретам поляков-сотюремников, то есть *других*, и это кажется унизительным, а во многом даже неверным по приведённым фактам».[17]

Трудно не согласиться с автором этой статьи, если обратиться к описанию поляков-политических заключённых, в том числе Токаржевского, которым Достоевский приписывает, порою, много отталкивающих свойств.

Унгуреану считает, что «Достоевский пишет о них снисходительно, как бы свысока, приписывая им высокомерное отношение и ненависть к русским» (но для книг Токаржевского, заметим, обобщения подобного рода не свойственны, читатель не почувствует враждебного отношения поляков к каким-либо другим народам, но ему ненавистно хамство и нецивилизованность, жульничество, беспробудное пьянство, с которыми постоянно сталкивался в Сибири не только в крепости, но и будучи на поселении). Автор статьи для примера приводит выдержку из описания Достоевского. Из неё мы читаем, что поляки якобы выказывают особую утончённую презрительную вежливость к заключённым, они необщительны с ними, заключёнными, и никак не скрывают своё к ним отвращение.[18]

Возможно, отчасти это и правда. Поляки сторонились убийц и бандитов, и Достоевский даже упрекает товарища Токаржевского, несчастного Александра Мирецкого, к которому Ф.М. как будто относится неплохо, что тот по-французски твердит: «Я ненавижу этих бандитов!».

И… вместе с тем, Достоевский настойчиво утверждает, что ведёт свой род от Литвы (то есть, по сути, от той же шляхты, ибо в то время Королевство Польское и Литва, хотя были едины, но считались как бы разными частями одного государства). Чем не характеристика парадоксальности натуры великого писателя, подмеченной Токаржевским?

Истоками противоречивости характера Достоевского как раз и интересуются Токаржевский и поляки, которые отбывали с ним каторгу в Омске. Они просто не принимают его взрывную манеру вести политические дискуссии, и отчасти пытаются объяснить это его болезнью. Кстати, Токаржевский утверждал, что Достоевского лечили меркурием (ртутью), и тогда это свидетельствовало бы, что он был болен наследственным сифилисом? Наследственным, потому что тогда, когда встретились Токаржевский и Достоевский, тот был ещё слишком молод,

чтобы пройти весь опыт «Записок из подполья», где мог эту болезнь захватить в результате похождений, описанных, ну, хотя бы в «Зимних заметках о летних впечатлениях».[19]

Как бы в продолжение этого свидетельства Токаржевского «Сарматское обозрение» делает вывод, что интерес Достоевского к криминальным сюжетам подкреплён «также его личным опытом, что позволило ему ввести в его романы столько интересных типов проституток».[20]

Далее в статье из этого же номера подчёркивается исчезновение нескольких страниц из воспоминаний Токаржевского, вверенных им ксёндзу Рогожинскому из Вавельского кафедрального собора в Кракове: «После его смерти (Рогожинского, – *сост.*) обнаружилось, что 15 страниц рукописей исчезли. Издатели не знают, какие именно страницы отсутствуют. Касались ли они Достоевского и его жизни в Сибири? Было ли их исчезновение организовано агентами царя, или это – просто случайность?».[21]

В 2005г. польский автор Иво Циприан Погоновский вновь возвращается к упомянутым выше исчезнувшим пятнадцати страницам рукописи воспоминаний Токаржевского. Автор считает, что это могли быть негативные описания Достоевского со времён его каторги. Он также считает, что, возможно, исчезновение было организовано царскими агентами, и добавляет: «Из содержания воспоминаний Токаржевского следует, что Достоевский был лечён ртутью, что означало бы, будто великий писатель действительно болел сифилисом». Буквально в следующем абзаце своей статьи Погоновский тоже пишет, что многие описания криминальных историй в его романах опираются на собственный опыт и зацикленность, весьма возможно – на педофилии. «Смертоубийственные и трагические сцены переживаний и самоубийств изнасилованных девочек не раз звучат в романах Достоевского».[22]

И тут Погоновский ставит вопрос, к которому мы ещё вернёмся, а именно: «Во всяком случае, описание каторги в “Записках из Мёртвого Дома” можно считать переломным для творчества Достоевского, и загадкой, достойной глубокого изучения историками литературы на основе польских и российских

архивов, поскольку только таким образом можно найти ответ на вопрос, “выбился” ли Достоевский на путь великого писателя благодаря плагиату честно написанных воспоминаний Токаржевского».[23]

Эта проблема глубоко интересует Погоновского. В своей содержательной статье он приводит ряд доводов, которые подтолкнули его к этой мысли. Итак:

> «На вопрос, возможно ли, чтобы Достоевский с помощью плагиата воспоминаний Токаржевского был объявлен великим писателем, могла бы, конечно, ответить докторская диссертация на основе польских и российских архивов. Федор Достоевский (1821-1881) и Шимон Токаржевский (1821-1890) встретились как каторжники в Сибири и каждый из них описал свои наблюдения. Токаржевский закончил свои в 1857г., а в 1862-м вышла в свет книжка Достоевского “Записки из Мёртвого Дома”, в которой фигурируют те же личности, и описаны примерно те же обстоятельства, весьма сходно с тем, как это сделал Токаржевский, однако у Достоевского отсутствует их интерпретация.
>
> В трёхквартальнике “Сарматское Обозрение” в апреле 2005г. приводится первый английский перевод воспоминаний Токаржевского, одну копию которых автор оставил студентам-полякам в Москве (с этой копией мог быть знаком Достоевский), а вторую копию автор передал госпоже Терезе Булгак и эта копия вернулась к автору в 1882г. Эти воспоминания были изданы под названием “Семь лет каторги” (второе издание: Гебетнер и Вольфф, Варшава, 1918). На английский язык переведены страницы 137-173 и 230-231 под названием “В сибирских тюрьмах. 1846-1857”.
>
> Хотя уже в 1846 году появились первые романы Достоевского “Бедные люди”, “Двойник”, автор их стал по-настоящему известен как великий писатель только после издания “Записок из Мёртвого Дома”, причём эта книга считается переломной в творчестве Достоевского и в развитии его литературного таланта. Возникают вопросы. Представил ли Достоевский как свои повествования Токаржевского? Это загадка, подлежащая объяснению. Во всяком случае, очерёдность издания во времени представляет такую возможность.
>
> Выяснение вопроса, была ли, и в какой мере, книжка “Семь лет каторги” основой для “Записок из Мёртвого Дома” могло бы иметь большое значение в истории мировой литературы…

Стиль и организация воспоминаний Токаржевского весьма сходны с “Записками из Мёртвого Дома” и, очевидно, были они написаны раньше, чем книга Достоевского, описывающая те самые обстоятельства, которые Токаржевский в содержании своих воспоминаний повторяет по нескольку раз в тексте, написанном в 1857-м году. Это вопрос, который требует особого изучения.

Если Достоевский читал и использовал рукописи воспоминаний Токаржевского, поляка преследуемого, и двукратно осуждённого на каторгу, то он вполне мог проигнорировать авторские права Токаржевского, тем более, что Достоевский поляков ненавидел и даже говорил, что если в нём имеется капля польской крови, то он хотел бы от неё избавиться. Было бы удивительной игрой случая, если бы оба автора без заимствования воспоминаний друг у друга, описали бы так необыкновенно сходно этот период и людей, которые участвовали в описанных обстоятельствах…

Достоевский утверждал, что российская литература всегда была на несравненно более высоком уровне, чем все другие существующие в мире. Его российский шовинизм был грубым и агрессивным, так что поляки избегали разговоров с ним и подозревали его в болезненной мании. И Достоевский действительно был очень нервным, упрямым и болезненным человеком. Учитывая то, что он рассказывал полякам в тюрьме из прочитанных им описаний французской революции и творчества этого периода, следовало, что он увлёкся этой идеей, в результате чего попал в опасное положение, после чего от этих идей отказался и был готов любой ценой выйти из создавшегося положения.

Поляки избегали с ним говорить на эту тему. Достоевский служил после увольнения как солдат в Семипалатинске и во время Крымской войны написал поэму в честь царя Николая I, как некоего божества, стоящего наравне с богами Олимпа. Токаржевский считает, что Достоевский надеялся получить увольнение с солдатской службы и, возможно, денежное вознаграждение, поскольку был человеком слабым, со “скользким” характером. Похоже было на то, что Достоевский был арестован и осуждён по мотивам, не казавшимся осуждённым полякам, политическим преступникам, достойными уважения».[24]

Токаржевский и поляки, сокаторжники Достоевского, также удивляются чрезвычайно тому, как мог он со столь выраженным

шовинизмом претендовать на участие в борьбе народа от царского угнетения. Опираясь на воспоминания Токаржевского, современные польские авторы делают акцент на то, что в пылу дискуссий на омской каторге Достоевский раскрывает полякам свои мечты о захвате Константинополя и, более того, захвате Россией всего славянского мира, что не могло, конечно, вызвать восторгов у Токаржевского. Фёдор Михайлович потому и взбудоражен и возбуждён в дискуссиях с поляками, что не может допустить, как это они, славяне, отшатнулись от России и представляют собой как бы форпост Запада на границах России, и «не понимают», что Галиция, Белоруссия, Украина, Польша, Волынь якобы являлись «исконно русскими территориями» и поэтому та часть Польши, которая досталась России при очередном разделе этой несчастной страны, как бы естественно примкнула к своей первозданной родине, а отнюдь не является оккупированной ею.

В описаниях Токаржевского фигурирует достаточно много интересных личностей, встречаются и те, кто был хорошо известен в научном мире. Загадочна фигура профессора Жоховского, которого юный Токаржевский буквально боготворит, и в момент смятения, когда чуть было не покончил с собой, бросается к нему за советом и помощью, и получает его благословение, что на самом деле помогло ему пережить критический момент.

Об этом профессоре Жоховском Достоевский поминает как о богомольном чудаке, который, может быть, что-либо и знал в математике, которую он преподавал до каторги, но вряд ли знал что-нибудь ещё. И, кстати, – парадокс! – как мог Фёдор Михайлович Достоевский, который, по утверждению многих исследователей, именно на каторге «обрёл себя», то есть «себя в вере», как мог он удивляться «чудаковатости» Жоховского, который всё время молится. Казалось бы, именно это не должно было его удивлять.

В «Сарматском Обозрении» за апрель 2007г. Разван Унгуреану в статье «Присутствие имперской России в литературе» с большой симпатией пишет о профессоре Жоховском и подчёркивает, что «Токаржевский и Достоевский совершенно по-разному

описывают маленький эпизод прибытия Жоховского в Омск и необоснованное наказание его розгами по указу плац-майора, так называемого Васьки. В описании Токаржевского Жоховский почувствовал себя оскорблённым, когда Васька назвал его бродягой, и объяснил плац-майору, что он политический заключённый. Васька оскорбил его и приказал наказать его 300 ударами розог. В то время как Токаржевский сочувствует унижению старого и достойного человека, Достоевский подчёркивает, как смешны поляки, утверждая, что профессор невежественный человек, который всё путает и даже уменьшает количество ударов розгами до ста. Он всячески выпячивает, что Жоховский плохо понимал по-русски, однако же профессор ответил на оскорбление: “Я не бандит, я политический преступник”, что является отнюдь не следствием непонимания языка или вообще путаности мышления, а естественным протестом против Васькиного унизительного замечания; это дезавуирует утверждённое Достоевским умаление не только Жоховского, но и поляков, которые якобы не могут понять то, что им говорят… И далее Достоевский уменьшает число ударов розгами на 200, а потом ещё и придумывает дальнейшую сцену раскаяния Васьки в том, что он унизил профессора».[25]

В воспоминаниях Токаржевского мы читаем о большой дружбе поляков с лезгинами, кабардинцами, а также с единственным на каторге евреем, бывшим ювелиром Бумштейном (впрочем, фамилии трактуются по-разному, о чём *см. предисловие к «Сибирскому лихолетью»*), и восхищение поляков кавказскими горцами, возможно, было вызвано тем, что в результате длительного периода «покорения» Кавказа российской империей горцы остались всё такими же свободолюбивыми и внутренне непокорёнными, какими были и до включения их в империю.

Токаржевский поминает о том, что жаль, нет писателя, который бы зафиксировал интереснейший эпос, который вечерами лезгины и кабардинцы рассказывают и поют своим сокамерникам. Эти рассказы настолько выразительны, что они покоряют даже слушателей, которые не знают языка горцев, и восполняют пробелы в языковом непонимании.

Причём Токаржевский поминает о том, что есть такой писатель среди заключённых, и называет Достоевского, и сожалеет, что тот этими рассказами не интересуется.

Воспоминания Токаржевского ставят перед нами ряд загадок. Во-первых, как верно подмечает автор «Сарматского Обозрения», некоторые исследователи утверждают: «на каторге произошло полное перерождение Достоевского, – пришёл на каторгу “революционером”, а переродился в “реакционера”, то есть обрёл веру в Бога и, более того, веру в державность империи».[26]

А Токаржевский утверждает обратное. Он полагает, что Достоевский после того, как отгорел «соломенный огонь», «уже пришёл на каторгу пламенным патриотом», который все остальные народы считал недостойными свободы, а что касается империи, то, как мы знаем из воспоминаний Токаржевского, Достоевский на каторге читал полякам вслух оду, которую написал на завоевание России Константинополя, – то есть он мечтал о русско-турецкой войне, и был уверен в победе России. Поляки были более реалистичны, и спросили, не написал ли он оду на возвращение после поражения, после чего последовала громкая политическая дискуссия, закончившаяся скандалом, так что заключённые передавали друг другу, что «политические дерутся».

Но «политическим» драться не надо было. Они даже не ненавидели друг друга. И думается, когда говорят, что Достоевский ненавидел поляков, это не вполне верно. Они просто были людьми двух разных миров.

В этом отношении весьма интересна статья Яцека Углика (декабрь 2004г.), которая называется «Поляки у Достоевского». Он отмечает, что поляки и Достоевский писали, ставя перед собой разные цели. Токаржевский пытался объяснить, почему такими несломленными оказывались каторжане и поселенцы-поляки в Сибири, их нельзя было сломить, поскольку они неукоснительно придерживались раз навсегда принятых убеждений: освобождение Польши от российской оккупации. Достоевский же писал свои воспоминания, всячески пытаясь завуалировать уж слишком одиозные моменты омской каторги, поскольку он – в

глубине души – апологет и защитник имперской России. Я. Углик пишет: «Там, где в творчестве Токаржевского на первый план выдвигается народность, у Достоевского проявляется шовинизм. Но отчего у российского писателя столько брезгливости к полякам? Это вопрос сложный, ведь ни один из русских классиков, кроме Достоевского, не позволил себе смеяться над людьми, поставленными в маргинальные условия. Стоит попытаться найти более или менее убедительный ответ на этот вопрос, опираясь на три причины: политическую, этическую и религиозную…».[27]

Мы привели некоторые свидетельства вспышки интереса к биографии Токаржевского и его литературному наследию, которая наблюдается в начале XXI века одновременно в Польше, Америке и Сибири. В США Токаржевский, наконец, переводится на английский, в Сибири, впервые в таком объеме, – на русский. Исследователи заняты детальным, обстоятельным сравниваем текстов двух «потерпевших» в сороковые годы: россиянина Достоевского и поляка Токаржевского, о чём более подробно – в предисловии к «Сибирскому лихолетью».

Мы рады, что российский читатель познакомится, наконец, с захватывающими и прекрасно написанными книгами человека судьбы необыкновенной – Шимона Токаржевского.

Составители

Мирослава Метляева
НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФАБУЛЕ В КИНО И ЛИТЕРАТУРЕ, О МИФАХ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(Впечатления от книги В. Кинг «Отшельница»)

Каковы особенности взаимоотношений кинематографа и литературы – книги и кино? Как одно влияет на другое, как одни и те же процессы сначала проявляются в одном, а потом – в другом? В сущности, у всех процессов одни законы, просто где-то они более заметны, а где-то – чуть менее.

В книге «ОТ БАЛАГАНА ДО ТАРКОВСКОГО» Николая Хренова автор рассматривает кино «в общем процессе визуализации

культуры XX века». Он проводит линию преемственности от сакральных ритуалов древности, от ярмарочного балагана, существующего «в границах мифологического времени» и являвшегося порождением «ментальности народа», и циркового зрелища – к кинематографу, телевидению и, не останавливаясь, – к видео и интернету. Сюжетность и зрелищность – вот что обычно противопоставляется, когда речь идёт о кино и литературе и чаще всего это единство и борьба противоположностей выявляется в экранизации.

С киноэкранизацией всегда что-нибудь случалось. Её существование всегда было осложнено сотней невыполнимых условий. Не случайно многие литературные знаменитости к экранизации своих произведений относились весьма прохладно: Хемингуэй и Маркес вообще запретили экранизировать свои вещи, то же самое сделал с «Трёхгрошевой оперой» Брехт. Снял своё имя из титров «Солдатами не рождаются» Симонов. Из новейших событий у всех на памяти скандал с экранизацией «В августе сорок четвёртого» Богомолова… По сути дела, происходит столкновение литературы и экрана, и главной становится проблема – преодоление литературы. Если удаётся справиться с подтекстом, может получиться кинофильм, если не удается – получается что-то неинтересное и плоское.

Но, так или иначе, искусство кино плавно перешло в литературу. То, что не показывают на экране, можно прочитать в книжке и наоборот.

Самые изощренные умы XX века (Теодор Адорно, к примеру) констатируют: в современном мире есть кошмарные явления, их даже гораздо больше, чем ранее, но нет СОБЫТИЯ. Потому что событие заключает в себе какой-то смысл, а мы имеем перед собой ныне только нагромождение кошмаров. Вот почему фабула исчезла в литературе, претендующей на то, чтобы хоть чем-то отличаться от бульварной.

Возвращение к фабуле у некоторых авторов – от кино, от сериалов, – это попытка пробиться к массовому читателю через фабулу со своеобразным зрелищным подтекстом, с какой-то идеей, чувством, мыслью.

В этом смысле интересно проследить за сюжетными хитросплетениями и авторским отношением к ним представительницы

литературы зарубежья на русском языке новых времен – Виктории Кинг, проживающей в США и издавшей в 2006 году роман «Отшельница» (изд-во «Кузбассвузиздат»).

На первый взгляд автор очень близка в своей творческой манере к тому особому виду литературы и кино, который ныне очень привлекателен для огромной массы уставшего от повседневной жизни обывателя. Однако повторюсь, на первый взгляд.

В разветвленной фабуле книги две линии судьбы двух женщин имеют основополагающее значение: обе принадлежат к одному поколению, полностью охватившему период брежневского безвременья и на которое пришлись последние годы сталинского периода и хрущёвской оттепели, и которое выброшено в условия становления рыночной экономики на постсоветском пространстве.

Одна из героинь – Даша, выбирает путь отшельницы и в буквальном, и переносном смысле хоронит себя в тайге.

Другая – Лидия, становится бизнес-вумен и довольно успешно вписывается в современную действительность. Масса персонажей вращается вокруг этих женщин, составляя пёструю картину современности. Но есть ещё два «персонажа», которые, как античный хор, определяют векторы происходящего: это книга – «Легенды и мифы древней Греции», и ясно ощущаемый собирательный образ мира кино, телесериала. Книга, по сюжету, куплена на барахолке Лидией; и меж строк сказаний о древнегреческих богах и героях написана биография Дашиной семьи. По мере продвижения действия биографии наших героинь, так или иначе, пересекаются в реальном бытии персонажей, знакомых с ними, но сами Дарья и Лидия никогда не встретятся на страницах романа. Захватывающий ритм книги поддерживается этими двумя как бы взаимоисключающими друг друга силами: книгой и явно ощущаемым миром сериала, его видеорядом.

В зависимости от того, что доминирует в жизни персонажа, то и определяет его характер и судьбу. В биографии Даши огромна роль книги, символика которой, связанная с мифологией, накладывается на всё, что в той или иной степени соприкасается с ней.

«Вначале существовал лишь вечный, безграничный тёмный Хаос. В нём заключался источник жизни. Всё возникло из безграничного Хаоса – весь мир и бессмертные боги», – гласят мифы.

Для Даши Зевс и Гера – её отец и мать, люди артистической среды, всю жизнь прожившие в ленинградской коммуналке – «своеобразном Олимпе», среди 20 других семей, сконцентрировавших в себе суть советского бытия.

У Лидии, читающей меж строк «Мифов» жизнеописание семьи Белоцерковских, совсем другое представление о себе и своём окружении: «Если очень хорошо подумать, то в принципе у каждого из нас есть свой Олимп, со всеми его персонажами. К примеру, у меня ведь тоже есть Зевс – мой министр и его жена».

И далее она рассуждает:

«А если распространить идею Олимпа на всю страну – получится этакая большая матрёшка из небесных обитателей. Словом, – “Олимпийская”. У каждого есть свой сонм богов и богинь, от которых никуда не деться…

…Короче говоря, прихожу к выводу, что все мы человеки-боги, боги-человеки, и у нас у каждого есть миссия и своя Одиссея. По-моему, греческие божества мытарились по жизни, со всеми её неприятностями и счастливыми развязками, как самые простые люди. Внимательно прочитаешь о Зевсе – не такой уж он праведный. Имел не одну жену, кучу детей, и всех пристраивал, помогал, кого-то наказывал, всё как у людей и во все времена». Вот такое приземлённое понимание мифологии.

И если жизнь Даши сродни античной трагедии, и этапы её биографии поданы по всем эстетическим канонам послевоенного кино, с его подробным, документальным высвечиванием быта, нравов, поведения героев, с жёсткими крупными планами, то жизнь Лидии – яркая демонстрация очень похожего на действительность бытия из сериалов со всеми приметами современности: салонами, международными бизнес-встречами, бандитскими разборками, кровавыми сценами, закрученной любовной интригой и т.д.

Причём биографии наших героинь ни в коем случае не противопоставляются. В чём-то проскальзывает их общность –

некая надуманность, придуманность их жизней ими же самими в условиях той среды, которая взрастила и подпитывает их.

В каждой из них выбита истинная индивидуальность, и проявляют они себя только в коллективном действии. Каждый персонаж книги, – не только эти две женщины, – дополнение, деталь единого организма – коммуналки. Отсюда и у Даши, и у Лидии ощущение гармонии и счастья, цельности и взаимосвязи. С развалом этого коллективного целого каждая его частица не смогла обрести полной индивидуальности и устремилась к реанимированию коллективной целостности, всё равно к какой.

Отсюда личные трагедии. Ведь даже самостоятельная, энергичная Лидия своё благополучие нашла в качестве частицы мистической империи новоявленных зевсов с самодовольным и самодостаточным чиновничьим советским прошлым.

Частицы-детали мечутся на уровне подсознательного в поисках недостающих узлов – вроде пазлов – для возвращения в свой естественный облик. Отсюда способность преобразования из грязи в князи и наоборот. Но это уже деформированные детали. Вся книга – реконструирование мозаичного полотна. Отсюда ощущение клипового полиэкрана, создающего иллюзию единства – единой картины. Мелькание кадров – описание событий современности очень напоминает киномонтаж. Сам текст, без особых ремарок близок к сценарной разработке. Цепь эпизодов заменяет событие, заменяет движение духа, души. Ясно проглядывает неспособность героев абстрагироваться от бытия, полное их подчинение этому бытию в зависимости от характеров, воспитания и, скажем так, происхождения.

Но над всеми, как Дамоклов меч, возвышается ностальгическая коммуналка, она же Олимп, где у каждого своя ячейка, а все вместе – некая устойчивая архитектура, удерживаемая в памяти каждой частицей былого целого.

Герои романа открыто ощущают себя в кинокадре:

«Людмила Аркадьевна положила трубку и откинулась в большом кожаном кресле. Дни молодости затрепетали, как птичья стая, взволновали зыбь забытых лет. “Боже ты мой, тот

день был порогом, переступив который, она сама избрала свою судьбу. Как же там было? С чего началось? Да, с моего прихода к Даше…” И то утро начало раскручиваться в памяти, как в кино… В том фильме юности одну героиню звали Дашей, а другую – Люськой, в то время никто её не величал Людмилой Аркадьевной…

Итак, кадр первый. Кухня питерской коммунальной квартиры… и…»

В каждом человеке живёт представление о собственной значимости, но в зависимости от состояния духа, души. А когда происходят деформации, разрушение этой составляющей человеческой личности, когда человек становится бессильным в общей погоне за материальным благосостоянием, как дикарь перед лицом природы, он, как дикарь, может не осознавать этого. Быть рабом и считать себя господином, вот что, в конечном итоге, присуще и Лидии, и Алексею, да и многим другим персонажам. Здесь-то и кроется главная причина существования мифологического мышления в наши дни… Повсеместно происходит героизация посредственности самими носителями этой посредственности. И это очень точно подмечено автором.

Крупным планом описывая действия своих основных персонажей, автор (а он как бы даёт им полную свободу, отпуская на волю случая, и не давит на них, что является характерной чертой современного кинематографа) описывает их метания и попытки представить из себя что-то. И перед нами возникает изменение перспективы – достаточным оказывается смещение ценностных норм, и малые события «выдвигаются» вперёд и обретают монументальные масштабы, происходит мельчание богов, создаётся своя мифология, мифология самооправдания и самоутверждение любым путём. И не чувства и стремления, а некие векторы любви, благополучия, свободы.

Вспомним романы Бальзака – произведения, в которых столь тонко подмечены и весьма чётко обрисованы контуры общества первичного накопления капитала с его разрушительным воздействием на человеческую личность.

Однако бальзаковские «утраченные иллюзии» с его растиньяками и люсьенами де рюбампре – это не про нас. Не в том

смысле, что подобные измены самому себе у нас невозможны. Напротив, они на каждом шагу, дело привычное. И об этом книга «Отшельница». В этом смысле его истории об эволюции бывших почти идеальных героев в грязных подонков не устарели. Под сомнением другое: бальзаковские истории производят грустное впечатление. Мы скорбим о судьбе Растиньяка и Евгении Гранде. Они достойны лучшей участи. Но кто ныне опечалится, слушая историю о сказочном обогащении «нового русского»? Единственная забота – чтобы его не уничтожили.

Бальзаковские герои имели нечто, что потеряли. А что потеряли наши «новые»? Коммуналку?

Но не упрощаем ли мы старика Бальзака? Как и всю классическую традицию в литературе? Фабула, конечно, связана с расплатой.

Но дело не только в наказании, немедленном возмездии. Не менее важный признак фабульности мира заключается ещё и в том, что не мы играем эту игру, а нами играют. Кто играет – Бог, судьба или, по Марксу, наши собственные действия, отчуждённые от нас и выступающие по отношению к нам в форме естественноисторической необходимости, – это уже второй вопрос. Первый заключается в том, есть ли в реальности объективные силы, что играют с нами именно тогда, когда мы убеждены, что играем сами?

Притом, что показательно, герои романа, как и герои кино, ввергают себя в экстремальную ситуацию случайно. Они не способны совладать с безотчётными импульсами, поскольку вообще не привыкли хоть как-то соотносить переживание текущего момента с представлениями о дальнейшей судьбе. И весь непричёсанный натурализм визуального ряда как бы подтверждает, что человек здесь не хозяин своего бытия, а просто его часть, продолжение его беспросветности.

Оживают мемуары человека, не видящего ничего далее своего частного мирка. Никакого ощущения включённости в историческую эпоху у героя нет, как нет и потребности направить свою жизнь к каким-либо целям.

Биография равна цепочке жанровых эпизодов, предельно типических и обобщённых.

Обычный, на первый взгляд, человек при более пристальном взгляде оказывается ещё более заурядным. Такие герои как бы отстаивают право человека на обыкновенность, а кино – и под его определённым воздействием и литература – право делать эту обыкновенность основным предметом некритического отображения. Авторы дорожат не уникальностью личности, а встроенностью индивида в поток суровой, благосклонной или унылой, но всегда бесконечной действительности. В таком кинематографе, в такой литературе непроизвольно доминирует любовь к жизни, понятой как неизбежность.

Книга «Отшельница» завершается вознаграждением Лидии счастливым финалом. И все же остаётся чувство тоскливой неудовлетворенности, что явно выпадает из упрощенной схемы развлекательной литературы. Отличие «Отшельницы» в том, что даже «экономным» языком автор обращается к интеллекту читателя, а не только к его ощущениям, провоцирует на анализ происходящего, на некую духовную озабоченность, на потребность к осознанию поучительных уроков пережитого опыта.

Ксения Тилло
ОСКОЛКИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
На выход книги Тамары Катаевой «Анти-Ахматова» (Издательство «ЕвроИНФО», 2007)[1]

Серьёзный обстоятельный труд, целью которого было бы унизительно считать «разоблачение» Анны Горенко, всю жизнь сотворявшей из себя царственную Ахматову, – как поэта и человека.

По крайней мере, впечатление, что автор ставил перед собой куда более серьёзную задачу. А, может, и не ставил, но получилось вот что: из хора отзвучавших в прошлом веке голосов выстраивается гул канувшей в вечность эпохи.

Не минувшей, а именно канувшей в вечность, поскольку унесла с собой сонм понятий, оттенков отношений, навыков приличия, а также тех, что необходимы просто, чтобы выжить,

а, стало быть, добиться известности и апробации, то есть «приличной жизненной прозы»: пайков, санаториев, наград…

Даже если за это приходилось платить предательством друзей.

Где-то смолчать, а где-то – поставить свою подпись.

Эти реалии, начиная с двадцатых годов XX века, в клочья разодрали серебряные покровы конца века XIX и первых двадцати лет следующего.

Думается, книга Тамары Катаевой – прежде всего о Времени. О спрессованности двадцатого века, который родившуюся в 1889 году Ахматову ошеломил быстротой смены настроений и ситуаций.

Прав автор! На фоне российской поэзии памятник Ахматовой обязан стоять (хотя бы потому, что она столько к тому приложила стараний!), – но не выситься. Он должен стоять, этот памятник, хотя бы как дань чудесам внутренней энергии и целеустремлённости к известности и славе.

Книга «Анти-Ахматова» – жестокая книга.

«Как наше слово отзовётся» – не расхожая фраза. Из всех собранных Катаевой высказываний, – конечно, при её умном, остром, бьющем в цель комментарии, – вырисовывается неумолимый «железный век», в котором со стойкостью необыкновенной пытается сохранить Ахматова вокруг себя затухающую ауру серебряного века, – да что вокруг себя, втянуть в неё, в эту ауру, множество самых разных людей. И – как ни странно, это ей удалось.

Ахматова – нет нужды обсуждать её поэтические заслуги, это не тема данной статьи, – Ахматова прежде всего – фигура трагическая. И одной из самых трагических особенностей её жизни были чудовищные ножницы между её поэтическим ресурсом и сонмом благ, что она от них ожидала, главное из коих – *слава*.

Можно считать, что Ахматова – жертва спрессованности «железного» двадцатого века.

В конце девятнадцатого в Одессе родилась красивая девочка, которую мама посылает за арбузами, а вовсе не на великосветские детские утренники.

В Европе, в том числе и в России, дух викторианского «комильфо» пронизывает действия и чувства людей. В первые годы

двадцатого – этот «хороший тон» начинает стеснять молодёжь. Стоит ли удивляться? Разве в середине двадцатого века не возмущали спокойствие благонадёжных горожан странные хиппи?

Одесская девочка, Аня Горенко – удивительно зоркое создание. Ей посчастливилось попасть в Царское село, насмотреться на кавалергардов и на прекрасных всадниц. Не отсюда ли в её ранней поэтике «хлыстик и перчатки» – последние «оборочки» нарядного века девятнадцатого…

В юной фантазии красивой девочки вспыхивает мысль – как стать «знатной дамой»? Тем более – один из Великих Князей засматривается на «беленькие ножки» девочки, игравшей у воды…

И в шальной подростковой головке возникает контур будущей королевы (ведь говорил же ей маленький сын Лёва, «одёргивая»: мама, не королевствуй!), что-то ведь поминалось о каком-то Ахмете в её роду, так почему бы ему не стать последним крымским князем, а ей – потомицей Чингизидов и уж, конечно, – не Горенко, а Ахматовой!

Но время начинается спрессовываться. Уже недостаточно изумительно красивого лица, высокой стройной постати и царственной осанки, которую она в себе воспитывает, – чтобы стать «не как все», чтобы прослыть уникальной, надо влиться в поток бурлящей литературной жизни и притом быть чуть экстравагантнее других.

Это – она умеет. Эксцентричная чёлка, искусство носить яркие шали, крест на груди, написана и издана книга стихов «Чётки»…

Она слывёт богомолкой, «монашкой», и притом умело даёт понять, что «реки текут подо льдом». И что все мы, поэты, – особые: «…все мы блудницы…».

Надо было соответствовать. И она соответствовала.

Жизнь была похожа на плохо организованный маскарад. На сумбурную кукольную арлекинаду. Как в ней разобраться?

На слуху блоковская «Таинственная незнакомка», в моде чёрные шляпы с вуалью и – «в перстнях узкая рука»…

Значит: блуд и раскаяние. Разве же это не тяжкий крест? И она превращается в «музу плача», она «несёт свой крест», над

чем посмела проиронизировать только злоязычная умница Фаина Раневская, когда Ахматова уже в весьма зрелые годы собирается на некое придуманное ею свидание в Ленинград, «чтобы нести свой тяжкий крест», и Раневская удивляется: «так несите его здесь».

Не удивляйтесь, читатель, такое было время. А как же иначе, если у Блока – у самого Блока – впереди головорезов, устремлённых расстреливать и грабить, шествует Христос «в белом венчике из роз»…

Такая вот была эпоха…

Но Блок не мог смириться. Он умер. Просто от желания умереть.

А Ахматова, уже известная совокупностью стихов о блуде, славе, кресте, по ярким шалям, чёлке, легенде о Чингизидах, Ахматова тоже не смирилась. Но – по другому.

Она – выдержала. И приспособилась.

Сдружилась с людьми у власти. Она сближается с Николаем Пуниным, комиссаром от искусства, и соответственно вспененной эпохе, въезжает вместе с сыном Лёвой (будущим известнейшим востоковедом) в пунинский дом, невзирая на живущую с ним семью.

До того Пунин написал донос на мужа Ахматовой, поэта Николая Гумилева, и тот погиб.

Вскоре он напишет донос на её сына, но его самого «заметут» вместе со Львом Гумилёвым. Правда, ненадолго.

В следующий же раз по пунинскому письму пострадает только юный Гумилёв. Он долго будет мыкать горькие годы в лагерях.

Но, бывает, Немезида гневается и на комиссаров. Следующий в списке поклонников Ахматовой – заметим, не поэтессы, а просто эффектной женщины Ахматовой, которая к тому же пишет стихи – это А. Лурье, тоже комиссар. Но этот – по части музыки.

Но как избавиться от Пунина? Поступает некое письмо, инспирированное Ахматовой, – что Пунин умалишённый, и он попадает в психиатрическую лечебницу. Не очень надолго, но – всё-таки. Пятно в карьерном списке осталось…

Читатель, не удивляйтесь! Ахматова не при чём. Эпоха была такая. А ей, повидавшей царкосельских кавалергардов и светских дам, хотелось протащить в жестокий век последние оборочки и бантики поры, растоптанной навсегда.

Но – чтобы щебетать: «Ах, граф!» Алексею Толстому, что только что вернулся из-за границы, и царственно протягивать ему руку для поцелуя, надо было дружить с комиссарами.

Она и дружила. Не удивляйтесь, читатель, ведь про мятежного «буревестника» мы все учили в школе…

Но «буревестник», читай Горький, полжизни прожил на Капри в малопонятном по родственным связям дамском окружении. И политическая авантюристка Мура Бутберг гостила именно у него и была близка с ним.

Потом, вернувшись в Россию, Горький стал заложником собственной славы. Вернее, – просто заложником.

Если бы «буревестнику» во время оно сказали, что он поедет на Соловки смотреть образцовый лагерь политзаключённых, вместе с «Тимошей», вроде бы невесткой, одетой в специально для этого случая преподнесённые *самим* Ягодой кожаные галифе и фуражку, – то-то бы «буревестник» удивился…

Анна Ахматова тоже многому удивлялась.

Но – приспосабливалась.

Известно, – королеву играет свита. Подобрать «свиту» было нетрудно. Её обаяние сражало наповал. Женщины и мужчины верили и в «тяжкий крест», и в «страшное прошлое», и в «трижды вдова». Хотя погибшим по её вине мужем был только Николай Гумилёв.

Остальные двое, комиссары, Николай Пунин и Шилейко (по охране памятников культуры и искусства, читай, чтобы их «маркировать»… и не только) мужьями Ахматовой никак не были. У них имелись семьи и Ахматова внедрялась, согласно правилам жизни той поры, словно кукушка, – только подбрасывала не яйцо будущего кукушонка, а саму себя, – и преспокойно жила в роли второй жены, пока комиссары не теряли позиции и не могли быть полезны.

Но – «трижды вдова», это осталось.

И – ещё как впечатляло…

А тогда, как тут не виться вокруг неё, уже немолодой, но всё равно чарующей женщины, «ленинградским мальчикам»? Иосиф Бродский (от которого она тут же отдаляется после известного «постановления» о нём, «чтобы близость со мной ему не повредила»), Осип Мандельштам (погибший, по её утверждению, с помощью «советского графа», Алексея Толстого, что расхаживал по эвакуационному Ташкенту в фиолетовой рубашке «а ля рюсс», при всевозможных привилегиях и регалиях, но немногим раньше… как на грех… где-то… как-то… поспособствовал, и вот уж нет Мандельштама)… Не менее увлечён был Ахматовой и Борис Пастернак. Все были увлечены, все знали точную цену степени её таланта, но все молчали, потому что очень уж было лестно быть в её свите.

Читатель, не удивляйтесь, эпоха – ничего не поделаешь… Не могли ленинградские мальчики не знать точную цену поэтессе, которая на стихах 50-60-х годов ставит дату 1910-1914.

Чтобы забылось, что двадцать лет она не писала ничего, потому что якобы «была в опале» после некоего *никогда не существовавшего постановления 1925 года, касающегося её лично*.

И чтобы снисходительно и даже ностальгически трепетали сердца, читая стихи юной девушки, так искусно сплетавшей очень «напоказ» свою набожность с откровениями «блудницы». Что греха таить, маятник несколько качнулся. И от её стихов веяло блоковскими туманами, жаждой новизны, кипучими годами расшатывания устоев…

«Реквием» Анны Ахматовой нельзя читать без слёз. Автор сих строк, читая, плакал. Но – как же воспоминания Льва Гумилёва, сына царственной А.А., и погибшего Николая Гумилёва, который вернулся из-за границы, чтобы быть со своим народом? Как быть с «самыми маленькими посылками», что посылала она сыну в лагерь, и с открытками, написанными на почте второпях бесчувственными руками?

Нет, это Николай Гумилёв хотел быть со своим народом, но его убили.

А Ахматова взирала на «свой народ», как на окружающую среду.

В Ленинграде блокаду она выдержала не более двух месяцев. Но всю жизнь, как ореолом, весь облик её был осиян титулом «блокадница». Она, верно, забыла, что за ней присылали спецсамолёт, чтоб увезти от войны подальше в Ташкент…

Не в Маргилан, Андижан, Наманган, где у заборов скромно лежали внезапно упавшие замертво эвакуированные дистрофики, а рядом бесновалась очередь за костями, и никто не подходил помочь, – очередь пропустишь…

Не удивляйтесь, читатель! Эпоха, всё она же…

«Сливки культуры» попадали не в эти захолустные городки, а в довольно презентабельный и комфортный Ташкент.

Попадали и кучковались в тусовки.

Тусовка – слово новое.

А понятие куда как стар*о*…

Разве в кипучие 1910-е «все мы, блудницы» и тот же ангелоподобный Сергей Есенин, кумир поэзии и бесстыдный дебошир, не составляли одну и ту же тусовку?

Разве наиболее удачливые парижские эмигранты не были одной тусовкой, куда чужим вход закрыт? Блистательная Зинаида Гиппиус, чей талант и приблизиться не смел бы к музе Марины Цветаевой, наверное, окажись в Ташкенте, точно так, как Ахматова, щебетала бы Алексею Толстому: «О, граф!», и тоже, наверное, нашла бы свою «свиту». Потому что в той горестной и бездумной эвакуационной тусовке «сливок культуры» на столе водилась чёрная икра, и пили хорошее вино, и помногу, так что, по воспоминаниям современников, и Ахматова, и Раневская нередко «принимали на душу» куда как сверх меры…

Читатель, не удивляйтесь! Автор сих строк пережил эвакуацию не в Ташкенте, причём – сполна. Поэтому не удивляется, что умница Фаина Раневская, которая, в сущности, не могла бы без внутренней усмешки глядеть на Ахматову, вслух ужасалась: «Как, вы сами мыли голову? Как можно!». А верная Лидия Корнеевна Чуковская, образец преданности и честности, нет-нет, а проговаривается: встретила, де, Марину Цветаеву, которой все пути были закрыты – весьма неоднозначная фигура её супруга Сергея Эфрона навсегда отложила на неё

смертоносную тень, – Чуковская об Ахматовой поведала: «Ах, ей так тяжело, ведь она ничего не умеет!». И от Марины Цветаевой услышала в ответ: «А я – умею?».

Одесская девочка, которую мама слала за арбузами, ничего не умела делать сама. Не умела и не хотела. На то была «свита». Приманка: её, Ахматовой, царственная повадка, нередко граничащая с хамством (в крови ведь Одесса всё же, ах, Одесса…). И – оплата: её связи, её снабжение, её «блаты».

Дочь профессора Ивана Цветаева, подарившего России один из лучших музеев мира, – вынуждена была уметь всё. Пока кто-то расчесывал Ахматовой волосы, она избегалась, ища место судомойки в какой-нибудь столовой, но ей отказывали.

Приспосабливаться она так и не научилась.

Как известно, в Елабуге она повесилась. О памятнике не мечтала никогда. В течение всей жизни ей никогда не нужно было кем-то «казаться». Она – просто *была* великим поэтом. Такой и осталась.

Она – Цветаева. В какую бы сторону ни качнулся маятник общественно-властных симпатий.

Так почему же Ахматова, а не Цветаева представляется трагической фигурой?

Если услышите, что люди «сотворяют время», – не верьте. Это Время творит людей по своему подобию и спросу. После возвращения из Парижа в Россию на Цветаеву спроса не было.

На таких, как Ахматова – был. В начале века она тоже побывала в Париже, и могла позволить себе интересничать, вспоминая его красоты до самых преклонных лет…

Так почему же – Ахматова кажется трагической?

Казалось бы, – родилась в нужной стране и в нужное время. На её не очень выдающийся по нынешним временам (конечно, не считая ностальгии и маятника, что качнулся в нужную сторону!), на этот её скромный талант в начале двадцатого века был, что называется, «самый спрос»! Ну, конечно, и – рост, шали, чуточная игра в лесбиянство… словом, – она была человеком своей эпохи…

Прожила не так уж долго, чтобы можно было говорить о трагедии человека, пережившего своё время.

Но беда была в том, что время фантастически убыстрилось – год за пять – так что, в конечно итоге, Ахматова очень зажилась в этом совершенно не по ней времени, и «немодной», как Ахматова называла Цветаеву, оказалась она сама. Так что приходилось усердствовать вдвойне, чтобы угнаться за веком. Но она вовсе не желала за ним угнаться. Она желала согнуть его «под себя». Несмотря на её неимоверную приспособляемость, она не желала, даже не пыталась хоть сколько-нибудь вписаться в темп двадцатого века: пусть век приспосабливается к ней.

Она не хотела работать – помня славу юной поэтессы времён серебристых туманов, она предпочитала не работать вовсе, и не желала переводить даже Шекспира, а предложения переводов сыпались со всех сторон.

Переводы она считала для себя унижением.

Хотя Мандельштам, Бродский и Пастернак ими никак не брезговали и жили безбедно.

Известное постановление 40-х гг., где поминается «не наша» поэтесса Ахматова, ей служило, опять же, как орден. Материальных ущербов оно ей не принесло, зато сейчас можно было ссылаться на «опалу», оправдывая своё длительное бездействие. Какие же стихи писать, находясь в «опале»? И сколько сочувствия от «своих»…

Трагедия была в том, что она всю жизнь стремилась к славе.

Она жаждала её.

Она без неё задыхалась.

Она «добивалась» её, скромно опуская глаза: слава – это так утомительно…

Она притягивала своим очарованием «свиту» и та твердила за ней: кому же слава, как не вам!

А ресурсов для славы не было, как уже сказано.

Но она хотела не просто славы. Величания в Оксфорде уже было недостаточно. Она возжелала Нобелевскую премию, которая в её ближнем круге фамильярно называли «нобелевкой».

Она была снедаема завистью к успехам других и никому их не прощала.

Она хотела сам век, в котором ей довелось жить, согнуть по своему вкусу, возможно удобнее для своих нужд. Не она,

Ахматова, впишется в него, невзирая на свою приспособляемость, а пусть он, двадцатый век, падёт ниц перед ней!

Борьба с веком – трагедия.

Одни, старея, – дряхлеют, другие – мудреют.

Ахматова, ничуть не одряхлев, всё же не нашла в себе мудрости заметить в стремительном беге времени чудодейственные изменения, которые без всякого плавного перехода, а чрез вихри и бури революции, гражданской войны и двух мировых войн напрочь сломали хрупкие кружевные опоры серебряного века, и предложили новые условия игры.

Ахматова предложила веку – свои.

Век их не принял.

И если не отринул вовсе, – то только благодаря преданности и честности многих друзей, вынужденных долгие годы играть роль «свиты»: Л.К. Чуковской, Н. Мандельштам, и многих других, уж не говоря о «Ленинградских мальчиках», и всех тех, кто упомянут в прекрасной книге Тамары Катаевой.

Причём отметим: Катаева считает, что, несмотря на всё лестное, что говорят об Ахматовой, они иногда «проговариваются», и эти «проговорки» – о её величии и необыкновенности.

Позволю себе не согласиться с автором, все они действительно нередко проговариваются, но отнюдь не для того, чтобы подчеркнуть величие «кумира», русской Сафо (ибо Ахматова иногда перекидывала и такие мостики поэтического родства). В этих проговорках слишком часто сквозит плохо скрываемое раздражение, иногда досада, порой насмешка.

Но что поделаешь, читатель, эпоха – это всё она, эпоха…

Все они оказались счастливее её, как ни странно это звучит.

Вполне сознавая все её плюсы и минусы, до самого её конца они были рядом, а что поделаешь?

Маятник уже, как ему и положено, вновь качнулся в её сторону. А им надо было держаться на плаву.

Просто у них не было трагического несовпадения потенций и претензий, и тем самым они оказались счастливее её, хотя судьба многих сложилась фатально.

Октябрь 2007г.

К 150-летию венчания Ф.М. Достоевского в Сибири

Великие люди, научив слабодушных размышлять, наставили их на путь заблуждений.

Люк де Клапье Вовенарг

От составителей

Последний год-два отмечен заметным всплеском интереса к сибирскому периоду Достоевского. Омская библиотека им. А.С. Пушкина издала с предисловием В.С. Вайнермана солидный библиографический указатель, посвящённый теме «Сибирь и Достоевский»; закончена публикация нового полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского, третий том коего «увенчивает» статья Виктора Вайнермана о Достоевском в Сибири; сначала в журнальном, а потом и в полном варианте напечатаны сочинения Шимона Токаржевского, сокаторжника Ф.М. Достоевского, оставившего о нём мемуары (одну из его книг см. в рубрике «Сибирские воспоминания»); выпущены два тома книги «“Кузнецкий венец” Фёдора Достоевского в его романах, письмах и библиографических источниках минувшего века» (2005, 2007).

Как всегда, кипит работа и в музеях: в Новокузнецке и Омске к юбилею Достоевского изданы сборники статей; закончена реставрация омского музея, а новокузнецкий музей был отмечен дипломом I степени за проект «Экскурсионный маршрут по Старому Кузнецку» в рамках конкурса «Культура: пространство и время», организованного департаментом культуры и национальной политики Администрации Кемеровской области.

Тема «Достоевский и Сибирь» уверенно пробивает себе дорогу и в столицах. Последнее тому подтверждение – публикация очерка Игоря Волгина «Сага о Достоевских» в журнале «Октябрь» (№11, 2006). Около четверти обширной статьи посвящено именно сибирским годам Достоевского.

В почте «Голосов» немало писем посвящено именно Достоевскому. Так, в сентябре 2007г. пришло письмо из Токио (Япония) от исследователя Муцуми Ямаширо с запросом о фотографиях первой жены Достоевского, месте их хранения и датировке.

«Голоса Сибири» тесно сотрудничают с исследователями-достоевсковедами; подарком читателю этого выпуска станет перевод глав книги известнейшего слависта Европы, Члена-Учредителя Международного Общества Ф.М. Достоевского, многоуважаемого Альберта Григорьевича Ковача, статья ответсекретаря Российского Общества Ф.М. Достоевского Натальи Шварц, написанная

в соавторстве с правнуком великого писателя Дмитрием Достоевским, а также окончание глубокого исследования ведущего сотрудника Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова Светланы Ананьевой (начало см. «ГС» №№4-5). Параллельно с шестым выпуском «Голосов» печатается и книжка В.С. Вайнермана «Записки экс-директора», обобщающая его 30-летний опыт работы на должности руководителя омского музея Достоевского (обширные выдержки из неё представлены ниже)

Да не удивится читатель, что наша рубрика посвящена отмечаемому в этом году 150-летнему юбилею венчания Достоевского в Сибири. Как утверждают японцы, «Достоевский начинается в Сибири», а с Сибирью связано отнюдь не только его пребывание на каторге, но и венчание с первой супругой, совместная жизнь с которой во многом отложила отпечаток на всё его последующее творчество. Таким образом, Сибирь – некое фатальное кольцо, определившее во многом не только жизненный путь, но и творческую биографию писателя, чем и мотивированы «сибирские» названия рубрики, которая из номера в номер посвящается Достоевскому и всегда содержит хотя бы в одном-двух материалах каждого выпуска чёткий отпечаток связи творчества великого писателя с Сибирью, хотя исследования большей части наших авторов географическими рамками не ограничены.

Открывается же рубрика обзором президента Румынского Общества Ф.М. Достоевского, Альберта Ковача, который рассказывает о самом значительном для исследователей-достоевсковедов событии 2007 года – XIII Симпозиуме Международного Общества Ф.М. Достоевского, состоявшемся в Будапеште.

Альберт Ковач
ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ДОСТОЕВСКИЙ В БУДАПЕШТЕ

В первую неделю июля текущего, 2007 года Международное Общество Достоевского (МОД) организовало в столице Венгрии свой 13-тый международный симпозиум, на тему: «Ф.М.Достоевский в контексте диалогического взаимодействия культур».

Можно сказать, что русский писатель по-прежнему «на волне» – как в смысле диалогического восприятия его творчества художниками всего мира, так и в смысле его изучения. Писать о Достоевском, похоже, более чем престижно – модно: ежегодно выходят, на десятках языков, множество книг, сотни эссе и журнальных статей. Просеяно это количественное излишество может быть лишь специалистом; на первом этапе отбор делается с помощью языков: учитываются прежде всего труды, написанные на языках широкого общения – русском, английском, французском.

13-й симпозиум МОД проходил в кампусе Будапештского университета имени Этвеша Лоранда на Музеумкёрут 4-8 А, невдалеке от Национального музея, где в это время была организована большая выставка, посвященная Чингиз-Хану. Программа предусматривала пленарные заседания, четыре секции, круглые столы, презентацию книг. Организация оказалась превосходной, богатая и разнообразная программа была выполнена без крупных помех и существенных сбоев.

Около 120 приглашённых организаторами учёных представляли 40 стран мира. Самой многочисленной была делегация из России, но большинство составляли западные учёные с преобладанием американцев. Ветераны МОД – инициаторы создания общества в конце 60-х годов и те, что присоединились к ним несколько позже – Роберт Нейхаузер из Австрии, Жак Катто и Софи Оливье из Франции, Роберт Бэлнап и У.М. Тодд III из США, Игорь Волгин и Нина Буданова из России, Х-Ю. Геригк из Германии, Д. Кирай из Венгрии, Т. Киносита из Японии – оказались ведущими участниками диалога. К ним присоединилась основная масса учёных более молодых поколений. Среди вступительных речей выделилось яркое слово Дюлы Кирая об истории создания и плодотворной деятельности МОД, о ценности его симпозиумов и научных изданий. От имени организаторов выступила Каталин Кроо, рассказав об огромной подготовительной работе и обозначив масштабы предстоящей конференции. Председатель МОД Ульрих Шмид развил тему всемирного значения творчества русского писателя, не преминув, однако, отметить, что Достоевский не был другом Будапешта, потому что русский царь жестоко

подавил венгерскую революцию 1848-49гг., а Достоевский лично осудил студенческую демонстрацию в Пеште 1878 года против антиоттоманской войны России. Работа симпозиума прошла, однако, в обстановке не только демократической и свободной, но и дружественной.

Прекрасно составленный том резюме докладов, озаглавленный на трёх языках – английском (XIII-th Symposium of The International Dostoevsky Society, July, 3-8, 2007, Budapest, IDS, University ELTE, Budapest, 2007), русском и венгерском, открывается, в алфавитном порядке, эмблематическим сообщением итальянского ученого Стефано Алоэ, озаглавленным *Достоевский и русский роман как философский миф в творчестве Хулио Кортасара и Эрнесто Саббато*. Автор подчёркивает первостепенное значение русского романа, и прежде всего романа Достоевского, для развития южно-американских литератур: «Больше всего роднят Достоевского с опытами латино-американской литературы иррациональное и “фантастическое” представление о реальности – у Достоевского “реализм в высшей степени”, у Борхеса и у других писателей Америки – “realismo magico” (*магический реализм*) и “real maravilloso” (*очарованная действительность*), часто порождающие абсурд и парадокс». Как пример созвучия с Достоевским разбираются произведение Хулио Кортасара *Игра в классики* с его иронией и постановкой метафизических, онтологических проблем, и *Туннель* Эрнесто Сабато, «обнажающий душу аргентинского подпольного человека». Диалог между литературами ведётся, как утверждает автор сообщения, на самых различных уровнях – влияние, типологические схождения и расхождения, трагически-иронические ответы на великие философские вопросы.

В том же контексте следует упомянуть и сообщение *Достоевский, Октавио Паз и латино-американские писатели*, представленное мексиканским исследователем Х.Л.Ф. Лопесом, и целый ряд других работ о литературе испанского ареала (Хосе Антонию Хименес об Унамуно, И.Ж. Мориллас о Л. Вивиалонга). Сходные аспекты – контакты, интертекстуальность, диалог культур – были освещены и в работах, посвящённых другим культурным пространствам – английскому, северо-американскому, русскому,

французскому, немецкому, итальянскому, японскому. Из ряда весьма интересных работ этого профиля отметим: *Достоевский в диалоге культур. Биография как исследовательская проблема* (И. Волгин), *Грехопадение у Достоевского и Шекспира* (В. Дудкин), *Вуди Аллен интерпретирует Достоевского* (Т. Сабо), *Восприятие Достоевского во Франции начала XXI века* (С. Оливье), *Диалог А. Ремизова с Ф. Достоевским* (С. Доценко), *Переписывание сюжета «Преступления и наказания» в русской литературе конца XIX – начала XXвв.* (Д. Магомедова), *Сон Обломова и Сон смешного человека* (А. Мольнар), *«Двойник» Ф.М. Достоевского как творческий диалог с Э.Т.А. Гофманом* (Г. Щенников), *Немцы и немецкая культура в публицистике Ф.М. Достоевского* (М. Швидерска), *Великий грешник и блудный сын – Достоевский и Янош Пилински* (К. Ситар), *Человек нового времени в сочинениях Сосэки Нацумэ и Ф.М. Достоевского* (Г. Кобаяши).

Поэтика и компаративистика заняла центральное место в работах и дискуссиях членов МОД начиная со второго симпозиума, проходившего в 1973 году в Сан-Вольфганге (Австрия) в присутствии таких видных ученых, как Д. Чижевский, Н. Нильсон, Р. Уэллек. Этот поворот был обеспечен молодыми тогда исследователями; помнится, Р. Нейхаузер и В. Шмид горячо поддержали моё выступление за приоритет поэтики по сравнению с проблемой Дарданелл и христологией. На протяжении десятилетий именно в этом направлении шли исследования Г. Фридлендера, Ж. Катто, М. Джонса, Р.-Л. Джексона, Р. Белнапа, У.М. Тодд III, Г. Хетсо, С. Фастинга, в Румынии – В. Кристя и др. Были использованы инструменты классических и в особенности новаторских поэтик В. Виноградова, М. Гроссмана, Н. Бахтина, интерпретации Андре Жида и Альбера Камю, достижения структурализма, семиотики, герменевтики и других ориентаций модернизма и постмодернизма. В центре стояло уважение к тексту, выявление поливалентных эстетических значений произведения. И на 13-м, будапештском симпозиуме наиболее ценный вклад был внесён именно в этой сфере тщательного и конкретного исследования текста. Об это свидетельствует уже простое перечисление сообщений, вписывающихся в эту тематическую сферу: *Поэтика двусмысленности и недосказанности в творчестве Достоевского*

(Н. Ашимбаева), *Повествование и жанровые особенности романа «Бесы»* (Р. Бэлнап), *Ритмический анализ прозы Ф.М. Достоевского* (В.Борисова), *Паломничество, странничество, бродяжничество, скитальчество в художественной системе Достоевского* (Н. Буданова), *Поэтика синекдохи в творчестве Достоевского* (П.Фокин), *«Что есть классика?»: международное влияние Достоевского в перспективе таксономии* (Х.-Ю. Геригк, ФРГ), *Поэтика слова и жанра «Записок из Мёртвого дома» в черновых рукописях Л. Толстого* (И. Якубович), *Поэтика молчания в художественном мире Достоевского* (Р. Клейман), *Литературная антропология Достоевского* (Арпад Ковач), *Аспекты семантического опознания текста* (К. Кроо), *«Лолита» Набокова: нарратив из подполья* (Д. Мартинсен), *«Аромопоэтика» в художественном мире Достоевского* (А. Неминущий), *Внутренний голос героя и проблема письма* (Г. Хорват), *Исламские мотивы в творчестве Достоевского* (Д. Томсон), *Северо-американские теории литературы и Достоевский* (У.М. Тодд III), *Литературные и реальные прототипы героев Достоевского* (В. Ветловская), *Феноменологическая трилогия Достоевского* (В. Викторович), *Архитектоника М. Бахтина как инструмент исследования* (Н. Живолупова).

Остановлюсь подробнее на работе Жака Катто *Воскресение Лазаря или о символизме романа «Преступление и наказание»*. В результате целого ряда проницательных наблюдений над мотивами, образами и символами романа автор приходит к следующему выводу, касающемуся его общей структуры и финала: «В итоге я отвергаю трактовку Шестова, Мочульского и даже Бахтина, которые не увидели в финале романа ничего кроме искусственности, условности, стыдливого занавеса. Символика смерти и воскресения Лазаря, скрытая во втором плане романа, одухотворяет произведение с самого начала до последнего слова эпилога. Это – духовная структура, которая пронизывает реальный план романа». В ходе дискуссий я позволил себе добавить несколько аргументов в поддержку такой трактовки, отметив роль мотива любви Сони для спасения героя – в будущем, выявленной в финале: вера придёт, вероятно, позднее. Так сам Фауст был спасён любовью Маргариты. Отвечая, автор сообщения подчеркнул один из

важнейших принципов искусства и мышления русского писателя: у Достоевского судьбу человека решают не столько теории как таковые, сколько их аффективная основа, – переживания, а не концепты, пусть и христианские.

Чтобы избежать недоразумений, подчеркну, что серьёзные исследования по поэтике и компаративистике неизменно обращаются, как к одному из важнейших источников творчества писателя, к Библии и к другим религиозным текстам. То же делают, нередко успешно, и представители «религиозной ориентации». Так, Борис Тихомиров оказался весьма убедителен в своём сообщении о *Принципах использования библейского текста в творческой работе Достоевского*. Между тем, в своей книге *Лазарь! гряди вон* (Санкт-Петербург 2005) исследователь рассматривает вынесенный в название миф как основную тему романа *Преступление и наказание*, в то время как произведение посвящено, конечно, *преступлению* и *наказанию*.

Почти треть работ съезда была отмечена эксцессами «фундаменталистского», узко-христианского подхода к творчеству Достоевского. Проблематичности такого подхода касается в своем сообщении *Теологическое – историческое, национальное – общечеловеческое в публицистике и романах Достоевского: конфликт или диалог*? Людмила Сараскина. Интересно, что в своё время автор сообщения был обвинён в защите атеистической позиции в достоевсковедении – просто за то, что он не согласился «взять исторического человека, персонажа романа, и автоматически вставить его в контекст эсхатологии». Обвинение исходило из того, что только православный русский может понять великого писателя, атеист или человек, принадлежащий к другой религии, не имеет даже права прикоснуться к его творчеству[1].

На этот раз Л. Сараскина анализирует два параллельных дискурса в последних романах писателя, не отдавая приоритета ни линии общечеловечески-гуманистической, ни религиозной. Она протестует, однако, против крайностей «русского религиозного литературоведения», нередко просто игнорирующего основной эстетический посыл произведения, и выступает за раскрытие полного, всеохватывающего образа действительности в творчестве Достоевского.

Отправляясь от той или иной детали, от второстепенного мотива, от контрастивного сравнения или контрапункта, трактуемого как «пункт», «религиозное литературоведение» или «православная филология» приходит нередко к поистине странным выводам. Так, центральным героем романа «Идиот» объявляют выдуманного «мёртвого Христа» – что-то вроде сверхгероя, совершенно не считаясь с тем фактом, что в реальности романа фигура Мышкина не ассоциируется даже с «живым» Христом, а лишь с Дон Кихотом и пушкинским Рыцарем бедным: первоначальное, сохранившееся в черновиках упоминание «Князя-Христа» исчезло в окончательном тексте. А предметно-психологический мотив «мёртвого», т.е. не воскресшего Христа служит лишь характеристике Рогожина. В других случаях какая-нибудь одна православная идея или образ разрешает все проблемы поэтики – композиции, структуры, стиля. Так, в своём сообщении *Явление диалога и диалог в романах Ф.М. Достоевского* Карен Степанян, отправляясь от определения Е.И. Даниловой: «Явление и диалог относятся к числу важнейших принципов построения икон с многофигурной композицией: явление центральной фигуры и диалог остальных об этом», заявляет буквально: «По нашему мнению, то же можно сказать, дополняя концепцию М.М. Бахтина, и о принципах построения романа Достоевского. Каждый его роман представляет собой *явление* Христа, несущего людям Благую Весть о спасении, явление чаще незримое, но порой и явное – чтение Евангелия в “Преступлении и наказании”, “Кана Галлилейская” в “Братьях Карамазовых”, и *диалог* персонажей о Нём и с Ним». Далее, ссылаясь на этот раз на Евангелие от Иоанна, докладчик утверждает: «Слово – это Бог /.../ каждый человек – образ Божий». И продолжает: «...таким образом, подняв лишь одну букву, получаем новый смысл известной формулы Бахтина: “Произведение Достоевского – это слово о слове, обращенное к Слову”».

Да простит и нас Господь Бог – нас, остальных, которым удалось заметить лишь, что персонажи русского писателя, как правило, ведут диалог между собой и – о совершенно других вещах; ни один из этих персонажей не имел случая говорить с Ним «лично». Недаром в «Братьях Карамазовых» Христос, по сути, не вступает в диалог с Великим Инквизитором. Многие герои Достоевского

общаются с Богом, но это – совсем другое дело. Персонажи ведут диалог между собой, структура, композиция, романа не статична – не иконична, а в высшей степени динамична, ибо основывается на развитии действия, на сюжете, на сложной системе литературных мотивов и не на одном, а на нескольких – как минимум двух – героях: в романе *Идиот* их четыре, а в *Братьях Карамазовых* – целых пять; в *Бесах*, правда, есть один центральный герой, но это не Христос, а Ставрогин.

Следует признать, что при всём вышесказанном, упомянутая нами узко-религиозная ориентация не имела в Будапеште слишком больших шансов на успех. Роберт Нейхаузер резко критиковал (иногда утрируя) издержки подобного подхода в своем сообщении *Взгляды и суждения Достоевского в современной России: исторические корни и современные интерпретации*. Подавляющее большинство исследований трактовало творчество писателя широко и адекватно. Они выявляли в его произведениях дохристианские, в том числе античные архетипы и мифы, ассимилированные в эпоху Возрождения, Просвещения и романтизма. Разумеется, библейские мотивы и мифологемы занимали во многих работах своё естественное, важнейшее место. В результате европейская цивилизация предстала в творчестве русского писателя не ограниченной христианским видением, и все её ценности, отраженные в его произведениях, засияли полным светом.

Среди других методологий / подходов нашла себе место и семантическая поэтика, несколько, правда, выдохшаяся к настоящему моменту. Некоторые её последователи не преминули потребовать от Достоевского таксиномии Барта-Дерриды-Лотмана, чуть ли не всей тартусской школы. Так, авторитетный исследователь русского писателя, издатель его рисунков К. Баршт в своём сообщении *Концепция знака в творческой парадигме Достоевского* рассуждает: «Разумеется, писатель не был сведущ в современной литературоведческой терминологии, такие слова как *художественный знак*, *дискурс*, *интертекст*, *интермедиальность* не были ему известны. Однако это совсем не означает, что он не думал о тех явлениях в общественном и литературном семиозисе, которые мы обозначаем этими терминами». Абсурдно, по моему мнению, читать Достоевскому лекцию о современных научных концептах,

даже тех, которые были в своё время весьма продуктивны. Важно отметить другое – то, что сам Достоевский оказал существеннейшее, определяющее влияние на современное литературоведение – на наратологию, например, – даже и в теоретическом плане, в плане концептов.

Сообщения румынских участников органично вписались в работу симпозиума. Можно сказать, что нам удалось принять участие в международном диалоге самого высокого уровня. Работа Корнелии Кырстя *Феноменология счастья у Ф. Достоевского и Н. Штейнхардта* вызвала интерес аудитории как общей характеристикой фигуры и деятельности румынского философа-теолога, так и параллелью между двумя писателями-мыслителями, анализом высказываний Штейнхардта о русском романе. Вопросы из зала касались именно этой проблемы – восприятия и интерпретации. Сообщение Елены Логиновской было посвящено диалогу с – и о – Достоевском в румынской межвоенной критике; в центре сообщения стояла тема Элиаде и Достоевский, оттенённая другой параллелью: Достоевский глазами Никифора Крайника. Находившийся в зале автор знаменитой монографии *La creation litteraire chez Dostoievski* (Paris, 1978) Жак Катто, поражённый новизной и богатством представленного материала, дополнил его своими соображениями о Чоране, с которым он был знаком лично. Ж.К. высказался за публикацию философских и литературно-критических работ Элиаде на французском языке и посоветовал Елене Л. написать на эту тему книгу, которая, несомненно, будет переведена во Франции.

Представляя сообщение на тему *Quo vadis homo? От Адама и Иова к Фаусту и Ивану Карамазову*, первоначально озаглавленное *Достоевский в диалоге с Библией и Гете*, автор этих строк раскрыл свою концепцию, в соответствии с которой Священное писание – Бытие и Книга Иова – показывают, по сути, три этапа создания / становления человека. Если первым был этап сотворения Адама, а вторым – изгнание из рая, вследствие которого он приобрёл способность познания добра и зла, третий этап составила история безвинных страданий и непоколебимой веры Иова, в результате которых человек добился свободы и права на протест. Использование *концептов персонаж – архетип – исторический*

архетип позволило сделать вывод, что Достоевский создал великие архетипы, равные героям Библии или гетева *Фауста*. Сопоставление пассажей из *Книги Иова* и *Братьев Карамазовых (Великий Инквизитор Ивана Карамазова)* показало, что философские мотивы, связанные как с божественным, космическим, так и с человеческим, социальным миропорядком, с проблемой невинной вины, свободы, рабства и протеста в романе Достоевского не просто связаны в Книгой Иова, перед нами – развёрнутый интертекст. Все названные произведения роднит и удельный вес элементов фантастики и мифа, и сами сюжеты. Выступая в ходе обсуждения работы, известный российский исследователь Гурий Щенников заявил, что хотел бы меня «дополнить». По его мнению, определяющим в *Фаусте* является уровень гносеологический (как и в немецкой литературе вообще), в то время как в *Братьях Карамазовых* господствует уровень этический (что характерно и для всей русской литературы). В этом смысле Гете в *Фаусте* признаёт насилие, Достоевский – нет. Отвечая, я привёл результаты анализа системы литературно-философских мотивов в обоих произведениях, ясно показывающие, что в *Фаусте* гносеологические мотивы переплетены с этическими и онтологическими, которые в конечном счёте оказываются доминантными; у Достоевского, в *Великом Инквизиторе*, доминанта онтологических мотивов выступает ещё более явно.

На последнем пленарном заседании была выражена горячая благодарность венгерской стороне, членам оргкомитета во главе с Каталин Кроо. Председателем МОД была выбрана Дебора Мартинсен, США, секретарем – Стефано Алоэ, Италия. Через три года Симпозиум пройдет в Неаполе.

Прощальный банкет состоялся в одном из знаменитых ресторанов Будапешта. За огромными круглыми столами рядом со мной продолжали беседы – на профессиональные и дружеские темы – Игорь Волгин, Роберт Пис, Валентина Ветловская, бывший председатель МОД Ульрих Шмид, Корнелия Кырстя. По моему предложению были подняты бокалы за семейство Достоевских – за великого романиста, осуждённого на каторгу тем же царём, который подавил венгерское восстание, за его супругу Анну Григорьевну, которая на закате XIX века приехала в Будапешт, чтобы

подивиться на второе в Европе метро. И – за внука русского писателя, Дмитрия Достоевского, ужинавшего за соседним столом. В результате высказанное в начале симпозиума заявление о том, что Достоевский не был другом венгерской столицы, повисло в воздухе.

Поклонники и исследователи русского писателя со всего земного шара покинули Будапешт освеженные, отдохнувшие, более чем удовлетворенные – обогащенные.

Альберт Ковач
РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
(международный симпозиум в Москве)[1]

У румынского Фонда Культуры Восток-Запад – *Fundatia Dostoievski* – есть в Москве весьма престижный аналог: *Российский Фонд Достоевского. Гуманитарные программы и исследования*. На протяжении последних десяти лет этот фонд, возглавляемый крупным исследователем, писателем и журналистом, профессором Московского Государственного Университета Игорем Волгиным, ежегодно проводит международные симпозиумы с богатой тематикой, в центре которой стоит, как правило, творчество великого русского романиста. На этот раз тематика симпозиума расширена. Заглавие его звучит: *Второй международный симпозиум: «Русская словесность в мировом культурном контексте». 500 лет роду Достоевских – 1506-2006. 15-18 декабря 2006, Москва.*

По приглашению правительства Москвы, мэра города Юрия Лужкова, работа съезда проходила в комплексе Покровское, в 40 километрах от Москвы, на юго-запад от столицы.

О размахе симпозиума свидетельствует уже тот факт, что в нём участвовали учёные из десятков стран – от Японии до США и Мексики. Число и разнообразие представленных сообщений – более 200 – поистине поразительны. Работало множество секций, среди которых: *Религиозно-философские искания русской литературы; Поэтика художественного текста: теоретические и*

прикладные аспекты; Судьбы писателя: биография и история; Достоевский в русском и мировом художественном сознании; Русский язык как средство мировой коммуникации; Россия – Запад – Восток в диалоге культур; Проблемы поэтики Достоевского; Современная русская литература – состояние и перспективы; Современные вызовы и реальность постсоветской литературы. Акцент был поставлен на дискуссию, диалог, который превалировал в работе не только «круглых столов», но и секций, запрограммированных с докладами. Богатство и разнообразие программы обеспечивали вечер современной поэзии, встречи с писателями, блестящий концерт, несколько спектаклей.

Открывая симпозиум и ссылаясь на необычно тёплую погоду, Игорь Волгин остроумно и многозначительно заметил, что с точки зрения климатической Россия поддалась глобализации, в этом она уже ничуть не отличается от стран Западной Европы. По сути, обсуждение негативных аспектов глобализации – неизбежных в условиях агрессивно наступающей массовой культуры – отметило работу всего симпозиума: острая озабоченность в связи с грозящей утратой русского национального своеобразия, ужас по поводу наводнения жаргонизмами и «англицизмами» русского языка, причём не только молодёжного, но и языка масс-медиа...

Впечатляет широкий размах современного достоевсковедения, выражающийся как в количестве исследований, так и в разнообразии подходов, в богатстве методологий, следующих в первую очередь традициям русской формальной школы, В. Виноградова, М. Бахтина (в ряде западных университетов имеются кафедры, занимающиеся бахтинским наследием), структурализма, интертекстуальности, наратологии, православно-христианской ориентации в изучении наследия писателя.

После смерти Г. Фридлендера, последовавшей в 1997 году, в Петербурге продолжает выходить престижная серия *Достоевский. Материалы и исследования*, в 2005 году выпустившая свой 18-й том, напечатана *Летопись жизни и творчества Достоевского* (редакторы: Н. Буданова, Г. Фридлендер, тт. I-III, 1993-1995). Продолжает выходить, под редакцией Карена Степаняна, и альманах *Достоевский и мировая культура* (т. XX, 2006) – орган Общества Достоевского России (председателем которого, после

ухода из жизни Владимира Туниманова, является Борис Тихомиров) и петербургского Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского (директор Наталья Ашимбаева). Среди важнейших изданий следует упомянуть лексикон С. Белова *Энциклопедический словарь: Достоевский и его окружение* (тт. I-II, 2001) и *Pro memoria. Памяти Г.М. Фридлендера* (2003). Эти работы напечатаны в Санкт-Петербурге – городе великого романиста, главном мировом центре исследований творчества Достоевского. В Москве печатают свои труды Игорь Волгин, Людмила Сараскина, Александр Криницын, Татьяна Касаткина, в Екатеринбурге – Г. Щенников (издавший и ряд ценных коллективных сборников). Сегодня по всей России издаются значительные труды, книги, в том числе переведённые с французского, английского, немецкого, японского и др. языков (Жак Катто, Л. Аллен, Р.-Л. Джексон, Вольф Шмид, Тойёфуса Киносита), докторские диссертации и пр.

Современный этап изучения творчества Достоевского отличается невиданным расширением сферы герменевтики, её зон и компонентов. Тщательно, детально исследуются все аспекты текста и интертекста, прототипы, биография и пр. Наиболее ценные работы идут по пути, намеченному во второй половине XX века в трудах Д. Лихачева, Г. Фридлендера, Ж. Катто, Р. Нейхаузера, М. Джонса, Х.-Ю. Геригка, В. Шмида, Дюлы Кирай, В. Ветловской, В. Кристя, автора этих строк и др. Смысл этого подхода заключается в реабилитации тщательного исследования поэтики Достоевского во всех её аспектах: наратология, фантастический и мифологический реализм, поливалентная ассоциативно-контрастивная образность, современный, контрапунктированный стиль.

В компаративистике, наряду с обращением к не исчерпанным ещё старым темам, наблюдается неустанное углубление и расширение горизонта; так, рядом с Шиллером, Гете, Бальзаком, Камю, Фолкнером, Жидом или Томасом Манном всё чаще встает Библия, античные трагики, Шекспир. Но немало и новых имен и аспектов, иногда поражающих своей оригинальностью. Таковы сравнения в плане творчества с Вагнером, Киркегором, Т.С. Элиоттом, интерференция с Мирчей Элиаде (сообщение Елены Логиновской). Целый ряд работ был посвящен самоубийству в творчестве Достоевского или другим, редким и иногда странным аспектам его

творческого наследия: *Мифология матриархата, Египет Розанова – Достоевский и Андрей Белый; Достоевский и Бунин, Мережковский, русский авангард* и т.п.

Нельзя не отметить и неудачи, связанные, как правило, с отходом от упомянутой выше традиции к рассмотрению творчества русского писателя в исключительно религиозном, православно-фундаменталистском духе. Некогда догматики упрекали Достоевского за его тенеденциозно-религиозные идеи, теперь же он объявляется великим писателем – в силу своей приверженности к православной вере. Речь зашла даже о новой исследовательской дисциплине – «религиозной филологии», представленной *in extremis* московской исследовательницей – доморощенным теологом Татьяной Касаткиной, которая руководила на симпозиуме специальной секцией и вела «круглый стол» на тему *Эсхатологическая концепция Ф.М. Достоевского*. Вот несколько заглавий представленных на секции работ: *Божий след в понимании владыки Антония (Блюма) и в творчестве Достоевского* (Г. Померанц); *Божий след в понимании Достоевского и Набокова* (З. Миркина); *Митрополит Антоний (Храповицкий) и его мысли о Достоевском как проповеднике Возрождения* (Еп. Женевский и Западноевропейский Михаил-Донсков); *Христианский дионисизм и христианский персонализм Достоевского* (Игум. Вениамин [Новик]). В тех случаях, когда исследователи, верные своему призванию, исходят из глубокого понимания – и анализа – авторской позиции, изучение подобных тем даёт плодотворные результаты. Хуже, когда забывается или просто игнорируется дистанция, отделяющая гениального автора от того или иного из его персонажей. Ибо нельзя забывать о том, что к своему подлинному православному христианству Достоевский пришёл через искания и срывы, чередование веры и неверия, отразившиеся в его сочинениях и позволившие ему создать произведения о человеке и – для человека, даже для человечества, без различия религиозных конфессий. Его христианство не было ограниченным, а идеалы он признавал и за Вольтером, и за Дидро. Вот почему – не устаю повторять – в Японии, например, писателя воспринимают по-своему, но не менее глубоко, чем в России.

В центре работ секции *Судьба писателя: биография и история* – стоял тот же Достоевский. Так, Наталья Шварц подробно осветила изучение архивных документов, связанных с аттестацией 500-летия рода Достоевских. Отмечу, что первое сообщение на эту тему Наталья Шварц сделала в Бухаресте, на международном симпозиуме *Европейская цивилизация – единство, неповторимость, открытость*, организованном румынским Фондом Достоевского совместно с Союзом Писателей Румынии и Фондом Поэзии Мирчи Динеску в начале октября 2006 года (и отраженном в фильме Иоана Кристя Simpozion, показанном по каналу «Культурал» румынского телевидения).

В других секциях – как, например, в секции поэтики – превалировало не просто творчество Достоевского, но и русская литература в целом, причём неизменно – в мировом культурном контексте. Вот несколько названий зачитанных здесь работ: *Достоевский и русский авангард* (М. Дюрчинов); *Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского как объект интеллектуальной рефлекции в творчестве современных русских постмодернистов* (С. Трунин); *Код восприятия русской литературы во Франции XIX века* (Л. Липская); *Метафора в истории литературы как форма диалога двух культур – английский взгляд на «Наташин танец»* (Н. Соловьева); *Русский контекст высокого модернизма. Т.С. Элиот и русская культура* (О. Ушакова). Обсуждались и такие темы, как *Изображение Америки в русской прозе конца XIX века*, параллель *Борис Пастернак и Эрнст Кассирер*, *Гротескное сознание конца XX века: А. Терц, С. Довлатов, Т. Толстая, И. Мамлеев* и т.п. В этой секции было обсуждено и сообщение автора этих строк *«Форма без формы» и «отсутствие стиля» у Достоевского* – по сути, глава из книги *Поэтика Достоевского* (Univers, 1987), не выходившая до тех пор ни на одном из языков широкого хождения.

Было решено, что представленные работы будут опубликованы в сборнике, который включит все развёрнутые (размером до двух страниц) резюме и целиком – несколько наиболее любопытных или ценных исследований. Через два года симпозиум повторится. Хотелось бы, чтобы Румыния была представлена на нем более широко.

Виктор Вайнерман

ЗАПИСКИ ЭКС-ДИРЕКТОРА
Из новой книги

О ПРЕВРАТНОСТЯХ СУДЬБЫ
(Вместо предисловия)

Говорят, случайностей не бывает. В справедливости этого утверждения мне приходилось убеждаться не раз. Мог ли подумать я, оканчивая среднюю школу в Украине и готовясь к поступлению на филологический факультет Уральского государственного университета в г. Свердловске, что, успешно отучившись три курса, уйду в армию. Буду служить под Йошкар-Олой, а, демобилизовавшись, приеду в Омск?[1] Мог ли я предположить, что у меня возникнут сложности с устройством на работу – ни в одну организацию не брали без прописки, а прописаться невозможно, потому что в паспортном столе требовали справку с места работы? И что примут лишь в областной краеведческий музей? Не потому, что в этой организации требования другие, а потому, что директор музея Владимир Ильич Щетков на свой страх и риск принял меня в штат, поверив хлопотавшим за меня знакомым.

Работая не по специальности (для краеведческого музея профильным образованием является, как правило, историческое, а я – филолог), мне никак не удавалось преодолеть сопротивление среды, упорно вытеснявшей чужака. К счастью, в краеведческом музее, «откуда ни возьмись», появились ставки нового литературного отдела. И кого же переводить на работу в этот отдел, как не сотрудника, проработавшего два года, да ещё и филолога? К тому же как «совершенно случайно» выяснилось, я занимаюсь изучением жизни и творчества Достоевского…

Литературный отдел целенаправленно занимался созданием Омского литературного музея. На моих глазах в бывшем доме комендантов Омской крепости начался капитальный ремонт. Пришлось и комплектовать фонды, и вместе с коллегами-музейщиками и автором проекта оформления музея художником Э.И. Кулешовым участвовать в обсуждении будущей экспозиции, а затем и

в её строительстве – от первого вбитого гвоздя до полов, которые накануне открытия даже мыть приходилось самим музейным сотрудникам.

Первые экскурсии. Посетители – первый, пятитысячный, десятитысячный… Первые записи в книге отзывов, которые читались с особым волнением. Проблемы – технические, организационные, кадровые. Надежды… «Пока дышу – надеюсь», – год за годом твердил я поговорку, заученную на уроках латыни в университете. Это сейчас я понимаю всю тщетность тогдашних надежд, что общество и власть вдруг обнаружат приоритетность литературно-краеведческой деятельности по отношению ко всякой иной. Выделят средства на оснащение музея, его развитие, пропаганду деятельности.

Неоправданные надежды вызывали разочарование и раздражение... В приоритеты пробиться, оказывается, не так-то просто. Но впасть в депрессию не позволяло чувство ответственности за музей. Не имея средств, чтобы оснастить музей современным оборудованием, отремонтировать помещения и создать новую экспозицию, я упорно выстраивал структуру музея – превращая бывший отдел и филиал в самостоятельное учреждение культуры. Музей был выведен из состава объединения в 1992 году. Со временем появилась своя бухгалтерия, отдел фондов, орготдел. Я направлял усилия молодого коллектива на развитие качества собственно музейной работы. Мы проявляли упорство в стремлении найти новые, неизвестные факты о жизни, творчестве, окружении писателей, связанных с Омском. Старались по-новому, по-своему осмыслить сделанные нами находки, а также ту краеведческую информацию, которая давно у всех на слуху. Экскурсии и лекции должны увлекать слушателей. Написанные нами статьи – вызывать интерес у читателей. И двигаться, двигаться вперёд. Проводить литературные вечера, концерты, встречи с мастерами искусств, презентации и конференции. Потому что музей – это средоточие самой что ни на есть живой жизни, а не что-то застывшее, как кажется некоторым.

За 30 долгих, пролетевших как один день, лет работы у меня на глазах произошло множество историй, забавных и трогательных, поучительных и не очень. Жизнь музейных работников, в

основном, состоит из будней. Она скрыта от постороннего взгляда. Музейщик выходит на публику лишь после долгой подготовки – с выставкой, экспозицией, публикацией, лекцией, экскурсией. Реставрируя старинную вещь, картину или документ, возвращает их к жизни. В то же время его собственная жизнь скромна и не патетична. Поэтому многие из музейных историй и пригодны только для «внутреннего пользования». Мне захотелось поделиться теми случаями из собственной музейной практики, которые могут быть интересны не только и не столько профессионалам. Думаю, несколько штрихов к портрету эпохи найдут в них и культурологи, и историки культуры. Да простят меня читатели, имеющие отдалённое представление о внутримузейной жизни за то, что я иногда увлекаюсь и говорю о специфических вещах. Наверно, избежать подобных отступлений невозможно, если столько лет посвятил одной профессии…

В этой маленькой книжке соединились рассказы и статьи, очерки и мемуары… Пусть так и остаётся. Потому что живая музейная жизнь не укладывается в прокрустово ложе расхожих представлений о ней…

В августе 2006 года моя жизнь в Омском литературном музее имени Ф.М. Достоевского завершилась. В силу ряда обстоятельств, о которых я рассказал в статье «Омская Голгофа», пришлось уйти.

Январь-Декабрь 2006г.

ЖЕНЩИНА ЛИ СОТРУДНИК?

Было время, когда мы имели возможность устраивать по четыре вернисажа в год. Собственные фонды у нас тогда ещё только формировались, и мы предпочитали договариваться с другими музеями СССР.

Однажды я привёз выставку из Государственного музея А.С. Пушкина, что располагается в Москве на Кропоткинской, 12. Выставка называлась «Спутники Пушкина». Мы должны были выполнить оформление зала, развеску, а на открытие ожидались сотрудники Пушкинского музея. Они же обещали дать нам мастер-класс проведения экскурсий.

Музей наш работал тогда уже более пяти лет. Большинство выставок мы делали с художником Александром Шпагаткиным.

Он прекрасно чувствовал себя в пространстве небольшого выставочного зала, знал наши требования к подаче экспонатов. Его буйной фантазии мне приходилось всё время противопоставлять скептицизм, утихомиривать художнический полёт выстрелами конкретных практических вопросов.

– Виктор, ну как ты не понимаешь… – настаивал художник.

– Саша, да ты что говоришь? Сам подумай, как это возможно реализовать?

Например, он, во время наступления творческих рецидивов, предлагал на следующую выставку разобрать металлическую крышу здания музея – памятника архитектуры 18 века, а заодно и бетонные плиты перекрытия, и сделать крышу стеклянной. Чтобы всегда было видно и небо, и солнце.

– И чтобы тучи было видно, и снег чтобы зимой лежал, а после не таял, чёрный, аж до самого лета, – «поддакивал» я, – потому как северная сторона. Кто же на стеклянную крышу полезет его сбрасывать?..

– Виктор! У меня идея! – начинал следующий день Александр. – Найди спонсора, лучше пусть это будет крутейший банк, и сдайся им вместе с землей. Пусть строят вокруг тебя и вверх, а здание музея окажется как будто внутри. Между наружными стенами музея и внутренними банка можно устроить оранжерею – у тебя тут пальмы будут расти! Представляешь!!!

– Ага, бананы-кокосы. А в пруду – крокодилы-бегемоты… Санька, очнись! Мы находимся на территории Старой крепости. Здесь высотное строительство запрещено вообще. Ты в курсе или нет? А банкам нынче только заявись – они, для начала, предложат твоё здание снести вообще, а потом посмотрим. Ты что, меня совсем дурачком считаешь, что предлагаешь так круто подставиться?.. И вообще, какие пальмы? У нас литературный музей, в Сибири расположенный, между прочим. А Сибирь – напомню тебе, сибиряку, я, не сибиряк – край изгнания и ссылки… И вообще мы сегодня работать будем, или только разговоры разговаривать?..

Между прочим, Сашка придумывал на каждую выставку оригинальное оформление. Для нынешней выставки о Пушкине он затребовал, к примеру, много чёрного почтового крафта. Поскольку

крафт имелся в наличии, я не стал задавать вопросы. Решил, что мы будем нарезать его полосами и просто закрывать ими стены. Получится ровный фон. Мрачный, правда, но гравюры с портретами пушкинских современников украшены цветными паспарту, к тому же они все в изящных рамах – получится, хоть и мрачновато, зато красиво. Впрочем, сумрачный строгий стиль вообще отличал Омский литературный от многих других, что в первые годы работы музея ещё не вызывало ни особых вопросов, ни особых нареканий – великий Достоевский находился в Омске на каторге. Здесь для него весь мир был разделён на чёрное – внутри острога, и белое – всё, что за его пределами. Логично.

Но когда мы стали нарезать полосы не в одну – 3,5 метра, – а в две высоты, я, как мне показалось, совершенно резонно, поинтересовался, зачем. Сашка ухмыльнулся.

– Мне нужен пульверизатор, – сказал он. – Большой такой. Которым пересохшее бельё спрыскивают. Ещё такими в парикмахерских пользуются. А лучше два.

– Чего два?

– Пульверизатора два. Люся не будет с нами это делать. Может простудиться.

Моё изумление росло час от часу. Чего это «Люся не будет с нами делать?» Сотрудница музея Людмила Ежевикина оторвана моим распоряжением от семьи специально, чтобы делать с нами всё, что необходимо для скорейшего создания выставки…

Мы сели в Сашкину «копейку» и отправились в хозяйственный магазин. К счастью, в магазине пульверизаторы нашлись, и нам не пришлось ехать на базу, где Сашка наверняка сцепился бы с кладовщицами или бухгалтерами, а то и с заведующим складом. Обозвал бы их топорами, которые лежат под лавкой, тормозами на пути к прогрессу, бюрократами, кабинетными сидельцами… У меня волосы на голове поднимались, когда Санька начинал выступать. Самое странное, на него никто не обижался. Как-то я «выступил» в таком же духе. Так меня чуть не съели. А ему – ничего, всё сходило с рук. Я долго присматривался к нему, вслушивался в то, что и как он говорит. И понял, что Сашка возмущается на самом деле не ими, а режимом, порядками, которые эти люди принимают и ведут себя так, как эти порядки позволяют им

себя вести. Я же возмущался конкретно человеком и «не теми поступками», потому что искренно считал, что если человек захочет, то своим личным примером улучшит и облагородит любой закон, любое, самое идиотское правило. Мне было невдомёк, что люди всегда склоны разделить с кем-то неудовольствие законом и даже страной, но в штыки принимают обвинения в свой адрес. Много позже я пойму, что переделывать людей – самое бессмысленное на свете занятие. Хм-м. Как будто возмущаться «не теми» законами имеет больший смысл…

Но что Санька задумал на этот раз?

Гравюры в рамах, рассортированные по темам, ожидали своей очереди в соседнем зале. Впереди была целая ночь, а утром предстояло выходить на развеску. Для работы над оформлением выставки мы остались в музее втроём: художник, я и Люся Ежевикина. Впоследствии она, проработав в литературному музее семь лет, перешла в другое учреждение, но все эти годы с удовольствием, как и мы с Санькой, вспоминала тот вечер.

Санька зашёл ко мне в кабинет с чёрным халатом в руках.

– Раздевайся, – сказал он.

– ????

– Голый торс. Как в армии на зарядку. Форма номер один… Брюки можешь оставить.

Я выполнил санькино указание. Он протянул мне халат и пульверизатор.

– Халат надень. Пульверизатор наполнишь в умывальнике. Смотри, не перепутай…

Внутренне посмеиваясь над новой затеей, я выполнил всё, как сказал мне художник. Выйдя в зал, увидел, что он постелил параллельно друг другу две чёрные полосы и стоит на коленях в начале одной из них.

– Делай так. – Санька щедро обрызгал из пульверизатора халат в области сосков, отставил пульверизатор в сторону, энергично похлопал обеими ладонями себя по груди и тут же с хрустом смял нижний левый край крафта перед собой. Затем правее. И, наконец, правый край так, что получилась довольно широкая, сантиметров двадцать, мятая полоса бумаги.

– Ну и что? – я никак не врубался.

– Ты делай. Садись и делай, как я. Главное, мять мокрыми руками. Поэтому надо действовать быстро. Старайся выводить крупные, рельефные сгибы.

Некоторое время было слышно только чередование шлёпающих и жвякающих звуков. Я совсем развеселился. Что это он задумал? Шлёп-шлёп – жвяк-жвяк, шлёп-шлёп – жвяк-жвяк…

– Что это вы тут делаете? – Люся пришла покурить у приоткрытой двери, но, увидев нас, остолбенела.

– Тебя бережём. Представь, что ты тоже в халате. И тоже вот так – шлёп-шлёп…

Люся представила и покраснела.

– А халат-то холодным становится, между прочим. Смотри, Люся. У меня эрекция сосков наступила…

– Ох, Санька, ну ты и балабол… Я, между прочим, уже всё поняла.

Я вытаращился на Люсю. Она что – самая умная? Мне вот, к примеру, ничего не понятно…

– Это будет, как антрацит, да? Стена получится рельефная, свет будет бликовать на чёрных сгибах, будет игра света и теней… Класс! Санька, ты – гений!

– Люся, душа моя! Я тебя люблю! Пошли курить. Витёк, перекур.

Мне стало стыдно своего непонимания. Пока они курили, я, щедро напшикав на халат с обеих сторон, теперь уже с сознанием того, что делаю, отжамкал целую полосу. Вдруг в курилке стало тихо. Что там? Надо посмотреть. Я выбил из пачки сигарету и отправился к коллегам. Санька и Люся стояли в дверях, а на них с решительным видом напирали два милиционера... Оказывается, пока мы увлечённо работали, стемнело. Из приоткрытой двери музея доносился смех, валил клубами табачный дым. Вот милицейский патруль, обходя территорию, и заинтересовался, что это в музее происходит во внерабочее время. Поднимаются старшина и сержант по ступенькам и видят: стоят двое в спецодежде, причём у мужчины халат на груди мокрый, а руки чёрные, как будто он в земле ковырялся. Женщина, вроде чистая. А тут, гляди, третий подваливает. И у этого тоже халат на груди мокрый и руки чёрные… Я, как руководитель, должен держать ответ. Да и Саньке

нельзя дать заговорить, иначе встреча может закончиться печально…

– Что тут делаем?

– Выставку делаем.

– А женщина что здесь делает?

– Это не женщина, это сотрудник…

Люся с трудом сдержала возмущённый хмык. Потупила глаза и, чтобы не выдать себя, сделала глубокую затяжку. Услышав такой убийственный аргумент, милиции осталось поинтересоваться лишь временем, до которого мы собираемся трудиться. Выйдя в темноту, они сообщили по рации, что в музее открыта дверь, обнаружены трое, один из которых объяснил, что идёт работа над выставкой и все они сотрудники, хотя одна из троих – женщина.

Потом Люся при каждом удобном случае вставляла мне шпильку: «Ах, да! я ведь не женщина, а сотрудник!..»

Выставка получилась необыкновенной. Войдя в зал, человек словно попадал в старинный кабинет, где тихая музыка позволяла сосредоточиться на изучении гравюр и чтении сопроводительных текстов и этикеток. Здесь экскурсоводу легко было читать стихи Пушкина, посвящённые изображённым на портретах людям. На состав экскурсионной группы можно не обращать особенного внимания. От самой обстановки замирали и школьники, и пэтэушники, и студенты. А как звучали здесь лёгкие, чуть грустные, или же, напротив, восторженные, ликующие строки!

Давно уже не проводятся у нас в музее подобные выставки. Когда музей обрёл юридическую самостоятельность, пришлось, перегородив выставочный зал, устроить в нём кабинеты для сотрудников. Все они пришли работать в музей кто два года тому назад, кто год, а кто и всего несколько месяцев. Да и времена переменились. Привезти выставку, оформить её так, как мы тогда оформляли – каждую, как спектакль – стало делом практически невозможным…

Люся умерла осенью 2005 года.

Санька перебрался в Москву.

Нет уже прежней экспозиции.

А у меня перед глазами до сих пор стоит этот зал. Я слышу, как шлёпают наши с Санькой ладони, как хрустит сминаемая бумага. Пушкинские стихи всё звучат и звучат, с тех пор неразрывно связанные в памяти с драгоценными гравюрами в изысканных рамах.

И я улыбаюсь…

О ПОЛЬЗЕ СОСЕДСТВА С ВЫТРЕЗВИТЕЛЕМ

Медицинский вытрезвитель Центрального района находился здесь, в самом центре города, в районе Старой крепости так долго, что, кажется, находился здесь всегда…

Когда-то в крепости стоял военный гарнизон, располагались дома для военных инженеров и местного генералитета. В 20 веке нет уже ни гарнизона, ни прежних военных чинов, ни зданий, в которых жили офицеры. Но военизированный след остался. На территории Старой крепости в здании бывшей военной гауптвахты разместился областной военкомат, в здании дворянского собрания – гарнизонный Дом офицеров. На пустыре, образовавшемся в результате сноса домов военных инженеров, вплотную к лютеранской кирхе выстроен Дворец культуры имени Ф.Э. Дзержинского и здесь же, через дорогу, в одноэтажном кирпичном здании начала 20 века… медицинский вытрезвитель.[2]

В 1983 году в бывшем доме комендантов Омской крепости, памятнике архитектуры, построенном в 1799 году, открылся Литературный музей имени Ф.М. Достоевского. Великий писатель после того, как с него сняли кандалы, бывал в гостях у последнего коменданта крепости Алексея Фёдоровича де Граве. Приходил, чтобы поблагодарить за помощь, оказанную с риском для собственного благополучия. Дом комендантов местные краеведы давно наметили под музей. В 1971 году на углу здания был установлен массивный чугунный барельеф с изображением Достоевского. Писатель стоит во весь рост, одетый в бесформенное длинное одеяние и правой рукой прижимает к груди книгу. На барельефе

надпись, сообщающая, что в «этом доме бывал великий русский писатель Ф.М. Достоевский».

А вытрезвитель находится в пяти метрах от дома комендантов, в котором разместился музей. Когда музей создавали, о возможных последствиях подобного соседства никто и не думал. Милиционеры даже помогали нам. О случае, когда соседи выручили музей в трудную минуту, я и хочу рассказать.

Музей создавала бригада оформителей во главе с известным московским художником, автором нескольких крупных экспозиций Эдуардом Ивановичем Кулешовым. В Омске, да и во всей Сибири, не нашлось человека, который мог бы на высоком художественном уровне выполнить проект оформления нового музея. Его созданию придавалось, и совершенно справедливо, большое значение – это был первый музей подобного профиля во всей Западной Сибири. Но и сам Э.И. Кулешов был не просто московский художник, а именно что один из самых ярких и самобытных. Думаю, достаточно назвать среди его творений выставки в музее Н.Г. Чернышевского, Государственном Историческом музее, театральном музее Бахрушина, музеях А.Н. Островского в Замоскворечье и Л.Н. Толстого в бывшей монастырской гостинице Спасо-Бородинского монастыря, чтобы убедиться в масштабе личности этого незаурядного человека.[3]

Когда я впервые увидел Эдуарда Ивановича, был поражен его необыкновенной статью. Высокий – более метра восьмидесяти – он казался ещё выше, потому что был очень плотным, крепким человеком. Огромный лоб и русая борода, закрывавшая почти всё лицо – сразу обращали на себя внимание. Говорил он негромко, вкрадчиво, и это казалось странным диссонансом по отношению к исходившему от него ощущению колоссальной физической и душевной силы. Вскоре выяснилось, что за кажущейся вкрадчивостью разговора таится желание эту силу ненароком не показать, не испугать людей, не обидеть. Эдуард Иванович был по-настоящему интеллигентен. Разумеется, его внутренняя сила иногда прорывалась наружу, и тогда под руку ему лучше было не попадаться. За время знакомства с ним мы не раз испытывали и его гнев, и делили с ним радость. Смиряли взаимное раздражение и недовольство друг другом сознанием необходимости общего дела.

К моменту завершения работы всё, что поначалу вызывало трение, было устранено. Но два года и сотрудники музея, и художники шли к общей цели, преодолевая всевозможные препятствия. То управленцы не вовремя выделяли деньги, а сроки поджимали, то мы не предоставили к приезду художников материалы для работы, или предоставили, но не те, что были заказаны. То художники приехали на художественный совет с недостаточно проработанными монтажными листами – всего хватало. Но первым категорическим условием, которое поставил омскому начальству Э.И. Кулешов, было, что вся его бригада от плотников до картонажников, будет набрана в Московском комбинате декоративно-оформительского искусства. У омичей, причастных к созданию нового музея, это требование вызвало шок. Оно означало, что более десятку человек надо оплатить дорогу, разместить в гостинице, выплатить суточные… И это не для приезда один раз, а до самого окончания работы над созданием экспозиции музея… Утверждённые сметы лопались, как мыльные пузыри. И всё же Эдуарду Ивановичу удалось настоять на своём. Именно москвичи выполнили всю работу – до последнего гвоздя, до последней этикетки…

Бригада художников-оформителей совершала эдакие «наезды» из столицы в Омск – и тогда музейная жизнь несколько раз в году на два-три месяца теряла свой размеренный ритм. День отличался от ночи в то время только тем, что ночью не работала ни одна контора, в которой можно было купить или заказать необходимые материалы.

Кроме сугубо хозяйственных задач была задача весьма деликатного свойства. Для того, чтобы обеспечить нормальное *ночное функционирование* бригады художников-оформителей, необходимо было именно днём создать для них требуемые запасы. В противном случае с наступлением темноты приходилось проявлять чудеса изобретательности… Дело в том, что москвичи во время каждого приёма пищи потребляли солидное количество спиртного, которое они называли «горючим», и без которого работа у них ну никак не хотела спориться. Странное дело, но принимающая сторона на удивление легко и с пониманием отнеслась к этой особенности московских гостей. Понаблюдали несколько дней – всё,

что ни делается, несмотря на изрядные объёмы выпитого, делается аккуратно, с огоньком, фантазией и согласно оговоренным правилам оформления музейных предметов. Другое дело – как обеспечить бесперебойную работу? Днём ещё ладно – спиртное можно купить в магазине. Но когда началась работа в режиме аврала и не только столяры, плотники и специалисты по шрифтам, картонажники, сам маэстро, но и мы, музейщики, работали практически круглые сутки, шаг за шагом приближая музей к дню открытия? Тут и начались перебои с подачей «топлива». Тогда не было ночных магазинов – за окном начало 80-х годов 20 века… Где-нибудь во втором часу ночи раздобыть бутылку горячительного невозможно. Ехать в ресторан аэропорта долго и накладно. Что делать?

Однажды, в разгар работы, Эдуард Иванович отозвал нас, «хозяев», в сторонку и сказал, что его ребята трудятся, не покладая рук. Надо их поддержать. Как? Ну, понятное дело – требуется «горючее». Они уже самому Эдуарду Ивановичу предъявили настоящий ультиматум, мол, если их требование не будет удовлетворено немедленно, уйдут спать в гостиницу. Удерживать их больше он не может. А время – напомнил художник – поджимает, о сроках сдачи экспозиции сами всё знаете… Выслушав маэстро, понимаю: надо что-то предпринять, и срочно. Зрительная память напомнила, что у соседей, которые тоже работают круглосуточно, есть специальный ящик для изъятых у алкашей бутылок.

Отправляюсь в вытрезвитель. Дежурный старшина, в разговоре с которым я ещё днём сетовал на приезжих мастеров, не умеющих жить без выпивки, хмуро улыбаясь, вынес из подсобки деревянный ящик. В нём высились разнокалиберные бутылки. Причём все из них под нетронутыми пробками, полные искомой влаги. Початые бутылки милиционеры сразу при изъятии выливают, и пустую тару отправляют по назначению.

Сделав таинственное лицо, захожу в зал. Мастера вповалку лежат кто где. Эдуард Иванович возвышается над ними, словно гора-богатырь над полем боя, и, подбоченившись, посматривает на «павших» товарищей. С грохотом выставляю бутылки на стол. «Где взял? Давай, ещё сбегаем…» – вопрошают тут же ожившие работяги. Объясняю, что это – до утра. Снова застучали молотки,

заскрипели ножи, разрезающие бумагу, на стремянки поднялись шрифтовики. Работа продолжилась… Когда москвичи уехали домой, в первопрестольную, нам позвонили из гостинцы «Маяк», в которой они жили во время командировки.

– Придите, пожалуйста, к нам.

– Зачем?

– Придите, мы хотим вам кое-что показать.

Приходим вдвоём с коллегой. Администратор ведёт нас в номер, в котором жили приезжие. Открывает стенной шкафчик. Вот это да! Шкаф от пола до потолка заполнен пустыми водочными бутылками. Они лежат одна к одной, донышками к нам. Это же какое надо иметь здоровье!.. При этом самое удивительное, что спиртное всё-таки сыграло свою положительную роль. Может быть, именно благодаря «горючему», москвичи сумели проявить все свои творческие способности. Так или иначе, Комиссия Московского отделения Союза художников СССР, принимавшая экспозицию, признала оформление музея лучшим по Российской Федерации за 1983 год…

Сейчас, когда я пишу эти строки, экспозиции музея, созданной Э.И. Кулешовым, уже нет. Она прослужила 23 года, четыре месяца и 16 дней и в июне 2006 года была полностью разобрана. В здании музея произведён капитальный ремонт и создан новый музей.

В интервью омской газете Э.И Кулешов говорил: «Материал был тяжёл для пластических выражений, материал плоский, трудно было создать единую изобразительную систему, но, как кажется, удалось создать стилевое единство». В какой степени новому художнику и новой творческой группе удалось повторить художественный подвиг москвичей, покажет время. Новая экспозиция – «Достоевский и Сибирь» решает иные задачи при помощи новых художественных средств…

После открытия музея соседство с вытрезвителем превратилось в весьма досадное обстоятельство. Забавно было слышать, когда звонят из школы, спрашивают, как к нам доехать, какие есть ориентиры. Отвечаешь, что рядом проходит ежегодная выставка цветов «Флора», поблизости – Дворец культуры. В трубке – молчание. И

только когда упоминаешь, что по соседству – медицинский вытрезвитель, слышишь облегчённое: «А, да, конечно, знаем». Уж откуда учителя литературы да школьники знают о местонахождении вытрезвителя – можно только догадываться…

Однажды специальная машина привезла соседям очередной «урожай». Открывая дверь в музей, я увидел, как из машины выволакивают пьяную женщину неопределённого возраста. По правилам вытрезвителя, каждого «посетителя» ждёт «помывка». Человека раздевают донага и поливают ледяной водой из шланга или заставляют стать под холодный душ, если он в состоянии стоять на ногах. В 10 утра на экскурсию в музей пришла группа старшеклассников. И вот, когда дети уже готовы зайти в музей, из вытрезвителя выбегает обнажённая «дама», женщина весьма крупных форм. Размахивая руками и другими частями тела, с громкой песней, которая рвётся из груди от полноты переполняющих её чувств, бежит в сторону Иртыша, чтобы совершить «помывку» по собственной воле. Дети обомлели. Бесплатное кино!

Мне неловко. Как я буду рассказывать им о духовности, о формировании литературных традиций в регионе, о каторжных годах Достоевского, когда в глазах у школьников совсем другая, отвратительная картинка?.. Милиционеры бросились ловить сбежавшую алкашку, она стала вырываться, кричать, обзывать их словами, которые я никак не могу привести здесь. Я постарался побыстрее завести детей в музей, успокоить и сменить негативный настрой на рабочий.

После этого случая мы возвели между зданием музея и вытрезвителем собственную «берлинскую стену» – поставили глухой кирпичный забор, чтобы больше никто не устраивал дефиле для школьников и не бегал купаться в Иртыш мимо ошеломлённых посетителей музея.

Только спустя четыре года после открытия музея мне удалось поднять общественность и добиться, чтобы медицинский вытрезвитель перевели в другое помещение, а его здание передали нам для расширения экспозиционных площадей. Много лет оно по всем постановляющим документам числилось за музеем. Но в начале 21 века выяснилось, что я не сделал в 1987 году простой и элементарной для нового века вещи – не составил акт передачи здания на баланс музея. И агрегатный завод, на балансе которого,

оказывается, здание всё ещё числилось, отсудил его у нас и добился приватизации в свою пользу. Для чего же? Оказывается, для сноса под строительство другого объекта… Правда, потом выяснилось, что на месте сноса будет построен развлекательный комплекс, в котором музею обещана площадь для размещения литературных экспозиций – но это уже совсем другая история.

ПРО ЭКСПОНАТЫ, КОТОРЫЕ ПИШУТ АВТОГРАФЫ, И ЧТО С ТЕМИ И ДРУГИМИ ИНОГДА ПРОИСХОДИТ

«Музею – от экспоната». Такой автограф оставила на своей книге омская писательница Татьяна Гончарова. Но речь пойдёт не о ней, и не о подаренной ею книге, а о других музейных предметах, некоторые из которых пропали безвозвратно, а некоторые стали экспонатами и хранятся в фондах омского литературного музея.

* * *

Жил в рабочем посёлке Любино известный краевед Иван Семенович Коровкин. И была у него мечта – создать в Омской области литературный музей. Обычный учитель в средней школе, Коровкин всерьёз интересовался фольклором, записывал песни, частушки, сказки, предания, былины. Обращался к известным писателям, поэтам. Получал от них ответы. Часто к письму, которое само по себе уже являлось ценным автографом, прилагалась фотография или даже книга с надписью. Материал постепенно накапливался. Коровкин устраивал выставки. К нему приезжали учёные и коллекционеры, ему самому стали писать аспиранты, студенты и школьники. Задавали вопросы, консультировались. Стали поговаривать, что Коровкин уже открыл собственный литературный музей. Восхищались, какой подвижник, энтузиаст. Всё ведь за свой счёт, без участия государства. И всё для людей, чтобы больше знали о родном крае, любили и ценили его.

Но, как и многие увлечённые люди, Иван Семёнович предполагал жить вечно. А, может быть, и вовсе не задумывался о смерти. Он умер так внезапно[4], что не успел распорядиться судьбой

своих коллекций. И, как это нередко бывает, родственники покойного захотели поскорее избавиться от ветхих бумажек, которые забили весь дом, от «никому не нужных» старых книжек и фотографий.

Одним из первых в доме краеведа побывал омский журналист Александр Лейфер. Ему ещё удалось обнаружить множество ценнейших документов: «Письмо Елены Вяловой-Васильевой – второй жены поэта Павла Васильева, фольклорные записи, что-то ещё, сейчас уже не помню, оказалось среди “самого ненужного”. Помню, что набралась порядочная стопка. Сколько раз за эти дни топилась таким образом печка и что в ней сгорело, знает один лишь Бог…

Побывав на кладбище, мы пошли в райком партии и объяснили ситуацию. Нам дали ключ от пустого секретарского кабинета и “Волгу”. В несколько рейсов мы вывезли архив. Грузили, не разбирая, не читая – всё подряд. Иногда случайно попадалось на глаза: вот письма поэта и ученого Петра Драверта, вот – Твардовского, вот – дневниковая запись самого Ивана Семеновича, вот – чья-то рукопись…

“Забирайте, всё забирайте, – радостно говорила вдова, – мне эту комнату белить надо, квартирантов пускать – все подмога”.

Архив благополучно пролежал в запертом райкомовском кабинете до тех пор, пока его не забрали профессионалы – сотрудники областного госархива. Сейчас там – личный фонд Коровкина.

Закончив с бумагами, принялись за книги. Их вдова намеревалась продать. Разделили библиотеку на две части: ту, которую можно продать кому угодно, и ту, которую надо продать целенаправленно, – для будущего омского Литмузея имени Ф.М. Достоевского. Во вторую вошли книги с автографами, литература о Достоевском, редкие издания, литературоведение, довоенная Литературная энциклопедия и т.п. – набралось довольно много.

Однако все наши труды по разбору библиотеки оказались напрасными: краеведческий музей не сумел оперативно решить вопрос с покупкой и вывозом книг. А пока тянули, приёмный сын Коровкина, алкоголик, сетками таскал на пропой книги – как из той, так и из другой части. Спасти потом удалось лишь крохи».[5]

Продолжая рассказ А. Лейфера, замечу, что прекрасно помню, как нам, в литературный отдел краеведческого музея позвонили

из Любино. «Умер Коровкин. Срочно приезжайте. Материалы его архива продаются пачками за бутылку водки. Прямо с порога его дома в багажники подъезжающих машин укладываются раритеты, которым Иван Семёнович посвятил всю свою жизнь». Действительно, пока удалось «выбить» командировку, прошло несколько месяцев. Человеку «свободному» покажется странным, что в Любино, до которого час езды на электричке, мы добирались, как до экватора. Но со службы не удерёшь. Музейные будни не имеют выходных – дежурим и по субботам, и по воскресеньям… Так что отправиться в Любино я смог только в конце мая.

Прихожу в дом к Коровкину. Его жена и сын сухо вежливы. Говорят, что практически ничего из собранного Иваном Семёновичем уже не осталось. Ссылаются на госархив. Мол, приехали оттуда и увезли сразу несколько мешков. Расспрашиваю, допытываюсь. Прошу показать хотя бы то, что осталось. Нехотя достают из-под кровати чемодан. Извлекаю из него несколько потрёпанных книг по фольклористике. Да уж. Понятно, почему эти книги не заинтересовали ни коллекционеров, ни архивистов. Впрочем, как я понял, скудное содержимое этого чемодана как раз и было остатками той части богатейшего архива и библиотеки, которая приуготовлялась для «омского Литмузея». Хозяева всем своим видом показывают, что с нетерпением ждут, когда я уйду. Ещё бы – из кухни тянет запахом свежесваренной картошки. Видимо, в неё успели положить сливочное масло и посыпать зеленью из теплицы, потому что пахнет чрезвычайно аппетитно. Но я не могу уйти с пустыми руками. Век потом себе этого не прощу. К тому же, в другой раз меня могут сюда и не пустить. Я в те годы почти не употреблял спиртного и с гораздо большей нетерпимостью, чем сейчас, относился к выпивохам. А ведь приди я тогда с бутылкой – глядишь, разговор бы и сложился… Но, поскольку бутылки нет, продолжаю допытываться долго, занудно и сам понимаю, что противно. Но всё-таки добиваюсь своего. «Есть ещё кое-что, – вздыхая, признаётся хозяйка. – Вообще завалящее. Мы на растопку положили в угольный сарай. Можете пойти, посмотреть, если не сожгли»…

Не иду – бегу в этот злосчастный сарай. Среди бумаг действительно малоинтересных нахожу и кладу в портфель две

фотографии… Почему не наорал тогда на хозяев, увидев эти снимки? Почему не сказал им всё, что о них думаю? Наверно, интуитивно сработали два соображения. Они пришли мне в голову одновременно и тут же погасили клокотавшую в груди ярость. Скажи я им, что эти фотографии имеют ценность – хозяева могли запросить за них определённую сумму. Пока я буду искать возможность выплатить им государственные деньги, они перепродадут снимки коллекционерам. Ну, и, во-вторых, что махать кулаками после драки? Спасибо надо сказать, что ни коллекционеры, ни даже архивисты не поняли , что это за снимки. А то не видать бы их музею. Хотя, быть может, и у тех, и у других до угольного сарая просто руки не дошли и мне просто повезло? Так или иначе, одна из тех фотографий все 23 года работы занимала почётное место в экспозиции литературного музея.

На фотографии три человека. В центре – сибирский поэт серебряного века Георгий Андреевич Вяткин, а рядом – братья Бунины, Иван и Юлий Алексеевичи. Кто-то из учёных говорит, что снимок сделан в Харькове, кто-то настаивает на Москве. В 1909 году Г. Вяткин пытался издать сборник писателей-сибиряков в созданном А.М. Горьким издательстве «Знание». Бывал во многих сибирских городах, встречался с местными авторами. В Москве посещал писательские «среды» в доме Телешева, где, по всей вероятности, и познакомился с братьями Буниными.

12 ноября 2001 года, после открытия памятника Ф.М. Достоевскому, в музее побывал губернатор Омской области Л.К. Полежаев. Очень внимательно слушал экскурсовода. Когда я обратил его внимание на фотографию Буниных с Вяткиным, стал расспрашивать. Сказал, что любит творчество И.А. Бунина. Так уж, видимо, совпало, что в декабре того же года губернатор подписал распоряжение об издании пятитомного собрания сочинений Г.А. Вяткина. У репрессированного писателя никогда не было никаких собраний сочинений, выходили лишь отдельные книги… В нынешнем, 2006 году, издание должно быть завершено, и, не дожидаясь этого события, вышли из печати первые тома уникального полного собрания сочинений И.А. Бунина, заказанные и профинансированные Л.К. Полежаевым…

Да, не сказал, а кто же на втором снимке из угольного сарая? Вы не поверите. Ромен Роллан, знаменитый французский писатель. И на обороте фотографии – его собственноручный автограф – естественно, на французском…

* * *

В доме И.С. Коровкина, среди бумаг, приготовленных на растопку, обнаружил весьма пухлую тетрадь в твёрдом темно-зелёном переплёте. На обложке красовалась фотография автора – Андрея Девятова, а на страницах, очевидно, нарезанных вручную и вручную же сшитых обычными нитками, наклеены многочисленные вырезки из фронтовых газет. Каждая вырезка – новое стихотворение. Получилась добротная самиздатовская книжка. Стихи, правда, явно любительские, не профессиональные, но автор, очевидно, дорожил своим творчеством. Вчитываясь в текст, пытался найти хоть малейшую зацепку, которая позволила бы узнать, откуда А. Девятов был призван в армию и куда вернулся, если остался жив, после окончания войны. Под одним из стихотворений прочёл, что связист А. Девятов служил до войны на Омском прижелезнодорожном почтамте. Оказывается, есть и такая организация. Срочно звоню туда. Узнаю, что Андрей Иванович Девятов много лет как на пенсии. Человек замкнутый, на службе мало с кем разговаривал, а уж о том, что он пишет стихи, не знал никто. В отделе кадров мне выдали его домашний адрес. Узнаю через справочное номер телефона, звоню. Увы, А.И. Девятова уже нет в живых. Дочь согласилась встретиться со мной.

В квартире сохранилась всего лишь одна фотография её отца. Да, писал стихи. Блажил старик – так они все полагали. Был в доме большой сундук, где он хранил свои бумажки. Андрей Иванович закрывал сундук на ключ, который всегда держал при себе. Как-то на праздник подпил и признался, что писал Алексею Максимовичу Горькому, посылал свои стихи. И сам Горький – автор «Песни о Буревестнике»! – ему отвечал. Якобы, Андрей Иванович показывал родственникам эти ответы.

Слушал, и не верил своим ушам. В Омске много лет жил человек, который переписывался с Горьким! И до сих пор об этом ничего не было известно! Можно же добавить новый штрих в

картину культурной жизни Омска! Но увы. Открытия не состоялось. Оказывается, семья Девятовых жила тогда в частном доме. Вскоре после смерти Андрея Ивановича родственники получили благоустроенную квартиру. На семейном совете решили сундук с бумагами деда на новую квартиру не везти. Ну, и в последний раз хорошо протопили печку…

Родственники литераторов, быть может, и не читали «Мастера и Маргариту», но, словно сговорившись, усиленно стремятся опровергнуть ставшие крылатыми слова «рукописи не горят»!.. И никому даже в голову не приходит позвонить в музей, обратиться к учителю литературы из ближайшей школы или к любому библиотекарю.

* * *

Таких болезненных примеров не беспамятства даже, а какого-то удивительного нежелания ни о чём думать, только из своего опыта могу привести немало. Людское равнодушие можно объяснить, найти ему оправдание. Но когда коллеги, якобы единомышленники, проявляют подобную же глухоту и недальновидность… Например, фондово-закупочная комиссия музейного объединения отказалась принять в фонды собранный мной очень скромный архив Юрия Сопова. Они заявили, что «документы о колчаковском прихвостне не могут храниться в краеведческом музее». Мне рекомендовали вернуть собранные материалы родственникам. К счастью, я не прислушался к ценной идеологической рекомендации и сохранил маленький свод драгоценных документов среди своих личных бумаг.

Талантливый поэт ушёл из жизни совсем юным. Он учился в Омском землемерном училище, но не окончил курса. Началась гражданская война, и молодой человек был призван в колчаковскую армию. Стал юнкером. Потом произведён в младшие офицеры и переведён в охрану Верховного правителя. В августе 1919 года в Ставке раздался взрыв, в результате которого Юрий Сопов погиб. В своё время, видимо, чтобы спасти для истории имя талантливого юноши, придумали версию, будто бы Сопов готовил покушение… Но, впоследствии установили, что взрыв произошёл из-за неосторожного обращения с гранатой.

Однажды я целое лето просидел в госархиве и областной научной библиотеке. Отыскал большое количество стихотворений Сопова. Мне хотелось во что бы то ни стало познакомить читателей с творчеством этого одарённого мальчика. Правда, публикации я стал добиваться уже в новом веке, в новую эпоху. Но всё это время мной руководил не только азарт исследователя. Я хотел ответить то ли на идеологическую тупость, то ли просто на коллективную бессознательную слепоту членов фондово-закупочной комиссии, отказавшихся принимать на хранение в фонды рукописи Сопова, его фотографии и единственную книжку стихотворений. Да, время было такое. Но иногда и собственной головой думать надо… Кстати могу сказать, что теперь-то уж уникальные материалы, связанные с жизнью и творчеством Ю. Сопова будут сохранены для потомков, потому что поставлены на государственный учёт в Омском литературном музее…

Когда-то А.В. Луначарский назвал музеи «памятной книгой человечества». Любое сравнение хромает, но, принимая эту характеристику, хочется пожелать авторам книги делать в неё лишь продуманные и вдохновенные записи. И пусть «памятную книгу человечества» никогда не постигнет участь книг, которые сжигали на кострах. Забывали пылиться на полках. Раздирали на картинки. Использовали как бумагу для черновиков или других надобностей. Меняются времена, нравы. Приходят и уходят поколения. Но что-то должно оставаться всегда. Если, конечно, люди не трава перекати-поле, которая растёт там, где оставит её в покое ветер.

ТАЙНА ПОДЗЕМНОГО ХОДА

Дом комендантов – одно из немногих, сохранившихся до наших дней зданий бывшей Омской крепости. Вокруг каждого из них всегда существовало множество легенд, преданий, просто не проясненных историй.

Решение о создании в Омске Литературного музея и размещении его в бывшем Доме комендантов крепости было принято горисполкомом в 1975 году. В то время в здании жили люди. Непросто было

справиться с задачей расселения по квартирам всех жильцов. Ещё сложнее, как выяснилось, найти средства для капитального ремонта старенького, 1799 года постройки, дома, для оплаты проекта экспозиции, приобретения необходимых материалов и исполнительских работ. Тем не менее, с 1980 по 1982 год все необходимые подготовительные стадии создания музея были пройдены. Во время ремонта с Дома сняли и крышу, и старые, простоявшие двести лет перекрытия – огромные брёвна почти в обхват. Смотрел на них и думал, что таким, наверно, и был корабельный лес, из которого строили непобедимый русский флот. Перекрытия, пролежавшие двести лет, буквально звенели от заключённой в них энергии. Я взял ножовку и пытался сделать пропил на одной из балок. Ощущение было таким, будто пытаюсь пилить рельс… Но пожарники категорически запретили использовать деревянные перекрытия по назначению. Их временно сложили во дворе музея. Утром ни одной балки на прежнем месте не оказалось…

Ещё до наступления ремонтной поры в подвальном помещении Дома прямо под одним из окон мы увидели широкий арочный проём, заложенный современным кирпичом. Само подвальное помещение тоже было необычным – сводчатые потолки, старый кирпич, старая кладка… Может быть, здесь начинался подземный ход, который вёл от Дома комендантов на противоположную сторону Иртыша? От этого, вполне логичного, предположения, захватывало дух. Уже грезились находки, сделанные в подземном коридоре. Ведь из военной крепости не просто могли, а должны вести потайные ходы! В нём могли быть устроены тайники, в которых можно обнаружить всё, что угодно… Почему до сих пор его не нашли? Тоже просто: поскольку ход секретный, на чертеже внутренней планировки дома комендантов, добытом мной в московском архиве, не обозначен ни «подвал» в здании, ни выход из него.

Вскоре начался ремонт, и наши доблестные строители под завязку набили «подвал» строительным мусором. Тайне Дома комендантов, казалось, так и суждено было остаться нераскрытой. Многие годы мне мерещилось, что мы, наконец, обнаружили

подземный ход и движемся по нему с фонарями. То и дело шарахаемся в стороны от скелетов, которые встречаются по пути. Мерещилась мне и новая подземная экспозиция, и даже большие сложности, связанные с ней. Но в своих видениях я все проблемы успешно решал…

В 1999 году я рассказал историю с подземным ходом археологу Игорю Евгеньевичу Скандакову, директору Омского музея истории народного образования. Человек энергичный и предприимчивый, он сразу же загорелся идеей начать раскопки. Для начала силами детей, состоявших в Омском областном скаутском центре «Сибирь», из маленького подземного каземата вынули весь строительный мусор. Затем археологи добрались до естественного грунта, где обнаружили скелет собаки, старый башмак, разнообразные мелкие предметы, позволяющие судить о возрасте Дома. За пределами здания в нескольких местах проложили шурфы, пытаясь выявить хотя бы старинные подземные коммуникации. Ничего! Мы рассказали в местной периодической печати о своих попытках раскрыть тайну, надеясь, что отыщутся старожилы, которые хранят легенды и смогут поведать нам много интересного. Старожилов не нашлось, зато вскоре в музей пришли профессиональные сапёры. Специальными приборами, способными отыскивать в земном грунте не только крупные вещи (сундуки с кладами, например…), но и просто обломки кирпичей, гнутые ржавые гвозди, полусгнившие деревяшки и проч., они тщательно исследовали прилегающую к музею территорию. Проделанная кропотливейшая работа не привела к желаемому результату. Подземный ход так и не был обнаружен. А эффектная загадка попрежнему дразнила воображение. Интерес к ней подогревался сообщениями то об одном подобном таинственном сооружении на территории бывшей крепости, то о другом.

Свет на «музейную тайну» сумел пролить омский архитекторовед Олег Васильевич Белан. В своих публикациях во вкладке «“Алфавит” в Омске» он сообщил любопытную информацию и о Доме, и его хозяевах. Так, по его словам, первым хозяином Дома, а, следовательно, первым комендантом Омской крепости, был

Александр Дмитриевич Балашов. Цитирую: «В 1799 году отправили Александра Дмитриевича, присвоив очередное звание генерал-майора, на повышение… в Сибирь, комендантом Омской крепости. В Омске генералитет внимательно следил за дворцовыми интригами конца 18-го века, и, казалось, готов был ко всему. Прибытие столь важной и привередливой персоны, как А.Д. Балашов, из эпицентра российских событий привело, похоже, местное начальство в некоторое замешательство. Жить в деревянном доме новый комендант не станет. В срочном порядке, должно быть, приступили к постройке каменного дома, раскатав по бревнышкам старый».[6]

Прервем цитирование вольным пересказом предыдущей статьи этого же автора, из которой можно узнать, в частности, о том, что впервые Дом комендантов возник на территории Второй Омской крепости и что чертил «рабочий план» будущего дома «вахмистр Фёдор де Граве», по всей видимости, отец последнего коменданта Омской крепости Алексея Фёдоровича де Граве. Как он оказался в Омске? О.В. Белан предполагает: «в середине 18 столетия в Европе начались очередные гонения протестантов, католики снова начали притеснять лютеран и кальвинистов. Большинство гонимых двинулось через океан в Новый Свет, а часть их увидела свет в России, где на престол взошла Екатерина II. Великая императрица была столь великодушна, что приняла под своё покровительство протестантов и даже даровала им некоторые свободы от повинностей. За что должны были они служить верой и правдой своей благодетельнице. Вполне вероятно, что Фёдор де Граве был в числе тех иностранцев – “новобранцев” и, как всякий уважающий себя дворянин, он не преминул заявить о своих правах и был причислен к дворянам Тобольской губернии»[7].

Таким образом, как отмечает О.В. Белан, «с именем отца – Фёдора (де Граве – *В.В.*) начинается “новая крепость”, а с именем Алексея, последнего коменданта крепости история её закончилась». Я проводил автора этих статей к месту нашей «тайны». Спустившись по лестнице вниз и осмотревшись, он сделал вывод о том, что «своды старше, чем дом». Предположительно, это помещение могло находиться внутри первого, деревянного дома комендантов. Вероятно, именно поэтому вход-выход из подземной

комнаты расположен, на наш сегодняшний взгляд, так странно и, к тому же, не обозначен ни на одном плане. Комната просто могла быть частью подвального помещения, войти в который можно через улицу – вот как возник арочный проём. Когда деревянный дом снесли, крыльцо разобрали, арку заложили кирпичом, а сверху прорубили лаз, через который попадали внутрь таинственной комнаты и тогдашние жильцы, а затем и мы, жители современного Омска…

Тайны больше нет. А жаль.

Летом 2001 года мы облагообразили внутренний вид потайной комнаты Дома комендантов Омской крепости, провели в неё тепло и свет, и устроили в ней выставку «Микроминиатюры Анатолия Коненко», приурочив её к 285-летию Омска и 180-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Потом появилась новая идея – устроить в подземной комнатке что-то вроде аттракциона для «новых русских», эдакую пыточную камеру, где можно «примерить» кандалы, посидеть в сыром помещении оговоренное время. Вход – бесплатно, выход – сто баксов… За отдельную плату желающих могли бы даже выпороть… Правда, эта затея так и осталась колкой шуткой.

Быть может, в потайной сводчатой комнате бывшего Дома комендантов Омской крепости со временем будет создана выставка орудий наказания, применявшихся когда-то в Омской крепости.

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ…

Первая половина известной фразы, к счастью, относится не к музеям. Музеи призваны собирать и хранить памятники материальной и духовной культуры. Говоря проще, музеи призваны в своих фондах и экспозициях оставить для последующих поколений слепок времени в виде предметов быта, документов, фотографий, книг, инструментов, которыми пользовались люди, образцов продукции промышленного и сельскохозяйственного производства. Одной из составляющих миссии музеев является необходимость документировать духовную жизнь общества в определённую эпоху. В исполнении эта задача вызывает порой наибольшие, и часто непреодолимые сложности.

Как на вещественных примерах показать, чем одухотворялись люди? Чем дорожили и чем пренебрегали? Какие действия государственной машины оказывались для них наиболее болезненными, а какие, напротив, благотворными? Ведь можно сохранить тысячу программок театральных спектаклей и афиш, сотни тысяч фотографий. Сто лет следить, чтобы пыль не села на балетные тапочки Улановой или веер, с которым выходила на сцену великая Плисецкая в роли Кармэн. Но как передать будущему посетителю музея или, например, исследователю, перебирающему документы в фондах, живые человеческие чувства? Волнение помощника режиссёра, стоявшего в кулисе во время премьеры? Или гордость визажиста, создавшего уникальный грим, вдохновение костюмеров, тщательность рабочих сцены… А как в экспозиции литературного музея отразить, что испытывает писатель, создавая в воображении замысел будущего текста? Что происходит в его душе, когда он подыскивает нужные слова, выстраивает их в порядке, необходимом для создания настроения, передачи чувств и ощущений персонажей, которые имеют индивидуальные вкусовые ощущения, каждый по-своему воспринимают цвета, запахи, температуру и влажность среды, которая их окружает?..

Задаваясь этими и подобными вопросами при разработке плана научного комплектования фондов, музейный работник должен быть хоть чуточку режиссёром спектакля, который в будущем назовут постоянно действующей экспозицией или временной выставкой. Он должен знать, как сохранить то, что собрано в фонды музея. Как показать рукопись или уникальную фотографию, книгу или старинную вещь, чтобы не повредить их. Не посадить на клей, не пришпандорить гвоздями или кнопками, не обрезать, если не подходит в рамку и не отбить кусок, если не становится в витрину… Музейщик лучше других знает, о чём говорится во второй части известной фразы, вынесенной в заголовок: «Потерявши – плачем…»

Музейщик должен быть разнопрофильным специалистом. Он должен в совершенстве знать историю как базовую дисциплину и при этом быть профессионалом в узкой профессии. Например, в литературном музее сотрудник должен знать, что и когда

происходило в стране и регионе, какие события влияли на жизнь людей вообще и на писателей, в частности. Но, кроме того, он должен знать историю и теорию литературы, и, что ещё более важно, уметь отличить плохой художественный текст от хорошего – хотя бы для того, чтобы не оставить потомкам, как нечто выдающееся, следы творчества записного графомана – в рукописях и разнообразных изданиях… Кроме того, сотрудник любого музея должен обладать дотошностью исследователя, в душе быть учёным (некоторые музейщики действительно раньше или позже становятся учёными). Ему должен быть интересен каждый документ, каждый факт. Ведь мостовая истории лишь внешне выглядит как нечто монолитное. На самом деле она имеет основание, в котором, конечно, есть и глыбы, но ещё больше разноцветных камней, камушков и даже песчинок…

Большинство музейщиков и по своему образованию, и по мироощущению – педагоги. Они обязаны уметь отобрать и систематизировать факты. Адаптировать их к восприятию разновозрастных групп. Уметь выделить главное. Сделать правильные акценты. Всегда иметь сверхзадачу (зачем он рассказывает именно об этом, какую цель преследует, чего хочет добиться от посетителей, кроме усвоения поданного материала?)

Музейный работник должен быть, отчасти, и артистом. Выходя на экскурсию, он, как и актер, должен забывать о своём самочувствии, о своих радостях или огорчениях. Не хочешь сегодня показывать свою любовь к музею и теме экскурсии, не в настроении – изволь и любовь и интерес сыграть… Да так, чтобы никто не догадался, что у тебя на душе кошки скребут или просто голова раскалывается… Единственное, что можешь себе позволить – это дать пережитому переплавиться в неизгладимое впечатление, в знания, которые унесёт с собой экскурсант.

Сколько раз на моём музейном веку я всерьёз задумывался об этом!

Преподавательница пригоняет в музей группу из какого-нибудь ПТУ. Возраст у детей всё ещё гормонально-брутальный. Энергия переполняет, хочется бегать, прыгать, орать, где-нибудь

что-нибудь ковырять, что-то проказливое затевать, толкаться, шумно выяснять отношения, примериваться к лучшему месту в шеренге, толпе или строю. Отмахиваться от мыслей о будущем, которое всё равно будет, хочешь ты этого или нет, и в котором всё успеется, потом, когда-нибудь, но не сейчас, а потом, потом, в другом месте, когда уже никуда от этого будущего не деться.

И вот такая группа, давясь, протискивается в двери музея. В их коллективном оре с трудом, но можно разобрать возмущённые вопросы о том, зачем их сюда пригнали? лучше бы на дискотеку пошли! у них нет денег на билет! (а сами одеты в кожу и через одного в руках у каждого мороженное, которое стоит в два раза дороже, чем вход в музей). А вот выделяется ор особенно интересный: «Дайте мне этого экскурсовода, я ему сам экскурсию проведу!!!» Этого уже стерпеть нельзя. Являюсь. Приветственные крики: «О! Классно!» Шепоток: «Достоевский-достоевский-достоевский»… Протягиваю крикуну указку: «Пожалуйста. Проведите нам экскурсию. Мы все с удовольствием послушаем». Крикун, разумеется, тут же тушуется и сникает. Группа, которая в любой момент готова дружить против кого угодно, гогочет и уже с интересом смотрит на меня. Что ж. Приходится соответствовать. Через пятнадцать минут после начала экскурсии спина мокрая, даже если в залах музея температура не поднимается выше плюс 15-16 градусов. Работаешь на износ. Нет, внешне ты спокоен, может быть, даже слишком. Но внутренняя собранность, лаконичность движений, точно выбранная громкость голоса, его тембр и интонации заставляют группу всматриваться в твои глаза и движения, следить взглядом за указкой, следовать за тобой по залам, постепенно сосредоточиваясь. Чувствуешь, как от тебя к тридцати мальчикам и девочкам тянутся энергетические нити. Надо удержать их внимание во что бы то ни стало. Через пятнадцать минут приходится сменить стиль монолога на стиль беседы. Начинаю говорить, обращаясь непосредственно к каждому из них, использую слова: «вообразите, представьте себе, скажите, что Вы видите на этом рисунке». Обращаюсь с просьбой подойти поближе и прочесть какую-нибудь надпись на картинке, чтобы они сами могли убедиться в правдивости моих слов. Обещаю не кусаться. Дети с удовольствием принимают игру. Откликаются, отвечают,

подходят, читают вслух. Во время образовавшейся эмоциональной паузы они отдыхают. Отдыхаю и я. Концентрируюсь для подъёма на следующий виток. Там будет тоже очень много фактической и эмоциональной информации. Начинается самый трудный период – третья пятнадцатиминутка. Дети устали стоять, и стоя слушать. Ходить за кем-то, да ещё всем вместе. Их уже давно тянет побуянить. Но я не даю им расслабиться. Гружу их таким материалом, который, я знаю, будет им интересен. Провоцирую их интерес. Здесь важен тон. Ни в коем случае нельзя заигрывать с детьми, выдавая информацию! Необходимо держать дистанцию, то сокращая её, то снова делая ощутимой. После длинного рассказа о Достоевском – общественном человеке выдаю фразу: «Перед Вами фотография первой жены писателя»… Пауза в секунду. Полторы… Есть! Где-то во втором ряду стоящих передо мной молодых людей слышится вопрос, шёпотом заданный не мне, а спине соседа, стоящего впереди: «А вторая где? А, может, и третья была?..» Озвучиваю услышанный вопрос уже громко и серьёзно. Скрывая иронию, благодарю за подсказку. Говорю, не будь фотография чёрно-белой, на щеках этой женщины можно было бы разглядеть болезненный румянец. Рассказываю о её нелёгкой судьбе и преждевременной кончине. Самое время поговорить о любви. Это они понимают. Это их волнует. Даже если речь идёт не о Бритни Спирс, а о жене Достоевского. Ну вот. Скоро финиш. Последний эмоциональный всплеск – рассказ о смерти писателя и о его похоронах. Дети понимают, что дело близится к финалу. Они теперь будут терпеливо слушать и о значении творчества писателя сегодня, и о местах, связанных с ним в нашем городе. Иногда в такой приручённой группе оказываются толковые люди, которые даже задают вопросы. Причём, не прячась за чью-то спину, а громко. Спрашивают, потому что это их действительно интересует. С удовольствием отвечаю. Вопросов больше нет. Прощаюсь. Группа торопливо, но уже без давки, выходит на улицу. Отходят от музея. И только тогда вновь раздаётся гогот. Снова они толкают друг друга и несутся куда-то вскачь…

На лекциях вне музея тоже иногда случаются презабавные истории. Как-то пришлось мне читать лекцию о декабристах в

одном среднеспециальном учебном заведении. В аудитории – одни барышни. Выдаю материал и чувствую, что им скучно. Надо срочно что-то делать. Немного поворачиваю тему и говорю о декабристках – возлюбленных героев и романтиков 1812 года. Вдруг, когда мне уже кажется, что меня начинают слушать не только из вежливости, вижу боковым зрением, как девица, которая сидит за первым столом в крайнем ряду слева, быстрым движением кладёт обе свои ноги в ярких розовых колготках на стол. Девицы в аудитории, все, как одна выдохнули: «Ах-х!!!» Тридцать пар глаз переводятся с ног в розовом на меня, с меня – на ноги в розовом. Не смотрю на эту фрондёрку. Много чести. Пауза не более трёх секунд. И, неторопливо:

– Я бы на Вашем месте не стал демонстрировать всем свои *грязные колготки…*

– Неправда! Я стирала!..

Ноги тут же убраны на место. Все с облегчением смеются. Сделана эмоциональная разбивка. На меня смотрят с уважением и дают возможность закончить лекцию…

Нисколько не пытаюсь расхваливать себя как профессионала. Говорю о том, как было на самом деле. И всегда чрезвычайно высоко ценю профессионализм в других. Однажды в музее А.С. Пушкина на Мойке, 12 в Питере, последней квартире поэта, испытал самое настоящее потрясение от работы коллеги. В этом музее всегда много народу. Трудно бывает записаться на экскурсию. Группы идут одна за другой, буквально наступая на пятки. При таком конвейере экскурсоводу сложно выкладываться. Зная это, я не стремился примкнуть к группе. Проходил мимо. Голоса экскурсоводов сливались в общий фон. Я рассматривал фотографии, вчитывался в этикетки и тексты. И вдруг откуда-то издалека донёсся голос. Слова трудно разобрать, но я уловил интонацию. И пошёл на голос, за ним. Стал искать экскурсовода. Так и не увидел её. Но дойдя с группой до конца, пережил последние мгновения великого поэта. Побывал им самим, и Натальей Николаевной, и Данзасом, и Пущиным. И даже царём Николаем… И до сих пор при воспоминании о той высокопрофессиональной экскурсии к горлу поднимается комок и я снова чувствую как близко слёзы…

На протяжении некоторого времени музейщики любили повторять лестные слова академика Д.С. Лихачёва, сказанные в их адрес: «Последние святые на Руси». Повторяли до тех пор, пока слова эти не стали красивым штампом. Да и неуместно людям, которые всё время твердят о необходимости развития материальной базы своих музеев, о необходимости вкладывать немалые средства в создание условий для хранения и научного учёта фондовых коллекций, о том, что самый низкооплачиваемый труд – это труд библиотекарей и музейных работников, говорить о собственной святости. Святые – великие страдальцы. Жизнь отдавали за людей и за идею. Невольно эти размышления ассоциируются со словами, написанными 17-летним Достоевским. Он собирался всю жизнь разгадывать человека, как величайшую тайну. Если занимаешься разгадкой этой тайны – «не говори, что потерял время», – отмечал он. Вот и я могу повторить вслед за Достоевским, перефразируя сказанное им. Если уж работаешь в музее, если нашёл здесь своё призвание – старайся соответствовать высокой планке профессии и не говори, что потерял время, не жалуйся и не сетуй на судьбу…

Дмитрий Достоевский[1], *Наталья Шварц*[2]
ИЗ ИСТОРИИ РОДА ДОСТОЕВСКИХ

В прошедшем 2006 году сложилась уникальная ситуация со значительными датами в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского. Отмечались не только 185-летие и 125-летие со дня рождения и смерти писателя, круглые даты выхода в свет его романов «Преступление и наказание», «Игрок». Самым значительным юбилеем стало 500-летие со дня основания рода, к которому принадлежал великий писатель.

Отправная точка истории рода Достоевских – 6 октября 1506г., документально засвидетельствованная дата, когда основоположник рода, **Данила Иванович Ртищич**, получил жалованную грамоту на владение сельцом ***Достоево*** (современная Брестская область республики Беларусь), по названию которого эта ветвь боярского рода Ртищевых стала прозываться ***Достоевскими***. Этот

факт – уникальный случай в национальной истории, когда для выдающегося дворянского рода возможно указать календарно точную дату возникновения.

Данила Иванович Ртищич – по устоявшейся версии потомок татарского воина Аслана Челиби-мурзы, выехавшего из Золотой Орды в 1389 году и перешедшего на службу московскому князю Дмитрию Донскому. В настоящее время минским исследователем Д.Л. Башкировым собраны не лишённые убедительности сведения, что основатель рода Достоевских принадлежит к исконно полесскому роду Иртишевичей, не имеющему ничего общего со старинным великорусским родом Ртищевых.

В грамоте говорится: «А дали есмо тому нашему боярину тое именье и со всем тым, што из старины к тем дворищом прислухало, с землями пашными и з бортными, и з их ловы, и з реками, и з Луги… А дали есмо тое именье тому нашему боярину вечно и непорушно, ему и его жоне, и их детем, и их счадком». Возможно древнее русское слово «достоин», обозначающее воина, стало корнем в названии села и, соответственно, фамилии. Подобное объяснение можно дать и гербу Радван, который использовали Достоевские.

Согласно легенде, в одной из войн польского короля Болеслава I Храброго (992-1052) с Русью отряд, которым командовал Радван, встретился с превосходящими силами козаков. Чтобы вдохновить своих воинов на победу, Радван поднял взятую из близлежащей церкви хоругвь и увлёк отряд за собой. За доблесть и благочестие король позволил Радвану изобразить её на своём гербе.

В многотомном исследовании известного польского историка Адама Бонецкого «Herbarz Polski», изданном в 1901 году, значится: «*Достоевские*, г<ерб> <…> представляет собою <герб> Радвана, с той разницей, что вместо креста над хоругвью помещён перстень. Над шлемом <венчающим щит>, рука в латах, с мечом». Перстень или кольцо в верхней части щита в геральдике считается знаком третьего сына. Поэтому можно предположить, что Достоевские были в родстве или вассальных отношениях с младшей ветвью рода Радван.

Андрей Михайлович Достоевский – младший брат писателя в своих «Воспоминаниях» пишет: «Фамилия Достоевских принадлежит к числу очень древних дворянских фамилий, по крайней

мере в книге князя Долгорукова дворянская фамилия эта отнесена к существовавшим ранее 1600 года литовским фамилиям…»

Более полутора веков Достоевские часто упоминаются в различных исторических документах. Они занимали достаточно высокие посты маршалков (предводителей) местной шляхты, становились послами в Сейме или же избирались в члены Главного трибунала Великого княжества Литовского. В центре Минска до сих пор на возвышенности сохраняется «Дача Достоевского» – так называют её минчане. Имение, вероятно, принадлежало одному из представителей этого рода, главе городской администрации, «городскому глашатаю».

Подписи четырёх Достоевских, по архивным данным, стоят в документах об избрании польских королей. Интересны сведения в исторических документах XVI века о первом в роду Фёдоре Достоевском. Он – «земянин Пинского повета» и состоит «уполномоченным приятелем», то есть адвокатом князя Андрея Курбского.

Известен также **Акиндий Достоевский**, бывший в XVII веке иеромонахом Киево-Печёрской лавры. Сохранилась его подпись под актом избрания в сан архимандрита Иосифа Тризны (избрание на Дворянском съезде в Киеве 25 января 1647года).

В документах последующего времени появляются Достоевские с «экзотическими» именами, например **Карл Достоевский и Гомер Достоевский**. Как показали разыскания украинского исследователя А.И. Рогового – это прямые предки писателя.

Земли Полесья ещё долгое время вплоть до Первой мировой войны оставались ареной влияния как Запада, так и Востока. С объединением Литвы и Польши в одно государство и возникновением «Речи Посполитой» началось агрессивное распространение польского влияния, выразившееся, прежде всего, в активной деятельности католической церкви на территории бывшего Русско-Литовского княжества. Этнически принадлежа к русским, Достоевские, сопротивляясь окатоличиванию, постепенно переселились на Волынь в Малороссию (Украину). После переселения упоминание этого рода в исторических документах становится исчезающе мало на долгие полтора века. К этому времени род утратил своё дворянское достоинство, и подавляющее число Достоевских становилось рядовыми приходскими священниками.

Так, **Андрей Достоевский** (1756–1821), дед Фёдора Михайловича Достоевского служил приходским священником в селе Войтовцы (современная Винницкая область республики Украины).

У биографов писателя давно уже не было сомнений в том, что его дед, начавший свою духовную карьеру как униатский священник, после включения земель Брацлавского воеводства в состав Российской империи воссоединился с православием. Сам отец Андрей пишет, что это произошло в 1795г. и указывает на имя воссоединившего его протоиерея Иоанна Строцкого – известного церковного деятеля того времени, вернувшего в лоно православия более 30 священников Винницкого и других уездов. Нет никаких оснований думать, что, воссоединяясь с православием, Андрей Достоевский просто «плыл по течению». Скорее напротив, можно предположить, что это был обдуманный и вполне искренний шаг. В пользу такого рассуждения говорит любопытная легенда, ещё не так давно бытовавшая в Войтовцах. Согласно ей, в местной церкви до самого её разрушения в середине 1930-х гг. хранилась икона Успения Богородицы, подаренная Андрею Достоевскому самим Александром Васильевичем Суворовым. С 15 июля по 6 августа 1794г. знаменитый русский полководец квартировал совсем рядом – в Немирове, занимаясь расформированием польских частей на только что присоединённых к России территориях. Дарение иконы, как некий поощрительный жест сочувственно настроенному священнику, в этих обстоятельствах было весьма уместно.

Андрей Достоевский был весьма незаурядной личностью. Именно ему приписывается авторство одной из покаянных песен, вошедших в «Сборник благоговейных, покаянных и умилительных песен» (Богогласник), изданный в 1790г. «в святей Лавре Почаевской тщанием иноков чину Святого Василия Великого». Имеющаяся здесь под №215 песня выполнена в форме акростиха, первые буквы начальных строф которого читаются как «ДОСТОЕВСКИ». Один из редких экземпляров этой книги сейчас находится в Государственном литературном музее в Москве

В то же время брат деда писателя **Ян (Иван) Достоевский** в тех же краях был отстранен от служения за стойкую приверженность униатству.

Сын Андрея Достоевского **Михаил** (1787-1839), по принятой традиции должен был наследовать духовную стезю отца, но, прервав учебу в семинарии, возможно без благословения родителя, отправился в Москву, где поступил в Медико-хирургическую Академию. Им были прерваны всякие связи с оставшимися на Украине Достоевскими. Почему это случилось, неизвестно, но, по воспоминаниям его внучки Любови Достоевской, он говорил своим детям об отсутствии у них однофамильцев.

К чести Михаила Андреевича Достоевского надо отметить, что, успешно подымаясь по карьерной лестнице, он восстановил дворянство для себя и своих детей.

Окончив ускоренным курсом Военно-медицинскую академию, Михаил Андреевич принял участие в Отечественной войне 1812 года, показав себя умелым и мужественным специалистом. В мирное время, став лекарем Московской Мариининской больницы для бедных, он выслужил чин коллежского асессора, что вместе с награждением его орденом Анны третьей степени давало ему право на звание потомственного дворянина.

Его старанием и попечением все четыре сына получили хорошее образование. Однако, хотя оба старших сына Михаил и Фёдор получили инженерное образование: один в Ревеле, другой – в Петербурге, им не суждено было служить на этом поприще. И Михаил Михайлович и Фёдор Михайлович выбрали другой путь – они стали литераторами.

Михаил Михайлович Достоевский (1820–1864) известен как поэт, прозаик, драматург, переводчик. Он вместе с Фёдором Михайловичем издавал и был редактором журналов «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864). Наиболее значимы переводы М.М. Достоевского из Гете, Шиллера, Гюго.

Два младших сына Михаила Андреевича были по образованию архитекторами.

Андрей Михайлович Достоевский (1825–1897) всю свою трудовую жизнь посвятил архитектурному делу, исполнил большое количество казённых, церковных и частных построек в различных местах России. Но основная часть его трудовой деятельности была отдана ярославскому краю. Здесь он прослужил четверть века с 1865 по 1890г., сначала по 1867г. в должности губернского

архитектора, а затем губернского инженера, руководителя строительного отделения Ярославского губернского правления.

Николай Михайлович Достоевский (1831–1883) служил сначала в Ревеле, затем в Петербурге. До нашего времени сохранились его постройки в Петербурге: особняк П. Копылова (1862) на ул. Правды, д.20; доходные дома на Среднем проспекте Васильевского Острова – д. №№ 22 (1882 год постройки) и 76 (1878–1879 годы постройки).

В роду Достоевского было много замечательных деятелей на разных общественных поприщах – священников, учёных, врачей, литераторов, историков культуры, архитекторов, статистиков etc. В истории этого рода так или иначе отразились практически все перипетии национальной истории второй половины минувшего тысячелетия, и этот род по праву называют «живой моделью» истории России. Доказательством тому – биографии всего лишь нескольких Достоевских, которые мы приводим в этой работе.

Александр Андреевич Достоевский (1857–1894), племянник писателя. Доктор медицины. Приват-доцент по кафедре гистологии и эмбриологии в Военно-медицинской академии в Петербурге. Диссертацию на степень доктора медицины защитил в 1884году. В своих исследованиях Александр Андреевич предвосхитил открытия современной медицины. Он первым описал половинный набор хромосом в клетках животных. Александр Андреевич рано скончался. Газета «Врач» так отозвалась на его кончину: «Преждевременная смерть, унёсшая Александра Андреевича, составляет тяжёлую потерю, как для Академии, так и вообще для всей русской науки, лишившейся одного из своих самых трудолюбивых и добросовестных деятелей».

Андрей Андреевич Достоевский (1863–1933), племянник писателя. Статистик-географ, действительный статский советник. В 1880г. деятельный участник первой переписи населения Российской Империи. Редактор Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, с 1900г. заведующий статистическим разрядом в Министерстве народного просвещения и одновременно, с 1901 по 1914г. учёный секретарь Русского географического общества. Редактор «Известий» Общества. Автор

обширного биографического очерка о выдающемся русском путешественнике и ученом П.П. Семёнове-Тян-Шанском.

В большим вниманием относился ко всему, что связано с историей семьи и, прежде всего, личности и творчества своего великого родственника – Фёдора Михайловича Достоевского. В 1930 году редактировал «Воспоминания» своего отца – Андрея Михайловича. Эта книга до сих пор остаётся единственным и важнейшим биографическим источником о детских годах Достоевского.

В ноябре 1930 года, будучи учёным хранителем Института Пушкинского дома (Институт русской литературы Академии Наук СССР), был арестован «по делу академиков» и отправлен в лагерь на строительство Беломорско-Балтийского канала. Предположительно, благодаря ходатайству А.В. Луначарского, был освобождён «по случаю 50-летия со дня кончины Ф.М. Достоевского».

Милий Фёдорович Достоевский (1884–1937), внучатый племянник писателя, внук его старшего брата Михаила. В 1909 году окончил Археологический институт и в 1910 году специальные курсы Лазаревского института в Москве. Историк культуры, учёный-востоковед, он опубликовал ряд книг и статей по восточному искусству, в том числе и книги «Быт и старина Средней Азии» и «Суздаль», вышедшие в Москве в 1917-19 годах.

Примечательна судьба внука двоюродной сестры Ф.М. Достоевского – **Феодосия Григорьевича Добржанского** (1900-1975), одного из крупнейших биологов XX века, генетика и эволюциониста. Ученик В. Лучника и Ю. Филиппченко, он явился создателем экспериментальной генетики популяций и синтетической теории эволюции. В 1920-х годах, эмигрировав за границу, стал одним из ближайших сотрудников создателя хромосомной теории наследственности Т. Моргана в Колумбийском университете.

Среди тех представителей рода, которые после 1917 года остались в Советском Союзе, заслуживает внимания **Мария Владимировна Савостьянова** (1894–1982), внучатая племянница писателя. Многие годы она работала в Физико-математическом институте им. В.А. Стеклова и Оптическом институте им. С.И. Вавилова в Ленинграде.

Доктор физико-математических наук. В домашнем архиве Мария Владимировна сохранила многие ценные документы и семейные реликвии своего деда – Андрея Михайловича Достоевского и при открытии Музея Достоевского в 1971 году передала их в фонды Музея.

Носителями родовой фамилии на сегодняшний день в России остались только потомки Фёдора Михайловича Достоевского. Из четырёх его детей род продолжил только сын **Фёдор Фёдорович** (1871-1922). **Соня** и **Алёша Достоевские** умерли в раннем детском возрасте, а **Любовь Фёдоровна** (1869–1926) не была замужем, детей не имела. Она известна как писательница, автор книг «Больные девушки», «Адвокатка», «Эмигрантка». Но наибольшую ценность до сегодняшнего дня представляют её воспоминания об отце «Достоевский глазами своей дочери» (1920).

Третий **Фёдор Достоевский** (1905-1921), внук писателя, умер подростком, заболев тифом. Явно наследуя литературный дар деда, он к шестнадцати годам заявил себя как весьма способный поэт и его ранняя кончина, возможно, оставила Россию без ещё одного Фёдора Достоевского – талантливого литератора.

Второй внук писателя, **Андрей Фёдорович** (1908-1968), прожил жизнь, во многом типичную для советского человека. Закончив в Ленинграде Политехнический институт, он стал инженером лесотехнической промышленности. После убийства Кирова Андрей Фёдорович был арестован среди тысяч других, но за недоказанностью обвинения вскоре был выпущен на свободу.

В первые дни Великой Отечественной войны внук писателя ушёл на фронт. 29 июня 1941 года он был призван младшим лейтенантом по военной специальности «механик тракторных и танковых двигателей» в ремонтные мастерские танковых войск. Война закончилась для Андрея Фёдоровича в далёкой Манчжурии в 1946 году.

После войны он преподавал в Ленинградском радиотехническом техникуме, но главным делом его жизни было создание Музея Ф.М. Достоевского в Ленинграде и перезахоронение в 1968 году праха бабушки Анны Григорьевны Достоевской, согласно её завещанию, в могилу Ф.М. Достоевского в Александро-Невской лавре. К сожалению, до открытия Музея Достоевского в год 150-летнего

юбилея писателя Андрей Фёдорович не дожил. По его замыслу и при его непосредственном участии создавался альбом «Ф.М.Достоевский в портретах, иллюстрациях, документах». Но вышел он только в 1972 году с его именем уже в траурной рамке.

Дмитрий Андреевич Достоевский – сын Андрея Фёдоровича и правнук великого писателя родился в 1945 году в Ленинграде. После смерти отца продолжил его хлопоты по открытию Музея в Ленинграде, а затем Музея Ф.М. Достоевского в Старой Руссе. Он является непременным участником традиционных научных конференций в Музеях Достоевского в этих городах, участником Симпозиумов Международного общества Достоевского, активно занимается историей рода. Является консультантом в Музее Достоевского в Петербурге и членом учёного совета Музея.

Наследственность, то есть отклик предков в личности потомка, ставит его в первый ряд тех будущих поколений, к которым обращался русский гений. Таким образом потомки несут ответственность за существование в своём роду великого человека. Тонка ветвь писателя в древе рода Достоевских, но теперь единственный сын правнука **Алексей Дмитриевич Достоевский** (род. 1975) растит уже трёх прапраправнучек: **Анну** (род. 2000), **Веру** (род. 2001) и **Марию**, появившуюся на свет в год 500-летия рода Достоевских – 2006.

Надо сказать, что Фёдор Михайлович Достоевский интересовался своими предками, знал историю зарождения рода. Известно, что его жена Анна Григорьевна, по его поручению, посылала запросы о Достоевских, живущих на землях Полесья. Но, увы, они возвращались с отрицательным ответом.

Только в начале XX века началось систематическое научное изучение рода Достоевского, предпринятое разными учёными. Одно из них, наиболее полное, выполнено М.В. Волоцким, издавшим в 1933 году книгу «Хроника рода Достоевского. 1506 – 1933».

Труд Волоцкого имеет непреходящее значение, поэтому, значительно дополненное новыми разысканиями современных учёных: Игоря Волгина, Николая Богданова, Бориса Тихомирова – оно будет переиздано в ближайшее время и посвящено 500-летнему юбилею рода Достоевского.

Соединение имени Ф.М. Достоевского, гения мирового значения, и исключительно «круглой» даты – 500 лет, делают этот юбилей поистине единственным. В обозримом будущем повторения подобного юбилея не предвидится. Поэтому Российское общество Достоевского придавало особое значение идее широкомасштабного и достойного празднования уникальной даты. Был создан комитет по празднованию 500-летия рода Достоевского, возглавил который правнук писателя Дмитрий Андреевич Достоевский, разработана большая программа мероприятий в различных российских городах, не только связанных с историей рода, но и являющихся центрами современного достоеведения: Санкт–Петербурге (организатор – заместитель директора Музея Достоевского Б.Н. Тихомиров), Москве (организатор – доктор филологически наук профессор И.Л. Волгин), Старой Руссе Новгородской области (организатор – директор Дома-музея Достоевского В.И. Богданова), Петрозаводске (организатор – доктор филологических наук профессор В.Н. Захаров), Коломне (организатор – доктор филологических наук профессор В.А. Викторович).

«Комитет-500» видел свою задачи в том, чтобы привлечь внимание общественности к важным страницам российской истории, актуализировать идею личных усилий отдельного человека, семьи, рода в государственном и культурном созидании, напомнить о духовных ценностях, которыми испокон веку укреплялось и направлялось национальное существование России, дать пример значимости и ценности генеалогических исследований как основы личной и общенациональной культурной памяти.

Центром по проведению юбилея стал Санкт–Петербург, город, неразрывно связанный с именем Ф.М. Достоевского.

Главным мероприятием года стала традиционная Международная конференция в петербургском Музее Достоевского «Достоевский и мировая культура». В этом году она прошла под знаком 500-летнего юбилея. Доклады, прочитанные на специальной секции, ещё раз подчеркнули значимость и важность этой темы в науке о Достоевском и определили её дальнейшее развитие.

Закончилась Конференция концертом в историческом зале им. А. Глазунова Санкт-Петербургской Консерватории. Была подготовлена программа из произведений, которые слушал или упоминал в

своих произведениях Ф.М. Достоевский. Исполнялись произведения И.С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, В.А. Моцарта, М. Мусоргского и П. Чайковского. Этот концерт был данью памяти музыкантам из рода Достоевских, и, прежде всего, Фёдору Михайловичу Достоевскому-младшему – племяннику писателя. Он учился у известного пианиста и педагога Антона Рубинштейна в петербургской Консерватории, а впоследствии возглавлял Саратовское отделение Российского музыкального общества и сделал многое для развития музыкальной культуры в русской провинции.

6 октября 2006 года, в день 500-летия рода Достоевского, в Музее Достоевского открылась выставка «Род Достоевских в истории России», организованная при участии литературных и исторических музеев города. Главным экспонатом выставки стало родословное древо Достоевских. Внимание посетителей привлекали и раритеты, полученные из древлехранилища Пушкинского дома (Института русской Литературы РАН) – «Богогласник» с акростихом Андрея Достоевского и Евангелие XVI века с автографом «Роман Достоевский».

День 6 октября был отмечен ещё одним значительным событием: на Смоленском православном кладбище в Петербурге после реставрации был открыт мемориальный комплекс восстановленных захоронений младшего брата писателя А.М. Достоевского и его детей.

Совместно с ФГУП «Почта России» и Издательско-торговым центром «Марка» был выпущен 500-тысячный тираж почтовых конвертов с символикой юбилея рода Достоевского.

Огромное количество интересных, значительных и важных мероприятий прошло в российских городах в 2006 году. Организаторы сумели объединить вокруг юбилея не только специалистов, учёных и почитателей творчества Достоевского, но и привлечь внимание властных структур. Так, в Петербурге все мероприятия проходили при организационной поддержке Законодательного собрания города, Распоряжением Администрации Новгородской области 2006 год был объявлен на территории области годом Достоевского, Правительство Москвы поддержало проведённый в декабре Фондом Достоевского II Международный Симпозиум «Русская словесность в мировом культурном пространстве», главной темой которого было 500-летие рода Достоевского.

Очень ярко, выразительно был отмечен юбилей в Ярославле, Томске, Коломне, Петрозаводске, Уфе. Издавались книги, монографии, организовывались художественные выставки, публичные лекции, семинары и ещё многие, многие замечательные дела. Одним из первых по времени откликом на эту дату стала инсценировка грузинским Драматическим театром по роману «Записки из Мёртвого дома». А премьера спектакля состоялась в Омске, в Доме Культуры, стоящем на месте бывшего острога, где отбывал каторгу Достоевский.

В Московском музее Ф.М. Достоевского, как известно, располагающемся во флигеле бывшей Мариинской больницы бедных, где прошли детские годы писателя, в ноябре 2006г. открылась выставка, посвященная 500-летию славного рода. На ней были представлены уникальные экспонаты из собрания Государственного литературного музея и личной коллекции исследователя рода Достоевских Н.Н. Богданова. Посетители Музея могли увидеть изображение герба Достоевских, фотокопию иконы Львовской Божьей Матери, перед которой в 1624г. возвратившийся из турецкого плена Стефан Достоевский в благодарность за освобождение повесил отлитые из серебра символические цепи, первое издание «Богогласника» 1790г., содержащее покаянную песню в форме акростиха, читающегося как «Достоевски». В своё время эта книга принадлежала младшему брату писателя – А.М. Достоевскому, о чём свидетельствует его владельческая надпись. Здесь же были представлены пастель М.М. Достоевского, изображающая его семью, черновой вариант родословной росписи, составленный в начале 1920-х гг. А.А. Достоевским для автора книги «Хроник рода Достоевского» М.В. Волоцкого, фотографии села Достоева, давшего наименование роду, украинских сел Секуня, Клычковичей, Скалы и Войтовцов, где в разное время селились предки писателя, а также церкви Параскевы Пятницы, построенной в начале 1860-х гг. двоюродным братом писателя священником Антонием Черняком. Кроме того, экспонировались семейные фотографии Достоевских, личные вещи внука писателя А.Ф. Достоевского и многое другое. Для посетителей «Осенних вечеров на Божедомке» куратор выставки Н.Н. Богданов провел несколько обзорных экскурсий.

Чрезвычайно важно то, что юбилей рода Достоевского укрепил связи историков, краеведов, архивистов, музейщиков Белоруссии, Украины и России.

Исследование по архивным документам этапов жизни и деятельности таких древних родов как род Достоевского, даёт обширный материал пытливому исследователю для выявления связей истории поколений с общей историей развития наций. Вектор миграции этого рода совпадает с вектором взаимопроникновения и взаимовлияния трёх славянских народов, белорусов, украинцев и русских. Нынешние представители рода живут в разных концах бывшей Российской империи, формально принадлежа к разным народностям. Сегодняшнее разделение этих народностей никак не может быть логическим итогом изучения жизни представителей этого рода в национально-историческом аспекте и даёт достаточное основание рассматривать это разделение как временное, конъюнктурное, бесперспективное. Фёдор Михайлович Достоевский считал любое разделение обмерщвлением и стремился в своих произведениях к синтезу как животворящему явлению. Принадлежа этнически и культурно к русской нации, он заявлял: «Братство различных национальностей есть великая, прекрасная самая русская вещь, то есть самая русская цель. Это впоследствии все поймут, что это одна из главных русских целей».

Светлана Ананьева

ВРЕМЯ – ПРОСТРАНСТВО – АВТОР

(Окончание. Начало см. «ГС» №4-5)

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В РОМАНАХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕСЫ» И ПАУЛО КОЭЛЬО «НА БЕРЕГУ РИО-ПЬЕДРА СЕЛА Я И ЗАПЛАКАЛА»

Выбор этих двух произведений русского классика XIX века с мировым именем и популярного сегодня прозаика Пауло Коэльо, создающего свои книги в Бразилии («Я должен вернуться в Бразилию и вновь соприкоснуться с бразильским

образом жизни и с этим народом, владеющим невыразимой способностью не отделять реальность от вымысла – это магия в материальном мире – они смешали все») [68, с.5], думается, вполне объясним и в какой-то степени закономерен.

Ф.М. Достоевский изображает своих героев в наиболее напряжённые моменты их жизни, переломные, в минуты роковой страсти, выбора, в напряжённой внутренней борьбе с самими собой. Характеры его героев раскрываются в острых драматических ситуациях, неожиданных поступках, с особенной полнотой передающих душевные кризисы и потрясения. Поэтому столкновение временных пластов, наложение одного на другой, когда только прошлое помогает объяснить мотивы поведений героев в настоящем, – отличительная черта прозы русского прозаика. Идеи хронотопа наиболее отчётливо вошли в поэтику его романов.

Пауло Коэльо – один из самых известных современных писателей, автор ряда книг «Дневник мага» (1987), «Алхимик» (1988), «Узда» (1990), «Валькирии» (1992), «Мактуб» (1994), «Пятая гора» (1996), «Книга воина света» (1997), трилогии «В день седьмой», которые изданы более чем в 100 странах мира. Он активно проявил себя на посту советника ЮНЕСКО по проблемам африканского континента. В 1996 году П. Коэльо стал кавалером Ордена искусств и литературы Франции. В 1999 году – обладатель «Хрустальной награды» мирового экономического фонда и престижной награды Кавалера Ордена Почетного легиона правительства Франции. Согласно списку, опубликованному журналом «Лир», Пауло Коэльо в 1998 году был вторым в числе наиболее читаемых авторов в мире.

«На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала» (1994) – первый роман, открывающий трилогию «В день седьмой…». Позже будут написаны «Вероника решает умереть» (1998), «Дьявол и сеньорита Прим» (2000). Сам автор объясняет идею возникновения трилогии «В день седьмой…» следующим образом: «Героини внезапно оказались перед лицом любви, смерти, власти. В тот миг, когда мы меньше всего этого ожидаем, жизнь бросает нам вызов, чтобы проверить наше мужество и наше желание перемен, и не позволяет сделать вид, будто ничего не происходит, или отговориться тем, что мы ещё не готовы» [68, с.5].

И герои Достоевского, и героини П. Коэльо изображаются в решающий момент жизни, но выбор остается за ними. Это – во-первых. Во-вторых, в романах Ф.М. Достоевского всегда есть бес-искуситель («Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы»). Этот персонаж провоцирует окружающих, задаёт вроде бы невинные вопросы, играет с огнем, пока не вспыхивает пожар. В «Предисловии» к первому роману трилогии П. Коэльо пишет: «Мы – что-то вроде поля боя между ангелами и демонами». И, в-третьих, герои произведений, ставших объектом исследования в данной статье, живут как бы в двух мирах: прошлом и настоящем. Главная героиня романа «На берегу Рио-Пьедра…» так и говорит о своём друге: «Он живёт в двух мирах». Четвёртое, что позволяет сопоставить эти два произведения: хронологически очерченные рамки повествования. По подсчётам А.Я. Эсалнек, на страницах романа «Бесы» жизнь города с его главными и второстепенными персонажами протекала примерно двадцать лет и три месяца: «Шестнадцать лет жизнь текла более или менее традиционно, не считая каких-то значимых эпизодов в судьбе каждого из героев, четыре года – в ожидании некоторых событий, а несколько дней – в безумном темпе» [69, с.7].

Роман Пауло Коэльо более камерный. Действие в нём охватывает несколько дней (суббота, 4 декабря 1993 года – лекция главного героя в Мадриде – и пятница, 10 декабря 1993 года, Рио-Пьедра). Но в начале романа Пилар, узнав о предстоящей лекции своего друга в Мадриде, вспоминает, как они вместе росли и вместе выросли, хотя «в рощи и на улочки нашего детства он не вернулся никогда». Герои изменились. Приходили письма в Сорию. Пилар окончила университет в Сарагосе, работала продавцом, отказала жениху.

И вот новая встреча, спустя 11 лет. Дана она через восприятие героини: «Друг стал старше, объездил весь мир, он отрастил себе крылья, я же всё пытаюсь пустить корни». Но после лекции прошлое как бы возвращается: «Я увидела того мальчика, который когда-то, спрятавшись со мной в часовне Святого Сатурия, рассказывал о мечте обойти весь свет». На следующий день, наблюдая за ним, она честно признается себе: «Может быть, время или расстояние непоправимо отдалили его от моего мира». Пилар

учится заново вслушиваться в голос сердца. Не этим ли определялось поведение героинь Достоевского – Грушеньки, Аглаи, Настасьи Филипповны?! А в «Бесах» – Даши, Лизы, Марьи Тимофеевны?!

Во внутреннем монологе Пилар прослеживается стремление разобраться в случившемся, она понимает, что друг детства живёт теперь в другом мире. Сория превратилась для него в воспоминание – «размытое временем, застрявшее в прошлом…». И герой сам рассказывает о себе: «Я познал другие народы, повидал иные пейзажи. Я искал Бога по всему белому свету. Я любил других женщин. Я овладел множеством профессий… Я побывал в Индии и в Египте. Познакомился со знатоками магии и медитации, с алхимиками и священнослужителями. И наконец открыл для себя то, что следовало открыть: Истина неизменно пребывает там же, где Вера».

Так же воспоминанием становится периодически для персонажей, путешествующих по Европе, провинциальный городок в «Бесах». Но и Nicolas, и Даша, и Лиза, и Марья Тимофеевна возвращаются в него. В этом городке происходят события, переворачивающие всю жизнь героев. Воспоминания о прошлом раздвигают рамки повествования, «хронотоп приобретает как бы вид окружности, внутри которой есть несколько кругов, соответствующих “путешествиям” героев, которые заканчиваются в данном городе, представляющем, таким образом, центральную часть хронотопа» [69, с.5].

Одна из центральных сцен романа «Бесы» разворачивается в доме Варвары Петровны, расположенном совсем недалеко от собора. Собранным на одной территории оказывается огромное количество народа. Первоначально в прекрасной гостиной Варвары Петровны встретились сама хозяйка дома и Марья Тимофеевна, которую она с собой привезла, Степан Трофимович, Лиза, Шатов и рассказчик. «Все мы молчали и ждали какой-нибудь развязки». Но развязка постоянно отодвигается, появляются всё новые и новые персонажи.

До приезда в дом Варвары Петровны события в этот день, «день удивительно сошедшихся случайностей», происходили в соборе, у самого выхода из которого, на паперти, к Варваре Петровне

подошло «странное, необыкновенное существо, женщина с бумажной розой на голове». И опустилась на колени: «Я приехала только, чтобы вашу ручку поцеловать… С самым детским взглядом, с каким дети ласкаются, что-нибудь выпрашивая, потянулась она схватить ручку Варвары Петровны, но, как бы испугавшись, вдруг отдёрнула свои руки назад». Так же «ангелу-барышне» Катерине Ивановне в «Братьях Карамазовых» хотела поцеловать ручку Грушенька, «но у самых губ она вдруг ручку задержала на два, на три мгновения, как бы раздумывая о чем-то.

– А знаете что, ангел-барышня, – вдруг протянула она самым уже нежным и слащавейшим голоском, – знаете что, возьму я вашу ручку и не поцелую. И она засмеялась маленьким развесёлым смешком».

В «Бесах» Марья Тимофеевна тоже хихикает, берёт из рук Варвары Петровны десятирублевую бумажку и с «благоговением» целует протянутую «с серьёзным, почти строгим видом» руку благодетельницы.

Происшедшее чуть позже «все заметили, но не поняли». «“Как! Вы хромаете!” – вскричала Варвара Петровна совершенно как бы в испуге и побледнела». Уже по пути домой, по словам Лизы, которые приводит рассказчик, она сидела «как будто в каком-то магнетическом сне».

Более естественно и непринужденно вела себя Марья Тимофеевна, увлечённо и с наслаждением рассматривающая интерьер гостиной. Она весело смеётся, хлопает в ладоши, лепечет с какой-то легкомысленной игривостью, пока Варвара Петровна не осадила её: «Что-о-о? Какая я вам тётя? Что вы подразумевали?». «Марья Тимофеевна, не ожидавшая такого гнева, так и задрожала вся мелкою конвульсивною дрожью, точно в припадке, и отшатнулась на спинку кресел».

Лиза, по наблюдению рассказчика, зорко следила за двумя героинями, и на губах её «кривилась улыбка, но нехорошая». Чуть позже и Варвара Петровна «криво улыбнулась». Приезд Прасковьи Ивановны за Лизой (так по крайней мере она объяснила своё появление – *С.А.*) внёс ещё больше сумятицы. Бледность Варвары Петровны как реакция на слова вошедшей привела всех в смятение. «“Да вот она, вся-то правда сидит!” – указала вдруг Прасковья

Ивановна пальцем на Марью Тимофеевну с тою отчаянною решимостью, которая уже не заботится о последствиях, только чтобы теперь поразить». У Достоевского встречается ещё одно излюбленное словосочетание при описании подобных сцен: «Словно полетела с горы…» (как в «Братьях Карамазовых»).

Но недаром, описывая характер Варвары Петровны, писатель характеризует его как «прямой и гордо открытый, с наскоком». И теперь она «твёрдо, хоть и негромко выговорила побледневшими губами». Появление Дарьи Павловны отвлекает хозяйку дома от обронённых ненароком Прасковьей Ивановной слов о каких-то письмах. Герои Достоевского нередко в минуты душевного волнения или кризиса проговариваются, выдавая информацию, которая ещё не стала достоянием всех. Далее Варвара Петровна сама расскажет о письмах анонима и о его совете остерегаться хромой женщины, которая будет играть в её судьбе чрезвычайную роль.

Дарья Павловна для Марьи Тимофеевны «такая воспитанная и милая», как и Катерина Ивановна для Грушеньки, которая завопит потом при всех в сцене суда над Дмитрием: «Митя, погубила тебя твоя змея». Воспитание само по себе ещё не определяет, по Достоевскому, ценностной сущности человека.

Взгляд же рассказчика приковывает поведение Лизы и Даши, в глазах первой из них при виде второй «засверкали ненависть и презрение, слишком уж нескрываемые». В тихом голосе, в тихих словах Лизы (дважды писатель употребляет этот эпитет – *С.А.*) на просьбу матери поехать домой звучит железная решимость остаться. И вновь, приблизив читателей к развязке, к чему-то важному, что должно произойти (при внешнем спокойствии и безразличии), автор вводит нового персонажа. Появление Лебядкина, «поэта в душе», подробное описание его внешности, неожиданный вывод о сильной неуверенности и вместе с тем наглости и какой-то беспрерывной раздражительности, раздражённом самолюбии, его беседа с хозяйкой дома – всё это растягивает время и оттягивает неприятные моменты.

Лебядкин начинает говорить и преображается: «Он точно ослеп; он был во вдохновении; он чувствовал свою значительность; ему наверно что-то такое представлялось. Ему уже хотелось обидеть, как-нибудь нагадить, показать свою власть». Но и это ещё не развязка.

Более всего для всех присутствующих оказался неожиданным приезд Николая Всеволодовича, которого ждали только через месяц. Варвара Петровна бледнеет в очередной раз. Но «вдруг глаза её засверкали, она выпрямилась в креслах с видом необычной решимости». «Совершенно неожиданный приезд Николая Всеволодовича, которого ждали у нас разве что через месяц, был странен не одною своею неожиданностью, – отмечает рассказчик, – а именно роковым каким-то совпадением с настоящею минутой. Даже капитан остановился как столб среди комнаты, разинув рот и с ужасно глупым видом смотря на дверь».

Автор вновь нарушает предполагаемое течение событий. В гостиную влетает совсем другой человек. Целую страницу, подробно описывается его ничем не примечательная внешность, основная черта характера – большое самодовольство. Достоевский находит очень удачное определение его манеры разговора: «слова его сыплются, как ровные, крупные зернушки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам. Сначала это вам нравится, но потом станет противно, и именно от этого слишком уж ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов. Вам как-то начинает представляться, что язык у него во рту, должно быть, какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно вострым, беспрерывно и невольно вертящимся кончиком».

В предыдущей, четвертой главе «Хромоножка», повествователь определяет воскресенье как один из знаменательнейших дней в своей хронике: «Это был день неожиданностей, день развязок прежнего и завязок нового, резких разъяснений и ещё большей путаницы». Этот день описан в главе с громкоговорящим названием «Премудрый змий».

Все заметили особое, трепетное отношение Николая Всеволодовича к Марье Тимофеевне. Ключевым словом при описании этого эпизода автор выбирает «тишину» (вспомним, «Идиот», сцену обнаружения Настасьи Филипповны). Очень «тихо», окидывая собрание «тихим взглядом», вошёл Николай Всеволодович, «решительный, неоспоримый красавец», в дом матери. Наступила минута, которая для Варвары Петровны «действительно могла быть из таких, в которых вдруг, как в фокусе, сосредотачивается

вся сущность жизни, – всего прожитого, всего настоящего, и, пожалуй, будущего». Решившись задать вопрос о том, правда ли «эта несчастная, хромая женщина… законная жена ваша?», мать ждёт от сына ответа. И все окружающие тоже. Поцеловав руку матери, Николай Всеволодович не спеша направился прямо к Марье Тимофеевне.

Рассказчик в данном романе – «не только создатель хроники, о чём он постоянно напоминает, но и реальный участник событий, доискивающийся истины и эмоциональный» [69, с.10]. Он всюду поспевает, всё замечает, оказывается в нужный момент в нужном месте. Присутствие рассказчика, отделённого от автора, создаёт своеобразный тип пространственно-временной организации романа. Именно рассказчик сообщает об одном как «об увиденном, о другом – как об услышанном, о третьем – как о вероятном и предполагаемом. Именно он, а не всезнающий автор, имеет право сначала о чём-то умолчать, потом вспомнить, подчас сослаться на чужие мнения, иногда домыслить и т.д.» [3, с.10].

Воспроизводя момент встречи Николая Всеволодовича с Марьей Тимофеевной, тот, кто ведёт повествование, не исключает своих личностных оценок: «Мне, например, запомнилось, что Марья Тимофеевна, вся замирая от испуга, поднялась к нему навстречу и сложила, как бы умоляя его, пред собою руки; а вместе с тем вспоминается и восторг в её взгляде, какой-то безумный восторг, почти исказивший её черты, – восторг, который трудно людьми выносится. Может, было и то и другое, и испуг, и восторг; но помню, что я быстро к ней придвинулся (я стоял почти подле), мне показалось, что она сейчас упадёт в обморок». Николай Всеволодович говорит с ней «ласковым, мелодическим голосом», а в глазах его светится необыкновенная нежность, он «великолепно улыбнулся», нежно уговаривая её. И в каждом его движении сказывалось самое искреннее уважение.

Поведение Лизы невольно обращает на себя внимание, которая «для чего-то вдруг привскочила с кресла, пока они выходили, и неподвижным взглядом проследила их до самых дверей». Что-то глубоко задело её в этой сцене, хотя она и подавила эмоции, молча села опять. Но от взгляда рассказчика не ускользнуло выражение её лица, он заметил «какое-то судорожное движение, как

будто она дотронулась до какого-то гада». Змея, гад, змий – слова эти нередко употребляются писателем в его романах для характеристики персонажей.

Внимательный читатель заметит параллель между «Бесами» и «Братьями Карамазовыми». Иван Карамазов, («злобно скривив лицо»), беседуя с Алёшей и анализируя настоящее после ухода Дмитрия, прогнозирует в то же время будущее: «Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога». Добрый, заботливый, все понимающий Алеша «вздрогнул».

Рассказчику интересно наблюдать за реакцией окружающих, тем более, что «пока шла вся эта сцена между Николаем Всеволодовичем и Марьей Тимофеевной, все молчали в изумлении; муху можно было услышать; но только что они вышли, все вдруг заговорили». Вновь этот мотив тишины в самые напряженные моменты жизни героев, как и в уже упоминавшейся сцене в романе «Идиот», когда Рогожин показывает Мышкину «спящую» Настасью Филипповну. В обеих сценах тишина жуткая, леденящая душу, звенящая. В романе «Идиот» «мёртвое молчание комнаты», причём чем больше глядит Мышкин, тем «мертвее и тише становится в комнате». Жужжание проснувшейся мухи, пролетевшей над кроватью, так громко, что князь вздрагивает. Муха выводит героев из оцепенения. Так временной контрапункт в финале романа «Идиот» развивается особенно остро.

Странно ведет себя Лебядкин в «Бесах», мотивы его выходок пока ещё не ясны. То он молчит, опустив глаза в землю, то «взревел, вдруг забывшись по-давешнему», то вздрагивает и дико смотрит на Петра Степановича. Перед тем, как покинуть гостиную, «капитан поклонился, шагнул два шага к дверям, вдруг остановился, приложил руку к сердцу, хотел было что-то сказать, не сказал и быстро побежал вон. Но в дверях как раз столкнулся с Николаем Всеволодовичем; тот посторонился; капитан как-то весь вдруг съежился пред ним и так замер на месте, не отрывая от него глаз, как кролик от удава. Подождав немного, Николай Всеволодович слегка отстранил его рукой и вошел в гостиную».

Николай Всеволодович весел и спокоен. Пётр Степанович, всеобщий примиритель, беседует с Варварой Петровной. И вдруг раздаётся истерический смех Лизы, которая смеялась «сначала

тихо, порывисто, но смех разрастался всё более, громче и явственнее». Болезненный смех сменился объятиями, поцелуями, хохотом и плачем. Около Лизы с матерью остановился Пётр Степанович и начал быстрый и весёлый разговор. И только в этот момент Николай Всеволодович подходит к Дарье Павловне поздравить её.

Развитие сюжета романа выходит на новый виток. Соотношение временных пластов определяет пространственно-временную структуру этого произведения Ф.М. Достоевского. Письма, полученные Петром Степановичем от отца с сообщением о женитьбе на «чужих грехах, совершённых в Швейцарии», теперь призваны сыграть решающую роль в ходе дальнейшего повествования. Очень важную деталь подчеркивает рассказчик. Пётр Степанович, начав говорить про письма, «как бы испугался», из чего следует вывод, что проболтался он осознанно, и «ещё пуще заторопился». Очевидно, что он играл какую-то роль, – приходит к выводу рассказчик («какую – не знал я тогда»), но роль была сыграна слишком грубовато.

В этот день Степан Трофимович пережил настоящее горе, вызванное поведением его сына, и «другое горе … а именно язвительное собственное осознание в том, что он сподличал». На протяжении этой главы персонажи дважды сравниваются с детьми. Последнее обвинение бросает Пётр в лицо отцу: «Так мы мало того, что старые дети, мы ещё злые дети?» И в этот момент – очередной, непредсказуемый поворот сюжета. Шатов, неспешным, твёрдым шагом, подойдя к Николаю Всеволодовичу и прямо смотря ему в лицо, изо всей силы ударил его кулаком по щеке. Сначала Николай Всеволодович чуть-чуть усмехнулся, затем выражение дерзкого недоумения сменилось гневом, он нахмурил брови, и вдруг… Раздался удар.

Прозаик вновь оттягивает время объяснения и разборки. Да и будут ли они? Это была не обычная пощёчина (фиксирует рассказчик), не ладонью, а всем кулаком, большим, веским, костлявым, с рыжим пухом и с веснушками. Удар был настолько силен, что Николай Всеволодович «сильно качнулся на месте». Мгновенный крик, непонятно чей («этого не припомню» – пишет рассказчик), раздаётся после удара. «И всё тотчас опять как

бы замерло». Происшедшее воскрешается в воспоминаниях рассказчика. В то же время он отмечает временной промежуток случившегося: вся сцена продолжалась не более каких-нибудь десяти секунд.

Холодная, спокойная, разумная злоба Николая Всеволодовича, «самая отвратительная и самая страшная», не терпящая оскорблений и заставившая бы убить своего противника тут же, по мнению рассказчика, даже без вызова на дуэль, не находит выхода в этой сцене. На этот раз он только схватил Шатова за плечи и тотчас отдернул руки. «Он молчал, смотрел на Шатова и бледнел как рубашка. Но странно, взор его как бы погасал. Через десять секунд глаза его смотрели холодно и – я убежден, что не лгу, – спокойно. Только бледен он был ужасно». Первый опустил глаза Шатов и «уходил тихо, как-то особенно неуклюже приподняв сзади плечи, понурив голову и как бы рассуждая о чём-то сам с собой».

Достоевский использует осознанный приём, благодаря которому время изображения событий относительно времени субъективного удлиняется. Он описывает всё подробно, тщательно, в мельчайших деталях. Время внутреннее, напротив, ускоряется. Герои ждут чего-то ужасного, предчувствуют это, время переживаний убыстряется.

И в довершении сцены в гостиной – обморок Лизы.

Такая плотность событий в относительно короткий промежуток времени, насыщенность информацией, временная спрессованность – присущи творческой манере Ф.М. Достоевского. Мы проанализировали одну из ключевых сцен романа «Бесы», в которой наиболее наглядно переплетение временных пластов, определяющих поведение персонажей.

Основное кредо современного писателя Пауло Коэльо, книги которого завоевали мировую известность, имеет прямое отношение к Достоевскому: «Более разумно, более практично быть добрым, чем злым». Так думал и Алёша Карамазов, олицетворяющий совесть всей семьи. Главный герой «На берегу Рио-Пьедра…», читая лекции в городах Испании и Франции, рассуждает о волшебных мгновениях жизни, этого дня, которыми мы не воспользовались: «И тогда жизнь прячет от нас свою магию, своё

искусство. Надо прислушаться к голосу ребенка, которым ты был когда-то и который ещё существует где-то внутри тебя. Ему дано постижение этих волшебных мгновений».

Неторопливые философские раздумья о вечном и непреходящем также роднят прозу Ф.М. Достоевского и Пауло Коэльо. Их герои рискуют, испытывают судьбу, играют в рулетку, выигрывают и проигрывают: «Необходимо рисковать. Чудо жизни можно постигнуть в полной мере, лишь когда мы будем готовы к тому, что случится нежданное».

Категории прошлого, концепт «память» – тоже один из факторов, сближающих произведения писателей XIX и XX веков. «Уж сколько лет в ларчике моей памяти лежали одни и те же истории». Очень много герои рассуждают о любви, причем стиль высказываний своеобразен: «Я открыла окно и сердце. Солнечный свет заполнил комнату, любовь – мою душу».

Хронотоп и в современной прозе является определяющим. Среда, 8 декабря 1993 года. Подходит к концу путешествие героев по городам и странам. «Последние несколько дней, – записывает Пилар, – начиная с мадридской лекции, стали представляться мне некоим сном, путешествием во времени и пространстве моей жизни. Но этот сон был проникнут ощущением бескрайности мира, увлекательности книги, духом новых приключений».

М.М. Бахтин называл структурные моменты видения времени «моментом существенной связи прошлого с настоящим, моментом необходимости прошлого и необходимости его места в линии непрерывного развития, моментом творческой действенности прошлого, и, наконец, моментом связи прошлого и настоящего с необходимым будущим» [46, с.183]. Интересное размышление по этому поводу находим мы в романе Пауло Коэльо «На берегу Рио-Пьедра…»: «Могла бы. Никогда не сумеем мы понять значение этих слов. Ибо в каждое из мгновений нашей жизни может произойти нечто – может произойти, но не происходит. Существуют волшебные мгновения, но они остаются и проходят неузнанными, и тут внезапно рука судьбы меняет наш мир».

Время в романе как бы возвращается на 20 лет назад, когда главный герой вернул Пилар ладанку (в маленьком красном мешочке – «старая, заржавленная ладанка: с одной стороны –

изображение Пресвятой Девы, с другой – Сердца Иисусова»), потерянную ею в детстве, и договорил фразу, очень простую и старую, как мир.

В произведении очень много размышлений о любви. Среди них встречаются ироничные, как во внутреннем монологе героини: «Только в сказках принцесса целует жабу, и та превращается в прекрасного принца. В жизни всё наоборот: принцесса целует принца, и он становится омерзительной жабой». Но она уверена в том, что если даже любовь несёт с собой разлуку, одиночество, печаль – всё равно она стоит той цены, которую мы за неё платим. Это великое чувство пребудет вечно, меняются лишь возлюбленные.

Герой произведения своим появлением, своими лекциями нарушил хрупкое равновесие мира Пилар. Вначале он восхищался ею и тем, как она боролась против собственного сердца. Но затем осень её жизни вновь стала весной. Она осознала, что они оба хотят вверить свои души единой судьбе, но в их жизни существовали семинария во Франции и университет в Сарагосе. Пока они разделяют героев.

Но в жизни героев настал тот миг, «когда сила звезд», проникая в них, позволяет творить чудеса. Он был разным, «был и неуместно напорист, и вместе с тем недостаточно уверен в себе, и слишком торопил события, и делал какие-то путаные предложения». Герои как бы вновь знакомятся друг с другом, привыкают друг к другу. Недаром любовь Пилар сравнивает с плотиной: «если оставить хоть крохотную дырочку, куда может проникнуть тоненькая струйка воды, то вскоре под напором её рухнут стены, и придёт мгновение, когда уже никому не под силу будет сдержать силу потока». Именно такая любовь в произведениях Достоевского, когда она сносит всё, рушит судьбы, доводит до сумасшествия, до каторги и озаряет героев своим сиянием. «Любви удаётся выжить, только когда существует надежда – пусть далёкая, – что нам удастся покорить того, кого мы любим». Это уже Пауло Коэльо.

В романе есть эпизод, когда в ресторане вспыхивает спор о любви, завершающийся философским изречением: «Мудрец потому лишь и мудр, что любит. А дурак – потому и дурак, что считает, будто способен постичь любовь». Только любящему покоряется

мир и неведом страх потери. Окончательное решение всегда принимает сердце, и «лишь им принятое решение важно и нужно». Пилар и писать эту книгу начала только затем, «чтобы глухую тоску переплавить в светлую печаль, одиночество – в воспоминания». Так хронотоп определяет построение произведения и обосновывает выбор повествовательных форм.

Одна из фраз романа напоминает начало «Анны Карениной» Л.Н. Толстого. «Все истории о любви похожи одна на другую» (П. Коэльо). А у Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Но только любящему покоряется мир и неведом страх потери.

Повествование в романе П. Коэльо разнообразно по тональности. Это рассказ Пилар, лекции главного героя, друга детства, легенды. Легенда о холодной воде Рио-Пьедра (на берегу которой Пилар пишет в течение трёх дней книгу), о листьях, насекомых, птичьих перьях, превращающихся со временем в камни, устилающие дно реки, словно символизирует жизненную философию: всему своё время. Одна из первых лекций героя была также мудра и философски насыщена, она явно несла в себе идеи автора: «Несчастен тот, кто страшится идти на риск. Вероятно, он не ведает разочарований и не страдает – в отличие от тех, кто мечтает и стремится претворить мечту в явь. Но когда он обернётся – а обернётся он непременно, ибо это присуще каждому из нас, то услышит, как говорит ему сердце: “Что сделал ты с теми чудесами, которыми Бог так щедро усеял твои дни, досуги твои и труды? Как употребил ты таланты, которые вверил тебе твой Наставник? Зарыл поглубже, потому что боялся потерять? Что ж, отныне достоянием твоим будет лишь уверенность в том, что жизнь свою ты промотал и растратил, расточил и рассеял”».

Сория; Сарагоса; Мадрид; Бильбао, столица басков; Франция, Сент-Савен; Лурд и берег Рио-Пьедра… Таковы пространственные рамки романа П. Коэльо. Но они раздвигаются, включая воспоминания Пилар, образ которой, как и её друга – вымышлены и символизируют многочисленные конфликты, «которые сопровождают нас в поисках Иного края. Рано или поздно каждому из нас придётся преодолеть свои страхи, – отмечает автор, – ибо духовная стезя пролегает через повседневный опыт любви» [70, с.11].

Повседневный опыт любви становится камнем преткновения и для героев Пауло Коэльо, и для героев Ф.М. Достоевского, которых «жизнь хватает врасплох и тащит к неведомому». Повествовательная структура проанализированных произведений определяется переплетением прошлого и настоящего. Сущность и своеобразие романного хронотопа заключается в том, что он ориентирован на исследование и воспроизведение судьбы главных героев.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Проблемы художественного времени и пространства и проблема автора продолжают оставаться одними из самых остродискуссионных. Приток новых идей влечёт за собой употребление новых терминов: структуральная поэтика, герменевтика, психоанализ, постструктурализм, реминисценции, аллюзии, архетип (который стал инструментом литературно-критического анализа еще в 1913г., но сейчас словно обрёл второе дыхание) и др. Особой остроты достигает проблема автора в связи с актуальными и спорными задачами интерпретации литературного произведения.

В последние годы в мировом литературоведении всё большее внимание привлекает проблема автоинтерпретации, исследование комплекса актуальных проблем современного литературоведения, связанных с выявлением авторского элемента в структуре текста и способов его художественной реализации. Термины для обозначения исследуемой проблемы могут быть различными: автобиографизм, автометаописание, автотематизация, автореференциальность. Для нас более приемлема точка зрения А.П. Чудакова, предостерегающего против чрезмерного увлечения многочисленными терминами, кальками, часто выступающими синонимами слов, привычных для русской терминологической традиции (рецепция и восприятие, нарратив и повествование, авторская интенция и замысел и др.). Вместо ожидаемого обогащения понятийного аппарата наблюдается элементарное «переназывание» уже хорошо известных и апробированных литературоведческих понятий [71, с.304].

Проблема автора оттесняется на второй план. Но в последнее время всё увереннее звучат голоса ученых в «защиту» автора. С помощью термина «ответственность» «нужно восстановить автора в качестве центра, вокруг которого кристаллизуется художественный смысл», – уверен М. Фрайзе [72, с.32]. Ему вторит А. Компаньон: «Следует преодолеть ложную альтернативу “текст или автор”» [73, с.112].

Основой художественного произведения является слово. Слово – основной инструмент воспитания, убеждения и т.д. Эта книга – дань уважения и дань памяти нашим педагогам, преподавателям Черкасского государственного педагогического института имени 300-летия воссоединения Украины с Россией.

Ясности, простоте и доступности изложения учил нас, студентов Черкасского государственного педагогического института доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Пресняков Олег Павлович.

Год назад, купив новый учебник по Теории художественной словесности Ю. Минералова, я обнаружила в нём символическую фразу: «Как справедливо пишет современный исследователь творчества А.А. Потебни О.П. Пресняков, нередко “по традиции отношения к Потебне как учёному, не сумевшему завершить свои исследования”, всё сделанное им трактовалось всего лишь как догадки, “брошенные на полпути”» [53, с.245].

Пока читаются и цитируются книги и статьи Олега Павловича Преснякова о Потебне, Н. Асееве, Новикове-Прибое и др., он будет оставаться нашим современником. Потебня неоднократно высказывал мнение, что в русской науке и литературе немало скрывается таких сил, которыми по разным причинам общество не воспользовалось. К сожалению, и сам Потебня был такой силой.

Основополагающим и не потерявшим своей актуальности был и остаётся тезис ученого о том, что без исследования языка и поэтического творчества нельзя понять ни культуры, ни истории народа. Атмосфера 50-60-х годов XIX столетия, в которой жил и творил крупнейший литературовед, характеризовалась развитием передовых общественных идей, впечатляющими успехами естествознания, растущим недоверием к выводам, не подтверждённым

анализом фактов, всё более широким и последовательным утверждением материалистических принципов в науке.

Слово для Потебни было живым и осязаемым, наполненным энергией жизни: «Обыкновенно мы рассматриваем слово в том виде, как оно является в словарях. Это всё равно, как если бы рассматривали растение, каким оно является в гербарии, т.е. не так, как оно живёт, а как искусственно приготовлено для целей познания».

Первостепенное значение придавал исследователь личности поэта, отстаивал творческую оригинальность, остро интересовался вопросами психологии творчества, стремился понять, что такое поэтическое вдохновение. Поэтическое вдохновение, интуицию он считал результатом не только одарённости, но и глубокого интереса и зоркости к действительности, душевной чуткости и отзывчивости, богатого жизненного опыта и неустанного труда. Литературную критику он рассматривал как научную деятельность и вместе с тем как «своеобразное сотворчество», когда талантливый критик по мощи своего интеллекта должен стоять наравне с писателем или даже быть выше его. Потебня высоко чтил Белинского, называл «рыцарем» и «настоящим героем своего времени».

Потебня очень высоко ценил поэзию, отдавая ей пальму первенства в познании мира, потому что, по его глубокому убеждению, в процессе познания поэтическое мышление опережает научное, предшествует ему. Поэзия является «могущественным донаучным средством познания природы, человека и общества. Она указывает цели науке, всегда находится впереди неё и незаменима ею вовеки».

В фольклоре он видел фундамент для межнациональных связей разных народов в области культуры, поскольку фольклор не только выражает национальную самобытность народа, но может также служить той сфере, где народы больше понимают один другого, находят точки соприкосновения.

Весьма существенны в научной концепции А.А. Потебни проблемы восприятия и понимания художественных произведений, которые могут восприниматься только при чтении. И литература вне общества, вне читателя как бы не существует. «Следовательно, жизнь литературным произведениям дают не только их творцы-писатели, но и те, кто эти произведения воспринимает, – читатели.

А читатели разных времён и разных народов могут воспринимать одно и то же произведение по-разному». «Вот почему, – считал Потебня, – без понимания и анализа специфики восприятия обществом поэзии на разных этапах исторического развития, невозможно серьёзное изучение истории и теории литературы» [5, с.94].

Интересно замечание Преснякова о том, что настолько широка была филологическая эрудиция Потебни, что его влияние испытывали на себе и те исследователи, которые критиковали его положения: «…влияние Потебни достаточно заметно не только у тех, кто непосредственно на него ссылался и считал себя в какой-то мере его последователем, но и у тех, кто критически относился к Потебне, отталкивался от его противоречий и заблуждений, а позитивные результаты его трудов (поскольку они шли в общем русле развития литературоведческой науки) не выделял из этого русла и просто воспринимал их как нечто, всеми закономерно установленное, признанное и общеизвестное» [5, с. 204].

Сходные с Потебней мысли высказывает М.Я. Поляков в книге «Цена пророчества и бунта», размышляя о том, что художественное произведение «возникает в сложно построенном литературном поле, в котором писатель – произведение – читатель находятся в напряженных диалектических отношениях между собой и окружающим миром» [74, с.89].

Творческую перекличку с идеями Потебни исследователь его научного наследия О.П. Пресняков находит и там, где выдвигаются совершенно самостоятельные пути научного поиска. Так, в трудах «Д.С. Лихачева по поэтике древней русской литературы толкование традиционных канонов как знаков, за которыми стоят определённые представления, в какой-то мере ассоциируется со взглядами Потебни на “представление” как на “знак значения”, служит их дальнейшему углублению и развитию» [13, с.153].

О художественном символе размышляют литературовед Л. Гинзбург и философ А.Ф. Лосев. «Художественный образ всегда символичен, – отмечает Л. Гинзбург, – репрезентативен, он единичный знак обобщений, представитель обширных пластов человеческого опыта, национального, психологического» [75, с.64]. В монографии «О литературном герое» Л. Гинзбург пишет о том,

что «литературный герой полностью познается ретроспективно. Завершённый персонаж, персонаж произведения, дописанного писателем, дочитанного читателем, как бы рождается заново» [76, с.16]. Персонаж, по мнению исследователя, соотносится с контекстом произведения, контекстом творчества писателя в целом.

«Родственное Потебне толкование символа как единичного представления, замещающего множественные значения, можно указать, – по мнению О.П. Преснякова, – и в работах А.Ф. Лосева о логике символа в искусстве» [77, с.213].

Переосмысление с современных литературоведческих позиций научного, филологического наследия А.А. Потебни было предпринято в монографиях О.П. Преснякова, которым предшествовала большая разыскательская работа в архивах Харькова и Киева. Наступает время переоценки ценностей. И труд каждого учёного литературоведа доказывает свою жизнеспособность теми научными положениями, которые выдерживают проверку временем. Востребованы идеи А.А. Потебни. И за прошедшее двадцатилетие не потеряли своей актуальности труды его доброжелательного и заинтересованного исследователя Олега Павловича Преснякова. В одном из последних писем автору этих строк в период учебы в аспирантуре Олег Павлович писал о том, что на развитие русской литературы в Казахстане имеет смысл смотреть «как на процесс и захватывать крупные периоды этого процесса с точки зрения взаимовлияния русской и казахской литературы в рамках общих закономерностей и специфических, характерных особенностей развития всей современной литературы» (3.XI.1982).

Таким образом, в круг его научных интересов входила и современная литература. До последних дней своей жизни он не выпускал из поля зрения своих учеников, следил за их успехами, советовал, торопил с научными публикациями.

Развитие современной филологической науки позволяет надеяться на более углубленное исследование сферы структурных компонентов литературного произведения, на более тонкое и глубокое определение сложных соотношений между его содержанием и формой, на более определённое освещение вопроса о глубинных связях всех элементов художественного текста с историей его возникновения.

Альберт Ковач

ПОЭТИКА ДОСТОЕВСКОГО

(главы из книги)

АРГУМЕНТ (ОТ АВТОРА)

С конца XIX века наследие Достоевского стало важнейшей составной мировой культуры. Потрясённые творческой силой его произведений, ощутив всё своеобразие и силу его искусства, разделив его мысли и чувства, восприняв его образы и идеи, читатели непрестанно обогащают тем самым собственный интеллект и духовный мир. Литературные критики и особенно писатели, прямые потомки Достоевского, в процессе освоения его творческого наследия обогатили – путём прямого наследования, диалога или отталкивания – художественную сокровищницу мировой литературы, сами став в этом процессе крупными художниками и яркими личностями. Многие из этих писателей широко известны современному читателю, как известно и их отношение к Достоевскому. Это Ромен Роллан, Жид, Драйзер, Андреев, Белый, Томас Манн, Фолкнер, Камю, Мьюзиль, Кафка, Бёлль, Ленц и многие, многие другие. Список остаётся открытым – не только в том смысле, что здесь названы лишь некоторые из множества возможных имён, но и потому, что с течением времени сам процесс освоения наследия Достоевского становится всё шире и разнообразнее. Так, в своём последнем романе, «Самый любимый из землян», румынский писатель Марин Преда испытывает настоятельную потребность, почти обязанность неустанно ссылаться на русского писателя, пусть и постоянно полемизируя с ним; с опорой на Достоевского происходит и самоопределение многих других румынских писателей, часто самых выдающихся.

Даже в тот период, когда, в атмосфере засилья догматической критики, Достоевский был отвержен официальной идеологией, видный румынский литературовед и эстетик Тудор Вьяну писал, что глубина и точность психологического анализа придала произведениям русского писателя характер величайших явлений века: «многочисленные читатели во всех концах мира почувствовали

себя взволнованными и преображенными. Самосознание современного человека приобрело новое измерение...»

Координаты и самые судьбы человеческой цивилизации всё чаще определяются нынче с помощью концептов и терминов, предложенных русским писателем. В своём эссе «Дух Фауста и дух карамазовский» (1929) трансильванский протестантский философ Бела Варга со/противо-поставляет двух величайших писателей XIX и, соответственно, XX века (эпоха, к которой он относит новую онтологию романа «Братья Карамазовы»). По его мнению, если поиски Гёте привели к достижению известного равновесия в рамках классического гуманизма, на основе примирения интересов личности и человеческого сообщества, творчество Достоевского отражает глубокий кризис гуманизма. На пути развития культуры человек всё глубже и глубже погружается в себя. «Фауст останавливается на полпути, душа Карамазова идёт дальше, стремясь дойти до конца. Правда, она не в состоянии осуществить это. Волнующие её проблемы не разрешаются, не снимаются автором, а огнём раскалённого железа жгут душу. Проблемы остаются открытыми». Карамазовская составляющая духовного мира – это трагедия человеческой души и драма христианской культуры. Но то, что творчество русского писателя демонстрирует это, можно считать его особой заслугой по сравнению с Гёте: «Речь идёт о стремлении к возрождению, и хаос, разброд карамазовского духа, вопреки всем ожиданиям, оказывается путём не к смерти, а к жизни, которая идёт вперёд, требуя своих прав».

Книга, которую открыл читатель, рекомендует себя сама названиями глав, которые не нуждаются, по нашему мнению, в дополнительных уточнениях; актуальность искусства Достоевского несомненна и сегодня. Всё же один аспект требует объяснения. С самого дебюта писателя и до наших дней Достоевского упрекают за несовершенство его искусства, в особенности – за его «плохой», «многословный» стиль. Думается, сегодня у нас есть все основания утверждать, что на самом деле искусство русского писателя далеко от того, каким оно представлялось – и представляется – читателям, находящимся под влиянием тех критиков

и историков литературы прошлых эпох, которые видели в нём лишь исследователя – пусть и непревзойдённого – больной человеческой души, мечтателя и мистика – и слабого стилиста. Достоевский был прежде всего творцом, художником, и библейская мифология составляла лишь одну из многочисленных онтологических моделей в мире его произведений, в центре которых стоит проблема человека и его судьбы.

Достоевского, как и Льва Толстого (как и любого другого писателя), следует оценивать объективно, на основе их искусства, помня о том, что абстрактные морализаторские идеи – в частности, та же теория непротивления злу насилием – не оказываются определяющими для их наследия, а внутренняя противоречивость многих теоретических высказываний двух титанов (если иметь в виду Толстого после «Анны Карениной») носят во многом сходный характер. Творчество Достоевского раскрывает перед нами не только ад, но и новый возможный «золотой век», он создатель не только Свидригайлова или Фёдора Карамазова, но и Князя Мышкина, Алёши и Смешного человека. Мы не думаем, однако, ни на мгновение, что этого «другого» Достоевского можно убедительно представить с помощью цитат из его философских рассуждений – и даже из его гениальной теоретической поэтики – и не собираемся делать этого. Ибо предмет нашего исследования совсем иной. Оставляем другим удовольствие толковать и перетолковывать Достоевского, отправляясь от обрывков его высказываний, вырванных из контекста, и тем более – от речей его персонажей. Теоретические, эстетические и критические размышления писателя интересуют нас лишь постольку, поскольку они объясняют своеобразие созданных им форм, мотивов, образов и структур, и всё это – под знаком их значений и функций, художественной ценности.

Новый взгляд на искусство Достоевского зародился полвека тому назад благодаря опубликованию, на родине писателя и за её пределами, многочисленных штудий, опирающихся на издание записных книжек и не публиковавшихся ранее рукописей; работы Леонида Гроссмана, Виктора Виноградова и Михаила Бахтина остаются в этом смысле основополагающими. Важнейшими вехами на этом пути стала деятельность Международного

Общества Достоевского – International Dostoevsky Society – и особенно выход в Ленинграде *Полного собрания сочинений* писателя в тридцати томах, с впечатляющим критическим аппаратом. В своей работе мы пытаемся – особенно в ссылках и комментариях – показать современное положение дел в исследовании творчества Достоевского, отыскать, нащупать, уловить опорные пункты реального прогресса, породившего новый взгляд на писателя, – взгляд, идущий наперекор поверхностным комментариям и возникшим вокруг них мифам и легендам о его творчестве.

Новую ориентацию в изучении поэтики Достоевского можно продемонстрировать, например, сославшись на те идеи, которые возникают в связи с критикой некоторых положений бахтинской теории полифонического романа, его концепта «чистого голоса персонажа», исключающего авторский голос из дискурса персонажей и повествователей-посредников; другим примером могла бы служить наша собственная концепция литературного мотива, как материала, структурирующего и спаивающего различные пласты и планы романа (реально-психологический, философский, мифологический, книжно-культурный).

Новые, самые разнообразные научные тенденции постоянно питали методологию автора этой книги, методологию, которая, исходя из стремления к раскрытию сущностей, позволяет сосредоточить исследование вокруг художественной ценности, тем самым охватывая не только строительную функцию форм и структур, но и их роль носителей эстетических – человеческих – смыслов. Так появилась первая (в хронологическом порядке) работа «Раздвоение: художественная структура и смысл», опубликованная в 1971 году. Последовавшее затем десятилетие позволило создать остальные исследования, вошедшие в этот том. В заключение подчеркну ещё раз, что опубликованные здесь опыты возникли в рамках того широкого критического и научного движения, со всеми его ответвлениями, которое привело к существенным сдвигам в интерпретации наследия Достоевского – оно-то и сделало не только возможным, но и необходимым появление новой «Поэтики Достоевского».

А.К.

СЛОВО К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Источники и причины появления этой книги уходят в далёкое прошлое. Страшно сказать: около полустолетия было посвящено подготовке и созданию предшествовавших ей работ – статей, эссе, исследований, монографий о творчестве великого русского писателя...

Начну с того, что в одном из последних классов лицея, осенью 1944 года, накануне освобождения Красной армией моих родных трансильванских мест, роман «Преступление и наказание» оказался первой книгой, которую я прочитал «на одном дыхании» – не выпуская книгу из рук, не смыкая глаз – день-ночь-день... Роман меня потряс. Подростком-юношей, в создавшейся у меня на родине трагической ситуации, и сам я мучительно пытался постичь тайну человеческого существования, смысл бытия... Помнится, я делал тогда краткие дневниковые записи; к сожалению, они не сохранились...

Русского языка я тогда, конечно, не знал, но чтение Достоевского, как и знакомство с другими русскими писателями, оказалось причиной того, что, поступив на филологический факультет, я выбрал вместо венгерско-французского отделения – венгерско-русское.

Писать и публиковать о Достоевском я начал после того, как, окончив филологический факультет Уральского Государственного Университета, специализировался в области русской литературы и защитил в МГУ диссертацию по эстетике Белинского. В 1960 году я писал о восприятии Достоевского в Румынии в статье о румынском критике-социалисте конца XIX века («К. Доброджану-Геря и русская литература»); близкой теме был посвящён и мой доклад, прочитанный в 1963 году на международном съезде в Софии. Г.М. Фридлендер обратил на него внимание и попросил у меня оттиск. Так моё имя, «окольным путем», попало в примечания к VII тому академического «Полного собрания сочинений Достоевского в тридцати томах».

Но Г.М. Фридлендера я знал ещё со студенческих лет. К нему меня и Елену Логиновскую – мы были тогда только однокурсниками – направили из Свердловска наши учителя

Анна Владимировна и Григорий Евсеевич Тамарченко. Тогда и началось наше сотрудничество (которое продолжается и по сей день) с Пушкинским Домом, с отделом Пушкина и с группой Достоевского, с Лихачёвым, Мануйловым, Вацуро и с рядом других замечательных специалистов по русской литературе. О незамечательных я говорить не буду.

Конечно, я понимаю, что здесь неуместны многословные рассуждения о более глубоких корнях этих исследований – они ведут от античной литературы и философии до современной мировой и прежде всего венгерской литературы. Но нужно хотя бы упомянуть о тех, в той или иной мере использованных мною возможностях, которые мне предоставила учёба в трёх университетах. В Москве я имел счастье общаться с такими людьми, как Н. Гудзий (к нему меня направил мой свердловский преподаватель – тогда ещё не профессор В.В. Кусков), В.В. Виноградов (не забуду его лекции об образе автора, которую я слушал в своё время в ИМЛИ), Д. Благой, С. Бонди, заведующие кафедрой русской литературы А. Соколов, В. Кулешов, В. Катаев, Н.А. Глаголев, единственный сын которого погиб в районе Балатона, горячо принял меня, молодого аспиранта, отнёсся как к сыну... Интересно вспомнить и о полемических встречах, например, о дискуссии, – пусть и оставшейся подспудной, – о специфике содержания в искусстве, которую мы вели с Игорем Виноградовым. Но довольно об этом, пора вернуться к Достоевскому.

Возглавив издание Полного собрания сочинений Достоевского, на первых порах в качестве заместителя главного редактора, Г.М. Фридлендер, фактически, создал и организовал – на мировом уровне – невиданную по охвату, подлинную *Академию Достоевского*. Деятельность этой академии развернулась, вширь и вглубь, – в серии «Достоевский. Материалы и исследования», I-XVI, 1974-2000 (во II томе было опубликовано моё исследование «О смысле и художественной структуре повести Достоевского “Двойник”», а в XIV – «Иван Карамазов: Фауст или Мефистофель?»). На титульном листе подаренного нам экземпляра первого тома стоит двойное посвящение: «Дорогим Елене Васильевне и Альберту Григорьевичу Ковачам – от редактора.

Фридлендер. 22/IX, 74»; «Елене Васильевне Логиновской с искренним уважением от одного из авторов. Ю. Левин. 23.9.74, Ленинград.»

Трудно описать (да здесь и не место) все преграды, которые ставил культурному сотрудничеству – даже в рамках «социалистического» лагеря – режим обеих стран. Из-за сложившейся конъюнктуры, в период диктатуры, вплоть до 1990 года, у меня почти не было возможности приезжать на международные научные и культурные мероприятия в Советский Союз. Но нам «разрешались», во время отпусков, частные поездки – не только в «социалистические страны», но и на запад. Так мне удалось принять участие в работе некоторых важных съездов и конференций; так мы, вместе с Фридлендером, стали сотрудничать с Международным Обществом достоеведов – *International Dostoevsky Society*. Георгий Михайлович пользовался в нём огромным авторитетом; что же касается «мы» предыдущего предложения, оно обозначает всех специалистов по творчеству Достоевского, названных мною в «Аргументе» и в самой книге; это много десятков, почти сотня имён (другие же тысячи и тысячи остались не упомянутыми, как материал для другой книги – обзорного характера...) Всё же хочется упомянуть здесь хотя бы некоторых исследователей из молодого тогда поколения – Р. Нейхаузер, Ж. Катто, В. Шмид, Р.-Л. Джексон, В. Ветловская, С. Фастинг, М. Джоунс, Г. Хетсо, Х-Ю. Геригк, Д. Кирай, Н. Буданова... Я уж не говорю о «старших»: на наших симпозиумах выступали Д. Чижевский, Дж. Франк, Нильс Нильссон, Рене Уэллек. Во мне до сих пор живёт чувство гордости, что, по предложению, сделанному мною и Гейром Хетсо, почётным председателем МОД, рядом с Рене Уэллеком и Дмитрием Лихачёвым, был избран Григорий Фридлендер – в то время ещё не академик.

Сотрудничество с Фридлендером я всегда воспринимал как большую честь. Оно не оборвалось с его смертью и, по сути, продолжается и сегодня. М.Г. привлёк меня к работе в запланированной трёхтомной *Энциклопедии Достоевского*, доверив мне, между прочим, статью о поэтике великого писателя – знак той

оценки, которую он дал настоящей книге, выходящей на русском языке только в 2007 году...

Эта книга выросла на очень реальной почве моих обстоятельных и трудоёмких курсов, разработанных в 60-70-е годы в Бухарестском университете: «История русской литературы XIX века» (т.I – 1968, т.II – 1980, с переизданиями) и «Теория литературы. Сравнительная поэтика». К предыстории книги относится и мой доклад на одном из международных симпозиумов, опубликованный, под заглавием «Проблема человеческой личности в творчестве Достоевского», в книге «Изображение человека в русской классической и советской литературе» («Наука и искусство», София, 1973, с.108-118). В этой работе я «изнутри», подробно показал, «как сделан» «Двойник» Достоевского, вскрыл его мотивную структуру. К тому же познакомился и сблизился с такими людьми, как Дмитрий Лихачев, Жан Перюз, Эридано Бацарелли.

В те давние времена и после мною была опубликована, на венгерском и затем на румынском языке, антология «Достоевский об искусстве», а затем и новая книга «Достоевский: Quo vadis homo?» (Бухарест, 2000). Здесь преобладают опыты реинтерпретации творчества писателя и его литературных взаимосвязей на почве – может быть, моей первой специальности – сравнительной поэтики (сопоставление Достоевского с такими авторами как Сервантес, Монтень, Гете, Гюго и др.) К этому циклу примыкают и другие мои работы, из которых последняя называется «От Адама и Иова до Фауста и Ивана Карамазова».

Первые варианты многих глав этой книги были опубликованы «во время оно» в различных литературных изданиях, журналах, соавторских томах, и на них делаются ссылки в Примечаниях. За исключением ссылок и критических замечаний по поводу переводов произведений Достоевского на румынский язык, текст оригинала воспроизводится в русском варианте без изменений.

Жду справедливого суда читателя – впрочем, желая ему чтения не только критически полезного, но и приятного.

А.К.,
Бухарест, Март 2003

I. ИСКУССТВО ПОВЕСТВОВАНИЯ

Век XX знает Достоевского, может быть в первую очередь, благодаря его искусству повествования. Современный роман, вписываясь в традицию мировой литературы, широко использует именно в этой сфере художественный опыт русского писателя.

Первый этап восприятия творчества Достоевского, который продолжался до конца XIX века, был в значительной мере затемнён непониманием роли и значения различных форм повествования, введённых русским писателем или использованых им в новых функциях, что привело к искажённому толкованию ряда его произведений, отправляющемуся от отождествления автора с фиктивным рассказчиком или с тем или другим из его персонажей. Отсюда и острая борьба мнений, приводящая в отдельных случаях к отрицанию подлинной художественной ценности самой манеры, стиля русского художника. Читателей же неизменно поражала огромная изобразительная сила и психологическая глубина его романов, благодаря которой рушились все стены, отделяющие их от художественного мира автора.

Причина этого начала проясняться по мере изучения поэтики Достоевского и всё более углублённого прочтения его произведений как специфических, эпических романных структур. В последние десятилетия критическое освоение наследия Достоевского, и в частности исследование его поэтики, всё больше сосредотачивалось на искусстве повествования русского писателя и на связанных с ним аспектах его творчества.

* * *

Многочисленные, самые различные повествовательные модели существовали в литературе уже с начала мира – точнее, с тех пор, как возникли мифы, которые в доисторическую эпоху были не только магией, но и наукой, и искусством. Нет мифа, который не сообщал бы о каком-либо происшествии, а, значит, не предлагал бы при этом и какой-либо формы повествования. Ещё древние греки рассмотрели основные повествовательные ситуации и описали их в рамках теории литературных родов.

Платон подметил не только различные психологические типы творцов, но и лежащие на поверхности грамматические структуры рассказа. [1] Аристотель говорит уже и о глубинных структурах. Идею Стратигита о вкраплении в эпическую структуру «повествования устами другого», независимо от его грамматической формы, можно считать первым постулатом современной наратологии [2].

На заре человеческой цивилизации переход от мифа к сказке маркировал создание новых эпических форм, структурирование событийного материала в соответствии со строго определёными композиционными принципами. Речь идёт о структуре сказки, о рассказывании определённой истории и при этом – о «функциях» (поступках) героя. Потом явилась и проблема *повествователя* – вопрос о том, кто и как рассказывает, а также множество других вопросов, связанных с закономерностями бытования эпических форм, наличествующих уже в «Илиаде» и «Одиссее». В.И. Пропп, Цв. Тодоров, Е.М. Мелетинский, Кл. Бремон и другие раскрыли в этой области немало секретов.

В эпоху Возрождения и особенно на протяжении XVIII-XIX веков мировая литература создала большое разнообразие повествовательных ситуаций. К первой, основной ситуации – к форме повествования от имени безличного всезнающего автора, говорящего в третьем лице о событиях и героях как о чём-то ему внешнем – была добавлена вторая основная ситуация с её многочисленными вариантами: повествование через посредника; от имени самого героя, второстепенного персонажа или свидетеля; через слово-голос фиктивного повествователя, хроникёра – и всё это, как правило, от первого лица. Особую роль сыграла при этом разработка понятия сказа представителями русской формальной школы.

Если в XIX веке в общих чертах преобладает первая, объективная форма повествования, уже у Достоевского и особенно в романе XX века на первый план выдвигаются варианты повествовательных ситуаций, относящихся ко второй категории, то есть не «классические». Было отмечено (в Румынии это сделал Ромул Мунтяну, анализируя роман эпохи Просвещения; Сильвиан Иосифеску, расшифровывая линии, по которым следует «подвижной взгляд»

повествователя XX века; Миоара Аползан в связи с современным румынским романом) [3], что неклассическая форма повествования – от имени героя или посредника, при помощи техники отступлений, преодоления законов линейного времени и т.п. – использовалась здесь, по сути, уже давно [4].

То же самое произошло и в русской литературе ещё до Достоевского. Так, Гоголь не только формально-условно прибегает к повествованию через посредника, но и включает в его голос несобственно-прямую речь, а Лермонтов использует в «Герое нашего времени» большое разнообразие повествовательных ситуаций, в которых появляется фиктивный рассказчик – путешествующий по Кавказу офицер, второстепенный персонаж-свидетель или первое лицо героя (форма повествования Ich Erzahlung в *Дневнике Печорина*). Но у Достоевского и его последователей происходят в этом плане дальнейшие, причём радикальные качественные изменения.

Вторая половина XX века открыла в области поэтики повествования столько, сколько не сумели сделать два с половиной тысячелетия от Аристотеля до наших дней. Такие теоретические течения, как русская формальная школа, структурализм, теория текста и семиотическая наратология, привели к замечательным достижениям в описании и интерпретации повествовательных ситуаций, столь важных для искусства романа XX века. Тем самым Достоевский оказался не только предшественником современного романа, оказавшим огромное влияние на важнейшие литературные течения XX века: его творчество стало и объектом исследований, на основе которых были раскрыты важнейшие аспекты современной эпики. Всеохватывающий синтез этих многочисленных трудов занял бы слишком много места, и мы остановимся здесь лишь на тех аспектах, которые кажутся нам необходимыми для рассмотрения художественных структур прозы Достоевского. С другой стороны, следует заметить, что если бы кто-нибудь пожелал обобщить все исследования, посвящённые за последние десятилетия XX века поэтике Достоевского, он был бы вынужден поместить в центре этих исследований всё те же проблемы повествования. Вот почему и в нашем исследовании, намереваясь сказать нечто новое об искусстве Достоевского, мы отправляемся от той же точки.

1

Дебют Достоевского – роман «Бедные люди», вышедший в 1846 году, – оказался важнейшим событием литературной жизни России: *prima verba* выявила талант, исключительный по силе и оригинальности. Новизна этого произведения – очевидная на всех уровнях его художественной структуры – была поразительной. Представители низших слоёв общества, чуть ли не парии, становились героями романа, новые горизонты гуманизма вели к переоценке ценностей, включая аспекты существующего общественного устройства. Традиционная, условная форма романа в письмах была использована для углубления психологического анализа, для проникновения в бездны сознания – с помощью новых наративных структур. Но эта новизна и прежде всего – не только формальное, но и фактическое вручение герою миссии повествователя, оказалась непонятной для части читателей, и Достоевский жалуется на это обстоятельство в письме к брату Михаилу от 1 февраля 1846 года: «Не понимают, как можно писать таким слогом. Во всём они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может. Роман находят растянутым, а в нём слова лишнего нет».

Второй роман, «Двойник», вышедший в том же 1846 году, не представляет ничего нового с точки зрения поверхностной нарративной структуры: классическое повествование от третьего лица – от имени автора – полностью включает его в категорию первой, кстати, самой распространённой, повестовательной ситуации. Но тип нарративной структуры сам по себе не является художественной ценностью: эту ценность ему придают специфические функции, которыми его наделяет автор. Что было обнаружено значительно позже. В своих работах «К морфологии натурального стиля (Опыт лингвистического анализа петербургской поэмы “Двойник”)» (1922) и «К построению теории поэтического языка» (1927) Виктор Виноградов показал, с помощью анализа речи повествователей, своеобразие архитектоники романа Достоевского. Предшественник создателей современной наратологии, В. Виноградов выделяет, рядом с понятиями *повествователь*, *персонаж* и

биографический автор, и понятие *образ автора* – что, в общих чертах, соответствует терминам: «точка зрения» в романе – *point of view in fiction* (Перси Лаббок и Н. Фридман), «типические нарративные ситуации» (К.Ф. Станзел), «авторский (аукториальный) голос» (В.К. Бус) и др.

Отталкиваясь от наблюдения Белинского, подметившего, что в романе «Двойник» автор рассказывает историю героя от своего имени, но полностью – словами и понятиями персонажа, Виноградов обнаруживает широкое использование в тексте повествователя, в его устной и письменной речи, канцелярского языка; причём единственной целью этого остаётся художественность, в частности – получение комического эффекта. Маска рассказчика скрывает лицо героя путём включения его языка с помощью «непрямой» речи: «В “Двойнике” сближение разговорной речи г. Голядкина с повествововательным сказом бытописателя увеличивается ещё оттого, что в “несобственной прямой” речи голядкинский стиль остаётся без изменения, падая, таким образом, на ответственность автора. А так как Голядкин говорит одно и то же не только языком своим, но и формами моторной экспрессии: взглядом, видом, жестами и движениями, то вполне понятно, что почти все описания (многозначительно указывающие на “всегдашнее обыкновение” г. Голядкина) пестрят неотмечаемыми цитатами из его речей» [5].

Поскольку повествователь выступает в маске героя, нарративная ситуация получает у Достоевского специфическое качество: сообщение о том или ином факте или событии делается, чаще всего, от имени очного свидетеля. Лексическая опора такой оптики создаётся целым рядом специфических выражений: «кажется», «как видно», «можно заметить» и пр., последовательностью моментов, обозначаемых наречием «вдруг», нагромождением глаголов движения, то и дело повторяемых в тексте. Рассказчик подражает Голядкину по-актёрски, то есть автор подменяет себя – чаще всего вставным – повествователем, с сохранением приёма подачи сообщения на уровне автооценки героя или от имени его двойника. Эпический дискурс накладывается на язык Голядкина, нередко идентифицируясь с ним, то есть рассказчик отождествляется с героем. «Петербургская поэма, по крайней мере во

многих частях, выливается в форму рассказа о Голядкине его “двойника”, т.е. “человека с его языком и понятиями”. В применении этого новаторского приёма по отношению к конструкции “образа автора” и крылась причина неуспеха “Двойника”» – заключает Виноградов. [6].

С нашей точки зрения, этот неуспех – впрочем, частичный – объясняется по крайней мере двумя причинами: не только тем, что новый приём не был понят определённой категорией читателей и – что ещё важнее – критиков, но и тем, что, ещё не кристаллизировавшись, он не всегда достаточно чётко выявлял намерения и позицию автора. Анализируя глубинные структуры, мотив и символические значения романа «Двойник» (в работе, включённой в данную книгу), мы пришли к выводам, подтверждающим гипотезу Виноградова о причинах «неуспеха» романа у публики. Для подтверждения сказанного, приведём здесь лишь один характерный пример.

Голядкин-старший, находясь в острой фазе раздвоения, стоя уже на грани помешательства, проходит муки неуверенности, связанной с существованием / несуществованием его двойника как призрака или как реальной фигуры – коллеги по службе. Он уже верит в своего двойника, который неожиданно возникает перед ним. Вначале автор готовит, кажется, восприятие этого происшествия глазами героя: «Дверь из другой комнаты вдруг скрипнула тихо и робко, как бы рекомендуя тем, что входящее лицо весьма незначительно, и чья-то фигура, впрочем весьма знакомая господину Голядкину, застенчиво явилась перед самим тем столом, за которым помещался *наш герой*. *Герой наш* не подымал головы, – нет, он наглядел эту фигуру лишь вскользь, самым маленьким взглядом, но уже всё узнал, понял всё, до малейших подробностей. Он сгорел от стыда и уткнул в бумагу свою победную голову, совершенно с тою же самою целью, с которою страус, преследуемый охотником, прячет свою в горячий песок».

В обычной петербургской конторе воцаряется молчание, предвещающее нечто ужасное: «Поведение господ товарищей сослуживцев господина Голядкина поразило его. Оно казалось вне здравого смысла. Господин Голядкин даже испугался такого необыкновенного молчания. Существенность за себя говорила; дело было

странное, безобразное, дикое. Было от чего шевельнуться. *Всё это, разумеется, только мелькнуло в голове господина Голядкина*. Сам же он горел на мелком огне. *Да и было от чего, впрочем*. Тот, кто сидел теперь напротив господина Годякина, был ужас господина Голядкина, был – стыд господина Голядкина, был – вчерашний кошмар господина Голядкина, *одним словом, был сам господин Голядкин, – не тот господин Голядкин, который сидел теперь на стуле с разинутым ртом и с застывшим пером в руке*; не тот, который служил в качестве помощника своего столоначальника; не тот, который любит стушеваться и зарыться в толпе; не тот, наконец, чья походка ясно выговаривает: “Не троньте меня, и я вас трогать не буду”, или: “Не троньте меня, ведь я вас не затрагиваю”, – нет, это был другой господин Голядкин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого...» (I, 146-147).

Здесь, за исключением выделенных курсивом слов и выражений, на уровне глубинной наративной структуры всё принадлежит герою, но формально и отчасти грамматически текст атрибуирован автору. Значит, речь идёт не только о включении в язык повествователя характерных слов и выражений героя, его несобственно прямой речи, но и об особой, более сложной наративной ситуации: отождествление злого привидения – двойника с молодым чиновником имеет место только в распадающемся сознании героя. Это подтверждается тут же, по ходу событий, потому что на обращение Голядкина к начальнику: «Я хочу сказать, Антон Антонович, что здесь есть новопоступивший чиновник», тот отвечает:

«– Да-с, есть; однофамилец ваш.

– Как? – вскрикнул господин Голядкин.

– Я говорю: ваш однофамилец; тоже Голядкин. Не братец ли Ваш?»

Новый приём, эффективный в рамках фрагмента и в изолированном плане повествования, может достичь своего наивысшего эффекта только по отношению к архитектонике целого. Но искусство Достоевского в это время ещё далёко от совершенства. Потребовался долгий период поисков, продлённый каторгой и ссылкой, появление новых повестей и романов, прежде чем в творчестве

русского писателя окончательно сложились новые повествовательные структуры. Эти структуры появляются, в преддверии больших романов, в «Записках из подполья» – произведении, вызвавшем в литературных кругах острые споры, и кристаллизируются окончательно, на более высоком уровне, в рукописных вариантах «Преступления и наказания». Оба эти опыта слишком важны, чтобы мы могли пройти мимо них.

2

В начале 60-х годов Достоевский всё активнее включается в полемику по вопросам не только литературным, но и идеологическим. К жизненному опыту каторги добавляется новый, не менее важный опыт политической действительности эпохи реформ, включающий, может быть, впервые в истории царской империи, подземный гул освободительного движения, которое перехлёстывает все препоны режима и выливается в открытое выступление. Благодаря изданию журналов «Время» и «Эпоха» братья Достоевские в полный голос заявляют о своих гражданских идеалах. Путешествие романиста, столь чуткого ко всему новому, в Западную Европу, открывает ему широкие исторические горизонты, показывает противоречия прогресса в капиталистическом обществе. Бедственное материальное положение, трагическая потеря первой жены и брата, страстность натуры сталкивают писателя лицом к лицу с «проклятыми вопросами», основными проблемами бытия. Как реакция против моральной и духовной опустошённости, отмеченной им как в среде русской интеллигенции, так и в западном буржуазном мире, рождается теория *почвенничества*. Идеологический контекст, в котором вышли «Записки из подполья» (1864), определяется, следовательно, комплексом идей «Записок из мёртвого дома» (1860-1862), важным элементом которого является отождествление авторского Я с угнетённым патриархальным народом, с провозглашением «живой жизни» как верховной человеческой ценности. Все эти проблемы широко ставятся писателем в его выступлениях в журнале «Время», в том числе в серии путевых очерков-памфлетов «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863), где выявлен и подвергнут критике моральный кризис развитого капиталистического общества,

даётся отпор этическому нигилизму и духовному отчуждению индивида в этом мире.

Мы напомнили лишь несколько фактов, несколько идеологических координат, указывающих на обстоятельства, в которых появились «Записки из подполья»; текст «Записок» будет проанализирован далее с точки зрения искусства повествования, имеющего решающую роль в выяснении подлинной авторской позиции. При этом мы не касаемся пока интерпретаций этого произведения, основанных на отождествлении центрального персонажа (повествователя) с автором, с самим Достоевским.

Повесть-эссе «Записки из подполья» – первая часть которой предлагает читателю исповедь героя, содержащую его убеждения и моральные взгляды, а вторая представляет собой собственно эпическую структуру в нескольких эпизодах, – написана от первого лица, от имени героя. Этот художественный факт отмечен самим писателем в виде сноски к заглавию первой части, «Подполье», – вещь довольно-таки необычная в беллетристике, тем более что эта сноска подписана полным именем Достоевского. Вот её текст: «И автор Записок и самые “Записки”, разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество. Я хотел вывести перед лицо публики, повиднее обыкновенного, один из характеров протекшего недавнего времени. Это – один из представителей ещё доживающего поколения. В этом отрывке, озаглавленном “Подполье”, это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие записки этого лица о некоторых событиях его жизни. Фёдор Достоевский».

Повестование от лица героя не только строго соблюдается на протяжении всего текста, но и настойчиво подчёркивается многочисленными повторениями. В первых двух строках: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни и не знаю наверно, что у меня болит» – пять раз

повторяется местоимение Я. Первая глава первой части кончается следующим образом: «А впрочем: о чём может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ: О себе. Ну так и я буду говорить о себе». А вторая глава начинается так: «Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается или не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не удостоился» (V, 101). Можно ли более четко обозначить контуры приема Ich Erzahlung? Функция повествования от первого лица героя не ограничивается здесь задачей создания поверхностной структуры, не сводится к грамматической форме, а охватывает глубинные структуры. Повествование ведётся не только от имени героя, но и с его точки зрения, с использованием его выражений и понятий. Форма исповеди оказывается адекватной как для выражения чувств, переживаний героя, так и для постулирования его идеологических позиций, ибо персонаж становится здесь впервые у Достоевского *героем-идеологом* в полном смысле этого слова. Ярый нигилизм подпольного человека превращает этот персонаж в антигероя: «Теперь же доживаю в своём углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьёзно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, деятель – существом по преимуществу ограниченным» (V, 100).

Философский дискурс, требующий первого лица, занимает в «Записках из подполья» важное место. Но этот дискурс не поднимается на высший структурный уровень, будучи подчинён центральной проблеме повести, основной антиномии антигероя: жажда жизни – разрушение жизни с помощью этического нигилизма, изоляции, яростного эгоизма, каприза; сознания собственной уродливости – и убеждения, что и все другие таковы.

Идентифицируя тип повествования – от первого лица, от имени героя – мы лишь приступаем к описанию повествовательных структур Достоевского, отличающихся исключительным многообразием и многоголосием. В силу антиномичного характера

героя подполья его голос не монологичен, а полифоничен. Его бесхарактерность, постоянные колебания даны как концерт противоречащих друг другу внутренних голосов: «Конец концов, господа: лучше ничего не делать! Лучше сознательная инерция! Итак, да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я вижу его, не хочу им быть (хотя всё-таки не перестану ему завидовать. Нет, нет, подполье во всяком случае выгоднее!) Там по крайней мере можно... Эх! да ведь я и тут вру! Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К чёрту подполье!» (V, 121).

Повествовательная структура, однако, не сводится к голосу героя-рассказчика. Полифония в собственном смысле этого слова начинается с введения в произведение других голосов, в первую очередь голосов его идеологических противников. С этой целью используется как прямая, так и несобственно-прямая речь. Полемизируя с адептами различных научных теорий, герой, в определённый момент, заявляет: «“Помилуйте, – закричат вам, – восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивает; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ли вам её законы или не нравятся. Вы обязаны принимать её так, как она есть, а следовательно, и все её результаты. Стена, значит, и есть стена... и т.д., и т.д.” Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся?» (V, 105). И – в другом месте, в форме несобственно-прямой речи: «Когда-то, – это всё вы говорите, – настанут новые экономические отношения совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностию, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, никак нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда всё будет расчислено по табличке), зато всё будет чрезвычайно благоразумно» (V, 113).

Следует отметить, что среди противников героя числится и сам автор. Говоря о «стонах» образованного современного человека, герой-повествователь замечает, что он стонет не только из-за зубной боли: «Не так как какой-нибудь грубый мужик, а так, как человек тронутый развитием и европейской цивилизацией стонет, как человек, “отрешившийся от почвы и народных начал”, как теперь выражаются» (V, 107). Выделенные здесь слова отсылают нас к концептам самого писателя, к типу западника, к теории почвенничества.

Полифоническое звучание целого осуществляется и благодаря включению голоса читателя. Приведём в качестве примера начало Четвёртой главы:

«– Ха-ха-ха! да вы после этого и в зубной боли отыщете наслаждение! – вскрикнете вы со смехом. – А что ж? И в зубной боли есть наслаждение, – отвечу я» (V, 106)

В последней главе последней части голос читателя вводится также с помощью цитат и формул обращения, чем маркируется чужое слово во внутреннем монологе героя:

«– И это не стыдно, и это не удивительно! – может быть, скажете вы мне, презрительно покачивая головами. – Вы жаждете жизни и сами разрешаете жизненные вопросы логической путаницей. И как назойливы, как дерзки ваши выходки, и в то же время как вы боитесь! /.../ Вы уверяете, что скрежещете зубами, и в то же время острите, чтоб нас рассмешить. Вы знаете, что остроты ваши не остроумны, но вы, очевидно, очень довольны их литературным достоинством. Вам, может быть, действительно случалось страдать, но вы нисколько не уважаете своего страдания. В вас есть и правда, но в вас нет целомудрия; вы из самого мелкого тщеславия несёте вашу правду на показ, на позор, на рынок... Вы действительно хотите что-то сказать, но из боязни прячете ваше последнее слово, потому что в вас нет решимости его высказать, а только трусливое нахальство. Вы хвалитесь сознанием, но вы только колеблетесь, потому что хоть ум у вас и работает, но сердце ваше развратом помрачено, а без чистого сердца – полного, правильного сознания не будет. И сколько в вас назойливости, как вы напрашиваетесь, как вы кривляетесь! ложь, ложь и ложь! // Разумеется, все эти ваши слова я сам сейчас сочинил. Это тоже из подполья» (V, 121-122)

Герой подполья, в качестве автора записок и в соответствии со своей натурой любителя парадоксов, любой ценой защищающего свой образ мысли и готового для этого на любую спекуляцию, стремится всё запачкать, забросать грязью – что дополнительно подтверждает повествовательную условность, создавая образ воображаемого Читателя, которого он то маскирует, то отрицает. Это становится ещё более явным в продолжении процитированного выше фрагмента, где герой-рассказчик заявляет, что пишет для себя, а обращение к читателю имеет одну единственную цель – облегчение процесса письма: «речь идёт о форме и только о форме». Но тут же герой-рассказчик возникает снова, подтверждая своими словами принцип условности и в то же время предлагая целую небольшую поэтику наратологии: «Ну вот, например: могли бы придраться к слову и спросить меня: если вы действительно не рассчитываете на читателя, то для чего же вы теперь делаете с самим собой, да ещё на бумаге, такие уговоры, то есть что порядка и системы заводить не будете, что запишете то, что припомнится, и т.д., и т.д.? К чему вы объясняетесь? К чему извиняетесь?

– А вот поди же, – отвечаю я.

Тут, впрочем, целая психология. Может быть, и то, что я просто трус. А может быть и то, что я нарочно воображаю перед собой публику, чтобы вести себя приличнее в то время, когда буду записывать. Причин может быть тысяча» (V, 123).

Относительно независимые, голоса всё же соотнесены друг с другом. Автор акредитирует их с точки зрения аутентичности высказывания, с точки зрения выражаемой ими правды / неправды. Акредитация осуществляется прямо внутри дискурса, внутри одного и того же голоса, с помощью иманнентного содержания, силы его убеждения, логики и психологического реализма. В процитированном выше отрывке из слов читателя чётко вырисовывается истина: с сердцем, погружённым в разврат, человек не может иметь и подлинно человеческого, чистого сознания, совести. Рассуждение героя о том, что разум является лишь одним из компонентов человеческой личности, направленным против крайнего, одностороннего рационализма, основывается на законах логики, то есть тоже, по крайней мере частично, акредитировано

автором: «Ведь я, например, совершенно естественно хочу жить для того, чтоб удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтоб удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то есть какой-нибудь одной двадцатой доли всей моей способности жить. Что знает рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать (иного, пожалуй, и никогда не узнает; это хоть и не утешение, но отчего же этого и не высказать?), а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врёт, да живёт» (V, 115).

Техника пародии широко применяется в повести. Даже на уровне героя отрицается не само «высокое и прекрасное», но подражание ему, издевательство над ним: может ли ленивый обжора, который гордится тем, что разбирается в бордосских винах и не способен ни к чему другому, иметь чистую душу, быть чутким к прекрасному и высокому?..

Роль, которую берёт здесь на себя рассказчик, – это роль пародиста. Пародируемый менталитет есть не что иное как демагогическая либеральная идеология, адепты которой воспроизводили в 60-е годы формулу, служившую в эпоху 40-х годов для выражения подлинно благородного идеала, – пустая фраза, не имеющая никакого отношения к реальному положению вещей. Этот разрыв между делом и словом раскрывается здесь с большой силой комизма с помощью нарастающих контрастов, доходящих до сарказма: «А я бы себе тогда выбрал карьеру: я был бы лентяй и обжора, но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому», – говорит рассказчик, выдавая себя за демагога-сибарита: «Как вам это нравится? Мне это давно мерещилось. Это “прекрасное и высокое” сильно-таки надавило мне затылок в мои сорок лет; но это в мои сорок лет, а тогда – о, тогда было бы иначе! Я бы тогда же отыскал себе соответствующую деятельность, – а именно: пить за здоровье всего прекрасного и высокого» (V, 109).

Во второй части повести с помощью этой формулы осмеян ряд псевдоромантических и псевдогуманистических идеалов: «Свойства нашего романтика /.../ постоянно не терять из виду полезную, практическую цель (какие-нибудь там казённые квартирки, пенсиончики, звёздочки) – усматривать эту цель через все

энтузиазмы и томики лирических стишков и в то же время “и прекрасное и высокое” по гроб своей жизни в себе сохранить нерушимо, да и себя уже кстати вполне сохранить так-таки в хлопочках, как ювелирскую вещицу какую-нибудь, хотя бы, например, для пользы того же “прекрасного и высокого”» (V, 126).

Мотив демагогического либерализма включает здесь в себя уже отмеченный нами выше отживший романтический подход, основанный на разрыве между словом и делом; значит, на авторском уровне отвергается именно этот разрыв, а никак не высокое и прекрасное само по себе. Только на основе совершенно неадекватного прочтения произведения можно было увидеть здесь отказ писателя от гуманистических идеалов.

Слово героя, нередко получающее авторскую акредитацию, дискредитировано в его основных измерениях. Точнее, голос героя, наделённый психологическим правдоподобием, в то же время несостоятелен с точки зрения этической и философской сущности его утверждений. Дискредитация осуществляется через имманентную логику сообщений, содержащихся в дискурсе героя, через иронию и автоиронию, через болезненное, мучительное признание собственной трусости и подлости. Даже знаменитое цинично-эгоистическое утверждение в диалоге с Лизой: «Да я, за то, чтобы меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Знала ль ты это, или нет? Ну, а я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себялюбец, лентяй» – вытекает из глубины души, потрясённой собственным моральным падением, то есть компрометируется изнутри. Впрочем, трезвость самооценки героя и зерно подлинного самосознания – зародыши человечности, скрывающиеся в глубине его переживаний, – приводят к тому, что его дискредитация оказывается полной даже на уровне его собственного дискурса: «А случилось вот что: Лиза, оскорблённая и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймёт, если искренне любит, а именно: что я сам несчастлив» (V, 174).

Автооценка рассказчика как *антигероя* совпадает, несомненно, с позицией романиста, а всё, что следует дальше в тексте и

выделено нами, представляет слово автора, включённое, в форме горькой автоиронии, во внутренний монолог, в несобственно-прямую и даже в прямую речь героя. Мы имеем в виду прежде всего цитирование формулы «живая жизнь». В теоретических текстах писателя понятие «живой жизни», как и связанные с ним концепты, легко идентифицируемы.

В финале, в соответствии с законами кольцевой композиции, вновь появляется авторское слово, ещё раз выявляя принятую на всём протяжении рассказа повествовательную перспективу – рассказ *от имени героя*: «Впрочем, здесь ещё не кончаются “записки” этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться» (V, 179).

Авторская точка зрения заявлена в произведении естественно, не только через повествовательную структуру – через сумму и систему голосов и точек зрения персонажей, через сопоставление оценок, включённых в сообщения, через логику и органическое психологическое правдоподобие тех или иных полифонических «голосов», но и – может быть, даже в первую очередь – через саму «историю», то есть через имманентность наратума. Судьба героя, представленная в ряде событий и поступков, в событийности как таковой, содержит и его оценку – объективный приговор, неопровержимый в свете подлинной художественности всего изображённого. Эпизоды второй части повести подтверждают, чисто эпическим путём, всё, что было заявлено в первой части в жанре эссеистической философской прозы. Вспомним в связи с этим лишь центральный эпизод – историю отношений героя с Лизой, стоящей на пороге падения. Автор подхватывает здесь мотив стихотворения Некрасова «Когда из мрака заблужденья...», в котором лирический герой – интеллигент, проникнутый светлыми гуманными идеями, извлекает из моральной пропасти проститутку, которая становится его возлюбленной и которой он предлагает стать его супругой: «И в дом мой, смело и свободно / Хозяйкой полною войди!». Полемизируя с Некрасовым в духе абстрактно-гуманистических идей, Достоевский, однако, идёт по тому же пути реабилитации человека – в данном случае, женщины, погибающей в результате неблагоприятных жизненных условий. По сути, он движется по этому пути ещё дальше, создавая новый

литературный мотив духовного и морального бессилия современного интеллигента, отчуждённого и эгоистичного, стоящего ниже женщины, сознание которой пробуждает, ибо неспособен к живой жизни, к любви и человечности. Тщеславие и гордыня антигероя приводят лишь к пробуждению человеческого сознания героини, которая могла бы, в свою очередь, спасти его, если бы условия современного мира, современной цивилизации не преградили отчуждённому человеку путь к спасению. В свете своих поступков герой подполья оказывается банкротом с точки зрения как моральной, так и философской.

Проявивший, во время первых встреч с героиней, способность не только к сочувствию, но и к состраданию, теперь, после того, как он её оскорбил – потому что он не просто неспособен быть добрым, не в силах признаться себе, что он хуже её, – подпольный человек вызывает у неё странную реакцию: «А случилось вот что: Лиза, оскорблённая и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда поймёт, если искренно любит, а именно: что я сам несчастлив» (V, 174). Сам понимая, что для него любить значит тиранить и на каждом шагу демонстрировать своё моральное превосходство, измученный своим неодолимым самолюбием, он пытается анализировать свои ощущения: «Чего мне было стыдно? – не знаю, но мне было стыдно. Пришло мне только в взбудораженую мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она, а я точно такое же униженное и раздавленное создание, каким она была передо мною в ту ночь, – четыре дня назад...» (V, 175). Приговор, который приходит изнутри, подтверждённый эпической фактурой повести, оказывается окончательным и обжалованию не подлежит.

Анализ наративных структур даёт нам точные и тонкие инструменты для интерпретации произведения. В свете тех значений, которые вытекают из текста, утверждения о том, что Достоевский отказывается здесь от гуманистических убеждений своей молодости, от идеалов добра и красоты, представляются не просто необоснованными, но поистине абсурдными. Вот что говорит, например, Лев Шестов в связи с «Записками из подполья»: «Там и Шиллер, там и гуманность, и поэзия Некрасова, и хрустальное

здание, словом, всё, что когда-то наполняло умилением и восторгом душу Достоевского, – всё осыпается целым градом ядовитейших сарказмов. Идеалы и умиление по поводу их вызывают в нём чувство отвращения и ужаса. Не то чтоб он оспаривал возможность осуществления идеалов. Об этом он и не думает, и не хочет думать. Если когда-нибудь и суждено сбыться великодушным мечтам его юности – тем хуже. Если когда-нибудь осуществится идеал человеческого счастья на земле, то Достоевский заранее предаёт его проклятию» [7].

Здесь всё поставлено с ног на голову или просто фальсифицировано. Достоевский осуждает, по сути, прямо обратную ситуацию: невозможность для человека из подполья осуществить в жизни законы морали, его неспособность к любви и к добру; писатель оплакивает – даже устами героя – опустошение идеалов прекрасного и высокого, подтверждая тем самым эти идеалы на авторском уровне.

Отвратительная фигура героя «Записок из подполья» не лишена трагизма. Извращение человеческой природы вызывает у нас сочувствие. Но трагедия не отрицает, а подтверждает, с отрицательным знаком, необходимость идеала. Для того, чтобы в этом убедиться, следует более точно прочесть и заявления самого романиста о воссозданном им типе – новом типе «героя времени», который составляет, по его собственным словам, его славу, «ибо тут правда». В отрывке из Записных тетрадей за 1875 год, среди рукописей и планов романа «Подросток», отвечая критикам, которые обвиняли его в исключительности и неправдоподобии описываемых им явлений, писатель подчёркивал глубокую укоренённость его произведений в действительности эпохи. Вот что записывает он в связи с «подпольем» и, в частности, с «Записками из подполья», в заметке, озаглавленной «Для предисловия»: «Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости. Как герои, начиная с Сильвио и “Героя нашего времени” до князя Болконского и Левина, суть только представители мелкого самолюбия, которые “не хорошо”, “дурно воспитаны”, могут исправиться потому, что есть прекрасные примеры (Сакс в “Полиньке Сакс”, тот

немец в “Обломове”, Пьер Безухов, откупщик в “Мёртвых душах”). Но это потому что они выражали не более как поэмы мелкого самолюбия. Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и невоможности достичь его и главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть не стоит и исправляться! Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды – не от кого, веры – не в кого! Ещё шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство). Тайна.»; «Причина подполья – уничтожение веры в общие правила (нет ничего святого)» (XVI, 320).

Сопоставляя эти заявления с комментариями Шестова, легко обнаружить, что эти последние резко противоречат взглядам Достоевского, ибо в его произведении именно трагическое измерение – указывая на то, что в отчуждении героя, в его эгоизме и в утере идеалов кроется и источник страдания, усиленный сознанием собственного ничтожества и бессилия, неспособности к возрождению – оказывается ничем иным как способом утверждения гуманистических идеалов. Об этом свидетельствует и весь контекст творчества Достоевского. Прослеживая, в другой главе этой книги, путь развёртывания мотива *Золотого века* в творчестве писателя, мы раскрыли и убеждённость романиста в том, что вера в человека и в его способность к общению и добру является первостепенным условием человеческого существования.

Мнения Шестова сами по себе не стоили бы пристального внимания, но приходится возвращаться к ним потому, что многие исследователи – некоторые вплоть до наших дней – идут по его стопам. Правда, существуют и прецеденты объективной, точной интерпретации текста; таково, например, исследование А. Скафтымова «”Записки из подполья” среди публицистики Достоевского» (1929). Полемизируя с Шестовым, как и с видными советскими исследователями Достоевского – Гроссманом, Долининым, Комаровичем – Скафтымов утверждает, что Достоевский остаётся на всём протяжении своего творческого пути поборником добра, идеала, чуткой совести: «Идеологически “Записки” говорят то же, что Достоевский потом развивал в каждом своём романе: рассудком и эгоизмом жизнь не может быть принята и оправдана; основа жизни и оправдание жизни коренятся в любви, в естестенном влечении

человека любить и быть любимым. Кто не может и по гордости не хочет отдаться закону любви, для того нет жизни» [8].

Румынский исследователь Ион Яноши в книге «Достоевский – трагедия подполья» (1968) посвящает интересующей нас проблеме впечатляющее развёрнутое эссе. Его аргументация неуязвима, когда он опровергает фальшивый тезис Шестова и других проповедников «смерти и аморализма», отождествляющий Достоевского с человеком из подполья (Ипполит, Ставрогин, Иван Карамазов). У Шестова, заявляет Яноши, «софизм элементарен, донельзя схематичен: человек подполья ненавидит всё сущее, значит, Достоевский – адепт хаоса; человек подполья отвергает конструктивные натуры – Аристотеля, Канта, Шиллера – значит, Достоевский иррационален. Человек подполья аристократичен и эгоистичен – явное доказательство ненависти Достоевского к обыкновенным людям, которым судьба дала лишь обыкновенное зрение; человек подполья отрицает логику, науку, мораль – и это происходит потому, что Достоевский преступил порог добра и зла, человечного и бесчеловечного». Анализ повествовательных структур, предпринятый нами, подтверждает эти трезвые тезисы. Однако, в свою очередь, этот анализ позволяет нам ещё более чётко определить идеологические позиции писателя и не следовать Иону Яноши тогда, когда он, противореча самому себе, утверждает, что Достоевский «отведал запретного плода интеллектуального и морального разврата» и представляет русского писателя как «предшественника иррационализма и антирационализма, литературы безнравственной и литературы, органически несовместимой с безнравственностью, тех, кто восхищается бесцельным преступлением, кто стремится к абсурду – и тех, кто его отвергает, певцов хаоса и любителей порядка» [9].

Предшественник, превращённый в предтечу с помощью неадекватного использования его наследия теми, кто за ним идёт, не отвечает за их действия и по сути не является их предтечей. Наши анализы – как, впрочем, и анализы самого Иона Яноши – отнюдь не подтверждают представления о Достоевском как провозвестнике (пусть лишь наполовину) хаоса, аморальности, абсурда и т.п. Приведённый пассаж, явно противоречащий большинству утверждений румынского автора, – дань непреодоленной инерции

отожествления персонажа и автора. Эту инерцию мы и стремились преодолеть, выявляя и раскрывая оригинальность повествовательных структур в романах Достоевского.

3

Явление, которое Михаил Бахтин назвал полифонизмом романного стиля Достоевского, возникает, как мы убедились, уже в «Записках из подполья». Но это явление не охватывает – здесь, как и в некоторых других произведениях – все уровни структуры текста. Значит, вывод относительно полифонизма должен быть уточнён как применимый лишь к определённому пласту структуры, к определённому сегменту поэтики произведения. Вернёмся, для подтверждения этого, к основному положению Бахтина в «Вопросах поэтики Достоевского»: «*Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов действительно является основною особенностью романов Достоевского*. Не множество характеров и судеб в едином объективном мире, в свете единого авторского сознания развёртывается в его произведниях, но именно *множественность равноправных сознаний с их мирами* сочетается здесь, сохраняя свою неслиянность, в единстве некоторого события. Главные герои Достоевского действительно в самом творческом замысле художника *не только объекты авторского слова, но и субъекты собственного, непосредственно значащего слова*. Слово героя потому вовсе не исчерпывается здесь обычными характеристическими и сюжетно-прагматическими функциями (то есть жизненно практическими мотивировками), но и не служит выражением собственной идеологической позиции автора (как у Байрона, например). Сознание героя дано как другое, чужое сознание, но в то же время оно не опредмечивается, не закрывается, не становится простым объектом авторского сознания. В этом смысле образ героя у Достоевского – не обычный объективный образ героя в традиционном романе. Достоевский – творец *полифонического романа*. Он создал существенно новый романный жанр. Поэтому-то его творчество не укладывается ни в какие рамки, не подчиняется ни одной из тех историко-литературных схем, какие мы привыкли прилагать к явлениям европейского романа. В его

произведениях появляется герой, голос которого построен так, как строится голос самого автора в романе обычного типа. Слово героя о себе самом и о мире так же полновесно, как обычное авторское слово; оно не подчинено объективному образу героя, как одна из его характеристик, но и не служит рупором авторского голоса. Ему принадлежит исключительная самостоятельность в структуре произведения, оно звучит как бы *рядом* с авторским голосом и особым образом сочетается с ним и с полноценными же голосами других героев» [10].

Точные наблюдения идут здесь рука об руку с некоторыми состоятельными лишь частично или, иногда, просто несостоятельными замечаниями. В самом деле, мы видели, что дискурс героя Достоевского относительно автономен, что он выражает особое видение мира и, как тонко замечает Бахтин, его голос – голос персонажа – построен точно так же как и голос автора в романе обычного типа. Концерт голосов, составленный из диалогов героев, которые постоянно оценивают всё, что происходит вокруг, и дают социальную и моральную самооценку, становясь героями-идеологами, – составляет самое существенное в искусстве романиста. Этот солидный фундамент теории Бахтина колеблется, однако, недооценкой функции авторского голоса в романе Достоевского, отрицанием его присутствия в дискурсе персонажа, сведением роли автора к одному из голосов, «равноправному» с голосами персонажей – так, будто автор не заявляет на высшем уровне своё глобальное видение мира, а стоит в ряду созданных им персонажей. На самом деле голос автора здесь повсеместен – он включён в дискурс персонажей, в частности, с помощью несобственно-прямой речи. Что же касается персонажей, они и в самом деле, не являются простыми рупорами идей автора, как это случается с резонёром в классицистической драме или с героями некоторых романтиков и как не случается у Шекспира или Бальзака; эти персонажи представляют собой не только *чистые голоса, собственные голоса*, как говорит Бахтин в другом месте, но включают и голос автора.

Авторская точка зрения выражается в романах Достоевского как раз с помощью «множественности характеров и судеб», то есть через имманентность эпического; как и через логику сообщения

в голосах персонажей – голосах, которые проходят в прозе Достоевского сложный процесс утверждения / отрицания. С другой стороны, дискурс героя-идеолога, воплощающий целый особый мир и его оценку, всё же подчинён объективному образу этого героя, является одним из характеризующих его элементов (поступки ведь характеризуют человека?) В результате, полифония не исчерпывает у Достоевского всего богатства его романного искусства, а является одним из компонентов специфической повествовательной структуры. Полифонизм выражается в действительности лишь на уровне диалога персонажей, на уровне композиции фрагмента или субансамбля. Создание целого подразумевает уже акредитацию голосов, что является одной из главных функций глубинной структуры, то есть «голоса» автора. С помощью эпического, событийности, с помощью мотивов философского пласта, с помощью высказываний голосов, акредитированных с точки зрения их истинности, логики, – с помощью всех своих компонентов, роман Достоевского раскрывает перед читателем его сугубо личное, глубоко своеобразное видение мира, авторский голос поднимается на более высокий уровень по сравнению с уровнем персонажей. В свою очередь, этот высший концептуально-эстетический уровень автора-творца включён в эпическую полифоническую структуру, хотя может быть, в большей или меньшей мере, замаскирован.

Концепт полифонического романа, разработанный Бахтиным в 1929 году, при всех существенных замечаниях, сделанных сначала Луначарским и затем другими, более близкими к нам хронологически критиками, сыграл важную роль для возникновения – на почве семиотического структурализма, теории текста и нарратологии – новой методологии. Локализация истин, открытых Бахтиным, ещё и сегодня служит прогрессу науки. Так, Жак Катто в своей широко известной монографии о русском писателе «Художественное творчество у Достоевского» (La creation litteraire chez Dostoievski) показывает, что композиция романа Достоевского оставляет место для свободы не только героев, но, в то же время, и автора; более того: она позволяет донести его высший взгляд на вещи, заявить в полный голос его собственную правду. Опираясь прежде всего на записные книжки писателя, Катто доходит до идеи

суверенности авторского «голоса» – идеи, ставящей законные границы бахтинской теории полифонизма.

Если сегодня идеи Бахтина продолжают воздействовать на развитие литературоведения прежде всего благодаря его теоретическим работам, полтора десятилетия тому назад его плодотворное влияние осуществлялось именно благодаря «Проблемам поэтики Достоевского» – книге, дважды переизданной и переведённой на множество иностранных языков. Разрабатывая сферу нарратологии Достоевского, многие исследователи, в свою очередь, создали ценные работы и раскрыли новые аспекты поэтики писателя. Так, Дьюла Кирай характеризует художественную структуру как объективное эпическое мышление романиста; Сергей Бочаров раскрыл новизну и своеобразие его стиля, а Лидия Соколова, развивая традиции Виноградова, тщательно вскрыла процесс взаимопроникновения прямой и несобственно-прямой речи в тексте Достоевского [11].

Эта традиция обогащается в свете теории текста и семиотики благодаря работам Вольфа Шмида, начиная с *Der Textaufbau in der Erzahlungen Dostoievskijs* [12].

Вместе с тем ясно, что привлечённая учёным теория коммуникации, представляющая интерес с точки зрения техники исследования, не обеспечивает, сама по себе, эстетической оценки. Ведь и сами художественные структуры определяются не общими абстрактными законами, а их применением в каждом конкретном произведении. Существенный вклад исследований, ведущихся в различных ракурсах, на разных языках, – и упомянутых здесь нами в очень незначительном объёме – оказался решающим для понимания современным читателем остро своеобразного, неординарного искусства повествования Достоевского.

Как мы убедились выше, уже в случае «Бедных людей» форма романа в письмах представляла собой не простую художественную условность, но подразумевала и определённую, специфическую повествовательную ситуацию – не только благодаря рассказу от имени героев, но и благодаря их «словам и понятиям». Язык героя проникает в текст безличного рассказчика – например, в микроромане «Двойник», где повествование ведётся от третьего лица. Но и в период зрелости один из самых смелых и сложных

опытов – и достижений – романиста также связан с поэтикой повествования. Разработанные особенно в «Записках из подполья» основные принципы наратологии Достоевского получают в каждом произведении новое, небывалое раньше применение. Важны здесь не столько принципы сами по себе, сколько полученные благодаря им эффекты, их функция и место в художественном целом произведения. Форма повествования и эпическое развитие событий включает у русского романиста, в соответствии со своеобразными законами его композиции, многообразие планов, в свою очередь придающее созданным им образам множественность измерений.

В процессе создания романа «Преступление и наказание» писатель долго ищет подходящую повествовательную перспективу, тон, соответствующий теме и необходимый для установления контакта с читателем. В первых набросках сам Раскольников должен был рассказывать о происходящих событиях, и лишь в третьем, окончательном варианте романа Достоевский отказался от формы исповеди, от признаний героя, заключённых в дневнике или заявленных перед судом (Одно из первоначальных заглавий было: «Рассказ преступника»), предпочтя повествованию от имени героя безличного автора. Две основные повествовательные перспективы тщательно взвешиваются, применяясь в зависимости от конкретной ситуации; каждая из них может быть, в принципе, предпочтена другой. В результате окончательный, опубликованный текст отдаёт предпочтение классической формуле – рассказу от третьего лица, – но сохраняет и много следов повествования от первого лица, от имени героя. Техника восприятия мира сквозь призму героя, через его физическое и духовное зрение, была использована и другими писателями, в том числе Толстым. Но у Достоевского главным становится перенос акцента на сознание героя – как в смысле экзистенциального измерения, психологического аспекта, так и в смысле его рецептивной функции – органа регистрации объективного эпического мира. Чтобы дать читателю как можно более полное ощущение реальности, писатель – как присутствующий в романе, явный автор или комментатор – должен как можно дальше отойти в сторону. Это осуществимо и в случае использования классической формы повествования, но

имеет здесь меньше шансов и применимо лишь частично, в то время как исповедь героя и, в определённых условиях, повествование от имени посредника или очного свидетеля значительно облегчает задачу. Трагедия протагониста из романа «Идиот» раскрывается фиктивным рассказчиком – человеком скорее поверхностным, но всё же носителем авторского голоса, а также целого механизма, построенного на свидетельствах персонажей, на слухах, газетных известиях и т.п. В плане фабулы – течения дискурса – ведущим является голос фиктивного рассказчика, а в сфере сюжета – последовательности событий – голос скрытого автора.

В «Бесах» нередко узкая и банальная оптика хроникёра Анатолия Лаврентьевича Г-ва – участника некоторых сцен, а значит, и персонажа – позволяет нарисовать потрясающую картину хаоса, который скрывает – на уровне глубинных структур, то есть на уровне авторского видения – поистине трагические коллизии, возникающие в среде анархических и террористических движений [13].

В «Подростке» читатель, вместе с героем-повествователем, следит за постепенным развёртыванием эпически изображённого художественного мира, жизни, в бурях которой формируются и сталкиваются различные экзистенциальные состояния и концепции. «Я» героя-рассказчика не обладает здесь качеством лиризма, не произносит эстетической оценки, но включено в эпический материал, на который и падает акцент, – и значит, имеет другой, имманентный аксиологический статус.

В «Братьях Карамазовых» основная повествовательная ситуация строится в традициях житийной литературы, с правом повествователя давать развёрнутые оценки героев и событий, предлагать собственные теории и интерпретации. Первое лицо указывает здесь на фиктивного автора, принадлежащего миру провинциального русского города, в пространстве которого живут герои и имеет место отцеубийство. Фигура рассказчика едва очерчена, романист, кажется, намеренно акцентирует внутренние закономерности того или иного эпического хода, в котором создатель выступает в тени, на втором плане. Внимательный читатель произведения может заметить, что его «автор» – рассказчик – это филолог и историк, охваченный страстью к психологии, к вопросам

человеческого бытия, одержимый пристальным интересом к характерам. Эти последние он даже классифицирует. Но принципы его классификации оказываются не слишком глубокими, и происходящие события их корректируют и уточняют. Авторский голос доносится через полифонию голосов – через «слово» актантов, через систему акредитации эпических сообщений. Истины утверждаются / отрицаются с помощью психологии, через раскрытие душевных движений персонажей, через проникновение некоторых из них во внутренний мир, в мир чувств и мыслей «других» [14].

Эти условия повествования устанавливаются с самого начала, даже декларируются в кратком вступительном слове «От автора». Рассказ начинается от первого лица: «Начиная жизнеописание героя моего, Алексея Фёдоровича Карамазова, нахожусь в некотором недоумении. А именно: хотя я и называю Алексея Фёдоровича моим героем, но, однако, сам знаю, что человек он отнюдь не великий, а посему и предвижу неибежные вопросы вроде таковых: чем же замечателен ваш Алексей Фёдорович, что вы выбрали его своим героем? Что сделал он такового? Кому и чем известен? Почему я, читатель, должен тратить время на изучение фактов его жизни?» Здесь в текст повествования уже введён голос привлечённого в качестве адресата читателя: но за его высказыванием в форме прямой речи тут следует голос повествователя, иронически замечающего: «Последний вопрос самый роковой, ибо на него могу лишь ответить: “Может быть, увидите сами из романа”» (XIV, 5).

Главной целью вступления является фиксирование повествовательной перспективы, и автохарактеристика рассказчика; уточнение: «я... сам биограф» – служит цели установления коммуникации, связи с читателем. Когда речь заходит о следующем романе, который, по словам автора, будет более важным, так как его действие происходит в настоящем, мы узнаём, что этот первый, уже находящийся в руках читателя роман представляет события, произошедшие тринадцать лет тому назад; тем самым устанавливается значительная временная дистанция, которая оставляет простор для более обширных комментариев рассказчика, обладающих, однако, более ограниченной достоверностью – именно

потому, что действие протекает теперь в настоящем. Поэтика этой повествовательной формы выступает далее программно, незамаскированно, и буквально излагается в комментариях биографа, имеющего претензии на роль писателя: «Скажу вперед, и скажу с настойчивостью: я далеко не считаю себя в силах передать всё то, что произшло на суде, и не только в надлежащей полноте, но даже и в надлежащем порядке. Мне всё кажется, что если бы всё припомнить и всё как следует разъяснить, то потребуется целая книга, и даже пребольшая. А потому пусть не посетуют на меня, что я передам лишь то, что меня лично поразило и что я особенно запомнил. Я могу принять второстепенное за главнейшее, даже совсем упустив самые резкие необходимейшие черты... А впрочем, вижу, что лучше не извиняться. Сделаю как умею, и читатели сами поймут, что я сделал лишь как умел» (XV, 89).

Установленная таким образом повествовательная инстанция открыто мобилизует читателя, взывая к его интеллекту, к его способности уловить информацию, отобранную из разных источников. Фиктивный рассказчик релятивизирует, конкретизирует сообщения, указывая на источники, из которых черпается информация. На относительную достоверность сообщений указывает сама повествовательная модель, ибо комментарии «биографа» носят оттенок субъективности («может быть», «говорили» и пр.) Кстати, источники информации могут быть очень различными по своей ценности, некоторые из них весьма мало правдоподобны: это сведения, полученные от одного персонажа о другом, информаторы с неопределённым статусом («какие-то врачи», например), а также сплетни, слухи, неконкретизированное «общественное мнение»: *говорят*, *как стало известно*, *другие утверждали*, *что*... и т.п.

В свою очередь, и заглавия «книг» и глав сформулированы здесь в перспективе рассказчика-посредника: «Исповедь горячего сердца», «Великий Инквизитор», «Русский инок», «Психология – палка о двух концах». При этом первые заглавия вводят, маркируя, новый вид повествовательной перспективы – правда, подчинённый старому, классическому – а именно, рассказ от имени героев, братьев Дмитрия и Ивана, Зосимы. В этих случаях рассказчик прибегает и к несобственно-прямой речи – например, к

своим собственным запискам, а внутри повествования появляются различные чётко уловимые голоса других персонажей, которые могут быть даны и в форме внутреннего монолога: исповедь Дмитрия *выслушивается* как признание, сообщение тайны; поэма Ивана представлена и *выслушана* как произведение искусства, отчасти как театральное произведение; записки Алёши должны быть сначала *прочитаны*, они дают зрительные образы, но затем и они включают в себя голоса, *уловимые на слух*...

В «Братьях Карамазовых» повествователь выполняет, на определённом уровне, роль автора: старается проникнуть в тайны жизни города, цитирует голоса персонажей, даже беря их слова в кавычки, комментирует тексты, в которых повествование даётся от первого лица героя – Поэму Ивана, замечания Алёши о Зосиме, исповедь Дмитрия и пр. Повествователь предлагает глубокие, но слишком общие или некстати применяемые максимы – например, о ревности, в то время как Грушенька конкретно интерпретирует ревность Мити, как знак любви, в которую она ещё не решается поверить и поэтому объясняет Алёше, что его брат играет комедию. Рассказ от лица посредника, речь персонажей, несобственно-прямая речь увеличивают эпическую дистанцию, повествование становится более объективным. Перемещая центр тяжести в сознание персонажей, автор – парадоксально, через их субъективные голоса – ещё более потенцирует эпическую объективность. Всё это становится возможным и в тех частях, где повествовательная стратегия меняется, и Достоевский возвращается к форме повествования «от третего лица» – от лица всезнающего автора. На больших отрывках текста – например, Книга пятая, PRO и CONTRA – за исключением одного отрывка фрагмента из главы «Великий инквизитор», принята именно эта повествовательная модель. Правда, роль безличного рассказчика сокращается здесь даже количественно, текст почти полностью строится из диалога героев, которые, в свою очередь, и сами могут стать агентами повествования. В свою очередь, они могут передавать свои права другому лицу, как это случается в поэме Ивана, где Великий Инквизитор перехватывает нить повествования, во вторую часть своего монолога включая и воображаемый голос Христа, – и этот чисто внутренний «голос» заполняет всё эпическое

пространство. Последний крупный роман писателя сочетает, таким образом, все использованные им ранее повествовательные формы, представляя собой, и с этой точки зрения, своего рода синтез всего его творчества.

Внутренний монолог имеет в романе Достоевского особое, специфическое значение, но, как замечает в связи с «Братьями Карамазовыми» Сорина Баланеску, «ограничивая во внутреннем монологе и в несобственно-прямой речи слово персонажа, текст рассказчика предлагает пассажи, сбивающие с толку тех, кто склонен всюду находить естественно односторонний взгляд на всех персонажей заслуживающего доверия комментатора. Вариация перспектив поддерживает, по сути, амбивалентность восприятия, характерную для наративной стратегии дискурса Достоевского. В то же время голос рассказчика склоняется к комментарию “извне” (on off), солидаризируясь местами с общественным мнением» [15].

Следует отметить, что эта амбивалентность оказывается, однако, лишь частным, локальным явлением, важным как фактор, стимулирующий интерес, любопытство читателя, в то время как в плане целого преодоление амбивалентности не только возможно, но и постоянно осуществляется, оказываясь рычагом развития действия, хотя и не исчерпывает его целиком, будучи лишь одним из инструментов, с помощью которых создаётся, «внушается» тайна. С точки зрения аксиологической, как говорит в другом месте и сама Сорина Баланеску, осуществляется и отбор сообщений.

Эпическое расстояние, сильно увеличенное и потенцированное, поставленное на службу объективности и художественности, осуществляется, как мы уже заметили, благодаря отступлению автора в тень, как можно дальше от рассказываемого; специфический пример в этом отношении представляет собой роман с фиктивным рассказчиком или свидетелем-посредником, с заменой его, в определённый момент, недекларированным автором. Подмена происходит незаметно и имеет целью – в особо важные поворотные моменты – отстранить повествователя, неспособного проникнуть в сущность событий. Так, замечает Дьюла Кирай, не рассказчик, а *недекларированный автор* присутствует в последней

сцене романа «Идиот», в которой Мышкин посещает Рогожина. Исповедь Ставрогина остаётся также полностью вне поля зрения повествователя; хроникер в «Братьях Карамазовых» исчезает, как и в предыдущих романах, сразу же как только начинается самое главное, хотя на это и не указывается... [16].

Путь, пройденный Достоевским от «Бедных людей» до «Братьев Карамазовых», вёл к вершинам повествовательного искусства. Предпочтение повествования от лица посредника, полифония и сочетание голосов с помощью несобственно-прямой речи, голос рассказчика с его ограниченным кругозором, аттестуемый авторским голосом, наконец, сама суть эпического действия – оказываются, как мы убедились, важнейшими характерными чертами его поэтики. К этому добавляется драматизированный поток сознания, внутренний монолог, подразумевающий не только собеседника-читателя, но и голоса оппонентов. Все эти черты его искусства, вместе взятые, оказываются даже более важными, чем выбор повествовательной инстанции от лица героя, свидетеля или хроникёра: те же качества, определяющие для искусства повествования Достоевского, выступают и в «классической» форме повествования от третьего лица – от имени всезнающего автора.

Реальный мир – природа и цивилизация, общество и индивид, полёт воображения и глубокая аффективность – освещены в наследии Достоевского через разорванное сознание, измученное страданием, потрясённое неясными порывами и мечтами о другом, подлинно человеческом существовании. Так роман Достоевского складывается как смелая модель, рождающая другие оригинальные модели. Увеличив с помощью полифонии эпическое расстояние, писатель сумел, по сути, увеличить *объективность* созданной им художественной модели – с помощью *субъективности*.

Искусство Достоевского, воспринимаемое сквозь призму оригинальности созданных им повествовательных структур и их умелого использования, каждый раз поражает нас своим новаторским духом, подлинной современностью. Причины нашего восхищения кроются в сфере ценности, в сфере эстетической функциональности приёмов и форм и способности повествователя дистанцироваться от предмета, а также в самом богатстве используемых приёмов.

Интересно было бы создать график наративных инстанций и структур Достоевского, ибо их новизна и разнообразие составляют подлинную силу его искусства, его славу.

Но ещё важнее и интереснее рассмотреть эти структуры, как неповторимые явления художественного текста, что подразумевает, всякий раз, определение их оригинальной функциональности и способов сочетания со структурами другого ряда. Однако, пока мы не соотнесли различные повествовательные перспективы с глобальной структурой произведения и прежде всего – с принципами создания литературных мотивов на различных уровнях текста (реально-психологическом, философском, фантастическом), а также с весьма своеобразными у Достоевского приёмами создания многогранного художественного образа, наше стремление проникнуть в тайну его искусства остаётся тщетным. Вопрос следует поставить, значит, и с этой точки зрения – что мы и намерены сделать в следующих главах книги.

II. СОПРИКОСНОВЕНИЕ КРАЙНОСТЕЙ И СТАНОВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО МОТИВА

…ЭТУ ПРОГРАММУ СВЕРИТЬ
С МОТИВАМИ И ДОКОНЧИТЬ
Достоевский, «Подросток». Черновик.

Живой и таинственный художественный организм, каждое произведение Достоевского, при первом контакте с ним, потрясает нас – а иногда и смущает, даже сбивает с толку – вихрем разнонаправленных переживаний, противоречивых страстей, порождённых наплывом динамических, мигрирующих антиномий, укоренившихся, кажется, навеки в душе и в уме человека. Подход к персонажам Достоевского со стороны чистой психологии – неизбежный и, впрочем, абсолютно необходимый, – может стать и препятствием в процессе восприятия произведения, так как порождает механизм повторения и с ним – чувство неудовлетворённости. В ходе знакомства с романом у читателя (точнее, у определённого рода читателя) возникает впечатление, что ему чего-то недостаёт, что тексту не хватает смысла, что он

топчется на месте, монотонно повторяя одни и те же раздражающие движения. Всё это может быть результатом неспособности читателя уловить подлинную тему произведения, его волнующую «морально-философскую авантюру», но может быть порождено и отсутствием интереса к «чистой психологии», через которую раскрываются основные проблемы романа, – то есть может быть впечатлением человека поверхностного или не готового (из-за отсутствия опыта) к восприятию искусства как своеобразного языка, средства общения.

Читатель, к которому обращается Достоевский, должен быть наделён интуицией и знанием психологии. В период создания и журнальной публикации романа «Братья Карамазовы», между книгами пятой и шестой, автор, отвечая одной из своих любознательных читательниц, следующим образом объясняет тайну описанного им преступления: «Старика Карамазова убил слуга Смердяков. Все подробности будут выяснены в дальнейшем ходе романа. Иван Фёдорович участвовал в убийстве лишь косвенно и отдалённо, единственно тем, что удержался (с намерением) образумить Смердякова во время разговора с ним перед своим отбытием в Москву и высказать ему ясно и категорически своё отрвращение к замышляемому им злодеянию (что видел и предчувствовал Иван Фёдорович ясно) и таким образом *как бы позволил* Смердякову совершить это злодейство. *Позволение* же Смердякову было необходимо, впоследствии опять-таки объяснится, почему. Дмитрий Фёдорович в убийстве отца совсем не виновен. Когда Дмитрий Карамазов соскочил с забора и начал платком вытирать кровь с головы раненного им старика слуги, то этим самым и словами: “Попался старик” и проч. как бы сказал уже читателю, что он *не* отцеубийца. Если б он убил отца и 10 минут спустя Григория, то не стал бы слезать с забора к поверженному слуге, кроме разве для того, чтобы убедиться: уничтожен ли им важный для него свидетель злодеяния. Но он, кроме того, как бы сострадает над ним и говорит – попался старик и проч. Если б отца убил, то не стал бы над трупом слуги с жалкими словами. Не один только сюжет романа важен для читателя, но и некоторое знание души человеческой (психологии), чего каждый автор вправе ждать от читателя» (Письмо к Е.Н. Лебедевой от 8 ноября 1879).

Так, благодаря высокой требовательности автора к читателю, художественное произведение становится фактором образования, эстетического воспитания читателя уже в силу того, что сам процесс его восприятия / понимания обусловлен определённым культурным уровнем. Коммуникация через искусство подразумевает знание обеими сторонами – творцом и читателем-потребителем – общего языка, и это знание составляет, по сути, самую суть культуры.

Психология, сама по себе, обретает в произведениях Достоевского самые разнообразные и важные функции. Загадки бытия исследуются на почве личности, человека как части коллектива, сквозь призму человеческой натуры, самой сущности природы человека.

Но что же такое человек? – постоянно спрашиваем мы себя, и спрашиваем чрезвычайно настойчиво, вместе с Достоевским. Критика приучила нас к мысли, что, по Достоевскому, человек одновременно добр и зол, полон антиномий, непримиримых противоречий. Николай Бердяев утверждает, что у Достоевского «полярность божеского и дьявольского начала, бурное столкновение света и тьмы раскрывается в самой глубине бытия. Бог и дьявол борятся в самих глубинах человеческого духа. Зло имеет глубинную, духовную природу. /.../ Если бы Достоевский раскрыл до конца учение о Боге, об Абсолютном, то он принужден был бы признать полярность самой божественной природы, тёмную природу, бездну в Боге, что-то родственное учению Якова Беме об Ungrund-е. /.../ Красота – божественная, но и красота – высший образ онтологического совершенства, – представляется Достоевскому полярной, двоящейся, противоречивой, страшной, ужасной. Он не созерцает божественный покой красоты, её платоническую идею, он в ней видит огненное движение, трагическое столкновение» [1].

Бердяев, как представитель метафизической философии, ставит здесь вопросы, нужные и даже необходимые для понимания творчества Достоевского. В самом деле, без этических категорий добра и зла мы не могли бы ориентироваться в художественном мире романиста. В концепции самого Бердяева вечная, не кончающаяся на земле борьба между добром и злом есть основной закон

человеческой натуры, человеческой жизни. Но утверждение, в соответствии с которым каждый человек и добр и зол, можно интерпретировать и в том смысле, что на самом деле в жизни нет людей «добрых» и «злых», что нет границы между добром и злом, что все люди, по сути, одинаковы. В этом смысле критика отсылает нас к «концепту» прекрасного у Дмитрия Карамазова, в самом деле включающему оба полюса. Но плохо то, что соответствующая цитата из «Братьев Карамазовых» чаще всего приводится в сокращении или вырванной из контекста, не говоря уже о том, что сам цитируемый текст принадлежит не автору, а персонажу, причём характеризует взгляды героя на определённом этапе его жизни. О каком тексте, о каком контексте идёт здесь речь?

В книге третьей первой части, в главе «Исповедь горячего сердца. В стихах», Дмитрий, охваченный необъяснимым душевным порывом, порождённым его почти безотчётным стремлением разрешить жизненно важные проблемы и противоречия, возникшие между ним и Катериной Ивановной, между ним и отцом, развивает перед своим младшим братом целую программу идеализированного классического гуманизма, используя большие цитаты из Шиллера и Гёте. На первый взгляд парадоксальная, тяга этого беспутного человека к идеалистическому, абстрактному гуманизму слегка оттеняется контурами гуманизма возрожденческого и современного. Митя приводит из Шиллера картины ужасных мифологических времён, когда «Робок, наг и дик скрывался / Троглодит в пещерах скал, / По полям номад скитался / И поля опустошал» («Элевсинские празднества»), делает вывод: «Страшно много человеку на земле терпеть, страшно много ему бед!» и наконец цитирует «Гимн к радости» – его последние строки: «Нам друзей дало несчастье, / Гроздий сок, венки харит, / Насекомым – сладострастье... / Ангел – Богу предстоит». Далее он раскрывает перед Алёшей свою оригинальную философию человеческого бытия: «Я, брат, это самое насекомое и есть, и это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие же, и в тебе, Ангеле, это насекомое живёт и в крови твоей бури родит. Это – бури, потому что сладострастие буря, больше бури! Красота – это страшная, ужасная вещь, страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега

сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, вылезай сух из воды. Красота! Перенести я при этом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Ещё страшнее, что уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Чёрт знает, что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, – знал ли ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит...» (XIV, 100).

Я привёл эту длинную цитату потому, что в словах Дмитрия как бы разворачиваются, раскрываются основные вехи мироощущения самого Достоевского. Борьба между добром и злом, наличие крайностей и их амбивалентность, иногда даже их подмена – всё это, несомненно, неоспоримые и очень важные для романиста истины. Всё же, для более глубокого понимания художественной манеры и сущности психологизма Достоевского необходимо поставить вопрос об авторской аттестации выраженных здесь идей.

Точка зрения, развитая Дмитрием, лишь частично совпадает с мнением автора. Главное разногласие состоит в том, что герой не берёт здесь на себя обязанность различать между добром и злом на своём собственном опыте, в то время как автор считает, что такой опыт обязателен, что активность, жертва – верный путь к счастью и знанию. Дмитрий стоит ещё в самом начале своего пути и не способен к восприятию всех этих нюансов. Но его сила состоит в том, что он разбудил своё сознание, в том, что из глубин своего падения он устремляется к Шиллеру и Гёте. Но у зла есть своё очарование; сила притяжения зла нередко оказывается больше, чем добра. Для человека существенным остается, однако, вопрос идентичности и истины; человек имеет возможность, право и

обязанность решать, делать выбор. Перед нами ещё только начало романа, и Дмитрию придётся пройти через все ужасы жизни, через добро и зло – прежде всего через зло, вплоть до искушения отцеубийством, – чтобы стать человеком, выйти из бездны разврата, которая соприкасается в его душе с возвышенным идеалом даже тогда, когда он в недоумении констатирует вечность соперничества между идеалом Мадонны и идеалом содомским. Только в свете последовавших трагических событий – насильственной смерти отца, драмы Катерины Ивановны и брата Ивана, смерти Илюши – познав жизнь и приняв страдание, Дмитрий поймёт, что его любовь до сих пор не была любовью, что подлинная красота и красота внешняя, демоническая – не одно и то же.

Критика обнаружила – за явным здесь шиллеризмом – отрицание абстрактного декларативного гуманизма, но многие при этом не заметили, что метафизическое понимание вечной борьбы добра и зла может оказаться оборотной стороной медали: если стремление к идеалу есть стремление к биполярной красоте, которая включает и добро и зло, тогда оно остаётся пустым, беспредметным порывом. Для Достоевского, однако, как мы это хорошо знаем, подлинная красота тождественна самому идеалу.

В размышлениях Дмитрия можно найти немало и другого. Они открывают, например, широкую перспективу для понимания образа Алёши: «И мы все, Карамазовы, такие же, и в тебе, Ангеле, это насекомое живёт и в крови твоей бури родит». Здесь же можно обнаружить и онтологический смысл зла и за ним – образ ада. Или уловить перспективу разграничения добра и зла, но и мысль о счастливом назначении человека, особенно человека творческого, – разгадывать тайны бытия. Из всего этого для нас, в данном случае, наиболее интересно – понимание природы крайностей, их динамического характера и аксиологической сущности.

Борьба между добром и злом в душе Дмитрия оказывается преходящей, связанной со становлением, а не с его неизменным, вечным статусом. Полярность и противостояние этих этических категорий оказывается здесь не «бесцельной (или трансцендентной) целью», а явлением конкретным. Полярность задана, но право и обязанность человека в том, чтобы сделать выбор. Выбор героя – это добро, содеяннное им в его отношениях с людьми – с

братьями, с женщинами (его страсть к Грушеньке превращается в глубокое чувство любви).

Для аргументации своих идей Бердяев цитирует не только Дмитрия (игнорируя многие из указанных нами выше нюансов его «психологии»), но и Николая Ставрогина, который находил в обоих полюсах ту же красоту, то же наслаждение. Этот пример категорически противоречит основной идее книги Бердяева. У Достоевского неспособность Ставрогина к выбору ведёт к разрушению ценностей и к падению, к распаду личности. *Нет на земле большего зла, чем приятие идеи нерушимости, вечного сосуществования добра и зла в душе человека, чем капитуляция перед злом* – вот одна из самых глубоких идей Достоевского.

Пророчески предвещающая кризис гуманизма, основанный на безразличии и слепоте к добру и злу, эта позиция писателя не всегда была правильно воспринята и оценена. Не раз в этом безразличии был обвинён сам Достоевский – особенно редакцией журнала «Русский вестник», в котором он, как правило, публиковал свои романы после потери брата Михаила и собственного журнала. Отвечая на обвинения в аморальности и нигилизме, Достоевский как бы оправдывался перед Н. Любимовым в письме от 8 июля 1866, говоря о новом, пересмотренном варианте рукописи романа «Преступление и наказание»: «Зло и добро в высшей степени разделено, и смешать их и истолковать превратно уже никак нельзя будет». Но нам известно, из другого источника, что это обвинение романист считал абсурдным *ab ovo*.

Протестуя против разрыва художественного наследия Достоевского на две совершенно различные, противостоящие друг другу фазы – фазу гуманистическую и фазу демоническую («Достоевский, увиденный сквозь Сада»), румынский критик Валериу Кристя отмечал в своей книге «Молодой Достоевский»: «Не поняли, что писатель никогда не был исключительно певцом демонической личности, а был певцом – самым великим – амбивалентной натуры человека, натуры огромной сложности, в которой смешиваются и сшибаются самые отчаянные элементы (в том числе и демонические) и в которой одновременность внутренних движений не может разрешиться в нечто, обладающее единственным душевным вектором. “Мы добры и злы одновременно, то

добры, то злы" – говорит Грушенька в "Братьях Карамазовых", и эти слова звучат как блестящее – краткое и точное - определение взгляда Достоевского на человека. Писателя постоянно, с первого до последнего его произведения, занимали *оба* аспекта человеческой души» [2].

С появления этих строк прошло более десятилетия, и глубокое замечание, в то время – шаг вперёд в интерпретации творчества Достоевского – сегодня может быть развито, обогащено и уточнено. Это делал и сам Валериу Кристя, в своих последних работах переходя от преимущественного интереса к *персонажу* Достоевского (один персонаж в своих различных ипостасях) к *персонажам* писателя – с доминантными чертами в каждом данном случае. Так оказалось, что некоторые из них добры, а другие злы в своей основе. Открытие характерологического разнообразия и богатства наследия писателя, думается, является определяющим фактором сегодняшней стадии изучения Достоевского.

Амбивалентность крайностей выступает в творчестве Достоевского знаком сложности, противоречивости мира, знаком хаоса. В таком мире зло может появляться под видом добра и наоборот. Но амбивалентность может быть и знаком становления, символизировать порог, переступая через который человек делает экзистенциальный выбор, творит свою судьбу. Существует, далее, амбивалентность поверхностная, характерная для человеческого восприятия мира вообще – двусмысленность, порождаемая субъективными отзывами, слухами и пр. И наконец, есть ложная амбивалентность – результат неадекватного восприятия читателем знаков, символов, подтекста и даже самого текста Достоевского. Значит, русский писатель – не только поэт антиномий и не просто певец амбивалентности. Хотя поэтическую функцию антиномий в творчестве Достоевского можно понять, только отправляясь от чередования и амбивалентности самих психологических структур. Ибо остаётся открытым вопрос: в самом ли деле амбивалентность порождается почвой добра и зла или, точнее, расположена ли арена борьбы этих крайностей только здесь, в периметре психологического?

Обращаясь к примеру романа «Идиот», мы можем сказать – правда, на уровне очень абстрактных истин – что психологические

структуры, опирающиеся на *любовь и ненависть, щедрость и эгоизм* или на другие ипостаси добра и зла, составляют основу характера не только Рогожина или Ипполита, но и Настасьи Филипповны, и даже Аглаи Епанчиной. Внимательно вчитываясь в текст, мы с удивлением обнаруживаем, что борьба крайностей на психологическом уровне – в душе человека – ведётся не между чистым злом и кристальным добром; обнаруживаем, что каждая из этих крайностей, в свою очередь, состоит из добра и зла, из положительного и отрицательного, то есть сама оказывается сложной, внутренне антиномичной. Личность большинства героев Достоевского и составляется из таких разнородных психологических структур, а противоречия, или по крайней мере контрапункт, редко отсутствуют в душевной жизни какого-либо его персонажа.

В самом начале романа «Идиот», в связи с первой характеристикой героев через их портрет, комментируемый с точки зрения характерологии, намечается сложность внутреннего мира каждого из присутствующих. Описывая внешность Рогожина, фиктивный рассказчик тут же переходит к впечатлению, которое может быть и впечатлением Мышкина, совершенно случайно оказавшегося рядом с ним в вагоне третьего класса поезда, следующего по линии Варшава-Петербург: Рогожин предстал перед князем как человек «небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, намешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мёртвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека измождённый вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонировавшее с нахальною и грубою улыбкой и резким, самодовольным его взглядом» (VIII, 5).

Полярность, намеченная здесь улыбкой – «нахальною и грубою», «насмешливой и даже злой», «хорошо сформированными» чертами лба, скрывающими грубость и уродство, лишь к концу выявлется полностью в обнаруживаемой за «измождённым видом»

испепеляющей страстью – *гордыней*. Но есть ли это оппозиция между добром и лом? Казалось бы, да; но несколькими страницами ниже генерал Епанчин обнаруживает у Рогожина другое противоречие – между «миллионом» и грубой страстью. А князю Мышкину его попутчик представляется человеком великой страсти. Впрочем, он и сам ещё выглядит человеком больным. От первого положительного впечатления («испепеляющая страсть», противоположная гордыне) весы склоняются теперь к отрицательному («грубая, болезненая страсть»).

Но и гордыня не поддаётся аксиологической оценке под одним единственным знаком – положительным или отрицательным. Она может играть важную роль в деле создания, построения персонажей, которые, в ходе действия, в эпическом развитии сюжета, должны будут самоопределиться и получить самые различные оценки с точки зрения её этической ценности. Гордыня входит важной составной частью в душевную структуру таких персонажей, как Настасья Филипповна, Аглая Епанчина, Ганя, Иволгин, Ипполит, Бурдовский [3]. Вглядываясь в портрет героини, Мышкин восклицает: «Удивительное лицо!» и затем замечает, обращаясь к Гане: «И я уверен, что судьба её не из обыкновенных. Лицо весёлое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щёк, это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Всё было бы спасено!» (VIII, 5). Здесь просматривается и метапоэтика писателя: изначально, психологический мотив не является носителем эстетических ценностей, а служит строительным материалом для создания форм, глубинных структур, назначение которых – вызвать оригинальный взгляд на мир.

Динамические полярности душевной жизни проявляются постоянно, на всём протяжении развития действия. Вновь глядя на портрет Настасьи Филипповны, Мышкин расшифровывает ещё яснее противоречия её натуры: «Это необыкновенное по своей красоте и ещё по чему-то лицо ещё сильнее поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на

эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щёк и горевших глаз; странная красота!» (VIII, 68)

Оппозиция любовь-ненависть порождает у Гани Иволгина, сначала страстно влюблённого в Настасью Филипповну, намерение жениться ради денег. В соответствии со слухами, Ганя, обуреваемый безграничной гордыней, питает к своей невесте ненависть, подобную кошмарной навязчивой идее. В его душе господствует, в странном сочетании, любовь и ненависть, и он готов жениться на этой подлой, по его мнению, женщине – чтобы отомстить.

Характер Ипполита основан на противоречии между *ненавистью* – отрицанием жизни и – *любовью* к жизни. Натура Аглаи Епанчиной определяется, с одной стороны, *любовью и влечением к идеалу*, а с другой – *гордыней и ненавистью*. Здесь мы невольно выявили и некоторые психологические структуры с более явными эстетическими значениями. Но с полярностью психологических структур связаны и некоторые общие значения, которым следует отдать приоритет. Речь идёт о двойственности, упомянутой в перспективе других связей системы, о её месте на ступенях миросозерцания автора, о её философском подтексте. Добро превращается в зло, зло в добро. *Крайности соприкасаются* – гласит максима, полная диалектики и мудрости. Достоевский часто ссылается на этот закон бытия, нередко устами героев своих романов. Вот фрагмент разговора Рогожина с Мышкиным. Ссылаясь на решение Настасьи Филипповны выйти за князя, первый заявляет: «Я тебе всё-таки мешать не буду». Следует диалог: «– Ты думаешь, что я тебя обманываю? – спросил князь.

– Нет, я тебе верю, да только ничего тут не понимаю. Вернее всего то, что жалость твоя, пожалуй, ещё пуще моей любви!

Что-то злобное и желавшее непременно сейчас же высказаться загорелось в лице его.

– Что же, твою любовь от злости не отличишь, – улыбнулся князь, – а пройдёт она, так, может, ещё пуще беда будет. Я, брат Парфен, уж это тебе говорю...

– Что зарежу-то?

Князь вздрогнул.

– Ненавидеть будешь очень её за эту же теперешнюю любовь, за всю эту муку, которую теперь принимаешь. Для меня всего чуднее то, как она может опять итти за тебя?» (VIII, 177)

Отсюда можно заключить, что любые чувства, доведённые до крайности – любовь, как и ненависть, сочувствие, как и равнодушие или злоба – могут разрушать душу человека. Словно бы в мире нет ничего другого кроме этого вечного бурного кипения и обращения страстей. Выработав себе «высшие убеждения» – идею отказа от жизни, Ипполит считает себя антиподом Рогожина. Описывая визит к этому последнему, он, теперь осуждённый на смерть болезнью, замечает: «между нами был такой контраст, который не мог не сказаться нам обоим, особенно мне: я был человек, уже сосчитавший дни свои, а он – живущий самою полною, непосредственною жизнью, настоящею минутой, без всякой заботы о “последних” выводах, цифрах или о чём бы то ни было, не касающемся того, на чём... на чём... ну хоть на чём он помешан /.../ Я намекнул ему, уходя, что, несмотря на всю между нами разницу и на все противоположности, – *les extremites se touchent* (я растолковал ему это по-русски), так что, может быть, он и сам вовсе не так далёк от моего “последнего убеждения”, как кажется» (VIII, 337-338). При этом Ипполит видит и момент соприкосновения между ними – в том, что дом Рогожина похож на кладбище. В самом ли деле Рогожин живёт подлинной жизнью, противостоящей смерти? Или оба героя находятся на одном и том же полюсе оппозиции, одинаково отдалившись от другого? Всё это вопросы, на которые подлинный авторский ответ можно найти только в дальнейшем развитии событий.

В своих письмах к Аглае Епанчиной Настасья Филипповна сообщает, что считает себя её антиподом и в то же время открывает ей ужас, который внушает ей Рогожин, приговор, который она читает себе в его огненных глазах. «Сильная любовь» равна ненависти – говорит, кажется, здесь писатель.

Для того, чтобы понять Достоевского, нужно знать диалектику жизни и ощущать бездны человеческой души. Вот и всё о психологии – пока; остальное мы узнаем из сочетания, сопряжения мотивов, определяемого индивидуальными судьбами персонажей.

В романном мире Достоевского встречаются, однако, и противоречия иного рода, которые порождаются двойственностью, соседствующей с двуличием или с заблуждением. В таком свете нарисована картина аристократического салона в главах VI-VIII Части четвертой романа. В общем плане, представители аристократического мира нарисованы в романах Достоевского, в соответствии с исторической правдой, скорее критически. Это отношение автора выражено – на уровне фиктивного повествователя – и в описании приёма в доме Епанчиных. Но эту оценку оспаривает, кажется, дифирамб элите, произнесённый протагонистом. Поскольку князь Мышкин считается положительным героем романа, критика обычно принимает его речь как таковую, приписывая его оценки автору, который, таким образом, оказывается виновным в «ретроградной» апологии аристократии. Отсюда замечания критики, в соответствии с которыми романист, будто бы, переходит на сторону этого обанкротившегося общественного слоя; в том же духе говорится о «реабилитации» Достоевским некоторых аристократов – например, Радомского.

Положение, однако, значительно сложнее. Знаменитый дифирамб, произнесённый Мышкиным в состоянии высочайшего напряжения, почти в бреду, перед припадком эпилепсии, в известной мере опровергается повествователем: «А между тем все эти люди, – хотя, конечно, были “друзьями дома” и между собой, – были, однако же, далеко не такими друзьями ни дому, ни между собой, какими принял их князь, только что его представили и познакомили с ними». В другом месте повествователь замечает о Князе N., что он «блистает» в салоне Епанчиных, где необходимо показать своё превосходство, эпатируя общество своими рассказами. И комментирует: «князь Лев Николаевич, выслушав потом этот рассказ, сознавал, что не слыхал никогда ничего подобного такому блестящему юмору и такой удивительной весёлости и наивности, почти трогательной в устах такого Дон-Жуана, как князь N. А между тем, если б он только ведал, как этот самый рассказ стар, изношен; как заучен наизусть и как уже встречался и надоел во всех гостиных и только у невинных Епанчиных являлся опять за новость...» (VIII, 445-446). Ясно, что в данном случае речь идёт не о поверхностном восприятии этого факта фиктивным

повествователем. На таком уровне остается один из персонажей – в данном случае, центральный герой, его восприятие оказывается на этот раз поверхностным, ибо и сам Мышкин – это не просто рупор идей автора, и его слово также подвержено процессу аттестации-опровержения, а определяющим для оценки аристократии становится развитие финальных событий, о которых мы скажем ниже [4].

Идейная нагрузка чисто психологических мотивов может быть нулевой или приблизительной, минимальной, может почти отсутствовать. Но они имеют, кроме роли строительного материала, и познавательную функцию. Благодаря им Достоевский делает важный шаг в познании человека. Контрастные душевные движения, неожиданный жест часто бросает яркий свет на тайны жизни. Во время визита к Иволгиным, спровоцированная присутствующими, Настасья Филипповна демонстрирует безграничное презрение к мещанской атмосфере этого дома и вдруг – целует руку матери своего «жениха». Этот жест приоткрывает неожиданно богатые ресурсы её души.

Развитие психологических мотивов и структур опирается на использование самых разнообразных художественных приёмов. В одном из своих исследований, «Тематическая композиция романа *Идиот*» (зима 1922/23г.), А. Скафтымов пишет: «Каждое действующее лицо романа Достоевским явлено в двух аспектах: 1) со стороны обычного, дневного, среднелюдского восприятия, и 2) со стороны угулублённого, скрытого индивидуального знания, как бы из корней души, которое автор всегда провидит и предполагает в каждом. В экспликационном аппарате автора всегда чувствуется эта установка на двойную резонацию /.../ Сам автор занимает положение третьей, как бы нейтральной стороны» [5].

Достоевский постоянно предоставляет читателю возможность двойного восприятия событий, характеров, пружин действий героев. Первый план представлен уровнем внешних, поверхностных впечатлений и мнений некоторых персонажей, обладающих ограниченной компетентностью или даже вовсе не компетентных; второй план, глубинный, раскрывает подлинное положение дел. Некоторые герои – и в первую очередь протагонист – проявляют особый интерес к познанию духовного мира людей. Через фигуру

Мышкина и заглавие романа автор раскрывает свою своеобразную теорию познания. Слово «идиот» использовано автором с отсылкой к определённому литературному типу, характерному особенно для средневековой литературы – человеку, далёкому от рационалистической книжной культуры, но способному проникать в сущность вещей с помощью собственной, на первый взгляд наивной, мудрости.

В Швейцарии, где был поставлен диагноз болезни, происходит своеобразный диспут между лечащим Мышкина доктором Шнейдером и самим протагонистом. Больной чувствовал себя счастливым среди детей, и те отвечали ему искренней любовью. Психиатр Шнейдер не способен понять простую и истинную человечность поведения больного: «Шнейдер много мне говорил и спорил со мной о моей вредной “системе” с детьми. Какая у меня система!» – смеется Мышкин, хотя и сомневается в точности вывода доктора, считающего его, по сути, недоразвитым – «вполне ребёнком».

Теория познания Достоевского, отдающая первенство интуиции – специфически художественной способности восприятия и оценки мира – материализируется в романе блестяще. Предчувствие, сон, инстинктивный порыв, проникновение за внешнюю видимость – вот основные формы, с помощью которых осуществляется идейно-аффективное восприятие и эстетическая оценка. Отказываясь от излишнего рационализма, Достоевский обычно не противопоставляет интуицию уму, а, подчёркивая её высшую способность проникновения в сущность вещей, называет интуитивное познание выражением силы сердца и ума, то есть считает его, по сути, «научным».

Страсть к подобного рода познанию – или пониманию – мира звучит и в словах Аглаи о болезни Мышкина, которую она готова ему простить, ибо «главный ум» у него значительно сильнее развит, чем у любого другого, он явно – «высший характер», такого уровня, о котором другие и мечтать не могут. Потому что, по сути, существует два рода ума – главный и неглавый.

Слово *идиот* – греческого происхождения (частное лицо, индивид) – фигурирует в русском языке, прежде всего, в значении *умственно отсталый*, но сохраняет и коннотацию *нищий духом* –

юродивый. По мере развития действия заглавие романа насыщается множеством новых, различных смыслов, превращаясь в своеобразный мотив с целой серией ипостасей или, точнее, в ипостась основного мотива произведения. Слово идиот обозначает теперь и *человек иного мира, чуждый действительности и мелким мещанским интересам, чистый и невинный как ребёнок*, но – с другой стороны – и *умственно отсталый, слабоумный*. Произнося слово *идиот* и наделяя его тем или иным смыслом, персонажи романа невольно характеризуют и себя – судя Мышкина, они произносят приговор самим себе.

Контраст между обычным, поверхностным восприятием явлений мира и их истиной сущностью определяет смысл, который автор придаёт заглавию. Мышкин, не слишком волнуясь, когда его считают ребёнком, чувствует себя уязвлённым, когда его называют идиотом в обычном смысле слова.

Двойное восприятие, как приём психологической характеристики, широко используется с помощью слухов, распространяемых в городе в связи с событиями, описанными в романе. Длинное введение к Части второй почти целиком написано в этом ключе. Однако слухи, которые доносятся до читателя, с самого начала дискредитирует голос повествователя-посредника: «Доходили, правда, к иным, хотя и очень редко, кой-какие слухи, но тоже большею частью странные и всегда почти один другому противоречившие». В других случаях содержание слухов отвергается авторским голосом на основе уже известных читателю фактов. Так возникает хаос, теряется возможность верного восприятия вещей: «Мало-помалу и распространившиеся было по городу слухи успели покрыться мраком неизвестности. Рассказывалось, правда, о каком-то князьке и дурачке (никто не мог назвать верно имени), получившем вдруг огромнейшее наследство и женившемся на одной заезжей француженке, известной канканерке в Шато-де-Флер. Но другие говорили, что наследство получил какой-то генерал...» (VIII, 149-150). Читатель, несомненно, замечает постоянное искажение правды из-за поверхностного, банального взгляда на вещи, который так часто накладывает свою печать на известия, слухи, превращает факты в сплетни. За слухами, в течение романного дискурса, следуют новые факты и события, которые

порождают новые слухи и лишь после этого автор переходит к их сравнению, сопоставлению с истиной эпических событий. Такой приём используется и во многих других случаях, иногда почти программно. Так в письме к Аглае Епанчиной Настасья Филипповна вспоминает слова Мышкина о том, что её красота способна перевернуть мир.

Все эти приемы широко раскрывают дорогу к интроспекции, к психологическому анализу. Тот или иной психологический мотив становится литературным мотивом благодаря его оригинальному структурированию и наполнению новыми идейно-эстетическими значениями. То же происходит и с мотивами иного рода, предметными или тематическими. Так, частный, предметный мотив – тема денег – ложится в романе «Идиот» в основу целого ряда широких литературных мотивов. В глазах генерала Епанчина использование денег для карьеры – вещь обычная: человек по сути аморальный, он способен, без особых угрызений совести превращать в сделки повседневные взаимоотношения. В глубине души он даже не стесняется адюльтера, а совершённая им глубокая несправедливость – или, точнее, преступление – могут быть, по его представлению, компенсированы филантропическим жестом. Этот литературный мотив – признания, в русском буржуазно-аристократическом мире, силы денег (и связей) условием успеха – по своей сути очень близок к тому, что мы находим в романах Бальзака. Он становится традиционным и в русской литературе.

Вначале Ганя Иволгин относится к деньгам так же как и Епанчин. Деньги покупают талант – уверяет он. Столкновение с Настасьей Филипповной выявляет безграничную гордыню молодого человека, что приводит его, в какой-то момент, чуть ли не к признанию своей трагической вины, к осуждению своего участия в акте купли-продажи человеческих ценностей; однако в конечном счёте он решительно возвращается на банальную стезю «законного» утверждения личности на основе приобретённого без заслуг – без собственных усилий и труда – богатства.

Доброта Мышкина сводит роль денег к функции, которую они должны были бы иметь в гуманном обществе, как эквивалент материальных ценностей, подчинённых ценностям духовным. В

случае Настасьи Филипповны предметный мотив денег превращается в литературный мотив отвержения денег как эквивалента духовной ценности, а её гибель, похожая на самоубийство, звучит, как протест.

Психологический мотив иногда с самого начала может выражать определённый концепт, аффективный комплекс, точно определяемый с аксиологической точки зрения и в этом смысле идентичный литературному мотиву. Таково прощение как способ очищения, стоящее в центре отношений Мышкина с его швейцарскими друзьями – с детьми и с Мари – обольщённой, брошенной и «возрождённой», возвращённой к жизни благодаря сочувствию и любви. Мотив виновности без вины – чувство, вызванное эпилепсией Мышкина или «падением» Настасьи Филипповны, её не осознанной вначале как порочной связью с «опекуном и воспитателем», циником Тоцким – это мотив столь же психологический, сколь и литературный.

Все упомянутые до сих пор, как и множество других, не упомянутых здесь мотивов романа «Идиот», остаются, однако, второстепенными, будучи подчинены двум центральным литературным мотивам, тесно связанным друг с другом. Первый из них воплощён в фигуре Мышкина, чьё идеальное, возвышенно положительное поведение с людьми проявляется в фактах, в конкретных отношениях. Второй связан прежде всего с фигурой Настасьи Филипповны; это мотив поругания, попрания красоты и человеческого достоинства.

Оба мотива строятся постепенно, складываясь из локальных – предметных, психологических, тематических, стилитистических или второстепенных литературных мотивов. Так, мотив положительно прекрасного человека берёт свои истоки в доброте, любви и способности Мышкина к прощению, кульминируя в ощущении счастья, даруемого радостью приятия жизни.

Интересно, что мотив прощения является вначале и компонентом судьбы Настасьи Филипповны, а, значит, и основного мотива романа – мотива попранной красоты и человеческого достоинства, – который начинает складываться, на определённом уровне, в первый же день действия романа, в Части первой (правда, равной по размеру чуть ли не целому роману Тургенева). Речь

идёт о почти решённой свадьбе Настасьи Филипповны с Ганей Иволгиным. Живя последние пять лет в чистоте, с раненой душой, Настасья Филипповна никак не может простить Тоцкому нанесённую ей обиду. В традиционном реалистическом романе прошлого века такое решение конфликта могло бы исчерпать литературный мотив. Но Достоевский не довольствуется изображением покорности судьбе, у него экзистенциальные проблемы ставятся, как правило, в более острой форме. Примирение с собственным запятнанным сознанием, возможное для Епанчина или Тоцкого, отвергается автором «Идиота». Дистанцирование голосов осуществляется здесь и с помощью отказа от некоторых литературных моделей с сентиментально-эпигонским оттенком, как, например, «Дама с камелиями» (Тоцкий – «господин с камелиями» в оценке автора) или с помощью сближения с другими мотивами: «Мадам Бовари» Флобера – настольная книга Настасьи Филипповны – символизирует мечту героини о счастьи и мысль о самоубийстве.

Упомянутый выше первый вариант разрешения конфликта оказывается, таким образом, всего лишь платформой для развития центральных литературных мотивов на высочайшем уровне напряжения. Отправную точку для новой вспышки страстей мы находим уже в замечании повествователя о том, что сердце Настасьи Филипповны не изменилось: изменился лишь мир её чувств, поколебалась её моральная стойкость – элементы, по Достоевскому, решающие для человеческой личности. Возвращение к мотиву красоты и поруганного человеческого достоинства происходит теперь с помощью создания новой ситуации. Во время посещения своей предполагаемой будущей семьи Настасья Филипповна снова сталкивается с попранием своего человеческого достоинства, ей наносятся – публично – грубые оскорбления: «Да неужели же ни одного между нами не найдется, чтобы эту бесстыжую отсюда вывести! – воскликнула вдруг, вся трепеща от гнева, Варя». Настасья Филипповна вспомнит эту фразу – как, кстати, и предложение Рогожина – перед «развязкой», на устроенном ею вечере. То, что готовы были сделать «достойным образом» сладострастный Тоцкий и тщеславный Ганя Иволгин, делает теперь Рогожин, движимый слепой страстью. Все они хотят

владеть женщиной за деньги. Мотив денег как средства господства над ближним раскрывает идею унижения человека, разрушения человеческой личности.

И здесь возникает второй центральный мотив романа. Мышкин – чтобы спасти поруганную красоту и человеческое достоинство – по доброте и бесконечному сочувствию, просит руки Настасьи Филипповны: «Я ничего не знаю, Настасья Филипповна, я ничего не видел. Вы правы, но я... я сочту, что вы мне, а не я сделаю честь. Я ничто, а вы страдали и из такого ада чистая вышли, а это много. К чему же вы стыдитесь да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка... Вы господину Тоцкому семьдесят тысяч отдали и говорите, что всё, что здесь есть, всё бросите, этого никто здесь не сделает. Я вас... Настасья Филипповна... люблю. Я умру за вас, Настасья Филипповна. Я никому не прозволю про вас слова сказать, Настасья Филипповна... Если мы будем бедны, я работать буду, Настасья Филипповна...» (VIII,138). Но эта попытка спасения человека, восстановления человеческого достоинства не имеет, кажется, шансов на успех, так как героиня считает себя виноватой.

К этому мотиву настойчиво возвращается героиня, считающая себя *падшей женщиной*, хотя такое определение, подтверждаемое действиями всех, кто хочет её купить, противоречит в конечном счёте её внутренней самооценке. Как следствие этой трагической коллизии возникает мотив самоубийства – отмщения. Впервые он рождается как намерение Настасьи Филипповны *броситься в воду*, появившееся у неё уже давно, сразу же после того как она вышла из гипнотического транса, вызванного её невольным «падением» и поняла истинный смысл отношения к ней Тоцкого. Её отъезд с Рогожиным – другая ипостась того же мотива.

По сути, в самом романе можно обнаружить целую систему идентификации, выявления этих двух мотивов. Первый из них звучит впервые в словах самой Настасьи Филипповны о том, как она обнаружила – осознала – суть отношения к ней Тоцкого: «Так, бывало, размечтаешься, что с ума сойдешь... И тут приедет вот этот: месяца по два гостил в году, опозорит, разобидит, распалит, развратит, уедет – так тысячу раз в пруд хотела кинуться, да подла была, души нехватало, а теперь... Рогожин, готов?» Решение

об отъезде она принимает, невзирая на предупреждение Мышкина. Приравнивание бегства Настасьи Филипповны с Рогожиным к самоубийству подчёркивается сравнением с *харакири*, поданным от имени одного из второстепенных персонажей, Птицына. В результате, указанный мотив выявляет как внутреннюю мотивировку, так и истинное значение поступка героини. И всё же Тоцкий не признаёт свою вину, а напротив, с видом превосходства оплакивает свои тщетные усилия, рассуждает о «неотшлифованном бриллианте» и т.п.

Конец *Первой части* романа маркирует становление центральных мотивов в их глубинной, специфической для Достоевского сущности. Их полное осуществление, однако, впереди. В финале первой части всё остаётся открытым. Благородный жест Мышкина создаёт новую ситуацию, открывает перспективу спасения, возвращения прав оскорблённому, опозоренному человеку. С другой стороны, мы ещё не знаем, осуществится ли на самом деле мысль Настасьи Филипповны о самоубийстве. Да и страсть Рогожина может очеловечиться (разве душа Рогожина не стремится к свету? – спрашивает себя Князь) – не случайно после урока, данного ему Настасьей Филипповной об истинной сущности его предложения, и после решительного поступка Мышкина, он решается на женитьбу.

Части *Вторая* и *Третья* продолжают развитие действия: после периода относительного спокойствия и интенсивных накоплений складываются новые ситуации, отношения между героями кристаллизируются, или, точнее, укрепляются в фундаментальных, непримиримых противоречиях. Потенцирование уже известных и новых мотивов осуществляется в более широких масштабах, напряжение нарастает, хлещет как из неиссякаемого источника. Литературные мотивы возникают из второстепенных – предметных, психологических, идейных и пр. Можно сказать, что роман строится на их пересечении. Линия их пересечения может быть обнаружена в самом потоке эпических событий, в описании социальной обстановки, включении идеологических проблем и т.п.

Новые повороты в судьбе героев намечаются благодаря любви князя Мышкина к Аглае Епанчиной. На внешнем уровне

восприятия может показаться, что Мышкин любит одновременно двух женщин или имеет любовную связь (с Настасьей Филипповной) и, несмотря на неё, намерен жениться (на Аглае). Это ситуация обычная – «нормальная» для аристократической или буржуазной среды, поэтому не удивительно, что мнение большинства окружающих Мышкина людей (некоторых членов семьи генерала Епанчина и её окружения, круга Ипполита и пр.) складывается таким именно образом. Так же – как явление «обычное», хотя и скандальное, – воспринимается позднее и предполагаемая женитьба Князя на Настасье Филипповне.

На уровне глубинного освещения фактов положение оказывается, однако, совершенно другим. Мышкин любит Аглаю настоящей мужской любовью. Он говорит ей об этом со всей откровенностью. К Настасье Филипповне он испытывает лишь глубокое сочувствие и склонен даже отказаться от своей попытки самопожертвования. В другой ситуации чувство героя к Аглае выражено со всей полнотой и красотой любовного признания. Вспомним их знаменитую встречу на зелёной скамейке. Чувство Мышкина подтверждено выражением счастья, которое появляется на его лице, когда он узнает, что любим. Окружающие замечают это и хотят отметить, отпраздновав их помолвку шампанским. В результате выясняется и отношение героя к Настасье Филипповне, которая не хочет принять любовь-жалость, согласиться, чтобы кто-то «возвеличил» её до себя. Этот идейно-этический мотив взят из «Записок из подполья» и отвергнут в реплике Мышкина, вскрывающей другой, контрастный, на этот раз библейский мотив – *не бросить камня в падшую*. Герой разрывается здесь не между двумя любовными связями или чувствами, а между любовью и сочувствием, которое готов довести до самопожертвования.

Вплоть до момента своего полного раскрытия, осуществления, мотивы постоянно варьируются, видоизменяются, меняются местами. Повторение – это стихия мотива, он дышит, как море, ритмичным чередованием волн.

Новый этап кристаллизации основных мотивов романа имеет место в диалогах Мышкина с Аглаей и в письмах, адресованных ей Настасьей Филипповной. Доброта и человечность Мышкина заставляют обеих героинь видеть в нём совершенство, идеал.

Аглая Епанчина ставит его несравненно выше всех посещающих их дом людей. Дон Кихот или пушкинский «рыцарь бедный», как термины литературных сравнений и ассоциаций, упоминаются с той же целью – чтобы дать оценку Мышкину как герою, в самом высоком смысле этого слова. Настасье Филипповне даже Аглая представляется – благодаря его любви – воплощением совершенства.

В конце *Части третьей* положение героев становится, кажется, более благополучным, судьба – хотя бы некоторых из них – перемещается на орбиту счастья. Угрозы ощущаются, однако, и здесь, читатель может уловить, в глубинных слоях текста, мотивы *эгоизма-гордыни-самоуничижения-ревности*, которые сопровождают, как контрапункт, даже мотив идеала. И в самом деле, следует переворот, положение диаметрально меняется... Но прежде чем перейти к этому моменту, необходимо сказать несколько слов о контексте иных, сопутствующих мотивов, с помощью которых и раскрываются основные литературные мотивы. Среди таких, сопутствующих и дополняющих мотивов, упомянем прежде всего те, которые связаны с фигурой Ипполита: *отрицание жизни – утверждение абсолютной свободы, допускающей самоубийство*. Этот комплекс мотивов контрастно выявляет идею приятия жизни и счастья, проповедуемую Мышкиным. Отрицание самоубийства на авторском уровне объясняет и душевное состояние Настасьи Филипповны, которая не решается покончить с собой. Мотив *времени больше не будет* как знак небытия, возникает косвенно и в отношениях Настасьи Филипповны с Рогожиным; целые вечера, когда им не о чем говорить, они «убивают время» игрой в карты.

Приятие Мышкиным жизни и счастья – это, по мнению автора, не есть приятие социального status quo. Его сочетание, слияние с рядом мотивов, связанных с идеей протеста, очевидно. Даже поступки Мышкина – в их этическом плане, где он силен, а не в политическом, где явно проявляются его противоречия, – имеют конечной целью надежду на перемену положения вещей, при котором права личности не соблюдаются, а подлинные, человеческие ценности часто становятся предметом купли-продажи.

Образ Настасьи Филипповны маркирован включением в развитие главной темы всех упомянутых выше мотивов; это, прежде

всего, её нежелание примириться со своей жизнью и судьбой, но и протест против них. Даже её красота имеет в этом смысле особую, знаменательную функцию. Уверяя Аглаю в своём желании им счастья, Настасья Филипповна приводит в своём письме следующие аргументы: «Я, однако же, замечаю, что я вас с ним соединяю, и ни разу не спросила ещё, любите ли вы его? Он вас полюбил, видя вас только однажды. Он о вас как о “свете” вспоминал; это его собственные слова, я их от него слышала. Но я и без слов поняла, что вы для него свет. Я целый месяц подле него прожила и тут поняла, что и вы его любите; вы и он для меня одно» (VIII, 379).

«Роковая» красота Настасьи Филипповны действует, однако, и без её намерения или против него, действует, может быть, и в силу того факта, что она, в глазах автора, – носительница судьбы. Прекрасная Аглая выбрала Мышкина, по её собственным словам, потому, что хочет бежать из дому. Но могла ли Аглая добиться счастья? А остальные герои?

Четвёртая – и последняя – часть романа собирает, сгущает основные мотивы в третьем круге композиции, более высоком, но и более узком по размерам по сравнению со вторым (центральным), собирает их, как в фокусе, и доводит до максимального накала. Неумолимый рок, кричащие несправедливости, разгул страстей, охватывающих героев до самой глубины их душ, обрисованы Достоевским с силой, редко встречающейся во всей мировой литературе – разве лишь у Софокла и Эсхила или у того Шекспира, в мире которого «распалась связь времен».

В начале конца – самой трагедии – завязывается новый узел противоречий: *гордыня – отсутствие гордыни*. Так обстоит дело, если говорить в общих терминах психологии. Но так оно обстоит и по сути. В сцене схватки соперниц к банальной ситуации применяется и Аглая, попадая в капкан гордыни и ревности; фатальными оказываются для неё и неспособность понять человеческие слабости, проявить сочувствие к Настасье Филипповне, которая, в своей щедрости, желала добра – ей, как и Мышкину. Гордыня Аглаи пробуждает подобное же чувство в душе «соперницы». Как таинственны и как в то же время «логичны» пути страсти! Уязвлённая в своём самолюбии, раненном надругательством над её

душой, Настасья Филипповна переходит от полюса невиданной щедрости к другому, противоположному – полюсу эгоизма. Она заставляет Мышкина сдержать слово, данное им давно, в другой ситуации, и жениться на ней – чтобы потом сбежать со свадьбы с Рогожиным. В финале романа, при встрече соперниц в присутствии обоих мужчин и дикой вспышке Настасьи Филипповны, Мышкин мучим сомнением в том, что ему следует сдержать данное когда-то обещание. Потрясающая сцена: «И она и Аглая остановились как бы в ожидании, и обе как помешанные смотрели на князя. Но он, может быть, и не понимал всей силы этого вызова, даже наверно можно сказать. Он только видел перед собой отчаянное, безумное лицо, от которого, как проговорился он раз Аглае, у него “пронзено навсегда сердце”» – завершается словами князя, обращенными к Аглае, на которую он кидает взгляд, «полный мольбы и упрека»: «Разве это возможно! Ведь она ...такая несчастная!»

По сути, Мышкин любит Аглаю. Но Аглая бежит от него. Рогожин в конце концов, как нам известно, убивает Настасью Филипповну. Убивает её физически, потому что морально она была смертельно ранена Тоцким, поступок которого сделал невозможным нормальное течение её человеческих чувств. Но кто убил Мышкина? Кто вызвал его душевную катастрофу, равную смерти? Ясно, что свой вклад здесь внесли все его окружавшие, но несомненна и его невольная, трагическая вина.

Мы упомянули о гордыне и ревности Аглаи, к которым следовало бы добавить её неспособность – или нежелание – принять аскетизм Мышкина, готового пожертвовать любовью ради сочувствия к падшему человеку; ясно, что доброта Аглаи не подымается до душевной щедрости. У Мышкина всё происходит наоборот. У него нет гордыни – «слишком мало гордости», как замечает Аглая. В своей безграничной доброте Мышкин жертвует своими чувствами, правами своей человеческой личности, он готов принести в жертву свою любовь – вещь, может быть, допускаемая церковной догмой, но недопустимая в концепции романиста. Именно здесь, когда Достоевский отвергает – на деле – аскетизм и обращается к высшим человеческим ценностям – таким, как жизнь, красота, добро, чистота любовного чувства – мы обнаруживаем вечное, непреходящее начало его искусства.

Трагедия Мышкина вызвана тем, что он не понят, что он не может сделать так, чтобы его поняли. Это относится даже к членам семьи Епанчина, которые отказываются принять его для выяснения запутанной ситуации. Исключение составляет, однако, Аглая, которая могла бы его понять, если бы, как говорит Мышкин, знала всё: «О, если бы Аглая знала, знала бы всё... то есть непременно всё. Потому что тут надо знать всё, это первое дело! Почему мы никогда не можем *всего* узнать про другого, когда это надо, когда этот другой виноват!..» (VIII, 379).

Не понял Мышкина и Евгений Павлович Радомский. Раб своих пошлых, банальных представлений о жизни, он отказывается передать Аглае его письмо – просьбу о встрече, становясь таким образом одним из носителей вины и оставаясь типичным представителем равнодушного, бесчувственного и бессердечного – пусть и аристократического или именно потому, что аристократического – мира. Его размышления в момент развязки подтверждают несостоятельность этого героя перед лицом подлинных жизненных испытаний: выводы, которые звучат в этих размышлениях, основаны на верных наблюдениях и – неуверенной, ложной интерпретации фактов (чем лишний раз подчёркивается странность, неуверенность в поведении Мышкина): «Евгений Павлович ушёл с убеждениями странными: и, по его мнению, выходило, что князь несколько не в своём уме. И что такое значит это *лицо*, которого он боится, и которое так любит! И в то же время ведь он действительно, может быть, умрёт без Аглаи, так что, может быть, Аглая никогда и не узнает, что он её до такой степени любит! Ха-ха!» (VIII, 485).

Отсутствие взаимопонимания, ущербность коммуникации окажутся для протагонистов романа фатальными. Мотив «знания», который можно выразить и синтагмой *если бы знать*! – в его разнообразных, многочисленных ипостасях – сыграет, таким образом, важную роль не только в структурировании персонажей, но и в раскрытии эстетического значения, сущности трагедии; без глубокого познания человеческой натуры, без «ощущения» индивидуальности того, с кем он связан, человек не может осуществить своё жизненное назначение, не может найти счастья!

Мышкину представляется, что он умирает во сне. По сути, финальная катастрофа являлась ему уже давно, в страшных снах об *ужасной* женщине, предвещавших встречу с Настасьей Филипповной, одно появление которой теперь внушает ему страх. Так зарождается – и развивается – один из важнейших «предметных» мотивов – лицо Настасьи Филипповны; это лицо и вызывает, в конечном счёте, крах Мышкина. Отправляясь от сквозного предметного мотива портрета героини, который развивается по мере нагнетания чувства ужаса, неизменно вызываемого её появлением, *мотив лица* превращается, в конечном счете, в литературный мотив поруганной красоты. Мышкин не может выносить выражения этого лица потому, что оно напоминает ему его собственное сумасшествие; он называет эту женщину «сумасшедшей», «безумной». Моральная гибель героини угрожает существованию самого героя, а её смерть бросает и его в бездну отчаяния.

О своей женитьбе на Настасье Филипповне Мышкин говорит, что это «совсем другое дело», чем думают Аглая и Радомский. Он женится потому, что она на этом настаивает, потому что не переносит её лица, потому что она сумасшедшая! Его попытка считать женитьбу чем-то условным, своего рода средством для восстановления попранного человеческого достоинства, оказывается трагической ошибкой.

Мышкин убит – если даже и не физически – преступлением Рогожина, его дикой страстью, его стремлением к обладанию, так же как была убита Раскольниковым невинная сестра процентщицы. Не Мышкин, потрясённый болью и предчувствием смерти, проникает в дом Рогожина, чтобы оказаться у изголовья жертвы; его ведёт туда сам хозяин, убийца. Сцена потрясает своим абисальным психологическим реализмом, обстоятельства убийства описаны с поразительной точностью деталей, приобретающих символическое значение, в виде ритульного похоронного обряда. Рядом с неодушевлённым телом Настасьи Филипповны двое – палач и жертва – обращаются друг к другу со словами «брат», «ты» и ложатся рядом, накрываясь одним одеялом. В этой сцене некоторые видят выражение христианской идеи прощения грехов, прощения Рогожина Мышкиным. Христианская идея, несомненно, присутствует в романе – в эпилоге, озаглавленном «Заключение». Рогожин

берёт на себя здесь и преступление и наказание. Но выше, в описанной сцене, автор говорит, по сути, о другом. Не словами осуждает Мышкин Рогожина, а самой своей трагической судьбой. Ибо он – жертва, попавшая в тиски палача, не способная больше противиться. Так вступила в гипнотический круг Рогожина и Настасья Филипповна, войдя в его дом – дом жизни и смерти. Приведя Мышкина к телу Настасьи Филипповны, Рогожин вызывает у него смертельное потрясение.

Множество предметных и психологических мотивов свидетельствуют о том, что романист показывает сумасшествие князя как следствие такого именно убийства – точнее, его новое – окончательное – заболевание приравнивается к смерти. Среди таких соприкасающихся мотивов – предметный мотив ножа, которым была убита Настасья Филипповна и которым раньше Рогожин угрожал Мышкину. Другой соприкасающийся мотив – огненные глаза Рогожина, которые преследуют Мышкина так же неотступно, как и лицо героини. Дом Рогожина поднят на уровень мотива-символа как из-за его мрачной атмосферы, так, в частности, и благодаря подробному описанию картины «Снятие со креста» Ганса Холбейна Младшего, копия которой висит в гостиной. Её смысл – идея всеразрушающей смерти, невозможности воскресения – перекликается с символами *паука*, *паутины*, *деревенской бани*, обозначающими небытие.

Когда князь осознаёт смерть Настасьи Филипповны, он теряет способность простейших реакций: у него больше нет ни слов, ни жестов, кроме жеста отчаяния: «Он встал и всплеснул руками. Рогожин лежал неподвижно и как бы не слыхал и не видал его движения; но глаза его ярко блистали сквозь темноту и были совершенно открыты и неподвижны. Князь сел на стул и стал со страхом смотреть на него». Тот же жест делает князь и при расставании с Аглаей, когда она убегает от него навсегда.

В последних сценах романа его основные мотивы находят своё окончательное воплощение и развязку. Обрывки образов, связанных с мотивами *эпилепсии или смерти во сне* возникают или вновь всплывают в сцене, следующей за убийством: когда дверь была открыта, «возле бредящего убийцы был найден князь Лев Николаевич /.../ Между тем совсем рассвело; наконец он прилёг на

подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии, и прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина; слёзы текли из его глаз на щёки Рогожина, но, может быть, он уж и не слыхал тогда своих собственных слёз и уже не знал ничего о них...» (VIII, 485).

Важнейшим последствием убийства Настасьи Филипповны оказывается заболевание Мышкина: «Князь сидел подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провесть дрожащею рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его. Но он уже ничего не понимал, о чём его спрашивали, и не узнавал вошедших и окружающих его людей. И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения своего в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда: “Идиот!”» (VIII, 507).

Достоевский говорил, что написал весь роман ради этой сцены в доме Рогожина. В самом деле, никогда ещё читатель не был свидетелем столь глубокого падения после столь высокого взлёта. Перед человеком – ужасный обрыв. Он стоит над этой бездной на грани существования, на пороге небытия. Тот факт, что автор считает преступника человеком несчастным (как много говорит нам этот последний жест – почти безотчётный ласковый жест Мышкина, у которого обычно «не было жестов»!) – не избавляет Рогожина от вины, искупления и наказания, напротив, сочувствие князя выявляет страшную бесчеловечность преступления и того, кто его совершил.

Может ли быть что-либо более страшное, чем страдание князя, вызванное безумием? И – можно ли было более категорически выразить протест против надругательства над человеческим достоинством и красотой, против порядков мира, в котором духовные ценности подлежат акту купли-продажи? Можно ли представить себе более благородное, более полное и более чистое самопожертвование, чем у Мышкина? Существует ли менее «безвинная» трагическая вина? Думаем, что нет. Ничто не могло бы более гармонично завершить композицию романа, более адекватно реализовать систему его конвергентных мотивов.

Итак, система мотивов, рассмотренная нами выше с точки зрения их семантической конвергенции, целевого сопряжения, исключительно функциональна. В плане композиции эта система характеризуется рядом черт, специфических для искусства романиста. Принцип полярности, контраста и контрапункта играет здесь важную роль. Используя эти принципы для создания рифм ситуаций на больших и малых пространствах, с помощью повторов и вариаций Достоевский строит мотивную систему своих романов высоко художественно и в высшей степени результативно.

Мы уже упомянули доминантные черты характера Мышкина, которые вырисовываются в первой части романа: радость жизни, счастье, дарованное душевной щедростью и любовью к людям, раскрыты с помощью мотивов невинности (детей) и прощения (совращённой и покинутой Мари). У этих тем и мотивов есть контрапункт – мотив *ужаса* и *смертной казни*, который выявляет и подчёркивает основную черту натуры князя – *любовь к жизни*. В третьей части романа (главы V и VI), в исповеди Ипполита, возникают контрастные мотивы нигилизма, отрицания жизни, самоубийства, с их дополнительным, вторичным контрапунктом: читая своё «необходимое объяснение» о праве на полную свободу и экзальтации смерти, Ипполит всё же поднимает бокал шампанского за восходящее солнце, за зелень деревьев, за жизнь.

Мотивы финала группируются в новую своеобразную подсистему, строящуюся на внутренне диссонантной тематической рифме, на контрастирующем с ней литературном мотиве в начале Части четвёртой и контрапункте – в *Заключении*.

В начале четвертой части в центре внимания стоит Ганя Иволгин – тип достаточно умного обычного, «ординарного» человека. Мучимый сознанием своей посредственности, Ганя принимает взрыв своих страстей и желаний за проявление силы: «Потом, во время своей истории с Настасьей Филипповной, он вдруг вообразил себе, что достижение *всего* в деньгах. “Подличать, так подличать” – повторял он себе тогда каждый день с самодовольствием, но и с некоторым страхом; “Уж коли подличать, так уж доходить до верхушки, – ободрял он себя поминутно, – рутина в этих случаях оробеет, а мы не оробеем!”» (VIII, 386). Ганя вынужден

признаться себе, что все его страдания и недовольство – не что иное как подспудная реакция, проявление его постоянно попираемой гордыни. В нём нет ни капли оригинальности, считает Ипполит, подтверждая характеристику, данную Гане повествователем: он «рутина из рутин», «...тип и воплощение, олицетворение и верх самой наглой, самой довольной, самой пошлой и гадкой ординарности» (VIII, 300). Но затем отвергается также и эгоистическая гордыня Ипполита, публично и рационально исповедующего смерть, – по контрасту с глубокой оригинальностью характеров, которым доступна радость жизни и вера в возможность счастья. Эти характеры описаны – в картинах, содержащих яркие ноты контрапункта, насыщенных живительным, редкой красоты юмором – в сцене встречи Мышкина с Аглаей в парке, на зелёной скамейке.

В момент развязки повествователь исчезает, интриги Ипполита и Лебедева теряют свою силу, как, впрочем, и акции Гани Иволгина и Радомского, о реабилитации которых, хотя бы и частичной, не может быть и речи. Их поступки и рассуждения иллюстрируют поверхностный, внешний уровень понимания жизни, великие трагедии рока остаются для них тайной за семью печатями.

С исчезновением из жизни (или со сцены) четырёх протагонистов – или в силу этого исчезновения – план глубинного понимания уходит в подводное течение. Это обстоятельство сказывается на характере эпилога. Смягчая – амортизируя – шоковый эффект, эпилог, однако, не снимает силы катарсиса.

Момент развязки открывается сообщением повествователя об осуждении Рогожина (с сильным акцентом контрапункта: признание виновником своей вины) и драме обманутой и покинутой Аглаи; всё это ослабляет напряжение. В свою очередь, ни рассуждения Радомского, ни замечания Елизаветы Прокофьевны Епанчиной не превышают весьма поверхностного уровня понимания обстоятельств. Их сочувственное отношение к больному князю не меняет сути дела, оценки Радомского ни в коей мере его не реабилитируют (как считают некоторые критики). Филантропический оттенок поступков Радомского и особенно его западничество имеют в своём подтексте отрицательный знак авторского голоса. Вручение Елизавете Прокофьевне, в последних фразах романа, идей

самого автора – о «фантастичности» русских за границей – не реабилитирует её, ибо читатель помнит, что романист поступал так же и раньше, когда представлял читателю этот, впрочем, довольно сложный, персонаж. В эпилоге мы находим отблески гроз, потрясающих трагедий, но и повседневность, становимся свидетелями установления атмосферы примирения или «перемирия» – не лишённой, однако, новых накоплений – для другой истории, для другого романа.

* * *

Беглое, иногда неполное перечисление основных мотивов романа может оказаться недостаточным без прояснения самого понятия литературного мотива и его значения для исследования поэтики Достоевского. Процесс прояснения следует начинать с отграничения этого концепта от понятия темы и с определения его как своеобразной, специфической структуры, идейно-аффективного художественного единства внутри целого и цельного произведения, строящегося на основе повторения, вариации ряда образов, в том числе предметных, психологических, идейных, стилистических локальных мотивов, приобретающих при этом каждый раз иное, новое символическое значение. Таким образом, мы подходим к опредению литературного мотива, отправляясь не от его «материальной» основы, а от его специфического, оригинального для каждого данного произведения, как художественного целого, значения. Такой подход стал возможным благодаря выявлению ситемы мотивов, которая создаётся Достоевским с помощью мощного процесса поляризации, идентификации, разграничения.

О необходимости чёткого разграничения темы от литературного мотива свидетельствует история критических оценок другого романа писателя, принадлежащего следующему этапу его творчества. Речь идёт о «Подростке» и его отправной точке, «идеале Ротшильда», с которым вступает в жизнь Аркадий Долгорукий. Эта идея, как отметил Г. Фридлендер, уже возникает в зародыше в «Идиоте» [6]. В определённый момент Ганя Иволгин заявляет, что ему необходимо быстро приобрести значительный капитал – чтобы через пятнадцать лет каждый, взглянув на него, мог воскликнуть: «Вот Иволгин, царь иудейский!» Намёк касается здесь

Джеймса Ротшильда, также названного Гейнрихом Гейне – иронически – *царём иудейским*. Возможно, это сравнение отправляет и к мемуарам Герцена «Былое и думы», в которых имеется такое заглавие: «Деньги и политика. – Император Джеймс Ротшильд и банкир Николай Романов. Полиция и деньги». Однако, в «Подростке» тема денег приобретает совсем иной размах, иной смысл, что и интересует нас в данном контексте.

Творческий процесс, освещённый в записных книжках и вариантах, показывает, что Достоевский создавал свои произведения не в параметрах заранее избранных тем, а исходя из набросков, наметок образов, сцен, характеров, элементов эпического действия. Материалы, предваряющие окончательный текст романа «Подросток», предоставляют нам в этом смысле множество доказательств. Даже тогда, когда в планах, в набросанных диалогах стоит слово «идея», это касается обычно определённого взгляда на действительность, причем часто относится не к автору, а к персонажу или к той или иной черте его характера. Так, на том этапе, когда будущий роман назывался «Атеист или Жизнь великого грешника», в наброске плана стояло: «Это картина АТЕИСТА. Это главная мысль драмы (т.е. главная сущность ЕГО характера)» (XVI, 10).

Создавая многочисленные наброски и проекты своих романов, писатель давал им самые разнообразные названия: *Идея, Главная идея, План, Окончательный план, Новый план, Программа, Новое, Сцены, Характеры, Важное, NB* и пр. Среди материалов к «Подростку» мы находим и заголовок *Мотивы 1-й части*. Восьмикратное повторение этого заглавия, сопровождаемое, как правило, рядом замечаний о персонажах и о формах повествования, завершается рядом новых записей. Сначала воспроизводятся слова старого князя – в связи с Версиловым: «Женщин нельзя в идеал (кому бы подчиниться)» и «Подростком»: «Подросток об Отелло: “Знаете ли, за что убил Дездемону, – за то что идеал потерял”. И вдруг Подросток поглядел на Князя: “Знаете, я отчасти в положении Отелло и боюсь потерять идеал” – Друг мой, разве ты любил?». Затем автор ставит себе задачу: «ЭТУ ПРОГРАММУ СВЕРИТЬ С МОТИВАМИ И ДОКОНЧИТЬ» (XVI, 205).

Восемь фрагментов, озаглавленные *Мотивы 1-й части*, содержат также указания на развитие действия, сегменты сюжета, идеи,

концепты героев-идеологов, изложенные прямо или намёком – всё это фиксируется в сценах и диалогах. Среди них – и крупные структурные образования, укладывающиеся в параметры того, что мы называем литературным мотивом.

Другое, ещё более красноречивое свидетельство о творческой манере Достоевского предоставляет нам пространный текст из рукописной редакции, помещённый в разделе «Заметки, планы, наброски. Январь-ноябрь 1875» под заглавием «Для предисловия». Речь идёт об ответе критикам, которые не сумели понять смысл романа, поскольку сводили всё в своих комментариях к теме денег, к *идее Ротшильда*. «Идея Ротшильда» уже с самого вступления в жизнь подростка Аркадия Долгорукого более сложна. Ещё важнее то, что в центре романа расположены другие литературные мотивы. Именно в этом смысле звучат замечания Достоевского о том, что Аркадий задуман не как существо посредственное, а как человек одинокий, отчуждённый, щедрый, но униженный своим странным, уродливым социальным положением. На замечание критики, что автор «Подростка» задумал показать влияние денег на душу молодого человека, Достоевский ответил: Нет! Ибо он поставил перед собой более обширную задачу. Останавливаясь перед изложением сюжета романа, писатель прерывает процесс теоретического, концептуального развёртывания литературных мотивов. Эта остановка объясняется, вероятно, и тем, что автор почувствовал, что он уже воплотил то, о чём намеревался сказать, в черновиках романа, более полно и художественно. В самом деле, анализ окончательного текста «Подростка» позволяет легко выделить центральные литературные мотивы романа, чётко обнаруживающиеся в самой его идейно-художественной структуре.

«Подросток», как роман воспитания, раскрывает вопрос о становлении личности в условиях хаоса, «случайного семейства», характерных для нового этапа развития русского постфеодального общества. Вступая в жизнь с идеей Ротшильда – утопической программой накопления денег с помощью экономии, аскетического существования – он ставит перед собой цель: получить власть, господствовать – чтобы затем подарить всё людям, добившись и для себя места в обществе. Первоначально Аркадий Долгорукий готов нарушить для утверждения своей личности моральные нормы, используя тайный документ в целях шантажа, но отказывается от

этого вследствие трагических событий, с которыми он сталкивается, и в результате приобщения к различным концепциям преодоления хаоса, среди которых атеистический социализм, золотой век и объединение людей на основе любви, на основе служения ближнему. Таким образом, центр романа составляет мотив восстановления личности Подростка, обретения его места в обществе, попытки современного русского интеллигента или / и верующего человека из народа преодолеть хаос с помощью обретения идеала реального гуманизма в вариантах атеистического, утопического или христианского социализма.

Система конвергентных второстепенных, локальных мотивов служит, на всём протяжении романа и особенно в его кульминационных пунктах, становлению выделенных нами центральных литературных мотивов. В их периметре мы и открываем, по существу, пересечение всех нитей, ведущих к философским, этическим, религиозным, вообще онтологическим поискам трёх основных героев-идеологов романа – Аркадия Долгорукова, Версилова, Макара Ивановича. Отправляясь от библейского принципа: «поди и раздай твоё богатство и стань всем слуга», Макар Иванович завещает Подростку – как своё духовное наследие – тайну счастливого человеческого общества. Если частная собственность исчезнет по общему согласию людей, – «уж немалое богатство, не сто тысяч, не миллион, а целый мир приобретаешь! Ныне без сытости собираем и с безумием расточаем, а тогда не будет ни сирот, ни нищих, ибо все мои, все родные, всех приобрел, всех до единого купил! Ныне не в редкость, что и самый богатый и знатный к числу дней своих равнодушен, и сам уж не знает, какую забаву выдумать; тогда же дни и часы твои умножатся как бы в тысяу раз, ибо ни единой минутки потерять не захочешь, а каждую в веселии сердца ощутишь. Тогда и премудрость приобретёшь не из единых книг токмо, и будешь с самим Богом лицом к лицу; и воссияет земля паче солнца, и не будет ни печали, ни воздыхания, и лишь единый бесценный рай...» (XIII, 311).

Мотив *рая на земле* в видении Макара Ивановича – одна из ипостасей счастливого общества; другую его ипостась представляет мотив *золотого века*, который возникает в сне Версилова: «Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я

никогда не видал таких. В Дрездене, в галерее, есть картина Клода Лоррена, по каталогу – “Асиз и Галатея”; я же называл её всегда “Золотым веком”, сам не знаю почему. Я уж и прежде её видел, а теперь, дня три назад, ещё раз мимоездом заметил. Эта-то картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то быль. Я, впрочем, не знаю, что мне именно снилось: точно так, как и в картине, – уголок Греческого архипелага, причём и время как бы перешло за три тысячи лет назад; голубые, ласковые волны, остров и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце – словом не передашь. Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, и мысль о том как бы наполнила и мою душу родною любовью. Здесь был земной рай человечества: боги сходили с небес и роднились с людьми ...» (XIII, 375).

Позднее, разворачивая шире мотив золотого века, Версилов говорит о его нехристианском характере: «Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить её; и весь великий избыток прежней любви к тому, который и был бессмертие, обратился бы у них на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо...» (XIII, 379).

Устами Версилова Достоевский принимает, таким образом, и дохристианский золотой век. Но это приятие оттенено акцентом контрапункта: виде*н*ие Версилова заканчивается припоминанием другого виде*н*ия, принадлежащего на этот раз Генриху Гейне – из стихотворения «Христос на Балтийском море». Явление Христа беззащитным людям вводит здесь новый литературный мотив – христианского утопического социализма, который будет развит в романе «Братья Карамазовы» в образе Зосимы. Миф золотого века без прямых религиозных импликаций станет центральным литературным мотивом в повести «Сон смешного человека».

В романе «Подросток» система мотивов особенно чётко выявляет своеобразие искусства Достоевского, опирающегося на такие черты, как психологическая биполярность и интерференция мотивов, контрастивная ассоциативность персонажей, раздвоение и пр. Идея Ротшильда, прежде чем быть отвергнутой Аркадием Долгоруковым, развёртывается во всей своей биполярности. После истории с пошлым и грубым студентом, которому оскорблённая им на улице девушка наносит пощёчину, и после истории спасения

покинутой родными девочки Ариночки, Подросток оказывается перед двумя несовместимыми альтернативами: с одной стороны, это мысль о том, что идея может увлечь человека настолько, что совсем оторвет от действительности, с другой – о том, что никакая идея не в состоянии овладеть человеком окончательно. Как бы странно это ни казалось, оба вывода были для Подростка реальны, альтернативы сосуществовали.

Психологическое раздвоение проходит этап биполярности – в терзаниях Версилова, в извилинах его душевного мира. Вначале он сознаётся, что в его сердце могут ужиться два противоположных чувства, отнюдь его не беспокоя. Но позднее его раздвоение, обостряясь, приводит героя на грань гибели; это представлено конкретно-символически: в момент кризиса он раскалывает икону на две равные части. По мере развития литературного мотива раздвоение становится постоянным параметром мышления и мира чувств Версилова, который разрывается между скептицизмом и жаждой веры, между скукой, духовным падением – и жаждой идеала. Появление его alter-ego оценивается в эпилоге как первая стадия серьёзного нарушения психического равновесия, как потрясение, которое грозит трагическими последствиями. Но Достоевский не исключает и «совсем другую историю» – версию о возрождении своего героя.

Образ Версилова, как и большинство других персонажей, следует рассматривать как изнутри, под знаком психологического мотива *протест-смирение*, так и извне – в сопоставлении с другими персонажами – в перспективе возможного развития одной из сторон его биполярной душевной структуры.

Скрещение противоположных перспектив, совпадение идентичностей, частичное накладывание персонажей друг на друга, характерное для художественного мира Достоевского вообще, в данном случае особенно явно, как и суверенность каждого персонажа, его особой судьбы.

Несомненно, в романе «Подросток» привлечён и целый ряд других тем (*отцы и дети*, например), а также сопряжённых с ними многочисленных конвергентных мотивов: *тайна и её раскрытие в процессе познания; любовь земная и любовь небесная; европейская цивилизация и русская идея; самоубийство-равнодушие и самоубийство-мщение*. Все эти мотивы, как и многие другие, развиваются в

самых различных вариантах, в оригинально воплощённых образах – центральных, как Ахмакова или Софья Андреевна, и второстепенных, как Оля или Крафт.

Литературные мотивы Достоевского воздействуют на чуткого, умного читателя то незаметно, косвенно, то явно, внезапно и захватывающе, увлекают его, как морские волны увлекают умелого и смелого пловца, неся его к новым неизведанным берегам. Внутренним мотором этого творческого порыва оказывается стремление автора постичь тайну жизни – путём внесения в произведение новых эстетических значений, создания новых литературных мотивов.

Кажется, только теперь мы поняли, почему и в каком смысле отказался писатель от звания психолога в следующем отрывке из записных тетрадей: «При полном реализме найти в человеке человека /…/ Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой» (XXVII, 65). Отказ писателя основывается, стало быть, всё на том же его постоянном стремлении ставить – и решать – в своём творчестве вечные вопросы бытия – задача, осуществление которой невозможно без насыщения психологического эстетическим значением. Иначе говоря, психологический уровень – это не самый высший уровень в творчестве Достоевского; таковым оказывается здесь уровень эстетический.

III. МИФ И МОТИВ

1

Но неужели не всё равно, сон или нет,
если этот сон возвестил мне Истину?
«Сон смешного человека»

И неужели, неужели золотой век существует
лишь на одних фарфоровых чашках?
«Дневник писателя», 1876 год

Так крупный современный писатель, Достоевский не мог не включиться, с характерной для него страстностью, в такой оригинальный духовный проект – подлинную «одиссею человеческого духа» – как эксплорация мифа со всеми его

координатами – гносеологической, психологической и эстетической. Упоминая здесь об этом «духовном приключении», мы имеем в виду не только момент зарождения искусства, его первоначальные фазы, но и всю историю мифа, включая и его современное бытование. Ибо миф, как форма интуитивного познания в архетипальных фантастических «историях», не покидает человека и сегодня, оставаясь вечным жизненным источником искусства даже в эпоху непредсказуемой и невиданной научно-технической революции.

Искусство Достоевского с редкой силой подтверждает непреходимое значение, вечное бытование мифа в человеческой культуре. Но – как, в какой мере, в каком качестве, какими путями?

Намечая предпосылки для нового рассмотрения места, роли и сущности мифа в поэтике Достоевского, мы не можем обойти высказанные ранее точки зрения. Можно было бы начать с проблемы совместимости / несовместимости мифа и реализма, то есть с вопроса: можно ли говорить о реализме там, где мы имеем дело с мифическим видением в искусстве, не противоречат ли архетипальные структуры и формы фантастического самой природе реалистического образа?

Новая постановка вопроса о мифе в творчестве Достоевского и о его соотношении с литературным мотивом, как идейно-художественным структурным единством, имеющим самостоятельное значение в рамках эстетической концепции произведения, представляется начинанием необходимым и перспективным. Необходимым потому, что, будучи затронуты в критической литературе, эти вопросы до сих пор решались здесь, на наш взгляд, не вполне убедительно; перспективным – потому, что указанные измерения в значительной степени обусловливают своеобразие искусства русского романиста.

Рассматривая характер, роль и место мифа в творчестве Достоевского, нужно исходить из признания заслуг современных западных исследователей, поставивших эту тему, привлекших к ней внимание и даже выдвинувших концепцию *мифологического искусства* Достоевского, *его фантастического реализма* (Фэнгер, Дж. Фрэнк, Печмас и др.). Авторы, развивающие эту концепцию, удачно решают отдельные вопросы поэтики Достоевского,

обнаруживая при этом большую чуткость. В своей статье «Открытие Достоевским фантастического реализма» Джозеф Фрэнк определяет манеру русского писателя как «интуитивное ощущение реального через физически необычное и исключительное, как ключ к социальным силам, действующим под внешней видимостью повседневной жизни» [1].

Хотя, на наш взгляд, улавливание интуитивного и изображение исключительного указывает лишь на одну, пусть и важную сторону таланта писателя, нужно признать, что в приведённых выше словах хорошо подмечены некоторые особенности художественной практики и эстетики Достоевского. Но исследователи, прибегающие к определению реализма Достоевского как мифологического, фантастического или романтического, имеют тенденцию выводить творчество писателя за пределы критического реализма, пренебрегая его острой социальной критикой, огромным познавательным значением его наследия. Объективно существующий хаос, антагонистический мир современного писателю общества оказывается в этой концепции лишь проекцией творящего субъекта. По мнению этих исследователей, отрицая социальные причины трагедии человека, Достоевский возвращается к доисторическому, внесоциальному человеку мифа. Чтобы убедительно спорить с такой концепцией, нужно, на наш взгляд, заново, используя современные инструменты анализа, провести исследование природы художественной образности, творческого метода писателя, проанализировать структурные конфигурации не только ради них самих, но и в свете их эстетической функции, и в частности – выяснить подлинное соотношение между мифом и реализмом.

Вновь возникший ныне живой интерес к поэтике Достоевского объясняется отчасти структуралистической и близкой к структурализму ориентацией литературоведения. Хотя в центре внимания исследователей до сих пор стояли, как правило, вопросы структуры повествования и уровень стиля, ими был затронут и вопрос о мифе. М. Бахтин в книге «Проблемы поэтики Достоевского» определил жанр отдельных произведений Достоевского как «карнавализированную мениппею». В центре внимания исследователя стоят античные и средневековые структурные предпосылки жанра

романа Достоевского и только через них рассматривается мифопоэтика. При этом автор книги отвлекается от рассмотрения проблем мифа как такового, говоря лишь о его распаде в эллинистическую эпоху и утверждая, что русский романист отказывается от традиции эпопеи [2].

В. Топоров поставил интересующий нас вопрос в своей работе «О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления (*Преступление и наказание*)», посвященной М. Бахтину [3]. Выделяя в произведениях писателя уровень «*слов*, отмеченных семантически и образующих локально организованные куски текста», исследователь делает вывод, в соответствии с которым в романах Достоевского «легко выделяются некоторые заведомо общие схемы (от которых автор, в отличие от большинства его современников, не хотел отказываться), наборы элементарных, локально-топографических и временных классификаторов, которые могут быть заданы списком, набор метаязыковых операторов и, наконец, огромное число семантически (часто – символически) отмеченных кусков текста, которые могут появляться в разных частях одного или нескольких произведений (повторения, удвоения, “рифмы ситуаций”, параллельные ходы и т.п.). В этом отношении романы Достоевского аналогичны мифологическим текстам» [4].

Это весьма плодотворное на уровне слова исследование не вполне удовлетворяет нас (пока – можем мы сказать, так как автор намерен его продолжить) в некоторых принципиальных аспектах. Прежде всего, узкой, односторонней, в чём-то деформирующей представляется трактовка функции в чисто формальном плане, трактовка абсолютизирующая, например, амбивалентность образов и текстовых кусков. На наш взгляд, здесь необходимо подняться на более высокий уровень идейно-эстетической концепции, на уровень художественной образности – персонажа и характера, поскольку речь идет об эпике, без которых уровень слова не может быть освещён вполне. Некоторые выводы В. Топорова, касающиеся этого высшего или, лучше сказать, всеохватывающего уровня, мало убедительны и, по сути, повторяют существовавшие до него мнения о предельной независимости

авантюрного сюжета от героя, о тождественности фантастического у Достоевского, Гофмана и Гоголя и т.п. Вместе с тем В. Топоров выдвигает и некоторые общие положения, в которых обнаруживается глубокое проникновение в искусство Достоевского – не только на уровне слова. Таков его концепт самодовлеющей и всеопределяющей функции: «Всё, что попадает в её поле, утрачивает свою субстанциальную природу, лишается прежних оценочных критериев и перестраивается изнутри таким образом, чтобы соответствовать данной функции» [5].

В связи с другими конкретными аспектами освещения мифа в работах о Достоевском нужно упомянуть и убедительную, хорошо документированную работу Л. Лотман «Романы Достоевского и русская легенда», вошедшую в её книгу «Реализм русской литературы 60-х годов XIX века» (Л.: Наука, 1974) и ряд докладов симпозиума по творчеству Достоевского 1977 года.

Что касается теоретического освещения мифа, нужно сказать, что рамки данной главы не дают возможности остановиться на нём подробно, и мы отсылаем читателя к новейшей капитальной работе Е. Мелетинского о поэтике мифа, уточнив лишь, что нам близки «предварительные итоги» автора, говорящие о логическом и психологическом своеобразии мифологического мышления, о том, что «мифотворчество является древнейшей формой, своего рода символическим *языком*, в терминах которого человек моделировал, классифицировал и интерпретировал мир, общество и самого себя, но [...] своеобразные черты мифологического мышления имеют известные аналогии в продуктах фантазии человека не только глубокой древности, но и других исторических эпох и, таким образом, миф как тотальный или доминирующий способ мышления типичен для культур архаических, но в качестве некоего “уровня” или “фрагмента” может присутствовать в самых различных культурах, особенно в культуре и искусстве, во многом обязанных мифу генетически и отчасти имеющих с ним общие черты (“метафоризм” и т.п.)» [6]; близко нам и стремление автора к огранению этой идеи: «Рассмотрение литературных произведений в рамках традиций, в конечном счёте, мифологических, является сильной стороной ритуально-мифологической школы и способствует выделению и анализу “коллективного” слоя творчества

писателя, т.е. эстетики сюжета, жанра, поэтического языка, которыми он пользуется. Разумеется, за бортом такого анализа остается личный вклад писателя и непосредственное отражение в его произведении социально-исторической обстановки» [7].

Важная на наш взгляд задача сегодняшнего исследователя поэтики Достоевского заключается не только в том, чтобы определить границы мифа в творчестве писателя, так сказать, в количественном отношении, хотя это может послужить – и послужит в нашей работе – исходным пунктом, но и выяснить его место в ряду других художественных средств, его специфическую функцию, определяющую саму природу и качество образности. Многочисленные структурные пласты произведения Достоевского спаяны, слиты в органическое целое. Они неразделимы, взаимно просвечивают друг друга, выявляя грани и глубины огромного по своему объему идейно-аффективного эстетического содержания. Ставшее в некоторых работах почти традицией стремление возвести в абсолют ту или иную грань этой поэтики приводит к гипертрофированию частных истин, нередко идущих вразрез с пониманием важнейших, существеннейших сторон искусства Достоевского.

Описание сферы мифологического – нового мифа как такового – на высших уровнях произведения не представляет особой трудности. Мифы в чистом виде, как глобальные структуры, занимают в прозе писателя не столь уж значительное место. Этот уровень остаётся чаще всего скрытым и лишь изредка выходит на поверхность, причём даже в таких случаях его доминантный характер следует поставить под знак вопроса. Миф как инструмент, стимулирующий ассоциативные способности мышления читателя, пробуждающий его воображение, вписывается обычно в естественный язык повествователя и персонажаей или, реже, появляется в сне героя, раскрывая какой-то момент его психического состояния, но не составляя первооснову эстетической концепции. Видимая часть айсберга появляется, однако, в нескольких частях романа «Братья Карамазовы» – в поэме «Великий инквизитор», в записках Зосимы и в главе «Чёрт. Кошмар Ивана Карамазова», а также в возникшей в процессе работы над этим романом повести «Сон смешного человека», где миф становится опорным пунктом эпической конструкции.

Полное заглавие этого прозведения, включающего мифологическую структуру на уровне целого и опубликованного в «Дневнике писателя» за 1877 год, звучит следующим образом: «Сон смешного человека. Фантастический рассказ». Два слова из этого заглавия – *сон* и *фантастический* – сигнализируют о своеобразии формы рассказа; третье – *смешного* – если учесть его специфический для Достоевского смысл, не лишено близкого к ним оттенка, так как отсылает нас к категориям странного и даже исключительного. В целом же смысл заглавия намекает, конечно, на содержание, тему рассказа, на один из его основных моментов. В отличие от характера заглавия, акцентирующего фантастический план, рамка произведения и в значительной мере основной уровень текста складываются из образов реального мира и лежат в предметно-конкретной сфере, что подчёркнуто прозаической интонацией начала.

Нетрудно представить графическое изображение, схему художественного пространства повести. Оно разделяется на три части: 1-я небольшая верхняя часть – начало – построена на основе реально-психологического пласта; 2-я, большая часть, занята собственно мифом, фантастическим; 3-я небольшая заключительная часть – возврат к пласту реально-психологическому. На стыке двух разнородных пластов и даже в середине пласта мифологического появляются связующие метапоэтические мотивы. На уровне целого произведения оба пласта сплавлены центральными литературными мотивами.

Герой – петербуржец, и значит, представитель европейской цивилизации, интеллигент, отчуждённый от людей, измученный собственной опустошённостью – решает покончить с собой. Но хладнокровно разработанный план рушится из-за случайной встречи на улице. Эта встреча с несчастной девочкой одновременно банальна и исключительна. Повествование, ведущееся от первого лица – от лица героя-идеолога – вписывается в городской пейзаж, в социальные условия, в русло реального места и времени. Образы реального мира, мелькающие в голове героя, пластичны и характерны, глубоко суггестивны. Смешной человек пытается решить такие вопросы, как бытие и небытие, равнодушие и любовь к людям, не только в сфере индивидуальной судьбы, но и в

разрезе мировой истории, судеб человечества, то есть в философском плане. Для этого автор прибегает к мифу о золотом веке, возникающему здесь в виде сна героя. Структура рассказа определяется сложной системой мотивов.

В центре повести стоит литературный мотив *золотого века*; его проектирование в будущее имеет ту же цель, что и у представителей утопического социализма, утверждая, через существование рая в прошлом, его возможность в будущем.

Видение романиста, очертания предполагаемого идеального общества приобретают здесь большую ясность, особенно по сравнению с «Записками из подполья», где рационалистические взгляды просветителей, их утопическая мечта о построении общества на основе «арифметики» подаётся в полемическом изложении антигероя. («Записки из подполья» нередко трактовались критикой превратно из-за непонимания ею использованных автором форм повествования и смешения автора с героем).

Следующей ступенью становления мотива в творчестве Достоевского является, в «Бесах», сон Ставрогина, фигура которого контрастно освещается в момент падения – совершения ужасного преступления – проекцией мифа о золотом веке. В «Подростке» мифу приписывается иное значение: рай без христианской веры возможен на земле, он существовал где-то – тоже на греческом острове – так, как его изобразил Клод Лоррен на своём полотне «Морской пейзаж с Ацисом и Галатеей», но не мог длиться вечно – именно из-за отсутствия веры. В очерке «Золотой век в кармане» мотив «живой жизни» выражает мысль о способности человека вести себя просто и естественно и верить, что золотой век возможен в действительности – а не только на «фарфоровых чашках». Отсюда уже всего один шаг до полного и яркого воплощения оригинальной ипостаси этого мифа в повести «Сон смешного человека».

Центральный литературный мотив выявляется здесь в событиях-переживаниях, в действии рассказа и определяет его конструкцию, вливаясь в поток сознания идеологического героя с помощью механизма, состоящего из двух противоположных друг другу групп второстепенных мотивов. Поражает в «Сне смешного человека» относительная самостоятельность этих мотивов

второго плана, обладающих собственной семантической структурой, нередко поливалентной, обусловленной их психологическим, философским, символическим характером.

В первую группу включаются мотивы, основанные на трансформации и взаимопроникновении, тесно связанные между собой причинно-следственными отношениями: равнодушие, преступление, самоубийство, *всё равно*, как вариант *всё позволено*, отчуждение – с помощью которых Достоевский одним из первых указал на кризис классического гуманизма и всей европейской культуры, не изживший себя и до наших дней. Мотивы противоположного характера: доверие и активная любовь к людям, вера в возможность счастья на земле – бросают новый свет на те стороны индивидуальности писателя, которые часто оставались до сих пор в тени. Устами смешного человека говорит сам автор: «я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину, – не то что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ её наполнил мою душу навеки» (XXV, 118).

Здесь раскрывается одна из основных идей рассказа. Мысль, высказанная с помощью эстетической и этической категории смешного, имеющей корни в романтической иронии и в философских произведениях Канта, приобретает у Достоевского иную функцию, поскольку она обращена не на внутреннее «я» творца и на существование как таковое, а на конкретные психологические состояния героя и конфликты, внутренние противоречия действительности. Но здесь же звучит и субъективный голос автора, с душой, раненной не всегда справедливыми обвинениями в том, что он предал прогрессивные идеалы своей молодости. Полифоническое звучание мотивов трудно охватить во всей их сложности; воспроизведённое приблизительно, оно сводится к следующему: идеал почти столь же далек, как Сириус, но нет, всё же нет, речь идёт о другой звезде, подобной Земле, скорее даже о самой Земле, потому что идеальный мир существует (существовал, может существовать) здесь, на одном из греческих островов... Признание: «как устроить рай, – я не знаю, потому что не умею передать словами» –

соседствует с положением: «А между тем это так просто: в один бы день, *в один бы час* – всё бы сразу устроилось! Главное – люби других как себя, вот что главное». Правда, между этими двумя признаниями героя включено ещё одно: «пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уж это-то я понимаю!)», но в заключительном аккорде побеждает этическая доминанта активной любви к людям и мысль о том, что жизнь, счастье – выше, чем сознание, чем любая теория.

Описанные выше мотивы могут быть названы семиотическими, так как доносят идею и чувства эстетически, то есть являются поливалентными инструментами коммуникации. Система таких мотивов с наибольшим успехом способствует раскрытию философских идей автора, его концепта о гармонически развитой человеческой личности, о самоутверждении и счастьи.

С точки зрения композиционной, на уровне целого можно выделить несколько этапов в процессе раскрытия этих мотивов: 1) до встречи с девочкой, 2) после встречи – состояние бодрствования и сон, 3) пробуждение – решительное изменение взгляда на жизнь. Проследим развитие этих мотивов в их противоборстве и взаимопроникновении, в их связях и накладывании друг на друга, в вариациях и рифмах ситуаций. Так, уже в начале рассказа появляется мотив равнодушия – *всё равно* – и мысль о *самоубийстве*, которые возникают затем снова, после встречи с девушкой (во второй главе), под знаком вопроса, чтобы в конце концов уступить место *сочувствию* и *любви*. В мифологической ипостаси самоубийство появляется в контексте таких мотивов, как изоляция, *частная собственность*, *преступление*. Но все линии, связующие родственные мотивы и разделяющие полярные значения, отсылают к более высокому уровню, на котором лежит дихотомия *истина – ложь*. С первых строк рассказа можно обнаружить бледный намёк на будущую истину и решающую роль лжи в совращении прекрасных людей золотого века, тогда как в финале появляется Истина с большой буквы, то есть поведение, соответствующее законам активной этики сочувствия-любви. В то же время *истина* с самого начала выступает в соседстве с *отчуждением* и в свете *смешного*, а контекст целого произведения содержит множество её других значений.

Благодаря многоплановости структуры произведения, каждый литературный мотив выступает здесь во множестве своих ипостасей. Различные временные и пространственные сегменты, через которые проходят мотивы, выявляют их всё новые и новые значения. Так с художественной точки зрения полностью оправданным оказывается обращение к сну-мифу, так выясняется его специфическая функция. Счастливый золотой век переносится Достоевским из прошлого в будущее, где предстаёт перед нами как реальная действительность или возможность. Герой, который является и повествователем, имеет право проповедовать истину по той причине, что он был свидетелем и может заявить, что он видел истину, не изобрёл её умом, а видел её в живом образе.

Столь широкая историко-философская перспектива с необходимостью включает мифологическую ипостась, которая (как в других случаях ипостась символическая) способствует её раскрытию.

Момент совращения прекрасных людей, исчезновения счастливого золотого века составляет кульминационный пункт рассказа. Лишь этот факт оказался в состоянии поколебать сознание героя, произвести перелом в его судьбе. Глубокие корни морального кризиса современного мира Достоевский обнаруживает в первоначальных фазах человеческой истории. Частная собственность, возникновение социальных классов и появление насилия порождают равнодушие и отчуждение. Но трезвый диагноз состояния современного общества побуждает писателя искать путь для выхода из этого кризиса. И этот путь лежит, по его мнению, в восстановлении равновесия, в отыскании точек соприкосновения между личностью и человеческим коллективом. В своих записных книжках и в фрагменте «Социализм и христианство» Достоевский отмечает три этапа социально-исторического развития человечества: вначале человек жил в первобытных патриархальных общинах, «затем наступает время переходное, т.е. дальнейшее развитие, т.е. цивилизация. (Цивилизация есть время переходное). В этом дальнейшем развитии наступает феномен, новый факт, которого никому не миновать, это развитие личного сознания и отрицание непосредственных идей и законов (авторитетных, патриархальных, законов масс). Человек, как личность, всегда в

состоянии этого своего общегенетического роста становился во враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс и *всех*. Терял поэтому *всегда* веру и в Бога. (Тем кончались всякие цивилизации. В Европе, например, где развитие цивилизации дошло до крайних пределов, т.е. до крайних пределов развития лица, – вера в Бога в личностях пала.) Это состояние, т.е. распадение масс на личности, иначе цивилизация, есть состояние болезненное. Потеря живой идеи о Боге тому свидетельствует. Второе свидетельство, что это есть болезнь, есть то, что человек в этом состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни, не знает непосредственных ощущений и всё сознаёт» (XX, 192).

Изложенный здесь концепт отличается от идей, вытекающих из «Сна смешного человека» тем, что здесь ясно звучит его религиозная основа, в то время как в рассказе христианские идеи не формулируются и звучат лишь косвенно, в сфере общечеловеческих ценностей. Такие измерения художественного образа, как фантастическое и миф, позволяют писателю открыть широкую историческую перспективу, подвергнуть художественному анализу глубокие проблемы человеческого существования. Используя скрытые возможности своей художественной манеры, выходя за пределы образности, основанной исключительно на «реальных» формах жизни, Достоевский с помощью сна прослеживает в глубинах сознания трагические последствия равнодушия к жизни, возникшего в определённый момент развития общества. Поэтому так потрясает нарисованная им пророческая картина прошлого-будущего современного цивилизованного общества. Жестокость рождается ложью: «О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упрёки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. [...] Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за моё и твоё». Потом «стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны

поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят, наконец, человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, “премудрые” старались поскорее истребить всех “непремудрых” и не понимающих идею, чтоб они не мешали торжеству её» (XXV, 116-117). Разве не излишни здесь любые комментарии? Не ясно ли само собой, что возможности современного мифологического мировосприятия неограничены, что его насыщенность мыслью неисчерпаема, а суггестивность и поливалентность значений неистощима?

Вторую группу мотивов составляют структурные единства с чисто конструктивными функциями, позволяющие осознать семантическую структуру целого. Некоторые представители структурализма считают любой мотив лишь носителем конструктивной функции, не обращая внимания на его роль в выявлении идейно-аффективного содержания литературного произведения, его художественной ценности. Конечно, и охарактеризованные выше мотивы – вне всякого сомнения, носители смысла – имеют также формообразующую функцию, составляют живую материю сюжета, потока сознания героя, а их система является ничем иным, как самой структурой произведения. Но ценность целого не сводится к абстрактному совершенству конструкции (гармония, контраст, равновесие, динамизм, разнообразие), а включает и ярко выраженное – с помощью именно этих мотивов – специфическое художественное содержание.

Всё же, как уже было сказано, кроме мотивов, входящих в первую категорию, в повести Достоевского можно выделить и фрагменты текста, призванные служить исключительно построению структуры, выяснению её очертаний, осознанию читателем новизны его художественной формы. Автор словно бы освещает с помощью мощных рефлекторов построенное им самим здание. В конце второй главы герой, берущий на себя роль повествователя, припоминает обстоятельства, в которых он заснул, следующим образом подчеркивая некоторые детали тонкого механизма психологической жизни: «Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающей ясностью, с ювелирски-мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как

бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне!» (XXV, 108).

Поэтика фантастического обогащается здесь новыми чертами особенно благодаря подчёркиванию роли сердца, к чему мы вернёмся после того как напомним один из основных принципов эстетики Достоевского, выраженный также устами смешного человека: «Они дразнят меня теперь, что ведь это был только сон. Но неужели не всё равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину? Ведь если раз узнал истину и увидел её, то ведь знаешь, что она истина и другой нет и не может быть, спите вы или живёте» (XXV, 109). Писатель с горькой иронией отвечает здесь своим критикам, не заметившим нового качества фантастического в его искусстве и вместе с тем более чётко фиксирует контуры новой формы, показывает её функции, подчёркивает условный характер мифологического, вписанного в сон. Процитированный выше отрезок текста не случайно расположен в конце второй главы, там, где встречаются две сферы: состояние бодрствования и состояние сна, и через него – миф. Эти элементы метапоэтики сплавляют разные пласты эпической структуры и в то же время выводят героя в царство воображаемого.

В поворотном пункте четвёртой главы автор, как бы предсказывая совращение невинных людей, вводит ещё один формообразующий мотив: «Пусть сон мой породило сердце моё, но разве одно сердце моё в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я её один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце моё и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды?» (XXV, 115).

Разрушение золотого века было, разумеется, результатом не произвольных действий отдельной личности, а объективного процесса. В конце последней мифологической главы – там, где сфера мифа вновь встречается со сферой действительности, писатель, в соответствии с законами кольцевой композиции, вновь сплавляет оба плана: в мире современных людей герой пытается напомнить им о золотом веке, но они угрожают ему сумасшедшим домом;

тогда говорит герой: «я почувствовал, что умру, и тут... ну вот тут я и проснулся».

Но здесь речь идёт уже не только об осуществлении связи между отдельными планами или инструментами конструкции. Достоевский строит прекрасно: художественная структура его произведения зеркально отражает не только сущность изображаемого мира, но частично – и самое его структуру. Таким образом писатель как бы отвечает на вопрос: почему необходимо прибегать к измерению мифа. Потому, показывает он, что люди золотого века не знали абстрактных понятий и не имели нужды в них, «но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать её, чтобы научить других жить; они же и без науки знали, как им жить» (XXV, 113). Здесь говорится об относительном превосходстве мифологического интуитивного познания – аналоге той формы познания мира, которая была исключительной в период первобытного общества, но находит себе место в письменной культуре и в искусстве человечества вплоть до наших дней. Преимущества мифологической формы познания Достоевский противопоставляет чрезмерному рационализму, тем самым выражая одну из важных идей не только этой повести, но и всей своей философии. С соответствующими акцентами контрапункта, эта идея сформулирована в «Сне смешного человека» следующим образом: «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья – выше счастья». Об этом писатель говорит в заключительной части повести, где, вновь соединяя все мотивы, снова ощущает необходимость защитить фантастико-мифологическую ипостась своего искусства, ипостась, которую он считает адекватной художественной формой изображаемого им мира и собственного художественного видения.

Для искусства русского романиста характерно – при ярких контрастах и бурных конфликтах – равновесие различных структурных планов. Не отдавая исключительного предпочтения ни одному из них, он не абсолютизирует в разбираемом произведении и план философский. Если попытаться всё же установить какую-либо иерархию, первое место следует отдать реально-психологическому плану, подчёркиваемому фантастико-мифологической ипостасью образов и составляющему основу философского уровня. Так,

в «Сне смешного человека» доминирующими оказываются не мотивы *правды / лжи* или *интуитивного / рационального познания*, представляющие самый высокий уровень абстрактизации, а мотивы психологической сферы как, например, *отчуждение*, *всё равно*, лежащие в основе литературного мотива *сочувствия к людям этики активной любви*.

В целях анализа мы выдвинули понятие литературного мотива как структурного художественного единства, несущего эстетическое значение, то есть категории, в равной мере включающей уровень обозначаемого и обозначающего, содержания и формы. Проведённый анализ позволяет нам говорить о доминантном характере литературных мотивов в художественной структуре произведения Достоевского, где они раскрываются во всех существующих планах, в том числе и в мифологическом. Раскрытие, в свете этого концепта, системы мотивов и поливалентной структуры произведения позволяет сформулировать несколько существенных положений, связанных с интерпретацией повести «Сон смешного человека». Центральный литературный мотив *золотого века* раскрывает веру Достоевского в человека и возможность счастья на земле, веру, диктуемую активной этикой любви к людям, способной преодолеть равнодушие, отчуждение, культ небытия и отчаяния, жестокость и ложь, порождённые антагонистическими отношениями. В этом свете несостоятельными и внешними по отношению к повести оказываются трактовка её Бердяевым, как глобальной антиутопии, и интерпретация Шестова, по мнению которого в центре её стоит тема грехопадения. На самом деле основные мотивы повести «Сон смешного человека» носят не метафизически-мистический, а общечеловеческий характер. Сердцевину динамической системы мотивов составляет социально-исторический план, подчёркивающий, что отчуждение порождено «цивилизацией», ложью и эгоистическим пониманием частной собственности, насилием и господством. Грехопадение здесь лишь выявляет основной мотив золотого века – прошлого-настоящего-будущего человеческого общества.

К нашему подходу близка трактовка Жака Катто, подчёркивающая – правда, несколько категорично – решающую роль древне-античного мифа. Французский исследователь склонен даже

полностью отрицать присутствие в повести христианского элемента, заявляя: «Золотой век – это не христианское видение. Это языческая мечта о счастьи и человеческой любви без Бога, это ворота вечности, которые распахивает художник для своих героев» [8]. Всё это с несомненностью подтверждает реалистический характер произведения, но указывает и на своеобразие реализма Достоевского, в котором столь значительную роль играет миф, столь важными компонентами становится воображаемое и фантастическое.

Последний крупный роман Достоевского, «Братья Карамазовы», подхватывает мотивы рассмотренной здесь повести, развивает и дополняет их. Это мотивы отчуждения (любви к людям, свободы) низкопоклонства, щедрости (насилия) или центральный для романа мотив *действительность-царство дьявола / действительность-рай на земле* с его кульминацией – мотивом *живой жизни*. Но всё это уже тема для другого исследования.

2

> Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие... жизнь хороша, и надо так сделать, чтобы это мог подтвердить на земле всякий.
>
> *Достоевский, «Записная тетрадь» 1876-1877*

Наглядный и убедительный пример того, как на материале старых, существующих уже целые тысячелетия мифов создаются многоплановые [9] литературные мотивы и, по сути, новые мифы, даёт нам роман Достоевского «Братья Карамазовы», и прежде всего – поэма о Великом инквизиторе, то есть книга пятая – *Pro и Contra*, и шестая – *Русский инок*. Чтобы определить место мифологического пласта в структуре текста и в эпической ткани произведения, а также вскрыть его специфические функции, начнём с опознавания и описания тем, локальных (предметных, психологических, стилистических) мотивов, тропов, символов и вообще семантически маркированных слов в их реальной последовательности и соотношении. Для того, чтобы выделить различные ипостаси литературного мотива в переплетающихся планах романа, мы будем использовать различные виды шрифта.

Таким образом мы выделим в основном, реально-психологическом пласте измерения пластов *философского, книжно-интеллектуального* и мифологического, а также элементы пласта тенденциозно-дидактического.

I. Сговор

Сцена, характерная для психологического реализма, с участием госпожи Хохлаковой – тщеславной женщины и заботливой матери, которая, однако, не может понять смысла проблем, волнующих её дочь и Алёшу. Морально-философские мотивы здесь налицо: это *человеческое достоинство и его антиподы – гордыня и унижение* (ср. предметный мотив двухсот рублей, предложенных капитану Снегиреву в качестве вознаграждения за страдания, вынесенные его сыном Илюшечкой, – денег, от которых он отказывается). Литературный *мотив человеческого достоинства* становится на время доминирующим, герои проходят через внутренне контрастные, крайние душевные состояния. Алёша говорит о Снегиреве: «Его, главное, надо теперь убедить в том, что он со всеми нами на равной ноге, несмотря на то, что он у нас деньги берёт... и не только на равной, но даже на высшей ноге» (XIV, 197). Становится явной щедрая душа и любовь к Лизе Алёши, который «в Бога-то вот, может, и не верует». Отмечается «примитивная, грубая, чуждая всякому духовному устремлению» *сила карамазовская*. Странное, смешное сравнение с грибоедовским «Горем от ума», сделанное госпожой Хохлаковой: «*Теперь я как Фамусов в последней сцене, вы Чацкий, она Софья, и представьте, я нарочно убежала сюда на лестницу, чтобы вас встретить, а ведь и там всё роковое произошло на лестнице*» (XIV, 202). Сравнение работает по контрасту: Хохлакова не может понять истинный ход событий и вдобавок демонстрирует своё бескультурье, ибо *там*, у Грибоедова, речь идёт о завершениии совсем иных отношений, а *здесь* – о начале отношений, пока что отнюдь не фатальных; вдобавок, здесь ничего не происходит на лестнице.

II. Смердяков и гитара

Алёша предчувствует катастрофу; он глубоко обеспокоен судьбой своих братьев, прежде всего Дмитрия. По этой причине он

опаздывает на встречу со своим умирающим учителем. Сцена Смердякова и Марьи Кондратьевны, которой Алёша становится невольным и невидимым свидетелем. Отвратительный *«западнический» менталитет* Смердякова, его *ненависть к русскому народу*, крестьянам, которых, по его словам, следует «пороть», его пение «сладенько, фистулой»: «лакейский тенор и выверт песни лакейский». Презрение ко всем остальным и уважение к Ивану, который называет его «вонючим лакеем», предчувствуя, что Смердяков что-то замышляет. *«Разве я сторож брату своему?»* Дмитрий и Фёдор Павлович предупреждают Смердякова о Грушеньке.

III. Братья знакомятся

В споре между Иваном и Алёшей в трактире «Метрополь» ставятся – прежде всего на философском уровне структуры – центральные проблемы романа. Первый аккорд задан мотивом *молодых русских мальчиков, ищущих решения основных вопросов бытия* – мотивом, тут же переходящим в прелюдию к исповеди Ивана: «Не веруй я в жизнь...». Постановка онтологических проблем свидетельствует о намечающихся суровых переменах в судьбе героя, о неизбежности его *разочарования в жизни из-за «порядка вещей»*, всеобщего *«бесовского хаоса»* и его собственного душевного *одиночества*. И всё же – *желание жить*, даже невзирая на всю его нелогичность, мотив *распускающихся «клейких листочков»* [10], *голубого неба* и своеобразной *любви к европейской цивилизации*, к этому кладбищу с дорогими камнями, символизирующему страстную веру «дорогих покойников» в свою истину, в свой подвиг. Убеждение Алёши, что «все должны прежде всего на свете *жизнь полюбить*». Алёша: у Ивана «половина дела уже сделана»: он любит жизнь, но ему «нехватает второй половины», ради чего он должен «воскресить своих мертвецов, которые, может быть, никогда и не умирали». Речь в диспуте братьев идёт прежде всего не о частной судьбе, а о *«вековечных вопросах», о проблемах человеческого существования, о бытии Божием*, а для тех, кто не верит в Бога, – о *социализме и анархизме, о преобразовании мира «по новому штату». Афоризм Вольтера о бытии Божием, ограниченный эвклидовский характер*

человеческого ума, отвергаемый неэвклидовой геометрией. Главный тезис Ивана: *«Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю». Возможность исцеления.*

IV. Бунт

Иван: *Можно любить ближнего вообще, на расстоянии, но никогда – того, кто рядом с тобой. Разве возможна христианская любовь на этой земле, где господствуют несправедливость и страдание? «Большие» вкусили запретного плода – «яблоко съели», но почему страдают дети?* Описание реальных событий, жестокостей: турецкий солдат убивает ребёнка на руках у матери; в Женеве порочное воспитание или нищета толкают молодого человека на преступление, его судят и, вопреки его раскаянию, не прощают; *Некрасов* описывает, как избивают лошадёнку, бьют её «по её кротким глазам»; по приказанию помещика собаки разрывают ребёнка на глазах у его матери. На вопрос, какое наказание следует помещику, Алёша отвечает: «Расстрелять!»; «нелепое» устройство мира: людям был дан рай, но они возмечтали о свободе, украли огонь с небес, зная, что он принесёт им несчастье – значит, они не стоят сочувствия. Несмотря на всё это, справедливость должна осуществиться здесь, на земле, а не на том свете. Нет – гармонии, построенной на слезинке ребенка, на страдании. Мать не может примириться с мучителем своего дитяти. Не каждый может быть прощён. Цена гармонии слишком велика, говорит Иван, и хочет вернуть «билет на вход». Алёша: *но ведь это бунт; существует любовь, которая может «простить всех и вся, и за всё, всё»*. Поэма Ивана ставит это утверждение под знак вопроса.

V. Великий инквизитор

Литературное предисловие, построенное на целом *арсенале источников – исторических, религиозных, мифологических, беллетристических (Библия, апокрифы, средневековые мистерии, легенда о сошествии Спасителя на землю; Данте, Гюго, Тютчев)*. Легенда о «Хождении Богородицы по мукам» и о временном помиловании всех грешников «без разбора».

Действие поэмы о великом инквизиторе происходит в Севилье, в XVI веке, то есть в период самой жестокой инквизиции. На том месте, где накануне кардинал, Великий инквизитор, сжёг на костре почти сотню «еретиков», является ОН, Спаситель. Исцеляет слепого, воскрешает словами «Талифа куми» семилетнюю девочку и даёт узнать себя народу. Инквизитор арестует его и, заявляя, что Он не имел права являться на землю, ибо не может добавить ни слова к тому, что сказал в Евагелии пятнадцать веков тому назад, угрожает Ему сожжением на костре, на следующий же день. *Слабые люди продали свою свободу главам католической церкви, но стали счастливыми,* утверждает Великий Инквизитор. Диалог состоится благодаря тому, что оппонент Христа говорит на основе евангельских текстов и – от имени своего собеседника.

Библейская легенда об искушении Христа дьяволом в пустыне является отправной точкой для конфронтации различных, сталкивающихся концепций. В свете истории, утверждает Инквизитор, *прав дьявол, этот «страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия», который, по сути, не искушал Христа своими тремя вопросами, а дал синтез «неразрешимых исторических противоречий человеческой природы на всей земле». Неправильно было отказывать людям в хлебе, отвергать превращение камней в хлебы: существа «малосильные, порочные, ничтожные и бунтовщики», люди могут быть куплены хлебом насущным, считает кардинал, и утверждает: во имя их сытости восстанет против тебя «дух земли» и на основе принципа: «преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные», «разрушится храм твой» и «на месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня». Но эта башня не достроится, как и прежняя, и тогда толпа обратится к церкви, «и мы накормим её во имя твоё, и солжём, что во имя твоё»; будет использована власть хлеба земного и будут созданы идолы, ибо тайна человека заключается в его вековечных поисках: «пред кем поклониться», в стремлении основывать всё на подчинении. В основе мира будут положены чудо, тайна и авторитет (меч*

Кесаря). Ты, продолжает Инквизитор, обращался к избранным, к десяткам тысяч, и хотел дать им свободу выбора между добром и злом, хотел их любви и свободно избранного подчинения, но сотни миллионов неспособны к свободе, и они положили свою свободу к нашим ногам, потому что они слабы и развратны, «человек слабее и ниже создан, чем ты о нём думал». То, что ты сделал, забыто, и люди рады, что их снова будут гнать, как стадо. Любовь, основанная на слабости, может оправдать и грех. «Мы не с тобой, а с Ним», мы взяли от Него меч Кесаря, объявив себя хозяевами земли, и хотим дать счастье людям, неспособным к свободе, испытывающим потребность в преклонении. Но после целых веков господства свободомыслия, науки и антропофагии, Вавилонская башня ещё не будет окончена, и «зверь приползёт к нашим ногам и будет их лизать», и мы установим царство мира и счастья человеческого, и только мы, знающие тайну, только мы будем несчастны. Будут сотни миллионов счастливых детей и сто страдальцев, которые возьмут на себя проклятую ношу «знания добра и зла». Когда ты встанешь во главе избранных и сильных мира сего, «когда великая блудница сядет на спину зверя, держа в руках своих чашу тайны», предсказывает кардинал, предлагая свой собственный вариант Апокалипсиса, те, которые «исправили подвиг твой», явятся в виде спасителей толпы и будут судимы Тобой. Нет, не бывать этому. «Завтра сожгу тебя. Dixi».

Поэму Ивана несколько раз прерывает Алёша, так что в мифическом пласте устанавливаются опорные пункты реально-психологического пласта текста. Прямое назначение этих переплетающихся планов прежде всего конструктивное, с их помощью не только страший брат разъясняет младшему условность художественно-фантастической формы своей поэмы и проясняет смысл её символов, но и сам писатель как бы демонстрирует силу своего искусства. В то же время вставляемые Алёшей фразы подготавливают его позицию в споре, который последует. Оттягивая финал поэмы Ивана, Алёша констатирует сначала, что *она составлена во славу Христа, а изложенное в ней представление о свободе избранных характерно только для католической церкви, и то не для всей. Секрет Инквизитора – это атеизм, но и его*

любовь к людям, которых он считает «недоделанными пробными существами, созданными в насмешку», почему и находит нужным *идти по стопам «умного духа, страшного духа смерти и разрушения», прибегнуть к мудрости во имя его. Существуют общества типа масонских или иезуитских, существует и несколько главарей типа Инквизитора, которые смогут осуществить трагедию, описанную в легенде. Кто же Иван – масон или атеист?* В финале поэмы Пленник «вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста». Вот и весь его ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идёт к двери, отворяет её и говорит: «Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!» И выпускает его на «тёмные стогны града». Пленник уходит. Поцелуй – как бальзам на сердце старика, и всё же он непоколебим в своём решении. Иван глубоко разочарован, он решает прожить до тридцати лет и потом «разбить кубок о землю». Но что будет с *зелёными клейкими листочками, с дорогими могилами, с голубым небом?* Как будет жить Иван? Проклятой *карамазовской силой*, в разврате, по принципу: «всё позволено»? Алёша тихо целует Ивана в губы, и тот твёрдо говорит: «Вот что, Алёша, если в самом деле хватит меня на *клейкие листочки*, то любить их буду, лишь тебя вспоминая». Братья расстаются: Алёша возвращается в скит, к своему *Pater Seraphicus*, а Иван в отеческий дом.

VI. Пока кое в чём не ясная

Душа Ивана охвачена «тоской нестерпимой». Встреча со Смердяковым. Конфиденциальный тон лакея напоминает Ивану их прежние разговоры на *философские темы*, вызывая чувство тошноты. Смердяков советует Ивану уехать, жалуясь на соперничество между Фёдором Павловичем и Дмитрием, который пригрозил убить его, если он упустит Грушеньку. Приступ эпилепсии, запланированный ввиду возможного алиби. Может ли Дмитрий убить отца? Три тысячи рублей и Грушенька. *Вероятность преступления не удерживает ни на что не решившегося Ивана*, и он уезжает.

VII. «С умным человеком и поговорить любопытно»

У Ивана почва уходит из-под ног; его поведение отвратительно: он трезво, с отвращением следит за своим отцом, уезжает, не выполняет на пути данного отцу обещания, но посылает ему телеграмму; в поезде, по дороге в Москву, принимает решение начать новую жизнь, но вскоре признается себе: «Я подлец!» У Смердякова приступ; Фёдор Павлович радостно ждёт Грушеньку.

Книга шестая, «Русский инок»

В главе первой: «Старец Зосима и его гости», и второй: «Из жития в Бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы, составленного с собственных слов его Алексеем Фёдоровичем Карамазовым» разворачиваются явившиеся ранее мотивы: *страдание, которое ожидает Дмитрия*, освящённое повторённым здесь эпиграфом к роману: *«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода»* (*Евангелие от Иоанна, гл. XII, ст. 24*); по контрасту с идеями Ивана утверждается *приятие жизни* без всякого условия; сходство между Алёшей и старшим братом старца, умершим в цвете лет, который утверждал, что *«жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всём свете рай»*.

Мечта о золотом веке возникает как религиозная утопия, проповедуемая Зосимой с явными дидактическими нотами: *«каждый из нас виноват во всём и перед всеми; если все простят, наступит рай»*. Абстрактные моральные идеи: всепрощающая любовь, правда, приятие страдания. *История Иова и другие библейские легенды*. Вера и народ: только народу удастся вернуть к правой вере наших атеистов, оторвавшихся от земли своих предков. Эпизод с пощёчиной, нанесённой денщику, сознание своей вины в дуэли, после которой Зосима принимает и проповедует утопическую, христианскую мораль, славя Творца: небо ясно, воздух свеж, травка едва проклюнулась, птички поют... только мы, люди, безумны и не понимаем, что наша жизнь есть рай.

Подглавка-житие «Таинственный посетитель»: искупление преступления и возвращение к людям и к вере. Зосима: требование свободы в смысле удовлетворения потребностей наравне с сильными мира сего и богачами приводит к такому положению, в котором богатые оказываются одинокими и забывают о своей душе, а бедные охвачены завистью и убивают, потому что им было дано право, но не были указаны средства для удовлетворения своих потребностей. Выход, по Зосиме: справедливость, страдание, единение церкви с народом: «Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь». В молодости Зосима не только признал перед денщиком свою вину, но и отказался от своего имущества и привилегий. Ответственность не следует переносить на порочную среду, ибо тем утверждается сатанинская гордыня, человек сам должен нести ответственность и идти путем активной любви. Идеал заключается в любви к людям: отсутствие такой любви – и есть ад.

Этот обзор различного рода мотивов был сделан здесь с целью как можо более объективно обрисовать реальные контуры структуры; иначе говоря, был выстроен своего рода фундамент для интерпретации механизма значений, текстуальных и, в известной мере, внетекстуальных координат этих мотивов, которые, по крайней мере частично, требуют более развернутого комментария. Стремясь дать интерпретацию с возможно более высокой степенью достоверности, мы должны будем отказаться от предвзятых идей – например, от традиционных представлений о том, что в романе Достоевского решающую роль играют персонажи, считающиеся единственными носителями авторских идей (как, например, Алёша или даже Зосима) и отправляться от общего значения, вытекающего из системы и иерархии мотивов, из суммы знаков, которые их объясняют и уточняют их смысл.

На наших глазах из огромного количества мифов, символов и мотивов самых различных уровней и типов – локальных, предметных или стилистических – формируются всеобъемлющие *литературные мотивы*, касающиеся устройства современного общества, миропорядка и будущего человечества, то есть самого человеческого бытия, смысла и назначения жизни в сочетании с

верой в человека, религии и атеизма. Система мотивов подтверждает у Достоевского сложность эпических структур, существование множества наложенных друг на друга пластов, многогранный / многозначный характер художественного образа. В основе структуры лежит план реально-психологический – вымышленный, но возможный мир героев с их трагическими судьбами, развертывающимися, в острых событиях и состояниях в эпическом повествовании. Но в Книге пятой романа на первый план выступают другие измерения художественного образа, литературные мотивы являются в новых ипостасях, философский план становится доминантным, проясняя затаённые намерения героев, раскрывая этические побуждения, определяющие их поступки.

Здесь мы вступаем в «святая святых» поэтики Достоевского. Говоря о диалектичности творческой манеры писателя, критика не случайно заимствует для этого заглавие книги пятой и характеризует с его помощью романиста, нередко именуя его поэтом, вводящим в круг обсуждения все аргументы *pro и contra*. В самом деле, раскрытие крайностей и противоречий всего сущего – наиболее яркая черта писателя, не только как идеолога и философа, но и как художника. В сцене спора между двумя братьями Карамазовыми искусство Достоевского не имеет себе равных; оно разворачивается пленарно в литературных мотивах самых различных планов.

Вначале философский план возникает в структуре художественного образа как непосредственный фактор действительной жизни; осознание его с помощью формулирования тех или иных теорий выявляет подтекст, каузальность поведения героев, их характеры. В «повседневной жизни» героев возникают экзистенциальные идеи, отливающиеся в этические понятия: человеческое достоинство – и низкопоклонство, гордыня – и унижение, а в споре между Иваном и Алёшей, в общей, ярко выраженной философской форме, – концепт «живой жизни» и идеала (клейкие листочки, голубое небо) – доказывается господство в мире страдания и жестокости, которые подразумевают наказание на основе (почти) естественного чувства правды и справедливости. Рассматриваются: вера, атеизм, социализм, анархизм, масонство. Этот философский пласт – важная составная

единого художественного целого – даёт писателю возможность раскрыть существеннейший сегмент сознания героев.

На другом уровне – на уровне мифа – философские мотивы не просто включены, но и приобретают большую независимость, экстериоризируются, получают совершенно особое место. Смыслы здесь очерчены не так ясно, но могут быть более глубокими и богатыми. На лексико-грамматическом уровне языка, повествования и диалога миф входит в реально-психологический уровень структуры в виде сравнения, эпитета, метафоры, то есть в качестве генератора ассоциаций, по аналогии или контрасту – как, например, в предисловии к «Великому инквизитору», в апокрифе о «Хождении Богородицы по мукам» или о явлении на землю Спасителя в виде нищего. Новые измерения мифа создаются частично из старого мифологического материала, чем объясняется, например, большое место, занимаемое в структуре евангельской легендой об искушении Христа в пустыне, с её тремя эпизодами: превращением камней в хлебы (материальный интерес), чудом и политической властью (авторитет).

В тексте романа Достоевского мы различаем и другой уровень, тесно связанный с философским или даже частично сливающийся с ним, который можно было бы назвать планом книжной культуры, так как он состоит из фрагментов литературных фактов, произведений, персонажей, книг, философских высказываний выдающихся личностей, которые выступают в виде сравнения, по близости или контрасту; все эти знаки отсылают нас к внетекстовым координатам. Этот план может быть включён как в пласт реально-психологический, так и в пласт мифа, и иллюстрирован эпизодом из комедии Грибоедова или афоризмом Вольтера, мотивом из некрасовской лирики или цитатой из Нового завета.

Соотношение различных пластов и планов, так же как и их функции, играют решающую роль в деле выявления глубинных структур и прояснения значений романа. Отмечая выше, что основным измерением художественного образа является реально-психологическое, мы имели в виду нечто само собой разумеющееся. Мы убедимся в этом, анализируя композицию, глобальную структуру текста и высший уровень эстетических значений.

Главы 1-4 Книги пятой, «Pro и Contra», подготавливают, с помощью тонкой градации, появление мифического измерения, которое становится необходимым в момент встречи-сближения братьев, их взглядов на мир и особенно – мрачного и неясного душевного состояния Ивана. Эпизоды, приводимые для доказательства абсурдного состояния мира – жестокости, ведущие к страданиям детей, – стоят на грани исключительного и фантастического (откуда – всего один шаг до мифа), хотя все они и произошли в действительности (что подтверждает, кстати, и сам писатель в своих письмах, в ссылках на газеты и документы). Одной из основных функций предисловия к Легенде о Великом инквизиторе является как раз постепенная подготовка введения мифа и включённых в него мотивов, причем главным из них здесь является книжно-интеллектуальный. Внутри поэмы Ивана, то есть внутри мифа, созданного Достоевским, опорные пункты уходят в реально-психологический пласт структуры, состоящий из высказываний Алёши, точнее, из его вопросов, на которые отвечает старший брат.

Спаянность различных планов и мотивов в конце легенды не менее солидна, чем в её начале: перед финалом довольно большой отрывок посвящён обмену мнениями братьев по поводу реальных явлений. Здесь, в кульминационном пункте философского диспута, мотивы мифического измерения встречаются с мотивами из сферы возможного, в результате чего обнаруживаются причинные связи, отражающие точку зрения самого писателя. Этическому нигилизму (мир насилия, мелкого материального интереса, лжи, принцип «всё позволено») противопоставлены высшие ценности жизни и идеала (снова клейкие листочки, голубое небо). С точки зрения иерархии ценостей, аксиологии, здесь наблюдается максимальная концентрация мотивов, тот кульминационный пункт, на который будет ориентировано их развёртывание на протяжении всего романа. По сути, по сравнению с ценностью жизни теоретические проблемы занимают подчинённое место, но и они могут стать первостепенными – например, в случае Ивана, судьба и даже жизнь которого во многом определяются разрешением вечных вопросов бытия. Не случайно важнейший философско-концептуальный узел романа помещён

на пресечении различных планов и все самые различные приёмы привлекаются именно тогда, когда их применение оказывается совершенно необходимым с художественной точки зрения.

Некоторые результаты сопоставления мотивов на различных уровнях и планах глубинных структур могут быть представлены воображаемой графической схемой, в которой в общий, основной реально-психологический пласт вписываются планы философский, мифологический, культурно-исторический и тенденциозно-дидактический. Эти планы везде переплетаются. Но в главе «Великий инквизитор» мифологический пласт становится основным, и в него вписываются все другие планы, так же как и неожиданно возникающие метапоэтичекие мотивы. Вся система мотивов, как она выкристаллизировалась до начала поэмы из реально-психологического плана, также возвращается, после её окончания, в этот пласт как основной.

Система мотивов даёт нам аргументы для установления приоритетов, иерархии идей. Анализируемый фрагмент имеет кольцевую композицию, подобную малому кругу, которому, в экономии целого, предшествуют и за которым следуют, частично накладываясь на него, более крупные круги; иными словами, легенда вписана в эпическую структуру романа. На пересечении кругов, в рамках общего пространства, то есть в начале и в конце фрагмента, расположены мотивы веры в человека, любви к жизни, стремления к идеалу, символически воплощённые в образы клейких листочков, голубого неба, чаши – локальных мотивов, восходящих к мифу. Заимствованный из стихотворения Пушкина «Уже дуют холодные ветры...» мотив клейких листочков приближает нас к «древу жизни» (ср. хотя бы с Гёте и Лермонтовым) или «леса», «небесной голубизны» у Эминеску. К тому же семейству восходящих к мифу символов относятся и «почки», возникающие в очень близком смысле и в поэзии Лучиана Благи. Символика голубого неба, а потом просто голубизны, связанной с бесконечностью, идеалом, мечтой, возникает в глубокой древности, но ближайшими предшественниками Достоевского в этом смысле являются романтики. Символический образ «чаша жизни» или «кубок» возникает в связи с мотивом смерти, включающей в текст мысль Ивана о самоубийстве. Его литературное

происхождение очень древнее, шкала значений – необъятная; его мифический характер задан чашей Сократа или «горькой чашей» Христа, о которой он говорил в Гефсиманском саду. По сути, мотив любви к жизни возникает тоже в реально-психологическом слое текста, где ему предшествует другой мотив – неверия в человека, рождённого хаосом и насилием, «нелепым» устройством мира и общества. Теоретические рассуждения о свободе человека, о вере и атеизме ведутся в основном в философском плане, но внедрение в него плана мифологического становится всё более явным и широким, так что в конце концов миф и символ вмещаются целиком в философский план, и оба эти плана входят в план реально-психологический.

В отличие от чисто метафизического смысла евангельской легенды об искушении Христа в пустыне, посвящённой теологической проблематике с явной тенденцией исключения из сферы человеческих интересов практических, политических аспектов, миф, созданный Достоевским, имеет иной подтекст. Этот новый миф включает философские и экзистенциальные аспекты в исторический и социальный контекст. Раскрытие ипостасей прошлого, настоящего и будущего человечества – вот в чём главная цель писателя. В первую очередь Достоевского волнует судьба человеческой личности, и в связи с ней – проникновение в тайны будущего, в судьбы всего человечества. Повествование концентрируется вокруг различных проектов изменения существующего порядка и особенно – вокруг перспектив, предлагаемых иезуитами и масонами – антидуховные концепты, захват политической власти. В представлении Ивана мир движется к апокалипсису, а инквизитор хочет «спасти» его, дав хлеб слабым, неспособным к свободе людям. Богатство и разнообразие используемых здесь старых мифов, мотивов и символов могут смутить нас, только если мы неверно поймём посылаемые ими сигналы. Достоевский не сливается ни с одним из своих персонажей, хотя имеет нечто существенно общее с многими из них. И ни один персонаж не идентифицируется с другим, хотя наложенные друг на друга сегменты могут быть весьма существенными. Идентичен ли Иван Инквизитору? Ответ может быть положительным лишь отчасти. Атеизм и неверие в человека

составляют, кажется, их общие черты. Лишенный веры в человека, Инквизитор опирается на материальный интерес и на ложь, прельщает людей идолами и предлагает им счастье стада. У Ивана тоже нет сейчас другой преспективы, но для него это трагедия: он готов принять Бога, но не принимает существующего миропорядка. Его протест, не имеющий положительной цели, перерастает в нигилизм. И всё же между двумя этими персонажами существует резкое различие. Инквизитор принимает поцелуй Христа как знак прощения [11], позволяющий ему свободно действовать в избранном направлении, сохраняя при этом свои «убеждения», скрытый атеизм и лицемерие и продолжая «страдать» из-за «жертвы», приносимой им человечеству, из-за своего абстрактного гуманизма. Иван относится по-иному к поцелую Алёши, ибо он не исключает возможности возврата к подлинным ценностям, воплощённым в распускающихся клейких листочках и в голубом небе. Для него идеал не утерян окончательно, и благодаря своему незаурядному уму, мужеству и искренности он ещё не потерял навсегда возможности выйти из хаоса. Его трагедия ещё не свершилась, хотя механизм уже пущен в действие, в то время как Иквизитор уже превратился в чудовище, внутренняя трагедия которого никого не убеждает: он больше не может рассчитывать на сочувствие.

Рассказывая об условиях, в которых братья расстаются после своего спора, Достоевский использует два внетекстовых знака: Иван называет старца Зосиму именем, заимствованным из «Фауста» Гёте – Pater Seraficus; с другой стороны, Алёше, который видит Ивана сзади, кажется, что у брата правое плечо ниже левого. Pater Seraficus, по контрасту, отсылает нас к сравнению Ивана с Фаустом или скорее с Мефистофелем, а неравномерные плечи Ивана прямо намекают на этот сатанинский персонаж или на дьявола. Так устанавливаются нити между Иваном Карамазовым и «иными мирами», и прежде всего миром вселенского зла. Но в перспективе романа, даже в сцене раздвоения, дьявол сравнивается с Мефистофелем, а Иван, логически, с Фаустом. Это последнее сравнение включает в себя первое и оказывается более важным: недаром героя Достоевского называли «русским Фаустом». Однако в разбираемом фрагменте превалируют пока решения, диктуемые дьявольскими силами.

Проблемы, поставленные с такой проницательностью, остаются у Достоевского открытыми. Проповедь Зосимы – это всего лишь утопия, пока что неприменимая даже внутри художественной действительности романа. Движимый своим теоретически-экзистенциальным интересом к учению Зосимы, Алёша направляется в скит, забывая о брате Дмитрии и отце и оставляя тем самым открытым путь к намечающимся ужасным событиям. Так хаотическое, «нелепое» состояние мира ставят героев на грань катастрофы – отцеубийства. Сила протеста против существующего миропорядка и утверждение активной этики растёт по мере разворачивания событий. Так как речь идёт о настоящем и будущем, о судьбах индивидуальных и общечеловеческих, иначе и быть не могло. Взгляд в будущее, предчувствуемое, но неизвестное, включает, наряду с трезвым анализом исторического настоящего, измерение мифа. Мы находимся, по сути, в переходном времени и пространстве, и ответы, или невозможность ответов, выяснятся лишь в ходе решающих событий, которые за этим последуют, в судьбах героев, которые будут, однако, действовать в соответствии с раскрытыми здесь принципами.

Здесь следует отметить один существенный для романа и безусловно неслучайный факт. В борьбе идей из пятой и шестой «книг» не участвует Дмитрий. Аффективная доминанта натуры этого самого страстного из всех Карамазовых составляет, по Достоевскому, основу человеческого характера вообще; в душе человека рождаются любовь и ненависть, все настоящие чувства, и мысль удваивает их силу, если они рвутся из сердца. Из всех протагонистов романа Достоевскому, врагу окаменелого рационализма, наиболее близок Дмитрий. Ни Алёша, ни учение Зосимы не дают авторитетного, в глазах писателя, ответа на поставленные вопросы. Возможный ответ содержится в судьбах героев, в системе образов. Старый мир разрушится изнутри – как семейство Карамазовых. Но из этого же мира выйдут люди, которые, по крайней мере в будущем, последуют этике всепрощения и всеобщей, вселенской любви – люди, подобные Зосиме или «таинственному посетителю» или – ещё более правдоподобно – люди типа Дмитрия, который очистится в потоке страстей и страдания, но не ради

самого страдания, а ради подлинной жизни, или, наконец, типа Алеши, который во второй, ненаписанной части романа должен был пройти путь революционера, завершающийся казнью [12]. Такая судьба героя не только возможна, но и правдоподобна: вспомним, как ратовал Алёша за наказание помещика, затравившего ребенка, он же готов спасти Дмитрия, несправедливо осуждённого властью и, значит, вступить в конфликт с ней.

Мифопоэтическая модель, созданная в «Братьях Карамазовых», составляет лишь часть общей модели жизни, намеченной здесь автором. Более того: в свою очередь, эта мифопоэтическая модель создана с помощью других старинных образцов мифа – например, евангельского или масонского. Обе эти модели участвуют в построении пространства и времени неповторимой общей модели мира, которую мы можем представить себе в виде большого шара, опирающегося на ряд малых шаров, частично погружённых в него.

Как правило, односторонние интерпретации произведений Достоевского отправлялись до сих пор от идентификации того или другого из малых шаров с большим, уже известных, включенных моделей – с новой моделью. Ещё и сегодня нередко ставится знак равенства между взглядами писателя и каноническими церковными представлениями (приём, который свёл бы «Человеческую комедию» Бальзака к политическим взглядам его автора): Иван идентифицируется с Инквизитором, а этот последний с дьяволом, или дьявол с Иваном (что неверно уже и потому, что индивидуальность этого героя-идеолога находится ещё в процессе становления), в то время как на самом деле речь идёт о другом, а именно – о самостоятельной, независимой роли различных чужих моделей, отвергнутых или включённых в собственную модель писателя. Напомним здесь, что в «Сне смешного человека» модель будущего общества создана без включения, на высшем уровне, библейских мифов и легенд: используются исключительно античные, языческие мифы и различные модели, свойственные прежде всего современным цивилизациям. Значит, в принципе, романист может отказаться от любой из моделей, так как в его распоряжении находится их множество. Утверждение мира требует слияния с – и отказа от – других миров, взаимопроникающих

или противостоящих друг другу. Поэтика Достоевского следует этим путём с величайшей свободой. Писатель почти одновременно прибегает как к библейскому, так и к античному мифу (барочная традиция), сплавляя, например, в словах Ивана историю Адама и Евы с легендой о похищении Прометеем небесного огня. Нередко и в «Великом Инквизиторе» романист настойчиво прибегает к мифологическим моделям; но и здесь они перемежаются моделями, созданными мировой литературой и философией. К различным представлениям о мире, упомянутым до сих пор, мы могли бы добавить и другие: Паскаль, утопический социализм – особенно Оуэн с его теорией среды и Фурье...

В художественном плане существенным моментом оказывается как раз соотношение собственной перспективы писателя с точками зрения носителей других систем и представлений о мире, ибо это соотношение играет роль генератора. Даже уже на основе проанализированной части романа мы можем различить сферы, накладывающиеся на привлечённые извне модели, и сферы, им противопоставленные. Наиболее настойчиво используемой здесь евангельской модели Достоевский даёт новую интерпретацию с целью утверждения духовности свободного человека и его личной ответственности, которую нельзя перекладывать на среду, как объясняет сам писатель в письме В. Алексееву от 1876 года, в период работы над планом романа: «Христос же знал, что хлебом одним не оживишь человека. Если притом не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, умрёт, с ума сойдёт, убьёт себя или пустится в языческие фантазии. А так как Христос в Себе и в Слове своем нёс идеал Красоты, то и решил: лучше вселить в душу идеал Красоты; имея его в душе, все станут один другому братьями и тогда, конечно, работая друг на друга, будут и богаты. Тогда как дай им хлеба, и они от скуки станут, пожалуй, врагами друг другу. Но если дать и Красоту и Хлеб вместе? Тогда будет отнят у человека труд, личность, самопожертвование своим добром ради ближнего – одним словом, отнята вся жизнь, идеал жизни. И потому лучше возвестить один свет духовный». Это промежуточное звено красоты, как и активной любви к людям, касается скорее высших общечеловеческих ценностей, чем религиозной веры как таковой. В христианстве утверждаются

этические ценности, но идеал не отождествляется с красотой. Конкретные черты этой интерпретативной модели выясняются, однако, ещё более чётко в «Русском иноке», где учение Зосимы говорит прежде всего о рае на земле (противопоставленном аду действительности, столь убедительно нарисованному в главе «Pro и Contra»), что идёт вразрез с канонами христианской церкви. Носитель идей официального православия К. Леонтьев охарактеризовал как еретические, близкие к социалистическим концепты Достоевского о всеобщей любви, о единении и слиянии с народом, назвал его гуманизм «утилитарным», «демократической манией»; по его мнению, «братство *по возможности* и гуманность действительно рекомендуются св. писанием Нового завета для *загробного спасения личной души*; но в св. писании *нигде не сказано, что люди дойдут посредством этой гуманности до мира и благоденствия. Христос нам этого не обещал… Это неправда…*» (XV, 496-497). Основная черта мироустройства – Хаос – находит свою фантастическую форму выражения в мифе Апокалипсиса. Поистине пророческие аспекты мировосприятия писателя особенно явны в современном контексте. Планета, напичканная атомным оружием и тоталитарными системами, насилие и эксплуатация вписываются целиком в созданную Достоевским модель мира, стоящего на пороге пропасти. Вместе с тем, в намерение писателя входило дать образ-предупреждение, так как Апокалипсис упомянут для описания Будущего общества I (Сценарий I), в основу которого масонские и другие организации кладут «материалистические» принципы, неверие в человека: «Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!» («опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих ТАЙНУ, что бунтуются вновь малосильные») – появляется сигнал из Апокалипсиса, чтобы предсказать наступление, через много веков, времени, когда будут господствовать люди, утверждающие, что греха и преступления нет, что нет добродетели без хлеба: на развалинах храма Христова воздвигнется новое здание, новая и страшная Вавилонская башня, которая рухнет после тысячи лет страданий. Тогда люди, обманутые и гонимые голодом, положат свою свободу к ногам инквизитора (без заглавной буквы – в знак огромного обобщения: руководитель католической церкви, иезуит)

и начнется Будущее (Сценарий II), ещё более ужасное, чем сам Апокалипсис, ибо оно воздвигнется на установлении окончательного порядка, основанного на отчуждении личности и свободы человека: «...стадо вновь соберётся и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы».

Значит, как в масштабах всей планеты, так и в судьбе Ивана решающим фактором оказывается вера или неверие в человека. Модель римско-католической церкви отвергается вместе с моделью масонской, и ссылка Ивана на две эти модели отнюдь не случайна. Более того, есть некоторые основания считать Ивана масоном. Во всяком случае, он оставляет без ответа восклицание Алёши: «Ты, может быть, сам масон!», а на прямой вопрос Дмитрия отвечает молчанием.

Глубокое исследование, проведённое В. Ветловской, отмечает, на основании завидно богатой документации, масонские идеи Ивана – начиная от цели тайного общества, по сути, сформулированной им в словах, почти буквально повторяющих поэму, об обмане невинных церковью и Вавилонской башней – символами будущего общества, и кончая краеугольным камнем и мотивом жертвы, необходимой для построения нового здания, или «гармонии», построенной на «слезинке ребенка» [13].

У русских масонов глава новообращённых именуется Великим инквизитором. И всё же вывод, согласно которому Инквизитор является масоном или Иван – Великим архитектором здания, в фундамент которого заложена слезинка невинного ребёнка, представляется неправомерным. Более убедительно допущение определенной функции этих идей в устах персонажа, который измышляет фантастические пути к будущему обществу, используя для этого и модель масонства. Социализм, в самом широком смысле этого понятия, появляется в главе «Pro и Contra» как проблема, связанная с атеизмом и в то же время поставленная под знак вопроса. Основные постулаты «научного социализма», кроме отвергаемой классовой борьбы, здесь даже не обсуждаются, тенденция писателя направлена против вульгарных, утопических теорий (и отчасти коммунаров), против формул, отрицающих духовность человека, его свободу и даже мораль. Несущие такой

смысл, эти формулы не соотносимы с моделью социализма вообще, несмотря на явную дискредитацию тех, кто «поднял знамя свободы», в рамках стуктурирования модели Будущего I, в котором католическая церковь, превращённая в государство, и атеистическое масонство играют первые роли. Они и упоминаются в заключительных фразах спора. Но в «Русском иноке» социализм (в различных своих ипостасях) отвергается писателем из-за апелляции к классовой борьбе, к насилию, употребляемому против угнетателей, и принимается лишь как конечная цель (братство, развитие человеческой индивидуальности, равенство – добровольный, движимый человеколюбием раздел имущества). Выбор конечной цели, объективно близкой к социализму, преобладает у Достоевского над критикой отдельных приёмов революционой борьбы. Даже тогда, когда он заносит в свою записную книжку следующие слова: «Нота Бене. Кстати, маленькую параллель: христианин, то есть полный, высший, идеальный говорит: “Я должен разделить с меньшим братом моё имущество и служить им всем”. А коммунар говорит: “Да, ты должен разделить со мною, меньшим и нищим, твоё имущество и должен мне служить”. Христианин будет прав, а коммунар будет неправ» (XXIX/1, 140). Значит, не принимается здесь лишь *способ* борьбы коммунара, но необходимость «раздела имущества», точнее, необходимость перераспределения благ и добровольного ограничения частной собственности не ставится под сомнение.

Утопия Достоевского, носящая религиозный оттенок, не подразумевает приятия существующего порядка и хаоса мира, а предлагает новый путь. Протесту и неверию человека из главы «Pro и contra», точнее, аду изоляции и неспособности к любви вообще, противопоставляется модель золотого века – земного рая. В главе «Русский инок» писатель вновь обращается к целому комплексу мотивов, затронутых в предыдущей части и в повести «Сон смешного человека». Идея Жака Катто о том, что золотой век ассоциируется в творчестве писателя с гуманистическими идеалами некоторых героев-атеистов, таких как Версилов, Ставрогин или Человек из подполья, уже не действительна для романа «Братья Карамазовы», в котором этот мотив развит глубоко верующим Зосимой через вариант «рай на земле», который выступает

эквивалентом «золотого века» и в «Сне смешного человека», где также связывается с верой в человека, в возможность счастья на земле. В «Книге шестой» мечта о золотом веке возникает в словах Маркела, страшего брата Зосимы, после того как он преодолевает, перед смертью, свои рационалистические и атеистические взгляды. Во имя веры и любви к человеку, во имя всепрощения – ибо таким образом и он будет прощён – Маркел утверждает реальность земного рая: «Жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всём свете рай». Активная любовь, органическая связь человека с природой, равенство (Маркел хочет быть «слугою слуг» своих) – вот черты, составляющие основные элементы «золотого века» – Будущего (Сценарий III), которому сочувствует и Достоевский.

Золотой век – рай на земле – появляется несколько раз в главе «Таинственный посетитель», как модель, противопоставленная современной цивилизации, модель, способствующая созданию художественного мира писателя. Жизнь будет раем, когда люди поймут, что должны простить всем: тогда «царство небесное установится на земле, будет уже не мечтой, а действительностью». В ответ на вопрос, когда исполнится эта мечта, звучат слова автора, переданные персонажу: не теперь, ибо сначала, в соответствии с определёными законами, «должен заключиться период человеческого *единения*». Люди сумеют поделиться с другими своим добром, лишь когда они станут как братья, а теперь идёт время самой жестокой изоляции и эгоизма, которые порабощают людей, особенно в наше время: «ибо все-то в наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отделяется, прячется и, что имеет, прячет и кончает тем, что сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает. Копит уединённо богатство и думает: сколь силён я теперь и сколь обеспечен, а и не знает безумный, что чем более копит, тем более погружается в самоубийственное бессилие».

В поисках выхода Зосима обращается к устройству человеческой натуры, аппелирует к нравственному самоусовершенствованию: «Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле другому братом, не

наступит братства». Ни наука, ни выгода в этом не помогут, а лишь героическое усилие самого человека, пусть даже его назовут за это юродивым. Он обязан сделать это, чтобы не погибла величественная идея. Если для сценария Будущего III писатель использует модель золотого века и рая на земле, в эпилоге романа, с той же целью, он прибегает к мотиву жертвы и краеугольного камня, глубоко впаянному и в евангельский мотив организации христианской церкви, и в модель масонов, источник которой лежит в легенде о создании иерусалимского храма. Хотя Илюшу, сына капитана Снегирёва, хоронят в церковном дворе, а не возле «нашего камня», как хотел он сам и как хотел бы его отец, ритуал погребения и прощальное слово Алёши связаны с этим камнем. Здесь вновь возникает мотив человеческого достоинства, появляющийся в начале главы «Pro и contra», то есть в фундамент будущего закладывается жертва ребенка, ибо в своей речи Алёша подчеркивает, что группа детей сложилась благодаря Илюше, который был добрым и смелым мальчиком и когда его отца унизили, нашёл в себе силы воспротивиться этому. Пример Илюши отзывается в желании Коли Красоткина «умереть за всё человечество». Просьба Илюшечки, чтобы дети рассыпали у него на могиле хлебные крошки, которые будут клевать воробышки, как и повторные обращения Снегирёва к своему мёртвому сыну со словами «милый батюшка», означающее, в духе христианской народной веры, переход умершего в число предков-покровителей, представляют собой новые мифологемы, использованные в рамках основных моделей воссоздания *живой жизни*, подлинно человеческих ценностей. С ритуалом погребения связан и мотив воскресения из мертвых.

В центре финала – речь Алёши Карамазова, произнесенная у Илюшина камня, названного старухой хозяйкой Снегирёвых «поганым». Эта речь – своеобразное завещание Достоевского. Её основной литературный мотив, в контексте указанных выше второстепенных мотивов, прочитывается как Будущее IV, то есть утопия, основанная исключительно на онтологических, этических и гносеологических ценностях – на добре, честности, правде, на любви, взаимной коммуникации и солидарности.

На пути объективной интерпретации легенды о Великом инквизиторе стоят целые потоки предрассудков, находящие себе источник в письмах Достоевского Любимову и Победоносцеву, – предрассудков, связанных с заявленными здесь намерениями романиста. Но прежде всего: текст романа может говорить против любых предрассудков и иметь (по сути, имеет) решающую роль. Во-вторых, оба адресата были для Достоевского официальными лицами, и следует принять в расчёт его тактические соображения, как, впрочем, и различия в их взглядах, которые нетрудно продемонстрировать. Наконец, в-третьих, публичные комментарии и некоторые письма не только допускают данное нами выше толкование, но и делают его более правдоподобным. Было бы наивно свести вопрос об отношении Достоевского к христианству к ссылкам на его слова о том, что он «всю свою жизнь был сыном веры и неверия», или к оценкам В. Соловьёва, который даже в последние годы жизни писателя обвинял его в неверии в загробную жизнь. Но и идея зависимости морали от веры не является для писателя аксиомой: он называет Ивана «страдающим атеистом» [14].

Молодой друг Достоевского, философ и поэт В. Соловьёв в какой-то мере послужил прототипом не только для Алёши, но и для Ивана. Не случаен тот факт, что реальный прототип Великого инквизитора (связь с литературными источниками относилась ещё к периоду юности – Шиллер, затем Гюго, А. Майков, историк В. Прескотт) был заимствован из современной истории: это Дон Карлос, кровавый претендент на трон Испании, о котором в «Дневнике писателя» за 1876 год говорится, что, хотя он и родственник графа Шамбора, и рыцарь, в нём всё же чувствуется что-то и от Великого инквизитора. Он пролил реки крови *ad majorem gloriam Dei* и во имя Богоматери, кротчайшей защитницы человеков. Комментарий к «Литературному утру», состоявшемуся 30 декабря 1879 года, определяет Великого инквизитора как атеиста, который искажает старую апостольскую веру, так как смешивает её «с целями мира сего, отчего “разом” утрачивается и весь смысл христианства» (XV, 198). То есть, буквально так, как мы расшифровали модель Будущего I, на основе текста.

Общие принципы моделирования художественного мира Достоевского вписываются, таким образом, в единую систему. Признавая существование многих миров, различных пространств, в соответствии с геометрией Бойля-Лобачевского, Достоевский потенцирует тем самым своё диалектическое мышление, глубже понимает конкретную истину действительности во всех её аспектах. Создатель современной теории относительности Альберт Эйнштейн признавался одному из своих сотрудников: «Достоевский дал мне больше, чем любой философ или учёный, больше, чем Гаусс!» Эти слова, как и другие утверждения великого учёного, отправляются, как нам кажется, от конкретной художественной реальности и, в частности, от создания художественного мира с помощью множества различных моделей, которые принадлежат писателю или заимствованы им из других миров и играют чисто конструктивную роль.

Любой архетип, символ или знак, переходя из одной сферы в другую, меняет свои качества, утверждает нечто новое или отвергает что-либо. Таким образом и ложь может стать на мгновение истиной (о чём говорит название одной из глав романа), так же как, в соответствии с неэвклидовой геометрией, две параллельные линии могут встретиться в бесконечности. Всё это не отвергает, а напротив, утверждает высказанные нами до сих пор соображения, имеющие целью выявление специфического мышления и своеобразного искусства, которые привели к созданию романа «Братья Карамазовы» – формулы, в соответствии с которой персонажи строятся на основе принципа «есть – нет», то есть идентификации / отрицания, через приёмы уступки в споре, дискредитации / аттестации слова персонажей или одновременности множественных точек зрения. Но всё это относится к моделированию с помощью различных типов моделей, как часть к целому [15]. Модель художественного мира писателя, как и вспомогательные модели включены в поток эпического повествования с помощью мифов-символов, локальных и стилистических мотивов, относящихся к различным уровням, в общих чертах уже отмеченных нами. Все эти уровни формируют многогранные образы, характерные для реализма

Достоевского. Сравнивая две «книги», «Pro и contra» и «Русский инок», мы легко понимаем, что первая из них отличается редкой во всей мировой литературе художественной силой, что трудно сказать о второй книге. Записки Алёши о Зосиме бледны и недостаточно выразительны. Разумеется, это зависит не от отсутствия того или иного уровня, но прежде всего от того, что философский план приобретает здесь абстрактное дидактическое звучание. В духе своего полифонизма, писатель настойчиво выделяет в этой части романа манеру и стиль героя, но язык монаха-повествователя (Алёша остается посредником) не насыщен богатством резко маркированных элементов авторского языка, как это случается обычно в прозе Достоевского. Тезизм религиозных идей приводит часто к сухости, однолинейности, без всякого контрапункта. Таковы высказывания с каноническим привкусом, приписываемые, с некоторыми отступлениями, персонажам. Радость жизни, выражаемая братом Зосимы на смертном одре, в религиозном экстазе, оказывается недостаточно убедительной и, в глазах определённой категории читателей, может скомпрометировать идею в чисто житейском смысле. Даже собственные мысли писателя, которые кажутся нам применимыми и сегодня, звучат дидактически, когда автор «вручает» их некоторым не очень подходящим для этого персонажам. То же происходит с такими основополагающими для всего мировосприятия писателя идеями, как взгляд на современную цивилизацию, отчуждение человека вследствие изоляции и равнодушия, критика механистической теории среды, которая переносит чувство вины на чужие плечи, поддерживая пассивность. Зосима, таким образом, просто-напросто не может быть единственным носителем подлинного авторского слова Достоевского: его религиозный догматизм кажется приукрашенным, бледным, снижает уровень, силу произведения крупного художника и смелого мыслителя. Кстати, мы знаем из его собственной переписки, что глава «Pro и contra» писалась в величайшем творческом порыве, в то время как «Русский инок» создавался в тягостном состоянии изнурительного труда.

Самые глубокие уровни структуры романа Достоевского раскрываются, таким образом, через литературный мотив; в нём

мы обнаруживаем тот элемент конструкции, который можно сравнить с опорными столбами здания. Центральное и определяющее место литературного мотива в поэтике писателя объясняется тем, что он проникает и соединяет все модели и все планы или уровни произведения.

Наш концепт литературного художественного мотива имеет в виду структурно-семантическое единство, на уровне общего эстетического видения целого произведения или его значительной части. Тем самым он отграничивается как от концепта темы, относящегося к сфере содержания, так и от мотивов другой категории и другого уровня, как, например, мотивы локальные, предметные, психологические и стилистические, которые охватывают структуру фрагмента и язык. Назначением разных планов оказывается создание различных ипостасей литературного мотива, который охватывает как основной реально-психологический пласт, так и пласт философский, мифический, интеллектуальный. Литературный мотив, который возникает на уровне непосредственного восприятия, строясь из локальных и стилистических мотивов, раскрывает свою сущность в сфере различных моделей, которые формируют философско-этические координаты произведения. Динамика мотивов-структур-моделей определяет у Достоевского своеобразие многомерного образа, создаёт органическую, живую структуру произведения. Предметные образы, стилистические и мифологические мотивы на уровне языка (уловимые и в разговорной речи) не могут быть отождествлены с литературным мотивом, как выражением общей концепции и глобальной структуры. Предметные мотивы могут быть взяты из арсенала стандартного языка, из мифов или литературы, со своим старым смыслом или со смыслом преобразованным, даже противоположным, они могут создаваться из слов-образов с помощью повторения и обновления их коннотаций. Сумма в двести рублей, предложенная Снегирёву, – это не носитель литературного мотива денег как эквивалента подлинных человеческих ценностей в капиталистическом мире (как мы это видим в различных вариантах у Шекспира или Бальзака), а знак литературного мотива человеческого достоинства, попранного гордыней и унижением. В отличие от романа «Идиот», где

сумма в сто тысяч рублей является непосредственным носителем мотива достоинства – опороченной красоты, в главе «Сговор» двести рублей постепенно складываются, через психологические мотивы гордыни-унижения, смелости-трусости, душевной доброты-ненависти, признательности-оскорбления, в диалоге Лизы и Алёши, в литературный мотив, предваряющий книгу «Pro и contra», обнаруживая связь человеческого достоинства с прямо противоположным ему отвращением к униженным и жертвой, принимаемой во имя их. В следующих главах история Адама и Евы («взрослые вкусили запретного плода») и Апокалипсис – строительные мотивы, к которым прибегает писатель, – оказываются краеугольным камнем нового литературного мотива, а Каин, убийца своего брата Авеля, как и легенда о блудом сыне, появляются лишь как порождающие ассоциации, как своего рода контрастные сравнения, которые могут вбирать в себя, лишь как часть, аналогию. Художественный механизм находится в непрестанном движении, ни на минуту не прекращая работу. Алёша выражает свою озабоченность из-за отца и Димитрия; Иван нервно отвечает, что он не сторож брату своему и с горькой, недоверчивой улыбкой изучает реакцию своего собеседника: «Как ответил Каин Богу, когда Он спросил его об убитом брате?» Отрицая эту гипотезу, Иван отвечает, что ему нечего делить с Димитрием, как бы желая сказать, что это не имеет никакого отношения к мотиву убийства Авеля. Но в перспективе выясняется, что сравнение не совсем бессмысленно: хотя угроза братоубийства исключена, Иван предчувствует нечто близкое к этому и, сознательно или бессознательно, спешит оправдаться.

Художественные приемы, сами по себе, не могут быть выстроены по шкале ценностей. Одноплановый художественный образ может оказаться у того или иного художника значительно более ценным, чем многоплановый. И всё же пример Достоевского показывает, что богатство формы, многоплановый характер образа представляет дополнительную ценность. Исключительное, фантастическое, символ и миф, вытекая из внутренней необходимости произведения, усиливают его выразительность. Философский уровень помогает расшифровать

смыслы основного, реально-психологического измерения, которое, в свою очередь, проектируется в сферу мифа, до бесконечности умножая источники выразительности.

Думается, не лишены значения наши выводы относительно центрального места, доминантной позиции литературного мотива в поэтике Достоевского. Так как миф и мотив это категории комплементарные, мотив также может служить мифу-символу, обе категории могут накладываться друг на друга. Но, прослеживая общее эстетическое видение / оценку писателя, мы можем сбиться с пути, если будем ориентироваться в трактовке того или иного произведения на первоначальные мифы, так, как они существовали до Достоевского. Критики метафизического склада, как, например, Розанов или Бердяев, интерпретировали творчество Достоевского одосторонне, нередко даже искаженно, отправляясь от моделей, интегрированных в текст Поэмы (неточно называмой Розановым Легендой) о Великом Инквизиторе без учета того, что (и как) они были переосмыслены автором. По мнению Розанова, Достоевский стоит на позициях теолога, защищает идею грехопадения, божественного воздаяния за добро и зло, тайну искупления [16]. Бердяев пишет, что «Достоевский стремился познать зло, и в этом смысле был гностиком. Зло всегда есть зло, сущность его и природа имеет характер внутренний, метафизический, а не внешний, социальный» [17]. Этому утверждению решительно противоречит глава «Бунт», где источник страдания детей обнаруживается во «внешнем», в конечном счёте, социальном насилии и угнетении. Бердяев справедливо и ярко говорит о том, что, по Достоевскому, человек должен идти путем свободы, но удаляется от позиции писателя, когда утверждает: «Но свобода переходит в рабство, свобода губит человека, когда человек в буйстве своей свободы не хочет знать ничего высшего, чем человек. Если нет ничего выше самого человека, то нет и человека» [18]. Это «высшее» для философа здесь – исключительно христианское, трансцендентальное. Для Достоевского – не только это. Но и христианское земное, и это прежде всего. Больше того, для писателя выше всего идеал (который был ведь и у Дидро, и у Вольтера), что доказывает и сценарий «Будущее IV» в финале романа,

созданный за пределами церковных концептов. Человека разлагает не свобода, а потеря идеала.

Рассматривая систему и иерархию мотивов (по сути, дающую нам ценностную шкалу), мы убедились, что высшей ценностью для Достоевского является жизнь человеческая. Эта система подтверждает, по сути, идею, возникающую в беседе братьев, когда Алёша говорит Ивану, что все должны любить жизнь превыше всего. «Превыше логики, как ты сам сказал, даже против логики...»

Вера в человека не вытекает для Достоевского лишь из религии, хотя он нередко показывает, что религия может питать эту веру. Величайшей виной Ивана, как это раскрывает структура романа, является его равнодушие, отсутствие живой любви к ближнему; отсюда и преступление, допущенное мысленно на основании убеждения в том, что «всё позволено», и угроза, что он может потерять веру в «клейкие зелёные листочки», в идеал. Не точен Бердяев и тогда, когда говорит, что в основе построения поэмы о Великом инквизиторе лежат три искушения Христа в пустыне, согласие с ними или отказ от них [19]. Ибо текст, как система литературных мотивов, показывает нам нечто иное. Он говорит о подчинённости трёх актов искушения онтологической, исторической проблематике. На самом деле три искушения лежат в основе монолога Инквизитора, а поэма строится на истории возвращения Христа на землю (в XVI веке, в Испании). Значит, литературный мотив имеет и историческое измерение, исследует тайны человеческого бытия в тесной связи с социальными аспектами. Включение социально-исторического измерения, доминантная роль реально-психологического плана по отношению к планам философскому и мифологическому позволяет нам охарактеризовать художественный образ Достоевского как подлинно реалистический, многоплановый. Благодаря поэтике русского писателя реализм утверждает, таким образом, своё право на проникновение в самоё сущность действительности не только в формах жизни, но и в формах фантастики и мифа, в очертаниях мира воображаемого, тем самым невиданно приумножая свои творческие возможности.

Перевод с румынского Елены Логиновской

Ливия Которча

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ В ПРОЧТЕНИИ АЛЬБЕРТА КОВАЧА

В Румынии настоящих специалистов по Достоевскому немного, хотя о нём пишут часто и немало. Но среди книг, посвящённых великому русскому писателю, всего лишь чеыре – на уровне мирового достоевсковедения, представляющие собой уникальные явления в этой области. Это монография Дину Пиллата «Достоевский в румынском литературном сознании», исследование «Молодой Достоевский» и «Словарь персонажей Достоевского» Валерия Кристя, и эссэ Иона Яноши «Достоевский». К этому списку в последние два десятилетия добавились имена Елены Логиновской («Достоевский и румынский роман», 2003), Сорины Бэлэнэску (ряд исследований по Достоевскому и «Лекции по русской литературе второй половины XIX века», 1995) и, конечно, бухарестского профессора Альберта Ковача, который, хотя писал и о других русских писателях, утвердился именно как знаток и глубокий аналитик личности и творчества Достоевского.

Страстный полемист, теоретик литературы и неутомимый читатель и толкователь произведений русского романиста и огромной библиографии о нём – таким предстаёт А. Ковач перед теми, кому удалось послушать его на национальных и международных симпозиумах и конгрессах. Ярко выражены свойства его личности и в публикуемых им статьях, рецензиях, исследованиях и книгах. Слушая и читая его, чувствуешь, что он – в непреходящем неудовлетворении, которое вкупе с глубоким пониманием Достоевского «электризует» его слово, настоятельно и живо нацеливая на то, что он считает наиболее существенным. Кстати, как констатирует исследователь, это *существенное* оказывается, к сожалению, заслонённым множеством критических высказываний, а, порой, и престижем толкователей, которые ищут в Достоевском не Достоевского, а лишь находят случай для укрепления собственных позиций и утверждения своих суждений.

Словом, Альберт Ковач, как литературный критик, в равной мере не любит импрессионистских импровизаций с текстом, как

и механических приложений поэтических теорий к живому организму литературного произведения. Тому свидетельство его становление как достоевсковеда и его книги «Поэтика Достоевского» (1987) и «Достоевский – quo vadis homo? Смысл бытия и кризис цивилизации» (2000).

Становление А. Ковача как критика текста Достоевского характеризуется не только его подходом к сущности критического акта как к непосредственному проникновению в литературный текст, воспринятый не только в его имманентности, но и в качестве интертекстуальной конструкции, вписывающейся в режим многомерной определённости. Учитывая ясные и глубокие высказывания Достоевского по проблемам эстетики и поэтики, А. Ковач добавляет к вышесказанным требованиям также и внимательное чтение размышлений самого писателя, которые нередко служат убедительным аргументом в пользу того или иного прочтения текста, и, следовательно, – разного поэтического или эстетического суждения критиков.

Это не значит, что А. Ковач не считается с огромной критической библиографией о Достоевском, но он собирает её в концентрированный синтез, состоящий не только из книг, но и из статей и сообщений, которые, – принимая или отрицая, – он вводит в основу собственных критических позиций.

Таким образом, критический дискурс А. Ковача обретает объективность, хотя, на первый взгляд, может показаться «страстным» и, следовательно, субъективным.

Строгая объективность критического подхода подтверждается у А. Ковача тщательным и разнообразным теоретическим анализом текста – подготовкой в области литературных форм и жанров, теории мотива, мифа и темы, теории текста со всеми присущими ей аспектами (интратекстуальность, экстратекстуальность, интертекстуальность), теории нарративности, а также подготовкой в области философии, герменевтики, истории, социологии и т.д. Эта подготовка – первостепенное условие, поскольку аналитик Достоевского сразу же объявляет о своём намерении: предоставить читателю с помощью своих книг новое прочтение и новый аспект поэтики Достоевского. И это ему удаётся осуществить, особенно в

своей последней книге, которая была бы немыслима без первой, содержащей в себе основные тезисы завершающей.

Думается, что сам Достоевский подтолкнул нашего критика к поискам нового смысла не в каком-то одном его произведении, а во всём его творчестве, воспринятом, как единое целое. Именно выражение «живая жизнь» со всеми вариантами, что встречаются в литературном творчестве русского писателя, привлекает внимание критика к более общей семантике, скрытой за «локальными» смыслами или темами какого-либо произведения, и затронутыми иными исследователями в другие эпохи литературной критики.

Основным моментом всего процесса переосмысления Достоевского становится отношение А. Ковача как к Бахтину и его книге «Вопросы поэтики Достоевского» (но и к другим его работам), так и к русским и иностранным философам и их книгам о Достоевском. В этом контексте, с помощью убедительных аргументов, отвергается абсолютизация полифонизма романов Достоевского и отрицается провозглашение русского писателя как иррационалиста или только как выразителя христианских ценностей. А. Ковач пользуется этими высказываниями не ради полемики как таковой, а «поощрённый» самим Достоевским, который считает, что натура человека ещё окончательно не «устоялась», что он, человек – всё ещё в стадии становления, сообразно своей сложной сущности или наперекор ей.

Проблема, которая здесь возникает, по мнению А. Ковача, – это не только конкретный путь, который проходит человек в своём становлении, но, прежде всего, то неведомое, к коему человека направляет его антропологическая сущность и принятые им решения в какой-либо момент родовой, исторической и индивидуальной жизни. И – главное: из всего этого выводится провидчество Достоевского и его предостережение – человеческий род не может бесконечно выбирать тот или иной путь существования случайно, не осознавая, что это его существование находится в кризисной точке и перед угрозой исчезновения, как никогда прежде. Такой сверхсмысл предлагает найти А. Ковач в романах Достоевского и, сообразно этому

смыслу, определяет критические суждения, которые считались и считаются камнем преткновения в понимании русского писателя: Достоевский – религиозный писатель, изобразитель иррациональных глубин человека, реалистический выразитель русской жизни второй половины XIX-го века или жизни «униженных и оскорблённых», Достоевский – писатель-нигилист, психологический аналитик, этический писатель и т.д.

Наверное, говоря о «живой жизни», Достоевский желал внушить мысль о существовании и другой жизни, которая в разной степени приближается к «живой» или удаляется от неё. Так или иначе, – это поиск, а человек, созидающий какую-нибудь ситуацию или живущий в ней, находится, главным образом, в постоянном поиске, то есть в постоянном движении. Пути этого поиска – разные. А. Ковач в романах Достоевского раскрывает своеобразие этих путей, устанавливая доминанту отношения человеческой личности к ценностям разного характера: этике, добру и злу, общению с другими людьми, размышлению о проблемах человеческого существования, религии, социальном положении, счастье и трагедии, взлётах и падениях.

Казалось бы, А. Ковач не привнёс в этом смысле ничего нового для понимания наследия великого русского писателя, но, – тем не менее, он показал, что все упомянутые ценности подчиняются высочайшей из них – «красоте», а, вернее, – «чистой красоте». Именно этот смысл пронизывает все пласты и поверхности текста, который именно поэтому воспринимается как гармоничное произведение, – особенность, раньше не признаваемая критикой по отношению к творчеству Достоевского. Наличие этого высшего смысла – «красоты» – свидетельствует о постоянном присутствии авторского голоса в его романах, хотя может показаться, что сопоставляются только позиции и голоса персонажей. Такое утверждение сразу же исключает широко распространённое мнение, что в произведениях Достоевского голос автора можно полностью отождествлять с голосом того или иного персонажа. Такая позиция разделения голоса автора и голоса героя позволяет критику показать, что конечный смысл «Братьев Карамазовых»

не безысходный трагизм человеческого существования и окончательный трагический тупик его, а возможное утверждение «живой жизни» на земле, всего, что противопоставляется нигилизму (онтологическому, социальному, а также иным его разновидностям).

Конечно, точки соприкосновения этих голосов наличествуют, тем более, что Достоевский всегда пытается выявить «активную красоту», т.е. такую, которая проявляется не в абстрактном, идейном плане, а в актуализации добра, истины и правды через конкретные человеческие действия. По этому поводу, как тонко замечает А. Ковач, анализируя романы «Идиот», «Братья Карамазовы», повесть «Сон смешного человека» или рассматривая интертекстуальность мышления русского писателя и французского мыслителя М. де Монтеня, Достоевский как бы предлагает современную ему реплику традиционному гуманизму. В столкновении своих персонажей, в изображении их действий и слов, чтобы расширить для них возможность утвердить себя как личность, романист доказывает, что старый гуманизм оказывается бессильным перед сложностью человеческой сущности и перед её возможностью или невозможностью неограниченно и свободно проявить себя. Между крайностями самопожертвования и полного повиновения внешним законам и библейским заповедям, с одной стороны, и ощущением, что «всё позволено», с другой, персонажи Достоевского доказывают зыбкость путей самоутверждения, пренебрегающих принципом активной красоты. При этом убедительно указывается и доказывается, что романиста интересуют «не гносеологические или этические проблемы как таковые (…) а именно онтологические вопросы – существование и смысл человеческого существования» («Достоевский: quo vadis homo?», с.55). Эта идея является направляющим фактором критики А. Ковача, который в «Поэтике Достоевского» выводит её из рассмотрения разных поэтических аспектов творчества русского писателя, а в книге «Достоевский: quo vadis homo?» придаёт ей аксиоматическое значение.

Замечая, что человек у Достоевского никогда не бывает одномерным и отвергая тенденцию критики втиснуть персонаж

в одну типологическую формулу или свести его к «тезису» и «антитезису», А. Ковач подчёркивает, что сложный абрис его очерчивается в столь же сложной нарративности. В основном, повествовательный центр такого изображения часто располагается, вместе с собственным авторским убеждением и с авторской перспективой, в средоточии десяти евангельских заповедей или уже знакомых культурных мотивов и мифов. Все они, по мнению критика, воспринимаются преображёнными, согласно его идее: красота наличествует в каждой индивидуальной судьбе и в связи с человеческими и социальными условиями существования. Отсюда обилие деталей, которые выстраивают зону действия всякого персонажа и выявляются А. Ковачем, например, при анализе образа «человека из подполья» или образов Дмитрия Карамазова и Рогожина. Ценность рассмотрения критиком персонажей Достоевского состоит и в постоянном соотношении их анализа с современным принципом совместимости противоположностей и с видением и воссозданием мира Достоевского по закону ассоциации-дисфункции. При этом, самым интригующим, но и убедительным, кажется рассмотрение образов и сущности Мышкина, Алёши Карамазова и Зосимы. А. Ковач выделяет инфинитезимальные детали поведения или речи этих персонажей, чтобы доказать, что они обладают такой же динамической природой, как и явно ищущие себя и постоянно изменяющиеся персонажи. И тогда не удивительно, что, выявив в романах Достоевского подобные аспекты и нарративные свойства, критик считает, что направление анализа нарративных ситуаций, персонажей и их сути должно исходить из конкретного, многослойного контекста романа, а не из абстрактного поэтического принципа или из архетипного, мифического и культурного мотива.

Уверенность позиции критика в необходимости тезиса «назад к Достоевскому!», как мы видели, действительно позволяет ему показать нам обещанное новое прочтение «Идиота» или «Братьев Карамазовых». Попытаемся добавить к сказанному ещё несколько важных положений исследований А. Ковача, освещая их кратко и оговариваясь притом, что не всё, высказанное

автором, отражаем с надлежащей полнотой, опуская ряд его значительных и оригинальных высказываний. Заметим, в первую очередь, убеждение А. Ковача, что, читая романы Достоевского, нужно принимать во внимание поверхностный и глубинный их слои и участие таковых в построении структуры и смысла текста, путём взаимодействия – в согласованности или в противопоставлении. Исходя из этого и беря за основу текст, а не некую преднамеренную идею, что, например, Дмитрий Карамазов, или тем более Иван Карамазов, выступают на поверхностном уровне романа сходно и кажутся нарративным и характерологическим проявлением карамазовщины, критик показал, что они по-иному очерчиваются на глубинном уровне текста, как истинные искатели красоты, в терзаниях сознания и души. Здесь демонстрируется ещё один теоретический и методологический принцип, трактуемый А. Ковачем в статьях «Миф и мотив в поэтике Достоевского» и «Художественный образ: романтизм, реализм, символизм» или в главах «Художественный многомерный образ» и «Миф и мотив» из книги «Поэтика Достоевского». Мы имеем в виду, с одной стороны, определение, которое А. Ковач даёт мотиву, и, с другой, – манеру, в которой мотив используется им как инструмент для подхода к анализу литературного текста.

Внимательно вникая в то, что пишет А. Ковач о мотиве, создаётся впечатление, что это понятие определяется у него постепенно, в тесной связи с другими близкими понятиями образа, темы и мифа. Оно определяется как на текстовом, так и на смысловом (идейном, аффективном) уровне, что позволяет А. Ковачу выделить «литературные мотивы» и «локальные мотивы». Литературный мотив считается «художественной идейно-аффективной структурой текста с оригинальными значениями, построенными на основе повторения, образов, локальных мотивов (объектуальных, психологических, идейных, стилистических) и принимающей преимущественно символический смысл» («Поэтика Достоевского», с.151).

Однако не совсем ясно, чем же отличается в таком случае литературный мотив от темы в том смысле, в котором этот термин

употребляется в немецкой и, частично, в французской поэтике. Что важно, когда определяются функции этого оператора и критики текста: связи и объединения разных пластов произведения (реально-психологического, философского, объектуального, мифического и т.д.) и композиционного фактора. Ясно, что определить одно понятие, пользуясь точно таким же понятием, невозможно. Не очень понятно, почему А. Ковач пытается пользоваться именно таким приёмом. Появление понятия «мотив» в выражениях «локальный мотив» и «литературный мотив» говорит о движении критика от простого, частного к сложному и объёмному, повествующему о «натуре существования, о природе мира, о будущем человечества, о смысле, направлении и ценности жизни» (Поэтика, с.208). Использование таких понятий даёт позитивные результаты в конкретном анализе какого-либо текста, и обретает особую убедительность при рассмотрении текстуализации у Достоевского мировых мотивов Фауста, Мефисто, Адама, Дьявола, Дон Кихота или Христа: выявляется не только оригинальный подход к компаративистике как таковой, но и целый критический процесс, в котором, например, по-новому ставится вопрос «двойника» у Достоевского и, следственно, решительно отвергается присутствие этого же феномена двойственности, но уже на уровне мировой литературы и культуры (например, когда речь идёт о Дон Кихоте у Сервантеса и Дон Кихоте у Достоевского).

Справедливо отмечая, что присутствие какого-либо мотива, образа или мифа не позволяет критику отнести их и произведения, где они используются, к одной и той же структуре и к одному и тому же художественному типу, А. Ковач, тем не менее, пытается показать, как именно и с какими смысловыми эффектами изменяется используемый писателем тот или иной мировой мотив. При этом, признавая, что повтор – это определяющий критерий для мотива, автор «Поэтики Достоевского» рассматривает систему мотивов произведения как с точки зрения их семантической поляризации, конвергенции и диссоциации, так и их композиционной функции. На этом основании, он предпочитает анализировать, как строится конкретно литературный мотив из частных локальных мотивов, выявляя, как

с их помощью общее обретает «плоть и кровь» определённого персонажа и определённой нарративной ситуации в данном времени и пространстве. Таким путём выявляется именно индивидуальность писателя на фоне русской и мировой литературы и культуры. И мы понимаем, что, имея в виду Достоевского, А. Ковач особо подчёркивает идейную оригинальность русского писателя, который, наряду с немногими художниками мира, задавался вопросом, что есть человек и куда ведёт его путь. Придерживаясь такой позиции, критик считает Достоевского художником «для завтрашних времён». То есть русский романист осуществляет полный синтез вершин литературы и размышлений о человеке предыдущих времён (о чём убедительно свидетельствует вторая книга А. Ковача) и, одновременно, открывает новый горизонт, в котором ставится вопрос о человеке и «живой жизни» с ценностными факторами: свобода и независимость человеческой личности, духовная сущность человека, необходимость активного идеала, основанного на вере в человека, в его свободу и в его достоинство, на убеждении в возможности торжества истины, правды и добра. В контексте этих ценностей, уточняет критик, сама вера в Бога может представляться как один из постулатов этики, онтологии и психологии Достоевского, и это только в случае, если она поднимается до уровня практического идеала, актуализированного в действиях и в поведении человека. Узловым центром такой ситуации представляется для критика Легенда Великого Инквизитора или линия Алёша – монастырь – его братья – мир божий в романе «Братья Карамазовы», произведении, которому в книгах А. Ковача дано блестящее толкование.

Сожалительно, однако, что, не будучи приверженцем дискурсивности, А. Ковач представляет большинство своих идей и критических позиций в виде тезисов и синтетических высказываний, возможно, рассчитывая в будущем развить их на страницах столь же глубоких, что и составляющие главы и секвенции указанных выше его двух книг. Эти книги, безусловно, ставят его в ряд самых значительных достоевсковедов мирового уровня, возводя на ту же высоту румынскую литературную критику.

Лев Толстой и Сибирь

Зло порождает и приумножает зло. Кроме того, оно имеет свойство возвращаться, поэтому одной лишь силой зла не остановишь. Непротивление злу насилием также бесполезно, но привнося добро в саму природу зла, растворяя его изнутри, избавляя от движущих сил – встречной ненависти и безнаказанности, его со временем возможно победить совсем.

Али Апшерони

От составителей

Возможно, читатель удивится, встретив стихи в одной из нижеприведённых рукописей Б.В. Мазурина из яснополянского музея, подготовленных к печати под руководством Элеоноры Петровны Абрамовой, главного хранителя музея-усадьбы Л.Н. Толстого. В названных рукописях сообщается о горькой судьбе толстовских коммунаров Сибири, – людей кротких, но непоколебимых в своих убеждениях, почерпнутых в учении Л.Н. Толстого. Настолько непоколебимых, что ради их соблюдения они, подобно первым христианам, наверное, пошли бы сражаться на арену цирка со львами, будь то эра древнего Рима.

Сибирских коммунаров стращали не львами. Их настигли репрессии и даже расстрелы, настолько их светлое бесхитростное понимание счастья диссонировало с жёсткой действительностью их поры.

Но они оставались кротки и тверды.

Они по-прежнему верили в превосходство добра над злом.

Странно, но многие из них писали стихи. Стихи эти светлы, бесхитростны и детски-хрустальны, как и убеждения их авторов, столь неуместные на пике «свинцовых времён».

В эти стихи надо вчитываться.

И тогда перестанет «резать глаз» несовершенство рифмы или ритма в иных из них.

Они не были поэтами, коммунары, и писали, потому что душа того просила.

Они писали стихи, – как поют птицы.

В 70-е годы прошлого века в Кузбассе проживал художник-примитивист 70-летний Иван Егорович Селиванов. Его картины тщательно коллекционировал московский заочный народный университет искусств (ЗНУИ) и они фигурировали на многих международных выставках. Имя И.Е. Селиванова вошло в энциклопедию наивного искусства, а его дневники и многолетняя переписка удивительно сравнимы с рукописями коммунаров. Их объединяет уверенность торжества над злом.

Институт, в котором находятся его картины, весьма гордится творениями «наивного» И.Е. Селиванова, таившего в себе некую особую глубинную мудрость.

Рукописи и стихи сибирских коммунаров, которые мы представляем нашим читателям, проникнуты той же извечной мудростью: «зло множит зло, а добро родит добро».

Стихи коммунаров удивительно напоминают упомянутые картины. Возможно, настанет время, когда подобные стихи – песни души – станут искать, собирать и публиковать в особых сборниках.

На всё нужно время. Лишь оно находит верное место для людских деяний в канве человеческих жизненных историй, из коих и состоят истории народов.

Борис Мазурин
ОБ И.А. ЗУЕВЕ И ВАНЕ БАУТИНЕ

Описание рукописи, подготовленное членом редколлегии «ГС», главным хранителем Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Ясной Поляне» Элеонорой Петровной Абрамовой:

Мазурин Б.В. Воспоминания об И.А.Зуеве и Ване Баутине
Тальжино (?), 1960-1970гг.
Бумага, картон, машинопись с рукописными вставками. 29,0х20,5; 139 л.
Инв. ДК-82.

Машинопись (одна из копий) в самодельной книге из листов писчей бумаги жёлтоватого цвета формата А-4, заполненных только с лицевой стороны. Обложка – картонная, оклеена бумагой жёлтого цвета с бежево-оранжево-зелёными разводами; корешок – серый, коленкоровый. На верхней крышке переплёта, в центре, имеется белая бумажная наклейка с машинописной надписью: *«Биографии / Грачева, Баутина, / Зуева и Янова»*. Т.к. машинка не пропечатала некоторые буквы, в машинописный текст они вписаны рукой Б.В. Мазурина шариковой ручкой с синей пастой.

Книга состоит из воспоминаний трёх авторов. Пагинация раздельная.

– Грачев Ю.С. Дни скорби (1931-1934). - Куйбышев, 1970. – С. 1-14.

– Янов В.В. Краткие воспоминания о пережитом. – С.1-94. (Опубликованы в книге: Воспоминания крестьян-толстовцев. – М.: Книга, 1989).

На с. 94, в конце «Воспоминаний», *Б.В. Мазуриным сделана приписка: «Василий Васильевич Янов скончался в Машуковке / 19-го [и]юля 1971года. / Я бы назвал эти записи так: / Путь свободного и доброго / сквозь неволю и муки дикие / и не нужные»*. Подпись – автограф шариковой ручкой: «*Б. Мазурин*».

– Мазурин Б.В. Зуев Иван Александрович. – С.1-10. Датирована *30 декабря 1969г.* Подпись – автограф шариковой ручкой: «*Б. Мазурин*».

– Мазурин Б.В. О Ване Баутине. С.1-20. Датирована *21 декабря 1966г.* Подпись – автограф шариковой ручкой: «*Б. Мазурин*».

Зуев Иван Александрович[1]

Ваня Зуев родился в январе 1893 года в деревне близ г. Кашина Тверской губ. Крестьяне жили бедно, прокормиться с земли не могли и уходили на всякие подсобные заработки. И Ваню, ещё совсем маленьким, отец отвёз в город и отдал в учение к одному купцу. Потом Ваня стал работать на фабрике, упаковывать ящики.

Жил, как все – и выпивка, и табак.

Случайно прочитал «Воскресение» Толстого и оно взволновало весь его внутренний мир. Он стал искать ответы на поднимавшиеся вопросы жизни, стал искать людей, разделявших[2] взгляды Л. Толстого.

В 1913 году узнал Владимира Григорьевича Черткова и от него узнал учение Л.Н. Толстого и принял его всей душой и навсегда.

Как-то Владимир Григорьевич спросил Ваню: «Есть ли у вас друзья на новом пути?»

– Нет, – ответил Ваня. – Я один.

– Давайте, я буду вашим другом, – предложил Владимир Григорьевич.

К Владимиру Григорьевичу Ваня до конца дней своих сохранил нежное, глубоко дружеское чувство. Может быть, это потому так получилось, что Ваня рано оторвался от своей семьи и мало видел ласки от отца и матери и потом всю жизнь прожил одиноким и Владимир Григорьевич заменил ему всё, он чутко, по-братски и по-отцовски подошёл к Ваниной душе, создал сразу и доверие, и дружбу, и любовь и не притворные, а глубокие обоюдно, что оставило у Вани след на всю жизнь.[3]

Пить, курить бросил, но дома имел всегда и вино и табак, когда приходили товарищи прежние угощал, но сам не брал.

В 1914 году предстоял ему призыв в армию и он решил отказаться, не мог иначе, но это решение далось ему не легко, он ожидал предстоящего с большим волнением, так что он даже заболел и кажется даже был в психиатрической больнице. Владимир Григорьевич тоже не советовал ему торопиться с отказом, а взвесить всё – и свои силы, и веру, ведь последствия отказа могут быть очень суровые.

Из-за болезни при царе на военную службу он не попал. После революции опять призыв, опять отказ. По суду, который учёл заверения Владимира Григорьевича об искренности Вани, его не взяли. В стране была гражданская война, разруха, было очень много сирот, беспризорных[4] детей и Ваня пошёл работать в детские колонии с беспризорными детьми. В эти колонии (Снегири, Нахабино, Химки и др.) воспитателями подобрались все такие же молодые люди, не желавшие брать оружия в руки, но добровольно желавшие отдать свои силы на общественное нужное и нравственное дело, дать сиротам то, чего они[5] лишились, потеряв своих родителей – заботу, воспитание и ласку. Там были П.Н. Лепихин, Митрофан Нечесов, Коля Любимов, Вася Шершенев и многие другие.

Жизнь[6] в этих колониях была трудовая. Воспитанники вместе с учителями и воспитателями и учились и работали, пахали, сеяли, в основном обеспечивая свои потребности в питании. Дух в этих колониях царил свободный, трудовой, без всякого оттенка официальности и казёнщины.[7]

Пока было трудное время, мало было желающих нести тяжёлую работу с беспризорниками, часто трудными детьми, и труд наших друзей ценился.

Брат М.И. Калинина – Яков Иванович Калинин, здоровье которого было подорвано тяжёлыми переживаниями на фронтах и в труде, приезжал иногда к нам на несколько дней и говорил: «Я у вас отдыхаю душой, вот закончим войну, разобьём контрреволюцию, и я приду жить к вам, мне здесь хорошо», – но так ему и не пришлось это осуществить, туберкулёз привёл его к преждевременной смерти. И не один Яков Иванович свидетельствовал о том,

что у них царил хороший, нравственный, бодрый, радостный и свободный дух, подтверждали и другие, но нашлись чиновники, которым показалось недопустимым, чтобы на подрастающее молодое поколение оказывали своё влияние толстовцы и постепенно наших друзей стали вытеснять оттуда и они решили уйти, не мешать. Но такая общая трудовая жизнь им понравилась и они решили продолжать её совместно и они организовали свою коммуну им. Л.Н. Толстого в Воскресенском уезде близ ст. Новый Иерусалим.

В эту коммуну ушли не только воспитатели, но и некоторые из уже подросших воспитанников, которым идти было некуда, а там жизнь была им по душе, да и привязались они душевно к своим воспитателям: такие были Ромаша Сильванович, Ваня Свинобурко[8] и ещё некоторые.

В колонии Ваня Зуев был вегетарианцем уже. В это примерно время Ваня сильно болел тифом и ревматизмом и долго лежал в больнице и врачи даже мало надеялись на его выздоровление, но он выжил. Врачи говорили, что в этом ему помогло вегетарианство.[9]

В то время в стране[10] и в колонии была нехватка[11] соли, за ней очень гонялись и считали, что без неё человек не может жить, а Ваня решил попробовать месяц-два обходиться без соли. В колонию иногда приезжали комиссии врачей осматривать ребят. Им говорили о Ване, что он совсем отказался от соли. Врачи очень отговаривали Ваню, говоря, что будут плохие последствия для его здоровья. Ваня отвечал, что пока таковых не замечается.

– Ну, это пока, а потом увидите, – говорили врачи. Прошли 2-3 месяца и Ваня решил продолжать свой опыт, да так и прожил всю жизнь без соли. Уже стариком, рассказывая мне об этом, он, смеясь, говорил: «вот смотри – и кожа здоровая и болезней нет и когда-нибудь где и порежусь, всё быстро заживает на мне, как на собаке, значит и кровь здоровая»[12].

Вопросы питания занимали всё время Ваню, но не со стороны аскетизма, а с точки зрения рационального и здорового питания, без излишеств в пище, которые так развиты в современном человечестве и которые часто приводят[13] к тяжёлым болезням. Он интересовался литературой, относящейся к вопросу питания, читал

Мечникова и других учёных и находил у них подтверждение многим своим выводам о питании.

В течение своей жизни он проводил над собой эксперименты, питаясь каким-нибудь одним избранным им овощем или продуктом. Как-то это стало известно в одном научном учреждении и ему предложили комнату, содержание, а от него требовалось только такое питание. Учёные говорили, что им нужны такие опыты и особенно было бы ценным, чтобы их проводил на себе человек сознательно желающий этого, и потому добросовестно, чего трудно ожидать от тех, кто делает это ради платы и тяготится этим.[14]

Ваня отказался. Ваня был строгим вегетарианцем, а последние десятилетия своей жизни не употреблял не только молока, яиц, но даже растительных масел. Вся его пища была мука простого помола, которую он заваривал кипятком и немного кипятил, и это всё! Иногда ещё немного капусты ел и моркови. Ваня считал, что зерно хлебное содержит в себе все вещества, необходимые для организма человека и смеялся над врачами, верующими, что человеку необходимо и мясо, и жиры, и сахар, и что без них человека ожидают болезни. Уже 70-летним стариком он бывало говорил мне:

«А ну, дай руку, дай» – я давал и он крепко сжимал её и спрашивал, смеясь: «Ну как, есть сила?» – «Есть, есть»[15], – отвечал я. – «Ну вот, ты ведь знаешь, чем я питаюсь, – мешок муки за 3 месяца, и всё! больше ничего! а я ведь живу, не болею, и сила есть, значит врачи в чём-то заблуждаются».

Людям, не знавшим близко Ваню, конечно, бросалась в глаза эта сторона его жизни: «это тот, который соли не ест». «Это тот, который одной мукой питается». Но соприкасавшиеся с ним ближе знали, что хотя вопросы питания занимали большое место в его жизни, но не главное.

Очень ценил Ваня независимость и чтобы не быть никому в тягость. Под старость ему было уже трудно себя содержать и он из-за этого сокращал свои потребности. Проработав всю жизнь в коллективном хозяйстве, которое создало большие ценности и которые все отошли в государство безвозмездно при образовании совхоза, он не добивался никакой пенсии и уже помимо его ходатайства сельсовет сам назначил ему пособие 8 рублей в месяц,

чего Ване вполне хватало. Вот его бюджет[16]: за 3 месяца 24 рубля. Рублей 18 – мешок муки на 3 месяца, оставшиеся 6 рублей 4 раза в год – 24 рубля – машина[17] угля. Приход[18] с расходом сходятся.

«Я просто удивляюсь, до чего же мало надо человеку»… Он и всегда-то ходил скромно, а в старости[19] дотаскивал всё старое, ничего не покупая нового.

Ваня любил труд и любимым его занятием было огородничество и семеноводство. Один раз будучи[20] семеноводом в колхозе «Жизнь и труд», он вырастил и собрал 80 кг первосортной чернушки (семян лука), чем привёл в изумление[21] и[22] восхищение районных агрономов, т.к. считалось, что семена чернушки в Сибири не вызревают. Ему могли[23] бы дать награду, но он не добивался[24] наград.

Всегда приятно[25] было смотреть на участок, где работал Ваня – до[26] чего всё было ровно, чисто[27], прополото, взрыхлено, обихожено.

Большое значение Ваня придавал вопросам нравственности, воспитания детей, интересовался общественной жизнью людей, считая, что во главе этой жизни надо ставить свободу, труд, взаимопомощь, трезвость. Он всегда возмущался всяким деспотизмом, угнетением людей, обманами церковными и государственными. Он любил идеи П.А. Кропоткина, о вольном, безгосударственном коммунизме.

Я ранее сказал, что Ваня, кроме ревматизма, в молодости ничем не болел, но всё же три болезни у него были, но мне кажется, они не зависели от образа его питания. Это грыжа и эпилепсия, которая сильно его изнуряла и которую он нажил, наверно, с тяжёлыми переживаниями за отказ от военной службы.[28]

Грамотность его была очень небольшая, всего сельская школа, но он был очень развит и в разговорах с людьми грамотными, в том числе с прокурорами,[29] представителями власти – приходилось ему по делам коммуны разговаривать и с М.И. Калининым –[30] ему не верили, что он так мало учился. Мысль его была логической, выражал он её ясно, толково, хотя немного растянуто.

В 1928 или 29 году Новоиерусалимская коммуна была ликвидирована извне и Ваня вместе с большинством её членов перешёл в коммуну «Жизнь и труд» в Кунцевском районе. Когда в

1930 году встал вопрос о переселении единомышленников Л. Толстого[31] (желающих объединиться в крупное коллективное хозяйство где-нибудь на свободных землях)[32], Ваня, Добротолюбов, Мазурин поехали ходоками для подыскания участка и когда такой участок был закреплён ими в Кузнецком районе Кемеровской области[33], то осенью выехал туда от коммуны с рабочей дружиной, задачей которой было подготовить первые условия переселения всей коммуны. В делах коммуны Ваня принимал близкое и живое участие, горячо отстаивая принцип коммуны на основе учения Л. Толстого.

Когда в 1941г. началась война, Ваня опять отказался от военной службы, но согласился работать. Работа была тяжёлая и у него там сильно обострилась грыжа, были припадки, возраст[34] его подходил уже к предельному, и его отпустили домой.

Где-то в это время Ваня сошёлся для семейной жизни с Ниной Лапаевой, о чём потом сильно жалел, уж слишком разные оказались у них понятия о смысле жизни и, прожив с Ниной несколько лет, он отделился и стал жить опять один.

К старости у Вани, как и у многих стариков (да ещё бобылей) сложились свои некоторые особенности, которые со старостью[35] казались странностями.

Все, кто этого Ваню с молодости знают, помнят его необычайную чистоплотность. Зайдёшь к нему в комнату, ничего лишнего, просто очень чисто; под старость же у него в домике было необычно грязно, беспорядочно и неуютно, полы никогда не мытые, окна засиженные мухами, пыль на всём, рваные лохмотья на убогой койке.

Не знаю, было ли у него сознательно, или сказывалось довольно свойственное мужчинам, а особенно старым, да ещё одиноким, равнодушие к чистоте и лень к поддержанию чистоты. Когда я ему как-то указал на эту грязь, он ответил: «хочу проверить, правы ли врачи, придавая такое значение необходимости “стерильной чистоты”». Слово «стерильной» он говорил с иронией. «У меня грязно, но никаких плохих последствий от этого я не вижу».

17 января 1965 года Ваня сильно заболел, грыжа, припадки, общее недомогание свалили его. Он лежал, иногда сильно страдая, но не принял ни одной таблетки, ни одного укола.

«Если в организме ещё есть сила к жизни, то он преодолеет болезнь, если нет – то никакие таблетки не помогут».

Топили у него печь, варили его заваруху, дежурили по ночам по очереди некоторые его друзья. В середине февраля он согласился и его отвезли в Атамановскую больницу. Когда я пришёл его навестить, то врач с беспокойством сказала, что Ваня с 15-го по 19-ое ничего не ест, слаб и так долго он не протянет. Я пришёл к Ване в палату, он был очень рад мне, а на вопрос, почему он не ест, ответил: «да не хочется». Но[36] мне показалось, что он не захотел входить в дальнейшее объяснение.

Я решил взять его из больницы, на что он с большой радостью согласился, да и врач была рада избавиться от такого больного. У них в больнице, года за два до того, умер один старик, бывший наш коммунар из добролюбовцев – Иван Всемирный, который под конец прекратил есть и умер.

Ваня с радостью возвратился в свой маленький домик, в котором, во время его отсутствия, произвели хоть небольшую уборку – отмыли полы, окна, поставили койку, положили матрасик, он стал опять есть свою заваруху и ему стало лучше, и он[37] стал говорить: «Как хорошо, что ты взял меня из больницы».

Так он прожил несколько месяцев, а потом ему опять стало хуже. Последнее время он сильно страдал, вскрикивая от внезапных болей, возможно, грыжи. Зима была очень холодная, в его домике трудно было поддерживать тепло, он мёрз и его взяли к себе Лёва и Катя Алексеевы, дав ему отдельную тёплую комнату и необходимый уход.

Ваня сознавал, что умирает и однажды сказал мне: «я не боюсь смерти, но я не боюсь и[38] жизни[39] и[40] если бы довелось[41], я ещё охотно пожил[42] бы».

Уже совсем перед смертью он изнемогал от телесных страданий[43], но когда я его спрашивал: «Ваня, как ты себя чувствуешь?» – он всегда отвечал: «хорошо».

13 февраля 1966 года он скончался и был похоронен на нашем кладбище на бугре за посёлком, среди полей и кустов.

Он умер, а образ его, всегда ко всем приветливый, улыбающийся[44], всегда полный интересов – трудовых, общественных, нравственных; до[45] слёз умиляющийся всему доброму и

возмущающийся на[46] всё дикое, деспотическое, стоит передо мной, как живой.

Ваня живёт.

Б. Мазурин
(подпись)[47]
30 декабря 1969 года[48]

О Ване Баутине[49]

Мы тоже любили жизнь и всех людей, которыми жизнь наша была красна и которые умоляли нас прекратить борьбу. Каждое биение нашего сердца громко взывало к нам: живи! но для исполнения закона жизни мы предпочли смерть.[50]

Мадзини

После революции ранее запрещённые произведения Льва Толстого стали просачиваться к народу с жадно восприниматься и ищущими правды людьми.

Земля трудящимся – было вековечным стремлением русского крестьянства. Мир – всегдашняя потребность людей, а в то время особенно желанный трудовым людям, измученным войной. Равенство, вместо подавляющей гордости власть имущих. Разумное мировоззрение – вместо идолопоклоннической церковности. Уважение к труду – вместо преклонения перед богатством и силой. Свободное воспитание детей, а не штамповка из них чиновников и слуг властям.

Признание законов разума, совести, любви, превышающими все другие человеческие законы.

Все эти идеи, сильно и ясно высказанные Толстым, находили горячий отклик в сердцах людей и пробуждали их к новой жизни, к деятельности и борьбе мирной, но непреклонной до конца.

Одним из таких людей и был Ваня Баутин.

Старшее поколение революционеров, пришедших к власти, конечно, не разделяло религиозных взглядов[51] Толстого, но уважало и ценило многое и многое из того, что сказал Толстой, что и они написали на своём знамени, но пути достижения были разные.

Будучи в тюрьмах, ссылках, изгнании за границей, эти революционеры слышали смелый и правдивый голос Толстого, клеймившего тиранию и уважали его.

Так же и после революции, когда эти люди пришли к власти, они верили искренности людей, пошедших одним путём с Толстым и относились к ним терпимо и с уважением.

Существовало ещё в Москве Вегетарианское общество им. Л. Толстого, где люди свободно собирались и свободно обсуждали вопросы жизни в духе взглядов Л. Толстого; был издан Лениным человечный декрет об освобождении от военной службы лиц, отказывающихся нести её по религиозным убеждениям: существовал Объединённый Совет религиозных общин и групп; работал ещё «Посредник»; жили и работали десятки артелей, коммун и групп, единомышленников Толстого, на земле[52]; печатались большими тиражами произведения Толстого и не только художественные.

Ближайшие соратники и друзья Толстого – В.Г. Чертков, П.И. Бирюков, И.И. Горубнов-Посадов, Н.Н. Гусев и многие другие часто выступали на публичных вечерах и диспутах о его идеях, свободно дискуссируя с видными представителями материализма и марксизма.

Но, со смертью Ленина, это доброжелательное отношение к Толстому и его последователям постепенно стало изменяться, заменяясь нетерпимостью и репрессиями.[53]

Одна за другой закрывались под разными предлогами толстовские коммуны, закрыт был «Посредник», закрыто Вегетарианское общество, скрыт декрет об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям, закрыты журналы «Голос Толстого», «Единение», «Истинная свобода». Появились случаи прямых преследований за убеждения. Были арестованы и не вернулись более И.М. Трегубов, М.П. Новиков. Из кружка молодёжи были сосланы Алёша Журбин, Шура Ионова, Валя Лаская. Многие были в тюрьмах за отказ от военной службы.

Но жив был ещё В.Г. Чертков со своей кипучей энергией в деле доведения до конца взглядов своего учителя и единомышленника. Он, проведший долгие годы в таком тесном идейном единении со Л. Толстым, принимавший такое близкое участие в деятельности Толстого, являлся для нас, более молодых единомышленников

Толстого, как бы островком прежней, яснополянской жизни, со всеми её идейными интересами.

Владимир Григорьевич оставался ещё как бы центром, к которому сходились дружеские нити, от рассеянных по всей стране и миру единомышленников Л. Толстого и близких к нему, по взглядам на жизнь, людей.

Сохранялся около него и кружок молодёжи, интересовавшейся изучением религиозных и общественных взглядов Толстого и поддерживавшей общение между единомышленниками. Нечего и говорить о том, что никаких политических целей члены этого кружка, как и всё в целом толстовское движение, себе не ставили, в корне отрицая борьбу за власть над людьми.[54]

В 1928 году из этого кружка были взяты и посланы в Соловки пять молодых людей – Ваня Ватутин, Ваня Сорокин, Алёша Григорьев, Боря Песков и Юра Неаполитанский. О Соловках тогда шла жуткая слава. И правда, попав в Соловки, эти юноши увидели много ужасного, унижающего человеческое достоинство.

В знак протеста они отказались от труда, унизительного, подневольного труда.

Последовали жестокие репрессии. Холод, голод, болезни свалили их с ног, но не сломили духа. Четверо из них попали в больницы, где, поправившись, остались до конца срока, помогая больным, признав для себя этот труд приемлемым в лагерях. Но здоровье уже было подорвано и, незадолго до конца срока, Ваня Баутин заболел (туберкулёз брюшины) и умер.

Очень хотелось бы дать здесь хоть немного сведений из его биографии, но оказалось, что я ничего об этом не знаю.

Это же самое я замечал уже не раз, когда пытался вспомнить о жизни моих друзей и единомышленников, которых уже нет в живых.

Мы тогда так были захвачены настоящим, так полны интересами текущей жизни, что редко касались прошлого, из которого ушли.

Я пробовал спрашивать о его жизни некоторых друзей, которые его знали, и ответ был тот же.

Вот что ответил мне Ваня Сорокин: «Представь, несмотря на то, что я очень дружил с ним, я почти ничего не могу сказать из

его биографии. Ведь мы тогда не очень интересовались[55] человеком – откуда он. Самое главное в человеке – это его духовное состояние, что и притягивало к себе каждого из нас. Так было и со мной и Ваней Баутиным. Оба мы были с одинаковой целеустремлённостью.

А вот что ответила мне Соня Рамм: «Ты хотел узнать о Ване Баутине подробности, но оказалось, никто не знает его, откуда и чей. Все мы, как и я, знали его как замечательного человека, скромного, душевного, серьёзного к[56] делу. Мне кажется, что он был одинокий. Казалось мне, что он был из сельской местности, судя по одежде. Душа тонкая, чистая, готов был к самопожертвованию за дело общее, чем он жил».

Каким-то чудом уцелела и лет через 30 после его смерти попала ко мне пачка писем к Ване в заключении. Письма от его брата, друзей и мои. Но и эти письма мало прояснили его биографию. Ясно только, что он из деревни. Брат пишет о своих крестьянских и колхозных делах, о коллективизации и т.д.

Штампы на конвертах все неразборчивые, но всё же можно понять, что письма откуда-то из Донецкого бассейна. Из деревни Новоясиноватая, близ станции Скотоватая Донецкой ж.д. Пишет ему его друг М.Ф. Пономаренко. Вот и всё, что удалось восстановить, да ещё в памяти моей смутно представляется, что он был учителем.

Я познакомился с Ваней в Москве, когда он стал секретарём М.В.О. (Московского Вегетарианского Общества).

Тихий, скромный и весь какой-то светящийся изнутри, он весь был захвачен интересом к толстовскому движению. И должность[57] секретаря Вегетарианского Общества как нельзя более подошла к его натуре и его интересам. Туда стекались письма и туда приезжали единомышленники со всех концов страны и даже из-за рубежа. Их многое интересовало и на всё это Ване надо было уметь ответить, помочь и всем интересным, что он узнавал из этих писем и от приезжих людей, он в свою очередь делился со всеми нами – друзьями.

Не раз бывал он у нас в коммуне под Москвой и часто говорил мне, что его влечёт к труду на земле, что в городской жизни он всё же чувствует себя не на месте.

Как-то раз, на уборке картошки, мы не рассчитали и напахали картошки больше, чем надо, но не захотели оставлять её несобранной и задержались до темноты.

Наступили тёплые сумерки, а мы с Ваней всё собирали крупную, белеющую в темноте картошку и он говорил, что обязательно перейдёт жить в коммуну… а вскоре его взяли, а затем и мы переехали в Сибирь.

Но связь между нами продолжалась, хоть изредка, я писал ему о интересовавшей[58] его судьбе и жизни коммуны и хоть изредка узнавал о его жизни из его писем к друзьям.

Первое время после их ареста наступила тревожная неизвестность, где они и что с ними? Затем поступили ещё более тревожные сведения о их встрече с тёмной, жуткой действительностью лагерей, где они решили сохранять своё человеческое достоинство и оказались в тяжёлом положении – казалось, что это конец. Об этом периоде их жизни надо бы написать подробнее, но за эти десятилетия в памяти всё почти стёрлось, а[59] писать неточно об этом я не считаю себя вправе.

Но всё же они выжили и далее их жизнь пошла хотя и в тяжёлой неволе, но в более спокойных и нормальных условиях.

Интересно, что почти все они, ранее никогда не занимавшиеся медициной, в лагерях работали при больницах и именно больше по лёгкой хирургии – различные флегмоны и т.д.

В сохранившейся от Вани пачке писем оказались несколько и моих к нему, выдержки[60] из которых я хочу привести здесь. Сначала мне это показалось неуместным в записках о Ване, потому что это было не о нём, а о нас, но потом я всё же решил поместить, потому что жизнь коммуны – это была та область жизни, которая была очень близка Ване и он был бы с нами, если бы не увела его дорога в другую сторону. Ваня знал близко многих из наших людей, ему были близки наши интересы. Я не мыслю его вне этого, считаю, что описание нашей жизни имеет отношение и к нему и поэтому пишу.

Открытка от 25/VII 1930г.

Адрес: г. Кемь. УСЛОН ОГПУ.

Заключённому прибывшему 7/X 1929г. Ивану Прокофьевичу Баутину.

«Милый, дорогой Ваня, как-то ты жив-здоров? Шлю тебе из коммуны свой привет. Я только недавно (18/VII) вернулся из 2 $^1/_2$[61] месячного путешествия по Ср. Азии и Сибири. Нашли мы себе земли для переселения на 1000 душ. Недалеко от Кузнецка места[62] очень красивые и хороши для хозяйства, только зимы крепковаты. Часто вспоминаю вас, но за всё время это только вторая открыточка на твоё имя, совсем закрутился. Желаю тебе бодрости[63] духа и сил телу. Всего доброго. *Борис Мазурин*».

Письмо от 27/XII 31г. из Москвы.

«Здравствуй, дорогой Ваня, не знаю, вспоминаешь ли ты меня, но об вас я думаю часто. За это время на мне лежало столько забот, что я совсем закрутился в делах материальных, то беспокойный последний год жизни под Москвой, то хлопоты о переселении и ликвидации хозяйства, самый переезд, обоснование на новом месте, приток людей, трудности материальные, внутренние, внешние, и заботы, заботы, заботы без конца… и вот в этом котле я и варюсь уже несколько лет. И сейчас опять то же. Приехал я в Москву хлопотать перед Центром, так как местный Р.И.К. нашу коммуну распустил (на бумаге, на деле же мы живём полным ходом). Причины роспуска, конечно, ясны – непонимание того, что мы не можем поступать против совести, что мы не можем согласиться в нашей школе ввести военизацию и т.д. и т.д. … Беспокойна, трудна наша жизнь, но захватывающе интересна и полна. Наша жизнь сейчас же надуманность, а живой поток вопросов, каждый день становящихся ребром и требующих ясного разрешения и последствия решений такие жёсткие, суровые, что решать приходится серьёзно.

Особенно дорого единство, которое наблюдается во всех важных случаях, несмотря на многочисленные трения в мелочах.

Не знаю, писать ли, думаю, что тебе известны наши природные условия. Мы на предгорьях Алтая. На границе безотрадной, бесконечной сибирской равнины и гор и тайги. Посёлок наш на самом берегу реки Томи, быстрой, прозрачной и красивой. Посёлок наш стоит лицом к реке, спиной прижался к[64] горам (или вернее их назвать холмы, гривы). На этих-то горах наши поля разбросаны кусками, по более ровным местам, а по склонам богатая трава, которую мы косим. Зимой мороз до 50°, летом – жар до 50°.

Много солнца яркого, тёплого и летом и зимой. Это скорей Украина (по солнцу), чем Московия. Даже арбузы вызрели прекрасно.

Наша коммуна доходила до 525, теперь же около 450 душ. Кроме того, Сталинградская община была душ на 200, теперь она распалась на несколько кучек, и уральская артель тоже душ на 200. День отдыха у уральцев – воскресенье. Летом в этот день, доселе пустынные горы и берег реки оживают. Принарядившийся народ кучками бродит везде, звучит музыка, песни, беседы.

Несмотря на все трудности, я очень доволен переселением и не жалею о старом насиженном месте, хотя с ним связано так много воспоминаний, но новое дело такое интересное, живое, исключительное в наше время, да и во все времена[65] (попытка свободной жизни)[66].

Ты уж извини, что я расписался всё о себе, о тебе же я рад буду узнать письмом, если соберёшься написать. Читал вчера письмо[67] Вани С. Уару, большое, интересное, радостное. Он, несмотря ни на что, бодр и радостен и полон жизнью.

Пиши, если надумаешь, мне[68] по адресу: Кузнецк Сибирский, почт. ящик 4, Коммуна “Жизнь и Труд”, мне.

Всего тебе доброго, крепко целую. *Борис М.*»

В письме от 19 мая 1933 года я писал Ване: «…сейчас меня встревожила и заставила писать тебе весть о твоей болезни. Так досадно, что она удерживает тебя на месте, когда[69] ты уже получил возможность уехать. Ото всей души желаю тебе перенести и это испытание и быть снова с нами. Сначала был слух, что ты, да и Ваня С. по освобождении хотел ехать к нам в коммуну, это было бы так хорошо, но потом ввиду слабости твоих лёгких, ты, кажется, намечал себе юг.

…Может быть, ты хоть лето пожил бы у нас, а на зиму поехал бы куда потеплее. Очень мне хотелось бы, чтобы ты пожил у нас в коммуне. Столько увидел бы знакомых, много нового и интересного. Жизнь в коммуне, несмотря на все трудности и препятствия, всё же налаживается, хозяйство крепнет и внутренняя связь тоже…».

Но так и не привелось Ване побывать в коммуне, увидаться с нами. Болезнь осилила его и он умер.

Вот что писала мне Соня Р. о его последних днях и обстановке, окружавшей его.

«Москва[70], 25/IX 33 года.

Боря, …я тебя не поблагодарила ещё за твою помощь и содействие в моём отъезде из Москвы. Благодаря тебе и Васе[71] я так великолепно добралась до вокзала и уехала со столь громоздкими вещами.

Давно собиралась тебе я писать, ещё до получения от тебя письма. Я ведь знала хорошо, что судьба наших близких друзей тебе не безразлична. Но всё это случилось потому лишь, что там, на севере, я задержалась очень долго, два месяца, а по приезде домой я сразу впряглась в кухонный хомут, целиком одна, а Анну Григорьевну отпустила в отпуск месячный. А оставшись одна, впору справлялась[72] со всеми обязанностями, а письма откладывала день ото дня. Хотелось ведь писать много, а для этого трудно было выкроить время. И так прошло с тех пор два месяца, как я вернулась с севера. Но, несмотря на ушедшее время, в душе моей так ново и живо встают те образы, много пережитого в тех исключительных, редких условиях лазаретно-лагерной жизни. Но только теперь всё это воспринимается с другим оттенком, чем тогда, но это потому, что во мне больше говорит чувство, чем рассудок, а тогда я была вдобавок слишком усталая физически, от неудобств и затруднений, которые встретила я там. …Эта поездка вся целиком дала мне многое душе моей, из этой поездки я вынесла бесконечно много, как тяжёлого переживания, так и радостного, светлого и ободряющего чувства, что именно даёт сил и в дальнейшем жить и радоваться жизнью и бороться со всеми тёмными сторонами её.

Эта поездка мне оказалась ещё очень сложной с формальной стороны и все неожиданные преграды одолевала лишь своею упорностью и настойчивостью.

Сойдя с поезда, я не имела той прошлогодней возможности идти в лазарет, а тут же была задержана опер. постом. Выяснилось, что в лагерях карантин и свидания всякие всем воспрещены из опасения занести тиф, что свирепствовал на этой дороге.

Мне предложили немедленно уехать обратно со следующим поездом, но я упорнее их оказалась.

Целые сутки не двигалась с места, пока не покорила сердца охранников и вымолила разрешение вступить в лагерную территорию, пройти в отделение, просить о свидании.[73]

Там новые мытарства и переживания встретила. Выяснилось, что свидание разрешают только с освобождённым, когда его вытряхнут за лагерную черту, как ненужную уже вещь, – бери остатки жалкие человека, изуродованного тяжёлым трудом. А Ваня фактически не был освобождён и мне пришлось добиваться рассмотра его дела. С каким трепетом и волнением я следила за человеком, который щёлкал по счётам, посчитывая дни зачёта рабочего. От этого зависело моё свидание, решалась судьба, хватит или нет дней ему, есть ли отработано в лагере им по сроку. И к ужасу, их[74] не хватало, потому что Ваня, как больной, был лишён зачёта, и, казалось, свидание моё рухнуло. Но я опять проникла к начальнику и всё подробно объяснила ему и он подарил три дня свидания, но предупредив, что его я лично не увижу, не пропустят в лазарет, а покажут в окошко только.

Помню, с какой радостью бросилась я бежать к лазарету по узкой, топкой дорожке болота.

Были сумерки, шёл снег и дождик, несмотря, что май был на исходе, там всё было мёртво. Озера все покрыты льдом, деревья голые. Дул холодный ветер, пронизывающий меня в холодном плаще насквозь. Внизу в ущелье шумела и плескала река Выг, а на обрыве её виднелись огоньки лазарета, куда и стремилась я всем существом своим.

Я знала, что Ваня ждёт меня давно, ему сообщили о моём приезде, так как я встречала знакомых, толкаясь в отдалении.

В лазарете оказалось всё проще. К Ване все относились очень хорошо и узнав, что я его сестра, сразу провели к[75] главному врачу, которого я раньше знала.

Он рассказал ту опасность, что ждёт его, сделал распоряжения не препятствовать моему свиданию и допускать меня в любое время и сам провёл меня в палату. Они были с Ваней товарищи и друзья по работе, а поэтому он помог во всём.

Ваня был подготовлен и встреча наша произошла спокойно, сдержанно, без слёз и волнений.

Вид его был ужасен – худой, глаза ввалились, только лоб высокий виден был. Но он с такой жадностью и интересом стал расспрашивать обо всех. И я и он позабыли о настоящем положении.

Его интересовало всё, все мелочи, вплоть до бланков В.О., он их где-то припрятал.

Так провели часа два, потом я вижу, как он меняется в лице, как тухнут его глаза и тают силы, говорит с трудом. Потом речь оборвалась вздохом глубоким и кашлем, и, как-то особенно глядя на меня, точно ребёнок ищет сильной поддержки, так и он чего-то как будто ждал, точно физической силы, заступить за него, вырвать его из той бездны и увести.

– Ах, Соня, Соня, ты рано приехала. Я знал, что ты приедешь, но не теперь я ждал, а попозже[76]. Ты видишь, какой я стал никудышний, а я ведь свободен и мог бы ехать, но ты не справишься со мной, да я и сам таким не поеду. Придётся задержаться мне здесь пока, а как хочется теперь мне вскочить самому и поехать с тобой туда, к друзьям в Москву. Ведь я жил этой мечтой все эти долгие четыре года. И оно как будто пришло, но ехать не могу. Теперь иные силы меня удерживают тут, другая власть приковала меня к постели вот уже три месяца. На судьбу я не ропщу. Воля пославшего нас в этот мир.[77] Я готов на всё, но всё же очень хочется пожить среди друзей, хоть немного повидать всех. Ведь я так долго был физически оторван от них. Душою я всегда нераздельно жил со всеми, хотя и не общаясь письмами с некоторыми, но душою жил, помнил, ощущал их любовь и этим жил. Настал мой час, но мечта обманула, но ничего, всё хорошо, всё.

И чувствуется ещё его внутренняя работа над собой.

Я готова была реветь, но помнила, что я не за этим ехала и с трудом удерживалась. Я отдала ему письма, от которых от пришёл в неописуемый восторг, что так много сразу и от многих.

Рассказала ему свой план поездки, что я теперь специально привезла продуктов для поправки здоровья и сама поживу здесь, покуда потерпят, потом поеду к Ване С., а оттуда опять приеду к тебе. Но он очень пригорюнился, – а вдруг я долго проболею, как тогда? Я успокоила его, что там, у Вани, я поживу, там другая обстановка, не так, как здесь, и вернусь к тебе тогда, когда нужно и возможно будет у тебя быть. Я видела его желание жить, его надежду на поправку, а смерть физическая стояла уже рядом с ним.

С тяжёлым сердцем я простилась с ним и ушла тою же тропинкой, откуда и пришла. В темноте я сбилась с тропинки и долго сидела на пне в бессилии, пока рассеялся туман. Вспоминался мне мой прошлогодний приезд, вспоминались его мечты, желание работать, с какой он был снят, желание его побыть на Алтае[78]. А теперь таким беспомощным, маленьким казался он и я[79] оплакивала его судьбу, так жаль его было бесконечно.

Путь мой лежал на станцию, много приюта у меня не было, потом меня пристроили в карантинном пункте, но там удобств было меньше, чем здесь, на станции; там клопы, холод, разбитое окно, в потолке дыра и мыши бегали. А на станции охранники взяли меня под своё покровительство, я подружилась с ними. Главное, приютили мой багаж у себя и меня зачастую приглашали к себе в кабину погреться и посидеть, так как зачастую к ночи столько заключённых освобождающихся приходило, что стоять приходилось на одной ноге, а о спанье и думать не приходилось.

Там начальство готовилось к празднику открытия этого знаменитого канала и ждали первого парохода из Ленинграда, а потому всех задержанных по спешной работе, пересидевших на несколько месяцев срок, сразу пачками освобождали.

И так, дни потекли моего свидания с Ваней. Я всячески старалась его развлечь, устраивала домашнюю обстановку. Ели с ним вместе около его постели, даже другие больные завидовали ему, а он хвастал шутя: – ну, теперь я уже дома. Ко мне все хорошо относились и я имела возможность готовить ему сама, а это ему казалось очень вкусным, хотя ел он очень мало, жалуясь на боль в кишках. Он ведь по-настоящему не знал своей болезни, доктор, делавший ему операцию, не сказал ему, а отложил на потом и Ваня очень не настаивал об этом.

При мне он как-то ожил, точно процесс болезни остановился и вдруг закралась надежда у меня на выздоровление. Всё это привезённое так много новых сил влило в него, письмами[80] он восторгался до слёз, продукты хвалил, верней, старался есть, хотел поправиться, а твоим письмом был захвачен так, что хоть вставать сейчас с постели и ехать на Алтай. Он стал мечтать,

что работать будет по своей специальности, а в свободное время физически.

– Только вот теперь мне выкарабкаться, – говорил он, – а там солнце, свобода всё залечат.

Отвечать на письма он уже не мог сам, хотя я и предлагала писать под диктовку, но он и от этого отказался.

Таким образом прошло шесть дней. Больше оставаться было рискованно, навлечь неприятность всем за просрочку ордера свиданья, а уезжать очень не хотелось. Очень было жаль оставить Ваню в таком положении, хотелось хоть немного пожить с ним, хоть чем-нибудь облегчить его участь, его страдания.

Он вообще не жаловался, мирился, но видны были страдания, голодная смерть тяжела.

Я сознавала, что я здесь теперь больше нужна, но и оставаться нельзя было. Я так сжилась с ними, со всеми в палате, я почти круглые сутки сидела около его постели, за исключением часа четыре спанья. Мы и говорили и молчали вместе, всё хорошо было.

Трудно и очень тяжело было расставаться, зная, что больше не найдешь его таким, а он, прощаясь, говорил, что увидимся непременно, приезжай только и тогда поедем в Москву. Он считал себя свободным, ему так врач сказал для поддержания энергии.[81]

Он кланялся всем, всем и просил меня непременно написать друзьям его любовь и благодарность за ту исключительную любовь к нему, а со мной уговорились, что я приеду по первому письму его. Я оставила адрес ему и ещё некоторым лицам – сообщить мне о ходе его болезни.

Некоторые сотрудники, узнав, что я уезжаю, оставляю его здесь, уговаривали меня забрать его во что бы то ни стало. – Как можно его оставлять этому дикому, холодному краю, который унёс его жизнь и силы. – Хоть час, на свободе пусть поживёт, хлопочите об освобождении его. Одна еврейка с жаром вступилась, что будь это её брат, она собрала бы всех евреев на помощь и всё-таки увезла бы его. Были и такие из людей верующих, которые толковали по-другому, что его надо увезти как жертву лагеря и этим напомнить братьям, отвлёкшимся от истинной жизни.

Но я совсем не была согласна с последними, а также не могла бы ничего сделать одна, если бы даже можно его было бы везти, но врачи не ручались[82], что я его могу довезти живым и не советовали этого делать.

Одним словом, я терялась и не знала, как лучше поступить. Мне и самой очень хотелось его увезти. Я видела его огромное желание ехать, но, конечно, не при настоящих условиях и силах.

И поехала я с разбитым сердцем, заливаясь слезами от своей беспомощности в безысходном положении. Казалось мне,[83] что другой кто-либо что-нибудь да придумал, а я ничего, еду одна, оставив его угасать в этом суровом краю.

Когда я приехала на Свирь, то здесь было тепло и даже жарко, а там только о тепле и мечтали все больные, этого им не хватало и многие уходят в вечность, больше не видя солнца тёплого и зелёных полей и лугов родных. Мне прямо совестно было греться на солнце, зная, что там нет тепла. Солнышко там светит, но не греет и ночи там почти нет.

С трудом я доплелась до своей хозяюшки, где я и раньше ютилась во время свиданья с Ваней Сорокиным и на этот раз он оказался там вблизи и мы в тот же день увиделись.

Так прошло десять дней, томясь и ожидая вестей. Пришло письмо от врача с просьбой Вани приехать, так как здоровье его хуже значительно стало и он просит приехать и больше не оставлять его, пожить, пока я нужна буду ему.

Я тут же поехала, даже не успела сообщить Ване С.

Но было поздно.

Вани не было. Труп был ужасен, я в нём его не нашла, а только почувствовала вне этой оболочки.

Хотя я заливалась слезами, идя за его гробом и над его одинокой могилой, но той внутренней горечи не было. Я чувствовала его счастливым, уже не нуждающимся в помощи.

Прошёл свой путь и ушёл в вечность, спокойно, безропотно, испил свою горькую чашу.

О похоронах писать не буду, так как ты уже знаешь, да и письмо очень длинным оказалось.[84]

Потом забрала его жалкие вещички и поехала одна, оставив его навсегда там, вернее, труп его, а он со мной. И только после

этой второй поездки, я только начала отдыхать у Вани С., вместе переживали утрату друга нашего.

Ваня выглядел хорошо, думаю, остался таким, каким был и раньше, только немного постарел от пережитого. Срок его совсем близится к концу. Куда его лагерная волна вынесет – не знаю, что дадут ему в итоге, трудно теперь судить, но мы, как люди, мечтали о многом, но судьба не в наших руках.

Жду с напряжением того дня, а писем, как нарочно, нет вот уже месяц. Он должен через два месяца быть свободен, если не прибавят за его поведение. Но воля Того, кто спасал его все эти четыре года, кто выносил из той пропасти, куда бросали его.

Боря Песков тоже в это время должен быть освобождённым. А Неаполитанский уже здесь недалеко от Москвы в Дмитриеве работает на Москанале, его туда перевели, как вольнонаёмного. Уарушка пишет, что пока хорошо живёт. Владимир Григорьевич ездил к Акулову, говорил о нём. Шура Кислов счастливее всех, он близко от вас и часто имеет личное общение с некоторыми из вас.

У нас всё по-старому, немного ветрено, как бы ненастье не нагрянуло. Ну, пока всего хорошего тебе и всем обитателям Алтая. Привет Тюркам, их жизнью интересовался очень Ваня В. и кланялся им очень. Привет и от Вани С., он тоже мечтает об Алтае.

С дружеским приветом *Соня*».[85]

Из[86] темноты и грубости человеческой жизни[87] вырвалась молодая[88] жизнь[89], стряхнула с себя вековой груз суеверий[90] и лжи, вспыхнула ярким[91] светом, освещая и[92] согревая вокруг себя и[93] вот в суровом, сумрачном краю, на берегу северной реки Выг, остался небольшой холмик, заросший травой, да[94] и[95] та могилка ныне затерялась.

Да, Вани[96] нет с нами, но он принял[97] смерть ради[98] исполнения[99] Закона жизни[100].

Б.Мазурин
(*подпись*)[101]
21 декабря 1966г.

Борис Мазурин
СТИХОТВОРЕНИЯ
1925-1962гг.[1]

Описание рукописи, подготовленное членом редколлегии «ГС», главным хранителем Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Ясной Поляне» Элеонорой Петровной Абрамовой:

Мазурин Б.В. Стихотворения. 1925-1962
Бумага, машинопись. 30,0 х 21,1; 14 л.
Инв. ДК-89

Машинопись на листах писчей бумаги формата А-4, сшитых между собой по левому краю белыми хлопчатобумажными нитками. В тетради напечатано 27 стихотворений; им предшествует вступление, датированное 3 декабря 1962г. Каждое стихотворение прокомментировано автором. Листы заполнены с лицевой и оборотной стороны, имеют владельческую пагинацию. Когда-то они долгое время были соединены скрепками. Следы от заржавевших скрепок остались на первом и последнем листах.

Л.1 – титульный; на л.14 – оглавление.

На верхней половине титульного листа напечатано: «*Стихотворения / Б.В.Мазурина / за период с 1925г. по 1962г. / вкл. с пояснениями автора*».

Вероятно, в 1989г. эту тетрадь Б.В. Мазурин собирался подарить Е.А. Гунаеву, своему единомышленнику из Тулы, бывавшему у него в Тальжине – на обороте л.13 дарственная надпись шариковой ручкой старческим почерком: «*Другу моему / Евгению Александровичу / Гунаеву в знак / душевной близости / на добрую память. / Б. Мазурин / 6-III-1989*». Но тетрадь почему-то осталась у Б.В. Мазурина. Через несколько месяцев на титульном листе появляется новая дарственная надпись: «*Дарю музею / Ясная Поляна / Б. Мазурин. 16.7.89*».

Вступление[2]

Много пережито мною в жизни, многое стёрлось или потускнело в памяти. Эти стихи – лишь кусочки из пережитого мною, как бы случайно уцелевшие, дорогие по воспоминаниям, фотографии, но только не образов, а событий, мыслей, чувств…

Эти стихи, конечно, очень далеки от того, чем должен быть стих, и я даже не знаю, почему я писал стихами; я мало заботился о рифме и размере, но почему-то нахлынувший напор мыслей и чувств сам выливался в такую форму, подобие стиха, – так он легче сохранялся в памяти, так как во всё время тяжких скитаний, по северу – неволе, хранить их было больше негде как в памяти.

Так я и записываю их сейчас, с трудом восстанавливая в памяти, без обработки, как они родились.

К каждому стиху я присоединяю небольшое пояснение, написанное уже теперь: где, когда, каким событием он был вызван.

Посвящаю я эти стихи коммуне «Жизнь и Труд» и друзьям коммунарам.

3 – XII – 1962г. *Б. Мазурин*[3]

СЕНОКОС[4]

С косогора зелёного,
гладко сбритого косой,
прогремим на телеге подмазанной
на широкий луг большой.
Жарко! конёк рыженький,
озорной, в скачки бежит…
мы с телеги ноги свесили,
сердце радостью дрожит.
Босоногие, беззаботные,
в этот день голубой,
мы с природою, лучезарною,
прозвеним одной струной.
Вилы длиннозубые
в копны рыхлые, душистые
с силою вонзим[5]
и, напружившись,
вёдру радуясь,
воз высокий нагрузим.
Стог широкий в основании,
только к ночи завершим,
и, усталые, но весёлые,
шумно к пруду побежим.

В сумраке длинной аллеи
к дому идём не спеша, –
бодро усталое тело,
жизнью трепещет душа.
Вспыхнул день и угас,
как под утро угаснет звезда,
и мечтою он будет для нас,
разукрашенный песней труда.

1925г.[6]

* * *

Летом 1925 года я окончательно бросил ученье и вступил в коммуну «Жизнь и Труд» под Москвой. Большинство её составляла дружная, трудолюбивая, весёлая молодёжь.

Жизнь была нелёгкая, суровая, полная лишений, но всё это переносилось легко, – не замечалось.

Труд[7] несли мы свободно и радостно, личной корысти не было никакой.

Один из таких дней всплыл у меня в памяти и вылился в стих, когда я сидел в одиночке Бутырской тюрьмы в 1925-1926 году.

УБОРКА КАРТОШКИ[8]

Под небом ласковым, не жарким, –
ведь «бабье лето» не июнь, –
поля раскинулись беспечно,
размахом смелым и большим.
Земля покрыта, как коврами, –
зелёным, чёрным, золотым,
жнивьё, картошка, озимые,
кустарник, луг и пруд за ним.
Над всем какое-то сиянье
и от небес, и от земли,
и паутин блестящих нити
для радости последней ткут пути.
А ветерок упругий, тёплый[9]
моею грудью завладел, –[10]

в неё вложил своё дыханье, –
и я быть ветром захотел.
И я был ветром беззаботным:
и без тревог, и без страстей,
и безграничным, и свободным –
я жизнью был и не искал путей.

* * *

Осенью 1925 года я заявил на призывном пункте об отказе от военной службы и, работая в коммуне, всё же чувствовал, что меня скоро возьмут. И красота осенней природы, которая скоро должна смениться зимой, и прелесть свободы, которая должна смениться неволей, сливались у меня в одно чувство и чувство это было сильное, полное, но вовсе не унылое и не тоскливое.

1925-1926г. Бутырка

В ОДИНОЧКЕ[11]

Узоры сучьев, липы чёрные
сплетались надо мной,
листы осенние, узорные
шуршали подо мной.
Ковёр прекрасней снежного,
багряно золотой, –
Прощай надолго!... путь мятежного
ты устилал собой.
Страда давно окончена,
уж нива[12] не шумит,
иная пашня вспахана,
иной посев манит.
Для мысли вольной, радостной
распаханы поля, –[13]
бросай же зёрна в землю…
пускай идёт зима.
Ветры с морозом сдружились,
сурово в вершинах шумят,
за день устали, люди замкнулись,
окна огнями горят.

Над миром ночь не спит холодная,
по лужам льдом зима звенит,
в пустых полях печаль разгульная,
а мысль свободная горит.
Один, в неволе, среди ночей бессонных,
я не боюсь к отчаянью придти,
далёко – близкие, сердец мне милых
горят зовущие огни.

1926г.

* * *

И вот, когда уже осыпались листья в нашем старом парке и всё было убрано с полей, за мною пришли.

Три месяца просидел я в одиночке Бутырской тюрьмы. Многие не выдерживали одиночки, были случаи самоубийства, сумасшествий, голодовки, безумные крики ночью, в ответ на которые весь корпус грохотал металлической посудой в железные двери, но я чувствовал себя там очень легко и радостно.

Я не замечал тяжести одиночки. Душа была заполнена чем-то большим,[14] светлым, радостным и не оставалось в ней места унынию, страху и слабости.

ПОСВЯЩАЕТСЯ А.С.М.[15]

Моя жизнь как струна натянутая,
от рожденья до смерти звучит,
то печальною, то ликующей,
но молчать – никогда не молчит.
Но однажды я помню мгновение, –
не забыть мне его никогда, –
испытал я заживо горение
и гореть так желал бы всегда.
Нет, не верю, скорей не горение, –
испытал бесконечный покой
и свободу, любовь, примирение,
и без горечи слёзы катились щекой.
Всё случилось без всякого повода, –

одинокий я был, молодой,
и смотрел без раздумья на облако,
что плыло в высоте голубой.[16]
Не забыть мне того состояния,
вновь стремлюся его пережить, –
бесконечную скорбь и страдания,
помогает мне это сносить.
Повторялись такие мгновения,
загоралась душа как заря,
словно не было тени сомнения, –
помогали мне в этом друзья.
Когда вижу я пахаря смелого,
положившего руки на плуг,
на всё в жизни спокойно готового,
во мне вновь загорается дух.
До конца доводящие борозду,
без рисовки, спокойно, без слов,
перед смертью не гнущие голову, –
с вами жить и страдать я готов.

1932г.

* * *

С первых дней своего поселения в Сибири,[17] коммуна зажила полнокровной, деятельной жизнью. Ещё не хватало жилищ, а уже была организована своя школа, в которой учебная программа соответствовала государственной школе, но учителя все были члены коммуны и естественно не могли внушать детям взгляды на жизнь, поступки, поведение, противоречащие нашим убеждениям. Специального предмета, внушающего детям какие-либо религиозные понятия – не было. И всё же местные органы власти не могли примириться с такой школой и несколько раз пытались её закрыть. И один раз объявили мне, как председателю совета коммуны, что если занятия будут продолжаться, то учителей арестуют.

Как сейчас помню – шёл я по улице нашего посёлка и увидел идущих мне навстречу Анну Степановну Малород (заведующую нашей школой) с её мужем, Павлом Леонтьевичем.

Когда я сказал ей о сделанном предупреждении, она опустила голову, на минуту задумалась, как бы заглядывая в себя, а потом подняла глаза, тихо улыбнулась и сказала: «будем продолжать». Так же решили и остальные учителя. Борьба за школу продолжалась. Опечатывали здание школы, коммуна находила другое помещение; отобрали другое, – занимались по домам; арестовывали одних учителей, – становились на их место другие.[18] За время существования нашей школы, в ней пребывали учителями:[19]

Малород А.С.,	Белоусов Ф.П.,	Белоусова Е.Т.,
Тихомирова В.И.,	Горяинова А.А.,	Красковский А.Е.,
Тюрк Соня,	Савельева Женя,	Толкач Оля,
Тюрк Гутя,	Литвинов Пётр,	Чернявский И.А.,
Тюрк Гитя,	Гуляев И.В.[20]	

* * *

На душе словно бури порывы,
ярких молний пугается тьма,
сердце чует святые призывы –
на работу выходят друзья.
Что ж, друзья, наша доля такая:
жить, стремленья души презирая, –
тяжело, легче муки терпеть.
От друзей, от семьи в путь суровый
вас уводят насилья штыки…[21]
этот путь нам, друзья, уж не новый,
на пути том могилы видны.
Не стыдитесь, друзья, что невольно
на глаза набегает слеза,
не от страха те слёзы, а больно –
люди вновь распинают Христа.
Мы[22] желаем вам бодрости духа,
мы желаем, чтоб свет ваш светил.
Мы так хочем увидеться снова…
Дай Вам, Боже, терпенья и сил.

1935г.

* * *

Прошло уже четыре года с тех пор, как на пустынный берег реки Томи стали съезжаться переселенцы, члены толстовских коммун и артелей.

За эти четыре года создалось и встало на ноги хорошее коллективное хозяйство, коммуна «Жизнь и Труд». Вырос большой посёлок с несколькими сотнями жителей, а главное создалась ячейка общества, основанного на новых началах – без[23] купли и продажи труда, без частной собственности, без принуждения и насилия, без вина и табака, без ругани, без воровства – свободное, разумное, трудовое.

Помимо увлечённого труда, жизнь была наполнена и духовными интересами; почти ежедневно по вечерам происходили какие-нибудь собрания – то производственное собрание, куда собирались охотно и много членов коммуны; то молодёжное; то учительское, обсуждающее вопросы воспитания, где участвовали многие, и родители, и просто члены коммуны; то философский кружок; то беседы на нравственные темы и о вопросах построения жизни коммуны; то пение; то дружеское общение, чтение писем от друзей со всех концов страны и мира.

Детей было много и с первых же дней жизни на новом месте у нас создалась своя школа.

Центральная власть до некоторой степени понимала нас, терпимо относилась к нашим убеждениям и поведению из них вытекающему.

За подписью М.И. Калинина из ВЦИК, а была секретная телеграмма руководителям Кузнецкого района – не препятствовать нашей школе, но местным[24] властям становилась поперёк горла наша необычная, – на их взгляд – жизнь и время от времени они устраивали процессы над членами коммуны. В апреле 1935 года были арестованы и осуждены: А.С. Малород, заведующая нашей школой, учитель Красковский К.Е. и члены совета коммуны – Савва Блинов, Слабинский Н.А., Наливайко Аф., Гурин Гр., Пётр Фат и др.[25]

* * *

Плугом железным, по чёрному полю,
мы написали – воля и труд!

к жизни свободной, без рабства, без власти[26]
все вместе ведём борозду.
Сердцем горячим приняли решенье –
взять направленье к добру.
На призыв к борьбе, против лжи, угнетенья[27]
бодро ответим – иду!
Наше стремленье – правда, свобода,
равенство, братство и труд.
Наша надежда – взаимная помощь:
все за одного и каждый за всех.[28]
На путь мы вступили…
возврата не будет…
вперёд[29] мы повинны идти.
Путь жизни узнавши, –
уж мы не слепые:
мы знаем добро в чём и зло.
Верные[30] братья! ликуйте – победа!
над нашей душою не властен никто –
ни смерть и ни власти
над нами не властны,
если мы верим в добро.

1934г.

* * *

Этим нескладным стихом мне хотелось выразить те чувства, которыми был переполнен[31], живя в коммуне.[32]

* * *

Буйный ветер гуляет по воле,
вкруг тюрьмы он порой зашумит,
сквозь решётку в окно вдруг повеет
и за ним моя мысль полетит.
Эх! наверно по нашему полю,
по хлебам, словно волны бегут,
а внизу под горами, по Томи
волны тоже и плещут и бьют.
Эх, приволье! а в камере душно,
я лежу весь в жару и в поту:

нет здесь близких, нет ласки участья,
но надеюсь и это снесу.
Мне б в коммуну, где дышит свобода,
полежать под колосьями ржи,
а в тюрьме здесь владычица – злоба,
сгусток крови, насилья и лжи.[33]
Я привык, как орёл, жить свободно
средь таких же свободных орлов,
и в неволе по воле тоскую,
но за правду терпеть я готов.
На душе моей всё же пытает
радость светлая, вера в добро…
Выше тюрем мой разум летает,
быть в неволе ему не должно.
Я и здесь за решёткой сумею[34]
жизнь, как благо, в душе ощущать –
лишь суметь бы владеть мне собою,
лишь суметь[35] бы терпеть и прощать.
Подаю на прощанье вам руку,
дорогие родные, друзья,
на неволю, тюрьму и разлуку
проводите вы песней меня.

1936г.[36]

В конце апреля 1936 года, 11 человек из состава коммуны «Жизнь и Труд» были арестованы и отданы под суд. Это были Егор Епифанов, Оля Толкач, Митя Пащенко, Гитя Тюрк, Дмитрий Моргачёв, Иван Гуляев, Гутя Тюрк, Анна Барышева, Яков Драгуновский, Борис Мазурин, Климентий Красковский.

Причина ареста и суда была – антигосударственное направление коммуны и свободная негосударственная школа. Очевидно предполагалось, что эти лица представляют из себя «головку», ведущую, по преступному пути, за собой «несознательную массу». Глубоко ошибочное мнение. Члены коммуны и до своего вступления в неё, и живя в коммуне, и после – каждый оставались сами собой, людьми сознательно и свободно идущими своим путём жизни. Изъятие этих людей не изменило направления жизни

коммуны. Понадобилось, в страшные 37-й и 38-ой годы, взять ещё человек[37] тридцать, чтобы к январю 1939 года перевести коммуну на устав колхоза и изменить её свободное толстовское направление.

Стих этот написан в камере Старо-Кузнецкой тюрьмы, где нас всех содержали по разным камерам; но мы все поддерживали связь друг с другом, и этот стих я сообщил друзьям. Раз, будучи на прогулке на тюремном дворе, я услышал, что из форточки второго этажа кто-то поёт далеко не музыкальным голосом; потом я стал разбирать слова – что-то знакомое: «мне б[38] в коммуну, где дышит свобода…», это пел Дмитрий Моргачёв. В это время та же камера, где он был, была уже переполнена жертвами репрессий – инженеры, партийцы, рабочие, шахтёры, – они все хором пели с Дмитрием эту песню.[39]

* * *

Метель седая бушевала,
Крутила[40] ветер низовой,
а за тюремною стеною
друзья теснилися толпой.
Мы за свободу шли в неволю,[41]
они пришли нас проводить,
своей горячею любовью
наш путь тяжёлый облегчить.
Холодной ноченькой сибирской,
свою оставивши постель,
вы, с песней бодрою и смелой,
пошли к друзьям, к тюрьме, в метель.[42]
И вот, ворота отворились,
нас[43] вывел из тюрьмы конвой,
а вкруг конвоя вы теснились
свободной, любящей семьёй.
Рыданья к горлу подступали –
мы не забудем никогда:
улыбки, слёзы и приветы,
чем вы дарили нас тогда.
Горят огни в коммуне милой,

горят зовущие сердца,
моя душа огнём пылает…
Над миром светится заря.

1936г.

* * *

После семи месяцев следствия и пребывания то в Старо-Кузнецкой тюрьме, то в 1-ом доме в Сталинске, после пяти дней суда, нас водворили опять в Старо-Кузнецкую тюрьму, но уже как осуждённых, в одну камеру, кроме Анны[44] Григорьевны Барышевой. Климентия отпустили ещё со следствия. Егор Епифанов, Оля, Гитя и Митя Пащенко были оправданы и ушли домой.

Наконец мы узнали о дне этапа. Узнали и в коммуне накануне вечером. Была ночь, метель, но коммуна всколыхнулась. Запрягли лошадей и кто на санях, кто пешком двинулись к Старо-Кузнецкой тюрьме с неизменными песнями. Когда нас вывели за ворота тюрьмы, там стояла большая толпа коммунаров, которых мы давно уже не видали и многих из которых мы видели этот раз уже последний раз в жизни. Особенно запомнился мне Николай Алексеевич Горяинов. Он стоял на пригорке, в тулупе, с большой белой, развевающейся по ветру бородой и прощально махал рукой.

СВИДАНЬЕ 2-ГО АВГУСТА 1936 ГОДА[45]

Сынок заплакал…
Он на свиданье ко мне один приехал,
с другими жёнами и матерями.
Осталась дома мама, –
она больна немного.
Дверь отворилась,
он вошёл в дежурку.
Там за барьером я стоял.
Ещё там были люди
военные, чужие.
В руках держал букет он
причудливых цветов алтайских,
и сам, как василёк,
под солнцем обгоревший.

Сынок вошёл и растерялся, –
не знал, что делать…
нельзя здороваться, нельзя поцеловаться,
куда девать цветы?[46]
Я запрет нарушил,
Подошёл к нему, поцеловал,
взял цветы.
Стал спрашивать – как дома?
что мама? сёстры?
Он отвечал.
Потом не выдержал
и голову склонил…
Я видел, как скатились скупо
слезинки по его щекам.
– «Свиданье кончено!»
Прощай, сынок!
иди скорей на волю,
к цветам, к сверкающей реке.
Расти и крепни,
чтоб[47] расцвести
свободы, разума и совести цветком.

Август 1936 года[48]

* * *

Шло следствие. Мы находились в Старо-Кузнецкой тюрьме. Иногда приезжали на свидание к нам наши близкие.

В одно из таких свиданий я вошёл в дежурку, у ворот, где бывали свидания и встал за барьер, ожидая увидеть жену. Вдруг дверь отворилась и я увидел восьмилетнего сынка Мишу.[49]

* * *

Душа моя взволнована
и возмущён мой ум,
покоя нет на сердце,
мне тяжело…
Хожу по камере,
как волк затравленный…
но вспоминаю –
жизнь – благо.

Благо везде и всегда.
Так выше облаков
всегда сияет солнце.
Зачем же я тоскую?[50]
подумал и стало легче.
Будто солнца луч
вдруг засиял.
Тяжесть дум упала.
Я принял[51] жизнь
как радость светлую.
Сильна любовь
и жизнь прекрасна.

* * *

Люди так привыкли, что есть тюрьмы, что можно человека взять и запереть в клетку, лишить самого дорогого в жизни – свободы, и всё это «по закону»[52], и им думается, что это так и должно быть, но душа человека чувствует и говорит, что *так не должно быть*[53]. Человек тоскует, всё в нём возмущается и протестует и лишь высшими свойствами человеческого существа удаётся победить эту тоску.

«Свобода не цель, а следствие, познаете истину и истина сделает вас свободными».

1936г., в одиночной камере Сталинского К.П.З.

МОЕЙ ЖЕНЕ[54]

Я эти дни затосковал…
Как будто после звёздной ночи
на всё упал густой туман
и вдаль напрасно смотрят очи.
Тюрьма гнетёт и дни бесплодны,
часы томительно текут…
на мысль налёг туман холодный,
слова горячие молитвы
души не жгут.
И по ночам я тосковал, –
бессонные тянулись ночи;

меня какой-то голос звал
в тот домик,
что на склоне кручи.
Коммуна спит, огни погасли,[55]
за труд награда – крепкий сон:
труды, заботы и печали
всесильно прекращает он.
Детишки спят, покой их светел,
не спит ещё одна жена,
как будто средь притихших вётел
стоит высокая сосна.
Ложись и ты, моя родная
усни, забудь свою печаль,
я тоже по тебе скучаю
и мне ребяток тоже жаль.
Но ничего[56]! пройдут невзгоды,
опять мы вместе заживём,
и будут дни, и будут годы,
а прошлое с улыбкой помянём.

Октябрь 1936г.

* * *[57]

Семьям нашим пришлось тяжело. Пока ещё была жива коммуна, все сообща несли общие тяжести. Когда же стал колхоз, стало нужным иметь «свой дом», «свою корову», «свой огород», работать на общей работе и от своего отдыха и ночи отрывать время для «своей работы». Дико. Было тяжело и непривычно. До сих пор не понимаю, зачем с такой жестокостью понадобилось переводить, успешно освоенную, высшую форму коллективной жизни, на низшую? И почему не сами трудящиеся должны решать, как им жить и как трудиться, а сидящие где-то далеко в кабинетах чиновники? Зачем отучать людей от сознательно и охотно принятых ими коммунистических навыков?

МИТЕ ПАЩЕНКО[58]

Ты что же братишка, так грустно стоишь,
к вагону слегка прислонившись?

какую ты думку крепко таишь,
головою печально склонившись?
Мы вместе с тобою сидели в тюрьме,
мы вместе терпели невзгоды,
тебя отпустили на волю, к семье,
меня осудили на годы…
Ну, что же, дружок, такая судьба,
не будем печалить мы душу,
и горе, и радость ведь с нами всегда, –
они от судов не зависят.
Мы жизнь понимаем как благо в себе,
мы блага того не лишились,[59]
но[60] всё же прощаясь с тобой,
в душе моей слёзы теснились.
Минуты свиданий, минуты прощанья,
минуты нахлынувших чувств, –
я эти мгновенья любви и страданья
жадно душою ловлю.
И с жизни как будто спадёт пелена,
всё ярко блистает пред взором,
и к истине крылья поднимет душа,
сомнения гонит с позором.
И[61] горе, и радость, и были, и мечта,
внезапно нахлынувши,
вдруг оживают.

* * *

Этот стих я так и не смог восстановить в памяти до конца. Нас провожали в этап. В числе провожавших был и Митя Пащенко, оправданный по первому суду. Но вскоре оправданных опять взяли и держали почти два года, пока нас опять всех собрали и опять всех судили покрепче.

ДОЧКЕ

Заплакала дочка, заплакала горько,
слезами мне грудь облила.

Не плачь моя детка, – я сам прослезился:
мне детская скорбь тяжела.
Ни годы неволи[62], ни боль испытаний,
я знаю, меня не согнут;
но детские слёзы, невинные слёзы,[63]
свинцом мою душу гнетут.
Когда я очнулся от тьмы суеверий,
когда перестал я насильно служить,
тогда я решился всю жизнь без сомненья
на благо людей посвятить.
На путь независимой мысли свободной
Я смело ступил и по нём я иду,
на нём я несу испытанья, лишенья
и радость на нём нахожу.
Не боль и не слёзы,
а радость в великой борьбе,
чтоб больше не лилися детские слёзы,
чтоб радостно жилося всем на земле.
Я верю, дочурка, уже ты большая, –
отца своего ты поймёшь,
своею душою мой путь оправдаешь
и детские слёзы утрёшь.
Твой папка не хочет, чтоб плакали дети,
твой папка не хочет чтоб плакала мать,
твой папка не будет людей сажать в тюрьмы
твой папка не будет людей убивать.
За великое дело свободное
свою жизнь без сомненья отдам,
не пугает могила холодная, –
пускай тело берёт,
а души я не дам.
Свези же, дочурка, в коммуну родную
от узников братский привет,
скажи, чтобы жили свободно, бесстрашно:
в страданьях за правду рождается свет.
И вы, мои дети, когда подрастёте
и встретите трудность в пути,

отца своего вы тогда вспомянёте,
что путь прокладал впереди.

1937г.

* * *

Когда мы были с Дмитрием Моргачёвым в одной из колоний под Томском, к нам на свидание приехали его дочь Тося и сын Тима. Они привезли, как всегда, душистых коржиков и письма от друзей.

При свидании Тося очень плакала.

Когда на другой день мы с Дмитрием валили стройные сосны на опушке леса, на меня вдруг нахлынули мысли, вызванные слезами Тоси. Я лёг на[64] ржавый мох, усыпанный сухими иглами и шишками, и сразу написал этот стих. Нескладный стих, как и все мои стихи, но он дорог мне, как запись тех чувств и мыслей, которые тогда наполняли нас.[65]

* * *

В тиши тюремной, тиши ночной,
я в[66] камере постылой, один с собой.
Хотя нас двое – я и я,
один, – что любит всё земное,
другой на жертву отдаёт себя.
Порой они не ладят меж собой,
порой – сливаются в одно.
Один лежу и чутким ухом
внемлю тишину.
Я тишину люблю…
когда под звёздным небом
ночь молчит,
когда в безмолвии глубоком
лес шумит;
люблю степей[67] живую тишину,
но тишина тюрьмы – мертвит.
И вдруг, средь звуков призрачных,[68]
ко мне плывут другие,
чуть слышные, но чёткие, живые:

– «два, пять», «четыре, три» и «три, четыре»,[69]
из звуков мерных
родилося живое слово:
– кто!
и вспыхнула душа,
и занялась пожаром:
друзья! друзья!
то их любовь прорвала стены
и слилася с моей.
После разлуки долгой
опять мы вместе, но уже не все.
Друзья! Нет, больше! –
нас сроднили –
жизнь общая, страданья общие:
мы сёстры и братья!

* * *

Пока шло следствие, нас всех держали по отдельным камерам. Томительное тюремное одиночество и вынужденное безделье. Большую радость доставляло нам перестукивание друг с другом, которому мы все научились. Иной раз томишься неделями, не имея никаких вестей от близких, и вдруг стена соседней камеры оживает, – раздаётся тихий, короткий, частый стук: это кто-то вызывает. Отвечаешь так же. Иногда после этого замолкаем, чтобы не вызвать внимание охраны, но уже знаешь – в соседней камере появился кто-то из своих. (В 36 году стучали только коммунары. В 37, 38, 39 годах, когда тюрьма переполнилась людьми «сталинского призыва», стучали уже многие). И вот, выбрав подходящее время, хотя бы когда раздают пищу в другом конце коридора и знаешь, что коридорный там, вызываешь опять: «тук, тук, тук». Ответ: «тук, тук, тук». И тогда обычное, первое слово: «2, 5», это – «к»; «4, 3», это «т» и «3, 4», это – «о» – «Кто?» и жадно слушаешь ответ, – с первых же букв фамилии угадывая, кто из друзей рядом.

Я не могу себе простить до сих пор, как однажды в Старо-Кузнецкой тюрьме, попав неожиданно на ночь в смертную камеру, я был поражён её убогим и подлым видом – кровать с ножками,

вмурованными в бетонный пол,[70] параша на замке крепко прикована к стене, и я, очевидно, струсил, хотя и не чувствовал этого тогда, и когда услышал тихий, тихий стук: «кто», – я не ответил и не знаю, откуда и кто стучал – или из соседней смертной, или сверху.

КОСТЁР[71]

У костра нас трое; тихо,
лес молчит,
лишь огонь, по сучьям
прыгая трещит.
Тишина[72] желанна, –
отдых для души,
а костёр мечтанья
разбудил в груди.
Что ж, что мы в неволе, –
мысли далеко,
пламенным восторгом
всё внутри полно.
Письма из далёка
принесли нам весть, –
мы не одиноки,
у нас друзья есть.
Пламенно горящие[73]
братские сердца, –
как огонь пылает
вся душа моя.
И, горя, сливается
С[74] душами друзей, –
вместе легче дышится,
на душе теплей.
Мне прожить так хочется,
как костёр сгорит[75], –
тело пускай тратится,
а душа горит.

Морякова, 1937г.

* * *

Километров 30, вниз по Томи, от Томска, есть посёлок Моряковка. Недалеко от него, в лесу, расположилась исправительно-трудовая колония от Томской тюрьмы.[76] Туда попали в 1937 году – я, Димитрий Моргачёв и Гутя Тюрк. Работа была – лесовал.

Чувствовали мы себя там хорошо. Вообще-то было голодновато: хлеба давали не более 800 гр., работа на морозе в глубоком снегу, но к нам несколько раз приезжали коммунары, привозили поддержку, в виде коржиков и проч., а главное – была духовная поддержка. Мы не чувствовали отрыва от коммуны. При свидании нам тайком передавали целую кучу писем – и от взрослых, и от детей-школьников, которые особенно писали Гуте, своему учителю. Эти письма мы приносили в лес, валили несколько стройных сосен, разводили хороший костёр из сухих смолистых сучьев, ставили котелок таять снег и читали письма.[77]

* * *

Доброе утро, друзья!
нас встречает радостный утра рассвет,[78]
к дню трудовому заря призывает,
бодрость и свежесть даёт.[79]
По белому свету, развеяны бурей,
далёко разбросаны мы,
но всё ж и в разлуке,
в далёких просторах, –
сыны мы единой семьи.
Не страшны нам бури…
Мы в бурях родились;
над бурями выше сияет покой…
надолго в разлуке,[80]
в тюрьме за решёткой,
живём мы единой душой.
Мы правду узнали,
к свободе стремимся,
порвали с насильем –
проклятьем веков –

и что б ни случилось:
не в силах вернуться
во тьму людоедских веков.

* * *

Этот стих написан тоже в первые годы нашего ареста, наверное, в одной из колоний вокруг Томска.

Уже доходили вести, что ещё многих и многих коммунаров взяли, но коммуна ещё жила.

1937-1938г.

РАЗЛУКА[81]

Опять я на краю разлуки…
и сердце полно жгучей муки, –
я в тупике перед жестокостью людской.
Кому? зачем? нужны мои страданья?
Товарищ мой, с которым мы делили
неволи годы, и радость, и печаль,
и корку хлеба,
и в зимний холод тела жар, –
здесь остаётся, меня… уводят.
Ещё в младые годы, расстался я
с отцом и матерью своею престарелой,
оставил с ними братьев я больных.
Оставил для труда
и для свободной жизни.
Оставил всё, с чем в жизни
связан был –
и тяжела была мне та разлука,
и на душе моей всегда лежит она
тяжёлым камнем.
Потом меня насильно взяли
от семьи другой,
не кровной, но бесконечно дорогой,
с которой духом я сроднился крепче,[82]
чем узы кровные роднят.[83]

Пошёл в скитания неволи
терпеть порывы тяжкой доли[84]
среди[85] людей несчастных,[86]
но чужих.
Быть может, в том моя вина,
что не сумел[87] я к ним
поближе стать,
но сердце просит единенья, –
лишь дух свободы и добра
нас крепко единит.
Лишь ты один,
Осколок[88] жизни общей,
делил со мной скитаний годы.
И вот – я ухожу один
и ты один остался.
По разным все рассеялись дорогам,
но путь наш всё равно один, –
к одной идём мы цели.
Но всё равно душой
мы будем вместе,
лишь было бы стремленье живо,
горело бы в душе
неугасающим огнём.

1938г. Тайга.[89]

Это было летом 1938 года.

Я и Дмитрий Моргачёв в это время находились в лагере, близ станции Тайга. Гутю увезли куда-то на Дальний Восток.

Многих в коммуне уже не стало в эти 37-ой и 38-ой годы.

Реже приезжали к нам на свидания. Двое поехавших к нам с передачами, Павел Леонтьевич Малород и Николай Денисович Красинский, были взяты по дороге и погибли безвозвратно. Круг сужался[90]. Тем дороже нам было быть вдвоём.

Двое – не один, – всё же мы ещё жили коммуной. И вот – этап! Медицинский осмотр. Меня признали 1-й категории, Димитрия 2-й. Меня берут, его оставляют. Мы оба идём к начальнику лагеря, просим отправить и Димитрия в этап – не могу; просим оставить

меня здесь – нельзя. И вот последнее звено коммуны было для нас разорвано. Меня увезли в глухие леса Коми С.С.Р., где шло строительство железной дороги на Воркуту.

Перед отъездом я залез на вторые нары в нашем стареньком бараке и написал сразу этот стих и оставил бумажку Димитрию. Потом за долгие годы забыл его, но он уцелел.[91]

* * *

Измучен годами неволи,
подавлен стенами тюрьмы,
я тяжко томился на воле
и замерли думы мои.
но путь испытаний не кончен…
я вновь у порога стою,
а что за порогом – не знаю…
быть может могилу найду.
О, Боже! не дай мне погибнуть
во тьме, разлучённым с Тобой,
дай силы мне тело покинуть
с свободной и светлой душой.
Усилием пламенным воли
В глубины души я проник,
и снова нашёл там опору
и радостно к ней я приник.[92]
И сердце болеть уж не стало,
легко, хорошо на душе,
тюрьма угнетать перестала, –
свободу нашёл я в себе.
И снова душа в единеньи
со всеми, кто правдой живёт;
не только теперь, но и прежде,
и с теми, кто после придёт.
Друзья! перед вами раскрыл я
всю силу и слабость мою,
а вы обо мне не жалейте, –
лишь радости всем я хочу.
Играйте с детями и смейтесь,
вдыхайте приволье полей,

иль песнею звонкой залейтесь, –
то памятью будет моей.

1939г.

* * *

Этот стих написан в одиночке К.П.З. «первого дома» в г. Сталинске. Он был как бы моим завещанием, так как я ожидал смерти, – ведь первый наш приговор был отменён прокурором республики «за[93] мягкостью» ещё в 37 году; и если бы нас пересудили в то время, то мало кто из нас остался бы в живых,[94] но тогда нас уже трудно было найти и собрать быстро. Кто был в Хабаровске, кто в Мариинске, кто в Тайге, кто в Коми С.С.Р., а кого, как Якова Драгуновского и Анны Барышевой, уже и вовсе не было в живых (расстреляны)[95]. Наконец, в сентябре 39-го года, меня последнего привезли из Коми С.С.Р. Объявили, что первый приговор отменён за мягкостью. И снова следствие, и снова 7 месяцев одиночки. Я был внешне спокоен, но внутренне страшно напряжён. Наверно не прошли даром арест и первое следствие 7 месяцев, суд, затем этапы, лагеря несколько лет, уже показавшийся вдали конец срока, – и вдруг снова следствие, снова месяцы одиночки и впереди ожидаемая смерть среди холодных и враждебных людей. Я не боялся умереть, но лишь бы не здесь, не в этих стенах. Стали донимать мысли о побеге. Со мной делалось что-то неладное, – то начинало покалывать в темени, то бросало всего в жар и пот, – я томился… тогда я стучал в дверь, просил дать мне таз и тряпку, мыл пол в камере. Немного погодя просил пустить меня вымыть уборную, и так немного разгонял напряжение. И вот появилось неотступное, мучительное желание написать стих и передать его друзьям. Карандаша и бумаги не было. Я собирал обгоревшие спички в уборной и писал ими на стене камеры, под висевшим бушлатом. Так прошли три мучительных дня и родился этот стих.[96]

Я его перестучал соседу Егору Епифанову, он дальше и записками через условные места его узнали все мои товарищи. Я просил их выучить наизусть и кто будет жив, потом передать его на волю, в коммуну.

И, удивительное дело, с этого момента произошёл перелом в моём душевном состоянии, – я стал совсем спокоен и бесстрашен.

Когда нам, после пяти дней суда, объявили приговор и развели по камерам, дежурный спросил меня: «ну, что?» – десять, – «хорошо, мы думали будет вышка». Только он закрыл дверь, стучит Егор: «как[97] я рад, как хорошо!». И я был рад, что мне дали 10 лет неволи.[98]

* * *

Растаял последний лоскут снеговой, –
мы вышли на вешнее поле,
священный в народе порыв молодой, –
трудиться для счастья и воли.
Доверчиво, просто, с открытой душой
друг другу мы руки подали
и дружно сплотились в семье трудовой, –
открылись широкие дали.
И рухнули тяжкие цепи оков
насилья и рабства меж нами,
и вольною песней вчерашних рабов
окрасился труд над полями.
Качались на солнце колосья хлебов,[99]
в наливе тяжёлом, богатом…
на плод беззаветных, упорных трудов
вдруг туча обрушилась градом.
Пустынное поле, печальный удел,
где тучная нива шумела,
грустят одиноко колосья кой-где,
качаясь[100] от ветра несмело.
Так доброе дело на ниве другой
насилием властным разбито,
подорваны силы, порыв молодой
и горечь измены испита.
Жестокая бездна страданий в тюрьме
неволей раздавлены годы,[101]
могилы товарищей тонут во мгле,
суровые семьям невзгоды[102].
Сквозь сумрак житейский,
в вершинах мечты,[103]

горит огонёк бестелесный,
нет места неверью –
не гибнут труды людей
бескорыстных и честных.

1940г.

* * *

Полуподвальная камера старой, строгой, Мариинской тюрьмы, а нам, хватившим уже 4 года неволи, одиночек, допросов, тесноты общих камер, дальних этапов, голодовок и тяжких трудов, унижения и оскорбления, – и теперь, после всего этого собравшимся, пусть не в вольной коммуне, а хоть в осколке её, нам было радостно. Короткие прогулки в маленьких деревянных[104] двориках, по круговой дорожке, гуськом друг за другом, заложив руки за спину, повороты по команде выводного и через две минуты: «кончай прогулку!», короткие оживления во время подачи пищи; остальное время мы беседовали, рассказывали по очереди свою жизнь, играли в самодельные шахматы, спали и… сочиняли стихи. Раз Митя Пащенко предложил мне совместно сочинить стих о коммуне. Он сказал первую строку, я – вторую, а дальше не помню – кто что. Одну строфу так и не мог вспомнить, но ещё надеюсь.[105]

* * *

Где вы? откликнитесь! смелое племя,
верных, бесстрашных за правду борцов;
или погибли вы в тюрьмах жестоких,
или не вынесли тяжких трудов?
Или вас глушат заботы житейские,
мелочи тянут ко дну?
Нету ответа! мрак всё сгущается!
мир превратился в тюрьму.
Не падайте духом, друзья, ободритесь,
мужеством вновь поострите сердца.
Злоба бушует, но вы не страшитесь, –
для истины вырыть могилу нельзя!
минуты упадка, минуты уныния

спасения нам не дадут; лишь те,
кто в стремленьях своих непреклонен,
победу в борьбе обретут.
Негаснущим светом сияет свобода
и разум бессильны штыки заглушить;
злоба погибнет, останется правда, –
давайте же правде одной лишь служить.[106]
Зачем же унынье, минутная слабость,
страх за телесную жизнь,
если мы знаем великую радость
духовным стремленьям служить.
Друзья! ведь могила нас ждёт неизбежная[107]
рано иль поздно – нам всем умирать[108]
так стоит ли, братья, из страха позорного[109]
свободную совесть марать.
Пред тайной глубокою смерти
растают все страхи земли,
ужасны раскаянья муки
за наши земные грехи.
Совесть и разум, свобода и правда
вечно сияли и будут сиять!
только трусливые, духом упавшие
будут в тоске свои дни доживать.
Смелые ж духом, свободные волей
радость и в бурях найдут;
с терпеньем пройдут сквозь огонь испытаний[110]
маяки для ослабших зажгут.

* * *[111]

1940 год. После второго суда, наш поредевший «братский круг» вновь ненадолго сомкнулся в мрачной камере Мариинского централа.

Сюда собрались мы после вновь пережитого семимесячного следствия, пятидневного суда при закрытых дверях и хотя полученные сроки были значительно больше первых, но мы чувствовали облегчение от наступившей определённости и огромной радостью было для нас собраться опять вместе, хоть и не надолго,

перед тем как разлететься вновь в глухие таёжные места дикого севера.

Нас держали вместе до получения ответа на кассацию (ответ мы узнали уже в Новосибирской тюрьме). К этому времени за 36, 37 и 38 годы, коммуна была разгромлена. Поддержка и связь почти прекратилась. Во время следствия в 39 году, мы проходили вновь по всем камерам Старо-Кузнецкой тюрьмы и Сталинского К.П.З. и всюду встречали мы «крови след», следы пребывания там наших друзей, взятых безвозвратно в 37 и 38 годах. Они пережили много тяжёлого, такого, чего не испытали мы. Их обвиняли в невероятных преступлениях – убийствах, терроре, восстаниях и т.п. и[112] требовали подписать под этим. Известно, что в то время применялись методы «активного допроса». Один из следователей, ведших тогда дела наших коммунаров, как-то проговорился нам, что – «крепкую молодёжь имела коммуна». Оправданные по первому суду Гитя Тюрк, Оля Толкач, Митя Пащенко и Егор Епифанов были в 37-ом году взяты вновь и ждали суда два года в переполненных до отказа камерах и были свидетелями всего «сабантуя», как называли тогда в тюрьмах творившееся.

Во время нашего совместного пребывания в Мариинской тюрьме, среди нас получилась какая-то стихотворная эпидемия. Я написал этот стих и другой совместно с Митей Пащенко – «растаял последний лоскут снеговой»; Митя Пащенко: «Широкие голубые просторы»; Гитя: «Пахнут утренней сыростью доски» и другие писали.[113]

* * *

Нет костра…
мороз и вьюга…
стыну я один.
Стынут мысли,
дух черствеет
под гнётом
тягостных годин.
Нет костра…[114]
огонь не греет…
сгину я один…

но ещё, быть может, тлеет жар
под пеплом пожарищ и седин?
но ещё, быть может, вспыхнет
пламя из костра,
и, быть может, вновь согреет,
как нас грел тогда.

5 – XII – 43г.

* * *[115]

1943 год. Уже семь лет как в неволе. На воле война. В коммуне погибли ещё, более десяти, из оставшихся верными себе, друзей. Связь прекратилась. Один. Здоровье потеряно. Едва движусь. Высох от голода. Надежды на возвращение почти никакой. И вот, холодной архангельской зимой, в неприятном бараке, на втором этаже грязных нар, рождается этот стих. После этого стихи замерли до моего возвращения.[116]

* * *

И всё-таки пришёл,
и всё-таки настал
тот день, которого дождаться
я уж не чаял.
В пучине рабства и страданий,
о дне палящем возвращенья
не раз я думал, –
то с безнадёжною тоскою,
то с жгучестью страданий,
то с скорбною покорностью судьбе.
От гнёта жутких лет неволи,
туман забвения вставал
и всё, чем прежде жил, –
все лица дорогие,
любовь, надежду, веру в братьев, –[117]
он холодно собою покрывал[118]
…И вот места родные
вновь передо мной.
Волнующие встречи,

сиянье глаз
и взгляд пытливый по лицу,
в изгиб морщин
и затаённую слезу
души[119], пораненной тоской
о тех, кого уж нет…
Я жадно всё ловил душой
и сердце отходило
и воскресало вновь в душе
всё дорогое.

Декабрь 1946г.

* * *

Восьмого ноября 1946 года, после десяти с половиной лет неволи, я всё-таки вернулся домой.[120]

* * *

– «Пустынное поле,
печальный удел,
где тучная нива шумела,
грустят одиноко колосья кой-где,
качаясь от ветра несмело…»
……[121]
И вот по улицам московским
Я вновь брожу,
но почему[122] ж теперь покоя
себе на них не нахожу?
Иду и вдруг покажется,
что старческой,[123]
но бодрою походкой,
там папа впереди мелькнёт
с своею седенькой бородкой…
и сердце чем-то крепко обожмёт
…и вздох ошибки,
а взгляд невольно стережёт…
– а, может быть, опять мелькнёт?

Но нет, напрасные надежды…
его уж больше нет средь нас.
В сиянии души бестрепетно угас,
благословляя жизнь за всё.

Декабрь 1946г.

* * *[124]

Осень 1946 года. Архангельская область, разъезд Тиме. Получив на руки документы об освобождении и о праве вернуться к себе в Сибирь, я всё же решил, рискуя вновь быть взятым, заехать в Москву, где от нашей семьи оставались живы ещё мать и один брат. Умер отец, погибли больные братья Миша и Шура.

С трудом, взяткой, взял я билет и сел в переполненный вагон поезда Архангельск – Москва. Сердце сжималось, – лишь бы доехать. И вот… я в Москве. В той самой Москве, где прошла моя молодость. Всё то же, но чего-то не[125] хватает.

НЕМОЙ[126]

Почему ж, почему!?
как душевно немой
я для мыслей своих
слов найти не могу?
Почему ж в глубине,
под натугой большой,
словно люди в тюрьме,
бьются мысли во мне,
как встревоженный рой?[127]
Сколько образов, дум,
чувств, стремлений, любви
себе выход найти не могли,
нарушая сердечный покой!
Почему ж, почему я немой?
– слышу, вижу, живу,
а сказать не могу…
и, измучен томленьем слежу –
что же будет со мной.

* * *

Вернувшись домой, в те места, где раньше была коммуна, я не нашёл уже коммуны.

Дома стояли на месте, но был уже колхоз. Не наши дома, а «мой»; не наши коровы а «моя»; не наши поля, а «мой» огород; не наша школа, а государственная; не наши учителя, а присланные, наёмные. И товарищей было мало, тех товарищей, которые одухотворяли нашу общественную жизнь, давали ей содержание.

Совсем было уже не то.

То, что встречались ещё немногие, уцелевшие от разгрома, не сломленные духом люди, делало ещё острее боль об утерянном. И дома, оставив маленьких детишек, я встретился с почти взрослыми людьми, пришлось знакомиться вновь, естественная связь была прервана. И сам я был помят, поломан, едва оживал от пережитого, и на душе часто бывали тяжёлые раздумья о своей жизни.[128]

* * *

Вы соль земли. Если соль теряет свою[129]
силу, её бросают под ноги псам.[130]
Мы – соль несолёная…
под ноги нас псам не бросайте,
мы сами под ноги злодеям легли…
ценою позорной – потерей свободы –
мы шкуру свою сберегли.
Нам нет оправданья!
Прощенья у Бога мы просим
и ты, брат свободный, нас не суди.
Мы верили твёрдо и крепко стояли
и смерти глядели прямо в глаза,
бестрепетно шли на страданья
и нас не пугали борьба и гроза.
Жестокое рабство, петлёю удава,
сдавило могучую грудь,
мы распяты были…

но крестные муки
тянулись десятками лет.
Бог смерти не дал нам,
мы ж силу в себе не нашли,
чтоб правду сказать[131]
и за то умереть.
Мы вынесть страданий
своих не смогли…
и воля сломилась,
стремленья угасли
и мысль притупила своё остриё.
Мы в мрак опустились
и жили как тени
и тяжкий кошмар
не давал отдохнуть.
О Боже! смой плесень мою,
верни чистоту
и радость, и лёгкость мне дай.
Дай взглядом открытым
и чистым глядеть,
угроз не бояться,
врагов не иметь.
Дай силы мне
ярко и светло сгореть.

3 августа[132]

* * *

Случилось невероятное – я остался жив, я вернулся, но мне было не легко. На каждом шагу я узнавал те места, живо вспоминал тех людей – прямых, смелых и честных, глубоко мирных, с которыми я здесь жил и которых уже не было в живых. И мне становилось стыдно, что их нет, а я жив. Почему так? что помимо случайности, во мне что-то приглушено, нет прежней полноты жизни, что-то смято. Я чувствовал, что я не живу «во всю», как прежде. И я сам взвешивал себя, пытался осмыслить всё и, если можно, выправиться, вернуть чувство полноты и радости жизни.[133]

* * *

Люблю туманы пробужденья
земли, окованной зимой
и солнца проблеск, и стремленья
проснуться к жизни
с прежней полнотой.
Люблю журчанье вешних вод,
и ветра южного порывы,[134]
весенних мошек хоровод,
и светлой[135] лёгкости приливы.
Рожденье жизни! дум рожденье!
какая тайна – глубина!
всё здесь серьёзно, величаво
и так правдиво до конца.

15 – II – 1950г.

* * *[136]

Колхозу «Жизнь и Труд» пришлось опять переселиться, с того места, где жила коммуна, на новое, голое место, за реку Томь.

Правление колхоза назначило меня бригадиром по строительству посёлка на новом месте.

Опять голое место, опять большая стройка с её заботами. Общий труд на общее благо. А тут ещё весна, которая всегда будит в душе волнующее, радостное чувство. Я записал этот стих, но не уверен, что он мой. Может быть, у меня в памяти бессознательно остался какой-нибудь Фетовский или Тютчевский и я записал его за свой; может быть, и так, но он отражал пережитое мною чувство, и я всё же записываю его сюда.

ОТВЕТ ДРУГУ[137]

Мой милый друг,
зачем ты слово жёсткое сказал
душою чуткою поэта,
зачем в безмолвие ушёл,
не выслушав ответа?

Звала набата злая медь,
и весь народ в кровавой муке был,
и я могу тебя понять,
что на своём стоять
уж больше не хватило сил.
Пусть, как комок,
могучею лавиной
ты был захвачен
и слился с ней…
Быть может, ты погиб бы в ней,
быть может, ты остался б жив,
но я б тебя понял бы и простил.
Но больно мне!
Душа не терпит!
зачем ты слово жёсткое сказал?
оклеветав себя,
оклеветав друзей,
всё дело светлое, борьбу святую
поставил под сомненье.
Зачем насмешкой проязвил
себя и тех людей,
что, в свете сил,[138]
пошли на смерть
с открытыми глазами,
затем, чтоб в мире не было сирот,
чтоб человечья не лилася кровь
под человечьими руками.
Не злая мать бездушного набата
звала тебя и нас,
а властный разум призывал
в так называемом «враге»
понять себя и брата.
И «там» набат,
и «там» несчастье,
и плачет каждая семья…
Другой язык, другие платья,
но в «них» мы узнаём себя.

Всё разное…
но лишь набат один!
обман один! один гипноз!
и боль невинных, жутких слёз –
одна!
и жизнь везде одна!
и отдавать её под ноги
злых людей – нельзя!
Мой милый друг,
Ты это знал!..
Зачем же ты сказал?...
зачем ушёл, не выслушав ответа.

23[139] *июля 1962г.*

* * *[140]

Этот стих явился ответом на глубоко взволновавшее меня и ранее неизвестное мне стихотворение моего хорошего друга и коммунара Гити Тюрк. Перенёсшего 10 лет заключения, но подорвавшего там своё здоровье и безвременно умершего. Его стих не вяжется с тем образом его, который живёт в моей душе, не вяжется со всей его поэзией; этот стих как бы не его, но он – его. И это так больно. Если бы он был жив, если бы поговорить с ним, я знаю, что он сохранил ко мне и к близким всё то же доброе чувство, – может быть, он объяснил бы мне, но так я не могу понять.

ЭТАП[141]

Обыски, крики, конвой…
по этапу меня угоняют,
распростился с проклятой тюрьмой,
а другая уже ожидает.
Я вышел из сумрачных стен,
полной грудью вздохнул –
и вдруг опьянел:
от воздуха, воли и солнца,
и место в вагоне занять поспешил,
где тускло светило оконце.

И в движеньи тюрьма!
рассекая простор,
мы неволю увозим с собой.
Вонь и грязь,
смех и плач, карты и драки,
а я от окна не могу оторвать
своих глаз…
всё смотрел бы, смотрел
на родные поля;
эти кустики с красной калиной,
как привольно растут тополя
над широкой речною долиной,
как высоко летят журавли,
издавая волнующий крик…
Как свободны они! а люди?
Как хотел бы я им отозваться
и подняться в свободную высь.
Как тот тополь, хотел бы я жить,
как дорога степная стремиться,[142]
и порою осенней своей,
как тот лес на горе, золотиться.
Нет! не правда, что скован законом,
я не в силах нарушить цепей
и, душою и мыслью свободен,
мчуся вдаль и быстрей журавлей.
Над полями надвинулась ночь,
и в затихшем вагоне темно,
а я так же сижу у окна,
но гляжу уж в другое окно.
Вспоминается…
тихая улица, травкой заросшая,
старенький, серенький дом,
берёзонька белая, ветви склонившая,
мальвы цветут под окном…
вольная жизнь трудовая,
доверие между людьми и любовь,
свобода и разум

и песня за песнею вновь…
а на нарах вповалку
тела и тряпьё, и в бреду
с уст, привыкших проклятья
одни изрыгать,
вдруг срывается нежное: «мама…»
Мне так больно,
хочу зарыдать…
Ах, зачем так испорчена жизнь?
Милые люди, очнитесь!

1936-1962

* * *[143]

Этот стих начал складываться в первые годы нашего заключения, когда мы за два года сменили чуть не 13 мест и бесконечное: «такой-то, такой-то, такой-то… с вещами» и суматоха, обыски, прощания, конвой, тревога в сердце: куда? вагоны, переходы пешком, и вновь необжитое место, где-нибудь в лесу, в тесноте, холоде, недоедании. В таких условиях трудно было записать и сохранить стихи. У нас их скопилась полная пачка на листочках, стихов наших коммунаров. Димитрий зашил их в вату своего рваного бушлата. И вот, при этапе в Нарым, их обнаружили и отобрали.

Тогда мы решили хранить их только в памяти. И начало этого стиха хранилось в памяти, а годы шли, память слабела и изменяла, но всё же кое-что осталось; и только теперь, в 62-ом году, когда всё пережитое в заключении кажется сном, я вспомнил, что мог, и записал.

* * *

Б. Мазурин
6 – III – 1989г.

Другу моему Евгению Александровичу Гунаеву в знак душевной близости на добрую память.

Б. Мазурин
6 – III – 1989г.[144]

К 100-летию Мирчи Элиаде

Каждый выдающийся исследователь вносит своё имя в историю науки не только собственными открытиями, но и теми открытиями, к которым он побуждает других.

Макс Планк

Анастасия Романова

К ЮБИЛЕЮ МИРЧИ ЭЛИАДЕ

В этом году отмечается столетие со дня рождения Мирчи Элиаде. Принадлежащий к личностям, во многом определившим лицо XX века, Элиаде известен российскому читателю в основном по отдельным, достаточно произвольно выбранным для публикации произведениям, по введённым им в обиход модным терминам «инициация», «сакральное» и по некоторым намёкам на неоднозначные моменты его биографии. Подробной и, главное, полной работы, посвящённой его жизни, способной представить сложную и во многом противоречивую фигуру (а подобные исследования существуют на других языках), мы, к сожалению, пока лишены. Занимаясь лишь одним из аспектов его деятельности – ведшимися на почти протяжении всей жизни дневниковыми записями и написанными на их основании мемуарами – я испытала на себе несколько лет назад подобный дефицит. Подбирая литературу и знакомясь с некоторыми зарубежными элиадеведами, я постепенно собрала достаточно объемистый материал по данной теме. С результатами поисков в библиотеках и хотелось бы ознакомить читателей настоящего сборника (разумеется, в сжатой форме).

Родился Мирча Элиаде 9 марта 1907г. в Бухаресте, в семье военного – капитана Иеремии, выходца из Молдовы, сменившего свою фамилию на Элиаде; мать была родом из Олтении[1]. Мирча – средний из трёх детей (у него были старший брат и младшая сестра) гордился таким «национальным синтезом», якобы предрешившим его склонность к молдавской меланхоличности, поэзии и метафизике, в сочетании с олтянской энергичностью. Некий провиденциальный смысл усматривал он и в созвучности своей фамилии с *«Гелиосом»* (солнцем) и *«Элладой»*, а имени – со славянским *«Мир»*. Первые детские воспоминания связаны с вынужденными переездами отца. Но в школу мальчик пошёл в Бухаресте. Здесь же он перешёл в один из лучших лицеев – Спиру Харет.[2]

Юноша рано привык к самостоятельности. Он проводил каникулы в Карпатах, спускался на лодке в дельту Дуная и даже выходил в море. В тринадцать лет, будучи на первом курсе лицея, Элиаде опубликовал в «Журнале народных знаний» («Jurnalul stiintelor

populare») свой первый небольшой рассказ, «Как я нашёл философский камень» (1921). В том же издании за три последующих года он поместил сотню мелких заметок – впечатления от летних поездок, энтомологические наблюдения, даже отрывки автобиографического «Романа о близоруком подростке». Несмотря на близорукость, юноша пристрастился к чтению. Случайно познакомился с мифологическими трудами Мюллера и Фрэзера. Стал изучать английский, чтобы читать Фрэзера в оригинале, и итальянский, чтобы читать книги Папини.[3]

С успехом закончив лицей, в 1923г. Элиаде поступает в самый престижный в Румынском королевстве Бухарестский университет на факультет филологии и философии, где упорно изучает философию и многие иностранные языки, издаёт и редактирует «Университетский журнал» и газету «Кувынтул»[4].

Уже в университете Элиаде задумывается над тем, что «...человек, даже европейский, – это не только человек Канта, Гегеля или Ницше. Что в европейской и румынской традициях имеются и другие, более глубинные истоки»[5]. Поэтому на последнем курсе университета он стал изучать герметические и «оккультные» течения (каббала, алхимия) в философии итальянского Возрождения. Это стало темой его диссертации[6]. Студентом Элиаде неоднократно посещает Рим, Флоренцию, Неаполь, общается с писателем Джованни Папини, о котором опубликовал несколько статей, с историками религии Витторио Маккьоро, Эрнесто Буонаюти, Раффаэле Петтаццони.

В Риме в библиотеке он читает «Историю индийской философии» Сурендранатха Дасгупты, где автор выражает благодарность махарадже Касимбазара, Маниндре Чандре Нанди, за предоставленную ему стипендию для занятий в Кембридже. Элиаде тут же решился написать обоим, обратившись с просьбой помочь ему в изучении индийской философии, особенно йоги, и упомянув о стипендии на два года. Три месяца спустя, возвратившись в Бухарест, он застаёт ответное письмо Дасгупты с согласием стать его наставником и сообщение махараджи о гарантированной ему стипендии на пять лет. В ноябре 1928г. из Констанцы Мирча Элиаде отправляется в Порт-Саид и оттуда, дождавшись самого дешёвого японского парохода, уезжает в Коломбо, чтобы поездом добраться до Калькутты.[7]

Отдавая по двенадцать часов ежедневно изучению санскрита (кроме бенгальского и тибетского, которые вскоре забросил), Элиаде ничуть не стремился стать санскритологом. Языки привлекали только как «новый рабочий инструмент», чтобы общаться и, особенно, чтобы читать. Дасгупта познакомил его с Рабиндранатом Тагором, и он несколько раз посещал писателя (даже завёл тетрадь, куда заносил всё связанное с Тагором, – она потом затерялась с частью бухарестского архива).[8] Летом на пару недель выбрался в Гималаи, на границу с Тибетом. Одевался и старался жить как все вокруг. Но в сентябре 1930г. из-за разрыва с Дасгуптой[9] он покидает Калькутту и направляется в Гималаи. Около семи месяцев проводит среди монахов, где в качестве гуру его обучает практике йоги Свами Шивананда, врач по образованию.[10]

По возвращению из монастыря Элиаде преподает в Бенарестском санскритском колледже и читает курс по истории современных религий в университете Вишвабхарата (Шантиникетан). Признанием высоких научных и духовных достижений молодого профессора явилось его делегирование Азиатским обществом Бенгалии на конгресс ориенталистов (декабрь 1930г.).[11] Живя в Индии, учёный активно печатается в научных журналах, таких как «Философский журнал» (Калькутта), «Религиозное обозрение» (Рим). На базе систематизации огромного материала, Элиаде защищает в 1930г. докторскую диссертацию «Сравнительная история техники йога».

Индийским впечатлениям посвящён сборник «Индия» (1934), они отразились в романах «Изабель и воды дьявола» (1930) и «Майтрейи» (1933; во французском переводе – «Бенгальская ночь»), в повестях «Серампорские ночи» (1940) и «Загадка доктора Хонигбергера» (1940).[12] Юношу более всего поразили живучесть традиции и ощущение личной свободы – неотъемлемой составляющей понятия иерофании, введённого в научный обиход именно Мирчей Элиаде. «Заслуга Индии в том, что она придала Мирозданию новое измерение – свободу существования», – записывает он в «Дневнике» 26 января 1961г.

Осенью же 1931г. он навсегда покидает Индию (куда намеревался вернуться) по настойчивому напоминанию отца о семейной чести в связи с грядущим воинским призывом.[13] Отслужив год переводчиком английского языка при зенитных частях, Элиаде вновь

окунается в науку – на гребне литературной славы, которую принёс ему роман «Майтрейи». За ним последовали «Возвращение из рая» (1934). В том же 1934г. был опубликован сборник эссе «Океанография».[14]

По возвращению домой учёный работает в родном Бухарестском университете в должности ассистента кафедры проф. А.П. Негулеску – читает спецкурс «Проблема дьявола в истории религий», ведёт семинар на тему «Разрыв причинности в средневековой буддистской логике». С 1933г. он уже профессор кафедры Нае Ионеску, одного из наиболее ярких представителей философской мысли Румынии.[15]

Здесь, в Румынии, помимо восточных доктрин, в мир Элиаде врывается новая струя – это исследования местной древней гето-дакийской культуры и её языческих культов. Это проявляется в названии издаваемого им религиоведческого журнала «Залмоксис», который представлен в трёх выпусках, вышедших с 1938 по 1940г.[16] По инициативе учёного в этот период создаётся группа «Критерион», на заседаниях которой обсуждались культурно-идеологические течения, связанные с именами Махатмы Ганди, Андре Жида, Чарли Чаплина, Ленина, Фрейда.[17]

1936г. отмечен выходом неоднократно переиздававшейся монографии «Йога. Опыт о происхождении индийской мистики», написанной по решению учёного совета на французском языке и изданной парижским издательством.[18] Параллельно продолжается литературная деятельность – появляются романы «Домнишоара Кристина» (1936) и «Змей» (1937), под редакцией и с предисловием Элиаде выходят два объемистых тома литературных и политических произведений крупнейшего румынского историка и филолога XIXв. Б.П. Хаждеу (1937). Задумана большая монография по естественнонаучным и физическим представлениям Востока – её первой частью стала «Азиатская алхимия» (1935), затем была опубликована «Вавилонская космология и алхимия» (1937).[19]

Учёный избирается также депутатом парламента Румынии, сотрудничая с Корнелиу Зеля Кодряну, однако его опубликованный в 1937г. роман «Возращение из рая» вызывает большие споры, и Элиаде уходит из Бухарестского университета и из политической жизни Румынии[20].

Когда для поддержания международного престижа страны правительство короля Карола решило привлечь к дипломатической службе ряд молодых университетских учёных, среди них оказался и Мирча Элиаде, направленный в качестве культурного атташе в Англию, куда он прибыл весной 1940г. После разрыва дипломатических отношений между Англией и Румынией в 1941г. Элиаде был переведён на должность культурного советника при посольстве в Лиссабоне.[21] Здесь он изучил португальский и собирался написать книгу о Камоэнсе, начал румынскую редакцию «Трактата по истории религий» и «Мифа о вечном возвращении», сумел опубликовать на родине «Миф о воссоединении» (1942), книгу «Салазар и португальская революция» (1942), сборник эссе «Остров Эвтанасия» (1943) и трактующие тему «строительной» жертвы «Комментарии к “Легенде о мастере Маноле”» (1943)[22].

После войны он решает не возвращаться на родину и перебирается в Париж[23]. Париж привлекал своими возможностями для научной работы, завершения начатого «Трактата по истории религий». Личный архив и библиотека стали недоступными: как он узнал позже из писем, часть переписки и рукописей пропала. Элиаде возвращается к жизни «бедного студента», сняв комнату в парижской гостинице, где самому приходилось готовить. Он сразу же окунается в интеллектуальную атмосферу послевоенного Парижа, общается со своими соотечественниками – писателями Эженом Ионеско, Эмилем Чораном. При их содействии Элиаде основал румынский культурный центр «Лучафэрул» («Luceafarul» – по названию одной из поэм Михаила Эминеску), в изданиях которого активно сотрудничал[24].

В начале 50-х годов Элиаде познакомился с творцом «западной йоги», или «алхимии XX века», как именовал свою аналитическую психологию Карл Густав Юнг. Они сошлись на конференции юнговского ежегодника «Эранос» в Асконе (Швейцария), куда Элиаде впервые поехал в августе 1950г.[25] Тогда же он встретил свою будущую вторую жену Кристинель. К Юнгу Элиаде затем приезжал регулярно вплоть до самой его кончины в 1961г. Жорж Дюмезиль, известный своими исследованиями по индоевропейской мифологии и осетинскому эпосу, предлагает Элиаде факультативный курс лекций в высшем учебном заведении Франции «Ecole des Haute

etudes».[26] Дюмезиль же рекомендует его издательству «Галлимар» и напишет предисловие к «Трактату по истории религий» (1949). Тем же издательством были выпущены «Техника йоги» (1948) и «Миф о вечном возвращении» (1949)[27]. Появилась возможность публиковаться и в других изданиях[28].

Смена языка, несмотря на лингвистические способности Элиаде, давалась нелегко: «Какое странное чувство меня охватывает, когда пишу на чужом языке!» [Jurnal 2004 I, 56]. Памятуя румынский опыт, вначале Элиаде побаивался писательской репутации, но в 1950г. «Галлимар» выпускает перевод «Майтрейи» («Бенгальская ночь»). Потом он опубликует трехактную драму «Ифигения» (1951, Мадрид), напишет романы «Купальская ночь» (во французском переводе – «Заповедный лес», 1955) и «На улице Мынтулясы» (1968, Париж), выпустит в Мадриде сборник «Новеллы» (1963) и свои «Воспоминания. I. Мансарда» (1966)[29]. После долгого перерыва выходит и в Бухаресте сборник «“У цыганок” и другие рассказы» (1969)[30]. И главное, в парижский период Мирча Элиаде подготовил и издал обобщающие труды по мифологии, обеспечившие ему прочный научный авторитет. Основные из них – «Шаманизм и архаические техники экстаза» (1951), упоминаемый во всех западных работах по шаманизму, «Образы и символы» (1952), «Кузнецы и алхимики» (1956), «Мистическое рождение» (1959; переиздан под названием «Инициация. Ритуалы. Тайные общества», 1976)[31] и др., не говоря о статьях в научной периодике.

Последняя из названных выше книг представляет содержание курса из шести лекций, прочитанных им в 1957г. в Чикагском университете в рамках престижных «Лекций Хаскелла». Получив предложение возглавить кафедру истории религий, освободившуюся после смерти Джоакима Уоча (J. Wach), который и приглашал Элиаде в Америку, он решает остаться здесь на четыре года и... остаётся навсегда[32]

В Америке Элиаде почувствовал себя (и не без основания) зачинателем нового научного направления. Если в конце 50-х годов в США было только три кафедры по истории религий, то к концу 70-х их насчитывалось тридцать, и половину из них возглавляли его бывшие ученики[33]. Однако ни американский образ жизни, ни научный стиль не были им приняты[34]. Центр Чикаго поражал гигантской

мощью, привлекали отдельные места в Бостоне, Нью-Йорке, Вашингтоне, Санта-Барбаре, нравился Сан-Франциско, особенно залив. В «Дневнике» сам признавался : «Почему не рассказываю в своих записях об американцах чаще?... Потому что американцы не интересны мне, разве что когда занимаются теологией». И через несколько страниц объясняет свою позицию: «Нельзя забывать, что у американцев ещё нет своей истории, корней. В культурном плане они всё ещё первопроходцы и эмигранты».

Здесь он не только преподает, возглавляя кафедру истории религий[35], но и издаёт ежемесячник «History of religious», что, однако, не позволяет говорить о прерывании связи с Европой, где в 60-е годы он сотрудничает с немецкими религиоведами, принимает участие в выпуске журнала «Autaios», издаваемого в Штутгарте.

В чикагский цикл работ учёного входят нижеследующие исследования: «Рождение и возрождение» (1958) – о сущности и загадке личного бессмертия; «Мефистофель и андрогин» (1962) – об онтологической загадке сверхчеловека, восприятии света и достижении сакральной целостности, об обрядах реинтеграции на примере многих религиозных учений Востока, современного европейского мира; «Миф и реальность» (1963) – о сущности мифа как сакральной истории; «Священное и мирское»[36] (1963) – краткий литературно-переработческий анализ-конспект более ранних работ, относящихся к восприятию сакрального времени и пространства, роли центра, символов, архетипов.

В 1968г. Элиаде был избран почетным доктором Йельского университета. Одновременно в 1966г. ученый был избран членом Американской академии искусств и наук, в 1970г. Британской и в 1975г. – Австрийской. В 1985г. кафедре истории религий Чикагского университета было присвоено имя Мирчи Элиаде.[37] Во многих странах поставлены памятники ученому (Дели, Кишинёв, Чикаго), многие колледжи носят его имя.

Скажем несколько слов о последних трудах Элиаде. В 1973г. вышло в свет его фундаментальное исследование «Введение в религию Австралии», трёхтомный труд «История религиозных учений и верований», последний том которого был издан уже после кончины ученого.[38] В предисловии к нему Элиаде писал, что исследование является главным трудом его жизни, начатом ещё в далёкую ночь

сентября 1940г. «Тогда я набросал план одной обширной и амбициозной работы, посвящённой мифологии и универсальной истории творческого происхождения мифов и религий» .

В Америке Элиаде, общаясь на родном румынском языке только с женой, продолжал вести на нём дневник[39]. Английский стал очередным рабочим языком профессора Элиаде.

Умер Мирча Элиаде 23 апреля 1986 года.

Основные идеи Элиаде как основоположника истории религии

Ключевая категория философии религии М. Элиаде – *сакральное*. Сакральное отнесено М. Элиаде к числу важнейших морфологических образцов, «паттернов» религиозного сознания[40]. Святое как онтологически первичная реальность имеет склонность к обнаружению себя в земном мире. Со своей стороны, человек, движимый «онтологической одержимостью», интуитивно стремится прорваться к первореальности сквозь рутину обыденного существования. Религиовед развивал мысль о том, что толчком к религиозно-творческой деятельности человеческого духа является иерофания (термин «иерофания» был введен М. Элиаде для обозначения акта обнаружения святого в чувственно доступной форме). Человек ищет знаки присутствия первореальности в самых разнообразных сферах существования: в «космических» явлениях (небе, земле, воде и др.), в процессах регулярности времён года, увядания и возрождения растений, в «биологических» формах жизни, например, в устройстве человеческого тела, в сексуальности. Предметы, обнаруживающие инобытие, становятся сакральными: «Проявляя священное, какой-либо предмет превращается в нечто иное, не переставая при этом быть *самим собой*, т.е. продолжая оставаться объектом окружающего космического пространства. *Священный* камень остаётся *камнем*; внешне (точнее, с мирской точки зрения) он ничем не отличается от других камней. Зато для тех, для кого в этом камне проявляется священное, напротив, его непосредственная, данная в ощущениях реальность, преобразуется в реальность сверхъестественную»[41]. «*Священное* и *мирское* – это два образа бытия в мире, две ситуации существования, принимаемые человеком в ходе истории».

Образы иерофаний и знания о священном человек прошлого запечатлевал в символах. «Символизм, – писал М. Элиаде, – играет значительную роль в религиозной жизни человечества; благодаря символам Мир становится “прозрачным”, способным “показать” всевышнее»[42]. Э. выделяет и описывает следующие классы универсальных мифологических символов[43]: 1. символы соответствия всего сущего трансцендентному прототипу («небесному архетипу») – мифы о происхождении ландшафтов, поселений, храмов; 2. символы «центра мира» как точки соединения областей имманентного и трансцендентного – мифы о «пупе Земли», о мировом древе или горе, о священном браке Земли и Неба; 3. символы повторения архетипического жеста в «центре мира» («imitatio dei», «повторение космогонии») – космологические мифы, изначальные ритуалы и обряды. Описывая последние, Э. контурно намечает свою теорию ритуала, центральное положение которой гласит: функция ритуала – устранение течения конкретно-исторического («профанного») времени и замена его временем традиции («сакральным временем»).

М. Элиаде подчёркивал, что ориентация на встречу с сакральным не исчезает с разрушением традиционного мифологического сознания и религиозного уклада жизни. В современном мире, западной цивилизации двадцатого века, большинство людей нельзя назвать в полном смысле слова религиозными. Homo religiosus является центральной антропологической категорией для Элиаде, подразумевая особый тип человека, для которого главное – подражание идеалу. Сам факт жизни наделяется религиозным смыслом, освящается и человеческое существование, и весь Космос. Религиозный человек является образом всего мира, микрокосмом. Религиозный человек «живёт в “открытом” Космосе и сам “открыт” в Мир»[44], приобщаясь к всеобщему; «для религиозного человека подлинное существование начинается лишь тогда, когда он включается в исходную первичную историю и берёт на себя ответственность за её последствия»[45].

Современному же человеку со школьных лет навязываются немифологические, но обязательные для подражания образцы. Их же человек приобретает в литературе и визуальной культуре. Принятие всем обществом некоторых символов (флага, гимна) интерпретируется как сохранение коллективного мышления. Праздники,

отмечаемые в современном обществе, показывают потребность человека в регулярном проигрывании определённых сценариев. Даже политические системы XX века, коммунизм и национал-социализм, Элиаде рассматривает под углом эсхатологических мифов (Маркс, по мнению Элиаде, приписывает пролетариату черты Избранного, Мессии, «страдания которого призваны изменить онтологический статус мира»[46]).

С явлением иерофании Элиаде связывает и мистическую алхимию, которой посвящено несколько его работ[47]. Алхимия рассматривается им в качестве эзотерического учения, одной из форм иерофании[48], духовной техники, в конечном итоге приводящей человека к спасению и освобождению. В них же нам встречается образ андрогина как совершенного человека. Например, в своей работе «Мефистофель и андрогин»[49] Элиаде описывает примеры андрогинов, встречающихся в разных культурах, не ограничивая исследование географическими и хронологическими рамками. Существо, в котором слиты оба пола, духовно перерождённое, совершенное – вот подлинный андрогин. Для описания андрогина Элиаде использует массу метафор, к примеру, сочетание несочетаемого, coincidentia oppositorum. Тем самым андрогинность становится лишь одной из сторон проблемы целостности. Момент постижения человеком тождества добра и зла, преодоление противоположностей, представляет собой выход на сверхличностную позицию, и мифы об андрогинах и восходящие к ним ритуальные практики имеют инициирующее значение (осуществляется выход за рамки непосредственного опыта)[50].

Такую же инициирующую роль Элиаде приписывает и йогическим практикам. Йога рассматривается им как «духовная переправа» между профанным и сакральным[51], сотериологическая практика, а йогин – как образ идеального человека. Йогин, как и шаман, начинает свой путь с того, что соглашается умереть для обыденного мира, с тем чтобы впоследствии «воскреснуть» на ином уровне существования.[52]

Труды Элиаде – по преимуществу *сравнительно-религиоведческие* исследования, суть которых заключалась в выявлении в «морфологии религии» устойчивых структур религиозного опыта (необходимо уточнить, что термином «религиоведение», Religious

studies и т.п. Элиаде предпочитал не пользоваться, передавая классический немецкий термин Religionswissenschaft английским History of religions[53], история религий). О.К. Михельсон пишет[54] об истории религий как о силе, которая с точки зрения Элиаде способна по-новому онтологизировать бытие современного человека, так как исследование традиционных и восточных культур поможет ему лучше понять себя и в конечном итоге выйти из экзистенциального кризиса. История религии получает у Элиаде, как пишет А.П. Забияко, «своеобразное психотерапевтическое приложение, направленное на восстановление целостности духовной жизни человека»[55].

Сравнительно-историческое изучение приводит М. Элиаде к установлению в истории религии двух типов: первый тип – *космические* религии, к которым М. Элиаде относит религии архаических обществ, восточные и африканские религии, дохристианские культы народов Европы, второй – иудаизм и христианство[56]. Космические религии пронизаны переживанием «космических» иерофаний[57]. Приверженцу космических религий сакральное обнаруживает себя в устройстве мироздания, в природных и биологических ритмах жизни, в мельчайших проявлениях бытия, ибо в этих религиях «космос во всей своей полноте – это *реальный живой и священный организм*». Фундаментальное отличие иудаизма и христианства состоит в том, утверждал М. Элиаде, что в русле этих учений сакральное получило не столько космическое измерение, сколько историческое: в последовательных актах теофаний сакральное первоначало вторгается в историю, задавая существованию мира начало и конец. В иудейском и христианском культурном сознании формируется новая картина мира, меняется представление о времени (с циклического на линейное). Иудаизм и христианство открыли человеку линейность и однонаправленность истории. Для христианина, как и для человека архаичного общества, время не гомогенно: оно делится на мирское и священное, причём последнее бесконечно, и бесконечно повторяется. Так, литургическое время и воспроизведение событий евангельской истории каждый год показывают, что мифологическое мышление не может быть исключено из христианства. В книге «Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторение» Э. в сжатом виде изложил суть своих философско-исторических взглядов[58] и сформулировал тезис о том,

что миф являет собой «священную историю» актов миротворения. Миф, по Элиаде, – прототип, образец любых людских обрядов и «калька» подавляющего большинства видов «профанной» деятельности.

Завершая краткий экскурс в категориальный состав философии религии М. Элиаде, следует подчеркнуть, что трактовка мыслителем основных категорий, как и его исторические ретроспекции, нельзя целиком относить к области сугубо академического религиоведения. Элиаде как мыслитель не связывал себя с определенной конфессией. В архаических мифологемах, восточном умозрении, интуициях христианской мистики, простонародном мирочувствовании Элиаде надеялся обнаружить единый источник подлинно религиозной жизни. Религиозный проект мыслителя – создание теологии без Бога, место которого заступает Сакральное.

Образ *дома* в мемуарах Элиаде

В литературном наследии Элиаде особое место занимает «Дневник» и созданные на его основе «Воспоминания». Охватывающий почти полувековой период, он представляет собой не только ценный фактологический документ, свидетельство об уходящей эпохе, но и художественно переосмысленное восприятие действительности. (К сожалению, «Дневник» и «Воспоминания» не издавались на русском языке. Представленные фрагменты переведены автором статьи.)

В «Дневнике» и «Воспоминаниях» много имён, дат, много фактов, которые как будто незначительны, но которые создают картину ежедневной жизни. На фоне подобного калейдоскопа выделяются несколько ключевых тем и образов, среди которых дом (жилище, т.е. «центр жизни») занимает настолько важное место, что даёт возможность выделить корпус текста дома Элиаде.

В этом тексте дома обнаруживается тесное переплетение реального и мифопоэтического смыслов. Однако целью данной работы является не воссоздание картины реального дома (хотя тексты мемуаров Элиаде изобилуют пространственно-временными деталями, позволившими бы это проделать), а выявление неких его общих структурно-типологических черт.

Попытаемся рассмотреть *дом Элиаде* с точки зрения его функций, выявить особенности организации внутреннего пространства,

выяснить семиотический статус элементов дома и принципы расстановки ценностных акцентов.

При рассмотрении любых тематических аспектов необходимо определить отношение к ряду вопросов, в частности, решить проблему авторской интенции. Речь идёт о том, в каком плане могут быть рассмотрены анализируемые факты и явления – в плане «вещности» или плане «знаковости». Тема знаков слишком обширна, чтобы говорить о ней вскользь, но общее отношение Элиаде к ним должно быть определено. Дневник Элиаде даёт однозначный ответ: «Добравшись до аэропорта Кеннеди, понимаю, что потерял очки для чтения. Забыл, наверное, в такси. Это, конечно, “знак” – но как его разгадать? Забываю в машине (=voiture) все, что написал важного за последние три-четыре года, и инструмент (=l’outil), с помощью которого я мог написать эти сотни страниц… Первые две расшифровки скрытых символов мне очевидны…» [Jurnal 2004 II, 119].

Подобный взгляд на мир как на сплетение знаков-символов, ждущих своей расшифровки, позволяет нам приступить к анализу текста, исходя из того, что «любая искусственно созданная вещь, обладает утилитарными и символическими свойствами <…>, т.е. потенциально может быть использована и как вещь, и как знак». [Байбурин 2005, 15].

При рассмотрении «жилищеописательных» текстов Элиаде обращает на себя внимание следующее: по сравнению с «Дневником» «Воспоминания», написанные десятки лет спустя, предоставляют более детальную информацию. Учитывая практически одновременность события и записи о нём в «Дневнике» и дистанцированность в «Воспоминаниях», можно было бы ожидать обратное. Дом детства подробно описывается в «Воспоминаниях» (запись сделана около тридцати лет спустя): «Дом на Страда Мелодией, 1 был разрушен в 1934-1935гг. и на его месте построено было шестиэтажное здание. Дом и сад располагались между тремя улицами: Мелодией, Домницей и Кэлэрашь. Главный ход был со Страда Мелодией. Входите в мощёный двор; направо сад, налево новое крыло дома, в которое попадаете, поднимаясь по нескольким каменным ступеням. Но там заходили лишь гости, во время оккупации расквартированные офицеры австро-германской армии, а после войны – квартиранты. Мы, вся семья и гости, поднимались по

другой лестнице, более скромной, которая вела в коридор галереи. В этот коридор выходили, слева, ванная, кухня, комнатка, ставшая позже родительской спальней, и столовая. Эта столовая находилась уже в новом крыле, которое включало в себя огромный салон, кабинет, комнату для гостей и две больших спальни. Справа в коридор открывалась дверь, ведущая в отдельную квартиру, состоящую из большой квадратной комнаты и ванной. Эти два крыла дома образовывали прямой угол, а между двумя сторонами его был сад, необыкновенно большой, для квартала, в котором он располагался. Он был окружен низкой цементной стеной, над которой возвышалась железная ограда в форме цепи. Кусты сирени, некоторые такие высокие и густые, что походили на деревья, образовывали в самом дальнем углу сада, там, где пересекались улицы Мелодией и Домницей, настоящие заросли. Там, за зарослями, находились скамья, кованые стулья, стол». [Memorii 1991]

В процессе постройки собственного дома (в нашем случае под постройкой понимается художественное освоение мира в форме написания мемуаров) воплощение получает фигура строителя, то есть в *творимом* выражается *творец*. Функции *дома* задаются человеком, его личными требованиями. Основное предназначение *дома Элиаде* – служить местом его работы: чтения и писания. Так, рабочая комната в бухарестском доме времен юности, заваленная книгами настолько, что из неё пришлось даже вынести кровать, представляется идеальным *домом* [Memorii 1991 I, 242], – и это поддерживается мнением самого авторитетного для Элиаде человека, его учителя: «Когда в 1927 году Нае Ионеску зашёл однажды меня навестить, он был восхищен: “Какая удивительная комната, специально для того, чтобы учиться!” – воскликнул он, подчеркивая слово “учиться”» [Memorii 1991 I, 242]. Такой *дом*, кроме утилитарных, обладает и вдохновляющей, творческой функцией. В «Воспоминаниях» автор, рассказывая о частых переездах, неоднократно выражал сомнение в том, что новый дом сможет создать особую атмосферу, чтобы не позволить художнику превратиться в «буржуа» [Memorii 1991 I, 299].

В литературе часто используется приём сравнения и даже отождествления *дома* и его хозяев (см.: «…важнейшим психопоэтическим феноменом равно в фольклоре и в литературе является

идентификация дома с личностью, либо репрезентация дома как личности…» [Й. Ван Баак 2005, 37]). *Дом Элиаде* персонифицирован почти всегда, он обладает своим характером и своей судьбой. Развивая подобный параллелизм, автор прибегает к универсальному сопоставлению / отождествлению *семьи* (единицы, структурно более сложной, чем человек) и *дома*: «На протяжении всего отрочества и юности, мамина семья представляла собой отдельный мир, неистощимо полный секретов, богатый неожиданностями. Это были, прежде всего, дома на бульваре Паке. Комнаты разных веков и стилей, начиная с большой комнаты, бывшей ранее столовой постоялого двора, а потом корчмой – тёмной, прокуренной, с низким потолком, со стенами, покрытыми копотью, пропитанными запахом вина, керосина и овчинных тулупов, <…> и заканчивая новыми комнатами в задней части дома, с окнами на восток, залитыми солнечным светом, с “современной” уродливой мебелью: с высокими кроватями, с маленькими блестящими шариками по углам. Потом были комнаты моих тётушек, связанные со столовой узким тёмным коридором. <…> Там начинался другой мир. Это был микрокосмос подушек и перин» [Memorii 1991 I, 21].

Поскольку дом и его обитатели тесно связаны, смена места жительства – почти всегда поворот в судьбе. Так, одна из самых эмоциональных страниц «Воспоминаний» посвящена расставанию со старым *домом* в Бухаресте. Сцена переезда сравнивается с похоронами. «Я двигался среди реликвий и воспоминаний – и знал, что вижусь с ними в последний раз. Складывал в ящики тетрадки и записи времён отрочества, пакеты с опубликованными статьями и стремительно проживал вновь всю сказку – мою и моей мансарды <…>. Я боялся расплакаться, упасть на разбросанные книги и оплакать детство, юность, молодость, всё волшебство моей мансарды, которое я похоронил сейчас своими собственными руками» [Memorii 1991 I, 292].

Основные элементы дома Элиаде и их значение

В процессе ведения дневника селекция материала, расстановка ценностных акцентов – это форма освоения автором мира, пространства, времени. В *тексте дома Элиаде* в мемуарах составляющие элементы *дома* неравнозначны: одни упоминаются практически в каждом описании дома, другие, несмотря на их наличие в

реальной жизни, не попадают в художественное пространство в силу их низкого семиотического статуса.

Иерархия различных элементов внутреннего пространства определяется принадлежностью к *центру* или *периферии* (прежде всего в семиотическом плане). В доме Элиаде *центру* соответствует место *рабочего* (письменного) *стола*: «Я <...> снял часть квартиры, <...> поселился там в феврале 1946г.; у нас было <...> три комнаты, почти пустые, и мы могли пользоваться кухней. К счастью, я нашёл письменный стол, на который взгромоздил папки и рукописи» [Memorii 1991 II, 84], «...Но я ещё не нашёл хорошего письменного стола. Работаю, как могу, за маленьким шахматным столиком, который шатается при каждом движении руки» [Jurnal 1993 I, 56], «…Чтобы поселиться, мне нужны были только кровать и письменный стол. <…> Письменный стол для меня нашла г-жа Перрис. К всеобщему удивлению, я иногда проводил за письменным столом весь день и большую часть ночи» [Memorii 1991 I,176].

Кроме *центра*, значима также рамка дома. Рамку составляют пограничные элементы, которые одновременно принадлежат *внутреннему* и *внешнему* миру. Среди них в *доме Элиаде* особенное положение занимает *окно*.

Семиотическое значение окна в *доме Элиаде* очень велико. Через окно обеспечивается проницаемость границ между *внешним* и *внутренним* [Цивьян 1978,17]. Порою, природа вторгается в дом через окно в буквальном смысле: «Я вспоминаю сцены осени 1956г. и зимы, весны 1957г. когда мы жили в маленькой квартирке на втором этаже... Белка заскочила в окно, когда Кристинель была в ванной, и начала возиться в коробке с конфетами в столовой. И, несколько недель спустя, эта же белка (или другая?), в наше отсутствие, проникнув в столовую через приоткрытое окно, не смогла выбраться наружу и начала грызть деревянный подоконник» [Jurnal 2004 II, 301]. Конечно, чаще *внешний* мир проникает в виде зрительных образов, воспринимаемых наблюдателем, находящимся *внутри*.

Обилие подобных описаний окружения *дома* не может не бросаться в глаза при чтении «Дневника»: «После обеда вновь в колледже. Мне нравится работать в этой тёплой и светлой комнате. В окно видна синяя гряда гор» [Jurnal 1993 I,513]; «Из окна его квартиры видно, как сады сливаются в огромный парк, в котором с удивлением

различаю купол церкви» [Jurnal 2004 II,472]; «Из окна видна, очень близко, река Коннектикут: голубая, величественная» [Jurnal 1993 I,551]; «У нас номер с террасой, на десятом этаже. Впереди парк отеля (с обязательным бассейном), справа видна река и остров Элефантин...» [Jurnal 2004 II, 243]; «У нас комната на последнем этаже, окно с видом на залив» [Jurnal 1993 I, 180]. Место окна может занять изофункциональный ему балкон, то есть элемент, также соотносимый с идеей входа, проникновения *внешнего* мира во *внутренний*, может быть, даже более чем окно снимающий противопоставление *внутреннего / внешнего* и обеспечивающий проницаемость границ: «Нашёл и снял квартиру <...>, она начинает мне нравиться. С балкона смотрю на сады домов, расположенных ниже нас» [Jurnal 1993 I, 309]; «С балкона нашего номера я взволнованно гляжу на остров Элефантин» [Jurnal 2004 II, 244]; «Пишу как каждый год, за этим столиком на балконе, и перед глазами у меня парк отеля Меджорато. Передо мной, окруженная огромными кедрами, большая магнолия...» [Jurnal 1993 I, 436]; «В Ривер Отеле <...> с террасы виден весь Рим, площадь Святого Петра и вилла Боргезе – она ближе всего, прямо перед нашими окнами» [Jurnal 1993 I, 327].

Окну в структуре и оценке *дома* придается определяющее значение. *Окно*, вид из окна способны примирить со многими неудобствами: «Обед в отеле (превосходно). И мы поменяли номер: у нас теперь огромное, на всю стену, окно, мы купаемся в свете» [Jurnal 1993 I, 509]; «В 1935 году, как я думаю, единственным “современным” домом был тот, в котором жили мы. Он особенно мне нравился из-за больших, во всю стену, окон...» [Memorii 1991 I, 336]; «Наша квартира была на последнем, четвёртом этаже; я выбрал её главным образом потому, что, кроме огромной столовой-холла и двух спален, там была просторная комната с окнами во всю стену...» [Memorii 1991 I, 293]. При этом обращает на себя внимание существенность размеров *окна*. Так, *окно* во всю стену снимает напряжённость противопоставления внутреннего / внешнего. При этом *окно*, обеспечивая выход во *внешний* мир, позволяет человеку оставаться в безопасности, поскольку речь идёт лишь о визуальной связи.

Раз в «доме Элиаде» мире *окно* – базовый элемент (или один из них), то и разрушение, крах *дома* выражаются в первую очередь через образ разбитого *окна*: «Временами то с одной, то с другой стороны

попадаются брошенные дома, с окнами без стёкол <…> Ужасное, угнетающее впечатление…» [Jurnal 2004 II, 311]. Образ разбитого *окна* придаёт несколько другой, дополнительный смысл изображаемому: из-за него *дом* – не просто нежилой, а мёртвый, бывший когда-то живым (отсюда и признание в ужасном, угнетающем впечатлении).

Сопоставление, параллелизм объектов микро- и макрокосмоса – распространённое в народной культуре явление, в частности, соответствие частей тела человека элементам макро- и микрокосмоса (дома). Это мы находим и в *тексте дома Элиаде*. Если в *доме* наиболее отмеченным элементом является *окно*, то в описании внешности человека такая же семантическая нагрузка ложится на соответствующий ему элемент – *глаза* (и то и другое объединяется *стеклом*; ср. также слепоту как признак *нижнего* мира, т.е. смерти). Одна из самых проникновенных страниц дневника (от 28 октября 1959 года) описывает душевное состояние при поломке очков. Очкам придаётся особое значение ещё и потому что были «последним материальным предметом, привезённым с Родины. Больше нет ничего, даже семейной фотографии» [Jurnal 1993 I, 335].

Мансарда

В структуре дома Элиаде особым статусом обладает *мансарда* (недаром одна из глав «Воспоминаний» названа «Мансарда»). В пятнадцать лет (в доме матери) в его распоряжении оказалась мансарда с отдельным входом, идеальное место для чтения ночами напролёт и для встреч и разговоров с друзьями. *Мансарда* родительского дома осталась вечной точкой притяжения: «Не мог представить себя в Бухаресте без моей мансарды на улице Мелодией. Я знал, что меня не будет в стране много лет, но был уверен в том, что, вернувшись, найду ту мансарду, в которой вырос, в которой свершилась таинственная метаморфоза, превратившая менее чем за десять лет “капитанского шалопая”, как называли меня соседи, в серьезного автора “Гаудеамуса”» [Memorii 1991 I, 155].

Описания *мансарды* соседствуют с оценкой её роли в жизни автора: «Эта мансарда очень много значила в моей жизни. Мне трудно представить, что бы случилось со мной дальше, кем бы я стал сейчас без этих двух крошечных побелённых комнаток, с маленькими окошками (одно из них было круглым, как на корабле), с кирпичной

печкой, которая топилась из одной комнаты и грела другую. Это было настоящим везением, что двенадцать лет своего отрочества и юности я провёл там, и особенно, что мог находиться там последние пять-шесть лет один» [Memorii 1991 I,191].

Благодаря этой своей изолированности *мансарда* становится у Элиаде идеальным рабочим местом, создающим тишину и одиночество, необходимые для творчества: «Я писал в основном по ночам, когда знал, что никто не придет и не постучит в дверь мансарды» [Memorii 1991 I, 259]. *Мансарда* противопоставляется не-мансарде, то есть любому другому жилищу: «Хотя в глубине души я чувствовал, что нигде мне не найти “атмосферы” моей мансарды, не мог себе представить, что мне удастся что-то “создать” в квартире на бульваре Динику Голеску» [Memorii 1991 I, 293].

Притяжение *мансарды* оказывается настолько сильным, что в других, последующих жилищах, Элиаде ищет черты утраченной, оставшейся в прошлом *мансарды*. Обращает на себя внимание то, что каждый раз при многочисленных переездах Элиаде фиксирует факт поселения на *последнем* этаже гостиницы, виллы или загородного дома: «У нас комната на последнем этаже» [Jurnal 2004 II, 97]; «У нас две комнаты на последнем этаже в отеле “Вилла-Италия”, который очаровал нас с первого взгляда.» [Jurnal 2004 II, 172] и т.д.

Даже в тюремном лагере, где в конце тридцатых годов Элиаде провел несколько месяцев, идеальным помещением оказывается именно то, что больше всего походило на *мансарду* (уединённостью и расположением на последнем этаже): «Несколько дней я мучился, пытаясь найти спокойный угол, переходя из одного помещения в другое, напрасно пытаясь писать. В конце концов, на последнем этаже я нашёл нежилую комнатку, в которой ещё недавно спал один из заключённых, тяжело больной туберкулезом <…>. Перенёс туда столик и начал в ту же ночь писать при свете коптящей керосиновой лампы». [Memorii 1991 II, 32].

Дом *и* псевдодом

Основная – охранная – функция *дома* подчас становится ему не под силу. Граница между *внешним* и *внутренним* оказывается проницаемой. Материальным воплощением внешней угрозы является *шум*. Шум – это проникновение *внешнего*, враждебного мира в

мир защищённый. *Стены* и *крыша* – символы основной, т.е. защитной функции дома [ИЭС 2003, 279], и именно они не выдерживают натиска в первую очередь: «Мы остановились в номере 17, и теперь, я слышал соседей с двух сторон. Когда работал, затыкал уши, и убеждал себя, что ничего не слышу» [Memorii 1991 II, 119], «Меня огорчило <...> открытие, сделанное на следующее утро: стены моей комнаты были ещё тоньше, чем в Отель дю Сюэд <….> Хозяин мне предложил работать в холле, в комнате по соседству с его кабинетом. Но там шум был ещё более невыносим: телефонные переговоры, крики из кухни, голоса и смех из холла» [Memorii 1991 II,133]; «Дома ждёт сюрприз: идёт ремонт в двух квартирах на первом этаже. Уже полчаса пытаюсь уснуть. Невозможно. Шум, стук в стены» [Jurnal 2004 II, 390]; «На закате добираемся до Отель Плаза. К несчастью, наш новый номер неудобный и шумный: беспрерывно доносится глухой металлический шум от лифта (и всё-таки, это что-то другое, потому что он продолжался беспрерывно всю ночь)» [Jurnal 2004 II, 538]; «Уже который раз слышу, когда улицы затихают, стук пишущей машинки, который доносится издалека, из другого здания» [Jurnal 1993 I, 14]; «Бессонница почти до четырёх утра. Снова слышу мышиную возню. Ищет, наверное, что-то поесть, ищет по всем углам.» [Jurnal 1993 I, 91]. Как видим, шум может быть *природный* (автор дневника был удивлён, когда в Париже ночью его разбудили совы [Jurnal 1993 I, 118]) и *культурный*. Для Элиаде как для городского жителя шум чаще всего урбанистический. «У меня бессонница – но утром меня будит разноголосый шум, доносящийся из этих огромных домов<...>. Кто-то слушает радио в восемь утра, или консьерж звонит во все двери, разнося почту; военные грузовики останавливаются прямо перед нашими окнами» [Jurnal 1993 I, 78]; «Каждый день после обеда, а иногда и по утрам, прихожу работать сюда, в мастерскую керамики<...>. Ужасный шум улицы здесь не слышен» [Jurnal 1993 I, 200].

Такой дом не создает ожидаемой от него безопасности, не укрывает от *внешнего*, враждебного, то есть перестаёт выполнять свою основную функцию и превращается в псевдодом; отсюда и бегство из него: «Мне негде писать. Стены здесь ещё тоньше, чем в Отель де Сюэд. Соседи слева, старушка с внуком, доводят меня до отчаяния. Они весь день дома. Просыпаются в семь утра и начинают громко

разговаривать, как будто по очереди отдавая команды роте солдат. Приспособился работать <...> в холле. Но и там ужасный шум» [Jurnal 1993 I, 207]; «Кристинель удалось поменять номер. Ужасная ночь. Почти не сомкнул глаз» [Jurnal 2004 II, 539].

Не часто, но всё же встречались на жизненном пути Элиаде и дома, которые полностью отвечали критериям «идеального *дома*»: «Обедаем в доме в деревне <...> огромные деревья, столетние тополя – и маленький ручеёк в глубине сада. Если бы можно было остаться на целый летний месяц в этом доме, под защитой этих громадных деревьев, вдали от мотоциклов и мотороллеров» [Jurnal 1993 I, 438]. Этот дом обладает всеми чертами идеального: он не вырван из хода времени, а принадлежит истории (столетние тополя); он защищён от злейшего врага – шума; природа окружает его, выступая в роли хранительницы (под защитой деревьев).

Вот другой идеальный дом (речь идёт о вилле в Италии): «Когда я вошёл в комнату, я не мог поверить в то, что мы только вдвоём будем жить здесь весь июнь. Просторная комната на третьем этаже, с террасой столь же просторной, всего лишь в нескольких метрах от Лаго Маджоре. Невозможно себе представить более подходящего места для отдыха и медитации, и, в первую очередь для того, чтобы писать. Лишь временами были слышны автомобильные гудки, доносившиеся с шоссе позади сада» [Memorii 1991 II, 136].

В заключение подчеркнём, что картина мира, которую мы попытались реконструировать по мемуарной прозе Элиаде на примере *дома*, оказалась не фрагментарно-мозаичной, но гармонично-единой. Единство *текста дома*, вскрытое на уровне функций и структуры, определяется авторской точкой зрения. Приведённый выше материал (который может быть значительно расширен) убедительно демонстрирует, что описания дома в различных произведениях Элиаде мемуарного характера позволяют выявить черты «универсального дома». В рамках данной статьи не столь важно (и возможно) дать исчерпывающий анализ. Гораздо принципиальнее возможность выявить некие основополагающие признаки.

Всё сказанное выше подтверждает принадлежность архетипа дом к числу самых прочных, постоянно актуализирующихся в разных жанрах (в частности, мемуарах).

г. Кишинёв

Елена Логиновская

МИРЧА ЭЛИАДЕ И ДОСТОЕВСКИЙ
(межвоенный период)

В истории Румынии так называемый «межвоенный период» – 20-е-30-е годы XX века – отмечен беспрецедентным оживлением общественной мысли и расширением культурных связей со всеми литературами мира. Не случайно он стал и периодом утверждения творчества Достоевского в румынском литературном сознании. Переведена часть его произведений; с другими румынские писатели и критики знакомятся в переводах. Ведущие писатели Румынии высоко оценивают талант Достоевского, говорят о его гениальности[1]. Противоположного мнения придерживается, из крупных прозаиков, лишь «прустианец» Камил Петреску; ему вторят критики-«синхронисты». В своём более чем закономерном стремлении преодолеть исторически обусловленное отставание румынской литературы, они проповедуют обращение румынских писателей к опыту их западных собратьев, в первую очередь – к литературе французской, представленной прежде всего Прустом. Ей они склонны противопоставлять пороки «устарелых русских сочинений», будто бы выдающих «наивности русского духа» и – при несомненной красоте воспетой ими «русской женщины» – навязывающих читателю слабого, больного, бессильного «героя русского романа». Психологический анализ, которым славна русская проза второй половины прошлого века, представляется им устарелым, выдающим склонность русских писателей к изображению «изломов и извивов русской души», к пессимизму, к воспеванию страдания, иногда – к утопизму и мистицизму. Естественно, Достоевский – с характерной для него остротой постановки «последних» вопросов бытия, утопическим пафосом и нестандартной, далеко не осмысленной и не освоенной ещё художественной манерой – оказывается в этих «сражениях» излюбленной мишенью.

Всё это обостряется особенно в 30-е годы, когда в румынском общественном сознании идеологические искания, проблемы, близкие к тем, которые волновали русского писателя, становятся жизненно важными. Творчество Достоевского привлекает теперь внимание румынских философов, теологов, культурологов. Отношение к

наследию Достоевского оказывается лакмусовой бумажкой, обнаруживающей подлинный смысл тех или иных пристрастий и навязчивых идей, разделяющей читателей на враждебные друг другу лагеря. Однако разделение это проходит далеко не прямолинейно. Показателен в этом отношении эпизод, объединяющий – и разводящий в стороны – трёх видных представителей румынского общественного и культурного сознания 30-х гг. – Михаила Себастьяна, Мирчу Элиаде и Никифора Крайника.

1

Поэт, журналист и политический деятель межвоенной эпохи, Никифор Крайник прочитал свой курс «Достоевский и русское христианство» на Теологическом факультете Бухарестского университета в 1932-33 учебном году. Не опубликованный в своё время, курс Крайника (после войны осуждённого и заключённого в тюрьму), распространялся в списках, приобретая «ореол тайны» (архиепископ Бартоломеу Анания) и оказывая сильное воздействие на восприятие наследия русского писателя широкими слоями румынской интеллигенции. Напечатанный в 1998 году[2] с предисловием архиепископа Анания, он снова упал на благодатную почву, питая долгое время душившиеся религиозные настроения, нередко выражающиеся сегодня в неистовых эксцессах.

Было бы ошибкой отрицать известную ценность и актуальность курса Крайника – не только для своего времени, но и для наших дней. Залог этой актуальности – не только в компрехенсивном подходе к творчеству Достоевского и чутком, опирающемся на ряд компетентных источников, анализе его отдельных произведений, но и в обращении автора к актуальным и сегодня идеям русского писателя о свободе и принуждении, чувстве (инстинкте) и разуме, религии и науке, вере и неверии. Вместе с тем анализ выявляет, а сравнение с Элиаде подчёркивает и отмеченность работы Крайника эпохой её создания и идеологической позицией автора, неблагоприятно сказавшимися на его трактовке многих сторон творчества Достоевского.

Пытаясь обосновать методологию своих лекций, прочитанных в рамках курса «Истории современной религиозной и церковной литературы», Крайник отправляется от места в художественном

произведении того, что его современники называют «теорией», а сам Крайник определяет как *мысль*. Талантливый писатель и чуткий читатель, он отдаёт пальму первенства художественной стороне изучаемого материала и, отделяя церковную литературу от религиозной, утверждает, что даже сочинения представителей этой первой «имеют не столько догматическое, сколько психологическое и моральное содержание»; тем более таким содержанием обладает литература религиозная, рассматриваемая как художественное творчество (поэзия, роман, философские размышления), «рождающееся стихийно, в атмосфере полной свободы, без контроля богословской дисциплины». Решительное отграничение «христианской литературы» от неприемлемых для него произведений «искусства для искусства» заставляет, однако, Крайника обнаружить в первой «содержание и моральную цель, направленную на становление человеческой личности и её перерождение...» В этом контексте возникает спорный тезис о том, что «духовное содержание» произведений Достоевского выше собственно литературного значения его романов.

В изложении своих идей Крайник следует компетентным источникам. Вместе с тем в книге ясно звучит и живой голос автора – современника суровых испытаний, выпавших в Румынии 30-х годов прошлого века на долю человека, стремящегося сохранить свою веру, общественные идеалы и человеческое достоинство. Но – в нашем случае – и предрассудки, и заблуждения эпохи. Так, вписывая «духовное содержание» произведений Достоевского в рамки дискуссий о месте православия в общественной жизни, о «здоровых идеях национального христианства» и создании «нового человека», он произвольно трактует ряд его персонажей и идей, видя, например, в Алёше Карамазове «человека цельного, не подверженного никаким душевным проблемам, никаким колебаниям между двумя или более побуждениями». Любопытно, что это «воплощение христианского идеала» характеризуется Крайником как «квинтэссенция среднего человека», ибо «нормальная усреднённость», по его мнению, – это состояние, к которому стремится и его создатель и в котором Достоевский «видит естественную возможность реформировать человека».

Излагая, в главе «Рационалистический индивидуализм и любовь» книгу Бердяева «Миросозерцание Достоевского», Крайник исходит из предложенного русским философом деления понятия свободы на «два вида», которое он кладёт в основу анализа персонажей Достоевского. Анализ проводится, однако, в зависимости лишь от одной из этих категорий, называемой им «последней свободой» или «свободой обретённой истины». Ибо для румынского автора единственная ценность человеческой личности, единственная вершина её развития – «христианская гуманность» и, отрицая, отвергая самую идею «светской свободы», он приписывает ей стремление использовать свободу человеческой личности «арбитрарным и индивидуальным способом». Вот почему он видит в героях Достоевского только индивидуалистов, не замечая, что часто это и сильные индивидуальности с исключительно богатой и активной внутренней жизнью. Удачно и точно выбирая для примера Кириллова или Шигалева, которых он клеймит в главе «Революция – коллективное преступление», Крайник оказывается бессильным, когда говорит об Иване Карамазове или Николае Ставрогине.

Явно отступая от заявленного принципа эстетической критики и от духа творчества Достоевского, автор разбираемого нами курса проводит резкое разграничение персонажей русского писателя на героев «положительных» и «отрицательных». Этих последних он анализирует в свете сопоставления / противопоставления концептов *разум-действительность*, подчёркивая преимущество «настоящего, полного переживания» перед стерильными рассуждениями. Но, раскрывая эту антиномию, в самом деле подмеченную Достоевским и весьма для него существенную, Крайник сводит всё богатство идей, развиваемых героями-«идеологами», к стерильному рационализму, забывая, что критика абстрактного разума у Достоевского делается на фоне утверждения яркой, мыслящей индивидуальности. Отсюда недооценка всего богатства идей, высказываемых героями-идеологами, их исканий, связанных с духовными исканиями эпохи. Отсюда же и недооценка художественного значения созданных Достоевским образов.

Обедняя концепцию привлекаемого им на помощь Бердяева, Крайник игнорирует тот факт, что у Достоевского проблема человеческой личности имеет по крайней мере два аспекта: утверждение, в

невиданных до тех пор масштабах, человеческого Я, индивидуальности как высшей ценности; и – не менее яркое и категоричное – раскрытие противоречий этого Я, вытекающих из его столкновения с реальной жизнью и с жизнью идей и порождающих ужасные ошибки этого Я, его преступления по отношению к людям и к самому себе, к реальной действительности и к Богу. В этом и заключается заслуга Достоевского не только в области литературы, но и в сфере мысли, в истории культуры. Ибо русский писатель, наряду с Ницше и Киркегором, одним из первых в европейской литературе констатирует кризис гуманизма и вместе с ними становится предшественником художественной литературы и философской мысли XX века.

Крайник иначе видит место Достоевского в истории литературы и общественной мысли. Повторяя навязчивые идеи своего времени, заставляющие его отрицать разум и экзальтировать инстинкт (идеи, в большой мере определявшие в его время идеологию крайне правых), он характеризует Достоевского как злостного антикартезианца, утверждая буквально: «Достоевский не верит в разум. Более того, Достоевский думает, что разум – это источник несчастий человечества, что этот разум, произвольная свобода человека – и есть тот источник, из которого вытекают преступления, самоубийства и массовые преступления, то есть революции, как и все остальные безумия этого мира людей». Уверенный в том, что разум – это вещь «второстепенная», что это «ценность ничтожно малая», ибо «дело не в том, чтобы творить мысленно, а в том, чтобы жить», автор курса приписывает все эти мысли и самому Достоевскому и, с отрицательным знаком, связывает их с миросозерцанием протагониста романа-завещания «Братья Карамазовы».

Образ среднего из братьев Карамазовых Крайник анализирует сквозь призму его ограниченного «эвклидова мышления». При этом он игнорирует тот факт, что проблему эвклидова мышления ставит, в знаменитом диалоге с Алешей, сам Иван – именно потому, что, ощущая его ограниченность, ищет путей выхода за его узкие рамки. Противопоставляя Ивана автору, критик считает, что, в отличие от него, Достоевский отрицает необходимость анализа религиозных идей, будучи уверен, что «излечение – в возвращении к первичному смыслу жизни, то есть к божественной любви, любви

в дарованной свободе». Но у Достоевского вопрос ставится далеко не так просто. И не случайно его главное произведение, которое сам Крайник называет «гениальным памфлетом» – поэма «Великий Инквизитор» – написано именно Иваном. Не говоря уже о потрясающем сходстве некоторых идей *поэмы* с идеями *«Дневника писателя»*, создававшегося в тот же период, здесь необходимо вспомнить и множество прямых указаний Достоевского – в письмах и черновиках («Я из сердца своего его вырвал» – говорит он об Иване Карамазове; «...через горнило сомнений моя осанна прошла»), утверждающих – и подтверждающих – прямую связь между духовными исканиями этого «русского Фауста» и антиномиями мысли и чувства самого писателя.

Многозначительно, что Достоевский лишь нащупывает в своих заметках вопрос о неэвклидовой геометрии как одном из аргументов критически мыслящей личности его века. Но в своей художественной практике он улавливает его истинный и полный смысл и кладёт его в основу своей оригинальной поэтики, которая, как известно, так потрясла самого Эйнштейна.

Всё это подтверждает главную ценность и совершенную современность искусства Достоевского, его полифонического дискурса, основанного на широком, не скованном никакой догмой, взгляде на человека и общество, космос и Бога. Из этого полифонического звучания Крайник извлекает, как правило, лишь какую-нибудь одну струну или голос – и пытается основать на нём своё представление о миросозерцании и творчестве Достоевского. Поэтому среди самых убедительных страниц прочитанного им курса – страницы, посвящённые анализу почти монологического изложения Зосимой его религиозных идей и настроений. Всё же и здесь всё обстоит не так просто. Монологи Зосимы включают, конечно, и голос автора, различимый и в «Дневнике писателя». Но и в этом столь специфическом по жанру произведении авторский голос не является простым рупором идей Достоевского – человека и мыслителя. То, что Крайник не способен этого понять, нельзя ставить ему в вину. Но нельзя и не учитывать этого момента, когда мы задумываемся о субъективности ряда его оценок и комментариев, игнорирующих богатство и сложность миросозерцания Достоевского.

Не учитывая всего своеобразия мысли Достоевского, Н. Крайник не умеет уловить и своеобразия его искусства. Правда, ему случается упомянуть некоторые из важных наблюдений о поэтике Достоевского (заимствованные, как правило, у русских критиков-философов начала века); в результате в книге справедливо утверждается, например, что творчество русского писателя «способно раскрыть множество разных смыслов». Но автор книги невольно перечёркивает их, когда пытается вписать Достоевского и его героев в рамки определённых схем и предвзятых истин. Так, касаясь – в содержательной, впрочем, главе «Проблема зла» – некоторых аспектов «фантастического реализма» Достоевского, Крайник справедливо говорит о «двойственном характере» изображения в его творчестве сверхъестественных сил и явлений; однако он объясняет это не стремлением автора к художественности своего дискурса (о чём мы имеем недвусмысленные свидетельства самого Достоевского), а напротив, его боязнью раскрыть перед читателем «своё истинное видение мира»: «Я например думаю, что Достоевский верит в существование дьявола, но /.../ не говорит об этом из-за какого-то смущения /.../ из-за боязни раскрыть перед читателем свои интимные убеждения или из-за страха показаться смешным». Трудно поверить, что речь здесь идёт об авторе книги поразительной искренности, «Дневника писателя» и фантастически смелого «Сна смешного человека»!

Лишённый своей специфической смелости, сведённый к единому голосу, Достоевский-мыслитель – а значит, и писатель – оказывается в глазах Крайника чем-то вроде наделённого некоторым литературным талантом Зосимы. А между тем, при всей близости к нему голоса Зосимы, за афоризмами и максимами которого, конечно же, стоит сам автор, миросозерцание Достоевского отнюдь не сводится к мировосприятию мудрого старца. Великие вопросы бытия и условия человеческого существования обсуждаются им не только в плане проблематики внутреннего человека, но и как глобальные проблемы истории и общества. Писатель обдумывает и излагает их горячо, рискуя ошибиться, но не отказываясь от них, пока жизнь не докажет ему противного. Поэтому странно отказывать Достоевскому в активном участии в обсуждении проблемы «всех свобод – социальной, национальной, философских и т.п.» века,

как это делает, по сути, Крайник. Напротив, мы обязаны связать анализ его творчества с исторической действительностью и социальными проблемами его эпохи. Как, впрочем, в нашем случае, – и эпохи самого Крайника. Но в таком случае мы не сможем обойти вопроса: как глубоко человечные идеи христианства смогли ужиться в мировоззрении румынского автора с приятием упомянутых нами выше «новых» идеологических тенденций, почему экзальтация «дарованной свободы» румынскими экстремистами 30-х годов, как и всей Европы, не избавила их от крови и преступлений? И как мог сам Крайник не заметить эту аномалию? Или наконец: как можно восхищаться всем этим сегодня, после XX века?

Конечно, можно в свою очередь сослаться на противоречия в мировоззрении самого Достоевского, указать на ряд его увлечений и преувеличений, утопий и ошибок, особенно поражающих в «Дневнике писателя» последних лет его жизни. Но нужно учитывать специфику жанра и делать различие между Достоевским-журналистом и Достоевским-писателем. Односторонности и прямые заблуждения по сути не находят своего прямого отражения в художественном наследии русского писателя. В произведениях последних лет – включённом в «Дневник писателя» рассказе «Сон смешного человека» и в создававшихся одновременно с «Дневником» «Братьях Карамазовых» – Достоевский раскрывает христианскую идею любви в духе подлинного полифонизма. Здесь и по сути наивная утопия «смешного человека», и экзальтированное христианство Зосимы. Роман рисует объективно образ Зосимы, но рядом с ним появляется – в Поэме о Великом Инквизиторе – и сам Христос с его таинственным, но полным смысла молчанием. Как высший носитель идеи любви и даже как её воплощение, Христос уже, конечно, не смешон. Он трагичен. Так произведение Ивана демонстрирует не только наивную сущность и уродливую реальность воплощённой утопии, но и трагизм утопии как таковой.

Поэтому было бы непростимым упрощением считать «дарованную свободу» магической формулой всего творчества Достоевского, дающей ему верный ответ на все вопросы бытия. Напротив, в его художественном наследии именно больные вопросы человеческого существования, поиски справедливого и любящего Бога чаще всего остаются открытыми. И в этой открытости, в

этой неизмеримой широте и глубине и кроется величие искусства Достоевского. Вот почему оно не может быть понято во всей своей красоте и истине воинственным атеистом, как не может быть понято и представителем любого другого экстремистского типа мышления: поливалентный смысл и скрытые значения создаваемых им образов может постичь, во всей их глубине, только свободный человек. Свободный по-настоящему, а не просто принадлежащий к «свободному» обществу.

2

Тенденция, столь ярко прозвучавшая в курсе Никифора Крайника, – не единственная в Румынии межвоенного периода. Благодаря всё более глубокому знакомству с творчеством Достоевского и с критической литературой о нём – чтению не только Пруста, но и Жида, не только Бердяева и Шестова, но и Вячеслава Иванова и Ивана Ильина, у ведущих румынских писателей и критиков складывается иная, в чём-то прямо противоположная точка зрения на русского писателя. Наиболее яркий пример в этом отношении представляют выступления выдающегося драматурга, прозаика и литературного критика эпохи Михаила Себастьяна.

Известный за переделами своей страны как автор пьесы «Безымянная звезда», но вошедший в историю румынской литературы и как создатель романа «Две тысячи лет» и замечательного «Дневника», охватывающего 1935-44 годы прошлого века, Михаил Себастьян был одним из первых румынских писателей, не только в полной мере оценивших гениальность и своеобразие творческой манеры Достоевского, но и проникших в тайны его поэтики. В этом его главная заслуга сегодня. Но не менее важно вспомнить и о том, что в эпоху наступления фашизма в Европе, в период формирования идеологии румынских «легионеров» именно творчество Достоевского оказалось тем отправным пунктом, который помог этому подлинному интеллигенту и прозорливому гуманисту высказать в подцензурной по сути печати свою идеологическую позицию, свои взгляды на новые, опасные тенденции общественной жизни.

В статье 1937 года *Замечания о «Бесах»* М. Себастьян использует роман Достоевского как отправную точку для анализа этих

«новых» тенденций современной ему идеологии. Статью он начинает с соображений об исключительно актуальном в Румынии той эпохи романе Андре Жида: «Надо бы перечесть *Les Faux-monayeurs* теперь, после знакомства с “Бесами”. Влияние /Достоевского/ представляется мне здесь полным. От себя Жид вносит всего лишь несколько вопросов протестанта (которые Достоевский не мог поставить, да и просто не понял бы их) и некоторые технические приёмы, интересные именно своей неловкостью, неуклюжестью, искусственностью. В остальном всё идет от “Бесов”: беспокойство, растерянность, издевательский цинизм, моральное разложение, отчаяние». В свете только что прочитанных «Бесов» критик раскрывает далее идейный смысл романа Мирчи Элиаде «Хулиганы»: «Если хулиганство (по крайней мере так, как его определяет Элиаде) есть только вид неприспособленности, нонконформизма, аморализма и отчаяния, то оно не далеко от духа, владеющего героями Достоевского». Намеченная параллель позволяет автору пойти дальше, и статья продолжается прямой критикой легионаризма как идеологического течения, отразившегося в романе Элиаде: «Но я боюсь, что это сближение касается не только сферы литературной и что наше молодое поколение – столь патетичное, столь потрясающее – заимствует у “Бесов” не только их излюбленный язык. Определённая проблематика, заявленная недавно с явной агрессивностью, определённый политический мессианизм волнующе напоминают то, что мы находим в текстах Достоевского»[3].

Михаил Себастьян не вдается в подробности, произведение Элиаде он судит в большой мере отстранённо. Вопрос об авторском голосе остаётся открытым, явно лишь неприятие идеологии героев Элиаде. Зато чётко ставится вопрос об авторском голосе «Бесов»: Себастьян говорит не об авторе, но о героях романа, и не случайно указывает на его протагониста: «Какой удивительный теоретик абсурдного факта / поступка этот Николай Ставрогин!»

Себастьян пишет статью в смутный и тяжёлый для него, как и для большей части румынской интеллигенции, период, когда бывшие друзья – Камил Петреску, Чоран и сам Элиаде – становятся его идеологическими противниками. Правда, расхождения остаются ещё в основном в сфере теоретической, многие точки над i ещё не

расставлены, многое неясно, тем более что «новые» идеологические тенденции выступают под знаменем бунта и революции, в обличии героическом – «потрясающем»! И лишь значительно позднее, когда легионаризм обнаружит свою фашистскую сущность, выяснится вся правота позиции Себастьяна; но будет уже поздно для истории литературы. Да и Себастьян погибнет вскоре после окончания войны. Что же касается Элиаде, он окажется к тому времени в Лондоне и затем в Лиссабоне, где начнет строить свою поистине потрясающую научную карьеру.

Сегодня мы не по описанному выше эпизоду судим о протагонистах. Себастьяна ценим не столько за его идеологию, сколько, прежде всего, за глубокие наблюдения над художественным мастерством Достоевского, за высокую оценку и точную характеристику не только виртуозности его литературной техники, но и своеобразия художественной манеры. Румынский автор видит его в напряжённом драматизме, придающем полноту жизни произведениям «этого драматурга, который пишет романы только потому, что пределы сцены для него слишком тесны». Включаясь в столкновение мнений вокруг русской литературы, Михаил Себастьян подходит к творчеству Достоевского не с точки зрения его «туманной» идеологии: Достоевский для него не «экзальтированный, страстный визионер», а «строгий и уверенный художник».

Любопытно, что почти теми же словами о содержании и поэтике русского писателя говорит, двумя годами позже, и Мирча Элиаде.

3

Румынская культура по справедливости гордится тем, что было создано ею в первые десятилетия прошлого века. Последовавший за победой страны в Первой мировой войне и расширением границ, культурный всплеск «межвоенного периода» дал целый ряд крупных учёных, мыслителей, писателей, в том числе – будущих французских академиков Ионеско и Чорана. Признанным лидером молодого поколения этой эпохи считался – уже тогда – Мирча Элиаде.

Вышедший на арену литературной жизни в 1921 году, 15-летним прозаиком и начинающим исследователем в сфере естественных

наук, к середине 30-х годов Мирча Элиаде – уже известный писатель, журналист, талантливый педагог и перспективный учёный. Идеологические шатания, вызванные некоторыми «новыми» веяниями румынской общественной мысли, в этот период у него, по сути, ещё не ощущаются.

Энциклопедическую образованность и широту кругозора молодого автора демонстрирует выпущенный им в 1939 году сборник эссе под названием «Фрагментариум». Основные проблемы литературы своего времени Элиаде обсуждает в контексте всего мирового искусства, эстетики и теории культуры – от Гомера и Платона до Гегеля, Стерна, Бальзака, Толстого, Пруста, Томаса Манна. Беспрецедентное место занимает в этом пантеоне Достоевский.

Явно увлечённый личностью русского писателя, Элиаде не включается, однако, в хор авторов, горячо обсуждающих личные пристрастия, политические идеалы или религиозные искания Достоевского, во многом перекликающиеся с теми, что стоят на повестке дня межвоенной Румынии. Это тем более странно, что в творческой и духовной структуре Элиаде и Достоевского немало общего – от возрожденческой широты интересов и размаха замыслов до страстности натуры и склонности к утопизму, определивших ошибки и драматизм обеих судеб. Сходна и сила и разносторонность их творческого дарования, проявляющегося как в сфере искусства, так и мысли. Правда, гениальность Достоевского сказывается с особой силой в сфере художественного творчества, в то время как Элиаде останется в истории как учёный. Важно, однако, что всё ими написанное роднит *страсть к культуре* и общность жизненной цели: *разгадать загадку человека*.

В центре внимания автора «Фрагментария» – Достоевский-художник. Указывая на огромную художественную ценность его творческого наследия, Элиаде отмечает его беспрецедентную в европейской литературе новизну; вглядываясь в истоки художественного открытия Достоевского, он обнаруживает корни его поэтики в памяти евразийских мифов: «Ад и рай, открытые Достоевским, уже давно принадлежали человеческому опыту, – пишет Элиаде. – Достоевский только обнаружил и указал – в своих произведениях – на *ценность* (курсив Элиаде) этих тёмных сфер существования. До

него у людей, проникавших в эти тёмные зоны, не было ощущения, что они имеют дело с *ценностью*, что их опыт имеет общечеловеческое значение. В лучшем случае они думали, что выходят за грани человеческого – как это происходит со всеми мистиками "тьмы", которые появляются в Евразии намного ранее Диониса, со всеми опытами в духе мистерий Деметры (которые оставляли впечатление наития, унижения, бессознательности)». Заслугу Достоевского-художника Мирча Элиаде видит в том, что «он первый, отказавшись от пути, проложенного Данте, направляет нас к этим подземным пропастям человеческого существа», «восстанавливает – если так можно выразиться – нормы деметрического существования»[4]. Это наблюдение позволяет Мирче Элиаде обосновать ценный – особенно для того момента – вывод о творчестве Достоевского не как о хаотичном отражении хаотичного мира (точка зрения, распространенная, как это ни странно, как раз между философами эпохи – заметит один из позднейших комментаторов), а как о подлинно и именно *художественном* освоении нового, неведомого до него европейскому сознанию и чувству сегмента действительности. Ибо эту действительность – и эту память – Достоевский преобразует в новый художественный космос: «"Подпольная жизнь", после появления Достоевского, больше не несёт уничижительного смысла /.../ Подпольное существование находит если не свои "законы", то, по крайней мере, свой *ритм*, свою творческую функцию в сфере бытия».

Если аргументация учёного оказывается при этом несколько туманной и слишком общей (будущий историк религий разъясняет свою мысль следующим образом: «Деметра – всеобщая мать, девять месяцев проводящая в Аду, под землёй, и три месяца при свете дня, – эта Деметра, матка всех форм, океан всех скрытых возможностей, – тоже имеет свои нормы…»), чрезвычайно важен следующий за ней вывод эстетика: «Итак, само собой разумеется, что, открывая для современного европейского сознания / чувства неведомые ему ранее пласты целого умственного континента, Достоевский открывает одновременно и нормы, которые управляют этими пластами».

Позже, в своей знаменитой «Истории религий» Элиаде заговорит о верованиях, мифах и ритуале народностей, населявших

Евразию, значительно конкретнее. При этом он уже не будет рассуждать о «деметрических корнях» древних славян – как и других, соседствовавших с ними народностей, будь то тюрко-монголы или финно-угры, – но, при описании их «обычаев, мифов и поверий» отметит особое место в их до-христианских, до-античных мифах образов и мотивов, отсылающих к «дуализму Бог-Сатана», проблематике добра и зла и пр.

Разумеется, статус научной работы не позволяет автору пускаться в рассуждения, связанные с литературой, особенно современной. Но в ходе анализа народных обрядов и верований славян и балтов внимания достоевсковеда не может не привлечь акцент, поставленный им на описании «специфических черт исконной славянской религиозности». Среди них – вера древних славян в *месяц* как главное, мужское божество (солнце, уточняет автор, – слово среднего рода, происходящего, вероятно, от женского) и поклонение *рожаницам* (мать, матка, судьба – «...эпифании или ипостаси древней хтонической Богини-Матери по имени *Мать сыра земля*, культ которой сохранялся вплоть до XIX века»), или такое «дуалистическое новшество», как присвоение дьяволу «чёткой роли в космогонии», обеспечивающее соответствующим легендам «невероятный успех и широчайшую распространенность»[5].

В этом свете читаются сегодня описания – и комментарии – некоторых «исключительно славянских» явлений духовной жизни населявших Евразию народностей, или таких «особенностей быта древних славянских общин», «не известных в индоевропейской традиции», которые сближают их с бытом соседствовавших с ними финно-угров и подвергшихся их влиянию немцев, румын и других народов Юго-Восточной Европы (с.36). Среди них – такие частные «неиндоевропейские обычаи», как вторичное погребение или снохачество, но и такие важные «характерные особенности», как равноправие: «Все члены славянской общины имели равные полномочия и, как следствие этого, все решения принимались только после единодушного голосования», – утверждает автор. И, опираясь на компетентный источник по вопросам этимологии древнеславянского языка, добавляет: «Слово *мир* отражает тот период истории славянской общины, когда все её члены – как женщины, так и мужчины – имели одинаковые права».

Всё это становится особенно любопытным для нас в свете замечания Мирчи Элиаде о «преемственности архаических мифо-религиозных структур в верованиях народов христианской Европы» и о «жизнеспособности древнейших дохристианских воззрений», сохраненных фольклором. Опираясь на эти структуры, Элиаде анализирует «более или менее христианизированную форму» мифа о «космогоническом нырянии», среди «особенностей русских вариантов» которого он обнаруживает «появление дьявола, а в некоторых вариантах и Бога – в виде водоплавающей птицы» или «белой и чёрной утицы». В результате учёный предпринимает реконструкцию «некого архаического мифа, претерпевшего неоднократную переоценку и пробившегося к нам через несколько культурных слоёв», анализ которого «позволяет нам понять некоторые аспекты народной религиозности». Отмечая, что этот миф, широко распространённый как в Евразии, так и в Центральной и Юго-восточной Европе, «особенно типичен для европейских мифотворческих систем», Элиаде видит его ценность в том, что он «не ограничивается повествованием о сотворении мира, но объясняет и происхождение и смерти и зла». Следует вывод о важности и глубиности этого мифа, читая который уже трудно поверить, что автор не думает здесь о русской литературе – особенно второй половины XIX века, особенно о Толстом и столь близком ему Достоевском: «С одной стороны, в условиях несовершенного мира и существования Зла этот миф снимал с Бога ответственность за самые серьёзные недостатки Творения. С другой – миф акцентировал ту черту Бога, которая уже давно волновала религиозное воображение древнего человека: свойство Бога быть *deus otiosus* (наиболее отчётливо показанное в балканских мифах); эта особенность Бога оправдывала противоречия и страдания человеческой жизни и объясняла людям его расположение и даже дружелюбие по отношению к дьяволу». Отмечая, что речь идёт о *тотальном мифе* (курсив Мирчи Элиаде), который «находил отклик в глубине народной души», учёный делает вывод: «Задолго до обращения в христианство народы Восточной Европы смогли сформировать у себя – именно с опорой на этот миф – понятие об окружающем мире и о месте человека в космосе».

Актуальность всех этих замечаний трудно переоценить. Среди уроков, которые дает нам Элиаде, мысль о том, что, наряду с возможными внешними влияниями – на Толстого и того же Достоевского – магометанских, индийских, иранских религиозных концептов, необходимо учитывать момент укоренённости многих восточных влияний в самом менталитете – «внутреннем мире» русского человека, их длительное бытование здесь, определившее – на века – как его духовные запросы, так – часто к сожалению – и его поведение, *быт и бытие*.

На всём, что пишет Элиаде, лежит печать его эпохи. Но предубеждения и предрассудки «новых» идей и теорий побеждает широкий взгляд учёного на человека и мир; в результате, понятие *расы* у него вытесняется концептом *этноса*, а отдельные выпады против *русизма* – интересом к русскому человеку, как европейцу и – в конечном счете – к *парадигматическому человеку*, несомненно, параллельному *всечеловеку* Достоевского. Поэтому, возвращаясь к наследию Элиаде 30-х годов, мы вспоминаем сегодня не столько эти его выпады, сколько преодоление их в художественном творчестве. Речь идёт прежде всего о романе «Хулиганы» (1936), в котором принцип полифонии – применённый в соответствующих пропорциях – позволяет нарисовать румынские типы общечеловеческого. Причём даже поверхностное знакомство с этим и сегодня ещё не оцененным в полную меру произведением позволяет сделать вывод о нём, как о парафразе романа Достоевского (не случайно упоминание в «Хулиганах» имени русского писателя, как и его последователя Жида), воспроизводящей румынские варианты «достоевских» страстей, образов и конфликтов – вплоть до «абсурдной идеи» – и идей – протагониста, напоминающего Николая Ставрогина, или явного отклика на образы Рогожина / Дмитрия Карамазова в фигуре Мити – превращающегося в финале в банальнейшего Митику Георгиу. Но *творческий параллелизм* – воздействие, влияние и отталкивание – это отдельный вопрос, подлежащий тщательному изучению. Возвращаясь к «Фрагментариуму» – к *оценке* Достоевского румынским ученым – следует сделать ещё несколько существенных уточнений.

Погребённые в журналах эпохи, идеи Элиаде о Достоевском лишь сегодня находят свой путь в мировую библиографию Достоевского.

Правда, в румынский научный оборот их ввёл – после огромного перерыва, вполне объяснимого, если учесть ту мимолётную, но заметную роль, которую сыграл увлекающийся молодой писатель, он же учёный, в идеологической борьбе 30-х годов прошлого века, – румынский исследователь Дину Пиллат в своей книге *Достоевский в литературном сознании румын*[6].

Но, опасаясь открыто говорить о некоторых аспектах творчества обоих не вполне угодных режиму авторов, Д. Пиллат по сути ограничивается здесь цитированием; даже не касаясь вопроса о творческой перекличке, он отделывается заявлением, что Мирча Элиаде, как поклонник и последователь Пруста, – писатель, структурно чуждый Достоевскому. Всё это уводит в сторону от вопроса, параллель Элиаде-Достоевский повисает в воздухе.

Сегодня, когда Мирча Элиаде признан повсеместно, как прозаик, публицист и главное – как учёный с мировым именем, внимательное знакомство с многочисленными, повторяющимися с почти навязчивой частотой высказываниями Элиаде о Достоевском раскрывает парадокс: писатель, «структурно чуждый Достоевскому», удивительно глубоко проник в творчество русского гения. При этом он не только обосновал – как учёный-религиевед – сущность его новаторства, но и раскрыл – как литературный критик – целый ряд важнейших аспектов его поэтики. Среди конкретных наблюдений над поэтикой Достоевского особенно важны замечания Элиаде о структуре его романа – от новаторского характера конфликта до роли и сущности центрального персонажа. В главе *Достоевский и европейская традиция* Элиаде утверждает: «В европейской литературе нет прерывистости, скачков, революций. От Данта и Петрарки, от Принцессы Клевской, Стендаля и Пруста у всех источник литературного вдохновения один: это *женщина* и драма человеческой души, вызванная женщиной». При явной, излишней категоричности, заставляющей его распространить на всю литературу некоторые черты романтического видения[7], Элиаде прав, когда говорит об «исключительности» в этом отношении творчества Достоевского, о «его смелости создавать людей, которые страдают, надеются, падают или спасаются *без* женщины!», о его «величественных героях», которые «существуют, живут *драматически*, через свою собственную

судьбу, *автономно*». Смущает в этой работе лишь слишком явное увлечение автора критикой европейской цивилизации, характерной для легионерских настроений эпохи, как и возникающее в другом разделе книги и противоречащее её основной концепции отнесение Достоевского – «в известном смысле» – к «литературе экстра-светской, к аскетической европейской литературе». Важно, однако, что эта характеристика никак не влияет на основные тезисы Элиаде, касающиеся поэтики Достоевского, творчество которого рассматривается и далее под эстетическим углом зрения.

Разбираемая нами книга содержит целую теорию «идейного» искусства. В главе «Теория и роман», с характерной для него страстностью выступая против модной в румынской литературе той эпохи теории «чистой эпики», Элиаде утверждает: «Чистая эпика – это глупость, как и “чистая поэзия”». И, обращаясь к примерам, завершает список, включающий Рабле, Стерна, Сервантес, Бальзака, Пруста, Толстого, Томаса Манна, «лопатой гребущих в свои произведения культуру, эрудицию», именем Достоевского, всё творчество которого «буквально насыщено идеями».

Пафос работы Элиаде – в критике современной румынской литературы, по мнению автора, слишком робкой в постановке проблем современного мира и вечных вопросов бытия. Он судит её в свете своего восприятия творчества «чистых» романистов, дающих «только описания и только события» (Золя, Гонкур, Мопассан) – судит за то, что она отказывается от «своей прямой миссии: обобщать, философствовать, насиловать действительность во имя той или иной идеи или идеала». То, что некоторые близорукие критики осуждают как «теорию», для этого сторонника свободы мысли оказывается отстаиванием в художественном произведении достоинства человека, постановкой – в том числе и «теоретической» – вопросов познания, обсуждением – на современном уровне – проблем морали. В этом свете ставится – совершенно адекватно – и проблема «идеологического романа» Достоевского.

Иное дело, когда автор обращается к современности. В книге Элиаде мы находим целые разделы о свободе, ряд замечательных

утверждений: «Нельзя быть свободным, если у тебя нет чувства ответственности»; «...совершать ненаказуемые поступки – не значит быть свободным» и т.п. Рядом с чёткостью, лаконизмом самих формулировок, во всём этом не может не восхищать раскованность ума, отстаивание всегда оригинальной, собственной точки зрения. Всё это не дает нам права пройти мимо некоторых откликов автора на модные – и, по сути, не работающие у него – понятия и термины (как *расология* или *русизм*) и явной недооценки им таящейся в них опасности. Важно, однако, что эти навязчивые идеи, порождённые чрезмерным доверием к конкретному историческому моменту и столь пагубные в других отношениях, не затрагивают отношения Мирчи Элиаде к Достоевскому. Ни на мгновение не сосредотачиваясь на патриотических или религиозных взглядах, вообще на конкретно-исторических аспектах его мышления, он говорит о социально-философских идеях Достоевского, угадывая в нём предшественника экзистенциализма XX века. Причём обращает внимание не столько на их содержание, сколько на эстетическую функцию. И, не повторяя избитого тезиса о Достоевском как православном писателе, но обращаясь к *общему* – к мифам, к поэтике и эстетике – делает ценные выводы, звучащие актуально вплоть до наших дней. Побеждая, методология учёного позволяет Мирче Элиаде показать читателю подлинного Достоевского – не только «потрясающую индивидуальность», но и художника-новатора, открывающего европейской литературе новые, неведомые ей ранее горизонты.

* * *

Поистине: чтение Достоевского, как и литературы о нем, служило всегда своего рода тестом на свободу мысли, ибо в подлинную сущность его исключительно сложного творчества дано было проникнуть лишь людям, способным подняться выше вековых заблуждений, выше злобы дня и собственных увлечений – на альпийскую высоту смелой и свободной мысли. Таким тестом оно остаётся и сегодня, когда нам так важно понять: освободились ли мы поистине, свободны ли мы наконец в своем мышлении, или рискуем снова вступить, с первой же оказией, в новый круг догм и запретов?

Памятки истории

Всё в руках Господа, и только История ускользнула из-под Его контроля.

Збигнев Ежина

Владимир Шишкин

АДМИРАЛ А.В. КОЛЧАК: НА ПУТИ К ВОЕННОЙ ДИКТАТУРЕ

(19 сентября – 18 ноября 1918г.)

В начале 1990-х годов после семи десятилетий почти полного забвения Александр Васильевич Колчак обрёл в постсоветской отечественной историографии статус суперактуального персонажа российской истории. С этого времени вышли в свет десятки документальных и исследовательских публикаций, посвящённых различным периодам, основным направлениям и даже отдельным эпизодам его деятельности. В результате к настоящему времени биография А.В. Колчака получила довольно полное освещение. Совершенно естественно, что наибольшее внимание историки уделили таким ключевым этапам жизнедеятельности А.В. Колчака, как участие в Полярной экспедиции барона Э. Толля, в русско-японской и Первой мировой войнах и особенно – деятельность на посту Верховного правителя России[1].

Тем не менее, в биографии А.В. Колчака остаются лакуны, которые без всякого преувеличения можно назвать существенными. Пожалуй, главными и наиболее странными из них являются два рядом расположенных коротких временных промежутка: первый – с 19 сентября по 3 ноября 1918г., охватывающий события от возвращения А.В. Колчака из Японии в Россию до его назначения на пост военного и морского министра Временного Всероссийского правительства, и второй – с 4 по 17 ноября 1918г., когда А.В. Колчак занимал пост военного и морского министра этого правительства. Указанные пробелы пишущие об А.В. Колчаке авторы, как правило, заполняют сведениями общего характера и досужими домыслами, не имеющими отношения к действительности. Некоторое исключение составляют монографии К.А. Богданова и И.Ф. Плотникова, в которых имеются даже специальные разделы, называющиеся соответственно «Военный и морской министр» в первом случае и «Омский министр» – во втором. Но в этих разделах нет ни одного факта о деятельности А.В. Колчака на министерском посту.

Последнее обстоятельство убедительно свидетельствует о том, что историки почти ничего не знают о том, чем реально занимался

А.В. Колчак после своего возвращения из Японии в Россию. Конечно, можно предположить, что эти лакуны в биографии А.В. Колчака возникли совсем не случайно и объясняются тем, что адмирал абсолютно бездействовал, в том числе на посту военного и морского министра. Однако такая гипотеза плохо коррелируется с последующими событиями, в ходе которых А.В. Колчак обрёл статус Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего. Разобраться в возникшем историографическом парадоксе и заполнить существующие пробелы в биографии А.В. Колчака – таковы цели настоящей публикации.

* * *

Нужно признать, что восстановить деятельность А.В. Колчака с 19 сентября по 18 ноября 1918г. очень трудно из-за малочисленности достоверных источников, из-за противоречивости и откровенной тенденциозности большинства мемуаров, написанных соратниками бывшего Верховного правителя России. Немало фактических ошибок и односторонних интерпретаций содержат также показания самого А.В. Колчака, данные им в конце января – начале февраля 1920г. в Иркутске чрезвычайной следственной комиссии, которые некритически использует большинство исследователей в качестве важнейшего источника. Однако этот двухмесячный отрезок исключительно важен для понимания личности А.В. Колчака: его характера, планов, поведения, мотивации поступков, средств достижения поставленных целей. Представляется также, что именно в этом периоде коренятся многие проблемы, трудности и неудачи, которые в дальнейшем буквально с первых шагов преследовали А.В. Колчака на посту Верховного правителя России.

А.В. Колчак появился во Владивостоке 19 сентября 1918г. после почти двух с половиной месяцев пребывания в Японии. Вояж в Страну восходящего солнца был для него вынужденным. Дело в том, что, возглавив в конце апреля 1918г. охранную стражу Китайско-Восточной железной дороги, адмирал быстро испортил отношения не только с атаманом Г.М. Семёновым, возглавлявшим самый крупный и боеспособный антибольшевистский вооружённый отряд, действовавший в полосе отчуждения КВЖД, и

курировавшими его японскими военными представителями, но и председателем временного правления КВЖД генерал-лейтенантом Д.Л. Хорватом. В Токио А.В. Колчак намеревался нормализовать отношения с японским военным руководством и добиться финансовой и материальной поддержки своим планам. Но вместо ожидаемой помощи он получил от помощника начальника Генерального штаба генерала Г. Танака совет отдохнуть в Японии, не принять который адмирал не мог. Тем более, что этот совет имел под собой реальные основания. Здоровье А.В. Колчака – особенно нервная система – действительно оставляли желать лучшего.

Находясь в Токио, адмирал продолжал искать контакты с иностранными представителями в надежде получить от них обещания материальной поддержки для борьбы с большевиками. С этой целью он встретился с британским адмиралом А. Ноксом и французским послом в Японии Э. Реньо. С А. Ноксом, ранее служившим в английском посольстве в России, А.В. Колчак быстро нашёл общий язык. Центральной темой их беседы стало обсуждение вопроса о том, как создать власть на востоке России. Договорились о том, что А.В. Колчак представит А. Ноксу по этому вопросу специальную записку[2].

Тогда же в целях ознакомления со своими взглядами на происходящие события русской и иностранной общественности А.В. Колчак дал пространное интервью корреспонденту В.О. Риссу, которое позднее опубликовали несколько дальневосточных и сибирских газет. В нём адмирал позиционировал себя как исключительно военного человека, чуждого всякой политики. В интервью содержался большой экскурс в историю Мировой войны и революцию 1917г. Но примерно половина его была посвящена актуальной текущей проблематике. В частности, адмирал резко негативно отозвался о находившейся в Харбине группе министров Временного Сибирского правительства во главе с эсером П.Я. Дербером. «Впечатление моё от знакомства с [этими] членами Сибирского правительства, – сказал он, – отрицательное. Это те же представители крайних социалистических партий, которые однажды уже привели Россию в гибели». А.В. Колчак поведал корреспонденту о своём разговоре с военным министром Временного Сибирского

правительства А.А. Краковецким, попытку которого создать «революционную армию» адмирал квалифицировал как вредную затею. «Они уже развалили одну армию, – сказал он В.О. Риссу. – Создать другую на таких [же] основаниях нельзя».

Столь же отрицательно оценил Александр Васильевич попытку Д.Л. Хорвата создать собственное правительство в полосе отчуждения КВЖД. «О правительстве Хорвата, – заявил он, – не могло быть серьёзного разговора. Я не политик, но основные положения государственного права помню. Каждое государство должно иметь собственные территорию, население, вооружённые силы и средства. Без соблюдения хотя бы одного из этих четырёх условий правительства быть не может. Правительство же, созданное вне всех этих условий, будет не правительством, а только пародией на правительство. В состав такого правительства я никогда не войду».

А.В. Колчак считал, что возрождение российской государственности на Дальнем Востоке необходимо начинать с восстановления вооружённых сил и открытия антибольшевистского фронта, но сделать это можно только при содействии союзников. С помощью союзников он связывал также восстановление элементарных условий гражданской жизни: личной и имущественной безопасности граждан. В качестве зародышей органов государственной власти он рассматривал органы местного самоуправления, «которые постепенно выдвинут более широкие государственные институты, напр[имер,] областные правительства».

Дальнейшее развитие событий А.В. Колчак видел так: «Под прикрытием фронта, имея обеспеченным тыл, можно будет собрать Сибирскую думу и установить правительство, которое при дальнейшем продвижении фронта на запад будет развиваться до конечной цели: созыв Российского Учредительного собрания и установление государственной власти согласно воле народа».

Видимо, из тактических соображений много внимания адмирал уделил Японии, заявив, что она «играет решающую роль на Дальнем Востоке» и что «только Япония может помочь воссозданию нашей боеспособности». Но поскольку японцы отказались сотрудничать с ним, сказал Александр Васильевич, он прекратит всякую работу. «Признаюсь, – закончил “японскую”

тему А.В. Колчак, – мне горько, что моё желание работать не встретило сочувствия. Но личных целей я никогда не преследовал, и потому устранился»[3].

Большую часть времени в Японии А.В. Колчак провёл вместе со своей возлюбленной А.В. Тимиревой на курортах Атами и Никко. Они обсуждали совместные планы на будущее, во всяком случае – на ближайшее. А.В. Колчак не мыслил себя вне борьбы с немцами и большевиками. Но возможность принять в ней участие на Дальнем Востоке из-за позиции японских военных он больше не видел. Поэтому его внимание привлекли сообщения имевшихся в Японии дальневосточных газет о событиях на Волге, Урале и в Сибири, которые к тому времени были освобождены от советов и где образовалось несколько антибольшевистских областных правительств, имевших собственные вооружённые силы. Особый интерес адмирала вызвало находившееся в Омске Временное Сибирское правительство, успешно осуществившее мобилизацию населения в войска и проводившее твёрдую внутреннюю политику. В его пользу он и сделал выбор, хотя позднее А.В. Колчак неоднократно утверждал, что намеревался ехать на юг России, где находилась его семья и где вёл борьбу с большевиками бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал от инфантерии М.В. Алексеев. 16 сентября 1918г. А.В. Колчак отплыл из Иокогамы во Владивосток, имея, по свидетельству А.В. Тимиревой, твёрдое намерение «принять участие в борьбе с большевиками на стороне образовавшегося Сибирского правительства»[4]. Анна Васильевна же ещё некоторое время оставалась в Японии.

Обстоятельства сложились так, что в один день с А.В. Колчаком во Владивосток с запада прибыла делегация Временного Сибирского правительства во главе с председателем Совета министров П.В. Вологодским. Это было самое авторитетное и влиятельное государственное образование, созданное летом 1918г. на востоке России на освобождённой от большевиков территории. Оно имело наиболее многочисленные и боеспособные вооружённые силы – Сибирскую армию – и к осени 1918г. контролировало огромную территорию от Зауралья до Забайкалья включительно. Делегация Временного Сибирского правительства прибыла во

Владивосток для решения двух злободневных проблем: во-первых, добиться ликвидации существовавших здесь антибольшевистских правительств (Временного правительства автономной Сибири П.Я. Дербера – И.А. Лаврова, Делового кабинета Д.Л. Хорвата, Временного правительства Амурской области во главе с А.Н. Алексеевским) и установить свой контроль над русским Дальним Востоком; во-вторых, наладить прямые контакты с дипломатическими и военными представителями союзников, заручиться их максимальной поддержкой, а также прозондировать вероятность дипломатического признания.

График работы сибирской делегации был довольно напряжённым. С первого же дня начались торжественные и деловые встречи с представителями местных правительств, союзников, общественности, прессы. Тем не менее, уже на следующий день, 20 сентября, А.В. Колчак по совету одного из морских офицеров, сопровождавших делегацию, попросил аудиенцию у П.В. Вологодского и был им принят. Встреча состоялась вечером и длилась недолго. Разговор явно не клеился. По его итогам Пётр Васильевич занёс в свою записную книжку только два слова: «Адмирал Колчак»[5]. Что же касается официальной информации, 24 сентября 1918г. появившейся в омской газете «Сибирский вестник», то она тоже была предельно лапидарна: «Адмирал Колчак доложил о восстановлении и задачах Тихоокеанского флота». 30 января 1920г. на допросе чрезвычайной следственной комиссии Иркутского Политического центра сам А.В. Колчак о встрече с главой Временного Сибирского правительства показал следующее: «Я лично представился тогда Вологодскому […]. Я сделал ему визит, он был страшно занят, ни о чём серьезном не говорил; я ему сказал совершенно определённо, что те морские части, которые имеются здесь, безусловно подчиняются распоряжениям этого правительства»[6]. Правда, адмирал забыл сказать, что его слова тогда ничего не значили, поскольку никакого официального поста он не занимал.

Явным диссонансом приведённым свидетельствам является запись об этой встрече в так называемом «Дневнике П.В. Вологодского», помеченная якобы следующим днём. «Вечером, – говорится в ней, – посетил меня известный своим героизмом перед

требованиями, [выдвинутыми] взбунтовавшимися черноморскими матросами вице-адмирал А.В. Колчак. Он очень сочувственно относится к деятельности Сиб[ирского] прав[ительст]ва, рекомендовал мне несколько своих сослуживцев, находящихся теперь на Дальнем Востоке, для определения на службу. При расставании пожелал в моём лице Сиб[ирскому] правительству дальнейших успехов в насаждении государственности. Колчак произвёл на меня очень приятное впечатление. Испитой и суровый на вид, он должно быть в душе очень добрый человек. Удивительно приятна его улыбка»[7].

Достоверность датировки этой записи вызывает большие сомнения. Скорее всего, процитированный фрагмент является позднейшей вставкой, сделанной П.В. Вологодским при подготовке «Дневника» к публикации.

В пользу высказанного предположения говорит и тот парадоксальный факт, что глава Временного Сибирского правительства, остро нуждавшегося в опытных военачальниках, даже не поинтересовался ни ближайшими, ни долгосрочными планами адмирала. Конечно, такая отстранённость со стороны П.В. Вологодского может быть объяснена объективными причинами. Возможно, на поведение сибирского премьера могло повлиять то обстоятельство, что весной – в начале лета 1918г. А.В. Колчак был близок к Д.Л. Хорвату, являвшемуся главным препятствием для установления единовластия Временного Сибирского правительства на Дальнем Востоке.

Не исключено, что адмиралу «аукнулся» его конфликт с атаманом Г.М. Семёновым. Последний к тому времени уже прочно контролировал Забайкалье и, по крайней мере на словах, присягнул на верность Временному Сибирскому правительству. К тому же в общественном мнении за А.В. Колчаком закрепилась репутация японофоба, что понижало его акции в глазах П.В. Вологодского, искавшего международного признания.

Но, скорее всего, А.В. Колчак – в отличие, скажем, от генералов Р. Гайды или А. Нокса – не представлял интереса для сибирского премьера потому, что не располагал никакими реальными силами или ресурсами. По сути дела в той сложной политической игре, которая велась в то время на Дальнем Востоке, его единственным «козырем» было имя: репутация талантливого полярного

исследователя, одного из реформаторов русского флота, героя Балтики, известного в военных кругах флотоводца, непримиримого врага Германии и большевиков. Однако на владивостокской «ярмарке» всё это имело невысокую цену.

Видимо, на следующий день у А.В. Колчака состоялась встреча с бывшим командующим Восточной группой войск в Сибири чехом Р. Гайдой, три недели тому назад произведённым в генерал-майоры и теперь домогавшимся от П.В. Вологодского ни много ни мало должности командующего Сибирской армией, чему решительно противились как остальные сибирские министры, так и руководство военного ведомства. Инициатива встречи исходила от Р. Гайды, который, судя по всему, искал дополнительную опору в русской военной среде. Адмирал хоть и находился не у дел, но учитывался новоиспечённым и честолюбивым чешским генералом в его амбициозных планах. Встреча происходила в штабе чехословацких войск, располагавшемся в здании бывшего владивостокского морского порта.

Вот каким, по воспоминаниям Р. Гайды, предстал перед ним А.В. Колчак: «Первое впечатление было довольно неопределённое. Он был среднего роста, несколько сутулый с худым, нервным, резко очерченным лицом, бритый, с короткими волосами, глубоко впавшими щеками, заострённым орлиным носом и быстрым взглядом. Казалось, что адмирал, которому можно было дать около 45-ти лет, был физически очень утомлён, что я объяснял себе его материальной необеспеченностью, тем более потому, что его штатский серый костюм выглядел довольно поношенным. Особенно запечатлелась мне его мягкая шляпа с широкими полями, придававшая ему пролетарский вид»[8].

Собеседники виделись впервые, но разговорились быстро, поскольку обоих интересовали одни и те же вопросы. Р. Гайда проинформировал А.В. Колчака о положении дел на Восточном фронте. Затем они обсудили вопрос о взаимодействии русских и чехословацких войск и пришли к выводу о необходимости установления единого командования. Наконец, дошла очередь выяснить отношение к формируемой различными политическими силами на государственном совещании в Уфе новой всероссийской власти – Временному Всероссийскому правительству. Р. Гайда

оценил будущее правительство, основанное на компромиссах и коалиционном начале, как образование нежизненное. А.В. Колчак после этого поинтересовался, какую же власть генерал считал бы в настоящих условиях наилучшей. По свидетельству адмирала, последовал такой ответ: «Я считаю, что в этом периоде и в этих условиях может быть только военная диктатура».

В этом откровении чешского генерала А.В. Колчак не обнаружил для себя ничего нового. Сам он уже давно и окончательно решил, что предотвратить национальную катастрофу и спасти Россию может только твердая единоличная власть. Причём настолько определился в своём решении, что счёл возможным сделать его достоянием общественности. В начале июля 1918г. во владивостокской газете «Голос Приморья» за подписью А.К., не оставлявшей сомнений в том, что её автором является А.В. Колчак, появилась небольшая статья с весьма выразительным названием «Единоличная власть».

Статья начиналась небольшим экскурсом в мировую историю: «В моменты остроты политических осложнений, в моменты великой разрухи и тревоги, понятно, что люди ищут умиротворяющие начала. Одним из таких выходов обычно признаётся твёрдая власть и как её наиболее гибкая форма – власть единоличная.

Такое признание далеко не ново, оно было и в древности. Римская республика знала власть диктатора и обращалась к ней в тот момент, когда государству грозили величайшие бедствия. В диктатуре видели крайнее средство и прибегали к ней только в самые острые моменты.

То, что мы теперь переживаем, такой момент, не может [не] вызывать споров, и разговоры о диктатуре вполне понятны. Тем не менее, вопрос этот требует величайшей осторожности, т.к. ни одна власть не способна так легко выродиться в самовластие как власть диктаторская».

Дальнейший ход своей первой беседы Р. Гайда и А.В. Колчак вспоминали по-разному. Адмирал утверждал, что его ответ был таков: «Военная диктатура прежде всего предполагает армию, на которую опирается диктатор, и, следовательно, это может быть власть только того лица, в распоряжении которого находится армия, но такового лица не существует, потому что даже нет общего

командования. Для диктатуры нужно прежде всего крупное военное имя, которому бы армия верила, которая бы знала это лицо, и только в таких условиях это возможно». По версии А.В. Колчака, Р. Гайда в ответ заявил, что «это вопрос будущего времени, потому что сейчас всё ещё находится в периоде создания, развития…»[9].

Р. Гайда в своих воспоминаниях окончание разговора излагал иначе. По его словам, Александр Васильевич «обвинял крайне левые и правые элементы в неуступчивости. Он также высказался о необходимости твёрдой власти, которая бы шла по среднему демократическому пути». Однако в конце своей речи адмирал уже ратовал за единоличную власть и, по утверждению чеха, «прямо заявил, что необходимо, чтобы я взял её в свои руки», мотивируя своё предложение тем, что только Р. Гайда имеет опору в войсках[10].

Во Владивостоке А.В. Колчак решил сложить с себя обязанности члена правления КВЖД. Скорее всего, именно это обстоятельство побудило его ещё раз встретиться с Р. Гайдой и дать ему понять, что он хотел бы получить какую-нибудь новую административную должность. Генерал обещал оказать содействие, возможно, имея в виду совместную деятельность в войсках на Восточном фронте. Но 23 сентября он вместе со штабом отбыл на запад. А.В. Колчак выражал желание поехать вместе с Р. Гайдой, однако у него оставались какие-то неотложные дела, которые не позволили ему немедленно оставить Владивосток.

Только 27 сентября А.В. Колчак в сопровождении двух морских офицеров покинул Владивосток. Существует версия, что адмирал добирался до Омска инкогнито. Встречается также утверждение, что вместе с ним ехала А.В. Тимирева[11]. Эта информация не соответствует действительности. На самом деле А.В. Колчак отправился из Владивостока без Анны Васильевны. Что же касается А.В. Тимиревой, фактически ставшей гражданской женой адмирала, то она выехала на запад намного позже и лишь после того, как получила от А.В. Колчака сообщение о том, что он благополучно добрался до Омска.

В поездке адмирал отнюдь не таился. Скорее наоборот, он был заинтересован в широкой информации о своём пребывании в Сибири. И хотя адмирал не являлся официальным лицом, он

оставался фигурой российского масштаба. Поэтому местные газеты следили за его передвижением и публиковали сведения о его поездке. Так, о проезде А.В. Колчака 7 октября 1918г. через Иркутск писала местная газета «Дело». Она же сообщила, что дальше на запад он должен был проследовать вместе с командующим Северо-Уральским фронтом Р. Гайдой, но «личные дела задержали адмирала, и он отбыл из Иркутска 9-го октября обратно на восток»[12]. Последнее утверждение явно ошибочно, поскольку уже на следующий день адмирал находился в Красноярске. Здесь он встретился с начальником местного гарнизона генерал-майором М.И. Федоровичем[13].

Встреча Александра Васильевича с М.И. Федоровичем не являлась случайной. Она убедительно свидетельствует о том, что адмирал отслеживал политическую ситуацию в Сибири, заводил связи, искал коллег и бывших сослуживцев. М.И. Федорович был одним из них. Он всего несколько дней тому назад получил чин генерала. Изначально же Михаил Иосифович был морским офицером, окончившим Морской корпус, минные офицерские классы и Николаевскую военно-морскую академию. Он был близко знаком с А.В. Колчаком, поскольку в бытность адмирала командующим Черноморским флотом в звании капитана 1-го ранга состоял начальником гидроавиации Черноморского флота.

Из Красноярска А.В. Колчак без задержек проследовал в Омск и 13 октября 1918г. прибыл в тогдашнюю столицу Сибири. Г.З. Иоффе утверждал, что появление адмирала в Омске не было замечено и не нашло отражения в прессе[14]. Это неверно. Через два дня после приезда А.В. Колчака в Омск об этом событии в разделе «Хроника» сообщила популярная социалистическая газета «Заря».

В пути А.В. Колчак по местной прессе изучал здешнюю политическую обстановку. За последние три недели она резко изменилась. 23 сентября 1918г. на проходившем в Уфе государственном совещании, в котором участвовали члены Всероссийского Учредительного собрания, делегации областных правительств Поволжья, Урала и Сибири, политических партий и влиятельных общественных организаций, был образован новый орган государственной власти – Временное Всероссийское правительство. В его состав были включены бывший министр внутренних

дел Всероссийского Временного правительства, член ЦК партии эсеров Н.Д. Авксентьев, бывший Московский городской голова, член ЦК конституционно-демократической партии Н.И. Астров, один из лидеров Союза возрождения России, бывший командующий 5-й армией генерал-лейтенант В.Г. Болдырев, председатель Совета министров Временного Сибирского правительства П.В. Вологодский и председатель Верховного управления Северной области, член ЦК трудовой народно-социалистической партии Н.В. Чайковский. Однако из-за отсутствия в Уфе Н.И. Астрова и Н.В. Чайковского реально вместо них приступили к работе во Временном Всероссийском правительстве избранные их заместителями член ЦК конституционно-демократической партии В.А. Виноградов и член эсеровского ЦК В.М. Зензинов. До созыва Всероссийского Учредительного собрания правительство было наделено всей полнотой власти «на всём пространстве государства Российского». Другими словами, Временное Всероссийское правительство являлось коллективным диктатором (Директорией) на освобождённой от большевиков территории. На состоявшемся в ночь на 24 сентября 1918г. первом же заседании Временного Всероссийского правительства его председателем был избран Н.Д. Авксентьев, а Верховным главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами России – В.Г. Болдырев[15]. Создание Временного Всероссийского правительства стало компромиссом в лагере контрреволюции между теми сторонниками народовластия и частью более «правых» элементов, которые разделяли платформу Союза освобождения России. Но оно вызвало недовольство со стороны как более «левых», так и более «правых» политических сил. У одних – в силу принципиальной неприемлемости для них принципов компромисса и коалиции, у других – по причине того, что они считали себя оказавшимися в проигрыше.

По соображениям военно-стратегического характера Временное Всероссийское правительство почти сразу же было вынуждено покинуть Уфу. Первоначально местом своего нового пребывания оно избрало Екатеринбург, но затем приняло решение в пользу Омска. Выбор Омска был сделан по двум главным соображениям. Во-первых, у находившегося в Омске Временного Сибирского правительства уже имелся работоспособный исполнительный

аппарат, который Временное Всероссийское правительство намеревалось использовать в своих целях. Во-вторых, предполагалось, что пребывание Временного Всероссийского правительства позволит наиболее эффективно нейтрализовать Временное Сибирское правительство, пользовавшееся в социалистических кругах репутацией «реакционного».

9 октября 1918г. Временное Всероссийское правительство прибыло в Омск и сразу же приступило к формированию отсутствовавшего у него исполнительного аппарата – Совета министров. 12 октября на совместном заседании Директории и Административного совета, являвшегося «деловым кабинетом» Временного Сибирского правительства, было достигнуто соглашение о том, что до формирования Совета министров Всероссийского правительства его функции будет временно исполнять Административный совет. К конструированию Совета министров Всероссийского правительства решено было приступить на основах взаимного соглашения после возвращения из дальневосточной командировки в Омск делегации П.В. Вологодского. Причём была достигнута договоренность взять за основу персональный состав Административного совета, отдельных членов которого Директория получила право отклонять как несоответствующих занимаемым должностям[16].

А.В. Колчак, прибывший в Омск через четыре дня после Директории, как новая и «перспективная» фигура сразу же оказался сначала в поле зрения, а потом и в центре внимания различных омских политических и общественных группировок, главным образом «правого» спектра. Во многом такому интересу способствовал тот факт, что с первых дней своего приезда адмирал жил на квартире известного общественного деятеля, лидера омских кадетов присяжного поверенного В.А. Жардецкого[17], давно ратовавшего за необходимость установления в Сибири единоличной военной диктатуры. В результате Александр Васильевич быстро познакомился и сблизился с министром финансов Временного Сибирского правительства И.А. Михайловым, начальником штаба Верховного главнокомандующего (Ставки) генерал-майором С.Н. Розановым, начальником Всероссийской академии Генерального штаба генерал-майором А.И. Андогским, активистами омского отдела

Союза возрождения России Н.Б. Двинаренко, Д.С. Каргаловым, В.В. Куликовым, Н.С. Лопухиным, Н.А. Филашевым (А.И. Новиковым), председателем «блока» политических и общественных объединений А.Н. Балакшиным, председателем Омского отделения Всероссийского национального союза Г.А. Ряжским. Именно эти люди стали активно рекламировать и продвигать адмирала, надеясь в дальнейшем использовать его для решения своих задач. Например, 23 октября 1918г. в приложении к газете «Заря» был опубликован пространный биографический очерк А.В. Колчака. Такой чести газета не удостоила ни одного члена Директории. 29 октября панегирическая статья об адмирале появилась в «Сибирском вестнике», являвшемся официальным органом Временного Сибирского правительства.

На следующий день после приезда в Омск А.В. Колчак посетил Верховного главнокомандующего войсками Временного Всероссийского правительства В.Г. Болдырева. Адмирал проинформировал В.Г. Болдырева о положении на Дальнем Востоке, а также о своих намерениях пробраться в расположение Добровольческой армии и поступить в распоряжение генерала М.В. Алексеева[18]. В последующем А.В. Колчак неоднократно озвучивал это утверждение, и оно десятилетиями воспринималось всеми историками как достоверное. Между тем совершенно очевидно, что утверждение адмирала о том, что он стремится на Юг и не собирается оставаться в Омске, являлось элементарной дезинформацией, которая резко повышала его акции в Сибири. Впервые некоторые сомнения в отношении достоверности распространявшейся самим А.В. Колчаком версии высказал Г.З. Иоффе, который полагал, что у адмирала вполне мог быть и другой, сибирский вариант. Исследователь считал, что подобно тому как весной 1918г. в Пекине А.В. Колчак предоставил возможность уговорить себя «поработать» на Дальнем Востоке, так и сейчас позволял «убедить» себя остаться в Омске[19].

Однако есть серьёзные основания считать, что в действительности сибирский вариант был если не единственным, то главным. Транзит на Юг через Сибирь являлся слишком рискованным для А.В. Колчака предприятием, особенно если учесть, что адмирал уже был не один. С интервалом в несколько дней за ним ехала из

Владивостока в Омск А.В. Тимирева, с которой он был связан определёнными обязательствами и которая в Японии приобрела для себя меховую одежду в расчёте на зимние сибирские морозы.

Об этом же говорит тот факт, что А.В. Колчак в принципе принял приглашение генерала Р. Гайды, получившего в своё командование Северо-Уральский фронт (Екатеринбургскую группу Сибирской армии), о совместной боевой деятельности.

6 октября 1918г. омская газета «Иртыш», со слов неделю тому назад проезжавшего через город из Владивостока на фронт генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса, дала не совсем точную, но весьма важную информацию о том, что на днях «в Омск прибудет адмирал Колчак, назначенный командовать русским флотом, находящимся на Дальнем Востоке». Здесь нет даже намёка на то, что адмирал может проследовать на Юг.

И, наконец, самое главное. В пользу сибирского варианта говорит то, какую чрезвычайную активность в Омске сразу же развил А.В. Колчак, явно стремясь как можно быстрее укорениться на сибирской почве.

Конечно, Г.З. Иоффе был прав, когда писал, что, по-видимому, А.В. Колчак колебался. Но эти колебания были недолгими. Скорее всего, чаша весов склонилась в пользу сибирского варианта уже 16 октября 1918г., когда В.Г. Болдырев впервые заговорил с А.В. Колчаком о возможности назначения его на пост военного и морского министра в формирующемся Совете министров Временного Всероссийского правительства[20].

18 октября 1918г. из Владивостока в Омск вернулась правительственная делегация во главе с П.В. Вологодским. С этого времени начались консультации между Директорией с одной стороны, Советом министров и Административным советом Временного Сибирского правительства – с другой относительно принципов формирования и состава Совета министров Временного Всероссийского правительства.

22 октября 1918г. состоялось первое заседание Директории с участием министров Временного Сибирского правительства И.А. Михайлова, И.И. Серебренникова и управляющего делами Г.К. Гинса, на котором эти вопросы подверглись обсуждению. По его итогам было принято решение о том, что список кандидатов на

вакансии министров будет составлять П.В. Вологодский, который займёт пост председателя Совета министров Временного Всероссийского правительства, а Директории предоставляется право отклонять предложенные кандидатуры. Но в конце заседания Н.Д. Авксентьев, упреждая П.В. Вологодского и, видимо, рассчитывая оказать на него психологическое давление, огласил список кандидатов на министерские посты, составленный в ходе частных совещаний членов Директории. Участники заседания, однако, решили обсуждение этого вопроса перенести на следующий день[21]. Тем не менее, какой-то неофициальный обмен мнениями между ними всё же состоялся, а фамилия А.В. Колчака во время его так или иначе прозвучала. Во всяком случае, в дневнике В.Г. Болдырева об этом заседании имеется такая запись: «Кандидатура Колчака на пост военно-морского министра не встречает возражений. Завтра предложу ему этот пост»[22].

Вспоминая о Харбине весны – лета 1918г. и царивших в нём нравах, А.В. Колчак как-то назвал этот город «ямой». Омск осени 1918г. не многим отличался от харбинской политической «помойки». Здесь оказалось ещё больше, чем в Харбине, военных, политиков и общественных деятелей, неожиданно вынесенных бурными событиями на гребень политической жизни, которые активно пользовались в своих практиках слухами, сплетнями и интригами, прибегали к угрозам и насилию с использованием оружия для решения возникавших проблем. Достаточно напомнить об аресте 21 сентября 1918г. министров Временного Сибирского правительства В.М. Крутовского, М.Б. Шатилова и А.Е. Новоселова, а также об убийстве последнего, которые совершили подчинённые начальника Омского гарнизона полковника В.И. Волкова, вызвав тем самым в Сибири глубокий правительственный кризис[23].

Информация о начале переговоров между Директорией и Временным Сибирским правительством по вопросу о формировании всероссийского Совета министров резко обострила и без того напряжённую атмосферу Омска. Кто-то из противников Директории в целях её дискредитации запустил слух о том, что она отдала распоряжение об аресте членов Временного Сибирского правительства. В ночь на 23 октября 1918г. к дому, в котором находилась квартира П.В. Вологодского, прибыл непонятно кем назначенный

отряд вооружённых казаков якобы для охраны сибирского премьер-министра. Обеспокоенный П.В. Вологодский посчитал необходимым в тот же день на заседании Совета министров Временного Сибирского правительства дать сообщение «о событиях в связи с распространившимися слухами об аресте членов Совета министров». На том же заседании с сообщением «о распространяемых по городу слухах, тревожащих общественное настроение», выступил управляющий министерством внутренних дел С.С. Старынкевич. Совет министров Временного Сибирского правительства поручил С.С. Старынкевичу «принять меры к предупреждению распространения тревожных сведений среди населения»[24].

Ситуация повторилась вечером того же дня, когда у здания Директории, где в это время происходило заседание Временного Всероссийского правительства, появился взвод казаков, объявивших, что они назначены для охраны П.В. Вологодского. Как установил В.Г. Болдырев, казаки были направлены по распоряжению начальника штаба 2-го Степного Сибирского корпуса полковника Л.Д. Василенко, выполнявшего соответствующее требование министра финансов Временного Сибирского правительства И.А. Михайлова. Чтобы как-то успокоить в очередной раз очень разволновавшегося П.В. Вологодского, В.Г. Болдырев был вынужден довезти его до дома на собственном автомобиле. Здесь, к своему удивлению, Верховный главнокомандующий увидел охрану из сербов, игравших роль белых «латышских стрелков». «Мексика среди снега и мороза», – так прокомментировал ситуацию В.Г. Болдырев в своём дневнике, и на следующий же день потребовал от начальника штаба Сибирской армии генерал-майора П.П. Белова отрешить Л.Д. Василенко от должности[25].

Из мемуаров и исследовательской литературы известно, что формирование Совета министров Временного Всероссийского правительства происходило в настолько острой борьбе, что предварительное соглашение между Директорией и Временным Сибирским правительством не раз оказывалось на грани разрыва. Дискуссии доходили до того, что то Н.Д. Авксентьев, В.М. Зензинов и В.А. Виноградов намеревались выйти из состава Директории, то П.В. Вологодский – отказаться от формирования

всероссийского кабинета и выйти как из Директории, так и из Временного Сибирского правительства.

Как известно, главным «яблоком раздора» между Директорией и Временным Сибирским правительством стали две кандидатуры: бывшего министра финансов И.А. Михайлова, предложенного Административным советом на должность министра внутренних дел, и члена ЦК партии эсеров Е.Ф. Роговского, которого большинство Директории выставляло товарищем министра внутренних дел, отвечающим за департамент милиции. И.А. Михайлова большинство «директоров» отводило потому, что считало его виновным в сентябрьском правительственном кризисе и в убийстве А.Е. Новоселова. Е.Ф. Роговский же не устраивал Административный совет потому, что считался слишком правоверным эсером и не способным к государственной деятельности. Что касается кандидатуры А.В. Колчака, то, по утверждению бывшего министра Временного Сибирского правительства И.И. Серебренникова, «особенно настойчиво выдвигал его на этот пост сам Авксентьев» и она «не вызывала ниоткуда возражений»[26].

Существует, как минимум, четыре разных списка кандидатов на посты министров Временного Всероссийского правительства, которые в разное время составлял и предлагал Директории П.В. Вологодский. Во всех списках военным и морским министром на безальтернативной основе значится один и тот же человек – вице-адмирал А.В. Колчак[27]. Последнее означало, что он устраивал обе заинтересованные стороны: и Директорию, и Временное Сибирское правительство. Но из этого вовсе не следует, что совсем не было противников назначения А.В. Колчака военным и морским министром. В действительности такие противники имелись. По свидетельству П.В. Вологодского, в Административном совете «очень резко против кандидатуры Колчака выступал С.В. Востротин»[28].

Напомним, что С.В. Востротин являлся депутатом Государственной думы III и IV созывов от Енисейской губернии. После февраля 1917г. он активно участвовал в революционных событиях в Петрограде, в мае – июле 1917г. занимал пост товарища министра земледелия в первом коалиционном всероссийском Временном правительстве, в октябре вошел во Временный совет Российской

республики (Предпарламент). В июле – октябре 1918г. С.В. Востротин возглавлял правительство (Деловой кабинет) Временного правителя России Д.Л. Хорвата, благодаря чему хорошо знал о методах и результатах деятельности А.В. Колчака на посту начальника охранной стражи КВЖД. Сам С.В. Востротин в ходе формирования Совета министров Временного Всероссийского правительства получил приглашение на пост министра торговли и промышленности, занять который он, однако, отказался[29].

Закамуфлированный демарш против назначения А.В. Колчака военным и морским министром сделал находившийся в это время в командировке во Владивостоке временно управляющий военным министерством и командующий Сибирской армией генерал-майор П.П. Иванов-Ринов. 21 октября 1918г. он прислал министру финансов И.А. Михайлову, которого считал своим ближайшим союзником в борьбе за министерский пост, для информации Временного Сибирского правительства пространную телеграмму с анализом позиции союзных держав в российском вопросе. П.П. Иванов-Ринов утверждал, что чехословацкое руководство пытается добиться статуса мировой величины «за счёт России». Возможность изменить ситуацию он видел в том, чтобы активизировать американскую помощь России, разыграв для этого японскую «карту». «К сожалению, – телеграфировал П.П. Иванов-Ринов, – Колчак весьма нетактично произвёл разрыв с японцами и вообще много напортил на востоке своей несдержанностью». Более того, П.П. Иванов-Ринов обвинил В.Г. Болдырева и А.В. Колчака в том, что они оба, «быть может разными путями, но идут [к] одной цели»: к «реорганизации армии, грозящей разрушением сделанного, и передачей нашей армии чехам»[30].

Впрочем, мнение П.П. Иванова-Ринова было отнюдь не беспристрастным. Оно имело скрытую, но легко угадываемую подоплеку. В его телеграмме явно сквозила по человечески вполне понятная обида. Весной 1918г. П.П. Иванов-Ринов создавал антибольшевистское подполье в Степном крае, затем с первых дней антисоветского вооружённого выступления командовал одним из трёх корпусов Западно-Сибирской отдельной армии. Любой объективный наблюдатель должен был признать, что в результате П.П. Иванов-Ринов оказался одним из тех, кто как бы «таскал каштаны из

огня» для других. Получилось так: В.Г. Болдырев и А.В. Колчак, появившиеся в Омске только в октябре 1918г., пришли на всё готовое, не внеся своей лепты в борьбу с большевиками, однако сразу же заняли ключевые военные должности, отодвинув на задний план заслуженных ветеранов.

Кроме того, у П.П. Иванова-Ринова имелась в Омске довольно солидная «группа поддержки», состоявшая из старших казачьих офицеров (в ней верховодили председатель войскового правительства Сибирского казачьего войска полковник Е.П. Березовский, начальник Сибирской казачьей дивизии полковник В.И. Волков и генерал для поручений при командующем Сибирской армией войсковой старшина Ф.И. Поротиков), которая не оставляла надежд на то, что именно он займёт вакансию всероссийского военного и морского министра. После нескольких совещаний эта группа 31 октября 1918г. решила послать к В.Г. Болдыреву и к А.В. Колчаку совместную делегацию из представителей Сибирского, Семиреченского и Уральского казачьих войск с заявлением о необходимости назначения П.П. Иванова-Ринова на пост министра. Но В.Г. Болдырев дал ответ, что изменить ничего не может, так как за кандидатуру адмирала уже высказались Директория, Административный совет и Омский блок общественных организаций. Но Верховный главнокомандующий твёрдо пообещал, что П.П. Иванов-Ринов сохранит за собой пост командарма Сибирской.

А.В. Колчак же, как выяснила побывавшая у него казачья делегация, предлагать П.П. Иванова-Ринова в военные и морские министры нигде не помышлял, а высказывался только за сохранение за ним должности командующего Сибирской армией. Тогда В.И. Волков в доверительной беседе с А.В. Колчаком начал склонять последнего к тому, чтобы тот вскоре передал должность военного и морского министра П.П. Иванову-Ринову.

Можно только догадываться о том, какие аргументы выкладывал казачий полковник, убеждая адмирала отказаться от министерского поста. В принципе, это могли быть угрозы. Ведь недаром В.И. Волкова боялся даже такой не робкого десятка человек, каким был первый управляющий военным министерством Временного Сибирского правительства и командующий Сибирской армией генерал-майор А.Н. Гришин-Алмазов. Но, скорее всего,

казачий полковник обещал А.В. Колчаку своё содействие в достижении какой-то более важной цели. Телеграфировавший об этом во Владивосток П.П. Иванову-Ринову Ф.И. Поротиков «карты» В.И. Волкова раскрывать не стал, поскольку, как он писал, «ясно информировать Вас об этом опасаюсь даже шифром»[31].

Ещё восемь дней спустя после телеграммы П.П. Иванова-Ринова П.В. Вологодский получил из Владивостока шифрованную экстренную записку от своего бывшего уполномоченного на Дальнем Востоке В.Э. Гревса, являвшегося с 3 октября 1918г. советником министра иностранных дел на правах товарища министра. В.Э. Гревс только что вернулся во Владивосток из командировки в Японию и на телеграфе узнал о намерении назначить А.В. Колчака военным и морским министром. Признавая личность А.В. Колчака безупречной, В.Э. Гревс вместе с тем счёл своим долгом напомнить П.В. Вологодскому «о впечатлении вполне [н]еуравновешенного человека», которое произвёл А.В. Колчак на П.В. Вологодского и на всю сибирскую делегацию во Владивостоке, «впечатлении, подтверждённом и отзывами всех знавших его за последнее время».

В.Э. Гревс обратил внимание П.В. Вологодского также на то, что из-за сложной внутренней обстановки и необходимости взаимодействия с союзниками пост военного и морского министра приобретает политическое значение, что «требует от занимающего его лица особой выдержки и такта». Кроме того, В.Э. Гревс мотивировал нецелесообразность замены П.П. Иванова-Ринова А.В. Колчаком тем, что первый «с величайшим трудом налаживает дело на Дальнем Востоке и ведёт ответственные переговоры с союзниками и союзным командованием». Отстранение же П.П. Иванова-Ринова с поста главы военного ведомства, по мнению В.Э. Гревса, «разрушит всю его работу и вселит в союзников нежелательные сомнения в твёрдость и определённость курса нашей политики»[32]. Однако Административный совет не прислушался к мнению С.В. Востротина, а П.В. Вологодский и Директория проигнорировали предупреждения П.П. Иванова-Ринова и Э.В. Гревса, усмотрев в них только банальную интригу.

Нужно признать, что А.В. Колчак не только быстро освоился в новой для него общественно-политической обстановке, но и стал

одним из наиболее активных актёров омской сцены. Посетив 27 октября 1918г. В.Г. Болдырева вместе с С.Н. Розановым и 29 октября – в компании с В.А. Жардецким и Н.С. Лопухиным, А.В. Колчак пытался склонить генерала к ликвидации Директории и к передаче её функций Верховному главнокомандующему, т.е. В.Г. Болдыреву. Однако генерал от такого лестного предложения отказывался, заявляя, что, «если это понадобится, то Директория сама передаст ему полноту власти»[33]. Возможно, Верховный главнокомандующий эти разговоры пока всерьёз не воспринимал.

Ещё более решительно, временами просто бесцеремонно, вёл себя А.В. Колчак при формировании Совета министров Временного Всероссийского правительства, хотя формально он не имел права даже участвовать в обсуждении и тем более – в принятии решений по этому вопросу. Именно А.В. Колчак особенно активно лоббировал продвижение на министерскую должность И.А. Михайлова, которого блокировало большинство членов Директории. Вместе с тем он наиболее резко выступал против назначения на должность помощника министра внутренних дел, отвечавшего за деятельность милиции, Е.Ф. Роговского. Даже после того, как кандидатура последнего была согласована с Административным советом, А.В. Колчак оказал столь мощное давление на П.В. Вологодского, что тот 29 октября 1918г. на заседании Директории вновь заявил о неприемлемости Е.Ф. Роговского в качестве помощника министра. После этого Директория поручила В.Г. Болдыреву переговорить с А.В. Колчаком.

Такая беседа состоялась на следующий день. В.Г. Болдырев дал А.В. Колчаку получасовой урок ликвидации политического «ликбеза». По итогам беседы адмирал заявил, что остаётся «непреклонным противником Роговского», но подчинится военной дисциплине. В тот же день В.Г. Болдырев, чтобы поставить А.В. Колчака в служебные рамки, издал приказ о назначении вице-адмирала А.В. Колчака в распоряжение Верховного главнокомандующего[34].

Два дня – 30 и 31 октября – А.В. Колчак нервировал Директорию и Временное Сибирское правительство, добиваясь отклонения кандидатуры Е.Ф. Роговского. Дело дошло до того, что он стал отказываться от поста военного и морского министра во

Временном Всероссийском правительстве, соглашаясь только на должность временно управляющего министерством, назначенного приказом Верховного главнокомандующего. По наблюдению В.Г. Болдырева, адмирал «совершенно извёл бедного Н.Д. Авксентьева». Тогда же в дневнике В.Г. Болдырева появилась об А.В. Колчаке первая критическая запись: «Очень нервный и неустойчивый человек»[35].

Чтобы нормализовать обстановку, 31 октября 1918г. Н.Д. Авксентьев составил с А.В. Колчаком беседу. Но она ничего не дала, каждый из них остался при своём мнении. Более того, в тот же день адмирал подал на имя П.В. Вологодского записку, в которой сообщил, что после встречи с Н.Д. Авксентьевым он пришёл к выводу о невозможности «принять должность военного [и морского] министра при настоящей внутренней политической обстановке». В то же время А.В. Колчак заявил, что он не считает возможным отказаться от государственной работы и может «принять на себя исполнение её в качестве временно управляющего военным и морским ведомством». Однако возможность вступления в должность временно управляющего А.В. Колчак обставил таким требованием: «назначение допустимо лишь приказом Верховного главнокомандующего без включения меня в список лиц, входящих в состав Совета министров»[36].

На это раз наступила очередь П.В. Вологодского уговаривать А.В. Колчака. П.В. Вологодский для этого назначил частное совещание членов Совета министров и Административного совета Временного Сибирского правительства, на которое пригласил адмирала. На совещании П.В. Вологодский подробно проинформировал своих коллег о проделанной им работе по формированию Всероссийского Совета министров и постигшей его неудаче, заявил, что он отказывается от возложенной на него миссии и, передав председательствование И.И. Серебренникову, покинул совещание. Только такой демарш П.В. Вологодского, грозивший новым глубоким политическим кризисом в правительственном лагере, заставил А.В. Колчака согласиться на назначение Е.Ф. Роговского и принять пост военного и морского министра во Временном Всероссийском правительстве[37].

Правда, здесь же А.В. Колчак взял небольшой реванш. При обсуждении вопроса о назначении помощников военного и морского

министра он отверг предложение П.В. Вологодского и И.И. Серебренникова, лоббировавших кандидатуру предшественника А.В. Колчака П.П. Иванова-Ринова. В принципе, в таком назначении был большой политический резон. Оно позволяло сохранить не только административную преемственность, но и спайку регулярной армии с Сибирским казачьим войском, атаманом которого являлся П.П. Иванов-Ринов. Однако А.В. Колчак эти соображения проигнорировал, заявив, что у него уже есть свои кандидаты: генерал-майоры Н.А. Степанов и В.И. Сурин[38].

Одновременно ещё до официального утверждения в качестве главы военного ведомства А.В. Колчак стал добиваться у Н.Д Авксентьева и В.Г. Болдырева расширения своей компетенции, судя по всему, претендуя на участие в разработке военных планов и руководстве военными операциями[39], в чём адмирал был абсолютно некомпетентен и – самое главное – что не входило в обязанности военного и морского министра. Вся эта деятельность адмирала, немедленно становившаяся достоянием омского политического бомонда и военных кругов, носила явно провокативный характер. Она мешала молодой власти, подвергавшейся атакам «слева» и «справа», обрести уверенность в собственных силах и устойчивость.

Тем не менее, договоренности о составе Совета министров были достигнуты. На состоявшемся 4 ноября 1918г. заседании Временное Всероссийское правительство утвердило соответствующий указ. Через день он был опубликован в официальной правительственной печати, известив население о том, что на должность военного и морского министра Временного Всероссийского правительства назначен вице-адмирал А.В. Колчак[40]. В результате менее чем через три недели после своего прибытия в Омск А.В. Колчак, не имевший абсолютно никаких заслуг в деле борьбы с советской властью, стал одним из ключевых министров в антибольшевистском всероссийском правительстве. Причём министерскую должность А.В. Колчак получил благодаря Директории, члены который считали адмирала не только крупным военным специалистом, но и настоящим демократом.

Что касается причин поведения А.В. Колчака, сочетавшего в себе прямолинейную настойчивость и неустойчивость взглядов,

то близко наблюдавшие тогда адмирала люди, как правило, склонялись к трём версиям. Одни объясняли его нервным расстройством, другие были склонны видеть в этом политическую наивность и доверчивость А.В. Колчака, третьи – давление со стороны «агентов влияния». Думается, однако, что в действительности тактика А.В. Колчака, несмотря на её внешнюю непоследовательность, была глубоко продуманной, реалистичной и, главное, ориентированной на перспективу. Своим поведением адмирал явно демонстрировал «правым» политикам и военным, что он категорически не желает сотрудничать с эсеровской частью Директории, не признает результаты Уфимского государственного совещания и дистанцируется от Директории в целом. Это был явный сигнал «правым» кругам и военщине, означавший, что для них военный и морской министр А.В. Колчак во Временном Всероссийском правительстве «свой среди чужих».

* * *

В принципе деятельность любого министра Временного Всероссийского правительства включала в себя три основных обязательства: участвовать в заседаниях Совета министров и в обсуждении поставленных на них вопросов, руководить деятельностью центрального аппарата и местных органов подчинённого ему ведомства и, наконец, осуществлять представительские функции.

Свой первый официальный рабочий день в качестве министра, 5 ноября 1918г., А.В. Колчак начал с утреннего доклада Верховному главнокомандующему о корпусных округах. По инициативе А.В. Колчака для рассмотрения этого вопроса приказом Верховного главнокомандующего была создана специальная комиссия во главе с генерал-майором В.Г. Владимировым. Но первое заседание этой комиссии, назначенное на 2 ноября в 19 часов, было сорвано из-за неприбытия её двух главных членов: исполняющего обязанности командующего Сибирской армией, начальника штаба армии П.П. Белова и командира 2-го Степного Сибирского отдельного корпуса генерал-майора А.Ф. Матковского, а также по причине отсутствия подлежавшего обсуждению материала. А.В. Колчак квалифицировал отсутствие двух генералов как саботаж предложенной им комиссии и усмотрел в этом происки П.П. Иванова-Ринова. «Много

было в горячей речи Колчака одностороннего пристрастия и довольно ложной прямоты», – записал по итогам первого доклада министра В.Г. Болдырев. И сделал ещё одно интересное наблюдение об Александре Васильевиче : «Я редко видел человека, столь быстро загоравшегося и также быстро гаснувшего после спокойного отпора его натиску. Хлопот с ним будет немало»[41]

Днём А.В. Колчак принял участие в первом заседании Совета министров Временного Всероссийского правительства. Это заседание, на котором присутствовали также все члены Директории, носило ритуально-торжественный характер и как бы венчало собой усилия по конструированию новой верховной власти. На следующий вечер в честь образования всероссийского Совета министров Н.Д. Авксентьев дал в коммерческом клубе раут. Почти пять часов на нём звучали оптимистические речи отечественных и иностранных политиков и военных о создании боеспособной русской армии и предстоявшей ей решающей роли в деле возрождения России. А.В. Колчак обратил на себя внимание присутствовавших тем, что в отличие от всех выступавших ограничился всего несколькими дежурными фразами. Как ни странно, не оказалось адмирала среди нескольких русских генералов и английских офицеров, которые после ужина до двух часов ночи продолжали беседу у В.Г. Болдырева[42].

7 ноября Колчак во второй и в последний раз участвовал в заседании Совета министров. Четыре из 19 стоявших в повестке дня вопросов были инициированы военно-морским министерством: об утверждении штатов центрального управления военного ведомства, о порядке утверждения штатов морского ведомства, об учреждении должностей начальников военных районов и о введении в действие дисциплинарного устава 1869 года. В соответствии с принятыми ранее нормами, Совет министров предоставил А.В. Колчаку право утвердить штаты центрального управления военного и морского ведомств, а также поручил – совместно с представителями министерства юстиции и юрисконсультской части при Совете министров – переработать дисциплинарный устав 1869 года «применительно к существующему государственному строю». Что касается вопроса об учреждении должностей начальников военных районов, то по предложению самого

А.В. Колчака он был снят с обсуждения[43]. Можно предполагать, что причиной отзыва министром своего же представления послужило то обстоятельство, что постановкой этого вопроса А.В. Колчак вторгся в чужую сферу деятельности и тем самым нарушил прерогативы Верховного главнокомандующего.

В тот же день А.В. Колчак издал несколько своих первых приказов по министерству: о расформировании военного министерства Временного Сибирского правительства, его структурных подразделений и Сибирского военно-судного управления; о временных органах центрального управления и распределении обязанностей между его помощниками; о нескольких кадровых назначениях в Главном штабе, в управлении войсковых ремонтов и в управлении военно-учебных заведений; об организации совещания из представителей войсковых общественных самоуправлений всех казачьих войск; о командировке во Владивосток помощника военного и морского министра по организационно-инспекторской части Н.А. Степанова. Тогда же А.В. Колчак утвердил штаты Главного штаба[44].

В перечисленных документах обращает на себя внимание одна любопытная деталь. В подлинниках трёх последних приказов (№ 5, № 6 и № 7), отданных 7-8 ноября 1918г., А.В. Колчак собственноручно вычеркнул слова «Военный и морской министр», обозначавшие его тогдашний статус. Возникает вполне резонный вопрос о том, почему он это сделал. Отсутствие источников не позволяет дать на него точный ответ, но можно высказать предположения в диапазоне от «сдали нервы» и «не устраивала должность» до гипотезы о том, что адмирал уже «видел» себя в другой роли.

Хорошо известно, что А.В. Колчак был крайне недоволен тем наследством, которое досталось ему от военного ведомства Временного Сибирского правительства. «Положение военного министерства, – записал 5 ноября 1918г. в своём дневнике В.Н. Пепеляев слова А.В. Колчака после беседы с адмиралом, – сейчас невозможное – у него нет исполнительных органов»[45]. Причины такого положения Колчак, не разобравшийся в местной специфике, безоговорочно видел в некомпетентности и пассивности бывшего управляющего военным ведомством Временного Сибирского правительства П.П. Иванова-Ринова и начальника его штаба

генерал-майора П.П. Белова. На самом же деле эмбриональное состояние аппарата Сибирского военного министерства объяснялось вполне осознанным решением, в соответствии с которым изначально должности командующего вооруженными силами и управляющего военным ведомством Временного Сибирского правительства находились в одних руках. Это позволило иметь только один штаб – Сибирской армии, одновременно выполнявший функции Главного штаба военного министерства. В условиях дефицита в Сибири офицеров Генерального штаба такой управленческий «ход» являлся вполне грамотным.

Сделав всего лишь первые шаги по формированию центрального аппарата военного и морского министерства, А.В. Колчак, тем не менее, принял очень странное решение. 9 ноября он выехал на фронт для инспектирования войск, передав исполнение своей должности помощнику по снабжению и технической части В.И. Сурину[46]. Тем самым формирование центральных органов военного ведомства, публично провозглашавшееся А.В. Колчаком первоочередным делом, откладывалось, поскольку из Омска выбыли его оба главных руководителя: сам министр и его первый помощник. К тому же А.В. Колчаку совершенно нечего было делать на фронте, поскольку оперативные вопросы не входили в компетенцию военного ведомства. Обязанности военного министерства заключались в решении совсем других задач: в формировании и комплектовании армии, в подготовке её рядового состава и командных кадров, в обеспечении их вооружением, боеприпасами, обмундированием и продовольствием. А о том, что фронтовые части плохо обеспечены всем необходимым, в Омске было прекрасно известно не только военному командованию.

Столь странное поведение А.В. Колчака – его отстранённость во время и после раута 6 ноября, неожиданный отъезд на фронт – вызывает удивление и нуждается в объяснении. Думается, что причины такого поведения можно понять только при одном условии: если поставить их в связь с деятельностью адмирала, не имевшей отношения к его прямым должностным обязанностям. Причём ключевое значение в разгадке будет принадлежать уже упоминавшейся встрече А.В. Колчака и В.Н. Пепеляева, состоявшейся 5 ноября 1918г.

Напомним, что член ЦК партии кадетов В.Н. Пепеляев прибыл в Сибирь из Москвы по заданию руководства своей партии в начале сентября 1918г., перейдя через линию фронта в сопровождении двух офицеров. Последующие полтора месяца он потратил на то, чтобы объехать Сибирь и Дальний Восток, восстанавливая связи с местными партийными организациями, выясняя их политические позиции и давая инструкции. В.Н. Пепеляев являлся ярым приверженцем необходимости установления на освобождённой от большевиков территории твёрдой единоличной власти. 1 ноября он прибыл в Омск и с присущей ему энергией развил бурную политическую деятельность. За несколько дней пребывания в Омске он сделал первые практические шаги, направленные на устранение от власти Директории и установление военной диктатуры. Ключевое значение в достижении этой цели имела договоренность В.Н. Пепеляева о совместных действиях в данном направлении с министром финансов И.А. Михайловым, имевшим большое влияние в «правых» офицерских и казачьих кругах. И.А. Михайлов без колебаний поддержал В.Н. Пепеляева, поскольку являлся давним и решительным сторонником «твёрдой» государственной власти. К тому же у него были личные счёты с большинством членов Директории, блокировавших его назначение на министерский пост во Временном Всероссийском правительстве. В.Н. Пепеляев и И.А. Михайлов составили тандем, который возглавил подготовку и осуществление заговора.

По свидетельству В.Н. Пепеляева, его беседа с А.В. Колчаком была продолжительной и интересной. В.Н. Пепеляев сразу же чётко обозначил не только предмет разговора – необходимость установления на востоке России военной диктатуры, но и его цель – согласие А.В. Колчака стать диктатором. Адмирал, впервые видевший В.Н. Пепеляева, соблюдая правила политеса, на протяжении большей части разговора вёл себя достаточно осторожно. В принципе он был не против диктатуры, но дал В.Н. Пепеляеву возможность «поуговаривать» себя принять роль диктатора. Начав с заявления о том, что «в настоящее время нужно оказать поддержку [существующей] власти», А.В. Колчак затем вошёл в предложенную роль и, по свидетельству В.Н. Пепеляева, «с большой решительностью» заявил: «Если бы я имел власть, то, объединившись с [генералом М.В.] Алексеевым, отдал бы её ему».

Более того, во время изложения своих взглядов на единоличную военную власть адмирал сказал, что «если будет нужно, я готов принести эту жертву», т.е. стать военным диктатором. Правда, закончил А.В. Колчак разговор тем, с чего начал: «Власти нужно оказать поддержку»[47]. Имелась в виду существующая власть – Временное Всероссийское правительство. Но оба собеседника прекрасно понимали, что эта риторика является всего лишь частью традиционного дипломатического этикета. В действительности принципиальная договоренность по главному вопросу – о необходимости свержения Директории и её замене единоличной военной диктатурой – между А.В. Колчаком и В.Н. Пепеляевым была достигнута.

Имеется уникальный документ, содержащий наиболее полную и достоверную информацию о том, как был организован антиправительственный заговор против Директории, кто и на каких ролях участвовал в его осуществлении. Это написанное в середине апреля 1919г. письмо бывшего исполнявшего должность первого генерал-квартирмейстера Ставки Верховного главнокомандующего подполковника А.Д. Сыромятникова, который считал себя одним «из трёх главных организаторов ноябрьского переворота» и отвечал в нём за военную часть, министру финансов И.А. Михайлову. Содержание письма позволяет утверждать, что в интервале между 6 и 8 ноября А.В. Колчак встречался с И.А. Михайловым. Совершенно очевидно, что адмирал и министр финансов обсуждали примерный план переворота и кандидатуры его основных исполнителей.

Во всяком случае, именно во время этой встречи были рассмотрены условия, на которых начальник Сибирской казачьей дивизии полковник В.И. Волков согласился осуществить арест эсеровской части Директории. Согласно данным, содержащимся в письме А.Д. Сыромятникова, за оказание услуги В.И. Волков потребовал произвести его в генерал-майоры. И такое обещание ему было дано[48]. Не трудно догадаться, что единственным человеком, кто мог дать такую гарантию В.И. Волкову, являлся один человек – будущий военный диктатор.

Здесь, правда, возникает вполне естественный вопрос о том, почему после достижения договорённостей с В.Н. Пепеляевым и

И.А. Михайловым, в то время, когда осуществление заговора вступило в стадию его практического воплощения в жизнь, А.В. Колчак покинул Омск. Думается, ничего странного в таком поведении адмирала нет. Скорее наоборот, оно имеет вполне логичное объяснение и достаточное фактическое обоснование.

Прежде всего, не к лицу будущему диктатору самому заниматься «техническими деталями» переворота. К тому же отъезд А.В. Колчака из Омска поставил под сомнение циркулировавшие по городу слухи о подготовке переворота с участием военного и морского министра, дезориентировал Директорию и позволил ей немного расслабиться, на десятилетия снял с адмирала всякие подозрения о его причастности к заговору. Напротив, присутствие в Омске А.В. Колчака с его невыдержанностью и агрессивностью могло только повредить делу, в котором у Михайлова, Волкова и К° уже имелся достаточный опыт. Наконец, заговорщикам необходимо было заручиться поддержкой фронтового командования, особенно возглавлявшего Чехословацкий корпус, а также остававшегося популярным и претендовавшим на первые роли Р. Гайдой. В новой ситуации А.В. Колчаку предстояло продолжить разговор с честолюбивым чехом на тему о военной диктатуре, найдя верный тон, чтобы получить поддержку с его стороны и в то же время не обидеть предложением роли актёра второго плана.

К тому времени Р. Гайда немногим более месяца командовал Северо-Уральской (Екатеринбургской) группой Западного фронта, штаб которого находился в Екатеринбурге. Именно туда 9 ноября и отправился А.В. Колчак, вагон которого прицепили к поезду английского полковника Д. Уорда, следовавшего с ротой своих подчиненных в Екатеринбург. В Тюмени военный и морской министр сделал короткую остановку на вокзале. Дело ограничилось минимумом формальностей: адмирала приветствовали местные военные власти, он принял почётный караул, а затем отбыл в Екатеринбург[49].

Воскресный день 10 ноября в Екатеринбурге был окрашен в особые, праздничные тона. С 10 часов утра на Монастырской площади города стали выстраиваться полки 2-й Чехословацкой дивизии, несколько частей русских войск и рота только что прибывших англичан. Затем на площадь прибыли Р. Гайда со своим

штабом, командующий Западным фронтом генерал-майор Я. Сыровы, руководители отделения Чехословацкого национального совета в России, представители местной общественности и др. Предстояло торжественное освящение и вручение полкам 2-й дивизии боевых знамён.

Руководство отделения Чехословацкого национального совета в России и Р. Гайда заблаговременно направили всем членам Директории, а также П.П. Иванову-Ринову и А.В. Колчаку приглашения принять участие в намеченных на 10 ноября торжествах[50]. Однако все члены Директории ограничились благодарностями за приглашение и отказались приехать в Екатеринбург, сославшись на неотложные дела. Председатель Совета министров П.В. Вологодский отправил руководству отделения Чехословацкого национального совета поздравительную телеграмму и сообщил, что поручил представительствовать от Совета министров на торжествах уполномоченному правительства на Урале С.С. Постникову[51]. По сообщениям местной печати, С.С. Постников присутствовал на церемонии и выступил с поздравительной речью от имени Временного Всероссийского правительства. Что же касается А.В. Колчака, то его участие в торжествах представителями прессы замечено не было. Но на устроенном в тот же вечер Чехословацким национальным советом банкете, затянувшимся далеко за полночь, А.В. Колчак был. По свидетельству одной из местных газет, банкет «прошёл чрезвычайно оживленно. Шумные одобрения вызвали приветствия по адресу адм[ирала А.В.] Колчака и представителей союзных наций»[52].

На следующий день состоялась беседа А.В. Колчака с сотрудником Чехословацкого агитационного отдела по текущим политическим проблемам, широко переданная затем по каналам Чехословацкого телеграфного агентства и опубликованная многими газетами. Содержание ответов военного и морского министра не даёт основания считать, что он глубоко понимал обсуждавшиеся проблемы. Скорее наоборот: оно свидетельствовало о недостаточной осведомлённости и компетентности адмирала в вопросах большой политики. Достаточно сослаться на заявление А.В. Колчака о том, что если «Германия будет окончательно побеждена, одновременно падёт и советская Россия». Зато большая часть

рассуждений А.В. Колчака – несмотря на то, что они повторяли многократно сказанное до него и выглядели просто банально, – были проникнуты заботой о судьбах России, звучали глубоко патриотично и в то же время строго по деловому. В частности, адмирал заявил, что его главные усилия теперь направлены «к созданию министерства и образованию сильной, здоровой армии, чуждой политики и способной спасти и возродить отечество»[53].

На самом же деле А.В. Колчака волновали совсем иные проблемы. Об этом убедительно свидетельствует содержание его первого конфиденциального разговора с Р. Гайдой, состоявшегося в тот же день в Екатеринбурге. Перед Р. Гайдой, в отличие от В.Н. Пепеляева, А.В. Колчаку не нужно было таиться и тем более рядиться в тогу демократа. Поэтому в центре их непродолжительной беседы сразу же оказался вопрос о судьбе Директории и перспективах установления военной диктатуры. Оба собеседника признали Директорию «предприятием» искусственным и нежизнеспособным, а установление диктатуры – неизбежным.

Намного сложнее шло обсуждение вопроса о кандидатах в диктаторы и их шансах на успех. А.В. Колчак вновь повторил своё мнение о том, что диктатором может стать только лицо, опирающееся на армию. Деликатность ситуации, однако, состояла в том, что оба хорошо помнили предложение, сделанное А.В. Колчаком Р. Гайде во Владивостоке. Несомненно, адмирал сознавал, что полтора месяца тому назад он поступил крайне опрометчиво. Но и Р. Гайда прекрасно понимал, что ему, иностранцу на русской службе, сейчас, когда адмирал занял в табели о рангах более высокую по сравнению с ним позицию, нет никаких шансов стать военным диктатором на освобождённой от большевиков территории России.

Последнее вовсе не означало, что честолюбивый чех не имел своих планов и не вел своей «игры». Р. Гайда был не прочь потеснить других военачальников на востоке России и стать первым среди них. И он сделал точно выверенный и сильный «ход», заявив А.В. Колчаку о том, что казачьи круги имеют своих кандидатов в диктаторы и ведут соответствующую работу. «…Но я думаю, – заключил по этому вопросу генерал, – что казачьи круги не в состоянии справиться с этой задачей, потому что они слишком узко смотрят на этот вопрос»[54]. Это заявление было направлено против

остававшегося командующим Сибирской армией П.П. Иванова-Ринова, одновременно являвшегося атаманом Сибирского казачьего войска, в окружении которого действительно имелись люди, которые подталкивали командарма взять власть в свои руки. Р. Гайда, «исключив» П.П. Иванова-Ринова из числа кандидатов в диктаторы, теперь мог рассчитывать на поддержку адмирала в борьбе против командования Сибирской армии, с которым у чеха был острый конфликт.

Главной мишенью для своего первого удара Р. Гайда выбрал ближайшего сотрудника П.П. Иванова-Ринова начальника штаба Сибирской армии П.П. Белова, имевшего к тому же немецкие корни и ранее носившего фамилию Виттенкопф. А.В. Колчак принял условия Р. Гайды. В тот же день он отправил в Омск В.Г Болдыреву телеграмму такого содержания: «Ознакомившись с материалами и убедившись из разговора с генералом Гайда в антигосударственной деятельности генерала Белова, со своей стороны считаю отстранение генерала Белова для пользы русского дела необходимым»[55].

И если ещё день тому назад Верховный главнокомандующий довольно решительно поставил Р. Гайду, попытавшегося добиться смещения П.П. Белова, на своё место[56], то на этот раз он не проявил необходимой твёрдости. Под совместным натиском Р. Гайды и А.В. Колчака В.Г. Болдырев «сдал» П.П. Белова, правда, отчислив последнего 13 ноября 1918г. в резерв Ставки согласно поданному рапорту. В ответ П.П. Белов ходатайствовал перед Верховным главнокомандующим назначить следствие относительно его деятельности и потребовал привлечь Р. Гайду за клевету[57]. Снятие П.П. Белова, на тот момент совмещавшего должности временно исполняющего обязанности командующего и начальника штаба Сибирской армии, было явным проигрышем В.Г. Болдырева в его противостоянии с военным министром и безусловно ослабило позиции Верховного главнокомандующего.

Из первой беседы с А.В. Колчаком в Екатеринбурге Р. Гайда сделал два важных наблюдения, имевших принципиальное значение. Во-первых, чех отметил, что её тема повторяла тему разговора, происходившего у него с А.В. Колчаком во Владивостоке, «но только с той разницей, что на этот раз адмирал не предлагал

такого ответственного места мне, но зондировал почву относительно себя». Во-вторых, Р. Гайда был уверен, что из их разговора А.В. Колчак понял для себя главное: «Я не буду стоять на его пути»[58].

Видимо, тогда же А.В. Колчак имел встречу с руководством Екатеринбургской уездной земской управы и с уполномоченным Временного Всероссийского правительства на Урале С.С. Постниковым. О содержании бесед военного и морского министра с руководством земской управы и С.С. Постниковым можно судить по содержанию докладов, представленных ими 14 ноября 1918г. на имя А.В. Колчака.

В первом случае речь шла об общем состоянии земств на Урале после его освобождения от большевиков и о его неотложных нуждах, во втором – главным образом о положении Уральской горнозаводской промышленности. Земцы в основном ходатайствовали перед военным и морским министром о необходимости выдачи ссуд и пособий из государственной казны для преодоления финансовых затруднений, о немедленной отправке из Сибири маршрутов с хлебом для смягчения продовольственного кризиса, а также об оказании им правительственной поддержки в деле заготовки для армии белья, медикаментов и перевязочных средств. Близкий к кадетам С.С. Постников главное внимание уделил проблемам управления уральской территорией. Он утверждал, что «местные правительственные органы, без опоры на центральную власть, не имеют ни силы, ни авторитета и или бездействуют или действуют вразброд». Возможность предотвращения дальнейшего развала управленческих структур на Урале С.С. Постников видел в назначении «такой военной власти, которой подчинились бы все гражданские»[59]. Такая просьба, исходившая от гражданского чиновника, имевшего статус уполномоченного правительства, не могла не порадовать адмирала и не придать ему дополнительной уверенности в правоте задуманного предприятия.

12 ноября А.В. Колчак на импровизированном бронепоезде выехал из Екатеринбурга на фронт, который проходил неподалеку от Кунгура. Наивно было бы думать, что министр добрался до передовой и общался с находившимися в окопах солдатами. В действительности дело ограничилось тем, что А.В. Колчак посетил штаб

1-го Средне-Сибирского корпуса, которым командовал генерал-майор А.Н. Пепеляев – младший брат В.Н. Пепеляева, и оперативную часть штаба 7-й Уральской дивизии горных стрелков. Волновали же его отнюдь не вопросы, связанные с состоянием войск, а преимущественно отношение фронтовых командиров к Директории и к будущей военной диктатуре. «Я вынес впечатление, – утверждал позднее А.В. Колчак, ссылаясь на разговоры с командным составом этих частей, – что армия относится отрицательно к Директории, по крайней мере, в лице тех начальников, с которыми я говорил. Все совершенно определенно говорили, что только военная власть может теперь поправить дело…»[60].

А для того, чтобы всё же показать русским войскам военного и морского министра Всероссийского правительства и привлечь дополнительное внимание печати к фигуре А.В. Колчака, тогда же родилась незамысловатая идея. Ещё в конце лета 1918г. из Москвы в Екатеринбург пробрались офицеры бывшего 3-го гренадерского Перновского полка Русской армии подполковник Ю.А. Милюков, прапорщики А.А. Александрович и В.З. Коссополянский, которые с риском для жизни пронесли с собой через фронт Георгиевское знамя полка. Это знамя они сразу же передали начальнику 7-й Уральской дивизии генерал-майору В.В. Голицыну[61]. Было решено, что А.В. Колчак произведёт торжественное вручение исторического знамени 3-го Перновского полка 28-му Ирбитско-Перновскому полку.

13 ноября в 10 часов утра на Монастырской площади были выстроены русские войска Екатеринбургского гарнизона. На торжественную церемонию прибыли Р. Гайда, генерал-инспектор чехословацких войск в России генерал-лейтенант В.Н. Шокоров, начальник 12-й Уральской стрелковой дивизии полковник Р.К. Бангерский, командир английского батальона полковник Д. Уорд, управляющий военным отделом Чехословацкого национального совета майор Р. Медек, другие лица командного состава и представители гражданских властей. После молебна А.В. Колчак вручил знамя командиру полка полковнику М.Н. Некрасову. Затем состоялся военный парад, который принимал также А.В. Колчак[62].

Вечером того же дня в Екатеринбурге состоялась вторая встреча А.В. Колчака с Р. Гайдой. По утверждению чешского генерала, с

фронта «Колчак приехал с готовым уже решением, уже только для того, чтобы посоветоваться». Р. Гайда отказался участвовать в свержении Директории, но пообещал А.В. Колчаку, что находившиеся на фронте войска Сибирской армии в этих событиях будут нейтральны. В принципе на этот раз разговор носил настолько откровенный характер, что обсуждался даже вопрос о титуле будущего военного диктатора. Р. Гайда отрицательно отнёсся к предложению А.В. Колчака именоваться после переворота «Верховным правителем», мотивируя свою позицию временным характером власти, и порекомендовал адмиралу ограничиться званием Верховного главнокомандующего с правами диктатора[63].

Здесь же за свой нейтралитет Р. Гайда потребовал от А.В. Колчака дополнительную компенсацию за обещанную услугу, добиваясь смещения уже не только П.П. Белова, но и П.П. Иванова-Ринова. В принципе это требование не противоречило планам самого адмирала, ознакомленного Р. Гайдой с телеграммой командующего Сибирской армией от 21 октября 1918г., в которой тот возражал против назначения А.В. Колчака военным и морским министром[64]. Поэтому адмирал, не задумываясь, выполнил пожелание чеха, тем более что оно хорошо вписывалось в общий замысел заговора, который в качестве предварительной стадии предусматривал нагнетание в тылу обстановки и даже частичную дестабилизацию власти. Утром 14 ноября из штаба Северо-Уральской группы он направил в Омск на имя В.Г. Болдырева пространную телеграмму: «14 ноября [в] 0-20 [мин.] получив сведения, что генерал Белов пытается противиться устранению его от должности и готовится на отъезд из Омска для продолжения интриг, считаю решительно необходимым и настаиваю в этом случае [на] аресте генерала Белова с препровождением его [в] Екатеринбург, также [на] устранении от должности генерала Иванова[-Ринова], чтобы разом покончить со всеми интригами, гибельно отражающимися на фронте»[65].

Достигнув необходимую договоренность с Р. Гайдой, А.В. Колчак вместе с Д. Уордом выехал в Челябинск, где находились штаб главнокомандующего армиями Западного фронта и главная штаб-квартира отделения Чехословацкого национального совета в России. Здесь у него состоялись встречи с начальником штаба

фронта генерал-майором М.К. Дитерихсом и руководством отделения совета, которые не обнадёжили адмирала. Судя по последующей их реакции на совершившийся в Омске переворот, они были сторонниками Директории, и А.В. Колчак почувствовал бессмысленность своего пребывания в Челябинске. Поэтому министр заявил, что выезжает на фронт. В действительности до фронта А.В. Колчак не доехал[66]. Скорее всего, 15 ноября А.В. Колчак получил от участвовавших в заговоре офицеров Ставки Верховного главнокомандующего телеграмму о том, что В.Г. Болдырев планирует на следующий день покинуть Омск и отправиться на Уфимский фронт, где в районе Бугульмы и Бирска остатки Народной армии Самарского Комуча и Чехословацкого корпуса с трудом сдерживали наступление красных. С отъездом В.Г. Болдырева из Омска складывалась исключительно благоприятная ситуация для осуществления задуманного переворота. Поэтому А.В. Колчак немедленно покинул Челябинск и по южной линии Транссибирской магистрали направился в Омск.

Между тем маховик заговора набирал обороты. Подполковник А.Д. Сыромятников, отвечавший за военную часть переворота, подобрал небольшую группу лично ему известных офицеров, ранее обучавшихся в Академии Генерального штаба и в начале ноября 1918г. занимавших ключевые должности в Ставке, штабе Сибирской армии и 2-го Степного Сибирского корпуса. В неё вошли капитаны И.А. Бафталовский, А.А. Буров, А.К. Гайко, Гриневич (Гриневский), А.Л. Симонов и Г.В. Щепин. Каждый из них получил конкретное задание, выполнение которых в совокупности должно было обеспечить арест эсеровской части Директории и Совета министров, информационную изоляцию В.Г. Болдырева, нейтрализацию командного состава и воинских частей Омского гарнизона, остававшихся верными Временному Всероссийскому правительству[67].

Имевшаяся в распоряжении Е.Ф. Роговского агентура, видимо, располагала какой-то информацией об организации заговора. Во всяком случае, вечером 15 ноября 1918г. в конце совместного заседания Директории и Совета министров, когда остались только члены Директории, Е.Ф. Роговский сделал сообщение о том, что «правыми» кругами готовится свержение правительства и

замечено брожение в офицерской среде. Но, как свидетельствовал П.В. Вологодский, «директоры» к сообщению Е.Ф. Роговского «в общем, отнеслись довольно спокойно», предложив ему «усилить разведки по этому предмету и принять некоторые меры предосторожности»[68]. Однако такой инфантилизм Директории к, казалось бы, чрезвычайной информации не удивителен: Омск уже давно был настолько пропитан слухами о заговоре и государственном перевороте, что ощущение их реальности не только у рядовых обывателей, но и у членов правительства просто притупилось.

В огромной степени успеху заговорщиков способствовали также царившие в офицерской среде политические настроения, общая атмосфера вседозволенности и распущенности, пустившая глубокие корни в офицерском корпусе, и бессилие высшего командного состава. Так, в начале ноября 1918г. по инициативе уполномоченного по охранению государственного порядка в Семипалатинской области полковника Караева было произведено денежное обложение лиц и предприятий Семипалатинска[69]. Тогда же начальник Красноярского гарнизона генерал-майор М.И. Федорович ввёл в городе осадное положение, стал налагать дисциплинарные взыскания на подчинённых Енисейскому губернскому комиссариату лиц, отказал исполняющему обязанности губернского комиссара П.С. Доценко в праве на ношение оружия и 12 ноября даже арестовал его за ношение револьвера без разрешения[70]. В тот же день начальник Новониколаевского гарнизона города полковник А.П. Степанов издал приказ №92, на протяжении нескольких дней публиковавшийся в местных газетах, в котором под угрозой предания военно-полевому суду запретил на улицах и в помещениях любые собрания, расклейку объявлений, содержащих призыв против существующей власти, порчу телеграфного, телефонного и железнодорожного имущества. Агитаторов, пытающихся «пошатнуть веру в великое будущее России и склонить на сторону предавшей Родину советской власти», застигнутых на месте порчи телеграфного, телефонного и железнодорожного имущества, виновных в нападении на часовых, военные караулы, посты и милицейскую охрану полковник потребовал расстреливать на месте без суда. Инспектору артиллерии формировавшейся в Новониколаевске 6-й Казанской стрелковой дивизии

было приказано иметь наготове три батареи, готовые в любой момент открыть огонь по городу[71].

Но особое недовольство большинства офицеров вызывали социалисты и Директория, которая интерпретировалась ими как порождение эсеров и ухудшенный вариант «керенщины». Это недовольство достигло исключительно высокого накала, тогда как симпатии к дореволюционным порядкам офицеры не только не скрывали, а, напротив, открыто и даже вызывающе демонстрировали.

Пожалуй, наиболее ярким проявлением такого настроения стал получивший широкую огласку и общественный резонанс инцидент, происшедший 13 ноября 1918г. в зале омского гарнизонного собрания. По случаю прибытия в Омск французских войск здесь был устроен обед в честь французских офицеров. На обеде присутствовали высокие лица: с французской стороны посланник Э. Реньо и консул Неттеман, с русской стороны – временно исполняющий должность командующего Сибирской армией генерал-майор А.Ф. Матковский, от американцев – консул Грей. После речей А.Ф. Матковского, Ренью и Нейтемана оркестр исполнил французский национальный гимн – Марсельезу, большинство же присутствовавших русских офицеров потребовало сыграть «Боже, царя храни!» и даже подпевала оркестру во время исполнения гимна бывшей Российской империи. Особенно вызывающе вёл себя один из казачьих офицеров, которым оказался командир одного из партизанских отрядов войсковой старшина И.Н. Красильников. Когда после новых речей ситуация с исполнением обоих гимнов повторилась, А.Ф. Матковский и представители союзных держав в знак протеста покинули зал гарнизонного собрания[72].

Директория и даже Совет министров больше не могли не реагировать на этот разгул военщины. 15 ноября 1918г. Верховный главнокомандующий В.Г. Болдырев издал приказ №36, в котором ещё раз подтвердил позицию Временного Всероссийского правительства: «армия вне политики», а «всякое публичное выявление своих политических симпатий, в какую бы сторону они ни клонились, совершенно не допустимо со стороны представителей армии». Он решительно осудил инцидент в Омском гарнизонном собрании, квалифицировав его как «особенно недопустимый по своей безграничной бестактности и преступному легкомыслию со стороны

лиц, являющихся виновниками этого случая». В.Г. Болдырев приказал А.Ф. Матковскому «произвести строжайшее расследование и определённо выяснить тех лиц, которые, забывая о достоинстве своей страны, не стесняясь дружеским союзным представительством, демонстрируют публично свою безграничную распущенность, которой должен быть положен конец». Верховный главнокомандующий в корректной форме выразил своё недовольство поведением начальствующих лиц, присутствовавших на банкете, но не принявших мер для немедленного ареста и привлечения виновных к строжайшей ответственности, заявив, что в дальнейшем будет расценивать такое поведение как преступное бездействие власти. Приказ заканчивался жёсткими словами: «Лица, сознательно или бессознательно вредящие созиданию здоровой дисциплины в армии и спокойному развитию возрождающейся государственности, должны быть немедленно устраняемы из рядов армии»[73].

В тот же день председатель Совета министров П.В. Вологодский наложил на телеграмме исполняющего должность Енисейского губернского комиссара П.С. Доценко резолюцию, в которой квалифицировал действия начальника красноярского гарнизона по отношению к П.С. Доценко как недопустимые и предложил министерству внутренних дел войти в военное и морское министерство с предложением об отмене сделанных генерал-майором М.И. Федоровичем распоряжений[74].

На следующий день Совет министров по докладу П.В. Вологодского постановил обратиться в Верховному главнокомандующему с представлением о немедленном отстранении от исполнения обязанностей уполномоченного по охранению государственного порядка в Семипалатинской области полковника Караева. Министру юстиции было предложено произвести через прокурорский надзор расследование по настоящему делу, а также от имени Совета министров опубликовать обращение к населению с уведомлением о том, что Совет министров никому не давал полномочий на проведение в Семипалатинске денежного сбора[75].

В ночь на 16 ноября 1918г. В.Г. Болдырев выехал на фронт. Уже в пути он случайно получил сведение, что навстречу ему идёт поезд Д. Уорда, в составе которого находится вагон А.В. Колчака.

В.Г. Болдырев приказал военному министру обождать его в Петропавловске, если тот прибудет туда раньше. Но первым на станцию Петропавловск прибыл поезд В.Г. Болдырева. На вокзале Верховного главнокомандующего приветствовали представители местных военных властей. Затем прибыл поезд, в котором ехал А.В. Колчак. Адмирал явился в вагон В.Г. Болдырева для доклада. Их беседа длилась около трёх часов[76].

Министр доложил о своей поездке, в оптимистических тонах обрисовав состояние русских войск на фронте, вновь поставил вопрос о расширении его прав, поинтересовался положением в Омске, сославшись на отсутствие у него оттуда сведений. В свою очередь Верховный главнокомандующий сформулировал перечень того, что он считал возможным сделать в ответ на просьбу А.В. Колчака, дал ему ряд поручений, высказал обеспокоенность положением на Уфимском участке фронта и политической напряжённостью в Омске, созданной в последнее время главным образом казачьими кругами. Правда, в последнем случае В.Г. Болдырев выразил надежду на то, что всё образуется.

А.В. Колчак начал беседу с Верховным главнокомандующим в агрессивной манере, заканчивалась же встреча вполне спокойно и даже доброжелательно. Демонстрируя своё расположение к адмиралу, В.Г. Болдырев пригласил адмирала пообедать с ним, на что Александр Васильевич ответил согласием. Кампанию им составили сестра жены Василия Георгиевича и врач местной детской колонии. По итогам этой встречи В.Г. Болдырев записал в своём дневнике: «Из длинного разговора с Колчаком я ещё более убедился, как легко поддаётся он влиянию окружающих […]. Он уже соглашался с гибельностью и несвоевременностью каких бы то ни было переворотов. Он – или очень впечатлителен или хитрит». Честный, доверчивый и где-то даже простодушный В.Г. Болдырев больше склонялся к первому варианту. Поэтому, как он записал в дневнике, после встречи с А.В. Колчаком несколько расслабился и «позволил себе редкое удовольствие – читать Оскара Уайльда»[77].

Утром 17 ноября А.В. Колчак вернулся в Омск. Несмотря на воскресный день, адмирал отправился на службу – в военное и морское министерство. Здесь он подписал малозначащий приказ № 14, информировавший о том, что главные управления

артиллерии, инженерное, интендантское, военно-санитарное и военно-ветеринарное управления с настоящего числа нужно считать сформированными[78]. Всё остальное время у Александра Васильевича ушло на разговоры с непрерывно являвшимися к нему, несмотря на неприсутственный день, офицерами Ставки, морскими и казачьими офицерами, убеждавшими адмирала устранить Директорию и взять власть в свои руки. Большинство этих посетителей, конечно, не было посвящено в заговор, и поэтому искренне пытались склонить А.В. Колчака осуществить переворот. В то же время нельзя исключить того, что среди воскресных собеседников будущего военного диктатора имелись прекрасно обо всем осведомленные люди, которые, зная психологическую неустойчивость адмирала, своими разговорами поддерживали его уверенность в успешном исходе заговора и тем самым как бы осуществляли контроль за поведением А.В. Колчака.

4 февраля 1920г. на допросе в Иркутской чрезвычайной следственной комиссии А.В. Колчак показал, что на уговоры офицеров взять власть в свои руки он реагировал отрицательно, подчёркивая, что находится на службе у Директории, в силу чего не считает возможным «предпринимать какие-нибудь шаги в том смысле, в каком вы говорите»[79]. Если А.В. Колчак на самом деле отвечал своим собеседникам таким образом, то он, конечно, самым тривиальным образом их вводил в заблуждение. Но неискренность адмирала легко объяснима. Она носила вынужденный характер, поскольку А.В. Колчак был обязан соблюдать конспирацию.

В действительности к тому времени решение об аресте председателя Директории Н.Д. Авксентьева, члена Директории В.М. Зензинова и товарища министра внутренних дел Е.Ф. Роговского уже было принято. Во всяком случае, отвечавший за военную сторону переворота подполковник А.Д. Сыромятников днём 17 ноября 1918г. отдал капитанам И.А. Бафталовскому и А.А. Бурову последние инструкции по выполнению плана переворота[80]. Напомним, что А.А. Буров отвечал за связь между руководителями заговора и полковником В.И. Волковым, который должен был осуществить аресты. Не подлежит сомнению, что А.Д. Сыромятников не мог действовать по своему усмотрению, без санкции адмирала.

Как известно, в ночь на 18 ноября 1918г. около трёх сотен казаков и солдат, возглавляемых полковником В.И. Волковым, войсковыми старшинами А.В. Катанаевым и И.Н. Красильниковым, произвели самочинные аресты Н.Д. Авксентьева, А.А. Аргунова, В.М. Зензинова, Е.Ф. Роговского и ряда близких к ним лиц, а также разоружение созданного Е.Ф. Роговским батальона государственной охраны Временного Всероссийского правительства. К часу ночи эта часть плана заговорщиков была успешно выполнена. Затем заговорщикам удалось блокировать распоряжение А.Ф. Матковского о выводе дислоцировавшихся в Омске частей 2-го Степного Сибирского корпуса для освобождения арестованных и разоружения казачьих частей. Оставалось выполнить заключительную фазу переворота, убедив Совет министров санкционировать ликвидацию Директории и передачу власти военному диктатору.

Председатель Совета министров П.В. Вологодский узнал об аресте эсеровской части Директории примерно в половине четвертого ночи из случайного источника, остальные члены Совета министров, если не считать И.А. Михайлова и А.В. Колчака, – ещё позже. Для обсуждения вопроса о том, что делать, премьер-министр назначил на 8 часов утра экстренное заседание Совета министров. В воспоминаниях и исследовательской литературе состав участников этого заседания, его ход и итоги получили беглое и, самое главное, недостоверное освещение. Не лишена этого недостатка даже книга такого талантливого исследователя, как Г.З. Иоффе[81], некритически пошедшего за воспоминаниями И.А. Бафталовского, написанными в апреле 1925г. Как известно, сам И.А. Бафталовский на заседании Совета министров не был, а изложил происходившее на нём со слов подполковника А.Д. Сыромятникова. А.Д. Сыромятников официально на заседании тоже не присутствовал, но мог знать о нём по рассказам И.А. Михайлова и участвовавших в заседании генералов (правда, нельзя исключить того, что в царившей тогда суматохе А.Д. Сыромятников мог присутствовать на заседании неофициально). В итоге то, что сочинил И.А. Бафталовский с чужих слов, совершенно не соответствует тому, что было на самом деле, и больше походит на карикатурное изображение одного из ключевых событий гражданской войны в Сибири.

Между тем сохранился главный подлинный документ, позволяющий относительно полно и достоверно осветить происходившее: журнал утреннего заседания Совета министров 18 ноября 1918г. Указанный источник позволяет утверждать, что на заседании присутствовали 25 человек: председатель совета министров П.В. Вологодский, его заместитель В.А. Виноградов, семь министров (Н.С. Зефиров, А.В. Колчак, И.А. Михайлов, Н.И. Петров, И.И. Серебренников, С.С. Старынкевич, Л.А. Устругов), четверо управляющих министерствами (А.Н. Гаттенбергер, Ю.В. Ключников, Л.И. Шумиловский, Н.Н. Щукин), четыре товарища министра (Г.К. Гинс, А.А. Грацианов, И.А. Молодых, Н.Я. Новомбергский), два помощника министра (генерал-майоры В.И. Сурин и Б.И. Хорошхин), государственный контролер Г.А. Краснов, управляющий делами Г.Г. Тельберг, его помощники Т.В. Бутов и Н.К. Федосеев, а также приглашённые П.В. Вологодским начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант Н.С. Розанов и А.Ф. Матковский.

По мнению четырех участников этого заседания, оставивших о нём свои свидетельства – а это П.В. Вологодский, Г.К. Гинс, И.А. Морозов и И.И. Серебренников – большинство спешно вызванных членов правительства совершенно не представляло, что случилось. Поэтому заседание началось с доклада П.В. Вологодского о происшедших ночью событиях, выразившихся в лишении свободы неизвестными лицами Н.Д. Авксентьева, А.А. Аргунова, В.М. Зензинова и Е.Ф. Роговского. Постановление по этому вопросу было принято относительно быстро и гласило: «Поручить министру юстиции безотлагательно назначить под личным его наблюдением следствие о событиях, имевших место в г. Омске в ночь на 18 ноября с.г. …»[82].

Однако предложение председательствующего, к тому времени уже получившего сведения о том, что аресты произведены казаками красильниковского отряда, арестовать самого Н.И. Красильникова встретило резкие и неожиданные для П.В. Вологодского возражения со стороны Г.К. Гинса, которого решительно поддержала часть коллег. С их стороны звучала аргументация в диапазоне от утверждения, что Совет министров не имеет для

этого реальной силы, до заявления, что нужно в первую очередь заботиться о том, чтобы не вызвать дальнейших осложнений[83].

Вторым стал обсуждаться вопрос о том, что какая верховная власть будет после происшедших событий. Первоначально дискуссия шла сумбурно и нервно. Спонтанно предлагались разные версии, среди которых мелькнуло даже предложение сохранить Директорию в составе трёх оставшихся на свободе её членов: находившегося на фронте В.Г. Болдырева и присутствовавших на заседании П.В. Вологодского и В.А. Виноградова. Далеко не сразу, но И.А. Михайлову, «отвечавшему» у заговорщиков за Совет министров, всё же удалось взять ситуацию под свой контроль и направить обсуждение вопроса в нужное русло. Как писал А.Д. Сыромятников, «вспоминаю, сколько было предпринято Вами искусных “маневров” и сколько было потрачено энергии для того, чтобы создать у всех настроение полной растерянности и привести всех к убеждению, что спасение только в одном – в передаче всей полноты власти адмиралу Колчаку»[84].

Внёс свою лепту в создание атмосферы едва ли полной безвыходности и сам А.В. Колчак. Когда некоторые члены Совета министров стали проявлять колебания и возникло подозрение, что принятие необходимого заговорщикам решения может быть отложено, адмирал взял слово и, по свидетельству И.А. Молодых, решительно заявил примерно следущее: «Надо кончать. Если мы выйдем на улицу так, то нас разорвут войска»[85].

В результате шаг за шагом Совет министров принимал нужные заговорщикам решения: сначала – считать Временное Всероссийское правительство прекратившим свою деятельность, затем – принять Совету министров на себя всю полноту верховной государственной власти и, наконец, – «передать временно осуществление верховной власти одному лицу, опирающемуся на содействие Совета министров, присвоив таковому лицу наименование Верховного правителя». Среди присутствовавших нашёлся только один человек, который высказался против установления единоличной власти. Им оказался министр труда Л.И. Шумиловский, до назначения на министерскую должность состоявший в социал-демократической партии и трудившийся на ниве просвещения в Барнауле.

В сформулированном по итогам дискуссии постановлении Совета министров передача власти Верховному правителю мотивировалась тем, что, во-первых, «основная задача, стоящая сейчас перед правительством – борьба с германо-большевистским натиском, от исхода которой зависит судьба России, – требует полного сосредоточения власти военной и гражданской в руках одного лица с авторитетным именем в военных и общественных кругах»; что, во-вторых, «только такое сосредоточение власти даёт возможность планомерно и успешно производить столь трудную в разорённой и утомлённой стране работу по формированию и снабжению армии»; что, в-третьих, «только такое сосредоточение власти, отвечающее общественным настроениям, остановит, наконец, не прекратившиеся покушения справа и слева на неокрепший ещё государственный строй России – покушения, глубоко потрясающие государство в его внутреннем и внешнем положении и подвергающие опасности политическую свободу и основные начала демократического строя»; что, в-четвёртых, «такое сосредоточение власти необходимо как для деятельной борьбы против разрушительной работы противогосударственных партий, так и для прекращения самоуправных действий отдельных воинских отрядов, вносящих дезорганизацию в хозяйственную жизнь страны и в общественные порядок и спокойствие»[86].

Здесь же комиссией в составе министра юстиции С.С. Старынкевича, профессоров-юристов Г.К. Гинса и Г.Г. Тельберга был наспех разработан проект «Положения о временном устройстве государственной власти в России», срочно утверждённый Советом министров. Первые три пункта этого документа гласили: «1) Осуществление верховной государственной власти временно принадлежит Верховному правителю. 2) Верховному правителю подчиняются все вооруженные силы Российского государства. 3) Власть управления во всем её объеме принадлежит Верховному правителю»[87].

Наступил кульминационный момент: предстояло определить, кто займёт этот высокий пост. Присутствующие назвали три кандидатуры: С.Н. Розанов – В.Г. Болдырева, догадывавшийся о наличии заговора Г.К. Гинс выдвинул А.В. Колчака, а Л.А. Устругов предложил Д.Л. Хорвата. В этот ответственный момент адмирал

блестяще справился с отведённой ему ролью. Он несколько раз выступил, сначала отказываясь баллотироваться и предлагая избрать Верховным правителем В.Г. Болдырева, являвшегося действующим Верховным главнокомандующим. Но даже такой не искушённый в политических «играх» человек, каким был товарищ министра снабжения И.А. Молодых, обратил внимание на неискренность в поведении А.В. Колчака. «Нет сомнения, – утверждал И.А. Молодых, – что отказ входил в заранее намеченную программу…»[88].

Затем А.В. Колчак дал согласие баллотироваться и выступил с большой речью, к которой наверняка готовился заранее и которая, по оценке И.И. Серебренникова, имела «до некоторой степени программный характер». В том числе адмирал резко отрицательно охарактеризовал партию эсеров, квалифицировав её как антигосударственную, подробно осветил свои взаимоотношения с союзниками. И.И. Серебренников признал, что в этот раз Александр Васильевич «говорил весьма убедительно и сильно»[89].

После выдвижения кандидатур по предложению П.В. Вологодского было приступлено к выборам Верховного правителя. Из 25 человек, присутствовавших на заседании, право голоса имели только 14 человек: председатель и заместитель председателя Совета министров, министры и управляющие ведомствами, государственный контролёр и управляющий делами. Выборы производились из трёх названных кандидатур, а голосование осуществлялось закрытыми записками. Его результат, оглашённый П.В. Вологодским, был вполне прогнозируемым: в 13 записках значилась фамилия «Колчак» и в одной – «Болдырев»[90].

После непродолжительных, но бурных поздравлений по представлению П.В. Вологодского вице-адмирал А.В. Колчак, не выигравший ни одного морского сражения, тут же был произведён в полные адмиралы. В заключение новоиспеченный военный диктатор сделал краткое заявление о том, что «он в политике своей не пойдёт ни по пути партийности, ни по пути реакции, а главной задачей своей государственной работы, в тесном единении с Советом министров, поставит организацию и снабжение армии, поддержание в стране порядка и законности и охрану демократического строя»[91].

Важнейшим вопросом, во многом в зависимости от ответа на который должны оцениваться личность А.В. Колчака и его роль в событиях гражданской войны в России, является проблема участия адмирала в заговоре и перевороте. За прошедшие почти девять десятилетий мемуаристы и исследователи высказали на эту тему разные точки зрения. При этом совершенно чётко прослеживается такая закономерность. Авторы воспоминаний, которые раньше входили в ближайшее окружение А.В. Колчака, и апологетически настроенные историки категорически утверждают, что Александр Васильевич не участвовал в заговоре, а некоторые даже заявляют, что он ничего и не знал о таковом.

В мемуаристике эта традиция идёт от одного из ближайших соратников А.В. Колчака на посту Верховного правителя – Г.К. Гинса, ещё в 1921г. в своих воспоминаниях написавшего: «Могу также с уверенностью сказать, что о перевороте (заговоре. – *В.Ш.*) ничего не знал и Колчак»[92]. В отечественной историографии традиция политической «непорочности» военного и морского министра восходит к С.П. Мельгунову, который на основании имевшегося у него к концу 1920-х годов материала склонялся к тому, что сам А.В. Колчак «не злоумышлял против Директории»[93]. В западной историографии наиболее категорично эту же точку зрения отстаивал плохо знавший факты, но смело фантазировавший на исторические темы англичанин П. Флеминг, считавший, что «сам адмирал никоим образом не был вовлечён в заговор и даже не подозревал о нём»[94]. С небольшими вариациями эти утверждения повторяются в мемуарах и сочинениях ряда других авторов.

Принципиально иную точку зрения, уже зная мнение Г.К. Гинса и С.П. Мельгунова, высказал в середине 1930-х годов неплохо осведомлённый об омских событиях тех дней И.И. Серебренников, которого через месяц с небольшим после прихода к власти Верховный правитель уволил с поста министра за ликвидацией министерства снабжения. «Лично я считаю только, – написал Иван Иннокентьевич, – что адмирал Колчак был осведомлён о заговоре и дал заговорщикам своё согласие принять на себя бремя диктатуры…». И.И. Серебренников не привёл

никаких фактов, давших ему основание сделать такое наблюдение, ограничившись предельно простым, но от этого не теряющим своего значения логическим заключением: «…Без предварительного согласия адмирала устроители переворота едва ли рискнули бы совершить таковой»[95].

В вышедшей в 1983г. монографии Г.З. Иоффе привёл фактический материал, позволивший автору подтвердить точку зрения И.И. Серебренникова и сделать вывод о том, что А.В. Колчак прекрасно знал о заговоре, но условием своего одобрения государственного переворота поставил его бескровность[96]. В последней по времени и наиболее фундированной фактическим материалом монографии П.Н. Зырянова, посвященной биографии А.В. Колчака, высказывается предположение, что адмирал в той или иной форме лично участвовал в заговоре и, возможно, даже 17 ноября 1918г. «дал знак, что пора начать»[97].

На самом деле введённый к настоящему времени в научный оборот фактический материал, характеризующий деятельность и поведение А.В. Колчака на посту военного и морского министра Временного Всероссийского правительства, если его проанализировать глубоко и интерпретировать беспристрастно, позволяет сделать более развёрнутые и точные выводы. Вкратце их можно свести к следующим тезисам.

За время пребывания на посту военного и морского министра А.В. Колчак практически ничего не сделал для укрепления вооружённых сил Временного Всероссийского правительства. Публично заявляя, что армия должна стоять вне политики, А.В. Колчак лично активно участвовал в политической борьбе и не пресекал попыток «правых» военных вмешиваться в политическую жизнь. Адмирал достаточно грамотно и успешно позиционировал себя как сторонника твердой государственной власти и активно интриговал как против Директории, так и против потенциальных конкурентов в военные диктаторы. Главным же его делом стало участие в заговоре против Директории[98], подготовленном и руководимом адептами единоличной верховной власти В.Н. Пепеляевым и И.А. Михайловым. В этом заговоре адмирал очень четко и грамотно выполнил предложенную ему (возможно, взятую им на себя) роль, оставаясь вне серьёзных подозрений и у

своих противников, и у своих союзников. Приняв участие в заговоре против Временного Всероссийского правительства, в котором он состоял военным и морским министром, А.В. Колчак тем самым совершил тягчайшее государственное преступление – измену. Напомним, что по действовавшему в то время законодательству за измену полагалась смертная казнь[99].

* * *

В опубликованной в начале июля 1918г. статье «Единоличная власть» А.В. Колчак, рассматривая проблему установления диктаторской власти, сформулировал собственное видение условий, при которых она может быть использована в политических практиках. «Если она и может быть признана, – полагал адмирал, – то только в случае введения её в строго определённые рамки и признания общенародного […].

Кроме того, единственным возможным способом образования этой власти является делегирование её одному лицу или группе лиц органами, признанными законной властью всем или значительнейшей частью населения.

Только признанное всеми правительство может делегировать такую власть. Только в этом случае она не будет висеть в воздухе, не опираясь ни на кого, кроме самой себя […].

Всякое иное решение вопроса ни в коем случае не может рассчитывать на сочувствие страны и слоёв социалистической и несоциалистической демократии».

Сопоставление этих, сформулированных самим А.В. Колчаком постулатов с тем, каким образом четыре месяца спустя произошло установление в Омске единоличной военной диктатуры, обнаруживает глубочайший разрыв между теоретическими представлениями адмирала и его практическими действиями. Переход верховной государственной власти к А.В. Колчаку вызвал в антибольшевистском лагере на востоке России глубочайший кризис. Этот кризис выразился в появлении в лагере «восточной» контрреволюции водораздела на сторонников и противников уже не гипотетической, а реально существовавшей военной диктатуры; в возникновении в лице меньшевиков и правых эсеров так называемой «третьей силы», противостоявшей как большевикам, так

и колчаковскому режиму; в переходе части активных деятелей «демократической контрреволюции» на сторону советской власти. В результате произошло заметное уменьшение и без того узкой социальной базы контрреволюции на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, располагавших к тому же ограниченными людскими ресурсами.

Статья подготовлена при финансовом содействии РГНФ (исследовательский проект № 07-01-0055а).

Алексей Тепляков

ПАРТИЗАНСКИЙ ГЕРОЙ ИГНАТИЙ ГРОМОВ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Много ли мы знаем об Игнатии Громове? Да, хорошо знаем, что партизан, что имеет большую улицу своего имени на Затулинском жилмассиве и мемориальную доску на большом красном доме в самом центре (Красный проспект, 56), что первым был удостоен звания почётного гражданина Новосибирска. Но этот человек сыграл в истории Сибири более значительную роль, нежели просто как удачливый партизанский командир. Громов – интересная и колоритная фигура, но известная книга о нём С. Омбыш-Кузнецова «Повесть о партизане Громове», хотя и вышла во вполне свободном 1990 году, затрагивает только партизанский период и даже мельком не сообщает, что Громов в 38-м был арестован, пытан и приговорён к расстрелу. И неудивительно, поскольку просто повторяет издание далекого 1958 года, где живописалась только революционная сторона его жизни...

Выходец из простой семьи, Игнатий смолоду работал на заводах Воронежской губернии: мыловаренном, воскобойном, свечном, салотопенном. Такая работа (а рабочие салотопенного завода обдирали всякую палую скотину) нравиться не могла, так что большевистская агитация пришлась Громову по вкусу. В марте 1906 года, когда из-за революционных событий к нему стали присматриваться власти, он уехал как можно дальше и осел на Алтае у родственника. Устроился на маслобойный завод «Сибирской компании датчан», но вскоре попался на устройстве некоего «антирождественского маскарада» и от греха подальше переехал в

Хабаровск. Там Громов строил Амуро-Забайкальскую железную дорогу и ненадолго арестовывался за организацию забастовки в знак протеста против расстрела рабочих на Ленских приисках.

С началом Первой мировой войны Громова мобилизовали в армию. На фронте он не был: когда Временное правительство отправило воевать часть, куда был назначен Громов, Игнатий Владимирович счёл за благо дезертировать и сбежал с группой солдат. Вернувшись в Камень (нынешний Камень-на-Оби), он оставался дома до октябрьского переворота, а затем включился в политическую борьбу. Развитого 33-летнего пролетария избрали председателем уездного совета и из алтайского захолустья отправили делегатом на 3-й Всероссийский съезд Советов в Петроград. Вернувшись, он узнал, что в городе за это время произошло восстание с участием эсеров, которое легко подавили красногвардейцы. Для суда над повстанцами Громов тут же организовал ревтрибунал и арестовал тех, кого счёл нужным, включая эсера – депутата Каменского совета. Местная эсеровская газета осудительно написала: «Каменские самостийщики начинают трибуналить. Скоро придёт время, когда мы их самих привлечём к ответу». Действительно, советская власть под натиском белочехов очень скоро пала. Но пока уравнитель Громов был у кормила, зажиточные горожане потеряли немало: совет, где коммунисты имели большинство, не раз налагал контрибуции и реквизировал имущество богатых, отбирая мануфактуру, керосин, соль, спички, мыло. Это добро меняли в деревнях на продукты, сочетая бартер с организацией продовольственных отрядов, которые грабили уже самих селян.

Когда после мятежа чехословацкого корпуса белые захватили всю Сибирь, Громов подался в партизаны. Человек активный, он был хорошим организатором и постепенно собрал большой отряд, который в течение 1919 года превратился в целый корпус. С самого начала партизанский отряд Громова, существовавший за счёт дани с окрестного населения, действовал чисто террористическими методами. Сам Громов в своих мемуарах, опубликованных совсем недавно, писал об этом достаточно откровенно: «Это было в последних числах октября 1918г. Мы решили укротить аппетит кулацко-поповской своры, чтобы они

забыли, как составлять списки на большевиков […]. Мы решили в противовес белому террору, чинимому карательными отрядами, объявить красный террор и… расстреляли две кулацкие семьи вместе с их детьми.

Наверно, кто будет читать мои воспоминания, назовёт нас зверьми за нашу расправу, но должен сказать, что мы шли на это вполне сознательно, чтобы этим красным террором приостановить белый террор… Результаты оправдали наши предположения. Быстро разнеслось по крестьянскому радио, что за расстрел большевиков расстреливают и большевики, и кулачество должно было свои списки бросить в печку… И поп, который отправлял товарищей наших в “рай” – немного позже [туда] тоже был отправлен, но только уж больно неохотно он шёл туда…».[1]

Жестокость партизанских расправ была повсеместным явлением. Например, численность коренного населения Горного Алтая, которое партизаны грабили и истребляли особенно активно, в результате красного террора и эмиграции сократилась к 1925 году практически вдвое. Партизаны воевали исключительно беспощадно и могли после горячего боя с зажиточными крестьянами, поддерживавшими колчаковскую милицию, изрубить сразу сотню-другую пленных[2]. С особенной жестокостью они убивали священников, с особенным рвением разоряли церкви. Громову приходилось когда лично расстреливать классовых врагов, когда самому пресекать грабежи и издевательства над мирным населением со стороны собственных «орлов». Во время суда в 1939 году Громов, отвечая на показания мстившего ему бывшего партизана А. Боженко, рассказал, что однажды кавалерийский эскадрон из батальона Афанасия Боженко «разграбил ст. Аул, отдельные бойцы насиловали женщин; узнав об этом, я сам приехал на место, снял с бойцов всё награбленное и оставил их почти голышом».

Захватив Камень и прогнав колчаковцев, Громов немедленно собрал священников и велел им во всех церквах отслужить молебны – по случаю победы и во здравие вождя мирового пролетариата Ленина. А десять дней спустя его корпус влился в ряды Красной Армии. В 1920 году Громов возглавлял алтайскую губмилицию, а в следующем году стал заведующим отделом управления Новониколаевского губисполкома. Невинное название

«отдел управления» скрывало весьма специфические функции – эти отделы в первые годы советской власти отвечали за работу карательных учреждений: милиции, тюрем, концлагерей. Сообразно должности Громов некоторое время входил в коллегию губчека и по разным доносам легко приговаривал к расстрелу тех, кто раньше служил у Колчака или просто жил слишком хорошо. Например, осудил к высшей мере сельского учителя Всеволода Иванова-Залесского, которого волостные власти заклинали пощадить как «на редкость энергичного работника просвещения». Точно таким же образом Громов участвовал в вынесении смертного приговора малограмотному зажиточному крестьянину Петру Солдатову (имевшего 30 десятин, четыре лошади и две коровы), которого сексоты губчека облыжно обвинили в создании ячейки «белогвардейской повстанческой организации» в селе Вертково Бугринской волости…[3]

Потом Громов работал в новониколаевском губисполкоме – заместителем председателя, а затем и председателем. Строил кирпичные заводы, жилые дома, предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья. Мостил дороги, устроил мост через Каменку, боролся с колоссальной уголовной преступностью – словом, посильно создавал в столице Сибири какое-то подобие нормальной жизни. Во второй половине двадцатых был председателем Барабинского и Бийского окружных исполкомов, а в разгар коллективизации 46-летний чиновник был отправлен в Москву на курсы Института марксизма-ленинизма. Два года спустя подкрепивший политграмотой своё начальное образование Игнатий Владимирович вернулся в Новосибирск и пять лет подряд проработал заместителем председателя краевой контрольной комиссии ВКП(б), следя за морально-политическим состоянием коммунистов Западной Сибири. Стоит отметить, что начальником дезертира российской армии Громова был ещё один бывший алтайский подпольщик – Максим Ковалёв, избежавший мобилизации в 1916 году с помощью поддельной записи в военном билете…

Когда настал 1937 год, Громову объявили о политическом недоверии и сняли с работы. Раз многие сотни членов партии оказались врагами народа, то контрольный парторган допустил, по крылатому выражению товарища Сталина, «идиотскую болезнь –

беспечность». Около года Громов проработал заместителем директора областной конторы маслопрома, а 30 июля 1938 года его арестовали по обвинению в участии в правотроцкистской заговорщицкой организации.

После ареста у Громова изъяли редкий в ту пору орден Красного Знамени, малокалиберную винтовку и две связки рукописей. И сразу пошли изнурительные допросы. В одной камере с Громовым сидел бывший секретарь Нарымского окружкома ВКП(б) Карл Левиц, уговаривавший соседа подписать всё, что требуют следователи – ведь органы НКВД выполняют волю партии. Левица потом расстреляли…

Больше месяца Громов отвергал обвинения, а затем под натиском работников отдела контрразведки УНКВД признал себя виновным и показал, что в правотроцкистскую организацию в декабре 1932 года его завербовал первый секретарь крайкома Р.И. Эйхе. С помощью партизан заговорщики во главе с Робертом Эйхе якобы везде создавали повстанческие отряды. Арестованный в Москве Эйхе на допросе под диктовку следователя показал, что «в период коллективизации мы требовали от партизан обобществления всего их хозяйства и имущества, переоблагали их штрафами, применяли другие провокационные меры для вызова недовольства с их стороны». Громов на следствии рассказал, что во время его работы председателем Бийского окрисполкома в приёмной постоянно толпились партизаны, которые в двадцатые годы расширили свои личные хозяйства и попали под «раскулачивание». Эйхе признал, что поручил Громову «организовать партизан и готовить группы для вооруженного выступления против Советской власти». Ещё одно обвинение выглядело так: Эйхе и председатель крайисполкома Ф.П. Грядинский приглашали Громова на семейные банкеты и создавали ему популярность как легендарному партизану. Следствие также установило, что в аппарате партколлегии Громов защищал опасных врагов народа и «избивал» честных коммунистов.

Перед судом Громова освидетельствовал врач и вынес заключение о том, что арестант, несмотря на миокардит и хронический ревматизм, «практически здоров». 14 ноября 1938 года выездная сессия военной коллегии Верховного Суда СССР в 23 часа 10 минут

начала рассмотрение дела Громова, уложившись в десять минут. Бывший партизан заявил, что действительно состоял в заговорщицкой организации, желавшей отдать Сибирь под протекторат Японии... Заранее заготовленный приговор гласил – высшая мера наказания. Громова осудили на исходе террора, что и спасло ему жизнь. До исторического постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома, притормозившего повальный террор, оставалось три дня, но какие-то новые инструкции на местах уже были получены. Начальник тюрьмы, отвечавший за расстрелы, сильно удивлялся тому, почему осуждённых не расстреляли сразу после вынесения приговора. Громову разрешили написать прошение всесоюзному старосте Михаилу Калинину о помиловании. В нём говорилось, что хотя Громов с 1933 года и состоял в правотроцкистской группе, но до того времени всё же «честно работал на дело укрепления Советской власти». Потянулись дни ожидания… 27 ноября приговор был отменён и дело направлено на новое рассмотрение. И только 23 апреля 1939 года Громов нашёл в себе силы отказаться от выбитых показаний.

В заседании военного трибунала СибВО в декабре 1939 года подсудимый заявил: «Свои показания я подписал после того как мне стали заковывать руки в железные наручники, делать длительные выстойки, угрозы расправиться с моей семьей и старым палашом отрубить голову. Особенно на меня повлияли угрозы расправиться с моей семьей. Я потерял самообладание. (…) В тот момент я был доведён до такого состояния, что готов был писать всё что угодно». Громов сообщал, что заседание военной коллегии продлилось две-три минуты, а перед ним «меня долгий период обрабатывали: предлагали полностью подтвердить свои показания. (…) Заявление о помиловании… мне писал в камере осуждённый Оранский. Сам я этого сделать был не в состоянии». Демонстрируя участие в разоблачении «врагов», Громов назвал фамилии нескольких известных партизан, в том числе Г.В. Шаклейна, сказав, что «знал их по партизанскому движению как кулацко-эсеровские элементы», о чём «в связи с осложнившейся международной обстановкой» сообщал в 1936 году начальнику УНКВД и секретарю крайкома Эйхе. Директор областной научной библиотеки Нина Третьякова в качестве свидетельницы дала

благоприятные показания о подсудимом, подчеркнув его высокую бдительность: отмечала, что тот защищал линию партии и «к врагам народа был непримиримым большевиком»[4].

Между тем, заключение чекистов по факту отказа партизана от прежних показаний было однозначным. Оно гласило: «каких-либо сомнений дело Громова не вызывает хотя бы по одному тому, что данные им ранее показания, что он был завербован в состав правотроцкистской организации врагом народа Эйхе, полностью подтверждаются показаниями последнего, хотя Эйхе допрашивался в Москве».[5] Но военные судьи 9 декабря 1939 года всё же оправдали Громова «за недоказанностью вины».

Много лет спустя, вспоминая мучительные месяцы своего тюремного заключения, бывший член коллегии губчека беспомощно спрашивал себя: «Как получилось, что эти люди [чекисты], бывшие в большом почёте, пользовавшиеся огромным авторитетом и замечательно работавшие в годы революции, в 1937-1938гг. превратились в таких садистов и извергов, что перед ними бледнеют все методы инквизиции?..».[6] Он так и не осознал прямой связи террора гражданской войны и начала 20-х годов с репрессиями периода «ежовщины».

Ветеран классовых битв ещё успел применить свой боевой опыт в годы Отечественной войны, когда был направлен в партизанский отряд. За линией фронта старого партизана ждала потрясающая встреча. На одной из встреч с командирами отряда, Громов увидел симпатичного молодого человека с открытым лицом и вдруг оцепенел: перед ним стоял тот самый следователь НКВД, который в 1938 году беспощадно допрашивал его, подводя под неминуемый расстрел. Первой мыслью Громова было схватить свой автомат и прошить ненавистного выродка очередью в упор. Но другая мысль остановила гневную руку: раз этот человек тоже работает в тылу врага и рискует жизнью вместе со всеми, значит, по поручению родной коммунистической партии делает заодно с Громовым общее дело. Свои воспоминания об этом фронтовом эпизоде старый партизан завершил поразительной фразой: «Я подошёл к нему, мы обнялись и расцеловались, но не как враги».

После войны Игнатий Громов ушёл на заслуженный покой – после тяжких десятилетий, прожитых на смертельных качелях

советской истории. Последнюю четверть века Громов провёл в ранге персонального пенсионера, обязательного почётного гостя, всегдашнего делегата и депутата, непременного члена… За четыре года до смерти стал почётным гражданином города Новосибирска. И в 1971 году спокойно умер – пять дней спустя после своего 87-летия.

Алексей Тепляков
ДЕЛО «ТРУДОВОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ПАРТИИ» 1937 ГОДА

Среди множества дел «вредительских», «заговорщицких», «повстанческих» и прочих организаций, сфабрикованных органами ОГПУ-НКВД в Сибири в период сталинского террора, дело так называемой «Трудовой Крестьянской партии» (ТКП), впервые созданное чекистами ещё в 1920-е годы, занимает особое место, как по масштабу арестов, так и по продолжительности репрессий. В начале 1930-х годов по нему арестовали по всей стране и в Сибири массу специалистов. В 1937г. оно вновь активно послужило разгрому интеллигенции, связанной с сельским хозяйством и другими отраслями экономической и общественной жизни.

В советской колхозной деревне ситуация в области животноводства была крайне неблагополучной. На волне широкого истребления «кулацких элементов» в ходе операции по приказу НКВД СССР №00447 обвинения во вредительстве в колхозах стали одними из самых распространённых. 2 октября 1937г. появилась директива И.В. Сталина и В.М. Молотова «О вредительстве и проведении показательных процессов в области животноводства». Указав на крайнюю опасность «вражеской» работы, заключавшейся в «бактериологической диверсии путём заражения крупного рогатого скота, конского поголовья, овечьего и свиного стада чумой, ящуром, сибирской язвой, бруцеллёзом, анемией и др. эпидемическими заболеваниями», в «срыве снабжения препаратами и дезинфицирующими средствами районов, поражённых эпизоотией и вредительством при изготовлении сыворотки на биофабриках», а также во «вредительском сокращении посевных

площадей кормовых культур с целью сужения кормовой базы», Сталин и Молотов потребовали от местных руководителей организовать показательные судебные процессы в отношении «вредителей» – животноводов, ветеринарных врачей и специалистов в области сельского хозяйства[1]. В результате, помимо открытых процессов над «вредителями сельского хозяйства», на которых были осуждены руководители, служащие и крестьяне Ленинск-Кузнецкого, Рубцовского, Уч-Пристанского пунктов «Заготзерно», колхозов Барабинского, Венгеровского, Ояшинского, Искитимского, Купинского, Чановского районов[2], было возрождено дело так называемой «Трудовой Крестьянской партии».

На территории Западно-Сибирского края к началу декабря 1937г. было арестовано 1.400 человек «тэкапистов» во главе с консультантом крайплана Станиславом Марковским, уже обвинявшемся по этому делу в апреле 1931г. Тогда довольно скоро Марковского, одного из виднейших специалистов в области сельского хозяйства, власти были вынуждены освободить, но в 1933г. последовал новый арест. В 1937г. Марковского арестовали в очередной раз и превратили в «руководителя» заговорщицкого центра из восьми человек.

О результатах проведённого «разоблачения» этой и других «организаций», первый секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) И. Алексеев докладывал Сталину в декабре 1937г. Он сообщал о колоссальном размахе вражеской работы, пресечённой доблестными чекистами; добавлял, что «Сибирский филиал ТКП имел свои диверсионно-повстанческие организации в 9 городах и 24 районах Западно-Сибирского края» и организовал вредительство во «всех важнейших отраслях сельского хозяйства», уничтожив, в частности, более миллиона голов колхозного и совхозного скота. Политической же задачей «филиала» было «вооружённое свержение советской власти с помощью Японии и установление буржуазно-демократической республики».[3]

Алексеев отмечал также, что «по делу этой организации арестовано 1.400 человек». Но указанными в письме Алексеева 1.400 «вредителями-текапистами», изъятыми к началу декабря 1937г., дело не ограничилось. Чекисты считали его перспективным и продолжали массовые аресты тех, кого можно было связать с ТКП.

Мифическая причастность к «Трудовой крестьянской партии» стала роковой и для других более чем 80-ти человек, арестованных в середине и второй половине декабря 1937г., преимущественно специалистов разного профиля: учёных, преподавателей, юристов, ветеринаров, агрономов, бухгалтеров. В группе осуждённых членов организации «ТКП» оказался видный писатель и поэт из Новосибирска Георгий Вяткин[4]. Многие из осуждённых в годы гражданской войны были молодыми людьми, только начинавшими свой путь. Выбор, который был ими сделан тогда в пользу белого движения, с точки зрения чекистов, лишал их права на жизнь.

В списке арестованных представлен весь спектр лиц, так или иначе пострадавших от властей: здесь и арестованные за вредительство и прочие антисоветские преступления, и те, из которых в кампанию охоты за «валютчиками» в буквальном смысле вытряхивали припрятанное на чёрный день золото. Люди, ранее подвергавшиеся репрессиям, составляют значительный процент среди осуждённых. Но часть из них имела вполне удовлетворительные по советским меркам анкеты, особенно основные ветеринарные специалисты нескольких районов и ряд ведущих исследователей СибНИИ животноводства…

Обвинительное заключение, датированное декабрём (без числа) 1937г., было составлено начальником 5-го отделения секретно-политического отдела (СПО) УНКВД М.Н. Пестерниковым, начальником этого отдела К.К. Пастаноговым и подписано зам. начальника управления майором госбезопасности И.А. Мальцевым. Арестованный Святослав Марковский был допрошен начальником управления НКВД старшим майором госбезопасности Г.Ф. Горбачом и помощником начальника СПО С.И. Плесцовым. Следователи вынудили заявить Марковского, что в период арестов 1930г. на свободе осталась вся сибирская «низовка» ТКП и её активный организатор Брусницын. В период террористических акций против интеллигенции, проведённых в 1933г., напротив, «очень сильно была разгромлена низовка за счёт повстанческих и вредительских элементов в МТС, совхозах и т.д.», но основные руководящие кадры уцелели и были арестованы только в 1937г. Сам термин «низовка», означавший на чекистском жаргоне массу рядовых участников «контрреволюционных организаций», ясно

говорит о том, кем были составлены протоколы, подписанные именем Марковского.

В обвинительном заключении говорилось, что организация ТКП контактировала с заговорщической организацией «РОВС» (по версии НКВД, наиболее многочисленной в Сибири по составу участников) и была ориентирована на широкую подрывную работу в сельском хозяйстве. Также она была связана с правотроцкистскими заговорщиками, в число которых были включены основные партийные, советские и хозяйственные руководители края. Наличие среди осуждённых грузин-виноделов расширяло круг разоблачённых врагов и должно было демонстрировать широту охвата и качество чекистской работы. Группа исследователей СибНИИ животноводства (Н. Бухаров, Г. Кучеренко, Д. Петухов, Н. Мелешко) обвинялись в пропаганде «псевдонаучных вредительских теорий»: сохранения чистого генофонда сибирского скота и выступлении против метизации, применении к чистопородным животным метода «сибирской закалки» (содержание зимой в холодных помещениях), «голодные нормы» при выпойке телят, умышленное препятствование разведению клевера и люцерны, заменяемых «неизученным донником». Умышленное распространение эпизоотий за последние три года привело, как отмечали в УНКВД, к гибели в крае до 400 тыс. голов крупного рогатого скота и до 500–600 тыс. овец и свиней.

Вторая крупная «вредительская подгруппа» укрывалась в плановых органах (К. Дурбажев, П. Ильин, Н. Виноградов, Д. Власов). В неё также входили ветеринары: в Венгеровском районе группа А. Гельвидеса якобы уничтожила в 1936-1937гг. 32 тыс. голов скота, заразив его бруцеллёзом, сибирской язвой и чумой. В Купинском районе старший ветврач Е. Ищенко создал аналогичную «вредительско-диверсионную группу» из пяти человек и уничтожил за 1934-1937 годы 29 тыс. голов. Аналогичная группа была вскрыта и в Колыванском районе.

Проходивший по другому делу начальник ветеринарного управления Западно-сибирского краевого земельного отдела Густав Карлович Лелеп (арестован 7 октября 1937г., расстрелян 15 января 1938г.) был обвинён в том, что входил в «краевой комитет ТКП» (вместе с Марковским, Брусницыным, Серебренниковым,

Ольшевским, Куфиревым и другими). Г.К. Лелеп для потребностей ТКП якобы завербовал в организацию 12 старших районных ветврачей, а затем с их помощью создал до полутора десятков диверсионных групп, заражавших скот опаснейшими болезнями[5]. Старший зоотехник А. Бушуев «распространял версии о том, что колхозники не умеют ухаживать за скотом и что в падеже скота виновны только они, чем дискредитировал колхозную систему», а зоотехника Н. Озольса обвинили в том, что он «сорвал метизацию скота в районе, спермы от чистопородных быков выливал на землю, а коров покрывали простыми производителями». Ветеринаров сначала планировали пропустить через спецколлегию областного суда, но затем присоединили к общей массе арестованных и отправили на тройку. В итоге к новосибирцам «подверстали» филиалы в районах области, а также грузинскую артель «Колхида», в недобрый час решившую перебраться в Новосибирск летом 1937г.

Что касается Новосибирска, то в рамках вскрытой организации чекисты «обнаружили» семь низовых ячеек, созданных «краевым комитетом ТКП». Преподаватель Сибирского строительного института А. Скуридин вместе с С. Кареповым по заданию генерала В.Г. Болдырева (расстрелянного в 1933г. по грандиозному «белогвардейскому заговору» в числе нескольких сот казнённых) якобы создали повстанческую вредительскую группу из 11 человек. А. Васильев и А. Замятин завербовали семь человек в системе Запсибторга, а А. Ивинский создал группу из девяти человек. Группа А. Михалёва (семь террористов) готовили убийство секретаря крайкома партии Р.И. Эйхе. Георгия Вяткина с Прокопием Капиносом сделали руководителями ячейки из пяти человек. Остальные три группы (в аптечном управлении и пр.) включали в себя трёх-четырёх участников. Заведующего аптекой М. Моргулиса обвинили в хищении для нужд организации спирта, морфия, кокаина, а также в изготовлении ядов и бактериологических культур.

Если ветврачей и аптекарей легко можно было записать в отравители, то с учёными было сложнее. Обвинения, предъявленные сотрудникам СибНИИ, поражают своим цинизмом. Самого краткого обвинения удостоился Н. Бухаров – он «являлся участником

ТКП, выступал с псевдонаучными теориями». Немногим подробнее характеризовалось преступление Н. Мелешко: «проводил псевдонаучную работу над кормовой культурой донника, умышленно забросив исследование других кормовых трав». М. Хробостов был обвинён в том, что изготовил к выставке «макеты и ф/снимки с к.-р. клеветническим содержанием».

На главного ветврача Ф. Серебренникова 6 сентября 1937г. был сделан донос в НКВД, который подписан кличкой «Рабочий-знающий». В нём арестованный обвинялся в хранении контрреволюционной литературы, распространении антисоветских анекдотов и в том, что он якобы приятель расстрелянного маршала М.Н. Тухачевского.

На преподавателя инженерно-строительного института Кирилла Новицкого донесли собственные студенты. В ноябре 1937г. они сдавали зачёт на квартире Новицкого, угощались чаем. Однако принимавший их хозяин в дружеской беседе «пытался обработать слушателей в антисоветском духе». Рассказывал, в частности, что до революции выходцы из рабочей и крестьянской среды могли учиться в вузах, что на 10 рублей можно было жить целый месяц, поскольку обед стоил 11 копеек. Студент на одних чертежах мог зарабатывать до 30 рублей в месяц, а крестьянский сын Новицкий подрабатывал техником и имел тогда по 120 рублей. Преподаватель «защищал также религию», называл постоянно проводимые в вузе кроссы «лошадиным видом спорта» и говорил, что он под настоящим спортом понимает «те виды, которые связаны с красотой и удовольствием человека». Студенты К. Скрипкин, А. Соколовский, Г. Гришанова, А. Ковин и В. Минайлов сделали вывод, что преподаватель – «человек не наш» и 23 ноября донесли о контрреволюционных взглядах Новицкого в партком института. Вскоре заявление студентов оказалось на столе следователя НКВД Александра Солодкова, которого старшие коллеги характеризовали как беспощадного к врагам народа… Ещё активно отличились в этом деле чекисты-оперативники С.С. Корпулев, С.Ф. Курусков, С.И. Маскаев, В.И. Ченский, В.В. Кайзер, Д.Г. Кожевников, М.П. Семернев, М.К. Заболотский, А. Сидоренко, Котельников.

Некоторые чекисты использовали кампанию массовых арестов в интересах собственной наживы. При обыске у Веры Маркони

изъяли почти килограмм столового серебра. Отнюдь не все ценности тогда сдавались по акту и попадали в доход государства, многое прилипло к рукам нечистых на руку следователей. Так, у Ефима Новичкова изъяли кольцо и цепочку «жёлтого металла», а затем в протоколе обыска приписали – «медные». У артиста А. Замятина конфисковали дорогие вещи: золотые браслет, цепочку, брошь и кольцо с бриллиантом. Проходивший свидетелем по делу И.А. Мальцева руководитель особой инспекции облмилиции Чуканов впоследствии показал, что Мальцев, работавший в 1938-1939гг. начальником Новосибирского областного управления НКВД, не принимал никаких мер по отношению к тем оперработникам, которые присваивали себе ценности лиц, осуждённых к высшей мере наказания.[6]

Изъятию при обысках подлежали оружие, документы, рукописи, ценности, политическая литература. Но спектр отнятого и конфискованного в немалой степени отражал вкусы оперативников, проводивших обыски. У А. Долгушина изъяли при обыске книгу Сталина «Вопросы ленинизма» и сборник «Беломорстрой». У Марии Горох – просто лист чистой бумаги. У П. Анисимова – 20-томное собрание сочинений Ленина, 2 книги Сталина и ещё 21 книгу плюс серебряный рубль 1809 года. У геолога А. Васильева забрали серебряный портсигар, 10 книг и 2 тетради стихов, у А. Першина – игральные карты. У кладовщика П. Капиноса изъяли дневник с описанием побега из германского плена. Самая же большая библиотека (256 наименований, включая книги с автографами авторов), а также письма Максима Горького, Александра Блока, Ромена Роллана были изъяты у писателя Г. Вяткина. Очевидно, эти культурные ценности пропали, хотя, возможно, горьковские письма избежали сожжения и оказались присвоены чекистами, что даёт надежду на то, что какие-то из них ещё всплывут (по крайней мере, в протоколе обыска было указание на то, что изъята не просто обезличенная переписка, а именно письма Горького).

Следователи использовали весь свой арсенал: от убеждения в том, что признать вину необходимо ради интересов государства, относительно чего существует некое секретное постановление правительства, до нецензурной брани, угроз уничтожить семью и

прямого физического воздействия. Документы оформляли как попало. Так, протокол допроса Л. Заграничного даже не подписан следователем и содержит неопределённую дату – декабрь 1937г.

Большая часть обвиняемых вынуждена была признать обвинения. Однако учительница музыки Мария Морозова, высланная из Благовещенска за посещение японского консульства, категорически отказалась подчиниться следствию. Следователь С. Курусков тщетно настаивал на её признании:

– Вы напрасно всё отрицаете… Следствие располагает рядом показаний обвиняемых ваших соучастников по к-р работе. Бросьте голословное отрицание, говорите правду? (в протоколах малограмотные следователи нередко на месте восклицания ставили абсурдный вопросительный знак – *А. Т.*).

– Я говорю правду, участницей к-р организации я не была.

– […] Следствию известно, что вы занимались к.-р. агитацией, клеветой на политику партии и её вождей. Дайте показания по этому вопросу?

– Никаких показаний по этому вопросу я не дам. Агитацией я не занималась, а если обижалась когда на Совласть, то только за то, что была несправедливо выслана с ДВК.

Те, кто остался в живых, оставили в своих жалобах свидетельства о следовательских приёмах. В. Татаринцев подписал признательный протокол после двух суток выстойки и «других мер физического и морального воздействия». Следователь В. Ченский заставил П. Тараканова подписать протокол «через насилие и угрозы», Котельников (видимо, курсант школы НКВД) грозил А. Овечкину, что в случае отказа подписать протокол его семья будет арестована, а имущество распродано. Мария Линдквист, оказавшаяся в мариинских лагерях, писала в жалобе, что «следователь не довольствовался моей фамилией, которое я ношу от первого мужа» и «заставил меня подписаться на чистом листе бумаги… до сего времени не знаю, для какой цели это было сделано». Вера Маркони впоследствии показывала, что следователь М. Давыдов «в моём присутствии получил от начальника отдела распоряжение “обработать меня за один раз в день моего первого допроса” и потому он торопился»; она подписала, поскольку «не желала очутиться в

положении других допрашиваемых при мне и в соседней комнате граждан, по адресу которых неслась отборная площадная брань, угрозы и т. д., о чём заблаговременно “любезно” предупредил следователь…» Виноделу Г. Дзнеладзе следователь сказал, что подписать «требует постановление правительства» – и только в лагере тот узнал, что получил 10 лет.

Дмитрия Власова обрабатывал внутрикамерный агент А.А. Токарев, старый большевик, бывший начальник новониколаевской губернской милиции и председатель Кемеровского горсовета: «надо стараться давать показания… меньше получишь наказание». Провокатор советовал Власову взять на себя вину участия в правотроцкистской организации, а не в принадлежности к «Трудовой Крестьянской партии», так как по ТКП «проходят отбросы интеллигенции, старые специалисты, которым даётся самая суровая мера наказания», зато коммунисты идут как правые троцкисты и им будет снисхождение. По словам Власова, за такие советы Токарева очень ругал арестованный секретарь Венгеровского райкома партии Шевченко. Их сокамерник Дмитрий Андреев говорил, что Токарев обрабатывал всех камерных сидельцев: вы, дескать, находитесь в советской тюрьме и идти против следствия – значит, выступать против советской власти. Вскоре, однако, фамилия чекистского помощника Александра Токарева также оказалась в большом расстрельном списке, подписанном Сталиным.

Представить дело «шпионским» у чекистов не получилось (хотя из малограмотной портнихи М. Линдквист, которая обшивала работников германского консульства, пытались сделать разведчицу), поэтому ему придали «повстанческую окраску» и поручили Секретно-политическому отделу. Как было принято с подобными крупными делами, большая группа следователей и курсантов «оформила» его за несколько дней. Уже 27 декабря 1937г. тройка управления НКВД осудила к высшей мере наказания подавляющее большинство осуждённых – 66 человек. 8 января 1938г. приговор привели в исполнение. 15 человек получили по 10 лет лагерей, трое (все женщины) – по восемь лет. Кто же выжил из этих 18 человек, обречённых на долгие годы ГУЛАГа? В деле есть сведения только о нескольких. М.С. Попов отбывал срок в Озерлаге, в 1953г. жил

на станции Титан Мурманской области. Н. Гладилову в 1940-х годах сократили срок на один год. В декабре 1947г. на свободу вышли П. Тараканов и М. Линдквист. А вот Д. Власов умер в магаданских лагерях 3 августа 1943г.

В 1940г. новосибирская прокуратура в письмах в ЦК ВКП(б) и обком приводила это дело в качестве примера чекистской фальсификации (при этом считалось, что по делу прошло только 70 человек, внесённых в обвинительное заключение, из которых казнили 55)[7], но в те годы лишь само управление НКВД могло отменить приговор тройки. Сохранившееся в деле письмо Гали Татаринцевой, которая из-за отсутствия зимней обуви не могла ходить в музыкальную школу (девочка писала: «Дядя Сталин, напишите прокурору, чтобы он выпустил папу, чтобы я могла учиться»), чекистов не тронуло, и реабилитация произошла лишь полтора десятилетия спустя.

Расплатились за фальсификацию дела бывший начальник УНКВД по Новосибирской области И.А. Мальцев (покончил с собой, отбывая лагерный срок), начальник СПО К.К. Пастаногов (сидел в тюрьме с 1939 по 1941г., а с началом войны отправлен воевать к партизанам) и С.С. Корпулев (в 1938г. был посажен на пять лет за недостаточное усердие)… Зато С.И. Плесцов стал к 1945г. генералом. С.Ф. Курусков тоже вырос по службе и в 1943г. был избран в партком УНКВД по Новосибирской области, М.Н. Пестерникова в 1954г. уволили из управления лагерей МВД Татарии, а А.И. Солодков поучаствовал в новосибирском «деле врачей», позднее работал в Искитиме, Мариинске, Нарыме, а в 1951г. Алткрайкомом ВКП(б) был освобождён от должности начальника Троицкого райотдела МГБ «за развал работы».

Михаил Шмулёв
ВОСПОМИНАНИЯ О КАРЛАГЕ
(Окончание, начало см. «ГС» №№4-5)

Но был бы закон, а не беззаконие. Древние говорили: «Закон суров, но это закон». В лагерях же было как бы два беззакония: одно «официальное», начальства, конвоя и другое – внутреннее, от тех, кто главенствовал в бараках.

Помню, как бригадир, цыган, сученый вор, из-за какого-то спора о замере произведённых работ ударил десятника из числа расконвоированных и приказал своим клевретам нагружать ему тачку, да пополнее, до самого верха и бегом гонять его в забой и с забоя. И десятник, который подчинялся только старшему инженеру из вольнонаёмного состава, молча бегал, понукаемый хохочущими «придурками».

Чтобы было понятно, приведём сравнение. На любой стройке есть бригада землекопов во главе с бригадиром. Так вот, представьте, что этот бригадир заставил бы инженера, т.е. по существу начальника, выполнять разные поручения.

И что? Наш десятник даже не пожаловался начальству. Потому что боялся – будет хуже. Потому что не было порядка, не было у начальников желания вмешиваться, а был произвол и насилие. Вся эта коммунистическая камарилья, узаконенная мафия тщательно следила лишь за политическими врагами, которых следовало бы назвать более правильно «врагами партии», но ни в коем случае не «врагами народа».

По сути, Сталин мало интересовался уголовными делами, его занимала лишь политическая подоплёка, процессы шли один за другим, тщательно организованные, все каялись, признавались в мнимых грехах, заверяли «великого вождя» в своей преданности, но – напрасно. «Попавшихся», как правило, ожидало лишь одно – расстрелы, 10 лет, и то, для видимости, потому что намеченные жертвы всё равно потом невдолге умирали, будто бы своей смертью.

Сталин, Сталин! Знал ли он, сколько проклятий шлют ему миллионы заключённых?

Существует теория: мощное биоэнергетическое поле, постоянно создаваемое бесконечными восклицаниями – «Ура!» и «Да здравствует!», кинофильмами, музыкальными произведениями, государственным гимном не могло уравновесить такого же поля, но с отрицательным знаком, то есть проклятий миллионов, гневных пожеланий: «Чтоб ты скорее сдох!»

Интересно, что Лев Разгон признавался: он выжил, потому что очень уж ждал смерти тирана. А отбыл он 17 лет за свою антисталинскую деятельность, в 1998 году Л. Разгон отмечал 90-летие.

Литература того времени, сволочная, рисовала яркие картинки: перековки, перевоспитания и прозрения у правонарушителей, как с помощью передовой советской педагогики Макаренко отпетых воров превращали во вполне благонамеренных, лояльных и даже преданных Партии граждан. Между прочим, советские писатели много писали в этом жанре о перевоспитании именно из уголовников, но никто из них не осмелился рассказать или слепить легенду о перевоспитании так называемых «врагов народа». «Враги народа» не могли перевоспитаться. По логике коммунистов: если враг не сдаётся, его уничтожают или сажают в лагеря, увеличивая всё время сроки из-за самых незначительных проступков. И так было до самой смерти Сталина.

Но о себе более конкретно. Общие работы с пребыванием в «подконвойной зоне», называемой в просторечии «за Дунаем». Мелиоративные работы: тачка, лопата, кирка. Место на втором «этаже» нар, рядом с немецким военнопленным Рудольфом Камлером…

В первые послевоенные годы в лагерях творилось «Вавилонское столпотворение» – смешение языков и народов. Это 1946-50гг., потом всё утряслось, «отсортировалось». В одном бараке встречался порой самый разный люд: чистые бытовики, – причём, возможно, и преданные идеалам коммунизма, но по несчастливым обстоятельствам получившие срок, – уголовники, иногда самые отпетые, власовцы, бандеровцы, политические, немецкие, венгерские, румынские военнопленные, попавшиеся на хищении продовольствия в местах, где они работали. Например, Рудю Камлера – за пять кг картофеля, унесённого с поля, осудили на 7 лет ИТЛ. Вся эта пёстрая публика вместе возила тачки, хлебала баланду, спала, ела, ругалась и мирилась, спорила до хрипоты, а зачастую и дралась.

Да, и дрались. В первое время мне пришлось именно таким способом отстаивать своё достоинство и, Слава Богу, я его отстоял и утвердил. Иначе нельзя. Слабаков не жаловали, эксплуатировали. Утверждение происходило по всем направлениям, от этого зависела твоя лагерная судьба. Порой нужна была и хитрость, постоянные уловки, чтобы выжить.

Как-то заходит в нашу зону помощник урбиста, довольно подленький человек, и, увидев меня, говорит, будто видел мою фамилию в списках на этап. В какой – не досказал, но тут же появился слух, что в ближайшее время готовится отправка зэков в Джезказган. А это было страшное место, своеобразная советская каторга. Там медные рудники, шахты, в некоторых работали сплошь всё те же «враги народа», изменники Родины, власовцы, бандеровцы. Но это был уже другой лагерь – СТЕПЛАГ (степной лагерь). И надо было думать, размышлять, как избежать нежелательного перевода.

И снова, как и пять лет назад, в шведском госпитале, в плену, нужно было хитрить. Сходил два раза в санчасть к лекпому, пожаловался на боли в раненой руке: трудно её поднять, а уж работать и подавно.

Переброска зеков из одного отделения или лагеря в другой, как правило, сопровождалась медицинским обследованием. Никому не хотелось получать в новый лагерь «на баланс» больных, увечных, слабых, непригодных к работе. От зека в первую очередь требовалась отдача в труде. Это в тюрьме – отсидка, томление взаперти, а лагерь – совсем иное дело. Каждое отделение имело план, который нужно выполнить и перевыполнить. Какое уж там выполнение, если списочный состав один, а трудоспособных – другой, значительно меньший.

Начальство других отделений, лагерей присылало своих врачей для медосмотра. Было чрезвычайно трудно обхитрить такую медкомиссию, состоящую из врачей-зеков. Они-то знали все мыслимые и немыслимые уловки – «мастырки». Сделать «мастырку», чтобы получить освобождение от тяжёлой работы, – на это нужно мастерство, простое притворство тут не поможет!

И вот настал день такой медкомиссии. Я первым делом показал свои старые раны, они уже давно зажили, зарубцевались, но следы-то от них остаются на всю жизнь. В непогоду, при перенапряжении дают о себе знать.

Раны производят впечатление, да и наш лекпом, посмотрев в свой кондуит, говорит о постоянных жалобах заключённого. Всё! Мне дают 2-ю категорию работоспособности, а это значит, я не подхожу для тяжёлых работ – этап для меня отпадает. Естественно,

я счастлив, доволен. Но тачка и мелиорация по-прежнему входят в круг моих обязанностей.

Через три года моей лагерной жизни меня выводят из зоны на сенокос. Там совершенно другие условия. Двое верховых конвойных издали наблюдают за нашей работой. У меня старый упитанный вол, запряжённый в сенокосилку. Между прочим, от вола зависит многое: лёгкость управления, питание.

На зоне – строгий конвой, урки, а здесь – широкое поле, солнце, спокойная лёгкая работа. Я чуть было не написал – счастливая работа. Сидишь себе на сенокосилке, покрикиваешь изредка «цоб-цобе», а перед тобой волнующее зелёное море травы и никаких там «блатных», «сученых» и разной лагерной шантрапы…

А осенью снова «пофартило». Я попал не в зону, а на базу при железной дороге – грузчиком. Над 10 человеками лишь один надзиратель. Мы расконвоированные. Что очень важно. Можно даже сходить в магазин или на вокзал.

А затем пошла полоса везения. Меня направили на курсы заведующих складами в центральное отделение пос. Долинка. А это значит, что я буду «кум – королю, сват – министру».

И до самой смерти Сталина, то есть до марта 1953 года, я работал заведующим складами. Они были разные: зерновые, овощные, продовольственные. Не буду описывать своё положение в те времена. Удалось достичь самой высокой планки, какая могла быть в условиях лагеря. Я подчинялся только начальнику ЧИС и зам. начальника отделения, офицерам. Изредка заходили ради формальности дежурные надзиратели, для проверки – на месте ли я. Понятно, что свободное хождение по отделению давало возможность сожительствовать, да так, что по прошествии времени у меня появилась дочь. А через год ко мне приехала сестра и забрала её с собой на волю. Дочь мы назвали – Людой.

Обычно такое сожительство заканчивается по окончании срока или при переводе с одного места на другое. Детей забирают на волю родители матерей, а если таких нет, то в детские дома, начиная с трёх лет. У меня всё было по другому. Моя лагерная жена освободилась почти вместе со мной. Тогда была большая амнистия, и мамочки с детьми уходили на волю…

Сибирские воспоминания

Воспоминание – это единственный рай, из которого мы не можем быть изгнаны.

Ж.П. Рихтер

Шимон Токаржевский
КАТОРЖНИКИ[1]

Предисловие

Можно смело сказать, что в период с 1831 года вплоть до манифеста по поводу коронации Александра II, на польских землях в российском секторе, в каждом владении шляхтича-помещика, в каждом шляхетском доме долгие печальные разговоры всегда начинались со слов: «Сибирь», «В Сибирь», «Из Сибири»…

Ибо поистине трудно было найти шляхетскую семью, где, если не несколько, то хотя бы кто-то один уже не находился в Сибири или, по крайней мере, был на пути к ней.

Кроме того, Сибирь, этот огромный далёкий край, в ту эпоху ещё малозаселённый, польская общественность не могла даже себе представить, хотя бы в самых общих чертах.

От нас, каторжан и поселенцев, вести из этого края приходили очень редко.

Наши письма, конечно, следовало писать очень осторожно, они и были написаны с большой оглядкой и, обычно, ограничивались короткими и пустыми сообщениями о здоровье «корреспондента» и столь же пустыми вопросами о здоровье родных и приятелей.

И – ничего больше…

Во время двукратного моего изгнания, признаюсь, прости меня Господь! или, вернее, прости мне полное отсутствие литературного дара – признаюсь, не раз жалел я, что среди нас, Поляков-каторжан и *поселенцев* не нашёлся какой-нибудь поэт, какой-нибудь писатель или драматург, одарённый выдающимся талантом.

Конечно, в Сибири идиллий было не написать, но буколик – сколько угодно! Ибо в Забайкальском и Надамурском краях полно живописнейших местностей, и перед этими чудными видами этой девственной, плодородной природы, при виде сказочно буйной растительности, ослепительно ярких дурманяще душистых цветов, перед этой игрой света, как бы сотканного из радуг, мы невольно восклицали:

…Кто же сумел сотворить такое великолепие!

Для занимательнейших повестей, мрачных драм, кровавых трагедий в Сибири не нужно было долго и старательно выискивать темы, на таком фоне складывались такие сценарии, какие не удалось бы придумать самой смелой фантазии цивилизованного человека. Мы, Поляки, невольно и даже без особого сопротивления, нередко оказывались втянутыми в действенное участие в акциях мрачных, страшных, пронизывающих ужасом… Долгое пребывание вдали от очагов, да что там! – даже от следов какой-либо культуры, должно было склонить нас к наблюдениям, созерцанию и одновременно возбудить желание поделиться испытанными впечатлениями.

Трудно было записывать всё «по горячему». Но события, участниками или свидетелями коих мы были, оказывались столь необычными, впечатления столь сильными, что то и другое, как будто безжалостным резцом, запечатлелось в нашей памяти, сердцах, в воображении; и эти глубокие рытвины в течение долгого ряда лет оставались неизменно яркими, ничем не затенённые и нисколько не стирались.

Допускаю также, что многие из братьев-изгнанников записывали свои «мемуары». Полагаю, что рано или поздно оковы цензуры в нашем крае когда-нибудь ослабнут, и тогда подобные воспоминания появятся на свет божий из старосветских замковых закромов, где были спрятаны среди самых ценных семейных реликвий, и, напечатанные, переплетённые, составят особый отдел в польской литературе… И тогда тот слой польской общественности, который сейчас «опрокидывает горы и степи», пороча годы, последовавшие за 1830-м, и годы после 1863-го, которые вызывают сейчас лишь брезгливую насмешку, а иногда и клевету, лучше и ближе узнав ту эпоху, изменят свой взгляд и на неё, и на нас, «загубленных».

Не теряю надежды – позволю себе сохранить её нетронутой – что всё это именно так и случится и горячо на то уповаю.

* * *

После измены Яница мы, эмиссары-участники митинга по всей Крайне, созвали военный совет, который постановил: духом не падать, веру в победу нашего дела не терять, потому что, коль скоро возлюбленный наш народ не арестован, нельзя считать дело

окончательно проигранным. Значит, нам надо рассыпаться на стрелковые группы; пусть каждый из нас тихонько притаится в каком-нибудь укрытии, ожидая призыва, чтобы вновь начать действовать.

Сразу же после совета мы разошлись в разные стороны. Я не мог вернуться ни в отчий дом, ни в родные края; потому что в околицах Киельца, Опатова, Сандомира каждая пядь земли, каждая тропка и каждая дорожка были мне знакомы и знали меня, поскольку по этим лесным местам, куда ещё Болеслав Храбрый приезжал на охоту, я проходил к горам Швиентокжыским, в монастыре на Лысой Горе я не раз останавливался во время моих странствий и теперь я надеялся найти там приют и надёжное укрытие. Как я и рассчитывал, ксёндз, Ходельский народ и мои добрые знакомые приняли меня с дорогой душой и распростёртыми объятьями.

Время, когда я пользовался их сердечным гостеприимством, это одно из самых моих дорогих воспоминаний.

После дня, проведённого при свете восковых свечей в малюсеньком, душном без окон тайнике между ризницей и алтарём, я выходил обычно на балкон колокольни.

Там уж я мог полной грудью надышаться воздухом; оттуда открывался такой прекрасный вид; и Старый Город Кракова, и Вавель, взгляд упирается аж в заснеженные вершины Татрских гор.

Когда глубины бора уже скрывались в тени, верхушки его ещё алели закатным пурпуром, а за его краями солнце, скрывающееся за горизонтом, посылало свои фиолетово-золотые отблески на тесные людские селения и на просторы у подножья Лысой Горы.

Ветер колыхал деревья и они склонялись, понемногу роняя увядшие листья и иголки, которые с лёгким шелестом падали на землю, на мягкий настил пушистого мха.

В шестом часу костёльные колокола звали на Ангелус[2], – и малые, и большие, и один вовсе огромный.

В печальный аккорд сливались голоса этих колоколов, помнящих лучшие времена, они соболезновали нам, взбадривали людей слабой воли и трусливого нрава, в омрачённых сердцах пробуждали и усиливали горячую любовь, в изболевшихся душах будили светлые надежды.

Обуянный разными видениями, полными скорби и надежд, на балконе колокольни я проводил погожие, освещённые блеском

месяца, долгие осенние вечера. А дни своей вынужденной бездеятельности и затворничества заполнял чтением, правда, без всякого плана, потому что книги из некогда великолепной библиотеки Бенедиктинцев приносил мне ризник Матеуш. Он хватал первый попавший под руку красивый том и в выборе чтива для меня руководился, главным образом, нарядностью переплёта. Как-то он мне принёс книгу, одетую в чёрную кожу, с золочёными накладками и бронзовыми нарядно прочеканенными застёжками.

Это были проповеди известных французских проповедников. В одной из великолепных проповедей иезуита Людовика Бурдалу, в проповеди «Об Аде», внимание моё привлекло такое высказывание:

«Трепещите, – так при дворе Людовика XIV сказал этот король проповедников и проповедник королей, – в адских пещерах стоят огромные часы.

На их циферблате нет цифр, обозначающих часы, квадранты, минуты, секунды. Вместо всего этого посредине циферблата начертано:

Вечность.

На этом слове стоит недвижимая стрелка. А вместо минут и квадрантов, эти адские часы попеременно вызванивают только два времени:

Всегда – Никогда –
Никогда – Всегда.

И когда какой-нибудь из грешников спрашивает:

– Который час? – изнутри часов мрачный голос отвечает:

– *Вечность!*

А если грешник спрашивает:

– Как долго буду я терпеть такие муки? – этот же голос отвечает:

– *Всегда!*

И грешник кричит в отчаянии:

– Неужели эти муки никогда не кончатся?

– *Никогда!* – отвечает голос. А стрелка на циферблате постоянно показывает: *Вечность…* Маятник постоянно качается, тяжко и равномерно, а звон часов попеременно оповещает:

Всегда – Никогда –
Никогда – Всегда».

Это высказывание из проповеди Отца Людовика Бурдалу произвело на меня впечатление огромной силы, особенно в этой непривычной обстановке.

Жёлтый свет восковых свечей, при ярком окрасе стен, свода и пола из красного кирпича – всё это создавало в моём воображении какую-то сверхъестественную атмосферу, какое-то яркое просветление; здесь за стеной однообразно тикали часы; эхо тяжёлых шагов Матеуша, убирающего в ризнице, его постоянное побрякивание огромными ключами, скрежет отворяемых замков и засовов, – всё это производило такое оптическое и акустическое впечатление, что временами я попросту дрожал от тревоги, как будто на самом деле находился в преддверии ада.

И эти слова из проповеди о. Людовика Бурдалу вспоминались мне во время моего второго изгнания, когда после манифеста 1874г. я по своей воле и без всякого принуждения выехал из Иркутска в Галич Костромской губернии.

После различных манифестов братья-поселенцы возвращались в родные места, меня же эти манифесты обходили. На просьбы о возвращении в Варшаву или хотя бы только о получении эмигрантского паспорта Петербург отвечал уклончиво, а о Варшаве – отрицательно.

И поскольку мои попытки и стремления возвратиться на Родину не прекращались, потому во время моего пребывания в Галиче каждый утренний рассвет будил в моём сердце надежду вернуться в Отчизну, а каждый вечер эти мои надежды затухали, и меня обуревала тревога, что дни моего изгнания будут длиться всегда… что не кончатся никогда… а тоска будет терзать моё сердце вечно, до последнего часа моей жизни.

Итак, в годы моего вынужденного бездействия и смертельной, обессиливающей душу тоски – я написал эти страницы.

Погружаясь в воспоминания былого, я немного отвлекался от своих мыслей, и это позволяло мне хотя бы мимолётно забывать о теперешних невзгодах и тревогах.

Один… Пять…

Он был благодушный, весёлый, как птица, которая порхает весной над цветистыми лугами, и горлышко её неустанно моделирует песнь во славу жизни, солнца и свободы.

Его юмор, забавные короткие рассказы на этапах позволяли нам забывать иногда о том, что мы в смертельно изнурительном походе.

Неудобоваримую пищу, которую мы собственноручно себе готовили, он, «солью аттической» заправлял так круто, что не раз она казалась нам вкуснее, чем изысканные блюда на, порой, столь скучных сборищах «по этикету».

К тому же он был молод, высокий, гибкий, сильный, красивый, правдивый, искренний и щедрый.

Но в моих глазах главная его заслуга была в том, что когда другие братья-каторжане ступали лишь по земле пустынных сибирских просторов и вспоминали былые дни и акции, в которых деятельно участвовали, грустно глядя на запад, он – всегда глядел только на солнце, для всех одинаково доброжелательное, яркое и живительное, и сквозь глухие пустоши славшее к *Ней*[3], в живую, многолюдную страну, победный и полный надежды призыв: «Аллилуйя!».

Звали его Роман. Мы его называли ласкательно Ромек, или Ромечек.

– Чёрную участь надо принимать, сохраняя светлое чело, – так он говорил, – и его красивое юное лицо всегда сохраняло ясное выражение, глаза блестели, как два карбункула, малинового цвета губы под тёмными шелковистыми усиками улыбались всегда и несмотря ни на что…

В Красноярске, расставаясь, мы попрощались со словами: «До свидания!», честно говоря, никак не надеясь, что это пожелание исполнится вскоре, и что вообще оно станет когда-нибудь возможным в этом мире.

Но в Галиче в семидесятых годах я получил обстоятельные и точные вести об участи Ромека от братьев-изгнанников, а также и от него самого.

Манифест 1874г. освободил Ромека с каторги на Нерчинских *заводах*, но всё же задержал в Сибири, запрещая жить в городах.

Нуждаясь в работе, чтоб заработать на хлеб, он охотно принял место *приказчика*, то есть помощника купца, а именно у лавочника Тимофея Чухонова из деревни Ямки. Она растянулась на несколько вёрст, была в ней церковь и волостное управление и, несмотря на то, что деревня находилась далеко от почтового тракта и от всяких селений, она была многолюдной и богатой. Потому лавка Тимофея Чухонова пользовалась большим уважением.

Притом, обязанности продавца в этой лавке вовсе не были синекурой, тем более, что сибирский крестьянин удивительно лукав и пронырлив, а потому считает, что если его разыскивают за долги, то это признак недальновидности и глупости, а вот увести кого-нибудь в поле и обокрасть – доказательство истинно практического ума.

Бедный Ромек, который на Нерчинских *заводах* ещё недостаточно изучил характер сибирских крестьян, в первое время своих купеческих обязанностей несколько раз нешуточно поплатился за оплошности, но, поскольку был проницательным наблюдателем и прекрасным счетоводом, к тому же приятным и вызывающим симпатию пареньком, которому удавалось «добраться» до сердца каждого клиента неистощимым терпением при торгах и честностью при исполнении условий, он вскоре прослыл весьма способным *приказчиком*.

– Настоящий *голубчик!* – восхищались им женщины.

– *Ничего! Ничего!* – поддакивали ямские мужики.

Начальник Ромека, Тимофей Чухонов, бывший каторжник, был в Ямках всеми уважаем, как очень богатый человек.

Каков был источник того богатства?... И что постоянно его приумножало? Никто не задавался такими вопросами, никого не тревожило, что богатство вообще у Чухонова было.

Временами, то чаще, то реже, Тимофей Чухонов, то надолго, то на короткое время, отлучался, и пока отсутствовал, поручал управление домом и лавкой своей единственной дочери Наниле, поскольку госпожа Чухонова, опекаемая дочерью и мужем, занималась только домашним хозяйством и не вмешивалась в личные дела Нанилы, а ещё того менее в торговые интересы мужа.

Приказчик должен был также присматривать за четвёркой тучных рысаков, за *тарантасом* и санями Чухонова. Это вызывало постоянные стычки между Ромеком и пьяным *кучером*, который рад был выменивать овёс и сено на горилку в *кабаке*.

Словом, бедолага Ромек тащил на своих плечах целый воз тяжёлых и разнородных обязанностей, из коих самой неприятной было, пожалуй, участие в воскресных приёмах у Чухонова. С раннего утра отворяли *горницу*, запертую всю неделю, и окуривали её амброй.

После молебна в церкви в дом лавочника сходились: поп, дьяк, *голова* волости, *акцизный надзиратель*, отставной прапорщик, глава водочной монополии, словом, все, кто поважнее, с жёнами и детьми.

Почётное место на диване занимали поп и попадья. Перед диваном, у большого круглого стола рассаживались кто постарше, а молодёжь обоего пола размещалась по углам, кто где смог. Женщины, смешно разодетые, в ярких канаусовых, необыкновенно широких платьях, натянутых на гигантские кринолины. Замужние надевали кокошники, расшитые разноцветными бусами и вышитые золотой нитью, светловолосые девицы, чтобы утолстить свои косы, вплетали в них пеньку, шатенкам и брюнеткам для этого служил конский волос.

Две служанки вносят чай, сладости и *сайки*, и ставят всё это на круглом столе перед диваном. Каждый гость берёт чашку чая и большой кусок сахара из деревянной миски, раскрашенной золотыми цветами по красному.

Попив чая, *голова* заводит разговор о недавно произошедших в волости кражах и о сложностях раскрытия виновных. Писарь, вздыхая, поддакивает *голове* и к его трудностям добавляет свои весьма веские соображения. Акцизник высказывает подозрение, что в его департаменте происходят злоупотребления, но он надеется скоро их разоблачить, он уже нащупал след…

При этих словах он искоса поглядывает на представителя водочной монополии, который опускает глаза и громко кашляет, чтобы придать себе уверенность.

Беседа, начатая с таких опасных тем, течёт с ленцой, прерывается, течёт дальше… Около главного стола слышно только

попыхивание трубок… Из углов *горницы* долетают шёпотки и приглушённый хохот молодёжи.

После распития положенных сибирским этикетом трёх чашек чая, каждый гость ставит свою чашку дном кверху и кладёт на дно остаток недогрызенного куска сахара; служанки забирают чайные принадлежности, сметают крошки съеденных сладостей и саек, после чего вносят огромные блюда рыбы и мяса, бутылки и рюмки, которые хозяин наполняет по своему усмотрению.

Гости сперва маленькими глоточками попивают любимый напиток, расхваливая его необычайные достоинства.

– Я *в Петербурге* в *гвардейском* клубе не пил водки с таким *вкусом* и ароматом, как у вас, Тимофей Григорьевич Чухонов. Я, *российский* человек, я вам говорю, как есть, – настойчиво твердит отставной *прапорщик*. После чего вызывающим взглядом обводит всё общество и ждёт, не осмелится ли кто перечить. Но все соглашаются с ним, кивая головой. Хозяин гордится, как индюк, и постоянно приглашает:

– Пейте! Пейте! *Господа!*

Гости сразу же опорожняют рюмки. Бутылки пустеют… *Надзиратель* и *прапорщик* берут музыкальные инструменты: балалайку и гитару, и вторят песне, которую затянул дьяк:

Кто живёт,
Тот пьёт,
И – йе, и – йе…
Тот пьёт,
Кто живёт…

И так всё время: *da capo al fine* и *al comincio*.[4]

Сейчас всё общество притопывает и поёт довольно стройным хором. Тем не менее, выделяются и отстают отдельные голоса… В общем, каждый покрикивает по-своему.

Григорьевич Трошин, богач, щёголь, ямской ловелас, гоняет бегающую по *горнице* девицу, пытаясь загнать её в угол и там, заставив креслами, хлопает в ладони, и кричит:

– Тега! Тега! Тега-а-а![5]

Убегающая девица верещит, как будто с неё сдирают кожу… Поминутно оборачивается к Григорьевичу Трошину, показывает *фиги* и подражает мычанию коровы:

– Му! Му-у! Му-у-у-у!...

Среди этого гулящего и простецкого сборища выделяется Нанила Чухонова, деликатной красотой и одеждой, подобранной со вкусом. Она одета в голубое платье из китайской ткани, щедро украшенная мехом белой *летяги*[6]. На руках и на шее – бирюза, светлые волосы заплетены в две толстые косы, но без всяких искусственных дополнений. В этом наряде она действительно очень хороша. Не пьёт, не участвует в побегушках девчат, не отвечает на пылкие и щекотливые комплименты Григорьевича Трошина, а всё время оборачивается к Ромеку, погруженному в печальную думу:

– Не едите, не пьёте?!... Роман Карлович.

– Спасибо, я не голоден, напитков по наказу лекаря не употребляю, – отвечает Ромек. – А до развлечений я, изгнанник, не охоч. Не удивляйтесь…

– Я не удивляюсь, – шепчет девушка, – только мне вас жаль, Роман Карлович.

Тем временем веселье доходит до кульминации. Уже никто не пьёт, никто не разговаривает, все стараются перекричать друг друга.

Прапорщик всё время рассказывает *о гвардейском клубе в Петербурге*, но слушателя не находит; акцизный бренчит на балалайке и притопывает. Крики «Тега! Тега! – Му! Му-у!» тонут во взрывах бессмысленного пьяного смеха.

– Ах, как хорошо! славное веселье! – вздыхает попадья и, хотя в левой руке держит большой, украшенный кружевами платок, пальцами правой утирает нос, а ладонями – слёзы, что катятся по толстым щекам.

Около своей ублаготворённой половины поп храпит на диване, дьяк и *голова* дремлют на креслах. Хозяин, «руки в боки», гладит бороду, снял бархатную шапочку, которую всегда носит надвинутой на самые брови, чтобы скрыть клеймо каторжника на лбу, еле держась на ногах, ходит по *горнице* и, как эхо, вторит попадье:

– Хорошее веселье! Хорошее!

Тут возникает Емельяшка, шустрый дедок, наушник Чухонова и его резидент. Он входит в *горницу* только когда все гости пьяны «до умопомрачения».

Ступает тихой кошачьей походкой, бьёт поклоны перед лавочником и бормочет нищенскую присказку:

– Батюшки! Матушки! Сотворите святую милость!

Чухонов считает это верхом остроумия. Взрывается хохотом, похожим на ржание старого жеребца:

– На вот и тебе! Прими и ты! – и вручает деду бутылку горилки.

Емельяшка хватает ценный подарок.

– Низко кланяюсь! Благодарствую, *Ваше Превосходительство*, – бормочет дед, любовно прижимая бутылку к груди, и исчезает.

К утру девки-служанки поднимают с пола погружённых в глубокий сон сановников, укладывают их на воз, который должен запрягать и везти бедный Ромек, поскольку *кучер* по примеру своих кормильцев спит себе и добудиться его невозможно.

Только самые младшие девчата трезвы и прощаются с Нанилой, ибо Чухоновы тоже уже храпят в своей спальне, причём, согласно сибирскому этикету, гостям положено благодарить, перечисляя все блюда и напитки, поданные гостям, и даже все приправы, что были на столе. Они и говорят:

– Спасибо вам, Меланья Игнатьевна, и вам, Тимофей Васильевич, и вам, Нанила Тимофеевна, спасибо за чай, сахар и арак, за сладости и сайки, за пирожки, за рыбу, мясо и водку, за кедровые орешки, покорно благодарим и низко кланяемся.

Наступает время отбивать поклоны.

Нанила тоже кланяется уходящим и приглашает:

– Покорно просим, приходите в воскресенье в наш дом.

Измученный бессонницей, а более всего сценами, свидетелями коих он был, Ромек точно на рассвете должен отворить лавку и встать за прилавок.

* * *

Нанила влюбилась в *приказчика*.

Девица неустанно «штурмовала» его сердце и мысли, чем возбуждала неприязнь, а не ответную любовь у человека воспитанного, деликатного и чувствительного, каким был Ромек.

Исчерпав все способы пробудить желанную любовь, она сама призналась ему, что его любит и предлагает пожениться.

Ромек за любовь и доверие благодарит, но сразу же отказывается очень тактично, но решительно:

– Ну где бы, – говорит Ромек, – такой богач, как Тимофей Васильевич, отдал свою единственную дочь бедному *приказчику*?...

– Еть! – с издёвкой смеётся Нанила, показывает белые зубки. – Кто бы ещё обращал внимание на старого медведя! Тоже ещё! убежим, и баста! Поедем в Париж и поженимся в Па-ри-же! – называя столицу над Сеной, выговаривает по слогам, внимательно следя, какое впечатление производит это новое предложение на её возлюбленного.

– Ты хочешь поехать в Париж, Нанила Тимофеевна? – удивляется Ромек. – А где деньги на дорогу?

– Ох! С деньгами хлопот всего меньше! – легкомысленно пожимает плечами девица.

Через несколько дней после этого разговора Нанила предлагает, чтобы Ромек понёс за ней угощение, которое мать испекла для попадьи.

– Вот Прасковья, всегда ей что-нибудь глупое втемяшится в голову! – бурчит лавочник. – *Приказчик* должен распаковывать ящики с товаром. Для него в лавке работы хватает, не для того он здесь, чтоб за тобой угощения носить.

Нанила нахмурилась, кажется, она сейчас заплачет, опускает глаза и вкрадчиво говорит:

– Прасковья шьёт мне юбку на воскресенье… У меня и так юбок не хватает… Корзины с угощениями понесу сама, надорвусь и заболею…

– *Тихо! Тихо! Миленькая!* Сколько тебе надо юбок? Две… три… десять… Ну! Говори, будь хорошенькой, сколько захочешь. Только о болезни не поминай, чтоб на недобрый час не пришлось! – кричит лавочник, снимает шапку, крестится, бьёт поклоны перед иконами, причём сплёвывает, чтобы отогнать «недобрый час» и, наконец, говорит:

– Роман Карлович! Берите угощение и идите с Богом! Долго не валандайтесь!

Пошли. Отдали попадье угощение. Нанила не приняла приглашение, а приказала Ромеку, чтобы шёл за ней, но с дороги свернула в лес.

Какое-то время он шёл послушно, но потом робко упомянул, что Тимофей Васильевич велел возвращаться побыстрее.

– Не отцу моему, а мне будешь ты служить отныне, Роман Карлович! Говорю вам, идите за мной! – крикнула Нанила.

Она была необычайно возбуждена и очень хороша в таком возбуждении. Заинтригованный, немного встревоженный, Роман шёл за ней и, впрочем, что ему оставалось делать?

В тёмном бору Нанила провела его на светлую полянку, позолоченную солнцем. Бежала быстро, топча белые звёздочки ромашки, лиловые душистые ирисы, пурпурные жарки, кустики голубых незабудок и пушистую зелёную траву…

И снова свернули они в густой бор, где не было ни дороги, ни тропок, никаких людских следов.

С трудом пробрались через чащобу.

Она отгибала колючие ветки и шла, не оглядываясь на него, а только приказывая:

– Иди за мной!

И он шёл… Со склона плавного холма спустились в тенистую долину… По скалистому дну шумливо текла речушка…

Шли вдоль её берега.

Он – за ней…

Она зажгла фонарь… При мигающем свете он увидел грот, полный огромных камней и небольших обломков гранита… Вдруг девица исчезла в какой-то пропасти. Через некоторое время, которое Роману показалось очень долгим, она вновь появилась, держа в руках железную шкатулку… Открыла её ключиком, который носила на шее, вынула из неё другую деревянную, а из этой – кожаный мешочек… Развязав его, изумлённому Ромеку показала толстую пачку банкнот…

– Вот на что я повезу тебя в Париж, Роман Карлович, вот! Здесь хватит, чтобы днём есть и пить, а по ночам гулять…

Закрыла шкатулку… Стократное эхо повторило этот звук. Видимо, в скале была целая цепь пещер… Велела ему вытащить один из валунов, повернуть его… Рычагом уверенно приподняла квадрат, так искусно и потайно спаянный с глыбой гранита, что самый внимательный, зоркий, но не предупреждённый взор не смог бы его приметить. Из глубокого отверстия гранитной глыбы достала железную коробочку…

– И это мы тоже возьмём, – в деньгах у нас никогда недостатка не будет… Смотри, что тут есть…

В коробочке были краски, тоненькие кисточки, немного металлических букв, некоторые из коих были сложены в слова.

ОДИН РУБЛЬ…
ПЯТЬ РУБЛЕЙ.

Из других букв можно было сложить слова, обычные для печатных банкнот…

Роман тут же сообразил: так называемый лавочник, Тимофей Васильевич Чухонов, был фальшивомонетчиком, который во время своих отлучек в далёкие околицы покупал меха, сушёную рыбу и всяческие товары для своей лавки.

– Всполошится старый Тимофей Васильевич, когда мы скроемся, и он своих сокровищ и машины для их выработки не найдёт!... Конечно, перво-наперво сюда побежит, как только обнаружится наш побег. Думал, что навсегда у него останусь, – старая скотина! *Сволочь!*...

Нанила торопила с побегом, на который Роман притворно согласился. А в первую же ночь, бурную и тёмную, убежал сам. Взял с собой несколько рублей, заработанных кровной работой, взял несколько кусков хлеба, которые откладывал из выделенных ему порций, и отправился в неизвестность в безмерные пустынные просторы. Потерял ключик от часов, потерял счёт времени, не раз засыпал в какой-нибудь яме, в сухой листве, в которую зарывался, не зная, как долго проспал. Может, сутки?... Может, двое… трое?… Закончился и запас хлеба, износилась обувь, потерял шапку, одежда висела на нём лохмотьями, он бежал далее… Вдруг начали меркнуть отвага, надежда и уверенность…

Пришёл он в себя вблизи от Байкала, в *постоялом доме*[7] волости Куртук[8].

То, что показалось Роману пробуждением, на самом деле было выздоровлением после тяжёлой опасной болезни.

Кто и где его обнаружил, – не знал. Он обрёл физическое здоровье, но умственные способности бедняги притупились… Он казался здоровым, сильным, но вдруг впадал в обморочное

состояние, потом в буйство… Срывался с места, хотел спрятаться, бежать с криком:

– Один! Пять!

Братья-поселенцы взяли над ним опеку и выправили медицинское свидетельство, что он *сумасшедший*. Отвезли Ромека в Беларусь и передали матери.

Помрачения разума были преходящи. При хорошем лечении и материнской заботе его умственные способности восстановились полностью, только весёлость покинула его навсегда…

В Галиче я получил от него неимоверно печальное письмо, а после смерти матери – просто безнадёжное. Он очень печалился, что некому оставить состояние.

«– Женись, Ромек! Наши женщины такие добрые, такие верные подруги жизни, – советовал я ему в одном письме. – Женись!...

……

… – В красоте панны Гелены, в её обществе я нуждаюсь всё больше! Нечего больше сказать!... Братья! Я в Геленку влюбился по уши!... Каждый день, хотя бы на пару минут, заглядываю в О. …

… Вчера признания и просьбы моего встревоженного сердца срывались с моих уст… Я уже протянул, было, руки к ней, чтобы просить: пойдём со мной! Тернистым жизненным путём, пойдём со мной, дорогая!... Вдруг в мозгу у меня промелькнуло страшное воспоминание: я вспомнил о моём безумии. То было минутное помутнение, это правда! Но что будет, если повторится? Если от моей любимой жены вдруг сбегу и страшным голосом безумного начну выть…

– Один! Пять!... Один! Пять!...

Что тогда?

Нет, такой несчастный, как я, не имеет права связывать с собой любимую женщину… Не имеет права создавать семью… Бог сохранил меня и её… Под каким-то пустяковым предлогом я попрощался с Геленой и, положив руку на изображение Распятого, поклялся, что ноги моей больше не будет в О.

Плохой совет дали вы мне, братья… Такой несчастный, как я, не имеет права жениться.

Роман».

«И всё же…»

Одного из побеждённых в 1863 году, Ольгерда Малькевича, судьба загнала в местечко Колымка в Сибири. Не сочувствующий польским поселенцам *старшина* (сельский староста) поместил его в тёмном предбаннике так называемой «чёрной бани», то есть бани, предназначенной для прокажённых.

В этом «убежище» Ольгерд не мог, конечно, поселиться навсегда. Он собственноручно выкопал глубокий дол, над ним насыпал холмик и переселился в эту яму. Куском войлока закрыл входное отверстие; гладкие пластины льда, вставленные в отверстие, заменяли окна. Питался он рыбами, которых сам ловил удочкой в Иртыше, и дичью, которая попадала в его силки, поскольку ему строго-настрого запрещалось иметь оружие.

А когда морозы сковали льдом Иртыш, когда метель надула снежные насыпи высотой в несколько локтей, Ольгерд жил лишь одним чаем и лепёшками, которые сам себе выпекал. Сам приносил себе дрова из леса и воду из ближайшего колодца, долгие зимние вечера проводил при свете лучины, а когда она угасала, сидел в темноте.

Хотя каждый его шаг зорко стерегли, Ольгерду удалось снискать сочувствие соседей, причём он не прилагал к тому никаких усилий.

При покупке чая и соломы для постели с него спрашивали цену в десять раз выше обычной, и он, не торгуясь, платил. На грубые придирки не обращал внимания, если спрашивал, вежливо раскланивался и отвечал на том народном диалекте, которому обучился в омском батальоне. В конце концов, жители Колымки начали говорить о нём:

– Чёрт его знает, может быть, он ничего себе человек? Чёрт его знает!

Как-то в *землянку* Ольгерда явился *старшина*.

– Вот я пришёл к тебе в гости, – говорит, – представь себе, какая честь для тебя… Я, наивысший урядник в Колымке, зашёл к тебе, который сидит тут, как самый последний червяк.

– Я не последний червяк, – с достоинством ответил Ольгерд. – Господь Бог дал мне и вам одинаковые бессмертные души, и потому мы с вами равны, Митрий Степаныч.

– Как это равны! – крикнул оскорблённый *старшина*. – Я урядник, а ты – *поселенец*.

– Сегодняшний поселенец может завтра занять самую высокую должность.

Мужик «остыл», снял меховую шапку и скромно сказал:

– Правда ваша! Батюшка-царь всё может, что милостиво пожелает. Но не будем спорить, я к вам, Ольгерд Степанович, пришёл с добром, пригласить, чтобы вы пришли с вашей поющей коробкой в мой дом в воскресенье на *девичник*.[9]

Малькевич был известным скрипачом. В те тяжёлые дни, что он провёл в Колымке, музыка была для него единственной утехой, единым развлечением. Играл он громко и не ведал, что около его *землянки* собирались, обычно, многочисленные слушатели.

* * *

Когда в означенный день Ольгерд со своим «поющим ящиком» зашёл в дом *старшины*, он уже застал там всех участников *девичника*. Из *горницы* унесена была мебель, на полу красные ковры, стены увешены образами святых чудотворцев и покровителей, в окладах из посеребренной или позолоченной латуни, усеянных сибирскими самоцветами. Перед каждым образом с потолка свисали на цепочках пылающие серебряные лампады, в больших серебряных канделябрах горели тонкие восковые свечки.

Женщины одеты были в шёлковые платья кричащих цветов. Мужчины – в длинных кафтанах, обшитых полосками чёрного плюща, вышитыми разноцветными цветами и узорами. Волостные начальники, *старшина* и волостной писарь держали в руках грубые меховые перчатки, как знак особого достоинства.

Посреди комнаты стоял стол, накрытый скатертью. За ним, на лавках, накрытых коврами, сидели так называемые «распорядители свадьбы»: *тысячный*, бояре, старшие и младшие, «свадебные родичи» в окружении подруг и приятельниц невесты. В конце стола под образом Николая Чудотворца, укрытое ковром возвышение, а на нём – кресло, также с ковровым покрытием. Свадебные обряды начались с шуток.

Дружки спрятали жениха в самый тёмный угол *горницы*, а невеста, Наташа Митревна, сидела на возвышении.

Сначала первая подруга, расплетая Наташину косу, завела песню, которую однообразно и уныло подхватили хором все девчата:

Не будешь больше с нами плясать,
Наташа, не будешь,
Ни играть в разлуки[10]
Не будешь,
Ни венки в Иртыш кидать
Не станешь,
Ни за девичьим столом
Не сядешь.

Наташа подхватила, запела «в нос», *parlando*[11]:

Не стану я с вами плясать,
Не стану,
Ни играть в разлуки
Не буду,
Ни венки в Иртыш бросать
Не стану
И за девичьим столом
Не сяду.

Подруги вновь запели:

Снимут с тебя, несчастной, веночек,
Головку платком повяжут.
И веночка твоего не воротят.
Если спал с головы, так на все времена.

Наташа отвечала:

Снимут с моей головы веночек… и т.д.

Такое пение длилось очень долго. Тем временем свадебные гости утешались горилкой.

Когда Наташа Митревна так горевала, что ей предстоит утратить «девичий веночек», двери соседней комнаты с грохотом отворились, и в *горницу* влетел румяный шестилетний бутуз, который непринуждённо подошёл к возвышению.

Жених и его дружки пытаются задержать бутуза:

– Куда лезешь, Егорка? *Пошёл вон!*

– Не троньте, – энергично обороняется малец и кричит:

– *Мамаша! Мамаша!* Иди быстро покорми Татьянку, а то верещит, будто с неё шкуру сдирают.

Мамаша, то есть Наталья Митревна, сходит с возвышения и, не спеша, стуча высокими каблучками лакированных ботинок, забирает с собой Егорку и скрывается за дверью.

– *Вот красавица!* Как ступит, так аж пол трещит! *Вот красавица!* – чмокают мужчины, жадными взглядами провожая уходящую.

– И сколько же пудов весит ваша доченька, Митрий Степаныч? – спрашивает кто-то.

Старшина усмехается, светясь от отеческой гордости:

– Шесть пудов, – отвечает.

– А то и больше, – подсказывают друзья, – а то и больше.

– Да и пяти пудов не весит Наташа Митревна, – кричит какой-то «оппонент».

Начинается спор, разгорается, уже мелькают стиснутые кулаки… вот… вот… начнётся драка… к счастью, возвращается героиня спора… садится на возвышение, и снова начинается пение, расплетание косы, и звучат скорбные слова по поводу утраты «девичьего венка».

Следует добавить, что девица может не однажды стать матерью, причём всякий раз от какой-нибудь мимолётной связи, но, несмотря на это, не утрачивает положения и наименования девицы, пока не вступит в освящённый церковью брак.

После угощения и обильных возлияний начинается беседа, в которой в роли хозяев выступают *бояре*, *тысячный* и «свадебные родичи». Во время беседы девушки воспевают под предводительством старшей подруги похвальные гимны в честь самых богатых гостей, которым положено отблагодарить певуний за дифирамбы щедрым воздаянием деньгами. Собранная сумма делится между невестой и подругами.

Девичник кончается *бычком*. Это любимый танец сибирских крестьян. Все становятся парами и, стоя на месте, сильно притопывают под треньканье балалайки. Потом пары расходятся по комнате.

Ольгерд не играл во время девичьей вечеринки.

Но на свадебный обряд его опять пригласили.

Он пошёл.

Перед свадьбой у сибирских крестьян принято благословение. Наречённые падают на пол *горницы*. Лежащим кладут на плечи образы чудотворцев, ставят зажжённые свечи, «свадебные родичи» произносят над ними благословение и молитвы, после чего все отправляются в церковь. Интересно отметить, что благословляют не настоящие родители, а «свадебные», люди совершенно посторонние, чаще всего самые состоятельные соседи.

Во время шествия в церковь Ольгерд Малькевич сопровождал кортеж и играл свадебный марш Мендельсона-Бартольди, который вызвал истинный восторг.

Трое суток длились свадебные торжества и закончились тем, что участники празднества бегали и ездили по улицам деревни, распевая непристойные кабацкие песни, сопровождая их выстрелами.

* * *

После этого праздника, на котором Ольгерд познакомился со всеми жителями Колымки и снискал их расположение, участь поселенца намного улучшилась.

Старшина дал ему хатку, правда, весьма повреждённую, без пола, окон и двери, но при неустанной работе и при помощи небольших денег Ольгерд устроил себе в ней такую избу, которая после его *землянки* казалась ему роскошными апартаментами. Необходимую утварь он обтесал и вырезал собственноручно.

Хата, названная *пустынькой*, стояла за деревней, вдали от криков, проклятий, от беспрестанной шумной мельтешни, обычной при сборищах сибирских крестьян. Сперва к Малькевичу заглядывали местные красавицы. Но, убедившись, что их настойчивый приступ наталкивается на его ледяную вежливость, перестали забегать.

Зато часто заходил к Ольгерду *старшина*. Просил у него совета в разных делах, просил помочь в составлении служебных рапортов. В благодарность за любезность, с которой поселенец выполнял все его просьбы, Митрий Степаныч одалживал ему своё личное ружьё, всякий раз, когда тот хотел поохотиться. А поскольку Ольгерд был страстным охотником и прекрасным стрелком, это стало для него излюбленным развлечением, особенно после того, как он подстрелил несколько лосей.

Кроме *старшины*, чаще всего наведывался к Ольгерду некий Андрюшка, бывший солдат, крепкий, сухощавый, сильный старик. Он любил хвалиться, что много раз вдоль и поперёк прошёл через всю Сибирь, что знает такие гостиницы, куда приезжают генералы в роскошных поездах, и такие тропы, по которым в недоступных тайгах пробираются к лежбищам и водопою только дикие звери.

В долгие зимние вечера Андрюшка являлся часто без приглашения, наливал себе чай, не спросившись, жадно поедал Ольгердовы запасы, и, глядя на огонь… размышлял… размышлял… размышлял.

Как-то неожиданно спросил Ольгерда:

– За сколько *дён* ты дошёл бы до своей земли?

– Сколько *дён*, – спросил, дед, за сколько месяцев и даже за сколько лет?...

Дед кивал головой, жмурился, словно размышлял о чём-то, думал, взвешивал, и вдруг, наклонившись к Малькевичу, шепнул:

– Убегай в свою *землю*, Ольгерд Стефанович! Я столько уж *несчастных* вывел с каторги… Я тебя тоже провожу до *Европы*, или в монгольские *степи*, или к тёплому Чёрному морю… А оттуда до Цареграда уже сам доберёшься, а мне скажешь: «Вот тебе половина серебром, старый гриб!».

– Не неси околесицу, дед, – ответил Малькевич с притворным гневом, потому что предложение побега всколыхнуло его до глубины души.

Дед поднялся, опираясь на свой посох, поглядел на Ольгерда вроде бы с укором, и вышел из хаты, слова не вымолвив.

Потом не показывался несколько дней, после чего вновь стал заходить ежедневно. Искра, заронённая в сердце Ольгерда, тлела… Андрюшка умело её разжигал… Обещаниями лёгкого побега

искушал молодого человека, искушал, так что, в конце концов, склонил его к своим планам…

Когда весна отправила на землю золотистые и тёплые проблески, живительные запахи, когда Иртыш освободился ото льдов, когда деревья покрылись листьями, зазеленела трава, а тайга зацвела буйно зарослью, они двинулись…

Кроме денег, Ольгерд оставил в хате всё своё имущество. По совету Андрюшки написал *старшине* письмо, что, решив покончить счёты с жизнью, ищет покоя на дне Иртыша. Это письмо он положил на самое видное место, на столе, прижав камнем, хату запер, ключ бросил в избу через разбитое стекло, – и пошли…

Андрюшка вёл юношу тропами, по которым от сотворения мира, наверное, не ступала нога человека.

На вопрос, куда идём, Андрюшка, таинственно усмехаясь, отвечал:

– Увидишь!

Питались запасами, предусмотрительно взятыми из Колымки. Воду для чая находили в чистейших ручейках, текущих среди душистых ирисов и голубых незабудок… Когда Ольгерд жаловался на слишком долгие постои, дед его урезонивал:

– Ох, ты и шустрый, Ольгерд Стефанович, хочешь идти без отдыха? Хочешь за пару *дён* копыта откинуть?

Ольгерд вынужден был признать правоту деда, готовясь к долгому пути, надо было беречь силы. Ночи проводили под сенью тонких, голубоватых ветвей, на подстилке из мягкого мха и благоухающих цветов, около костра, который должен был отпугнуть от них диких зверей. И чем больше удалялись от Колымки, тем веселее становились оба. У Ольгерда как бы крылья вырастали на плечах…

Как-то поздно, уже ночью, Ольгерд проснулся… Душистый ветерок легко касался его лица… Лучи молодого месяца серебрили нежные кружева ветвей, огонь пылал жарко, было так хорошо, так удобно. Прикрыв глаза, он предался мечтам…

Мечтал о встрече с семьёй, о свободе, о возможности закончить обучение, начатое в Центральной Школе в Париже, мечтал в полусне, полуяви…

Вдруг услышал, что Андрюшка, который храпел минутой назад, проснулся и ползёт к нему, наклоняется, всматривается в него,

а потом, понемножку, осторожно, пытается ощупывать его бока и грудь, пока костистые пальцы деда не коснулись места, где были зашиты деньги, и так и впились в них… Андрюшка начал громко и тяжко сопеть. Ольгерд сразу же будто проснулся и рывком встал на ноги.

– Что случилось? – крикнул, как бы ещё не придя в себя, протирая глаза. – Что случилось, дед?

– Ать! – махнул рукой Андрюшка. – Что-то рыкнуло, как лось, я и проснулся. Думал, это дикие звери, или душат призраки, и поспешил к тебе на помощь.

– Спасибо вам, дед, спите спокойно, я уже проснулся, – сказал Ольгерд, подшевелил костёр, сел около него, и просидел так до утра.

Страшное подозрение обуревало его… В тайге их было только двое. Андрюшка знал все её тайники, а Ольгерд – нет. Дед за голенищем сапога носил длинный и острый нож, у Ольгерда – никакого оружия. Но в жилете у него были зашиты двести рублей, которые дед и хотел у него отнять.

«Прежде всего, – решил Ольгерд, – надо удостовериться в своих подозрениях…».

Но – как?

In vino veritas[12], – пришла на ум старая поговорка. Вина у него не было, но имелась большая фляга горилки, которую он до сих пор от Андрюшки скрывал.

Следующим вечером он вытянул её из узелка.

– *Давай!* – крикнул дед, и дрожащими от нетерпения руками тянулся к фляге, которую опорожнил одним духом.

– А вот тебе! Теперь ты лакай! – смеялся он, кинув пустую фляжку в заросли.

Ольгерд очень осторожно начал разговор на заданную тему. Разморённый горилкой, Андрюшка разоткровенничался. И во всех подробностях рассказал, сколько уж *несчастных* с каторги или с поселения вывел в тайгу, где их *улюлюкал*, «пока не уснули на веки вечные».

– А почему ты так делал, дед? – спросил Ольгерд. – Или у этих *несчастных* деньги были?

– Ни чёрта у них не было! – презрительно сплюнул Андрюшка. – Иногда горстка медных копеек.

– Так зачем ты их *улюлюкал*, дед?

– Зачем?... Так ведь у каждого были обутки, а ещё какая-никакая одёжка на грешном теле. *Обутки*, видишь ли, вещь лакомая и дорогая, а за них от *жида паршивого* пять копеек получишь… Потому что, знаешь, молокосос, такой порядок на том свете: господь Бог одним дал *денег* в дорогу, а другим – разум и сильный кулак… Может, схватимся «на кулаки»? А? Что? Панночек? *Шляхтичек, собачья кость, политический преступник?*

– Завтра, дед, завтра, дед, померяемся силой, а сейчас попей ещё водки.

– Твоя правда, *шляхтичек*, давай!

Сделал большой глоток, забормотал что-то невразумительное и с бутылкой, нежно прижатой к груди, медленно соскользнул на землю.

Ольгерд тотчас же вытащил у него нож из голенища, загасил огонь и – сбежал!

После нескольких дней форсированных маршей, без особых происшествий, Малькевич к несказанной своей радости увидел степь.

Гостеприимно принятый в киргизских юртах, он постепенно добрался-таки до Омска.

А там просто пошёл к коменданту батальона, с которым недавно служил. Рассказал ему всю правду, слегка завуалированную, поскольку за попытку побега из Сибири грозит каторга. А потом, стараниями семьи, Малькевич получил эмигрантский паспорт.

В 1885 году мы встретились в чешских Теплицах. Рассказав своё приключение, Малькевич подвёл итог:

– Плохо нам, Полякам, на каторге, плохо в войсках, не лучше на поселении, и всё же… никому бы не посоветовал бежать из Сибири… Такая игра идёт по самой высокой ставке: на жизнь…

Суанго

Работа с *алебастром* считалась одной из лучших и самой лёгкой из тех, на которой в омском остроге[13] использовали нас, каторжан, так называемых *чернорабочих*, то есть не обученных никакому ремеслу.

Алебастр состоял в ведении инженерного отдела. А инженеры, как люди более или менее образованные и культурные, были доброжелательны к политическим преступникам, особенно к шляхте. Поэтому нас, Поляков, и писателя Фёдора Достоевского постоянно использовали на работах с *алебастром*.

На самом берегу Иртыша, в помещении, построенном для этой цели, мы обжигали и толкли алебастр под надзором опытного в этом деле работника, Андрея Алмазова.

При разжигании огня, загрузке печи и выгрузке из неё обожжённого алебастра было достаточно мороки и каждый из нас заданную работу выполнял молча. Как только обожжённый алебастр пересыпали в ящики, каждый хватал свой ящик и молот и тут уже при разбивании алебастровых глыб начинались разговоры.

Между нами и Фёдором Достоевским разговоры всегда носили политический характер. Начинали спокойно с обмена мнений по вопросам более или менее безразличным для нас и для него, но очень скоро переходили к острой политике не на шутку, потом и к страстным спорам. Слова, быстрые, как пули, летели под аккомпанемент молодецких ударов молотов, из-под которых неслась пыль и реяла в воздухе, наполняя всё помещение будто миллиардами белых, блестящих крылатых насекомых.

При подобных запальчивых схватках, при бурлении крови и возбуждённых нервов, мы лупили молотами с таким размахом, что наш инструктор и дозорный Андрей Алмазов, неплохой человек, кричал:

– Легче! *Ребята!* Легче!

И часто предлагал нам отдых раньше положенного времени. Мы тотчас же бросали молоты, прерывали споры и, зимой и летом, выходили перед сараем.

Ибо в любой поре там и воздух был чистый, и полная тишина, которая при всегдашних суматохе и шуме, царящих в нашем остроге, действовали на нас успокаивающе.

На другом берегу Иртыша, на протяжении 1500 вёрст, пролегла степь, пестревшая только редкими юртами кочующих киргизов.

С каким восторгом глаза наши, утомлённые однообразием и теснотой тюрьмы, свободно блуждали по этим просторам, зимой ослепляющим белизной, но унылым, а летом вызолоченным солнечными лучами.

К воле, свободе, движению, к жизни стремились наши сердца, туда, где глаза улавливали высоко парящих *карагашей*[14].

– Пора на обед! Время! – из чудного края мечтаний на безрадостную землю изгнания и казней вырвал нас голос Алмазова, который, хотя и простак, но чувства наши, очевидно, угадывал, поскольку, глядя на нас, кивал головой и одновременно насмешливо и сочувственно шептал:

– На воле вы жить не умели, а теперь вам муторно! Ой, вы, паны… безумцы!...

Иногда на каком-нибудь перекрёстке дороги мы встречались с другой партией возвращающихся с работы каторжников, которые приветствовали нас насмешливым окриком:

– Как работалось, *алебастровые?*

И так, бряцая кандалами, более ста человек тесной ватагой, под конвоем солдат с заряжённым оружием, возвращались в Омск.

Мы же, *алебастровые,* чаще всего возвращались только с Алмазовым и одним конвойным солдатом.

Как-то в слякотный и холодный осенний день в наш сарай вошёл пёс. Несмело остановился у ворот и, поскуливая, сообщил о своём присутствии, которое мы, увлечённые каким-то политическим спором, заметили только когда Алмазов из-за печи, около которой грелся, потревоженный страшными ударами молотов, сказал своё обычное:

– Легче! *Ребята!* Легче!

Фёдор Достоевский, который очень любил животных, ещё опечаленный трагичной участью своего воспитанника и любимца Культяпки, первым увидел гостя и ласково его подозвал.

Пёс приблизился к нам.

Он был страшно худой, под мокрой, взлохмаченной шерстью неопределённого цвета торчали кости. Видимо, он очень ослаб. С трудом передвигал ноги, скорее полз, чем шёл. Когда Достоевский его приласкал, он прижался к его коленам и взвизгнул от радости.

Обычно мы брали с собой запас хлеба, потому что при коротких днях не возвращались на обед в острог. Так что было чем накормить четверолапого гостя. Достоевский напоил его из какого-то черепка, причём совершенно освоившийся пёс зарылся в охапке соломы, брошенной в конце сарая, и там и заночевал. И с

молчаливого согласия Андрея Алмазова, пока мы работали на алебастре, собака оставалась жить в сарае.

Мы питались за свой счёт (фунт мяса в Омске в наше время стоил зимой один грош, а летом три гроша, причём *кашевары* за 30 копеек в месяц готовили нам очень неплохую еду), так что приблудной собаке мяса хватало. Кормили мы её сытно, «сколько влезет», и шерсть у пса стала пушистой, мягкой, шелковистой, блестящей, цвета, похожего на лисий мех, – пёс был на диво красивым и на диво умным. Мы все его любили, особенно я, поскольку статью, мастью и разумностью необычайно напоминал мне Заграя из моего родительского дома.

Не раз пёс сидел на земле, я – рядом, обнимая его за шею и, крепко прильнув губами к его мохнатой шерсти, скрывал таким образом рыдания, чтоб они не вырвались у меня в голос.

Я уверен, что приблудный пёс отличал меня особо среди других, потому что, когда я нарочно прятался, он обеспокоенно бегал и искал меня среди моих товарищей. Навстречу ко мне выбегал, радостно повизгивая, поднимался и опирался передними лапами в грудь, и готов был облизывать мне лицо. Но я ему не позволял и тихонько отодвигал, тогда он принимался языком тереть мою сермягу с явным увлечением, умильно глядя мне в глаза и помахивая хвостом от удовольствия.

Нашего безымянного приблудного приятеля мы прозвали Суанго, потому что, если Алмазов на него прикрикнет, он всегда прятался в закутке под углом сарая. Угол, уголок, *ангул,* под углом, – от такой сильно притянутой этимологии Суанго и получил своё имя.

Но что делать с Суанго, когда нас переведут на другие работы и сарай с алебастром закроют…

Этот вопрос был предметом наших оживлённых и даже бурных обсуждений. Свидетелем и слушателем этих совещаний бывал Фёдор Достоевский, ибо уважая его присутствие, мы всегда говорили по-русски. Алмазов раз за разом сыпал табак из рога, пыхтел короткой трубкой и, кивая головой и усмехаясь, то ли насмешливо, то ли сочувственно, и глядя на нас, вполголоса заговорил:

– Ой, паны, паны! – и шёпотом договаривал:

– Дурни вы, паны, глупые, глупые!

Наконец, мы сошлись на том, что Суанго ввести в крепость нельзя, потому что там он невдолге мог погибнуть мучительной смертью.

Каторжник Неустроев, по профессии сапожник, всегда получал заказы на месте. Чтобы производство обходилось возможно дешевле, он придумал способ добывать исходное сырьё для изделий, заказанных неприхотливыми клиентами: ловил собак, вешал, обдирал шкуру, которую дубил, а трупы выбрасывал в огромную яму, что находилась в углу, под остроколом нашего острога. Эту яму очень редко опорожняли, и поскольку в неё сбрасывали всякие отходы и нечистоты, то летом из этого «накопителя» исходила невыносимая вонь.

Часто владельцы пропавших собак, особенно породистых, обращались к дежурному офицеру с жалобами на «собаколова» Неустроева.

Тот сразу же становился в позу невиновного и незаслуженно оскорблённого.

– Я шкурки купил у Саломонки, *жида паршивого*, – отвечал, – пусть подтвердят: братан Матфея, Гаврилка, братан Арефьев, – и перечислял сто *братанов*, готовых в любое время при каждом обвинении свидетельствовать в пользу Неустроева. А Саломонка, в самом деле, занимался торговлей краденым, причём он был в постоянных разъездах, так что призвать его на очную ставку с обвиняемым было почти невозможно и Неустроеву всегда удавалось оправдаться от всех предъявленных обвинений.

От рук Неустроева погиб также Культяпка Фёдора Достоевского, который тоже настойчиво возражал против «внедрения» Суанго в крепость. Вслед за ним мы постановили, что до участи нашего четвероногого приятеля, то в крепость мы его не приведём.

А тем временем, как это часто встречается в Омске, расшалился *буран*, который трое суток подряд сносил крепкие каменные постройки, как карточные домики, повырывал с корнем деревья, истребил сады, улицы закидал горами снега, так что дома буквально были засыпаны.

Город выглядел, как вымерший, снесённый с поверхности земли. У кого в кладовых не было запасов, должен был сидеть голодом. Как только снежная буря перетихла, и показался первый

погожий день, целая ватага каторжников из острога отправилась в город.

Вооружённые лопатами, совками и кайлами, мы должны были исправлять повреждения, нанесённые разгулявшимся *бураном*.

Сперва кирками разбивали ледяные горы и смёрзшиеся насыпи снега, расчищая дорогу саням, а потом совками грузили лёд и глыбы на эти сани, после чего откапывали дома, покрытые белым снежным саваном.

Это была кровавая работа, тем более что дозорные постоянно выкрикивали:

– Скорее, ребята! Скорее, – и чтобы заставить нас поспешать, размахивали нагайками над нашими головами.

Поистине, можно было ошалеть от этого крика дозорных при посвисте нагаек и проклятиях доведённых до предела каторжников…

Уже в сумерки мы вернулись в острог после этой работы, превышающей всякие человеческие силы. Когда я вошёл в кухню, за столом уже расселись каторжане, в шапках и коротких кожухах. Некоторые из деревянных кубков пили квас, заедая хлебом. Озябшие, голодные, после целодневного поста, все думали лишь о горячей еде, кричали и бранили неторопливых кухарей.

Меня точно сбили с ног горячий пар, противный запах квашеной капусты и жира… В глазах у меня вдруг потемнело. Силы покинули меня и, потеряв сознание, я рухнул на пол.

После тяжёлого и долгого воспаления лёгких я медленно приходил в себя в больнице омского острога в палате для выздоравливающих.

Из 2557 дней, пережитых в омском остроге, те, что я провёл в больнице, были единственно спокойными, и по сравнению с другими, – хорошими днями. Я роскошествовал, вдыхая чистый воздух большой и опрятно содержащейся комнаты, я наслаждался относительной свободой. Вскоре после короткого зимнего дня, в сумерки в больнице не слышно было никакого движения. Сибирь, Омск, всё исчезло перед моими сонными глазами, и вдруг показалось, что я отдыхаю среди своих под крышей родного дома.

Стократ благословенно будь такое заблуждение!

Но вдруг из какого-то угла избы долетает вздох… стон… кто-то двинулся на топчане… бряцают кандалы… прекрасное заблуждение рассеялось… с возвращением осознания действительности, в душе поднимается бурный протест, бунт против искорёженной моей судьбы.

«Христос, укрепи меня!... Христос, не оставляй меня!... Христос, благослови мою землю, мой дом и всех справедливых людей!...»

Это старичок, старовер, человек удивительно благожелательный и учтивый, которому мы все искренне благоволили, молится так горячо.

– … Христос, укрепи меня!... Христос, благослови мою землю…, – повторяю и я за ним, повторяю бессчётно и, наконец, успокоенный и смирившийся, погружаюсь в глубокий, крепкий сон…

Скоро утро, мы ожидаем посещения врача.

Молодой доктор Борис (не могу простить себе, что фамилия его стёрлась в моей памяти) вообще всех политических преступников и особенно меня тщательно осматривал. Он приносил мне то крепкое вино, то какую-нибудь вкусную и питательную еду. Чтобы не вызывать зависть у других выздоравливающих, говорил:

– Не худой заработок получил пан за расписывание комнат!... Вот как щедро платят за талант! Могу доказать: из этих денег, что лежат для вас в канцелярии плац-майора, писарь Дягилев выдаёт мне субсидии на еду и напитки для Шимона Себастьяновича! Потому что вам, пан, нужно окрепнуть и скорей браться за работу. Казна много тратит на каждую пару рабочих рук!

Импровизируя таким образом, доктор Борис заговорщически усмехается и пожимает мне руку.

Но куда больше чем подарки ценил я беседы с Борисом.

Мы разговаривали по-французски.

Он спрашивал меня об участии Поляков в заговоре декабристов, о движении, за которое я оказался осуждён. Бывал он также желанным послом от братьев-изгнанников и как-то, посмеиваясь, сообщил мне, что безопасность для Суанго обеспечена, так как Достоевский провёл переговоры с Неустроевым, и тот, получив два рубля, словом каторжника поклялся никогда не посягать на жизнь нашего четвероногого любимца.

Как-то в необычной спешке, закутанный в мех, забежал в нашу комнату Борис.

– На секунду заскочил к вам, – обратился ко мне, – из канцелярии губернатора сообщили, что в казачьей станице появилась какая-то очень заразная болезнь, и губернатор Его *Светлость* князь Горчаков велел мне сейчас же отправиться туда. Уезжаю на всю ночь… Вернусь, наверное, завтра, а, может, и через три-четыре дня… Сто сорок вёрст, дорога скользкая, мерзкая, а больных, похоже, целая толпа…

– Но, но, что это я! – продолжил Борис. – Я был также в канцелярии плац-майора и писарь Дягилев поручил мне передать вам вот это… – и подал запечатанный конверт. – Антоныч услужит и купит, что вам понадобится… В общем, в моём отсутствии постарайтесь держаться. Ну! Будьте здоровы! До свиданья, ребятишки!

– Низко кланяемся Вашему Высокоблагородию. Счастливого пути! – кричали выздоравливающие.

Около меня лежал уже выздоравливающий каторжник Ломов. Силач, заводила, огромный детина, о котором в остроге говорили, что он в любую минуту готов убить человека, если бы ценою такого убийства мог купить себе водки.

Когда доктор Борис уже вышел, я распечатал конверт. В нём было три рубля! Я вновь вложил их в конверт и спрятал его под подушку.

Пока я этим занимался, заметил в глазах Ломова какой-то опасный блеск… который тут же погас, но каторжник внимательно следил за каждым моим движением, и вдруг спросил меня о здоровье. Вежливо, но коротко я ответил ему, чрезвычайно удивлённый, что Ломов продолжает попытку продлить разговор со мной, и по моему разумению, не мог найти для того объяснения. Каторжники-бродяги к политическим преступникам, а особенно к нам, Полякам, обращались очень редко, а если и обращались, то с издёвкой, что мы, шляхта, теперь лишены дворянства и «приравнены к мужикам». Но притом заигрывания Ломова я пытался объяснить тем, что, увидев у меня какие-то деньги, он надеется выудить сколько-нибудь на выпивку, или одолжить, разумеется, безвозвратно.

Для себя я решил, что откуплюсь тем или другим, или же и угощением, и «одолжением», если он спросит.

С таким решением и уснул.

Среди ночи будит меня крик… И одновременно впечатление, что около моего лица, углублённого в мягкую подушку, просунулась тяжёлая косматая звериная лапа…

Я протёр глаза, сел на постели и при слабом свете подвешенной к потолку лампады увидел старика-старовера, стоящего посреди комнаты.

– Пятая заповедь Божья: «Не убий!».

– Седьмая заповедь Божья: «Не кради!» – кричал старик, и голос его, обычно тихий, с мягкой, напевной интонацией, теперь гремел сурово и даже грозно.

Ломов же лежал на своём топчане, вытянувшись. Огромное его тело вырисовывалось под лёгким одеялом. Мускулистые руки он подложил под мохнатую голову, косматая грудь дышала быстро… Он притворялся, что спит, и не дрогнул, хотя старовер от середины комнаты подошёл к нему, и около его изголовья повторял: «Не убий!», «Не укради!».

Удивительно, что Ломов вообще не прогнал слабого старичка, может, оттого, что другие выздоравливающие, тоже пробудившись, начали двигаться на своих постелях и с подозрением и любопытством вглядывались в нашу сторону.

После этой сцены я уже не мог заснуть, о чём, впрочем, на следующий день не поминал вслух. Но по комнате кружили тихие шёпотки, глухие бурчания, и недоброжелательные взгляды направлены были на меня.

Антоныч, бывший каторжник, всё время около меня крутился, предлагал разные услуги и «пойти за покупками».

Я за всё благодарил. Прошлая ночь в высшей степени расстроила мои нервы, а притом ещё поступило известие, что в казацкой *станице* сильно распространилась болезнь, и что доктор Борис вернётся не скоро.

Начальство велело заменить отсутствующего лекаря в тюремной больнице фельдшером. Назначенный плац-майором, фельдшер вступил с большим апломбом, шумом и торжественностью, красный и надутый, как индюк, он, былой каторжник, клеймённый по обеим щекам, разыгрывал из себя лекаря.

Криминальные преступники вообще считали острог чем-то вроде клуба, а каторжников – товарищами, всегда готовыми к «драке и

выпивке», а также к содействию в побеге, лишь бы сил хватило. Бывших и нынешних каторжников связывала некая симпатия, а также соучастие в преступлениях. Клички *братан, наш брат*, которыми они именовали себя, не были, на самом деле, пустыми словами.

И так между фельдшером, Ломовым и служкой Антонычем сразу же возникло взаимопонимание.

Когда фельдшер вместе с Антонычем обошёл все кровати, с комичной важностью предписывая больным их обычные лекарства, мой сосед Ломов поднялся со своего топчана. И эти трое, достойные друг друга товарищи, удалились в глубокую фрамугу, в самом конце комнаты, заслонённую огромной печью. Там они долго шептались, спорили, временами посмеиваясь и, наконец, ударили по рукам, как купцы, закончившие торг или взаимовыгодный договор.

Расстались они в весёлом расположении духа, приговаривая:

– В равных долях! В равных долях!

Тяжёлая, угнетающая атмосфера повисла в комнате выздоравливающих.

Старовер тихо молился, но всякий раз грозно повторял:

– Не убий!... Не укради!

Как бы в ответ на это, Ломов сплюнул сквозь зубы в сторону старовера и, намекая на маленький рост старичка, кинул: *«Собачий огрызок!»* – чем рассмешил всю комнату.

На ужин из кухни прислали овсяную кашу. Мне же Антоныч особо принёс молока.

Когда я брал от него мисочку, то заметил, что хмурый Ломов вперил меня пронзительный взгляд. Я приписал это его желанию, чтобы я поделился с ним молоком.

– А вот и нет! Нет! – думал я. – Всё до последней капельки съем сам.

В эту минуту скрипнула дверь… Я услышал лёгкое и быстрое топотание по полу… Потом радостное взвизгивание… Это Суанго, пренебрегая запретами, проскользнул через приоткрытую дверь в комнату, вскочил на мою постель, выбив у меня из рук мисочку… Фонтан белых капель обрызгал меня и всё моё ложе… А Суанго, которого я обнимал и целовал, радостно поскуливал, лизал моё лицо,

шею и руки, слизывал молоко и лакал… А Ломов смотрел на эту сцену, нахмурив брови, со скрежетом зубовным, всё более мрачнее и беспокоясь.

Вошёл Антоныч. Увидев лежащие на полу осколки мисочки, крикнул, одной рукой схватил Суанго за шкирку, кулаком другой ударил красивую, умную голову собаки, вынес его, швырнул на землю и немилосердно бил… У выхода из сеней на территории больницы лежал Суанго, жалобно воя…

Я хотел выбежать на помощь своему любимцу, но силы покинули меня и я упал без сознания.

– Бедный Суанго! Бедный, дорогой Суанго!

Меня охватила дрожь и горячка…

Старовер всю ночь клал мне мокрые лоскуты на горячую голову.

Около меня Ломов храпел как вол, а я непрерывно стонал и звал:

– Суанго! Суанго! Суанго!

Когда Борис возвратился, он спросил меня, что могло так подействовать на ухудшение моего здоровья и вызвать такое страшное расстройство нервов. Я ответил:

– Суанго!

– Ах! – вздохнул Борис. – Кто же пану рассказал?

– Что, Неустроев? – обеспокоено спросил я.

– Где там! Неустроев сдержал слово…

– Тогда что?

– Суанго после моего выезда… перестал жить, – уважительно сказал Борис, не желая из деликатности и учитывая мою сильнейшую привязанность к Суанго, просто сказать: сдох. Старичок-старовер вышел из своего уголка и по-прежнему мелодичным голосом сказал мне и Борису:

– Видите, молодые люди? Часто Наивысшая Сила при желании отвратить смерть человека справедливого всегда спасёт.

Ломов поднялся на постели, опираясь на локти, и показал свои тяжёлые стиснутые кулаки, как бы готовясь к драке…

В эту минуту подбитые гвоздями чеботы тяжело застучали по полу.

Вошёл служка Антоныч.

Увидев, что доктор Борис, старовер и я доверительно разговариваем, обернулся и исчез…

Исчез из больницы, исчез из города, из окрестностей Омска; никто и нигде не слышал больше об обслуживающем больницу Антоныче.

Но по городу и в остроге среди каторжан поплыли и долго не утихали слухи, что Антоныч в сговоре с фельдшером и Ломовым решили меня отравить, чтобы присвоить себе те три рубля, которые Ломов, благодаря чуткости старовера, не успел у меня украсть ночью из-под подушки.

Фельдшер достал им яд…

За отсутствием лекаря он написал бы свидетельство о моей естественной смерти. А Суанго помешал этим бандитским планам.

Видение или действительность?

Ещё не было случая, чтобы кому-нибудь удавалось закончить какую-нибудь торговую сделку с китайцем Чим-Ханем, богатым Минусинским купцом. Уже со всех сторон были оговорены обоюдные интересы, уже зафиксированы двумя писарями, русским и китайцем, все пункты договорённости, уже не хватало всего лишь печати и подписи… Купец совершенно спокойно выходит… Проходит полчаса, проходит больше часа – китайца не видать…

Вдруг влетает взволнованный, с горящими глазами, и выразительными жестами, и на ломаном российском языке кричит:

– Мой высокоуважаемый гость и очень добрый друг, чужеземец-Поляк, ничего не знает? Ничего?... А вот пришло известие, что Тай-Пинги[15] уничтожили чайные плантации… О! уничтожили плантации во всей Поднебесной Империи. И все деньги Чим-Ханя убежали из его рук, как вода утекает сквозь пальцы… Чим-Хань теперь нищий… Должен жить в лодке, что плавает по Янцзы-Киангу… А чай вздорожал! Я уже не могу продать его по той цене, на которой остановились вчера!

Начинаются новые торги. После парочки дней споров, бесплодных разговоров и стонов Чим-Ханя составляется новый договор, возникают новые возражения, и слышатся вскрики:

– Уважаемый чужеземец! Мой приятель-Поляк! Знаешь?... Гонец специально привёз свежую новость: ваш пресветлейший царь договорился с нашим Богдыханом… Конечно, как водится между королями… Их дело! Но наш Богдыхан ни одного каравана в

Россию не пустит… Чай намного, очень намного подорожал… Я уже не могу его продать по такой цене…

Наконец, после долгих виражей, заверен Чим-Ханем контракт о доставке чая, достаточно выгодный для моего хозяина Светилкина, и в конце декабря мы выезжаем из Минусинска.

Тройка прекрасных, резвых коней легко и быстро уносит наши обледеневшие сани. При сильном морозе моей дороге сопутствовала великолепная погода. Чистый, ослепительно-белый снег. Широкая объезженная дорога блестела как полированное серебро. На придорожьях, на мягких снегах, читались, словно причудливые арабески, тропы крупного зверя и лёгких птичьих лапок. Солнечные закаты и ранние зори зажигали на бледно-голубом небе отблески сверкающих золотистых изменчивых красок.

В деревнях, нередких и богатых, при часто используемой дороге, кормёжка и ночлеги были очень дёшевы. Далёкая дорога быстро и благополучно подходила к концу.

Как-то, когда, согласно намеченному маршруту, мы собирались на ночлег, солнце закатилось, и сразу же, освещённые лучами облака погасли. С севера набегали густые завалы тяжёлых клубящихся туч, оловянного света, что затянули горизонт со всех сторон. Потом из них начали сыпаться пушистые пласты снега, которые сразу сотворили на дороге высокие рвы и крутые склоны. Тихий шёпот ветра сменил резкий свист вихря. Нас охватила темень, сотканная из густой мглы и снегопада. Кони летели, как стрелы, снег, взвихренный их копытами, больно сыпал нам в лицо, и одновременно хлестали нас тяжёлыми заледенелыми комьями.

Возница тунгус повернулся ко мне и сказал:

– Мы сбились с пути! Не понимаю, когда и как это получилось?... Я хорошо знаю эти околицы, здесь при главной дороге нигде нет бора, а мы уже долго едем через бор. Заблудились мы, на веки веков, аминь!... И что теперь делать, господин?

– Ехать дальше, парень! Доверимся инстинкту коней. Всё равно они выведут нас до какого-нибудь людского жилья.

– А если понесут наугад, в тайгу, к глубоким рвам, к быстрым рекам, к тундре?

– Что пугаться раньше времени, дорогой мой Тагиж? Тундры и реки сейчас отвердели от льда крепче железа.

– Овраги и пропасти, хоть снегом и засыпаны, а всё равно глубокие.

– На то Воля Божья!

– Во веки веков, аминь!... Только… Ой! Господин, вижу я, худо нам!

– Перекрестись, мой Тагиж, и – вперёд!

Тунгус набожно перекрестился, чмокнул по-сибирски, закричал на коней: «Гу-гу! У! Идите! Летите!», но весь этот переполох не помог, кони всё более замедляли бег, закручивая хвосты и гривы невообразимыми узлами и как бы упираясь лбом в невидимый пень.

Впрочем, из бора нам всё-таки удалось выбраться в степь.

Буря распалялась всё грознее. Вихрь поднимал груды снега, которые вертелись в воздухе, как морские волны, а спадая внезапно, засыпали нас снежными завалами, что тут же превращались в твёрдую и тяжёлую скорлупу. Отважные кони грудью пробивались через этот снежный океан и постоянно на ощупь, то погружались в волны снега, то выскакивали из снежных намётов. Сани двигались всё медленнее, всё тяжелее… Вдруг дышло застряло в какой-то твёрдой преграде, которая притом сразу же отодвинулась… Рысаки рванули, что есть силы… Сани проскользили по чему-то твёрдому и остановились, как вкопанные. Кони начали брыкаться, радостно ржать, бряцать упряжью, топать копытами во что-то твёрдое.

Снег перестал засыпать нас. Очевидно, мы напали на какое-то строение, крыша и стены которого буря заледенила.

Когда мы с большим трудом сумели стрясти с себя ледяной покров, выбраться из саней и зажечь восковую свечку в фонаре, оказалось, что мы в *балагане*, который во время летнего сенокоса служил людям и коням. В этом большом сарае мы нашли большую печь, *нары*, а также ясли; рядом – вёдра из берёзовой коры и поленница мелко порубленного дерева.

Мы принялись хозяйничать, кони встали около ясель, полных овса и сена, которые мы выгрузили из саней вместе с запасами еды. В печи ярко горел и весело потрескивал огонь. В медном котелке и таком же ибрике таял чистейший снег для чая. При сильном огне и накрепко закрытых воротах, в сарае царила тёплая, уютная домашняя атмосфера.

– Видишь, Тагиж, – весело напомнил я вознице, который дремал в уголочке около печи, – видишь, Всевышний спас нас от погибели.

– Во веки веков, аминь! У меня сердце подскочило к горлу! – стонал тунгус.

– Что это ты, парень, зябнешь? Подожди! Сейчас заварим чай, напьёшься сладенького чая и с *огнём*[16]. А чай закусим жареной олениной и *сайкой*.

Но мысль о любимых яствах никакого впечатления на парня не произвела. Он стонал и постоянно, то шёпотом, то в голос, повторял:

– Сердце выскочило у меня до горла, во веки веков, аминь!

Вдруг он вскочил, вытянулся, как струна и испуганно крикнул:

– Идёт! Уже идёт по миру!

– Кто идёт? – удивлённо спросил я.

– *Бабуля*[17] в красной русской рубахе идёт. *Буран* ведёт её за руку… Господин! Запирай ворота, запирай, во веки веков, аминь!

Он рухнул на пол, разбрасывая руки и ноги, словно обороняясь от чьего-то нападения.

Бедолага! Видно, из-за недавно пережитых тяжёлых впечатлений, какие на нас свалились, он впал в нервное расстройство.

Я снял с него промокшую одежду, одел сухой *азям*[18] и *торбасы*[19]. Уложил на подстеленные оленьи шкуры. Отогретый и напоенный чаем *с огнём*, парень уснул крепким, бодрящим сном, но всё-таки бормоча молитвы, бессмысленно переплетающие заветы христианства, ярым почитателем которого он был, и легенды шаманизма, которому недавно поклонялся.

Тем временем ураган утих, снегопад прекратился, тучи уплыли далеко, на голубовато-серебристом небе местами, мигая, мелькали звёздочки. Запас дров у нас полностью закончился, последние щепки тлели на поленьях.

Тревога охватила меня, что с нами станется дальше? А особенно если Тагир расхворается всерьёз, как я сам управлюсь в этой пуще? Тагиров инстинкт кочевников привёл бы нас к людскому жилью. Ну! Что делать! Сам пойду в разведку.

Своё намерение я решил исполнить во что бы то ни стало.

Одел медвежью *кухлянку*[20], огромную медвежью шапку, такие же рукавицы, за пояс засунул пистолет, в руки взял железный прут;

компас, кресало, губку, фонарь, немножко рому во флаконе. Связал коням ноги, чтоб не убежали, если что-то их напугает, потеплее укрыл мехом Тагира и, накрепко заперев ворота, отправился в путь.

* * *

Над околицей повисла прозрачная мгла аметистового цвета… При бледном свете нового месяца и звёзд вдали маячили чёрные силуэты строений, округлых у основания и с заострёнными верхушками.

– Наверное, юрты киргизов или татар, – подумал я, а по опыту мне было известно гостеприимство этих кочевников, так что, обрадованный, я живо подался к мнимым *юртам*, которые оказались – стогами сена…

Я был чуть ли не в отчаянии, такое это оказалось разочарование.

Старательно огороженные стоги сена говорили о близости людского селения.

– Кураж, сибирский Робинзон! – рассмеялся я и вполголоса замурлыкал какую-то песенку, веря в предположенный мной объект моих поисков, пошёл далее.

В степи царит тишина, прерываемая только хрустом снега под моими шагами.

Иду вперёд прямо перед собой довольно долго и, наконец, во мгле замечаю нечто вроде мраморной колонны, усеянной рубинами и золотом. Колонна, широкая у основания, к верху делается всё легче и легче, так что её верхушка развевается в виде множества пёрышек…

Долго и внимательно вглядываюсь в эту колонну. И…

– Дым! Дым! – кричу, счастливый, не задумываясь, что этот сноп дыма может идти от печи какой-нибудь крестьянской *заулки*, или костра, разожжённого *бродягами*. Радость придаёт мне сил… Иду дальше…

Вдруг поднялся ветер. Как театральную декорацию, рассеял мглу передо мной и открыл пригорок с двумя строениями.

На втором плане дом… Из окон виден лунный свет… На первом плане – длинное высокое четырёхугольное помещение без окон со стенами из неотёсанных брёвен. Большие ворота распахнуты

настежь. Внутри в печи толстые поленья то вспыхивают, то гаснут, образуя фантастическое освещение, то ослепительно яркое, то погружающееся во мрак…

Я встал перед воротами, пытаясь сообразить, куда я попал. Куда и к кому привела меня добрая или злая участь?... Тихонько подвинулся в тень… Напрягаю зрение и вижу… Перед открытыми воротами на досках, поставленных на козлы, лежит нагая… ну, совершенно нагая женщина… молодая, высокая, свежая, с чудной фигурой, которую скульптор великолепно отобразил бы в мраморе. Светлые волосы длинными прядями спускаются до пола; женщину прикрывала, тесно облегая нагое тело, серебряная сетка, усеянная множеством мелких и крупных бриллиантов, которые искрились и переливались всеми цветами радуги. И в волосах женщины тоже блестели и играли бриллианты, когда в печи вдруг вспыхивало яркое пламя.

Что это?... Что это?...

Слышу тяжёлую поступь нескольких человек в обуви, подбитой грубыми гвоздями… Слышу гром и треск, будто кто-то бросил на каменный пол огромную глыбу льда… Слышу хриплый простонародный говор:

– Вот же тебе, чёрт *поганый!*

Другой голос:

– В тёплой избе на мягких коврах отлёживаются, сукины сыны, а ты, человек, сиди в ледниковом сарае и нюхай вонь!

Голос третий кого-то передразнивает:

– Две трефы… Три черви! *Господа! Неверный счёт!*

Голос четвёртый:

– За картами чай с *огнём* лакают. Вино сглотнули, а для нашего брата и горилки не найдётся.

Несколько голосов затягивают:

На вахту солдат стал,
Бедняге водки никто не дал…

Песня затихает, прерванная чавканьем «певцов».

… Что это?... Куда я попал?... Повсюду – угроза… Но эта угроза как бы источает необычайную силу, что меня приковала к воротам,

и не позволяет отойти, оторвать взор, и велит смотреть… смотреть… смотреть… Несколько мужиков в кожухах и меховых шапках подходят к огню. Один из них отходит от остальных, приближается к лежащей на досках женщине, косматой лапой хватает её за нежное плечо… трясёт…

– Прошу ко мне, сердце!

Эти слова, смех и похотливые шутки, что вырываются из горла…

– Мерзость! Мерзость!... – всей силой заставляю себя не закричать… Убегаю…

* * *

Как, каким образом я попал в наш сарай, я никак не мог бы объяснить.

– Ой, господин! Во веки веков, аминь! Как же я волновался, чтобы *буран* не унёс господина… И не знал, что делать, где господина искать. Я так испугался, что сердце у меня выскочило в горло, – радостно приветствовал меня Тагир, уже совершенно здоровый и весёлый, как всегда. В печи вода кипела в котелке, кони накормлены и сани готовы в дорогу. День задался очень удачно.

Парень снова спросил:

– И где господин был? Откуда вернулся?

– Кабы я сам знал, – отвечал, – где был и откуда вернулся.

– Во веки веков, аминь! – кричит Тагир и удивлённо на меня смотрит.

Тут же понимаю, что, очевидно, по неизвестным мне причинам, передо мной возникло какое-то адское виденье, о котором я не мог рассказать суеверному Тагиру… Так что всё, что сказал, обратил в шутку.

Двинулись в путь. До Омска оставалось 150 вёрст, которые мы проехали без всяких происшествий.

С этой ночи воспоминание того, что было либо адским видением, либо действительностью, не покидало меня ни на минуту. Я никому ничего не говорил, боясь, что меня посчитают сумасшедшим. Я утратил юмор, аппетит, сон. Стал молчаливым, апатичным, раздражительным. Мой начальник Светилкин настаивал, чтобы я показался лекарю в Омске, что я, в конце концов, и сделал.

– Дорогой мой пан, – обратился я к милому мне доктору Борису, – я пришёл к вам за врачебным советом. Но обстоятельства, что вызвали мою болезнь, так необычны, что вы должны выслушать длинный рассказ!

– Я весь внимание и любопытство!

– А нас никто не подслушает?

Борис выпроводил прислужника в город, запер двери на ключ, усадил меня в удобное кресло, сам сел напротив меня и сказал:

– Слушаю, дорогой пан.

– Скажи мне, доктор, – начал я, – может ли привидение или какое-нибудь другое явление подобного рода, какая-нибудь галлюцинация так глубоко врезаться в душу человека, что он примет её за действительность?

– Это именно и случается в минуты большого возбуждения, сильного напряжения нервов.

Поскольку уже известно, что я увидел в этом таинственном строении в степи, и что так глубоко осело в моей памяти, я очень подробно всё рассказал и закончил вопросом:

– Итак, это было на самом деле видение?

– Это была сама действительность, – спокойно ответил Борис. – Позвольте сигару, пан? Пожалуйста. Сейчас я всё вам объясню. Да будет вам известно, что в наших краях случаются побеги, а часто и убийства. Потому невозможно на каждую весть об убийстве посылать следователя и лекаря, чтоб они ехали за сотни вёрст к месту преступления. Им не хватило бы ни сил, ни времени. Но, поскольку следствие и вскрытие должны быть проведены, а протокол написан, останки убитых и умерших не своей смертью складывают в специальные для того отведённые помещения. Чтобы трупы не разложились, их держат в ледниках. Когда набирается много останков, тогда съезжаются: следователь, врач и фельдшер. Перед вскрытием нанимают мужиков, чтобы вынести трупы из ледников, – им надо сперва отмерзнуть в тёплой избе. Очевидно, вы оказались свидетелем именно этого момента оттаивания перед вскрытием. Могу вам даже рассказать, кто была эта женщина. Она была убита за пределами Омска при загадочных обстоятельствах – некая известная местная красотка… Но, если я не ошибаюсь, пана красивые женщины ведь не интересуют?

– Местные – нет!

– Согласен! Но – к делу! Та серебряная сетка на останках Наташи – просто иней. Бриллианты – кристаллы льда. В том соседнем освещённом доме врач и фельдшер, которые коротали время перед вскрытием. В самом деле, очень мерзко! Итак, знай, мой уважаемый пан и дорогой приятель, что увиденное тобой в степи никакая не галлюцинация, а действительность, обычная у нас. Не исключено, что ещё кто-нибудь столкнётся с ней в своих странствиях…

Друг изгнанников («Еженедельник» в Сибири)

Кто-то очень сильно тянет кольцо звонка у входных дверей.

Старый звонок отзывается хриплым звоном так тревожно, что наша служанка Параскева роняет из рук тарелку, которую собиралась поставить в шкаф, топчется на месте, и, вереща, убегает на кухню.

Михаил Грушецкий и я бежим взглянуть, кто так бурно рвётся к нам. Отворяем.

В мой дом, на улице Большой в Иркутске, поспешным шагом вбегает иркутский пробст, ксёндз Кшиштоф Шверницкий, и, очень рассерженный, говорит:

– Ничего нет на почте… Я сейчас прямо оттуда. А вы – получили письма и газеты?

– Откуда же, добродетель вы наш, если их нет на почте?...

– И то правда!... Но ведь сейчас костёльный праздник, завтра воскресение, а послезавтра концерт. По этой причине, видите ли, дорогие мои, почтальоны будут гулять где-нибудь по дорогам, пока во вторник не доберутся до Иркутска, и тысячей бредней станут оправдывать своё опоздание. Так считает почтмейстер.

– Так всё и будет, – соглашаемся мы, до глубины души огорчённые, что нас подводит надежда получить сегодня письма и нетерпеливо ожидаемые польские газеты.

Чем они были для нас, изгнанников, поймёт лишь тот, чьи мысли постоянно были прикованы к Отчизне, а судьба завела за тысячи миль от родной земли. Для меня, однако, и для многочисленной группы братьев-Поляков, самым близким по духу и убеждениям и самым желанным был *Иллюстрированный Еженедельник*.

Почему? Потому, что, несмотря на острую правку цензуры, *Иллюстрированный Еженедельник* в каждом номере рассказывал о Польше, притом таким образом, чтобы всё понятно было не только интеллигенции, но и любому простаку: он говорил гравюрами.

Во время моего повторного изгнания некий отброс от нашей общественности измыслил всяческую клевету на наше прошлое, и на самое близкое, и на то далёкое, которое уже принадлежит истории… Грязью и издёвкой осквернил его… Орлиным белым крылом, но покрытым кровью, глумился и выставлял на общее посмешище тех, кто был на перепутье и отпугивал их от нужного пути.

Поэтому *Иллюстрированный Еженедельник* на своих страницах помещал образы наших героев, наших родственников, известных во всём мире. Помещал гравюры, представляющие исторические эпизоды из той эпохи, когда *Она*[21] ещё носила корону, горностай, и была одета в пурпур и золото… Таким образом, *Иллюстрированный Еженедельник* полемизировал без всяких слов с так называемой «молодёжью», то есть с теми, кто в *те* времена были ещё младенцами…

Итак, поскольку вместе с нами этот журнал чтил народные святыни, шёл с нами в ногу, приближал к нам Отчизну, дом, ежедневные происшествия, он стал для нас милым и дорогим изданием… И вслед за политическими каторжанами-Поляками он путешествовал от Урала до Камчатки, в течение ряда лет, от одного края Сибири до другого. Те, кого освобождали из мест наказания, оставляли его своим последователям, а те в свою очередь оставляли следующим за ними, и так продолжалась непрерывная цепочка…

– Михаил, – говорю Грушецкому после ухода ксёндза, – ты, случайно, не желаешь выехать за город?[22]

– Допустим, что есть у меня такое желание, – ответил Грушецкий, – ну и что?

– Так ведь, дорогой мой, когда гора не идёт к Магомету, надо, чтобы Магомет пошёл к горе…

– Выражайся яснее, я не мастер разгадывать загадки…

– Это не загадка, а попросту я предлагаю выехать навстречу почтальонам.

– Согласен! Согласен! – с обычной своей живостью и решительностью вскрикнул Грушецкий.

– А ведь эти мародёры везут весь первый квартал *Иллюстрированного Еженедельника*, – вставила заинтригованная жена Грушецкого…

Наш выезд последовал так же быстро, как возник проект и решение.

Не назначаем точное время выезда. Гаврилко, знакомый *извозчик*, владелец хорошей лошади и удобной дрожки, шутливо заверяет, что хоть до *матушки Москвы* довезёт нас *за три мига* и в столь же короткий срок вернёт обратно. Галопом минуем немощёные, от летней жары затвердевшие улицы столицы Восточной Сибири, одноэтажные дома из кедрового дерева, скудные огороды, сад для гуляния, громко названный *губернаторским*. И вот весь Иркутск исчезает из виду, вроде серой декорации, заслонённой пыльным туманом, поднятым копытами коня и колёсами дрожки. Едем по берегу Ангары.

Великолепная река течёт величественно. В её кристально прозрачных водах отражаются облачки, позолоченные и подкрашенные пурпуром заходящего солнца. Отражаются также здания, царящие над Иркутском и околицей: белые монастыри, вершины колокольни и купола *Красной церкви* с красными стенами и зелёным обрамлением окон, и другие церкви, украшенные столь же гармонично…

Вольные просторы, бескрайние горизонты в нас, изгнанниках, всегда будили мысли и настроения печальные и тоскливые, воспоминания прошлого, неисполнимые мечты о далёком завтра…

И наш *кучер*, всё время поворачивающий к нам конопатую голову и лицо, широко смеясь, пытается «зацепить» нас своими шутками, не чувствует ответного желания поговорить и умолк, как и мы.

В это время на Ангару ниспадают золотистые и пурпурные полосы в фантастическом расположении, всё бледнее и легче, всё прозрачнее…

Пылающее небо потихоньку гаснет. Ветер легко будоражит воды реки своим дыханием, поднимая искристые волны. Солнечный шар западает за Иркутск и Ангару. Это пора, когда опускаются сероватые сумерки и уступают дорогу безлунной чёрной ночи…

И, как это часто бывает после жаркого дня, небеса разверзлись ливнем, при вспышках молний и канонаде грома.

Гаврилко непрестанно крестился, причём спрашивал:

– Куда едем?

– Поворачивай в город! – командует Грушецкий.

Возница безмолвно исполняет приказ. Взмахивает кнутом. Рысак прытко срывается с места.

Слышим треск, проклятье, вперемежку с воззваниями ко всем святым чудотворцам… Потом Гаврилко оборачивается к нам и объявляет:

– Дышло *совсем* сдохло!

Очевидно, мы не двинемся дальше ни на шаг.

Невесёлый ночлег предстоит нам в чистом поле под громом и ливнем, да ещё в окрестностях Иркутска, хотя и без лесов, но всё же далеко не безопасных.

В столице Восточной Сибири при 30 тысячах населения имеется более трёхсот *кабаков* и свободных торговцев, продающих горячительные напитки, пользуясь общим уважением. Почтовым трактом, где нас захватила гроза, ночами по направлению к Европе движутся бродяги, беглые с каторги на Каре, из Нерчинска, из Усола и иных мест наказания. Встреча с ними сулит путникам весьма вероятную смерть…

Похоже на то, что нам может случиться именно такая встреча.

Сбоку, вдали от дороги, видно что-то вроде копен, из которых вспыхивает огонь. При свете кровавого зарева маячат какие-то фигуры, снуют непонятные тени… О! да их много, этих фигур и теней. Но на ярком фоне среди густой мглы тёмные силуэты вырисовываются слабо, так что невозможно узнать, кто они.

– Бродяги! *Козья мать их!* Я не трус, я под *Севастополем* был, я в *перестрелках* участвовал, в англичан стрелял, и не боялся. Но бродяги – это куда хуже! Я человек мыслящий… Иногда мне приходят на ум дельные мысли, – тихо причитает Гаврилко, и констатирует:

– Но сейчас я не знаю, что делать!

Мы, однако, уже сейчас представляем, что он сделал бы при встрече с бродягами. Сел бы на своего рысака и умчался бы в Иркутск. А в это время ливень превратился в мелкий дождик, а, вернее, в водяную пыль, которая всю ночь немилосердно нас хлещет.

От Иркутска и Ангары повеяло холодом, что предвещало приближение утра. Оно наступает лениво, но сразу же стряхивает с себя густую мглу и дождевые тучи, рассеивает темноту, проясняет мрачные полутона, так что на земле и на реке наступает просветление.

О! как радостно мы встречаем это утро.

Огни в зарослях ракитника погасли… Издалека долетают какие-то шорохи, хлюпанье воды, размеренный топот. Гаврилко уже схватился за гриву рысака, готовый на него вскочить. До нас доносится хоровое пение:

На Кавказе храбро горца бил,
Меня, юнца, полевой суд судил,
Строго меня судили,
Но из армии не погнали,
Суд меня простил,
Милостивый суд!

С такой песней, мелодия которой всё же лучше, чем гром при ливне, по дороге марширует солдатский отряд. За ним тащится почтовая *повозка*. Один из почтальонов кричит:

– Гаврилко, обормот! Славный же из тебя кучер! У коляски дышло сломал на дороге, гладкой, как стол.

– Ты собственный нос береги, не тыкай в чужой! – огрызается Гаврилко.

Офицер, который возвращается с какой-то карательной экспедиции, рассказывает, что ночью со *своими людьми* встал на бивуак среди кустарников. Приглашает нас в свою кибитку и благополучно довозит до Иркутска.

Застаём жену Грушецкого в слезах и в волнении. Увидев, что мы без изъянов в добром здравии и весёлом настроении, выпутались из этого приключения, успокаивается, хотя она, отчасти, сама тоже нас подтолкнула на это путешествие, всё же сочла нужным нас отчитать:

– Поистине! Стыдно, что приличные люди с головами, припорошенными сединами, так легкомысленно рискуют своим здоровьем и жизнью, ради того, чтобы несколькими часами раньше прочитать газеты и журналы. Это непростительно!

– Но ведь пани, однако же, нас прощает, – говорю со всей покорностью.

– Должна простить! – смеётся пани Грушецкая, и через минутку робко спрашивает:

– А *Иллюстрированный Еженедельник* получили?

– А как же! За весь квартал!

Добавляю: вместе со всеми теми, кто не могли вернуться на родину, и этот журнал получали в Сибири.

Через десять лет после описанного происшествия пишу эти строки в Иркутске.

В моём воображении, как в калейдоскопе, мелькают гравюры, которые вошли в этот комплект, добытый с таким трудом.[23] Был там портрет Коперника, был Ян Собиеский, сажающий деревья в Вильно, был рисунок гениального Матейки, был Стефан Баторий со своим историографом Гейденштейном…

Вспоминая всё это, мне кажется, что я как бы слышу шум гусарских крыльев… Летят гусары, мчатся в атаку на Вену.

Мне кажется, будто я вижу блестящие драгоценные плюмажи на боярских шапках…

Служение! Служение! Служение!...

Всё минуло!

Действительностью были лишь следы слёз изгнанника на бумаге…

Галич, в Костромской губернии,
дня 1 июля 1881г.

Но когда?... Когда?...

– Позволит?

– Не позволит?

– Позволит?

Этот вопрос каждый день многократно задавали друг другу каторжане омского острога весь ноябрь 1851г.

– Плац-майор Василий Григорьевич Кривцов, эта чёрная душа, нас, арестантов, не терпит. Чем может и сколько может, рад притеснить нас и испортить нам жизнь. Не позволит! – говорит каторжник Нецветаев.

Но никто его не слушал, все на него закричали:

– Не каркай, ты, гриф чёрный, не накликай беды!

– Смотри-ка на него! Какой пророк *окаянный* нашёлся!

– Чума Бендерская! Думаешь, ты с турецкой саблей имеешь дело!

– Чадило!

Град оскорблений посыпался на голову Нецветаева, который, видно, оказался плохим пророком, ибо, в конце концов, по острогу грянула весть:

– Плац-майор позволил!

По всем закоулкам слышались радостные крики:

– Позволил! Позволил театр!

И тогда в казематах зажужжало, как в улее. Начались перемигивания, крутня, суматоха, словом, начались приготовления к представлению, которое должно было состояться в омском остроге в день Нового года. Комедию и пантомиму для спектакля каторжники выбрали себе сами.

Писателя Фёдора Достоевского импровизированные актёры попросили, чтобы, когда надо, давал указания, как говорить *театрально*. Бэм, варшавянин, художник по росписи интерьеров, Юзик Богуславский и я взялись написать декорации, и как только арестанты сшили достаточное количество полотна, охотно схватились за кисточки и краски.

Костюмы для актёров выпросили в городе. Жена коменданта крепости, госпожа де Граве, предложила старый полковничий мундир и множество золотистых шнуров и аксельбантов.

Адъютант генерала Абросимова пожертвовал свою поношенную шапку. Наряды, нужные для женских ролей, арестанты насобирали в городе.

Пятнадцать самых интеллигентных и приличных заключённых составили актёрский коллектив, дельный, воодушевлённый искренним вдохновением и наилучшими намерениями.

На куртине цветным лаком мы изобразили деревья, ручеёк, солнечный закат. Всё это – под куполом голубовато-пурпурных небес выглядело очень эффектно.

Экс-канцелярист, нынешний каторжник Баклушин, приготовил пару афиш.

На большом листе бумаги, оклеенном изящной, серебристой каёмкой, среди таинственных разводов и выкрутас, стояла такая надпись:

АФИША
ДЛЯ
ИХ СВЕТЛОСТИ ГОСПОД
КАРАУЛЬНЫХ ОФИЦЕРОВ
А ТАКЖЕ ДЛЯ
ИХ СВЕТЛОСТИ ГОСПОД
ДЕЖУРНЫХ ОФИЦЕРОВ
РАВНО ДЛЯ
ИХ СВЕТЛОСТИ ГОСПОД
ОФИЦЕРОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
И ДЛЯ
ОСОБ
ВЫСОКОБЛАГОРОДНОГО И ДВОРЯНСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Далее следовали названия маленьких комедий и *пантомим с музыкой* и имена выступающих в них заключённых.

В этом месте не могу не подчеркнуть, что никак не могли добиться от Баклушина объяснения, кого именно имел он ввиду, когда писал последние строки афиши.

– Хотим знать, кто благородный и кто высокого происхождения…

– Так ведь тот, кто благородный, тот и есть высокого происхождения. И баста! – отвечал он, и мы всякий раз смеялись.

– Вот, что называется, документальное пояснение непонятной проблемы.

Наконец, наступил нетерпеливо ожидаемый и желанный день Нового года.

Сразу же после возвращения с молебна в церкви заключённые, что взяли на себя обязанность машинистов и помощников режиссёра, быстро собрались в помещении *театра* в самом большом каземате, освобождённом от всех находившихся в нём предметов.

Меньшая часть комнаты с дверями, выходящими в сени и в соседний каземат, была предназначена для сцены, а остальная часть составляла квадратный зрительный зал.

В первом ряду поставили принесённые из кухни лавки и кресла из офицерской канцелярии, предоставленные ефрейтором. Это было

место для офицеров и «особ высокого происхождения», так, словно последние должны были своим присутствием узаконить *театр* в нашем остроге.

Просцениум заняли музыканты.

Было их девять: две скрипки и два гитариста; один играл на контрабасе, другой на барабане, а трое должны были подыгрывать на балалайках.

Зрительный зал, освещённый сальными свечами, тесно заполнил разноплеменной люд крепости: много было малороссов, черкесов, грузин, лезгинов, осетинов, сибиряков.

Первым появился единственный на омской каторге представитель Израиля, ювелир, осуждённый за деятельность фальшивомонетчика, клеймённый по лбу и щекам Исай Бумштейн. Не хватало только черниговского старовера. Этот старик на спектакле не появился вообще.

Здесь за лавками, предназначенными для сановников, было отведено место Фёдору Достоевскому и нам, полякам. Так нас хотели отблагодарить за то, что мы, люди образованные и принадлежавшие к высшим кругам, охотно помогали при подготовке представления.

В комнате было душно, тесно, как в селёдочной бочке, хотя каждый старался занять наименьшее место пространства. Наиболее буйные, дикие заключённые вели себя тихо, прислушиваясь к шелестам и шевелениям, долетавшим со сцены, притом, поглядывая на дверь, не идут ли знатные гости.

Наконец, они появились.

Пришёл караульный и дежурные офицеры, и адъютант генерала Абросимова (тот, что дал свою шапку). Пришло несколько военных инженеров и несколько урядников из канцелярий плац-майора и коменданта.

Их появление вызвало среди зрителей огромную сенсацию.

Заняли лавки и кресла.

Каторжник Почейкин, выполняющий функции капельмейстера, подаёт знак. Оркестр начинает.

Начинает с какой-то увертюры, которая не произвела никакого впечатления. Затем, после короткой паузы, народные песни и мотивы народных танцев играют с блеском и увлечённостью, которые

передаются слушателям, захватывают аудиторию, вызывают восхищение и одобрение всех. Ибо для разноплеменных зрителей, которые не понимали русских слов комедии, понятны были мелодии, полные бравуры и озорства.

Тот, другой, переспрашивает, тот, другой, в такт кивает головой, и из ублаготворённых сердец, вторя музыке, доносится подпевание чистым голосом. Пылают лица, улыбаются уста, глаза блестят, и не только у народа, но и у чиновников тоже.

– Ай да молодцы! Так, так, славно! Ещё раз! Ещё, ещё ра-а-аз, – кричат офицеры, а по их примеру и каторжники, не стесняясь никакими соображениями уважительности и субординации в присутствии *начальства*.

А когда усталые музыканты, наконец, перестали играть, весь острог от фундамента до верхушки крыши сотрясался от рукоплесканий и окриков:

– Так! *Молодцы!* Так! Так! Та-а-ак! *Славно!*

Учитывая полную готовность зрителей, поднялся занавес.

Представление начиналось комедией под названием: «Фирлатка и Мирошка», в которой роль добродетельного обывателя играл Баклушин. Он играл хорошо, правдиво! Как настоящий актёр. Никаких претензий ни к движениям, ни к дикции. Такой своей игрой он импонирует нам, интеллигентам, а остальным зрителям – своим костюмом и полковничьим мундиром со множеством золотистых шнуров и аксельбантов, адъютантской шапкой, к которой для пущей важности сбоку прикололи жёлтый атласный бант, а из кармана его мундира выглядывает красный шёлковый платок. Добропорядочная обывательница, жена Баклушина, любимец Поляков, Федька, который по вине своего отца, истинного преступника, невинно мается на каторге.

Свежий, красивый юнец в парике из чёрного конского волоса, убранном по-женски, выглядит очень смешно.

Но ничего! Он всем нравится, получает аплодисменты:

– Федька! *Помещица*, так! Так! Здорово!

Федька одет в белое муслиновое платье с воланами, в белый чепец, завязанный под подбородком, и в большой меховой воротник. В руке держит зонтик, на который опирается, постукивая им по полу; держит также букет бумажных цветов и веер, которым

временами обмахивается, раскрывает и закрывает его, наверное, чтобы придать себе больше уверенности.

И актёры получают рукоплескания и одобрительные окрики полной мерой.

После «Фирлатки и Мирошки» последует фарс под названием «Кедрил обжора».

За опущенным занавесом, который тоже встречен аплодисментами, меняется обстановка на сцене. В это время Фёдор Достоевский рассказал нам, что «Кедрил обжора» – сюжет, не взятый из «литературы печатной», а что заключённые получили его в рукописи от ефрейтора в отставке, который сам некогда выступал в этом фарсе на какой-то солдатской сцене; что давнишние вельможи и богатые помещики содержали в своих имениях и дворцах в городе театры и труппы, состоящие из их крепостных. Не раз, и не один из таких доморощенных актёров сам сочинял театральные пьесы, которые в многочисленных переписанных экземплярах кружат по сей день в городах и деревнях, в крепостях и обозах, в самых далёких концах Российской империи. Он сказал, что такие произведения – весьма интересные образцы народного творчества на поле драматической русской литературы.

Наш разговор прервала барабанная дробь – знак к началу представления. «Кедрил обжора» произведение, которое очень занимает зрителей. Некий вельможа, попав в тяжёлое положение, призвал на помощь адские силы, в задуманном виде и форме, и эту помощь получил в обмен на заклад своей души, отданной Люциферу в вечное владение.

И срок выполнения заклада захватил вельможу в пути, в корчме, за едой. Является депутация от Люцифера и отрывает должника от стола, заставленного бутылками горилки и всякими яствами, связывает ему руки, причём он верещит и упирается ногами, но его силой выносят со сцены. Слуга вельможи, Кедрил, который дремал при появлении дьяволов, как только они исчезают, вылазит из своего укрытия… Осторожно оглядывает всё вокруг, видит, что он – один, садится к столу, на место, которое прежде занимал вельможа, и, запихивая в рот кусок курицы, издевательски смеётся, повернувшись к публике:

– Вот, теперь я сам себе хозяин!

– Так! Так! – из зрительного зала актёрам вторит множество голов, и когда они утихли, Кедрил снова обращается к публике, и насмешливо, победно, кричит:

– А вот! И хозяина черти побрали!

При этих словах радостное возбуждение зрителей вырывается, как поток, рушащий плотины и дамбы. Общее удовлетворение выражается топаньем, бряцанием кандалов, неудержимым смехом и громовыми рукоплесканиями. Такие взрывы, такое буйство, такое восхищение объясняются тем, что каждый из присутствующих в этой комнате, каждый без исключения, имел над собой какого-нибудь хозяина, которому очень хотел бы досадить и сто раз пожелать: «Чтоб тебя черти побрали!». И радость вспыхнула оттого, что хотя бы на сцене такое общее желание исполнилось.

После «Кедрила обжоры» показывают пантомиму «Брамин волокита». Музыканты начинают играть *камаринского*.

Балалайки в оркестре главенствуют. Скрипки отзываются очень скромно, pianissimo[24], как бы мимоходом. Любимая мелодия гремит в каземате. А потом… двери, ведущие в сени, открываются, как будто в них ударило мощное копыто, ледяной порыв воздуха обдувает сцену и вместе с ним появляется плац-майор Василий Григорьевич Кривцов…

Общее смятение. Оркестр умолкает. Актёры разбежались. Музыканты прячут за спину свои инструменты. Офицеры вскочили со своих мест и спешат навстречу к плац-майору…

Он, в расхристанном мундире, без плаща, без рукавиц, без шапки, пьянёхонький, рычит, как разгневанный буйвол:

– Что тут делается? Я вас спрашиваю!... Крепостные каторжники в казарме устраивают театральное представление, как «штатские»!

– С вашего разрешения, Ваше Высокоблагородие, – говорит дежурный офицер.

– Лжёшь! Я вас спрашиваю! Не давал я никакого разрешения. Я вам всем покажу разрешение! Ефрейтор! Солдаты! Эй! Розог! Скорее! Ро-о-о-зог!

Удушливый мрак будто охватил заключённых, сгрудившихся в кучу.

Морщатся лбы, глаза мечут молнии, стиснутые кулаки готовы к драке. Кажется, взрыв неминуем… Кажется, что в следующий миг

случится что-то страшное… Что заключённые кинутся на плац-майора и разорвут его на куски, но всё это здесь невозможно… нет! Нет! Все чувствуют, что они никакого наказания не заслужили. Тем временем выступает адъютант генерала Абросимова:

– Не нужно розог, не нужно. Арестанты с позволения плац-майора развлекались пристойно и прилично, причём под наблюдением начальства, в нашем присутствии. И не за что их наказывать. Нельзя. Понимаете, Василий Григорьевич Кривцов?

Плац-майор растерянно вытаращил глаза, что-то бессвязно бормочет. Его уже обуяла пьяная ярость, притом, что этого адъютанта он хорошо знает.

Этот молодой человек – из великосветской семьи, изящный и элегантный, к нему весьма расположен губернатор, князь Горчаков.

Уверенный в своих связях, он обращается с плац-майором свысока. Он хватает его за плечи и легонько толкает к выходу.

Пьяница послушно уходит. Вдруг спотыкается о порог и падает на пол, как колода.

Адъютант сквозь стиснутые зубы громко произносит:

– Мерзавец!... Скотина!

И тут же приказывает ефрейтору:

– Поднимите *это*, уложите на санки и отвезите на квартиру.

– Слушаюсь, Ваше Превосходительство, – салютует ефрейтор.

Адъютант поворачивается к заключённым. Приветливо махнул рукой и любезно крикнул:

– Будьте здоровы, ребята!

Заключённые так ошеломлены происшествием с плац-майором, что не отвечают, как обязаны были бы ответить:

– Благодарствуем, Ваше Превосходительство.

Адъютант не обиделся и ещё раз повторил:

– Будьте здоровы! – и выходит с инженерами.

Некоторое время ещё царит полное недоумение. Наконец, входит ефрейтор и кричит:

– Убирать! Убирать!

Поскольку всё, без исключения, мы убрали и вынесли со всех уголков острога и снесли топчаны, кофры, разные мелочи, составляющие убогую обстановку тюрем и казематов, но могло пригодиться для *театра*.

Мы надеялись, что представление повторится ещё раз на праздник Троицы. Теперь всё это ожидала другая участь. Когда мы снимали и сворачивали декорации, слёзы заволокли глаза этих закалённых и бесстрашных людей, которые не раз за свою жизнь, безропотно, с пренебрежительной усмешкой сносили удары, голод, всяческие невзгоды.

– Чтоб тебя, чтоб тебя сибирская зараза задавила!

– Чтоб тебя медведь разодрал! – так то и дело кто-нибудь из заключённых слал проклятья, конечно, в адрес плац-майора Кривцова.

Наконец, возбуждение улеглось. Умолкли ругань и проклятья. Целительный сон, конечно, успокоит оскорблённых заключённых, позволит им забыть об их трагичной доле, о суровости их повседневной жизни… Короткое забытье… Ибо ещё до рассвета зимнего утра стражник разбудит их, призывая на тяжкие работы. Тишина охватила острог. Заперли казематы. Усилили стражу у ворот и остроколов. Только нам, Полякам, и Фёдору Достоевскому дежурный офицер позволил недолго постоять на территории.

Мороз успокаивает наши взбудораженные нервы, говорим о том, что с момента, когда заключённые получили позволение на устройство *театра*, в остроге царил небывалый порядок. Среди каторжан не было споров, ссор, драк, ни одного убийства не наблюдалось. Шулеры не играли в карты, и даже *спиртонос*[25] Газин утихомирился и в эти несколько недель горилку не продавал. Никому в остроге она не требовалась.

Мы говорили, как хорошо было бы, если бы законодатели и стражи справедливости и права, также, как надзиратели в тюрьмах, были бы способны к большему пониманию и сочувствию к бродяге, чтобы этим падшим людям иногда позволено было отвлечься, также, как людям, не скованным никаким преступлением, людям свободным, счастливым. Если бы… Такой поворот в отношении к преступникам должен всё-таки наступить. Всё так! Но когда?

……

Звёзды искрятся на небе… На бледно-зеленоватом фоне небосвода Млечный Путь тянется в бесконечность… Бесконечность… Бесконечность…

Это уже третий!

Quoi! ne point aimer, suivre une morne carriere
Sans un songe en avant, sans un deuil en arriere!
Quoi! marcher devant soi sans savoir ou l'on va!
Rire de Jupiter sans croire a Jehova!
Regarder sans respect l'astre, la fleur, la femme,
Toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'ame!
Pour de vains resultats faire de vains efforts!
N'attendre rien d'en haut! ciel! oublier les morts!
.....
Oh non, je ne suis point de ceux-la!
.....
Je les fuis, et je crains leurs sentiers detestes...[26]

После этих строк декламирующий умолкает.

Тут же послышались длительные громкие аплодисменты.

– Вы, пан, отлично декламируете!

– *Mademoiselle!*

– Чудесно!

– Сообразуюсь с окружением!

– О! Вы, пан, ведь находитесь за пределами цивилизованного мира!

– Предел цивилизованного мира? Это так. Я нахожусь в какой-то чудодейственной стране и преклоняюсь перед её владычицей.

– Flatteur![27]

Такими комплиментами обменивалась молодая пара: красивая, элегантная барышня и удивительно привлекательный молодой человек.

К его необычайной красоте очень подходит и непривычная одежда.

На нём синий фрак, белая атласная сорочка, вышитая зелёными листиками и розочками, застёгнутая бриллиантовыми пуговками. В батистовом жабо с густыми сборками поблескивают великолепные, тоже бриллиантовые, запонки.

Одежда придаёт молодому человеку некоторую экзотичность. Среди тяжёлых, с грузной осанкой, многочисленных мужчин,

преимущественно военных, поразительно отличается также стройная, лёгкая, ловкая фигура этого блондина с тонкими деликатными чертами, тёмно-синими глазами, пурпурными устами, выглядывающими из-под светлых шелковистых усиков.

Кажется, что каждое движение, доброжелательная улыбка молодого человека среди окружающих, говорит: «Oh! non! non, je ne suis point de ceux-la»[28] …

Одного взгляда достаточно, чтобы убедиться, что этот молодой человек и есть средоточие, в котором отразились убеждения целого сословия, убеждения, полные восторга, смешанного с каким-то обиженным изумлением.

И в честь этого молодого человека губернатор Западной Сибири, живущий в Омске, князь Пётр Дмитриевич Горчаков, и даёт этот щедрый пир. На берегу Иртыша сооружён огромный павильон, или, вернее, гигантское помещение с полотняными куполами и такими же стенами, украшенными венками из зелени и бантиками из красных лент.

Группа гостей состояла из омских штатских и военных сановников с их жёнами, сёстрами и дочерями. Хозяйкой приёма является *приятельница* князя Горчакова, генеральша Шрамм, некогда, похоже, очень красивая, а во время этого рассказа сохранившая лишь величественную осанку и только весьма скупые остатки былой красоты.

Довольно привлекательна и элегантна незамужняя дочь генеральши, именно та, к которой обращался молодой человек, декламируя стихи Виктора Гюго. Он постоянно её сопровождает, всё время с ней разговаривает, к общей зависти присутствующих дам.

Князь – хозяин приёма, не очень внимателен к приглашённым гостям, но это в его обычае, генеральша-хозяйка тоже, как обычно, обращается со всеми свысока, не исключая собственного мужа.

Только двое из присутствующих пользуются вниманием и сердечной гостеприимностью *Его Светлости* и *Её Превосходительства*: тот, кто читал стихи Виктора Гюго, и другой, немолодой мужчина, нисколько не похожий на упомянутого молодого человека и, тем не менее, являющийся его отцом.

Седой, бодрый, румяный, со старательно выбритым лицом, с блестящими щеками, обросшими жирком, и обвислыми бровями. Его владения простираются от самой Тамбовской губернии аж до

Крыма. Во всяком случае, сколько десятин леса, земли, и сколько душ ему принадлежат, он и сам точно не знает и, очевидно, не узнает до конца жизни. Разве что его единственный сын, Сергей, может, когда-нибудь владения измерит, а *души* пересчитает.

– Так, раз вы не знаете, сколько чего вам принадлежит, Владимир Андреевич, то крадут у вас, наверное, нещадно, – обронил кто-то, прислушивающийся к признаниям земского помещика.

Тот погладил напомаженной рукой пахнущую помадой же шевелюру, небрежно махнул рукой и, насмешливо усмехаясь, сказал:

– Похоже, похоже на то, что там и сям меня «пощипывают», а иногда и порядочно «царапнут». Но что делать? Ведь и *вору* жить надобно, ведь и *вор* тварь Божья.

Такое сочувствие к *ворам* вызывает шёпот удивления и умиления у присутствующих.

– Необыкновенный человек! Необыкновенный!

Затем «необыкновенный человек» с князем и генеральшей уселись в уединённом уголке, и он доверительно, приглушённым голосом, поверяет им свои заботы, причиной коих является его единственный любимый сын Сергей.

– Ибо должен я вам сказать, милейшие хозяева и приятели, ведь настоящая беда получилась оттого, что в Бозе упокоившаяся бабка Сергея, а моя светлой памяти мать, была француженкой.

Спросите, как это случилось, что русский дворянин из Тамбовской губернии женился на родовитой француженке? Отвечаю: мой, светлой памяти, родитель с войсками *коалиции* вступил в Париж (в ранге майора, полученном на поле брани).

В Париже познакомился с обедневшей барышней из высокопоставленной семьи, притом дивной красоты. И эту барышню мой родитель полюбил и женился на ней, и сразу же с жёнушкой вернулся в Россию, в тамбовскую деревню, подал в отставку, поскольку тяжкая рана, полученная в сражении, никак не успокаивалась. Французская маркграфиня привяла в имении российского вельможи, хотя ей разве что только птичьего молока не хватало, хотя муж пылинки сдувал с её малюсеньких ножек, на руках носил, припевая: «*Ах, милая, ненаглядная, ты мой целый мир!*». Но всё это ничего для неё не значило. Она тосковала и тосковала, и выплакала свои чудные глазки. Недолго погостила она на прекрасной российской

земле: подарив мне жизнь, умерла. Я точь-в-точь похож на отца, который тоже осиротил меня в детстве.

Я женился молодым и вскоре потерял любимую жену (верным её памяти останусь до гроба), и решил я единственного сына воспитать настоящим русским человеком и верным слугой трона.

А тут – глянь-ка! – представьте себе, мои милейшие хозяева и приятели: дух в бозе почившей бабки-француженки возродился во внуке Сергее. Он о России и не думает! Он только Францию и признаёт своей родиной! В Париже и учился. Хоть бы он не сумел применить в жизни все те науки, которые ему там вбили в голову, науки пустые, и, по моему пониманию, вовсе ненужные. В Париже Сергей и живёт постоянно. Ни о каком занятии или чине в России и слышать не хочет, а на свою родную землю и в родной дом заглядывает ненадолго только летом. И что он привозит в нашу старую, благопристойную Россию из этого нового Вавилона! Страх!

Мои благосклонные хозяева и наимилейшие приятели (скажу вам по секрету). Страх, что за *новинки* о *вольности*, о *равенстве*, о каких-то *правах человека*, о республике! У меня уши вянут и волосы на голове – дыбом, когда Сергей эти *новинки* пересказывает. И распространяет между *мужиками*… Они мне ещё двор спалят и разграбят… А Сергей хоженым трактом просто-таки набивается в Петропавловскую крепость или в Шлиссельбург, что, по моему мнению, было бы поделом. Он уже хотел и меня заманить в Париж. Так я привёз его в Сибирь, в надежде, что его соблазнит охота на медведя и понравятся края, якобы, совершенно неведомые в Европе. И, поскольку под вашим управлением, Пётр Дмитриевич, как я вижу, в Сибири весело и приятно, то, может, даст Бог, Сергей тут приживётся и подольше побудет.

Владимир Андреевич отёр пот со лба, устав от долгого монолога, зевнул и вздохнул. Генеральша Шрамм пододвинула ему серебряную чарку с ликёром и сказала:

– Женить бы его следовало.

– Ага! И я уже о том думал. У нас в России красивых и благопристойных барышень хватает. Я уж рассчитывал на княжну Т. или княжну В. Ведь мой парень – из старого боярского рода и красотой, землями и серебряными рублями Бог его не обделил, так что жену мог бы себе искать очень высоко.

Эти проекты генеральше не понравились, ибо в её материнском сердце зрели совсем другие намерения. Так что, укрывая недовольство усмешкой, обратилась к князю:

– Молодёжь рада бы потанцевать. А?

– Конечно, рада бы, – ответил князь.

Военный оркестр, разместившийся в углу павильона, сыграл кадриль. Сергей Владимирович пригласил генеральшу, подал ей руку, и за ними закружились пары. Потом он со своей дамой вышел из зала *pour prendre l'air*[29].

Стоял погожий июльский день. Солнце уже доходило до конца второй половины своего пути. Небо пылало, посылая светлые блёстки на Иртыш, который плыл величественно, только иногда всплёскивал, как будто всхлипывал…

Молодой человек смотрел на окрестности, хвалил их необжитость и меланхолическую красоту. На другом берегу Иртыша, со стороны киргизских степей, далеко, далеко, видны были какие-то чёрные подвижные точки.

– Что это? – спросил Сергей стоящего вблизи плац-майора, указывая рукой на движущиеся точки.

Василий Григорьевич Кривцов, одетый в парадный тесный мундир, напомаженный, красный, как бурак, сопя, как кузнечный мех, подтянулся и ответил:

– Это крепостные каторжане на работе, *Ваше Превосходительство*.

– Крепостные каторжане! – как эхо повторил Сергей Владимирович.

– Да, *Ваше Превосходительство*. У нас их 376 в *остроге*, – самодовольно подняв голову, добавил он.

– Триста семьдесят шесть! *Merci!*

Василий Григорьевич Кривцов низко склонился.

Пары остановились. Начали танцевать кадриль с огромным увлечением, энергично притопывая.

* * *

Весна выдалась хмурая и дождливая.

Иртыш вышел из берегов, и там, где берега были плоские, широко разлился по степи и покрыл дельту. Солнце и гулявшие по

степи ветры «выпили» воду из дельты, оставив только болотистые лужи.

Инженеры велели прокопать рвы, засыпать ямы, чтобы помешать дальнейшему разливу. Для этих работ использовали нас, каторжан.

Мы выходили из острога ранним утром и без отдыха работали до заката солнца, не возвращаясь в крепость на обед, поскольку это заняло бы много времени – мы работали далеко от крепости, и, кроме того, чтобы добраться до залитой водой части степи, нужно было бы переправляться на лодках через Иртыш. Кусок *чистяка*[30] и вода составляли наш обед.

Кроме тяжёлой работы и голода, пребывание на открытом, бескрайнем для взора просторе, на чистом, свежем, живительном воздухе, позволяло всем нам держаться бодро и даже не терять юмора. Даже Чеченцы и дагестанские Татары, обычно молчаливые, погружённые в унылую думу, в этой зелёной степи, в этой позолоченной солнечными лучами степи, повеселели, на ломаном российском отвечали на обращённые к ним шутки. Все болтали, не слушая друг друга, и притом бранились, бранились, бранились. Проклятья и взаимные оскорбления были излюбленным спортом каторжан, полным находчивости и фантазии.

В моё время в омском остроге находился молодой шляхтич В., осуждённый на 20 лет тяжёлых работ за убийство отца[31]. Он был уверен, что как только будет доказана его невиновность, ему вернут шляхетство, права, состояние, и в ожидании такого счастливого оборота дел безмятежно переносил свою мрачную участь, сотоварищам по каторге помогал коротать время, рассказывая «правдивые происшествия», как он говорил, в основном – фантастические рассказы о княгинях и о предках, о генералах и попадьях, о солдатах и земских помещиках, о влюблённых парах из высшего света.

Эти рассказы, полные фривольных, циничных сцен, излагались притом очень искусно, хотя и вполне понятно и доступно для тех, кто составлял большую часть слушателей. Если бы не заключение и каторга, я уверен, что В. стал бы знаменитым писателем.

Во время работ с участием В., последний, обрадованный видом степи, который напоминал ему родные края, резвился, как жеребёнок, и впадал в очередной приступ импровизации. Вначале слушатели

просто лучились от удовольствия, все, не исключая дозорных, падали со смеху, выражая своё восхищение окриками в адрес рассказчика:

– Ой! *Ты чернокнижник!*

– Ой! *Ты помесь жабы и ежа!*

– Ох, и силён он на язык, братья!

– Братья! – протестовал былой кантонист, один из поклонников В. – Что он тебе за брат? Ты с ним и штофа водки не выпил вместе!

– Кому брат, – прервал свой рассказ В., – а кому *Высокоблагородие*.

– Гляди-ка! *Высокоблагородие!* В кандалах, в арестантской *юбке*, с бритым лбом! – язвительно шутил *спиртонос* Газин. Смотри-ка, какой боярин!

– Молчи, рыбий хвост, уже набралось довольно всего, чтобы я разбил твой безмозглый лоб на куски! – грозил поклонник рассказчика, бывший кантонист, авантюрист геркулесовой силы.

В. заступается:

– Не грызитесь между собой, мои милые волчата, а то подавитесь собственными мослами, и до этого не долго, если будете грызть друг друга. На этом нашем земном шаре, знаете ли, это как в картах; каждый из вас не раз тасовал колоду карт. Так вот, нас, людей, судьба тасует точно также. Тот, кто вчера был на самом дне, завтра может взлететь на самый верх, а тому, кто наверху сидел, судьба может заявить: «Падай, дурак, на самый низ!». Так всё на свете и происходит. Поняли, дружки? Например, слушай, ты, Газин, если бы судьба захотела, я мог бы на этом самом рве, который собственноручно выкопал, я мог бы сесть в золочёную карету и на свой бритый лоб надеть боярский колпак, а тебе, Газин, выдать сто штофов горилки и три миски *пельменей*. А то, что я сказал, слышишь, ты, Газин, заруби себе на носу, чтобы запомнил на всю жизнь. А вы, дружки, поняли?

Нравственный смысл этой квази-философской речи наверняка для «дружков» был недоступен. Но выслушали её с явным удовольствием. Импонировать каторжникам было нелегко. В. это удавалось. Впрочем, все уже привыкли к его разговорам, и он не упускал возможности вести их к удовлетворению слушателей и прежде всего ради собственной потехи.

Когда с лопатами на плечах мы собирались повернуть к острогу, со средины реки долетела команда:

– Стать!

И тут же подплыл в лодочке ефрейтор, а с ним солдат с заряжённым оружием.

Ефрейтор сообщил, что плац-майор наказал, чтобы только часть арестованных отправить в острог, а остальных оставить для устройства иллюминации на берегу Иртыша.

Часть арестантов тотчас отослали с надзорным и конвоем. Над Иртышем остался ефрейтор, вооружённый солдат, мы, Поляки, политические преступники, рассказчик В. и каторжник Сиротко, принадлежащий к категории так называемых *каторжников всегдашних*, то есть осуждённых на пожизненную каторгу, притом не за какое-либо преступление, а за постоянное странничество.

В омском остроге в моё время, и вообще в Сибири, я встречал много таких «странников»[32]. Обычно это были неплохие люди, никогда и ни с кем не затевали споров, уступчивые, молчаливые, задумчивые.

Многие из них имели свою землю, дом, любимую и любящую родню; многие были работящие, умелые земледельцы или ремесленники; на первый взгляд, подобный «странник» ничем не отличался от всех, от всего его окружения, но вдруг без всякой логически объяснимой причины исчезал из виду всей деревни, города и родни, исчезал на месяцы, иногда на годы. На какое-то время появлялся дома, потом вновь уходил и, наконец, исчезал навсегда.

Такой странник ни на кого не нападал, не убивал, не крал, не причинял окружающим никакого зла. Укрывался в лесах, как первобытные люди. Скальные обрывы, опустевшие норы диких зверей служили ему укрытием. Он углублялся в пущу, брёл без всякого плана, без определённой цели.

Он обходил людские селения, приближался к ним только ночью, и то, только когда уже невтерпёж было от голода. Забирал лепёшки, которые сибирские крестьяне кладут летом перед окнами именно для таких странников, и тут же убегал в лес.

Пойманные впервые, подобные странники попадали в заключение, и из тюрьмы этапом доставлялись в *волость*. Но рецидивистов уже приговаривали к каторге.

А кто из странников попадался многократно, бывал осуждён на пожизненную каторгу.

Что гнало в бескрайние пущи, в глушь непроходимой тайги, безоглядное одиночество таких добровольных странников?...

Инстинкт первобытных людей? Неизбывный поиск чего-то неведомого? Или особая индивидуальность, которая не могла прижиться в обычных, повседневных условиях жизни и окружения? То ли неутолимая жажда познания невиданных городов и околиц, та же жажда, что зовёт во льды и морозы путешественников и первопроходцев?

Кто ж отгадает?

Мы не могли этого понять, хотя Сиротко, наш товарищ по омской каторге, и был таким типичным странником. Он также имел неплохое хозяйство и многочисленную родню, но его никто не проведывал, никто о нём не спрашивал. Сам о себе он молчал, как могила. И вообще не был охоч до разговоров, ничего его не беспокоило, он был равнодушен ко злу, что его окружало, но пожизненное наказание выставляло его на постоянное общее обозрение, с которым он должен был, но, наверное, не мог примириться.

При первом ударе барабана каждое утро Сиротко вскакивал с *нар*; одевался очень быстро, своё нехитрое ложе и убогое «имущество» складывал аккуратно, а потом молился, и бил поклоны перед образами святых чудотворцев, развешенными в каземате.

Ел он быстро и мало, водки никогда не пил, хотя за это его донимали насмешники; к сотоварищам он относился благожелательно, то есть был из наиприятнейших личностей в остроге и мы, Поляки, питали к нему искреннее сочувствие и симпатию.

Походное оборудование иллюминации пошло быстро, ибо всё это происходило далеко не впервые: князь-губернатор, галантный почитатель, часто затевал иллюминации над Иртышем, для развлечения генеральши Шрамм. Сегодня он развлекал особого гостя, и иллюминация должна была быть особой.

Перед павильоном горели разноцветные лампочки и китайские фонарики, далее пылали походные факелы, которые выстроились в длинный ряд.

От реки веял холодный ветер. Мы очень устали, озябли и были голодны. Мы завидовали *байгушу*[33], который расстелил на земле

кусок коровьей шкуры и ночевал в этой переносной юрте, подкрепившись какой-то едой, и грелся у огонька, который перед юртой развёл из сухих трав и степных будылей.

От павильона долетали звуки танцевальной музыки, разговоры и громкие тосты.

Вдруг ефрейтор, прогуливаясь вдоль берега Иртыша, наткнулся на что-то, лежащее на земле, и это *что-то* поднял. Это оказались кандалы…

– Каторжник убежал! Вы, там, каторжники, становись во фрунт! – пронзительно крикнул он, подошёл и принялся считать:

– Мирецкий, Богуславский, Бэм – есть! Анчиковский, Токаржевский – есть! Поляки все на месте! *Слава Богу!* Отцеубийца есть, итак, кто же, к чертям собачьим… Ага! Сиротко убежал, сукин сын! А!

Обернулся к конвойному солдату, который до сих пор стоял, опираясь о карабин:

– Стреляй! – скомандовал ефрейтор.

Стражник выстрелил. Из-за реки, от павильона, ему ответили второй, третий, четвёртый выстрелы. Потом две лодки с солдатами выплыли на Иртыш и гребли к нам, что есть мочи.

– Каторжник сбежал! Каторжник сбежал! – кричал ефрейтор.

Одна лодка повернула со средины реки к павильону, вторая быстро подплыла к нам.

Выстрелы встревожили князя-хозяина приёма и его собеседников. Начался общий переполох, будто стотысячная неприятельская армия стояла тут, прямо за порогом.

– Каторжник сбежал, *eh bien!*[34] Надо его найти, поймать и отправить в крепость! – смеялся Сергей Владимирович. – И это сделаю я.

– Ради Бога! – закричала генеральская дочь. – Что вы задумали?

– То, что я сказал, mademoiselle: найти беглеца, поймать его и отправить в крепость, – господин поручик, не мог бы я попросить у вас лодку?

– Сейчас найду! – ответил тот.

– Весьма благодарен, господин поручик, и заранее спасибо.

Не помогли стенания женщин, увещевания отца и князя Горчакова, Сергей Владимирович стоял на своём.

С несравненной любезностью кланялся дамам, прижимая ладони к сердцу, благодарил за оказанные ему приязнь и беспокойство.

– Пожалуйста, уважаемые и милые господа и дамы, за меня можете быть спокойны, – говорил он, усмехаясь, – грести я умею прекрасно, а плаваю как Левиафан. На всех пловецких и лодочных состязаниях в Оксфорде всегда получал первые призы. Притом, Иртыш сейчас такой спокойненький!

– Да! В эту минуту, но он изменчив, и, когда ему вздумается, он очень умеет брыкаться. Он бывает капризным и ему нельзя доверять, – как женщине, – сказал кто-то.

– Ну, с Иртышем я справлюсь и… со всем остальным, – рассмеялся Сергей Владимирович.

Несколько офицеров вызвались его сопровождать.

Он упрямо отказался.

– Поеду сам, прощайте, дорогие господа и дамы, а, вернее, до скорой встречи. С вашими добрыми пожеланиями ничего дурного со мной случиться не может. Я уверен.

Ушёл.

Его сопровождали взоры увлажнённых глаз отца, который, возбуждённый щедрыми возлияниями, с трудом сдержал громкое всхлипывание.

Женщины и мужчины славили *храбреца*. Он отдалялся, стройный и элегантный, в своей необычной одежде, в белых шёлковых носках и французских башмаках, высокие каблуки которых раскидывали камешки с побережья.

Ему подали две лодки, карабин, пистолеты и охотничий нож. Несколькими взмахами вёсел Сергей отогнал лодку на средину реки. И уже по движению рук было видно, что этот красивый юноша обладает стальными мускулами, а, значит, и недюжинной силой.

На корме лодки, на высоком шесте, висел фонарь, и лодка плыла по Иртышу, как птица с огненным клювом.

Ночь была безлунная и беззвёздная. Над околицей и рекой носились белые, волнистые испарения. Над степью царила торжественная тишина. Слышалось только шипение факелов, а из глубин Иртыша временами – как бы всхлип или стон…

И на другой стороне реки, в ярко освещённом павильоне, угрюмое молчание сменило шум весёлых разговоров, танцев и громкую музыку.

Всем казалось, что какая-то грозная катастрофа зависла над этим кружком, минутой ранее таким весёлым и беззаботным.

Местами шептались:

– Надо было его задержать силой! Нельзя было его отпускать!

Участник этого приёма, лекарь Борис, который после моего увольнения с каторги рассказал мне всё то, что тем вечером происходило в павильоне, думал:

– И зачем только этот паренёк набивался на такую очевидную опасность? Или, действительно обуреваемый французскими *новинками*, он отправился не ловить беглеца, а помочь ему, и, считая, что тот – политический преступник, облегчить и в дальнейшем его участь? Может быть, может быть и так! Ведь он с таким сочувствием, с таким пылом, с таким порывом декламировал: «О! Я не такой, как те!»…

Не получив от нас никаких вестей, встревоженный ответственностью за побег Сиротко, ефрейтор задержал нас над Иртышем, под стражей прибывших из павильона солдат.

Наши мысли и добрые пожелания, конечно, сопутствовали Сиротко, но никто из нас не смел поделиться своими чувствами с товарищами и никто не позволил себе вымолвить ни звука.

И в тишине слышна была только размеренная поступь стражников и голос ефрейтора, который временами командовал:

– Чтоб все налицо! – и ежеминутно пересчитывал заключённых, стоящих чередой:

– Мирецкий, Богуславский – есть! Бэм, Анчиковский, Токаржевский – есть! Отцеубийца есть! Все здесь! *Слава Богу!*

С противоположного берега лодка привезла нескольких сановников.

– Помилуйте! – выговаривали они ефрейтору. – С тех пор, как существует омский острог, никогда ещё каторжников не оставляли ночью на работе. Что за новая дурость, новая мода!

– Плац-майор велел сколько-то их поставить на иллюминацию, чтоб следили за факелами, – оправдывался ефрейтор.

– Надо было около факелов поставить солдат.

– Плац-майор сказал поставить каторжников.

– Ать! Плац-майор! Плац-майор! Он *пьян*, он же Божьего света не видит… А всё свалит на вас. И как вы теперь доставите их в острог?

– Наверное, на лодках.

– А, вот подошла большая лодка. *До свидания*, Прокоп Афинкиевич!

– До свидания, господа!

Урядники отплыли.

От павильона доносился лёгкий шум. На нашем берегу залегла тишь.

Вдруг грохнул выстрел. Эхо донесло его издалека, потом ещё пару раз – и снова угрюмая тишина, оповещающая, что началось решительное действие и что близится развязка трагедии.

Вскоре после выстрела на средине Иртыша плеснули вёсла…

Рожок нового месяца как раз показался из-за облаков и осветил лодку и гребца…

Это был Сергей Владимирович.

Он сидел на скамейке, ритмичными взмахами сильных рук загребал вёслами. Красные отблески остеклённый фонарь посылал на гладкое чело молодого человека, и они походили на кровавые полосы. И вся фигура Сергея Владимировича в этих красных отсветах казалась овеянной кровавым туманом…

Лодка посреди реки неслась быстро, как птица. Около неё, притороченный тросом, плыл труп, с обритой до половины головой и раскинутыми руками. Лежал навзничь, в порванной рубахе, с насквозь простреленной грудью, где кровенила глубокая рана.

Течение несло труп, слегка его колыхая… Мы узнали нашего товарища по каторге… Это был Сиротко.

Рожок месяца скрылся за тёмной пеленой туч… Лодка быстро плыла дальше, её несли волны. Красный фонарь освещал ей дорогу.

Сергей Владимирович удерживал труп в равновесии, то притягивая его, то отталкивая веслом от лодки.

Возвратившегося Сергея Владимировича встретили неописуемые восторги. Все поздравляли победителя.

Оркестр играл радостные мелодии и победные гимны. Гости толпой вышли на берег поглядеть на осязаемое свидетельство подвига

Сергея Владимировича: на останки несчастного странника Сиротко.

– И как же вы поймали этого *мерзавца*? Расскажите, Сергей Владимирович, просим!

– Как поймал? О, без всякого труда. Плыву, гляжу вокруг себя. Среди надбрежных зарослей заметил что-то белое[35]. Что это? Крикнул. Стоит недвижимый. Глядит в облако, недвижимый, как палка. Кричу. Ничего! Подплываю к нему… Приглядываюсь: обритая до половины голова, двухцветная одежда каторжника… Конечно же, сбежал из острога. После нескольких моих окриков он устал стоять, повернулся и хотел бежать. И тут я – паф! И… всё. Так что получайте. *Le voila!*[36]

– *Heros! Герой!* – неустанно выкрикивала толпа.

Эхо доносилось до нас, через Иртыш неслось по степи.

Отец богатыря-победителя, Владимир Андреевич, поплакивал, так он был растроган и доволен.

– Это уже третий! – повторил он, потирая руки. – Это уже третий!

– Как это третий?

– А вот так! Сбежал у нас конюх и мы не могли его найти и поймать. Конюх был мой слуга и крепостной. Приехал на его беду мой Сергей из Парижа. Конюха выследил и управился с ним, как с этим вот, что лежит на берегу. Второй раз повезло моему Сергею в нашем имении в Черниговской губернии. А это уже третий.

И помещик Тамбовской губернии, Владимир Андреевич, сиял от радости и гордости, и всё повторял:

– Это уже третий!

Князь-хозяин вечера иронично прищурил глаза и усмехался под усами, слушая этот рассказ. Губернатор Западной Сибири, Пётр Дмитриевич, князь Горчаков, был вольтерьянец, циник и распутник, но одновременно человек разумный и опытный. Он подошёл к помещику из Тамбовской губернии и, положив ему руки на плечи, сказал:

– Не огорчайтесь, дорогой приятель, Владимир Андреевич: хоть ваш единственный сын и обучался в Париже, хоть он и любит *новинки*, но ни «хоженый тракт», ни Петропавловская крепость, ни Шлиссельбург ему не грозят. Он не будет также придумывать

новые законы, ни новые политические догмы. Отгуляет в Париже, в этом новом Вавилоне, как называют столицу Франции, и вернётся в нашу прекрасную отчизну. Полюбит образ жизни российского человека, похлопочет о чине и орденах – и получит их…

В перелёте

– Вообще-то могло быть хуже, гораздо хуже, – рассказывал Гервазий Гзовский[37], – не смейтесь, дорогие мои, ведь не один из вас, попробовав того хлеба, хорошо знает, на каком яде и полыни он был замешен, так что повторяю: всё могло быть гораздо хуже.

Мы рассмеялись, ибо среди нас – сплошь оптимисты. Но Гервазий Гзовский был, пожалуй, самым неисправимым. В любой беде он искал положительную сторону. На каждого из нас находило настроение, когда обуревала мысль: «Надежды тщетны! Всё ни к чему! Всё пропало!».

У него таких минут не бывало. Он закалил свою душу таким панцирем оптимизма, что отчаяние в неё пробраться не могло никогда.

Дважды каторжник и дважды поселенец, уже в преклонном возрасте, а всё ещё полон был надежд, что вот-вот настанет минута, когда в Отчизне минут последние годы исковерканной жизни и он поселится в тихом доме и станет рассказывать молодёжи о том, что пережил в прошлом, в далёких азиатских пустошах.

По его мнению, всё это должно исполниться, а пока он рассказывал нам, своим товарищам-изгнанникам, многие свои приключения.

После освобождения с каторги в Нерчинске, Гервазий устроился на службу к Глебу Евдокиевичу.

Тот был владельцем многих десятин урожайной, поистине девственной земли, значительного оборудования, многочисленных стад скота и конских табунов, зажиточного хорошо обставленного дома, так что среди мужиков Глеб Евдокиевич был истинным богачом.

Но, несмотря на это, обуяла его febra aurea[38], – болезнь, что водится и в сибирских пустошах, так что он и сам работал без устали, и своему работнику продыха не давал.

После целого рабочего дня, летней порой, Гервазий должен был проведать пасущихся на лугах коров и коней.

Если повсюду «король полишинелей и мотыльков» очень часто круто обходится с животными, то дети сибирских мужиков в своей жестокости превосходят ровесников на всём земном шаре. Трудно было бы интеллигентному европейцу представить изощрённые мучения, которые маленькие сибиряки изобретают для беззащитных животных, которые ещё не могут и не умеют защищаться.

Однажды Гервазий спас из рук таких юных палачей щенка, выходил его, выкормил, отдавал большую половину еды, которую получал сам, и назвал его *Приятель*. Щенок вырос в огромного пса, который в доме и в поле неотступно следовал за Гервазием и был ему очень полезен, загоняя коней и рогатый скот, когда они разбредались слишком далеко от пастбища.

Когда пригнанный скот ложился на покрытый росою луг, пережёвывая, и кони со связанными передними ногами продолжали щипать траву, которая была им по вкусу, Приятель быстрым взглядом окидывал своих подопечных и принимался их сторожить.

А Гервазий в это время раскладывал подстилку под деревом, ложился и спокойно засыпал, уверенный, что под охраной верного пса со стадом ничего не приключится, что оно не разбредётся по соседним лугам.

Этот сон на мягком ложе из трав, под тёмно-синим небесным балдахином, овеянный живительным благоухающим воздухом, при свете молодого месяца и звёзд, казался необыкновенной роскошью по сравнению с ночлегом в кухне на *полатях*[39] в духоте, проникнутой запахами жира, квашеной капусты и потом спящих рядом сотоварищей.

И, конечно, в известной мере Гервазий был прав, когда говорил:

– Я мог бы получить службу гораздо хуже, чем у Глеба Евдокиевича.

Когда Гервазий засыпал крепким сном усталого человека, Приятель бдил, вполголоса ворчал, если кто-то из стада вёл себя непривычно, а то иногда и на месяц, если по его собачьему разумению месяц светил ему слишком сильно в глаза.

Как-то Приятель так заворчал, так настороженно поскуливал, что проснувшийся Гервазий поднялся и встревоженно оглядел всё вокруг.

Первое подозрение было: конокрад. Мог ведь бродячий любитель чужой собственности распутать ноги какому-нибудь коню и на нём же ускакать… И тогда – лови ветер в поле!

Гервазий обошёл луга в долине, окружённой скалами, с одной стороны речка и лес, а с другой скалистая стена – нигде живой души не встретишь.

Беспрестанное ворчание и настороженность Приятеля показались Гервазию странными. Возможно, просто необъяснимым собачьим настроением, но уснуть он уже не смог. Сам же испытывал какую-то тяжесть, которую ничем не мог объяснить, какое-то смутное предчувствие, будто душу его сжимали тиски. Тогда он сел и принялся петь молитву о помиловании Божьем.

Гервазий Гзовский обладал голосом, именуемым в музыке: *basso profundo*[40]. Хоть голос был необработанный, но на диво приятный и мягкий.

И там, за пределами цивилизованного мира, среди тайги и сибирской пущи, где не ступала нога цивилизованного человека, зазвучал мощный хорал:

Святый Боже, Святый Всевластный,
Святый Вечный и Бессмертный,
Смилуйся над нами!

Это пение парило над скалами, над лугами, посеребрёнными жемчужной росой. Тысячи раз повторяло его эхо… Тысячи раз:

Боже Святый!
Смилуйся над нами…

Когда Гервазий поднялся к скале и перестал петь, он уже успокоился и был готов стать лицом к лицу с любой опасностью, которая, – как ему казалось, – таилась за скалистыми стенами, грозя: иду!... иду, чтобы тебя обездолить.

Пёс ворчал, не переставая.

– Тихо! – успокаивал и ласкал его Гервазий, который всегда говорил с ним по-польски. – Тихо, пёсик, дай мне сообразить, дай понять, что тебя так сердит, что беспокоит?

Послушный Приятель прилёг у ног Гервазия, но шерсть у него встала дыбом и глаза гневно сверкали.

В торжественной тишине благоуханной и тёплой июньской ночи слышно было лишь тихое журчание маленького водопада, около которого рос одинокий коровяк, или медвежье ухо, колыхаясь на своей тонкой стройной ножке, усеянной бледно-жёлтыми цветами.

И от этого водопада, что ниспадал из двух скальных разломов, до ушей Гервазия долетел как бы вздох, такой тихий и заглушённый, что сразу показался лишь игрой воображения.

Вздох повторился второй, третий раз, а потом очень тихий, очень мелодичный голос сказал:

За Родину я жизнь отдам,
Я так предчувствую, я знаю.
И за то, Великий Боже,
Тебя в душе благословляю.

Это была первая строфа песни, очень распространённой среди высшего общества во время Николая I, то есть когда Гервазий Гзовский первый раз прибывал на каторгу и поселение.

Эту песнь Рылеева он прекрасно знал.

Он не раз и сам пел её. На Нерчинской каторге её пели хором Поляки и Россияне. Но услышать её тут, среди ночи, в стороне, далёкой от хоженых дорог, в далёком краю, это либо привидение, либо галлюцинация, принесённые ему эхом из дальних стран и из давно минувших лет…

Но нет, однако! Голос повторил: «За Родину я жизнь отдам, я так предчувствую, я знаю. О! Бог Великий, я за то тебя в душе благословляю».

Голос повторял эти строки всё громче и разборчивее, но, видно, уже из последних сил.

– Ищи! – велел Гервазий Приятелю, который несколькими скачками добрался до водопада, остановился у расщелины в скалистой стене и радостно взвизгнул, словно хвастаясь, что так легко справился с приказанием.

За собакой последовал Гервазий.

В широкой расщелине скалы, опираясь плечами об отвесную скалистую стену, сидел мужчина.

Высокий, хорошо сложенный и ещё не старый; но такой худой и измождённый, что казался лишь тенью человека. Щёки его ввалились, грудь впала. Только глаза блестели горячечным возбуждением. Волосы его были светлы и шелковисты, припорошенные сединами, причёсанные неровно, с одной стороны длиннее, чем с другой. У него были маленькие изящные ступни, малы и изящны также руки, но огрубевшие, как у людей, занятых тяжёлым физическим трудом.

Одет он был в длинный тонкого сукна обносок, который некогда, наверное, был *николаевским* плащом. Всё остальное – грязные потрёпанные тряпки.

– Брат! – сказал он. – Мы поняли друг друга через песню и молитву. Я знаю хорал, который ты пел… Я знал Варшаву и было у меня там немало добрых, сердечных друзей: Гжимайло, Кжижановский, Андрей Плихте, и много, о! очень много других… Поскольку ты тут, значит, шли мы одной или близкими друг к другу дорогами. Это точно! Хочешь знать, кто я?

– Нет! Нет! – вскричал Гервазий. – Не хочу знать ни твоего имени, ни откуда ты идёшь и куда направляешься. Я ничего не хочу видеть, ничего! Ничего! Ради Бога, не будем тратить время на разговоры, тебе очень нужна помощь, брат! Говори, что тебе, прежде всего, необходимо?

Путник обнял Гервазия и с волнением прижал к груди. Он горячо целовал его лицо, голову и в смятении вымолвил:

– О! что мне прежде всего надобно… О! чего я страстно желаю… Боже! Сколько же лет я не видел Человека.

Гервазий с лихвой отвечал на объятья. Однако, сильный и здоровый, он первый сумел совладать с этим нервным взрывом чувств, и, легонько высвободившись, сказал:

– Догадываюсь, ты голоден и устал… Вижу, тебе нужны бельё и обувь. А я, брат, могу всё это тебе доставить. Только мне надо добежать до дома. Позволь, я отлучусь. Вернусь возможно скорее.

Они опять обнялись. Гервазий подостлал незнакомцу накидку, чтоб ему удобно было отдыхать. Приятелю же наказал оставаться рядом и сказал:

– Сторожи!

Пёс махал хвостом и радостно поскуливал, будто благодарил за доверенные ему обязанности. Потом полизал руки и ноги путника, что должно было обозначать заключение акта знакомства между ними, уселся рядом со своим новым приятелем, одновременно и не отводя глаз от стада.

Гервазий удалился быстрым шагом.

Дом Глеба Евдокиевича, как и вообще дома сибирских крестьян и все их хозяйственные постройки, окружал острый частокол, и главный ход был со двора, к которому вёл проход, обычно запертый на ночь.

Гервазий, взволнованный встречей с человеком, который, по его соображениям, не мог быть не кем иным, кроме беглого политического преступника, перескочил через частокол, размышляя, каким образом раздобыть немного молока и хлеба, потому что о других припасах среди ночи нечего было и думать. Необходимо сейчас же подкрепить хоть чем-нибудь умирающего от голода и усталости путника.

Счастливый случай помог страстному желанию Гервазия поддержать незнакомца.

На лавке под стеной, украшенной деревянной резьбой, сидела какая-то фигура. Маленькая, сгорбленная, в свете месяца, выглядела она, как ведьма. Но Гервазий её не испугался, ибо это была хозяйка и совладелица дома: жена Глеба Евдокиевича, Татьяна.

Была она весьма почтенной женщиной. Работящая, некогда очень красивая, строгих правил, – то есть такой цветок, что редко цветёт среди сибирских крестьянок, – всей душой любящая дочку и мужа. А он её почему-то смертельно ненавидел, оскорблял, и нередко бывала она бита, хотя никаких поводов к тому не давала.

Татьяна сама оправдывала крутой нрав мужа. Когда кто-нибудь жалел её за то, что муж так издевается над ней, говорила:

– Заслужила! Ой, заслужила! Не родила ему сына. И дочку ему родила неудачную.

«Неудачная дочка» была красивой, светловолосой и черноглазой девицей, расторопной и смышлёной. Её красота в любом цивилизованном крае могла бы покорить самый изысканный салон.

В Сибири иные вкусы.

Там в чести женщины высокие, дородные, румяные и сильные.

Не раз, возвращаясь с какой-нибудь гулянки, Глеб Евдокиевич яростно нападал на жену:

– Соседи говорят, и поп, и попадья, и дьяк, все говорят, что наша дочь и фунта лебяжьего пуха не весит. Дохни и с ветром через окно в тайгу выскользнет… Так все говорят, а я должен слушать. А что я могу сказать, коли это правда. Должен молчать и выставлять водку, штоф за штофом, чтобы себе пасти залили, и всё из-за тебя, нечестивая!

И разъярённый пьяный мужичишка пинал сапогами и в беспамятстве немилосердно бил кулаками несчастную женщину.

Она принимала истязания покорно и только стонала, заливаясь слезами.

– За дело! За дело! Не родила ему сына, а дочь родила неудачную.

У Татьяны был необычайно покладистый характер. Отвергнутая и замученная, она полностью предалась набожности.

Молилась по книжке и по памяти твердила молитвенные слова, не раз просыпалась по ночам и снова молилась. По собственной воле, без принуждения, сама на себя налагала тяжёлые епитимьи, за то, что не было у неё сына. Только после долгих *молебнов* в церкви, возвращалась с улыбкой и удовлетворённая. А уж для церкви, для попа и дьяка, была наищедрейшей прихожанкой. Поскольку дом, земля, оснащение были приданным самой Татьяны, Глебу Евдокиевичу, по крайней мере, хватило сообразительности, хоть в этом не ограничивать жену, да и сам он горстями черпал из её шкатулки.

Гервазий Гзовский питал к Татьяне искреннюю симпатию и уважение, хвалил в глаза и за глаза её доброту, спокойствие, расторопность, домовитость, и рассказывал, что в далёких краях её «доченька» прослыла бы чудом красоты.

Это заставило сибиряков задуматься, и если не убедило полностью, что девушка хороша собой, то, по крайней мере, хоть на время ограждало её от насмешек и издёвки.

Поэтому Гервазий был любимцем обеих женщин.

Как-то в воскресенье, когда Глеб Евдокиевич, как обычно, председательствовал *в кабаке*, на гулянке, Татьяна позвала Гзовского на

ступеньки, что вели в *горницу* и совершенно пустую спальню, с постланными под лампой кроватями, в которые никто не ложился, и служили они только как дорогое и нарядное украшение.

Она повела его в альков. Здесь были спрятаны самые ценные предметы. Открыла окованный железом сундук, – своеобразный склад реальных и духовных ценностей дома, со дна сундука вытащила какой-то предмет, обёрнутый в серебристую парчу, обвязанный золотым шнуром, и взволнованно вынула из-под оболочек большой лист бумаги, с победным выражением лица вручив его Гервазию.

– Что это? – спросил он, не понимая и не умея прочесть текста, которым был исписан лист.

Бледное, увядшее от слёз личико Татьяны просияло и покрылось горячим румянцем, сияя какой-то выспренной благостью.

– Это паспорт в небо! – сказала она.

– ?

– Да! Паспорт в небо! Сегодня я получила его от попадьи. На нём подписи разных попов и архимандрита из Москвы, и церковная печать. Я этот паспорт ждала целый год, и стоил он мне порядочно (она назвала, по мужицким достаткам, огромную сумму). Но зато сейчас я могу умереть спокойно, потому что знаю, что меня сразу же пустят на небо.

Гервазий сильно сомневался в истинности подписи архимандрита и пяти церковников, но было бы просто жестокостью разочаровать совершенно счастливую бедолагу в «действенности» документа, и он сказал только:

– Ну, паспорт каждому человеку нужен. Но вас, Татьяна, и без паспорта архимандрита сразу же примут на небо. Потому что Христос пообещал корону небесную всем, кто на земле носил терновый венец, кто терпел безропотно, а вы, я знаю, далеко не счастливы.

– Нет! Я несчастлива, известное дело! Но ведь по справедливости! По справедливости, потому что не родила ему сына…

С глубочайшим почтением поцеловала она *паспорт* с подписями попов и архимандрита, обернула и укрыла на дно сундука.

С этого воскресения Татьяна лютые преследования Глеба Евдокиевича сносила с безмятежным лицом, только молилась ещё горячее и чаще бывала в церкви.

Увидев Гервазия в такую необычную пору, когда он должен находиться в лугах, Татьяна встревоженно спросила:

– Что это вас привело с пастбища? Может, какая скотина заболела?

– Оборони Бог! Весь скот здоров, пасутся и носятся по лугу.

– *Слава Богу! Слава Богу!* – и трёхкратно перекрестилась после трёхкратного поклона перед иконами, повешенными над крыльцом, и начала шептать какую-то благодарственную молитву.

Горя от нетерпения, Гзовский прервал её молитвенный экстаз.

– Что меня пригнало с пастбища, спрашиваете добрая пани Татьяна? Отвечаю: голод, любезная хозяйка. Глеб Евдокиевич засиделся сегодня у старшины, так что я должен был поработать и за себя, и за него. Так что сегодня я, правда, не обедал.

– Ясно! Ясно! Значит, вы не обедали сегодня. Значит, надо вам дать чего-нибудь перекусить.

– О том я и прошу!

– Дам, дам, *миленький!* Но что вам дать?

– Хоть бы что, мне всё равно… Хотя нет! Дайте мне, уважаемая хозяйка, молоко, хлеб, хоть капельку водки.

– Святой Николай Чудотворец! Почему это только капельку? Принесу целую фляжку, и кусок мяса тоже не помешает.

– А как же! Чтоб мясо могло помешать! – рассмеялся Гервазий, осчастливленный щедростью доброй женщины. – Только прошу вас, поспешите, хозяюшка, а то мне надо быстро вернуться на пастбище, чтобы, пока меня нет, со скотом чего не случилось.

Татьяна побежала в кладовую, Гервазий – к своему кофру.

Нервными движениями вынимал бельё, обувь, мыло, гребень, сибирскую куртку, какую сам носил, даже бутылочку одеколона, которая много лет оставалась не откупоренной. Всё это связал в узелок, который перекинул через частокол, чтобы Татьяна не заметила. Она тоже вскоре пришла с корзинкой, полной съестных припасов в таком количестве, как будто предназначалось для побега из осаждённой крепости.

Между двумя высокими скалистыми стенами ущелье заламывалось трёхкратно, а за ним широкая горловина открывала вид на просторные луга.

Возвращаясь с узелком и корзинкой, Гервазий в этом ущелье почувствовал страшное волненье.

Приятель ожесточённо лаял.

– Может, погоня напала на след беглеца?

Но нет! Он вдруг увидел, что это был просто спор Приятеля с конём, которому вздумалось перескочить через демаркационную линию пастбища.

Пёс пытался не допускать такого нарушения, с ощеренными клыками, ворча и повизгивая, он заступил дорогу коню, подскакивая до самых его губ. Конь умело вывёртывался то в одну, то в другую сторону. Наконец, ему, видно, надоело пререкаться с Приятелем, или он понял, что сопротивляться бесполезно, а, может, вспомнив: «Умный глупому уступает», повернулся, энергично взлягнув, принялся щипать траву, и удалился в противоположную сторону.

Приятель постоял ещё минутку, оглядел стадо, не предпринимает ли какая-нибудь скотина «революционных» действий – несколько раз тявкнул, так, для острастки, и возвратился на свой пост около путника, которого стеречь и защищать поручил ему Гервазий.

* * *

С момента появления путника, Гервазий Гзовский жил как бы двойной жизнью. Косил траву, занимался жатвой, свозил и укладывал в снопы, пахал, чистил инвентарь, чинил испорченные сельхозинструменты, прытко исполнял все те обязанности, которыми, воистину, сверх меры нагружал его непонятливый хозяин и кормилец, – но все эти работы он выполнял машинально, как бы в полусне.

В то время как Гервазий сновал по полям и дорогам, по дому и хозяйственным постройкам во владениях Глеба Евдокиевича, мыслью, душой, всем сердцем он пребывал рядом с незнакомцем, что укрывался в скалистом ущелье у водопада на лугах.

Гервазий называл его путником. Он не хотел знать его имени.

Хватало того, что с каждым днём возрастала уверенность, что оба они люди равного нравственного и умственного уровня, одинаковых убеждений, стремлений и надежд, и вообще, что пострадали во имя одной и той же идеи.

Приодевшись, путник оказался ещё довольно красивым мужчиной. Изящество в обхождении и способе выражаться выдавали человека высшего общества. Некогда был он богатым помещиком Московской губернии, но чаще пребывал в Петербурге. Тесные связи объединяли его с Сергеем Муравьевым и с Рылеевым, настолько, что он оказался в Сибири.

Гервазий сразу же рассказал ему о своей деятельности и происшествиях его биографии.

И после этих взаимных признаний оба приятеля переносились в сферы утопии, сферы, которые являются единственным убежищем душ исстрадавшихся, совершенно одиноких, пребывающих в бесконечной тоске.

Если бы кто-нибудь спросил Гервазия, сколько дней он так прожил, вряд ли бы он ответил.

– Дней? Я днём как сонный или как бездушный автомат. Я живу только вечером и ночью в обществе путника, на лугах у водопада.

А тем временем наступила осень. Холода и ненастья бывали, порой, такими, что невозможно было погнать стадо на пастбища.

И щель в скале уже не была приятным и безопасным убежищем. В любую минуту мог начаться снегопад, засыпать путника и попасть на пойму уже было бы невозможно.

И тогда, что стало бы с путником?...

Расставанье приятелей казалось неизбежным. Первым заговорил об этом путник и предполагал, что в одежде *мужика* поищет работу, доберётся до Кавказа к ещё не подвластным России горцам. А оттуда уже нетрудно будет податься в Турцию. Тогда он напишет родственникам Гервазия, а те пришлют ему из Польши вести о приятеле, который спас ему жизнь… А, может, и Гервазия уже освободят, и позволят вернуться на родину. Тогда они могли бы общаться без всяких посредников.

Это были проекты столь же иллюзорные, как бледные огоньки, что носятся над болотом, – но за неимением более позитивных идей, приятелям приходилось довольствоваться этими.

Одежду, деньги, пистолет достал Гервазий. И как-то ночью после тесного сердечного долгого объятья они расстались.

Путник ушёл. Несколько раз оборачивался, пока ступал по долине. Перед лесом обернулся в последний раз. Снял шапку… Махнул

белым платком… Потом его стройная, крепкая фигура погрузилась в лесную гущу…

Гервазий Гзовский остался один…

А была эта ночь такой же ясной, лунной, только холодной, как тогда, когда Гервазий пел хорал, взывающий о помощи, и когда познакомился с путником. Но вместо жемчужной росы на лугах лежал иней, и водопад шумел уныло, будто жалуясь, что вскоре зима скуёт его ледяными оковами.

Тонкий лёгкий стебель коровяка колыхался перед скалой, уже утратив нежные свои цветы и листики.

Отовсюду веяло печалью, тоской, запустением…

Гервазий с тяжёлым стоном пал около опустевшего укрытия путника. Одиночество угнетало его теперь с двойной тяжестью.

* * *

Хотя «дочь» подвергалась насмешкам из-за её хрупкой фигуры и деликатной красоты, но слава о богатстве её родителей разнеслась далеко, так что претенденты на приданое и руку наследницы Евдокиевичей являлись даже из дальних окрестностей.

Тихая прежде усадебка наполнилась весельем и жизнью, о! даже сверхмерной оживлённостью.

От Нового Года до Крещения, по сибирскому обычаю, вся деревня устраивала «маскарады», состоящие в том, что парни и девчата в смешных и странных одёжках повязывались яркими платками, закрывающими голову и лицо, и с песнями и криками бегали от дома к дому, кто, никем не узнанный, выдумает самые непристойные выходки и самые смешные нелепицы и больше всех насмешит, тому достаются аплодисменты и общее восхищение. Обычно такие «маскарады» кончаются ссорами и кровавой дракой, потому что если ряженый кого-нибудь слишком обсмеёт или *наступит на гонор*, то он вынужден защищать себя кулаками от обиженных. И хотя льётся кровь, и друг другу выбивают зубы – ничего! Всё равно эти забавы ряженых один из самых излюбленных праздников у сибирских мужиков.

Татьяна, как *матушка*, которая «не родила мужу сына», тоже служила мишенью для насмешек и издёвки ряженых, которых Глеб щедро одарял, но добрая женщина терпеливо сносила все шутки и

в доме Евдокиевичей никогда не случалось драк. Понемногу этот дом стал излюбленным местом сборищ, поскольку славился обильным угощением, на которые добрая хозяйка не скупилась, не ожидая от соседей ответных приглашений.

В последние дни Масленицы развлекались и по иному.

Молодёжь на дорогах строила ледяные горы, а на полях – даже крепости из снега.

С этих гор, часто очень крутых, скользких и гладких, будто стеклянные, пускались на санях, на конных тройках, нередко ломая шею, так что любителям острых ощущений такая забава, порой, грозила серьёзными повреждениями или даже смертью.

Но такими любителями острых ощущений были все жители деревни!

Хватало и защитников, и боевитых завоевателей снеговых крепостей, которые и брали, и защищали под пистолетные и ружейные выстрелы.

Как только крепость рассыплется на груду блестящих атомов, обе воюющие стороны убегают отмечать свои победы и оплакивать поражение при обильных возлияниях горилки.

В тяжёлой работе и в безумных забавах, в которых Гервазий Гзовский не участвовал, но обязан был представляться приязненным свидетелем, а также деятельно помогать при их приготовлении, дни, недели, месяцы проходили быстро, не принося никаких изменений в участи поселенца, и лишь обостряли печаль и тоску о случайно найденном приятеле, но не приносили ни от него, ни о нём, никаких вестей.

Так прошла суровая в тех краях зима. Расцвела прекрасная, как везде, весна.

* * *

Глеб Евдокиевич, который в лице Гервазия нашёл дельного помощника и мудрого советчика, всё хозяйство свалил на него и Татьяну, и всё чаще мотался по дорогам.

Как-то, выехав ранней весной, вернулся домой лишь поздней осенью.

В усадьбе никто не скучал о пьянице и авантюристе и, когда он вернулся, никто у него не спросил, ни где был, ни чем занимался в

столь долгом отсутствии. Он сам, вопреки своим привычкам, плёл небылицы, как по льдам и рекам добирался до тёплых краёв, где видел *побережье* Чёрного моря.

Упоминание о Чёрном море взволновало Гзовского. Именно в те края рассчитывал направиться путник.

Удалось ли ему избежать погони?... Удалось ли бедняге дойти до цели? Что с ним произошло?... Где он сейчас?... В безопасном ли месте находится?

Гервазий отодвинул миску с едой, подсел поближе к Глебу Евдокиевичу и начал расспрашивать его с большим интересом, что и кого он видел там, откуда вернулся.

Но узнать ему удалось немного.

Мысли Глеба уже обратились к иному: он развязывал привезённые узлы и вытаскивал из них разнообразные вещи, которые закупил для себя и для украшения *горницы*. Повернувшись к Гервазию, показывал покупки и спрашивал: пусть отгадает, сколько стоит какой-нибудь предмет, сколько за него запросили и за сколько удалось сторговаться, и этой глупой болтовнёй сильно огорчил человека, которому хотелось лишь узнать что-нибудь о своём друге.

Из последнего развязанного узла выпал уже потрёпанный полушубок и растянулся на полу.

Гервазий взглянул на него, и сердце громко забилось в его груди. На рукавах кожушка он увидел листки четверолистника, которые он некогда собственноручно вышил зелёной шерстью.

Четверолистник должен был служить талисманом для спасения и счастья того, кто кожушок получил от Гзовского.

А получил его путник.

И этот человек добровольно ни за какую цену не расстался бы с этой памяткой, с этим кожушком. В этом Гервазий был уверен.

Каково же обернулась его участь на самом деле?...

Нелегко было Гервазию Гзовскому овладеть собой и справиться с охватившим волнением и со слезами, что набегали в глаза. А когда это ему удалось, кожушок ещё лежал на полу… Спасительные талисманы, зелёные листики клевера цвета надежды – иллюзорной, обманчивой надежды, выделялись на тёмном фоне…

– Глеб Евдокиевич, – спросил Гервазий, стараясь придать голосу полное безразличие, – сколько заплатили за этот полушубок?

– Я его в карты выиграл.

– А у кого? Наверное, не запомнили?

– Чтобы я что забыл! Что, у меня память плохая? Для моих дел – вполне хватает, – огрызнулся оскорблённый мужик. – Я его выиграл у *матроса* с парохода *«Ермак»*. Засел, бестия, за карты без копейки денег, и проиграл. А наша пословица такая: «От плохого должника – хоть собачью шкуру». Так я у этого матроса взял баранью шкуру. Скажи, что плохого? – смеялся он, радуясь собственному остроумию.

– Вы, как всегда, поступили разумно, – польстил мужику Гервазий, чтобы привести его в доброе настроение. – Но, послушайте, Глеб Евдокиевич, вот мой баран уже облысел, мне этот полушубок нравится, и я бы у вас его купил.

Пока Глеб думал, что ответить, Татьяна закричала:

– Ать! Вечный позор хозяину, который продаёт обноски. Если тебе полушубок нравится, бери его себе, *миленький*, и пусть он тебе служит на доброе здоровье, дай Бог!

Глеб не позволил жене превзойти себя в щедрости и, тиская на коленях гервазиев полушубок, повторил:

– Бери, и пусть тебе служит на доброе здоровье!

Гзовский ещё раз при свете внимательно оглядел полушубок… Да, это был тот самый, что он отдал путнику.

В кармане он нашёл листок бумаги, исписанный карандашом, уже полустёртым, изящным мелким почерком.

– Разве в тёплых краях и на кораблях, что плавают по Чёрному морю, нужны меховые одёжки? – спросил Гервазий у мужика в надежде, что ему удастся узнать хоть какие-то подробности касательно путника.

– Конечно, в тёплых краях тоже нужен мех, раз он там имеется. Но первый владелец полушубка, похоже, прибыл издалека.

– А каков он был из себя, Глеб?

– Откуда мне знать? По всякому там гадали люди, что слышал, то и знаю. Говорили, прибыл один, неведомо откуда, нанялся на уборку парохода, а когда «Ермак» уже отплывал, купил билет в Цареград…

– Ах! – вскрикнул Гервазий.

– Что с тобой, *миленький?* – участливо спросила Татьяна.

– Я-то здоров, только очень удивился, рассказывайте, Глеб, пожалуйста, это так интересно!

– Когда все уже взошли на пароход, и «Ермак» должен был вот-вот отплыть, какой-то генерал, а, может, и вовсе не генерал?... кто его знает?... в общем, какой-то генерал начал кричать, что тот, кто нанялся на корабль и должен был ехать в Цареград, что он убежал с каторги.

– Боже!

– Правда, какой *мерзавец*. Из Забайкальского края, с Петровска, аж до Чёрного моря добрался, и был он *государственный преступник*[41]. Тогда *матросы* тут же сбежались и, что есть силы, схватились за верёвки и тросы, чтобы *государственного преступника* схватить и заковать в кандалы.

– Христос распятый! Спаси! Иисус-Мария! – стонал Гзовский, закрыв лицо руками.

– Жалко тебе его? – подозрительно спросил Глеб. – Может, ты его знал?

– Не знал я его, откуда бы?... Первый раз в жизни слышу о Петровском. Просто меня разморило… Не выспался… Рассказывайте, Глеб. Мне очень интересно. Не часто доводится слышать про такие случаи. И вы, Глеб, рассказываете так хорошо!

– Известно, я умею рассказывать, но такое не выдумать, – засмеялся Глеб, – и не придумать. Понимаешь, они его верёвками связали, но в кандалы не заковали, потому что он вырвался от того генерала, который схватил его за ворот рубахи… И прыгнул в море.

– И утонул?

– А ты как думаешь, что он до Цареграда пешком собирался? Сразу пошёл ко дну, рыбам на корм… А тот *матрос*, который первый схватился за верёвки, получил в награду весь скарб беглого *государственного преступника*. И что это было за имущество? Смех один!... А *матрос* этот кожушок тоже получил в награду. А я его у *матроса* выиграл и подарил тебе.

На сбор…

– Кто идёт?

– Аустерлиц, Фридлянд, Ваграм.

– Внимание! Оружие к ноге! Легион! Становись в двойки! Вперёд, за мной!

– *Vive l'empereur!*[42]

– Правой! Ровнее! Ровнее! Сукины дети, император смотрит!

Командует Себастьян Скарбек Мальчевский, легионер, кавалер Почётного Легиона, бывший подполковник 4-го стрелкового конного полка, бывшего Войска Польского, ныне *поселенец*.

Место действия: Сибирь, Омск, скромное жилище пани Натальи Кжижановской, вдовы Кароля Кжижановского, сосланного в карательный батальон.

Конвойные из сеней поворачивают налево в кухню. Мы, каторжане, – направо, в маленькое помещеньице, и, напирая, кричим:

– Лёгкой службы, милостивый полковник!

Скарбек Мальчевский порывисто поворачивается к нам:

– А! Кавалер де Токаржевский… Кавалер де Богуславский… А!… И прочие… Вы, пановие, откуда?

– Прямо из острога, имеем честь доложить.

– Располагайтесь, судари мои.

– Будет исполнено. Благодарствуем.

Садимся на лавку около печи.

Скарбек Мальчевский кружит по комнате, сопит, нервно ворошит седую бороду.

– Пан полковник чем-то расстроен?

– Попали в самую точку, пан кавалер! – вспыхнул старик. – У меня всего восемь рядовых и даже с этой лихой армией я не могу справиться!... Не понимают простейших команд! Клянусь честью!

Мальчевский всё больше раздражается.

Тем временем *армия*, состоящая из двух дочек пани Кжижановской и других братьев-поселенцев, «опустила носы на квинту» и весьма однозначно собирается объявить о желании дезертировать.

Мы выражаем полковнику возмущение и сочувствие.

Хозяйка дома заступается за восьмерых «рядовых» и от имени провинившихся просит прощения. Успокоившись, инструктор командует уже мягче.

– Оружие на плечо! В полоборот налево. В казармы! Марш!

Армия поднимает вверх палки, которые изображают оружие, и с учебного плаца быстренько исчезает и, что сил хватает, бьют в железный таз, долженствующий заменить барабан.

Потом появляется Андзя Кжижановская, и по-военному рапортует:

– Полдник готов. Имею честь доложить!

Переходим в соседнюю комнату.

Там уже ожидает группа братьев-изгнанников.

За скромным угощением беседа, начатая с городских новостей, сразу переходит к повествованию эпизодов из всемирной эпопеи Бонапарта…

Подобно бурному потоку, что течёт необычным путём, проходила жизнь Себастьяна Адама Скарбека Мальчевского.

Уроженец Земли Ленчицкой, в XVIII веке он ещё совсем юнцом вырвался из-под родительского крова под знамёна Наполеона. Львиной отвагой добился офицерского звания и высшей Ленты Почётного Легиона.

После манифеста Александра I капитан Мальчевский вступил в Войско Польское, в четвёртый стрелково-конный полк. В ноябрьском восстании получил повышение и чин подполковника.

В 1831 году, вывезенный в Сибирь, в Тобольскую губернию, потом двадцать лет пребывал в Барабинской степи.

Кто знает *Барабу*, между Иртышем и Обью, кто знает эту степь, где бесчисленные болота отравляют воздух, где находится гнездо *сибирской заразы*, где летом 37 градусов жары, а зимы неимоверно студёные, где земля бесплодна и, кроме пастбищных трав, никакая другая растительность там не приживается, словом, кто знает *Барабу*, тот должен изумиться, как мог четверть века прожить там европеец, культурный, немолодой, изнурённый долгой военной службой и разочарованный.

На скудном питании и в убогом жилище Скарбек Мальчевский летом работал как пастух скота, а зимой изготовлял спички. Летними вечерами, вдали от деревни, в степи, при лунном свете, перечитывал привезённые из Европы бумаги.

Это были описания битв, в которых он участвовал, это были дневниковые записки гениального вождя, это были воззвания к войскам любимого императора.

И из этих воспоминаний, из этих пожелтевших страниц старый вояка черпал непреодолимую закалку, ту силу, которая поддерживала

его телом и духом в удивительной, всех изумляющей бодрости и форме.

В 1851 году подполковника Мальчевского переместили из *Барабы* в Омск, где он тоже пребывал на каторге. С первой минуты знакомства мы полюбили друг друга от всей души.

Партия приговорённых, к которой принадлежал и я, в 1864г. остановилась на долгий отдых в Омске. Нам позволили посетить подполковника Скарбека Мальчевского. И мы отправились к нему: Томаш Булгак и я, рецидивисты, давние знакомые легионера и несколько *новых* братьев, желающих с ним познакомиться.

Подполковника мы застали в комнатке с самой убогой утварью.

Увидев нас, он был тронут безмерно.

– А там что слышно, – спросил он, – я имею в виду обстоятельства там, в Отчизне?

– Видите нас тут, – сказал Томаш Булгак, – вот вам и ответ, Ваше Превосходительство, пан полковник.

Желая отвлечь мысли старика к иной теме, я сказал:

– Милому полковнику хотел бы сообщить такие новости: сейчас у нас в каждом доме имеется изображение или статуэтка Наполеона…

– Императора? – выкрикнул полковник. – Так ведь это естественно, что в каждом рыцарском, шляхетском доме…

– Что вы! То же самое и в домах простых горожан…

– И у буржуазии тоже? Это очень хорошо, это очень здорово! Почитание Императора, ясное дело, возрастает и будет ещё расти.

– О! Во всей Европе! Даже в Германии.

Легионер просиял. Разразился смехом:

– И у немцев, а? что скажете? Ведь император столько раз, и не на шутку, трепал шкуры немчишкам.

– А притом, в Германии самые тонкие умы слагают оды памяти Наполеона.

Например, прекрасные стихи Генриха Гейне «Два гренадёра». Мы знаем эти стихи на память. Можем хоть сейчас прочитать, если полковник позволит.

– Боже милый! Читайте же, читайте сейчас же, кавалер де Токаржевский… Только, будьте любезны, чтобы громко и с выражением, достойным титула.

В комнате с маленькими замёрзшими окнами уже опустились серые сумерки. Дрожа от нетерпения, Мальчевский садится напротив меня.

Начинаю:

Во Францию два гренадёра
Из русского плена брели,
И входят во вражьи квартиры,
Понуро глаза опустив…

– Замолчи! – крикнул Томаш Булгак. – Полковник Скарбек потерял сознание.

Мы все кинулись укладывать бедолагу, который безучастно лежал на полу, упав с лавки.

Мы уложили его на узкую, твёрдую, солдатскую кровать… Сорвали с него залатанную одежду и бельё.

Боже! Как это было страшно.

Тело легионера представляло единую массу синих шрамов, углублений после извлечённых пуль, шрамов от удара палаша, от укола копьём…

Из мешочка, который полковник носил на шее, выпала записка. Я поднял её. Жёлтая, потрёпанная бумага… Из мешочка выпадает другая, маленькая, на которой написано: «Земля из моей родной деревни. Положите эту землю в мой гроб, пусть возъединится с моим прахом».

Выпал также выцветший портретик со следами слёз на нём… Портретик Наполеона…

После долгого обморока он всё-таки очнулся.

Среди унылой, зловещей тишины с его уст срывались бессвязные слова, из которых можно было узнать, что одна и та же мысль царила в его мозгу, торопила биение сердца, учащала пульс:

– Играй атаку! Императорские орлы на бастионах распростёрли крылья… Побудку не на учения, а на атаку играй! Легион – за мной! Вперёд, мы должны идти только вперёд, побеждать и погибать. Может, наша пролитая кровь вымолит у Императора Жечь Посполиту[43]. Зачем я не отъехал оттуда сейчас же? Был бы около Императора… Тысячи, тысячи миль… Ничего… Если над моим

гробом зазвучат фанфары, я успею добежать к тебе на помощь, Император!... Если сейчас не могу встать на перекличку, прости меня, дорогой Император!

Крикнул он это сильным, чистым голосом, вскочил с кровати, встал… и упал на пол бездыханный и без сознания, словно мёртвый…

Вызванный лекарь, не задумываясь, постановил:

– Весь организм старика чем-то пронзительно был впечатлён. Какой-то моральный удар сразил его. Подполковник Скарбек Мальчевский, думается, не сможет жить… не будет жить… это конец…

* * *

Диагноз лекаря оказался совершенно ошибочным. Подполковник Скарбек Мальчевский не умер. Более того, он поразительно быстро и полностью выздоровел.

Через тайгу в Монголию

– Шимон Себастьянович! *Голубчик! Оставьте!*

Так обратился ко мне Константин Михайлович Светилкин, положив сильную руку, огромную, как медвежья лапа, на лист моей счётной книги, над которой я склонился.

У Светилкина я работал после освобождения из омской крепости. Он владел водочным заводом в деревне Большой Участок, и был богатым купцом. Дарил меня полным доверием и уважением.

– Оставь, пан, работу, наработался на сегодня, хватит, – настаивал Светилкин, и когда я послушно отставил кассовую книгу, спросил:

– А нет ли у пана охоты отправиться в небольшую поездку?

На равнинах Сибири уже царила весна. Снег лежал только на самых высоких пиках гор. Из девственной, покрытой буйной зеленью, земли тянулись вверх прекрасные цветы; воздух, тёплый и чистый, был проникнут солнечным сиянием и благоухал, а я по нескольку часов ежедневно сидел над счётными книгами в низкой душной комнате, пока свет и тепло не проникали скупо через створки окна. Потому, страшно обрадованный предложением Светилкина, я живо ответил:

– С удовольствием поеду, когда скажете, Константин Михайлович!

– *Ладно!* Тогда поедете через Минусинск к *китайской* границе за конями и чаем.

Я расхохотался:

– Через Минусинск к китайской границе? И это вы, Константин Михайлович, называете «маленькой поездкой»! Но это же путешествие, что называется! Не менее тысячи вёрст.

– С хвостиком, с длинным хвостиком… Ну и что? Поди из Польши до Омска ещё дальше, а, однако ж, пан прибыл благополучно. Даст Бог, поедете до Таштыпа и вернётесь оттуда без всяких приключений.

– И то правда! Поеду в Таштып хоть сейчас.

Я выехал в первых днях июня вместе с моим учеником Сергеем, двенадцатилетним единственным сыном Светилкина, и с Мандаринкой, верным его слугой – человеком оборотистым и находчивым, который владел в совершенстве татарским и китайским языками, что в пути к китайской границе было немаловажно.

К югу от Минусинска расположены татарские селения. На расстоянии в несколько десятков вёрст одно от другого, тянутся они среди степей по левому берегу Енисея, среди буйных пастбищ.

Эти татары пасут табуны коней, они скотоводы и коневоды, владельцы многочисленных стад овец и скота, бывает, порой, очень богаты. Несмотря на это, многочисленные татарские семьи гнездятся в юртах, где темнота соседствует с духотой и дымом, где кроме сломанных циновок и кухонной утвари никаких других предметов обстановки не бывает.

В еде эти степняки тоже неприхотливы: полусырые конина и баранина, водка, именуемая *арак*, и *ариаш*, напиток из кобыльего молока – их любимые блюда. В этих татарских селениях мы останавливались охотно, поскольку находили там чистосердечное и бескорыстное гостеприимство.

Сто юрт, образующих самое красивое, состоятельное и последнее селение в этих татарских краях, находятся в долине, окружённой лесистыми холмами, или полосой зелени.

Мрак, чуть освещённый фиолетово-пурпурными отсветами солнечного заката, уже охватил долину, а медные блестки света ещё

задержались над синеватыми вершинами лесов, что росли на пригорках, когда мы ехали по дороге над пропастью глубокого яра, и приблизились к этому селению. Здесь надо было задержаться надолго для выбора коней, которых татары должны были доставить на Большой Участок.

Мы остановились перед одной из юрт, у самого въезда в долину.

– *Аным джох!* – крикнул Мандаринко. На этот приветственный окрик из юрты вышел седой татарин.

Это был Ахмет, старшина селения, так называемый *князь*. Увидев нас, он поднёс руку ко лбу, к устам и к груди, причём причмокивал и приветствовал нас по-русски, выказывая большую радость, и пригласил в свою юрту.

Построение в виде высокого островерхого купола, покрытое звериными шкурами и древесной корой, внешне отличалось от других только большей величиной.

Но внутренняя обстановка показывала, что князь Ахмет не чужд был цивилизации и кое-что от неё перенял. В юрте, поделённой на две половины, высокая глиняная печь над топкой выпускала дым наружу. Это была первая печь, которую мы видели в татарском селении. Зимой татары настилали на пол кроме обычных соломенных циновок цветные войлоки, и точно такие же висели на стенах, прикрывая все щели. Но, прежде всего, поражало их равнодушие к чистоте и личным удобствам.

Князь сразу же подал нам трубки в знак братства. И пока мы курили и разговаривали, вся многочисленная семья Ахмета занималась приготовлением ужина, который вскоре подали; ужин состоял из разных блюд и шашлыка, то есть кусочков жеребятины, обжаренных на воткнутых в землю штырях, а также из баранины, тушёной с рисом, и из кумыса с *ариашем*.

Мой крепкий сон на мягких войлоках, сложенных высокой горкой гостеприимной дочкой Ахмета, прервали страшные крики, топот конского галопа и выстрелы.

Поражённый, я натянул на себя бурку, схватил пистолеты и с неотступным Сергеем Светилкиным выбежал на двор.

Светало…

Посреди двора, подобный крылатому аргамаку из баллады, мчится великолепный серый конь, уносящий какие-то две фигуры.

За ним летят такие же прекрасные кони, но в седле на каждом сидит только один человек.

Видно, за кем-то гонятся. Но за кем?

Всё селение в смятении. Старики, женщины, дети толпами выскакивают из юрт на улицу. Мандаринко, в простом неглиже, прибегает с пистолетом в руке и винтовкой через плечо.

– Что случилось, князь? – спрашиваю у Ахмета. – Что случилось?

– Гассан увёз *буемби*[44] моей юрты!

– Буемби вашей юрты, князь? – повторяет Мандаринко. – Что это такое?

– Моя наикрасивейшая дочка! – отвечает Ахмет.

– И «сорвал» этот цветок Гассан? Ну, значит, хорошо он поступил! Дельный парень! А вы, князь, в скорости справите свадьбу, – смеётся Мандаринко и, оборачиваясь ко мне:

– Пошли спать, пан!

У степняков-татар юноша добывает себе жену, похищая избранницу. Та чаще всего знает об этом заранее и согласна, а родственники официально будто бы ни о чём не имеют понятия. И после увоза девушки поднимают страшный шум. Отец или брат девицы, если отец слишком стар, заранее собирают себе дружину из приятелей. Садятся на коней и преследуют беглецов, что тоже оговорено и входит в предсвадебную программу, начинается битва, в которой рыцари двух партий получают наградные ленты. Возврат девицы в родную юрту, обильные возлияния *ариаша* и *арака*, торги за выкуп невесты, предложения конкурентов более богатого выкупа – конями, скотом, шкурами и домашней утварью, – это дальнейший ритуал предсвадебной трагикомедии.

Раны, полученные во время преследования (а нередко и серьёзные повреждения, как переломы рук и рёбер) оглядывает *гойя*, бабка-лекарка, которая в каждом татарском селении пользуется большим почётом и уважением. Как только «раненые» выздоровеют, начнётся свадебный церемониал.

Чтобы выбрать коней для Светилкина, нам нужно было попасть на отдалённые пастбища. Там мы провели долгое время.

А между тем, приготовления к свадьбе княжеской *буемби* закончились, и мы получили от Ахмета приглашение участвовать в свадебных торжествах.

Начались они молением шамана «Белому Богу» о счастье для молодой пары.

Взывая к этому благожелательному Божеству, шаман выступает с закрытым лицом, в бараньем кожухе, вывернутом шерстью наружу, украшенном множеством разноцветных лоскутков.

На площади пылает яркий огонь; шаман вертится вокруг, шепчет таинственные заклинания и моления, причём всякий раз полными горстями бросает в пламя звёздчатые цветы крупной ромашки.

Это длится довольно долго. Наконец, шаман умолкает и исчезает. Огонь пылает ещё какое-то время, рассыпая рубиновые отблески… Искрится… Затухает… Покрывается мелким пеплом… И, наконец, окончательно гаснет.

Теперь шаман появляется снова, но совершенно преображённый. Прежний страшный его облик сменился на менее впечатляющий. На нём высокая шапка с мелкими серебряными колокольчиками; длинная белая складчатая рубаха мягко облегает его тело, в руке он держит палку выше собственного роста, обёрнутую шкурой, с серебряным звоночком на вершине.

Он вручает брачующимся *свастики*, как известные знаки милости Белого Бога, которые должны принести им счастье и всяческую удачу.

Вручением *свастик* кончается религиозная церемония, и начинаются вольные развлечения и величания.

Над горами разожжённого угля жарятся целиком жеребята, целые туши, целые четверти конины. В медных котлах кипит вода для чая, пенится кумыс в деревянных кубках. Молодые татарки в широких шёлковых шароварах и таких же ярких цветистых *юбках*, повязанных двумя лентами поверх колен, пробираются между собеседниками, наливая старшинам *арак* и *ариаш*.

А среди весёлых и нарядных групп крутится толпа совершенно голых детей: девчата и пареньки до двенадцати лет.

Вдруг слышится шум, слышится топот коней…

Беседующие умолкают и прежде, чем мы смогли сориентироваться, на дворе появляются несколько десятков всадников.

На маленьких, по большей части пегих, долгогривых лошадках, прямо сидят, будто пригвождённые к высоким сёдлам, всадники, четвёрками спускаются с холма. В островерхих бараньих шапках, одетые в короткие кожухи, чёрные, белые и пёстрые, вывернутые шерстью кверху. Через плечо у них подвешены сагайдаки; в руках они держат конские челюсти, насаженные на короткие палки. Перед ними едет татарин в зелёной бархатной шубе, обшитой куньим мехом и в такой же шапке. Всадники из первых рядов потрясают латунными побрякушками и бьют в медные блюда, а некоторые – в барабаны, либо с помощью пищалок издают резкие и пискливые звуки… И этой оглушающей кавалькаде вторит нечто, что должно бы считаться песней, а на самом деле напоминает вой.

Некоторые всадники в этом сумасшедшем беге поднимаются над сёдлами и конскими челюстями, прикреплёнными к палкам, скидывают с высоты ряда кедровых столбов какие-то глиняные страшилища, которые, падая, рассыпаются на мелкие осколки.

Потом ватага, безумным галопом три раза объехав долину, вдруг будто падает в пропасть, так быстро исчезает она с наших глаз в овраге, укрытом растрёпанным кустарником.

В сумерки на холмах зажглись огромные костры из кедрового дерева, золотом и пурпуром расцветив весь небосвод над юртами и гостями. Это истинно чародейская иллюминация горела до восхода солнца...

* * *

– Гнедой захромал, надо осмотреть ему ногу. Мы с Василием остановимся, а вы идите себе шаг за шагом пешим ходом, чтобы мы могли вас догнать. Прогулка – неплохо от *скуки*. Наверное, пан меня понимает, потому что он довольно-таки неглупый пан, молодой человек.

Так сказал мне Мандаринко. Согласно его распоряжению, мы проходим часть дороги по зигзагообразному горному оврагу.

Аж за одним из многочисленных поворотов перед нами появилось какое-то селение, состоящее из нескольких домов, притулённых к горному склону и частично в котловане у подножия горы.

Сергей настаивал, чтобы мы тут подождали Мандаринко. Я согласился с его желанием, учитывая жару, тем более что перед нами простиралась бесконечная незаселённая тайга.

У дороги стоял дом, окружённый высоким частоколом. Двери были наполовину открыты, словно гостеприимно приглашая…

Мы вошли.

– Прибыли мы издалека, – говорим, – и нам предстоит ещё долгая дорога. Хотелось бы тут отдохнуть, поесть. Позвольте…

– *Нельзя!* – буркнул человек, к которому мы обратились. Был это старец с седой бородой и с седыми прядями, свисающими около ушей. Одет в чёрный атласный халат, опоясанный длинным поясом, тканным из чёрного шёлка, белые чулки до колен, туфли без задников и в меховой шапке на голове.

– У нас свои запасы еды, – настаивали мы, не обескураженные отказом, – мы хотели бы только согреть воды в вашей кухне.

Старец отреагировал бурно:

– В день субботний нельзя зажигать огонь, а кто допускает такой грех, тот никогда не увидит рая и никогда не попробует ни кусочка рыбы Левиафан! Разве не знаешь про всё это, сын язычника? – кричал разгневанный старец.

На его крик в комнату забежал молодой рыжий великан, одетый точно также, как старик, с длинной рыжей бородой и такими же длинными прядями около ушей.

– Что происходит? – спрашивает он по-русски.

Старец умеряет пыл, я повторяю свою просьбу, подкрепляя обещание щедрой оплатой.

– Молчи, искуситель! И пусть бесы утащат тебя вглубь земли, в Таран, где подыхают такие, как ты, которые оскверняли святой день Сабата.

– Прочь отсюда, сын язычника! – вновь распаляется старец и грозит нам стиснутыми кулаками.

Выбегаю из этого дома, Сергей – за мной. Рыжий великан выходит за нами.

Внимательно оглядев наш *тарантас*, коней и всё оборудование *повозки*, спрашивает одного из возниц, причём любезно поворачивается к нам:

– Мой отец очень набожный…

– Набожный, согласен, – смеясь, прерываю его, – но ваш отец ещё и гневливый, невоспитанный и негостеприимный.

– Извините! Вообще мой отец и воспитанный, и гостеприимный, но сегодня у нас праздник, а нам, в день Сабата, не положено, ни чужих принимать, ни готовить. Так что я вам посоветую: зажгите костёр в лесу поблизости и поешьте что-нибудь. После захода солнца Сабат кончается, а тогда мы сами с низким поклоном попросим вас к нам на ужин и на ночлег под нашим убогим кровом.

Совет был хорош, и мы им воспользовались.

На ярком огне вода быстро вскипала в котелке. Роскошествуем за горячим чаем. А рыжий великан следует за нами неотступно. Он очень прилично говорит по-русски, советует нам выпрячь коней и пустить их на пастбище, и вообще держит себя униженно и учтиво; и притом этот приятнейший на вид человек с несколько заспанным лицом почему-то напоминает мне хищную птицу.

Я вижу, что часть его дома построена на сваях, над глубоким оврагом, и в эту минуту вспоминаю некогда читанную ещё в студенческие времена страшную повесть, в которой описаны замки Раубриттеров. Путешествующие богачи, которые заночуют в таких разбойничьих гнёздах, вдруг через раскрытую половицу попадали из роскошных комнат с удобными постелями в скалистые подземелья, или в глубокие, залитые водой, ямы, а хозяин в это время грабил их имущество.

– Здесь мы не заночуем, – решаю твёрдо, – не заночуем! Если Мандаринко и захочет, я не соглашусь.

А Мандаринко как раз подошёл и принимает все предложения великана; рассыпается в благодарностях, обещает щедрую оплату, смеясь и беседуя, будто ему очень нравится перспектива такого ночлега, он бегает от *повозки* к *повозке*, оглядывает колёса и упряжь, не нуждаются ли в починке.

Рыжий великан заверяет, что в посёлке мы найдём очень искусных мастеров, которые по низкой цене могут выправить любую поломку, и добавляет:

– Пойду почитаю послеобеденную молитву и пришлю свою сестричку. Пусть побегают с молодым паничем.

Отходит.

Вдруг исчезает в тёмных сенях дома и кричит:

– Фромеле! Фромеле!

Тут же Мандаринко хватает Сергея в охапку, впихивает в *тарантас*, строго велит им не садиться, сам вскакивает с другой стороны, и рукой, и голосом коротко приказывает:

– Двигай!

Возница вскакивает на козлы, легко хватает вожжи, чмокает, и дико кричит:

– Ху-у-у! Хе-е-е! Лети! Уноси!

Отпускает коней на волю, пусть летят, как хотят. Те ржут, мнутся на месте, потом напрягаются и утаскивают *тарантас* так, что он аж стонет, и с развевающимися гривами уносят нас, как ураган…

Блеснула молния. Не обращая внимания, Мандаринко командует:

– Погоняй! Погоняй!

Ошеломлённый всем этим, сперва молчу, потом начинаю подозревать, не сошёл ли внезапно с ума Мандаринко, или, может, подвыпил.

Наконец, рискую спросить:

– Нагоним часы, которые потеряли при осмотре гнедого?

– Вот именно, правильно говоришь, пан. Сэкономили бы время, так попали бы к Ян-Саню «когда надо», что было бы очень плохо, и даже скверно, – громко смеётся Мандаринко, и шёпотом прямо в ухо твердит мне:

– Сабатники!

– Что это?

– Ать! Некогда разговоры разговаривать… Погоняй!

Теперь мы несёмся с ровной скоростью. Вдруг после крутого съезда выезжаем из мрачной горловины на вызолоченную солнцем дорогу.

– *Слава Богу!* Три свечки *Николаю Чудотворцу* поставлю! – кричит Мандаринко, набожно крестясь. – Солнце ещё высоко… Стой!

Возница соскакивает с козел и быстро справляется со своими делами… Каждый вытирает сеном бока, морды и ноги своих коней. Как только они немного отдышались, горстями даём им траву и овёс.

Мандаринко умело помогает возницам. Сергей вытащил из корзинки какие-то лакомства и питается, весело щебеча. Я оглядываю

окружающий нас пейзаж. Я в восхищении, но слышу, тем не менее, отрывки разговора Мандаринко с возницами.

– …Никита, старый пьяница, зачем ты ему сказал, что везём *женьшень?... Черти поганые*, у них кони, как кабаны… И наши не хуже… *Козья их мать!* Если бы выехали из своих свинских хлевов, то только по-собачьи…

Что всё это значит, силюсь понять напрасно.

Среди сект, в ту эпоху, не поощряемых властью (например, раскольники, скопцы), своеобразием своих обычаев выделялись *сабатники*.

Их религия – удивительный сплав иудаизма и ислама. Как магометане, они верят в семь райских сфер с гуриями, а как иудеи – ждут пришествия Мессии, не едят пищу, запрещённую заповедями Моисея. Десять заповедей и святые книги Старого Завета им не знакомы. Одетые в белые рубахи, громко молятся по-русски. Носят староверскую еврейскую одежду и с виду близки к семитскому типу.

Они праздновали субботу так, что любой вид занятий в этот день считался величайшим преступлением, которое будет наказано вечными муками. Отсюда и название секты: сабатники. По сказаниям секты, или на самом деле, были они потомками евреев, сосланных в Сибирь в незапамятные времена. С годами эти поселенцы, униженные и преследуемые, понемногу утратили память о родном языке и обрядах. Так образовалась секта, довольно многочисленная, которая осела в тайге, достаточно далеко от людских селений и резиденции властей.

Сабатники имели репутацию грабителей и убийц. Мнимым гостеприимством заманивали путников в свои дома. Купцы с грузом мехов или чая, мужики, что везли зерно в Монголию, не раз исчезали без вести. Говорили, что они оказывались жертвами жадности и фанатизма этих сектантов, верящих, что убийство человека иной веры является обязанностью и заслугой перед Иеговой.

Кто видел, каковы были сабатники, тот старался проезжать через их селения только в субботу утром. Единственно в этот день не следовало бояться их нападения.

Все эти обстоятельства обсказал мне Мандаринко во время ночлега у костра. Он не мог рассказать об этом раньше, чтобы не напугать нашего мальца Светилкина.

– И во всю эту беду мы попали по моей вине. Лучше бы чёрт побрал гнедого!... А я, болван безмозглый, пустил вас вперёд, ни о чём не предупредил, а Никита ещё догадался, что мы везём *женьшень*[45]. Такая соблазнительная вещь! Увидите, они за нами погонятся!

– Будем защищаться, – сказал я с воинственным запалом.

– Нас всего семь, а их целая толпа, и наверняка вооружённая не хуже солдат.

– Тогда почему власти не посадят в тюрьму этих разбойников?

– Вот уж глупый вопрос! А кто докажет сабатникам, что именно они ограбили того или другого, кто погиб, например, по дороге из Минусинска к китайской границе? Эти бесы живьём никого не отпустят. Вредные *молодцы* – беда такой человек. Никто не смеет сопротивляться.

Сергей спит в *тарантасе*, завернувшись в войлок, кони легли на траву. Ночь привольно раскинула над землёй свой звёздный шатёр, луга излучают тепло, но от горных снежных вершин веет холодом.

Завёрнутые в бурки, с пистолетами в руках, сидим, ожидая опасности, которая то ли подкрадывается к нам ползком, то ли летит на ястребиных крыльях.

Царит глубокая тишина. Даже ветерок, который привольно веял днём, теперь уснул на цветах. Размышляю: если мне суждено погибнуть здесь, то как же, однако, далеко от Отчизны окажутся мои кости!

В это время хмурая поволока закрывает весь пейзаж, затемняя звёзды. Делается всё темнее и темнее. Наконец, дорога, деревья, луга сливаются в единый непроглядный мрак. Над нами висят тучи, как траурный навес, а там, в тех горах, которые мы оставили за собой, уже разразилась буря. Луна едва светит. Вспышки молний и взрывы грома следуют непрерывно, так что земля стонет и дрожит.

Мандаринко радостно потирает руки.

– *Слава Богу!* Сейчас уже опасность минула. Эти *черти поганые*, даже если бы пустились в погоню за нами, вернутся домой, потому что верят, что во время бури разгневанный Иегова всегда кого-нибудь прихватит с грешной земли. *Ай-да молодцы!* Сейчас

напьёмся горилочки. Перед образом Святого Николая Чудотворца поставлю целых двенадцать свечек!

* * *

Подворье выложено гранитными плитами, а ворота, обвитые каким-то розовым растением, ведут в ограду, в которой цветут чудесные, огромные махровые маки, душистые пионы, фиолетовые ирисы и множество неизвестных мне растений, цветов и кустарников.

В средине ограды стоит дом с китайской фарфоровой крышей и крыльцом, которое опирается на стройные колонки, окрашенные красным лаком.

Это резиденция Янь-Саня, который основал в Монголии торговую фирму.

Нам сообщают, что Янь-Сань ожидает нас у себя. Входим.

У стен на разостланных жёлтых матах сидят несколько важных китайцев в шёлковых сапфирового цвета одеждах. Волосы у них зачёсаны со лба и заплетены в длинные чёрные косы. Курят короткие трубочки. Высокий помост под окном занимает молодая китаянка. Настоящая кукла! В цветистом шёлковом платье, широком шарфе, тесно охватывающим её талию, с лицом, накрашенным белой и розовой блестящей пастой, с накрашенными чёрными бровями, со сложным сооружением из волос. Перед ней на столике разложены художнические принадлежности: таблички ярких красок, золото в маленьких фарфоровых мисочках, тончайшие кисточки, которыми она очень ловко пользуется, рисуя на белой пластине рисового теста.

Присутствующие прикладывают ко лбу стиснутые кулаки и вопрошают:

– Хорошая погода во дворе? Вы уже поели вашу кашу?

– Хорошая погода! Поели! – отвечаем.

Такой обмен вопросов и ответов – обычный ритуал приветствий. Потом Янь-Сань говорит по-русски:

– Я счастлив видеть в моём скромном доме столь давнишних и достойных гостей: моего старого приятеля и сына моего удачливого и благоразумного друга Светилкина.

Что-то бормоча о взаимном счастье, вручаю писаное золотом, моею рукой, письмо от Светилкина и начинаю разговор о грузе

женьшеня, который мы привезли. Хозяин прерывает меня глубокомысленной китайской поговоркой и величественным жестом руки:

– Кто слишком торопится, тот спотыкается. Сперва отдохните, а потом поговорим о наших торговых делах.

Указывает нам место на циновке. Китайцы подают нам из собственных уст вынутые трубочки.

– Настали дни великой жары, жар льётся с небес, как росистый дождь, – начинает разговор Янь-Сань и продолжает в том же духе. В это время пареньки, похожие на гномов, перед каждым из нас… [*завершающий фрагмент главы в книге отсутствует*][46].

Перевод с польского М. Кушниковой

А. Земский
ЖИЗНЬ КАК АВАНТЮРА

Рассказ или, может быть, правильнее – очерк, с которым знакомится наш читатель в этом разделе сборника, принадлежит к своеобразному литературному жанру. Он составлен в форме рассказа-воспоминания, посвящённого судьбе одного не совсем обычного человека по имени Александр Иванович, жизненная энергия которого была потрачена на бесконечные авантюры, интриги и эротические похождения. Не стоит судить о литературных достоинствах этого произведения, родившегося под впечатлением картины нравственного падения одной личности. Его основная ценность – в достоверной основе изображаемых фактов и событий.

Этот рассказ был составлен рукой В.А. Порфирьева, священника Мариинского района Томского округа и хранился в судебном деле автора в связи с его арестом в январе 1930г. по обвинению в антисоветской агитации. О самом авторе известно немного. Его арестантская анкета сообщает, что Василий Александрович Порфирьев родился в 1872г. в городе Верхотурье Пермской губернии; окончил городское училище, служил священником в селе Камышенка Мариинского района; беспартийный и неимущий; в период проведения коллективизации был лишен избирательных прав; имеет на иждивении одного человека. 24 января 1930г. В.А. Порфирьев

был арестован за «контрреволюционную агитацию». Согласно акта, представленного председателем Камышенского сельсовета, Порфирьев «обходил дворы в селении, агитировал против закрытия Камышенской церкви, призывал к противодействию». 23 февраля 1930г. Томский окружной суд приговорил священника по ст. 58-10 УК РСФСР к 5 годам ссылки. Но Сибирский краевой суд, «принимая во внимание старческий возраст подсудимого», заменил ссылку «высылкой из пределов Томского округа на тот же срок». 12 августа 2003г. по решению Новосибирской областной прокуратуры В.А. Порфирьев был реабилитирован.

Нет сомнения в том, что публикуемый рассказ «Александр Иванович» носит биографический характер и имеет прямое отношение к судьбе самого автора. Все основные факты представлены в нём в истинном свете, точно указаны названия населённых пунктов, и даже имя главного героя и его родство с автором записок обозначено в полном виде. Рассказ описывает разнообразные стороны суетной и бестолковой жизни сельского грамотея-писаря, захваченного собственными страстями и склонностью к криминальным приключениям. Для современного читателя это повествование может быть интересно как описание некоторых нравов, царивших в Сибири в конце XIX – начале XX столетий.

Василий Порфирьев
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Из рассказов старого сибиряка

В один из зимних вечеров мы с приятелем зашли к нашему сослуживцу скоротать долгий вечер, отдохнуть за стаканом чая, а главное побеседовать с его стариком-отцом, здешним старожилом, который любил поговорить о прошлом, если был в духе, и слушать его было очень интересно. Так было и в этот вечер. За стаканом чая мы стали просить его рассказать что-нибудь о прошлом Сибири, её героях. Наверное, он помнит много интересного. После некоторого раздумья старик согласился.

– Ну, слушайте, – сказал он. – Вы говорите о героях Сибири? Мало у нас было героев, а если и были, то большей частью насчёт карманной выгрузки. Таких «героев» было много, но все они на

один покрой и говорить о них много не приходится. А вот на днях я встретился случайно с одним знакомым. От него узнал, что его отец ещё жив. Так вот, этот-то человек действительно замечателен. О нем-то я и поведу свой рассказ. Звали его Александром Ивановичем. Фамилию его тоже назову: Порфирьев.

Если мой рассказ надоест вам и покажется не интересным, то вы без церемоний скажите мне, что не стоит слушать.

Прежде всего, вы не знаете, что представляла [собой] наша Сибирь лет 45 тому назад. Местность теперь стала неузнаваемой: где теперь заселились сёла и деревни, тогда были пустыми, покрыты лесами. Во всем Мариинском уезде было только шесть волостей. Деревня от деревни, если было между ними 12 вёрст, считались частыми. Исключение составлял так называемый Московский тракт, да и по тому было не редкостью станок на 30 вёрст и – ни одной деревушки. Земля была вольная – паши сколько можешь, лесу – руби сколько хочешь. Но зато и продукты свои крестьянин не знал куда девать. Правда, благодаря гужевому транспорту было развито коневодство. Хлеб был: мука ржаная – 18-20 коп. пуд, пшеничная – 30 коп., овес – 8-10 коп. пуд, мясо – 80 коп.-1 руб. пуд.

Жизнь на так называемой Большой дороге кипела, шли беспрерывно обозы, ехали проезжающие, шли пешеходы. Понятно, что вместе с этим процветали грабежи и убийства. Много тёмных дел совершалось на этой дорожке. Знают о том только телеграфные столбы да полосатые вёрсты. Грамотных людей в то время было в нашем месте мало. Все канцелярии и присутственные места были заполнены ссыльными. Вот одним из таких канцеляристов и был Александр Иванович.

Познакомился я с ним первый раз, когда мне было только 17 лет. Познакомился по такому случаю. Отец мой, житель с. Т-ды, был довольно зажиточным, занимался торговлей. Однажды он посылает меня в город и даёт мне поручение увезти туда пудов 10 пшеничной муки, несколько штук поросят, да ещё чего-то из съестного, отыскать в городе квартиру некоего Александра Ивановича и всё это передать ему и получить от него какую-то справку. Поручение это я исполнил в точности: нашёл Александра Ивановича; оказалось, он в то время был письмоводителем у исправника Воронцова. Встретил он меня очень любезно, принял посланное и отдал

мне для передачи отцу какую-то запечатанную в конверте бумагу. Человек он был, как мне показалось, очень обходительный. Хозяин дома, где я остановился на квартире, служащий в городской управе, оказалось, знал его хорошо и рассказал о нём, что годов 19-ти он прибыл в Мариинск в партии ссыльных дворян из города Верхотурье. Был сослан за такую проделку: служил он в воинском присутствии, выкрал там рекрутскую квитанцию и продал её. За это и попал сюда. Человек он дельный, вина не пьёт, в карты не играет и даже табаку не курит. Да вот только несчастье у него случилось: недели три тому назад умерла у него жена, оставив ему двух детей – сына четырёх лет и дочь трёх лет. Стоит он на квартире у нашего родственника, – добавил хозяин, – и просится на квартиру ко мне и, пожалуй, я возьму его. Верх у меня стоит пустой, а человек он хороший.

Окончив свои дела в городе, я вернулся домой, передал отцу пакет. Отец полученным остался доволен. Вскоре после этого отец говорит мне:

– А вот что, Петя. Тебе уж скоро 18 лет. Пора тебе заняться делом. Здесь, дома я управлюсь, а ты собирайся в Почтовку. Там я купил дом и думаю открыть торговлю. Если сможешь вести дело, то и хорошо – будешь хозяином. Может быть, найдёшь невесту, женишься и будешь жить. Не сумеешь – пеняй на себя. А домашнее хозяйство у тебя пока будет вести тётка Ульяна.

И вот поселился я в Почтовке. Прошло месяца два, как я там прожил. Умер тамошний волостной писарь Соловаров, и на его место приехал Александр Иванович, мой знакомый. Приехал сначала один, огляделся, а потом послал за семейством. Оказалось, что за это время он успел вторично жениться, взял дочь того самого моего знакомого, у которого я останавливался в Мариинске. Как рассказывали, женитьба его была по-тогдашнему времени несколько необычной: в Мариинске ходила молва, что он ещё при жизни своей жены, во время её болезни, связался с жившей у них в прислугах девицей и по смерти жены продолжал эту связь. Узнал про это его начальник, исправник Воронцов, и стал стыдить: ты де человек очень дельный, молодой, можешь хорошо устроиться; в Сибири таких людей днем с огнём не найдёшь. На что Александр Иванович возражал ему, говорил: да кто на него посмотрит? На нём пятно

ссыльного. На это Воронцов ему заметил, что это пустяки и потребовал разойтись с жившей с ним особой. Вполне завися от всемогущего в те времена исправника, умный Александр Иванович исполнил его волю. Девицу уговорил уйти домой, а сам с сыном стал на хлебы к одному семейству. Малютку-дочь взяла на время одна супруга его товарища по службе и ссылке, но вскоре эта малютка умерла.

Но своей связи с той особой Александр Иванович не прерывал. Тут случилось такое обстоятельство: хозяйка, где он стоял на хлебах, захворала и предложила ему перейти на хлебы к моим знакомым. Это было как раз во время моего первого знакомства с ним. Прожив у моих знакомых около месяца, он стал сватать одну из их дочерей. Сватовство это последовало ввиду такого обстоятельства: Воронцов узнал, что А.И. до сих пор не прекратил связи с девицей, о которой мы говорили, и между ними произошел следующий разговор:

– Слушай, Порфирьев, ты, как я говорил, человек неглупый и в этом краю можешь далеко пойти, но ты пока идёшь по ложной дороге. С кем ты связался – тебе не пара. У тебя – дети. И вот тебе мой сказ, пересказывать который я не буду: прекрати эту связь, женись на девушке из хорошего дома, дай своим детям мать. И вот тебе моё слово: я тебе помогу устроиться; не послушаешься меня – пеняй на себя и знай, что во всём Мариинском уезде ты не найдёшь порядочного места. Да если я узнаю, что ты и где в другом уезде поступишь, то и там я тебя найду.

На это А.И. стал петь свою обычную песню, что он ссыльный. Воронцов ответил ему:

– Брось! Вот где ты сейчас стоишь на хлебах, есть две дочери-невесты, сватай любую, а там посмотрим.

После такого ультиматума ему оставалось только покориться, что он и сделал, не откладывая в долгий ящик. Посватался за старшую дочь, но та отказалась наотрез. Тогда он начал сватать младшую. Но и тут получил отказ со стороны матери невесты. Видя, что дело обычным порядком подвигается плохо, он начал вести его иначе с помощью знакомых. Благодаря покровительству Воронцова удалось уговорить отца невесты согласиться на брак, а также и уговорить невесту. И вот в один прекрасный летний воскресный

день к дому моих знакомых подкатил свадебный поезд обвенчанных молодых. Воронцов был благословенным отцом, и мать невесты, сколько не кипятилась, должна была смириться со свершившимся фактом.

Действительно, Воронцов слово своё сдержал. Поскольку в скором времени в Почтовской волости умер волостной писарь Соловаров, он назначил А.И. на его место. И таким образом, А.И. приехал к нам в Почтовку и остановился на квартире у знаменитого нашего крестьянина Р.А. Рублёва. Если вы спросите: чем же он знаменит? Пожалуй, этого я вам сказать не смогу, так как захватил его за три дня до его смерти. Но что Рублёв был незаурядный мужик, видно из его состояния. Чем оно было нажито, я сказать не могу, да и не знаю, какое это было состояние, но жил он богато. Много я видел богатых мужиков, но таких, как Рублёв, мало. Да и жил он как помещик. Представьте себе: среди села находилась его усадьба – громаднейший двухэтажный дом – так называемая «крестовая связь», с балконом, выходящим на двор, окружённый с трёх сторон деревьями, палисадником. Дом стоял в одном из углов 50-саженного квадрата, обнесённого со всех сторон всевозможными службами, лавками, амбарами, животнями, баней, погребами и конюшнями, вымощенный посредине распиленными брёвнами. Вглубь усадьбы шли всевозможные крытые потухи, за которыми на открытом дворе стояло гумно с ригой, затем – маленький пруд, а за ним были пасека и кузня. Чего только не было у этого Рублёва! Но чем он нажил это состояние, я сказать не могу.

К тому времени, когда я поселился в Почтовке, Рублёв особенными делами никакими не занимался, только вёл большое хозяйство, держал человек 12 годовых работников. Сыновей у него не было, были только две замужние дочери. Одна была выдана в селе Колыон, а другая жила в Почтовке. Муж её, Хохлов, имел громадный дом и занимался торговлей. Как самодур, Рублёв был человек замечательный. Например, пришла ему такая фантазия – перевести волость из богатого села Колыон в Почтовку, и он эту фантазию осуществил следующим образом: на волостном сходе внёс предложение: если волость будет переведена в Почтовку, он обязуется на свой счёт построить здание для волости и в течение

10 лет отапливать его. Конечно, на такое предложение сход согласился, и волость была переведена.

Вот с этим-то человеком и подружился А.И. Перевезя своё семейство, он встал на квартире к Рублёву и с его помощью был принят сходом волостным писарем. Почтовская волость была в то время большая. В последствии из неё образовалось пять волостей, хотя и население [тоже] увеличилось, но всё же она была громадной – в то время в ней было 15 сёл и деревень. Волостной писарь был царь и бог, поэтому волость была золотым дном. Не прошло года, как наш А.И. оперился. Квартира, которую он занимал у Рублёва, уже ему показалась мала и он перешёл на квартиру ко мне. У меня был свободен верх. Жил он открыто, ни в чём себя не стесняя, вёл хорошее знакомство, завёл лошадку, корову и, что более странно – держал ручного медведя. Ну и стал пошаливать. Однажды привезли из города молодую кухарку. Он живо связался с ней. Но жена скоро это заметила, и кухарка была отправлена восвояси. В скором времени у него от второй жены родился сын. Крестины были справлены самым торжественным образом. Окружной врач Кренберг был кумом, исправница – кумой, вторым кумом был этапный офицер, а кумой – заседательша. С этих пор А.И. стал богатеть не по дням, а прямо по часам. С квартиры моей он съехал и перешёл опять к Рублёву, у которого занял уже половину дома. Весной того же года Рублёв помер.

Стал А.И. иметь породистых рысаков. И вот мы узнали, что он купил усадьбу и строит на ней домик. Правда, у него были неприятности: помер сын, которого с таким шиком крестили; чуть не скончалась жена. Но всё это пронеслось, и с половины зимы А.И. жил уже в своём домике, выстроенном им на дворе своей усадьбы. И уж навезён был лес на большой дом. Жена его занималась торговлей в открытой ими лавочке. Ну, словом, за что человек не возьмётся, всё ему удаётся. Весной он начал строить большой красивый дом, а с половины лета уже вошёл в него. Купил заимку, занялся хлебопашеством. Не прошло и трёх полных лет, как он поселился в Почтовке, а уж являлся обладателем большого дома с прекрасными надворными постройками, лавкой с красным товаром, заимкой, на которой засевал десятин 25 хлеба, имел до 60 лошадей и разного рогатого скота, гонял три пары почты, посылал

лошадей в извоз, держал 12 работников; в то же время служил волостным писарем и занимался разными подрядами. Словом, в Почтовке сделался вторым Рублёвым. А чтобы быть ближе к народу, он приписался к крестьянам почтовского общества, которое приняло его старожилом и сняло с него пятно ссыльного.

В самое короткое время он приобрёл громадное доверие. Дом его был – полная чаша. Ездившие по уезду чиновники редко не заезжали к нему. Водил он дружбу с заседателем – О.И. Хартовским – известным местным взяточником. Что они с ним проделывали, просто уму не постижимо и, сказать вам – не поверите. В то время вся жизнь стояла на взятках. В свою очередь и А.И. тоже платил обильную дань, и с него тянули, хотя и косвенным образом. Например, устраивается в Мариинске какой-нибудь спектакль, он получает предписание явиться по делам службы в Мариинск. Приезжает, оказывается – дело пустячное и можно было бы послать бумагой. Но тут говорят:

– Кстати, у нас сегодня спектакль. Наверное, останешься?

Ну, понятно, надо остаться. И на спектакле в буфете за его счёт и угощаются.

Однако же и сам А.И скулы на руки не клал. Всякое происшествие в волости приносило ему пользу и доход: если давали заседателю, то давали и ему. А были и такие случаи, что он умел обделывать дела и без властей. Да и бесправие в Сибири в то время было безграничное – вся власть сосредоточивалась в руках полиции. Исправник был полный хозяин уезда. Гласного суда не было; о мировых судьях только слышали, что они есть где-то в России.

В уезде было три участка, управляемые земскими заседателями, которые по линии своих прямых обязанностей были на правах мировых посредников и исполняли обязанности судебного следователя. Такое средоточие власти в одних руках давало большую пищу произволу. Кто только не брал взятки – исправник, уездный доктор, заседатель и волостной писарь… Последнему, как близко стоящему к народонаселению, попадало, пожалуй, больше всех. Для примера расскажу: один раз в Почтовке у зятя Рублёва, Хохлова, нашли в лавке краденые платки. И вот на этом деле А.И. получил от Хохлова 100 рублей, в то время составлявшие большие деньги. Другой случай. Один из золотопромышленников, напутавший

в книге записи золота и подвергшийся за это большому штрафу, встретив А.И. в Мариинске, разговорился с ним по этому поводу и спросил его совета.

– Как думаете, сколько будет штрафу? – спросил А.И.

– Да, пожалуй, более 300 рублей.

– Ну, давайте мне 100 рублей и этим дело обойдётся.

Тот подумал-подумал и согласился. А.И. он знал, что тот зря говорить не будет. Выложил требуемую сумму. Получив деньги, А.И. сказал:

– Ну вот что, дело простое. Когда вы повезёте в Томск книги на ревизию, то, проезжая мимо Почтовки, заявите в волости, что у вас украли тючок, в котором между прочими вещами находилась и книга.

Как видите, просто и прибыльно. Тот так и сделал и этим избавился от штрафа.

Много перепадало от золотопромышленников при найме рабочих, при заключении контрактов в волостях. Повторюсь, что А.И. умел из всякого случая и происшествия извлечь доходную статью.

Жил А.И. припеваючи, можно было жить и дальше, но тут-то, как я уже говорил, стал он пошаливать: ему, видите ли, мало было одной жены, а надо было иметь их несколько. Сначала он делал это скрытно, а потом уж перестал стесняться. Когда строили дом, была взята на помощь кухарке девица из Почтовской. Звали её Матрёна. Скоро жена заметила, что дело неладно, девицу уволила. Но А.И. стал жить на две семьи. Эту Матрёну так и звали в селе – «писаршей». Чего только не пришлось перенести бедной жене А.И. от такой жизни мужа. С Матрёной этой он путался года полтора, а затем появилась вторая Матрёна. И вот пошла из-за этого борьба между двумя Матрёнами. Однажды борьба кончилась дракой на улице в первый день Пасхи.

У нас было обыкновение в большие праздники – Пасхи, Рождества, Первопрестольный – делать визиты. Наш небольшой кружок состоял из нескольких человек: семья священника о. Николая (славный был батюшка, трезвый и строгий к себе), моя семья (я к этому времени женился), свояк мой – почтовый смотритель, А.И., Хохлов, учитель и этапный офицер. Обыкновенно мы собирались сначала у о. Николая. Конечно, посидим, выпьем, закусим. Затем

отправляемся к другому. И вот, собрались мы у А.И. Должен сказать, что жил уж он в то время не в своём доме, который строил. Дом он тогда продал, а себе купил у Хохлова (Хохлов же перешёл к своей тёще по смерти её мужа, Рублёва). Дом был двухэтажный. А.И. занимал низ, а вверху была почтовая станция с квартирой смотрителя. Собрались мы к нему и сидим. Погода была прекрасная: Пасха была из поздних. Всё население высыпало на улицу. Неподалёку собрался кружок деревенских парней и девушек, начиная праздновать наступление весны. И вот, приходит наш смотритель почты, который зачем-то уходил в свою квартиру наверх; входит и говорит:

– Знаете что, господа? Сейчас я видел – на улице была драка, которая меня заинтересовала, и я обратил на неё внимание. Не подумайте, что дрались пьяные мужики или парни, нет. Дрались две девицы; две Матрёны: одна Матрёна И.И., а другая – дочь сельского писаря Осотского. Не знаю, что они делили, только подходят одна к другой и одна из них говорит:

– Здравствуй, новая писарша!

А другая отвечает:

– Здравствуй, старая писарша!

– Ах ты, б…на, хватило у тебя совести отбить у меня мужика. Я с ним три года жила, у меня ребёнок был. Ишь, одел он тебя как куклу, а мне и к празднику ничего не дал.

А та отвечает:

– А тебе, толстогубой, не стыдно было отбивать от жены мужа?

– Да я и не отбивала.

– Чем ты докажешь? Лучше молчи, паскуда. А чьи на тебе ботинки-то с калошами? Что, Филька-почтарь тебе их завёл? А платье-то кашемировое кто тебе справил? А полушалок кто купил? Не отец ли твой на 12 рублей в месяц с его-то семьёй? Недаром мне Машка сказывала, что у ихних хозяев грех идёт. Я вот возьму тебя, с…ку, за косу да и буду таскать!

– А ну, попробуй!

– Да и попробую!

А тут со стороны подстрекают, ну и пошла писать. Одна сдёрнула платок, другая схватила за косу и давай… Исцарапали друг

друга, порвали кофточки. Насилу их разняли. Интересно, кого они не поделили? Я понять не мог, – закончил он, лукаво улыбаясь.

А.И. стало неловко, но он виду не подал. А на другой день, как сказывали, произвёл расправу: старой его Матрёне досталось; избил до того, что та с месяц лежала в постели. В общем, сказать по правде, А.И. был на руку дерзок, с работниками часто производил кулачную расправу, да и крестьян, случалось, позволял себе кормить оплеухами. Но и сам осторожен был, без револьвера никогда не ходил, всегда носил его в кармане.

После этого совсем ошалел наш А.И. Перед Троицей поехал он в Томск – взял отпуск на две недели. Прошёл уж месяц, а о нём – ни слуху, ни духу. Думали, что был убит там. А тут ещё одно дело открылось. В нашем селении были хлебозапасные амбары со всей волости, всего амбаров 15. Порядок был такой, что через известное количество лет старый хлеб заменялся на новый. И вот, у одного общества А.И. скупил старый хлеб. Выгружая его, он подкупил работников проделать дыру в соседний амбар и таким путём вывез из амбара много хлеба.

К тому же его плутни обнаружились и в волости. В чём они заключались, я сказать не могу. Хотели описать его имущество, да не тут-то было. Оказалось, что у него имущества никакого нет. Всё движимое и недвижимое принадлежит его жене. Трудно пришлось этой женщине. На её руках – огромное хозяйство, а её со всех сторон тянут. Наконец, в июле она решила вместе со своей матерью и девятилетним пасынком ехать в Томск на поиски мужа. В Томске она остановилась на квартире у родственника, дьякона кладбищенской церкви. На другой день пошла с матерью на старую квартиру, где прежде несколько раз останавливалась, когда приезжала с мужем. Хозяйка той квартиры, увидев её, в удивлении всплеснула руками:

– Анна Петровна, да ты ли это? Да ты живая?

Та в удивлении ответила:

– Что с вами? Как видите, живая, да и умирать не думала.

Оказалось, что муженёк её устроил следующее. Приехав в Томск, заехал к хозяйке с какой-то молодой женщиной, которую выдавал за жену; говорил, что прежняя жена померла, а он женился на другой. Жил он у хозяйки дней пять, а потом уехал к пароходу, говоря,

что едет в Россию получать наследство. Как потом выяснилось, девица с ним была колыонская.

Получив такие сведения, жена вернулась домой. А здесь её уже ждало письмо мужа, в котором он просил прощения и сообщал, что желает возвратиться домой. Но откуда было послано письмо – понять было невозможно. Спустя две недели она получает второе письмо, в котором он пишет, что едет домой и просит её приехать за ним в Томск. Тогда она съездила в Мариинск, взяла с собой свою старшую сестру и вместе с ней поехала в Томск. Там и нашли они А.И. Им надо было бы ехать сразу домой, но он почему-то задержался, решив выехать наутро. А вечером был арестован и отправлен этапным порядком в распоряжение следователя – местного заседателя. И вот, прибыл наш А.И. с партией арестантов. Жена его упросила заседателя освободить его в Почтовке, не допустив проследовать до Мариинска. Смотрим мы, идёт наш А.И. по улице в волостное правление в сопровождении солдата. А затем его освободили.

После освобождения он занялся хозяйством. С волостью он как-то разделался. Ему можно было бы жить службой, но он предпочитал по-другому и начал помаленьку ликвидировать своё хозяйство. Жена его всецело поддалась ему во всём. Так тянулось до половины зимы.

Как-то после рождественских праздников поехал А.И. в город. Велел запрячь лучшего жеребца и поехал один, без работника. Проходит дня два. Слышим – А.И. уехал в соседнее село Колыон; там жеребца продал со всей упряжкой, а сам укатил с одной девицей по направлению Томска. Где он путешествовал и что делал – осталось неизвестным, только, видно, на этот раз средств у него хватило ненадолго. Прошло месяца два, и он вернулся восвояси. Своё возвращение он сделал тоже не без причуды. Дело было так: однажды ночью в рабочую избу, которая стояла среди ограды, постучал в окно какой-то неизвестный. Спавший там работник проснулся и спросил: кто там? На что неизвестный ответил:

– Выйди сюда, письмо есть хозяйке от мужа.

В это время проснувшаяся жена работника сказала:

– Да ведь это сам хозяин говорит.

Но вышедший во двор работник снаружи никого не нашёл – неизвестный куда-то скрылся. А на утро почтарь, везший почту в Берикуль, обогнал дорогой какого-то солдата. Приехав на станок, ехавший с ним другой почтарь спросил:

– А что, Васюха, ты заприметил прохожего солдата, которого мы обогнали? А ведь это твой хозяин. Хоть он и представился пьяным, но я его узнал по походке.

Действительно, это был он.

На третий день после этого случая жена А.И. получает телеграмму из Мариинска от имени её матери. В ней была просьба немедленно приехать в Мариинск. Она поехала туда и встретила своего мужа. Выяснилось следующее: он действительно ночью проходил мимо Почтовки и заходил во двор; говорит, что хотел, чтобы работник тихонько разбудил хозяйку; но когда его узнали, ушёл прочь и прошёл 80 вёрст до Мариинска в солдатской шинели с мешком под мышкой. Но замечательно то, что было в мешке – там было несколько тетрадей писаных нот церковных песнопений. Где он их приобрёл и на что они ему были нужны – неизвестно. Сам он певчим никогда не был и ни в каком хоре не участвовал.

С прибывшей к нему женой он уехал опять в Почтовку. Там спешно ликвидировал своё хозяйство, продав дом, пашню и лошадей, а на последней неделе Поста уехал совсем. Поселился в Мариинске у тестя. Так закончилось житьё-бытьё А.И. в Почтовке.

Дальнейший рассказ о нём я поведу со слов его сына, с которым встретился не очень давно. Вот что он рассказал мне.

* * *

По выезде из Почтовки отец недолго жил в Мариинске. Помню, в Мариинск мы приехали 25 марта, а 21 мая уже из него выехали. Отец получил письмо от верхнеудинского исправника Смирнова, который звал его на службу и просил привезти хорошего жеребца. И вот, на основании этого письма мы тронулись в дальний путь на своих трёх лошадях. Выехали: отец, мачеха, я и меньшой братишка, а с нами работник с работницей. Ехали до Иркутска целый месяц. Проехали благополучно, никаких особых приключений с нами не случилось, только дорога утомила нас сильно. В Иркутске работник с работницей остались. Двух лошадей продали со всей

упряжкой, а одного жеребца, которого вели Смирнову, оставили и на наёмных поехали до Листвяничной. Переправившись через Байкал, сдали совершенно весь багаж и коня одному жителю из Кабаково для доставки в г. Верхнеудинск, а сами на почтовых поехали дальше. По приезде в Верхнеудинск Смирнов принял отца радушно, но, как видно, места хорошего не было, и отец первое время жил там не особенно важно. Правда, нужды не ведал, но и достатка особенного не было. Потом всё же стал жить более обеспеченно. Со Смирновым у них была какая-то особенная дружба. Что их связывало – неизвестно, только он добился того, что его представили генерал-губернатору и допустили исполнять обязанности секретаря полиции. И здесь, как и в Почтовке, стал А.И. пошаливать. Сначала связался с горничной исправника, а затем приволокнулся к одной мещанке и опять начались семейные разлады. На семейство своё он мало обращал внимания. Мне шёл уже 12-й год. С семи лет я начал учиться и учился зиму на дому в Мариинске у учителя Бессонова, потом – год в сельском училище, которое и окончил, а затем в течение ровно трёх лет ничего не делал. Наконец, кое-как он определил меня в Верхнеудинское уездное училище, но окончить его не пришлось. Наконец, не знаю, что у них с мачехой получилось, только она решила уехать их Верхнеудинска в Мариинск. Вскоре она и уехала с меньшими братишками. По её отъезде он взял сначала к себе горничную исправника. Прожив с ней месяца два, прогнал её от себя. Но, должно быть, та мещанка, за которой он волочился, не сдавалась ему, и он решился на следующее.

На одном дворе у хозяйки сдавался флигель. В этот флигель и переехала эта мещаночка с матерью и замужней сестрой, муж которой по протекции отца служил в полиции. Прожив некоторое время, отец стал собираться в Иркутск. С ним вместе стали собираться и Туезовы (фамилия мещаночки) мать с дочерью. Когда они уехали, сестра её стала говорить, что они оттуда приедут обвенчанными. Действительно, спустя недели две он приехал и объявил, что с первой женой развёлся и повенчался с этой. Я, хотя и покорился наружно этому, но в душе нисколько не верил, зная его прочие проделки. Да и он, по правде, не особенно интересовался тем, верю я ему или нет. Так мы прожили год после отъезда из Сибири. За это время исправник Смирнов, прохворав семь месяцев в тяжелой

болезни, умер. Поступило новое начальство, служить с которым, очевидно, отцу показалось невыгодным и он стал поговаривать, что ему нужно ехать в Иркутск. Наконец, назначен был и день отъезда. В Иркутск, как он говорил, едет на месяц, но мне кинулось в глаза то, что уж очень много берут с собой вещей. Забрали почти всё, исключая квартирную обстановку. Да ещё остался у меня конь, который был приведён к Смирнову, а по смерти его был опять взят отцом. С конём остался и работник. Какое-то предчувствие говорило мне, что дело нечисто, что отец уезжает совсем; но что я мог сделать? И вот, перед тем как садиться в поданный экипаж, отец передаёт мне на расходы 50 рублей денег и говорит:

– Смотри, не трать зря.

В этот момент, не знаю как, я набрался смелости и сказал:

– Папа, неужели ты бросаешь меня, как в Почтовке?

На это он ответил:

– Что за глупости! С какой стати?

И с этими словами сели в экипаж и уехали. На другой день после их отъезда я захворал скарлатиной. Об этом телеграфировали отцу в Иркутск по оставленному им адресу. В ответ получили телеграмму, где указывалось обратиться к доктору Богушевскому. Но я и так к нему обратился. Кроме того, доктор тоже получил телеграмму от отца с просьбой полечить меня. Прохворав целый месяц, я вышел из дому только к Пасхе. За это время от отца пришло письмо. Он сообщал, что получил назначение в г. Балаганск, куда едет принять дела, а потом приедет за мной в Верхнеудинск. Я верил и не верил этому.

Проходит ещё около месяца – об отце ни слуху, ни духу. Ну, думаю, опять та же история, что и в Почтовке. Тем более, по городу стали распространяться слухи, что отец что-то наплутовал: получилась какая-то растрата.

Тем временем средства поистощились, за помощью обратиться некуда; родных нет. Я решил обратиться к властям. Отправился к помощнику исправника. Тот квартировал у исправника. Принял меня ласково, сходил, пригласил к себе исправника и оба ловко выпытали у меня всё прошлое об отце. Попросили меня обождать до завтра, а назавтра ко мне в квартиру пришли с описью имущества. Всё описали, оставили только то, что мне лично принадлежало.

Исправник взял меня к себе как беспризорного, и я жил у него не то в качестве прислуги, не то приживальщика. Несладкая была эта жизнь.

Прожив у них полгода, я по влечению к духовному званию пристроился в находившийся в 40 верстах от Верхнеудинска Троицкий монастырь. Об отце не было никакого слуха – как в воду канул.

Только спустя полтора года после отъезда отца однажды о. архимандрит отправляет меня в город, говоря, что меня хочет повидать исправник Н.А. (так звали его). Приехав в Верхнеудинск, я узнал следующее. Отец, служа секретарём полиции, выкрал формулярный список служившего до него секретарём и умершего чиновника Никольского и под этой фамилией венчался в Иркутске с Туезовой, а затем под этой же фамилией уехал в Тобольск и поступил на службу в губернское управление, где скоро завоевал к себе внимание начальства и общества и даже пописывал статьи в местной газете. Словом, в Тобольске он сделался своим человеком. Но в это время, когда он благодушествовал, почивая на лаврах, ему вдруг пришлось бежать из Тобольска.

Случилось это так. Однажды он шёл со службы домой и на улице встретился со своим кумом – офицером Песчанским, который ранее служил в Почтовке этапным офицером. Тот его узнал и говорит:

– Ба! Порфирьев, ты как сюда попал?

Сначала А.И. смутился такой встрече, а затем произнёс:

– Милостивый государь, вы ошибаетесь. Я не Порфирьев, а Никольский.

И пошёл своей дорогой. Что было далее, мне стало известно от самого отца. Как-то раз он говорил, будто Песчанский послал ему письмо, в котором предупреждал, что если он не уберётся, то он на него донесёт. И вот, пришлось ему снова бежать. В Тобольске он опять оставил в квартире всю обстановку. Тогда тобольское начальство послало в Верхнеудинск запрос и фотографическую карточку, которую мне показывал вызвавший меня исправник. И опять долго от него не было никакого слуха.

Прошёл год. Списавшись с мачехой, я собрался из Забайкалья снова в Сибирь. В монастырской жизни я разочаровался. Наконец,

в 1887 году, в возрасте 15 лет, я с разными приключениями прибыл в Мариинск. Здесь я узнал следующее.

Отец Великим Постом появился в Мариинске и был арестован при таких обстоятельствах. Накануне Поста мачеха получила письмо, принесённое каким-то мальчиком. Вскрыв его, увидела, что письмо это было от отца. В нём он просил выйти на свидание с ним на берег реки, к общественному собранию. Посоветовавшись с родными, она вышла и встретила мужа, который был в весьма неприглядном костюме. На нём был надет татарский бешмет и шапка-татарка. Он стал просить у неё прощения, обещая исправиться. Часа два ходили они по улицам города. Наконец, она предложила ему зайти в дом. Между тем, отец её дал знать властям о появлении его в городе, и спустя некоторое время прибывшей полицией он был арестован.

А до этого летом он выкинул такую шутку, о которой я забыл рассказать. Однажды братишка мой, которому было не больше пяти лет, играл на улице около своего дома. Видит – идёт почтовая повозка, в которой сидят мужчина и женщина. Подъехав поближе, мужчина вдруг стал кричать:

– Паша! Паша! Иди ко мне!

Братишка кинулся к матери с криком:

– Мама, мама! Папа приехал к перевозу и меня кричал.

Та бросилась к перевозу, но никого там не застала. Только ей подтвердили, что сейчас действительно была перевезена почтовая повозка, в которой ехали мужчина и женщина. Тогда она дала знать властям, и в Боготол был экстренно командирован письмоводитель исправника, некто Бел-ский, который знал отца лично. Добравшись до Боготола и подежурив на почтовой станции, он встретил отца. Но А.И. прекрасно знал людей, а Бел-ский был с ним хорошо знаком, и он сказал ему:

– Вот что, Бел-ский, если ты меня арестуешь, пользы тебе не будет. А давай лучше поговорим о чём-нибудь существенном.

И они живо договорились на 50 рублей. А.И. поехал своей дорогой, а Бел-ский вернулся и донёс, что среди проезжающих на почтовых он никого даже похожего на Порфирьева не встретил. Что побудило Порфирьева явиться в Мариинск и сдаться властям – неизвестно. По всей вероятности – отсутствие средств. Если

верить ему, он много потерял во время катастрофы, случившейся в том году на Волге с пароходом «Вера». В числе пассажиров этого парохода был и он, а спасся благодаря своему умению плавать. Спас он и свою сожительницу, но лишился всего багажа и, пожалуй, части денег.

Из Мариинска его отправили этапным порядком на следствие в Тобольск. По пути туда ему удалось бежать из-под стражи, и ко времени моего приезда в Мариинск он опять находился в розыске.

Я поступил служить на золотые промыслы, к своим родственникам по мачехе. Прошло уже около двух лет. От отца не было никаких известий. Но однажды получаю письмо от мачехи: пишет, что отец живёт в Мариинске и сидит в тюрьме. Еду в Мариинск на свидание и узнаю следующее. Убежавши из-под стражи, А.И. после разных скитаний пристроился волостным писарем в селе Тины Канского уезда Енисейской губернии и довольно хорошо устроился. Но был узнан проезжавшей труппой акробатов, которой он ещё будучи в Верхнеудинске чем-то насолил. И вот эта труппа, находясь в Мариинске, может быть, случайно из разговора узнала, что Порфирьев скрывается, указала исправнику его место пребывания. Он тут же был взят и прислан в Мариинск. Здесь он просидел в тюрьме ещё полтора года. Гласного суда в Сибири в то время не было. Его приговорили к ссылке в Иркутск, где ещё должен был судиться за верхнеудинское дело и за двоеженство. Но вот что странно: с ним вместе добровольно вслед за партией отправилась и мачеха со своим сыном, моим братишкой. Я до сих пор удивляюсь и глубоко уважаю эту женщину, теперь уже покойную. Что в жизни дал ей отец? За что она была вынуждена всю свою жизнь терпеть одни только лишения и унижения, а случалось, хоть и редко, даже побои? Или она уж так любила его, что во имя этой любви была всё способна перенести? И если бы она пользовалась такой же взаимностью, но ведь не прошло и года после их брака, как она уж знала, что любовь её к мужу каждую минуту может разделить любая смазливая горничная или кухарка и даже всякая продажная женщина. Я удивляюсь, как такая поруганная любовь может существовать! Может быть, она гналась за обеспеченным положением, но его она, если не считать трёх-четырёх лет в Почтовке, не видела. Зато нужды и горя видела сколько угодно.

Так случилось и на этот раз: ему опять удалось уговорить её, он обещал начать новую жизнь, прежние шалости все бросить, что он-де теперь немолодой и пора остепениться. И вот, она, продавши имеющийся в Мариинске домишко, отправилась за ним в Иркутск. Он содержался в Александровском централе, она жила на квартире. Спустя некоторое время он был отправлен в Верхнеудинск, откуда писал ей письма, утешал надеждой на лучшее будущее. Потом некоторое время она ничего не получала; наконец получает письмо, в котором он пишет, что судьба его плачевна, что ему грозит жестокое наказание, что он не надеется на лучшие дни и что им самое правильное будет забыть друг друга, предоставив друг другу свободу. Естественно, такое письмо поразило бедную женщину. Пораздумав и обсудив все обстоятельства, она пришла к заключению, что тут что-то не то. Обратилась за советом к адвокату. Тот, выслушав её, сказал: то, что он пишет – неправда, что такое наказание ему не угрожает. После этого она решила сама съездить в Верхнеудинск и на месте узнать, в чём дело. И вот, она собралась в поездку. Приехав в город, она обратилась к товарищу прокурора, прося разрешения на свидание с мужем. Тот удивился, что она называет себя женой, и сказал: да у него есть здесь жена; она и ходит к нему на свидания. Понятно, это мачеху нисколько не удивило. Это было уж не в первый раз, но всё же она предъявила товарищу прокурора свои документы и просила оказать содействие, дать разрешение на свидание с мужем. Он разрешил, а о результатах свидания просил сообщить ему, что она и обещала. Прибыв в централ, как рассказывала она, и предъявив разрешение прокурора, она была введена в комнату свиданий, где за перегородкой вскоре появился и её муж. Посмотрев на неё, он сказал:

– Извините, мадам, я вас не знаю. Вы мне не жена. Здесь, должно быть, ошибка.

И повернулся, чтобы уходить. При виде такой наглости поражённая горем женщина почти лишилась чувств и не помнит, как её вывели оттуда.

На другой день она была снова у прокурора и всё рассказала. Он обещал ей всякое содействие и попросил пожить несколько дней в городе. Примечательно, что за время её пребывания там вторая жена не показывалась. После этого прожив несколько дней в городе

и получив удостоверение прокурора о праве хлопотать о разводе, она вскоре уехала в Иркутск. Здесь она служила у разных лиц; занималась мелкой торговлей на рынке.

После этой поездки прошло года два. Однажды её сын приходит домой из училища весь в слезах и говорит, что встретил на улице отца, что тот голодный и холодный и находится без пристанища; стал упрекать мать, что она не хочет жить с отцом.

Трудно сказать, что опять побудило эту женщину, воскресшая ли любовь или жалость к человеку, которого она любила, только она велела сыну привести отца. И вот, у этого человека хватило наглости после всего, что он сделал, явиться к этой женщине и опять сойтись с ней. Но любящее сердце всё прощает. Так и она – простила всё, надеясь и веря, что он исправится.

Но горбатого исправит могила. Той скромной жизнью А.И., очевидно, довольствоваться не мог. Двери канцелярий для него были закрыты, доверия ему не было, и он, не задумываясь, решил перейти на нелегальную жизнь. Должно быть, он склонял к тому и жену, но она отказалась, будучи воспитанной совершенно в ином духе. И он опять оставил семью, но оставил, как обычно, по-своему: поехал покупать рыбу, а жена для него взяла у знакомого дьякона шубу. В этой шубе он и скрылся, увёз с собой собранные деньги на покупку рыбы. А до этого я ещё послал ему небольшую сумму. Вновь обездолил жену, присвоив её сбережения и заставив платить за шубу.

После этого прошло года два. Мачеха жила в Иркутске, как однажды он вновь заявился к ней. Однако в этот раз она к нему не вышла, предоставив ему беседовать с сыном. Зачем он приходил, чего ему надо было – неизвестно, да и трудно понять, что это было такое. Сколько раз он бросал её и опять возвращался. Что влекло его – это их загадка. Но только на этот раз он исчез надолго.

Много воды утекло с той поры. Мачеха вернулась из Иркутска и жила в Мариинске, где ей достался домик после смерти родителей. Мне уж перевалило за 40 лет, у меня были свои взрослые дети. Брат тоже был женат, имел кучу маленьких детей, служил на Берикульском руднике, а я служил в канцелярии мариинской полиции. И вот, однажды в праздничный день, дежуря по канцелярии, я занялся выпиской и отправкой бумаг по назначению. Меня заинтересовала одна бумажка, направленная полицейскому надзирателю

1-го участка г. Мариинска. К бумажке была приклеена фотографическая карточка. Меня она поразила, напомнила мне что-то знакомое, но что именно – припомнить не мог. Про отца, чтобы он имел какое-нибудь отношение к этой карточке, я даже не подумал. Сущность переписки была такова. Где-то на Амуре, в Приморской области, есть Гондатьевское волостное правление; писарем в этой волости был некто Медведенко, карточка с которого прилагалась. Этот Медведенко сделал растрату и скрылся. Но так как у этого Медведенко проживала на правах жены некая Орлова, родина которой Мариинск, то просили узнать, не проживает ли сейчас Орлова в Мариинске, нет ли у неё родственников и не могут ли они указать её местопребывание. Бумажку эту я отправил по назначению и совсем забыл о ней.

Проходит месяца два, как однажды приходит в полицию надзиратель 1-го участка и говорит:

– А что, В.А., можешь ли узнать отца на фотокарточке?

Я сказал:

– Едва ли. Отца последний раз я видел, когда мне было лет 18, а теперь мне около 45. Вряд ли я его узнаю.

– Но всё же приходи ко мне.

– Хорошо.

Прихожу в участок, и что же? Мне показывают ту самую переписку и карточку, которая меня так заинтересовала при отправлении её мною.

– Да, эта переписка мне известна. Тут дело идёт о каком-то Медведенко. Причём же мой отец?

– Этот вот Медведенко и Порфирьев – одно и то же лицо.

– Из чего же вы это заключаете?

– А вот из чего: здесь в переписке указана некая Орлова, которую мы разыскали, и она показала, что года два жила в Гондатьевском с волостным писарем Медведенко. Год тому назад он отправил её в Хабаровск и велел дожидаться его, чтобы ехать в Томск. Через месяц он вернулся и оба затем поехали в Томск. Заезжали сюда, в Мариинск, пробыли около недели у её матери, гражданки Татаркиной, а потом уехали в Томск, где открыли торговлю. Эта Орлова рассказывала также, что когда они выехали из Хабаровска, спутник её просил называть его не Медведенко, а Порфирьевым,

говоря, что это его настоящая фамилия. Проторговав около года в Томске, Порфирьев отправился в Барнаул покупать мёд. Оттуда послал письмо, в котором писал, что в Томск не вернётся, так как узнал, что его ищут и советовал мне, – показывала Орлова, – прекратить торговлю. Правда, мне в Томске одной жить не хотелось. Продав лавку, я вернулась в Мариинск и живу у матери. О Порфирьеве сведений никаких не имею.

Прочитав всё это, я решил лично увидеть эту женщину и в ближайший праздник отправился к ней. Меня встретила елейная старушка и на мой вопрос – не могу ли я видеть г-жу Орлову? – вышла довольно дородная женщина лет 35-ти, которая рассказала то же, что я узнал из показаний. Сначала она не хотела верить, что я сын Порфирьева, но потом смогла убедиться в этом. Из её слов и слов её матери я понял, что отец молодился, скрывая свои лета, выдавал себя за 50-летнего, когда мне уж шёл 46-й год. Особенных сведений я от них не добился; если она что и знала, то умела молчать.

И вот, после многих лет мы вновь услыхали про отца. Мы считали его уже умершим, а он оказался жив да ещё опять женился.

Прошло еще несколько лет. Началась война, а затем – революция.

Однажды мачеха, шутя, мне говорит:

– Наверное, теперь ваш отец большим чиновником стал…

Я возразил:

– Что ты? Наверное, он уж теперь помер.

– Да он ещё нас переживёт, – ответила мачеха.

Наступила гражданская война. У нас в Сибири началось время Колчака. Однажды, придя со службы домой, я встретил сидящую у нас мачеху. Поздоровавшись, она спросила, что я сегодня видел во сне?

– А что такое? Я вообще снов не помню.

– Ну так вот, на, почитай!

И подаёт мне письмо. Взглянув на него, я сразу узнал почерк отца. Ну, думаю, опять какой-нибудь вопрос. Письмо было адресовано брату мачехи, Я.П. Навалихину, в то время уже покойному. Отец писал, что он был женат на его сестре, что у него было два сына – один от первой жены, другой, Павел, от второй, его сестры. Во время революции он жил в Минусинске, имел лошадей и держал

ломовую биржу. При советской власти занимал должность председателя Минусинского ревтрибунала, а в период Чешского переворота был арестован и в настоящее время содержится в красноярской тюрьме как политический заключенный. И вот, он просит Навалихина сообщить, если он знает, живы ли его сыновья, и если живы, то не отзовутся ли на его письмо и не протянут ли ему руку помощи? Поздно же он вспомнил о нас!

Прочитав это письмо, я был поражён. Меня поражала и удивляла та бесцеремонность и, скажу более, наглость, хотя бы в отношении лично меня. Что сделал он для меня, кроме того, что произвёл на свет? Ничего! После того как в Верхнеудинске он бросил меня 13-летним мальчиком, почти ребёнком, я ничего от него не видел. С 13-ти лет предоставил самому себе. И вот, после с лишним 30-летней неизвестности, когда ему, очевидно, стало плохо, тогда он вспомнил о сыновьях, о которых ранее мало думал. Мачеха спросила меня, что я думаю делать. Я отвечал, что не знаю, подумаю.

– Ну, ты как хочешь, дело твоё, хочешь – отвечай, хочешь – нет, но только не пиши ему моего адреса и адрес Павла.

Подумав на досуге, проверив всё, что было за и против, я пришёл к заключению, может быть, и неправильному, что быть судьёй своего отца я не могу, и поэтому не откликнуться на его призыв считал себя не в праве. Написал ему письмо, в котором сначала высказал всю горечь, накопившуюся во мне. Описал ему свою жизнь, полную лишений, и в заключение сказал, что прошедшего не воротишь и что на прошлом мною поставлен крест. Отправив это письмо, я скоро получил от него ответ, и между нами завязалась переписка, тянувшаяся в течение целого года. Письма эти у меня и по сейчас целы, за исключением одного, которое я впоследствии уничтожил, не желая компрометировать его перед советской властью. Письма эти полны заигрывания перед властью Колчака.

К концу лета 1919 года переписка прекратилась, но спустя месяца два я получил опять от него письмо: пишет уже из города Илимска Приморской области, куда его отправили как политического преступника. Затем получаю другое письмо, в котором он пишет, что служит писарем в отряде атамана Калмыкова, что ему самому кажется странным – такой старик и в военном мундире. Писал он о своём путешествии на восток в скотских вагонах, о

зверском избиении и ограблении их казаками Семёнова в Чите и многое другое.

Тем временем власть Колчака в Сибири кончилась и водворилось настоящее правительство. Сообщение с востоком на время было прервано. В конце декабря 1921 года получаю от него письмо уже из Благовещенска, где, как он пишет, занимает довольно важный пост председателя ревтрибунала. Переписка у нас возобновилась. Из его писем было видно, что он хочет увидеться с нами, что ему надоела скитальческая жизнь, что он уже 70-летний старик и ему дорог покой. Наконец, получаю известие, что он переведён в Читу, служит членом высшего кассационного суда. У нас в это время в Мариинске для служащих была форменная голодовка, о чём я писал отцу и одно время даже просил его, нельзя ли устроить перевод меня на службу в Читу. В ответ на это он обещал помочь. Затем получаю от него новое письмо. Пишет, что думает приехать в Мариинск и спрашивает, нельзя ли примириться с мачехой. Но она к этому времени была уже покойной и, может быть, к лучшему – кончилась её многострадальная жизнь, не пришлось ей более увидеться со своим непутёвым мужем.

Наступил 1922 год. На последнее моё письмо отцу я что-то долго не мог дождаться ответа. Уже подумывал навести справки, узнать, жив ли он, но всё откладывал – не было времени. Служил я тогда на заводе в двух верстах от города, а квартировал в городе. Жизнь в это время стала несколько налаживаться, голодовки уж такой не было.

Дело было на последней неделе Поста. Окончив занятия на заводе, я возвращался домой. Путь мой пересекало полотно железной дороги. Когда я подошёл к переезду, по ней проходил пассажирский поезд. Мне пришлось ждать его прохода. Какое-то предчувствие говорило, что этот поезд что-то везёт мне, а когда он прошёл, я долго смотрел ему вслед. Дома жена собрала мне обедать и, накормив меня, сказала, что пойдёт на рынок вместе со старшей дочерью. Младшая тоже куда-то ушла. Квартира у меня была очень ветхая и в комнате обломились мостки у пола. Материала к исправлению повреждений у меня не было, но я всё же разобрал пол и занялся починкой. Только слышу, как будто кто-то подъехал к дому. Я на это не стал обращать внимания. Но вот отворяется

дверь, смотрю – входит какой-то пожилой человек и спрашивает: В.А. здесь живёт? Я отвечаю:

– Я – В.А. А на что я вам?

– Неужели вы не узнали меня?

– Да, пожалуй, узнал, но боюсь ошибиться. Вы – мой отец?

После этого последовали родственные объятия. Тут пришли жена и дочери. Я познакомил их. Начались бесконечные расспросы и разговоры. Вот так, спустя 33 года после последней нашей встречи в мариинской тюрьме в 1889 году, мне пришлось увидеться с отцом. Где только он не побывал: был в Америке, Японии и в Австралии; служил становым приставом на станции Каинск, был волостным писарем во многих волостях и, разумеется, всё это под чужой фамилией; и везде в его рассказах фигурировали женщины. Сколько раз он был женат! Кажется, не было счёту, и странным мне показалось, что он при этом занимает видный пост. Я заметил также, что прибыл он не особенно в приличном виде. Он же объяснил это тем, что в Чите жил с одной вдовой и оставил ей почти всё имущество.

Прожив у меня неделю, он стал собираться в Красноярск, говоря, что ему надо съездить туда, хотя партия оставляет его здесь. Есть у него дело в Красноярске. И уехал, но через три дня вернулся. Что это было за дело в Красноярске – никому не сказал. Позднее проговорился: у него там был уже обычный «предмет», но привезти его в Мариинск он почему-то не захотел. Некоторое время «предмет» этот писал ему письма.

По приезде из Красноярска ему сразу дали должность нарсудьи 2-го участка. На этой должности он пробыл лето 1922 года. Правда, как юрист и как работник он был незаменим. Я удивляюсь его способности работать: целые дни и ночи он просиживал за бумагами. Но вместе с этим у него сохранилась и страсть к женщинам. Умный человек в деловых разговорах в отношении женщин делался смешным. Он забывал свои лета и вёл себя как 18-летний мальчишка. В канцелярии окружил себя цветником из дам и девиц, но, должно быть, эти дамы и девицы, хотя и принимали его ухаживания, но держали его на почтительном расстоянии.

Верстах в четырёх от города был хутор одной бедной вдовы. Эта вдова, окружённая большой кучей ребят, влачила жалкое

существование. У неё на пашне мы сажали картофель, и она часто ходила к нам помогать жене в работе по хозяйству. Её стали нанимать мыть полы в канцелярии. Потом она стала чаще обыкновенного приходить к нам, а однажды созналась жене, что живёт с отцом. Так дело тянулось до конца лета. В августе он поехал по вызову в Томск и оттуда приехал уже помощником прокурора.

Спустя недели две после его приезда я заболел брюшным тифом. Болезнь на месяц с лишним приковала меня к постели. Близкие серьёзно опасались за мою жизнь. Да и после болезни я долго не мог оправиться. Тем временем, пока я болел, произошли большие перемены. Сделавшись помощником прокурора, отец оборудовал себе приличную квартиру. В качестве хозяйки пригласил туда мою жену; из-за болезни туда же был перевезён и я. Выздоровление моё шло туго. Месяц после болезни я с трудом едва мог двигаться по комнате. В это время жена пригласила одну знакомую швейку для шитья у себя на дому. И вот, прошло немного времени, как отец сказал моей жене, что намерен жениться на этой особе. Особа эта уже несколько раз выходила замуж и расходилась. Жила она на квартире в одном доме с известной своими абортами акушеркой К-ой, которая, может быть, из своих личных выгод постаралась женить его. Услышав эту новость, я напустился на жену – зачем она во время моей болезни оставила старую квартиру, которой теперь мы лишились, а другой с такими удобствами не сыскать? Жена на это ответила, что старик её жестоко обманул. «Я ему говорила: зачем вы зовёте меня? А вдруг вздумаете жениться, и мы можем остаться без квартиры? Но он уверял меня:

– Что вы? Какая мне женитьба, когда смерть на носу!

Ты хворал, был чуть ни при смерти. Я опасалась прогневить его.»

Мы всячески старались отговорить его от женитьбы, приводили всевозможные доводы; говорили, что особа, которая собирается за него замуж, 26 лет от роду, что между ними 50 лет разницы и что она старается только выгодно продать себя, ступая с ним в брак. Но все эти уговоры ни к чему не привели, и отец привёл в дом новую мачеху, не знаю уж которую по счёту.

Разумеется, между нами согласия в жизни не могло быть. Жена моя не могла жить на положении прислуги, и мы, хотя и пользовались его квартирой, но стол имели свой.

В скором времени я оправился от болезни, уехал в деревню и перевёз свою семью. После моего отъезда отец ещё с год жил в Мариинске, занимая должность помощника прокурора. Потом переехал в Томск. Переписку со мной прекратил, хотя мы расстались с ним без ссоры. Слышал я, что он служил в союзе кооперативов; будто бы был арестован за какую-то растрату. Потом до меня дошёл слух, что он служил нарсудьёй в городе Новониколаевске. Минувшим летом я случайно был в Новониколаевске, думал увидеться с ним. Навёл справки в губсуде, желая найти его квартиру, но там мне сказали, что он назначен помощником прокурора в город Камень, куда и уехал с первым пароходом.

Теперь уж как год я не имею о нём сведений. Но меня всё же удивляет – зачем, собственно, он приехал в Мариинск? Если покрасоваться своим положением, то перед кем? Мачеха умерла, родители её тоже, родственники, которые бы его знали, их немного, всего человека два-три, да и они им мало интересовались. Знакомых не было. Ни мне, ни моей семье он ничем не помог. Братом Павлом он не интересовался, даже ни разу не встречался с ним. Бывая у родственников мачехи, он и не подумал искать встречи с моим братом. Или он уж слишком разгневался, что не откликнулся на его призыв? Но этого не думаю, так как считаю его характер незлопамятным. Вообще, появление его в Мариинске для меня загадка. Не думаю, чтобы он не мог где-нибудь устроиться помимо Мариинска. А впрочем, вся его жизнь была – одни странности эротически расстроенного человека. Правда, повторюсь, как работник он был незаменим: в свои 75 лет работал без очков и без устали. Здоровье у него крепкое и к тому же он постоянно молодился. Например, когда он регистрировался, вступая в брак, показал, что ему 60 лет; в то время, когда мне уж было 50, и я уже давно дедушка. На него не подействовали ни бродяжничество по свету, ни скитания по тюрьмам. Он живёт и благодушествует, а с ним вместе благодушествуют и те женщины, которые ему продали себя. Для них он

ничего не жалеет – не только своего, но и чужого. Все подлоги и растраты, какие он совершил в течение своей долгой жизни, почти целиком шли на этих женщин.

Был ли он каким-нибудь политическим деятелем, за какого он себя выдавал? Не думаю. И вот почему: у всякого политического деятеля, строившего революцию, если не наружно, то в личной жизни должно ощущаться недовольство существующим строем, которое он старается внушить и своим детям. Ничего подобного, сколько я помню, в нём не было – никаких внушений о неправильности существовавшего тогда строя я от него не слышал, никаких друзей и собраний на политической почве у него не было. Вообще, жизнь его шла как у самого заурядного обывателя: часы досуга он проводил, как и принято было тогда – за игрой в вист или преферанс; не прочь был он участвовать и в попойках, хотя сам, кроме наливки, ничего не пил, к водке имел прямо отвращение. К религии относился небрежно, но обрядовые стороны исполнял без всякого принуждения с чьей-либо стороны. С духовенством любил водить дружбу. В общем, живя с ним до 13-летнего возраста, я не могу припомнить такого примера, чтобы он когда-нибудь высказывал недовольство существующим порядком. Напротив, многое могу припомнить такого, чего ни один политический деятель себе не позволит, например, мордобитие работников, взяточничество, кулачные расправы с продажными женщинами, его обманы и поступки со второй женой. А что сделал он с нами! Одно могу лишь допустить – может быть, он был знаком с каким-нибудь политическим деятелем и выдавал себя за сочувствующего партии, исполнял какие-нибудь мелкие партийные поручения – но активным работником не был, к партии пристроился как делец, желающий ловить рыбу в мутной воде и умеющий пристраиваться к каким угодно обстоятельствам. Словом, человек, живущий в своё удовольствие; как он сам говорил: разве вы живёте? Вот я пожил…

– Да, действительно пожил, – так закончил свои воспоминания сын А.И.

* * *

– Вот вам действительно «герой», – продолжал свой рассказ П.С. – Как на ваш взгляд? А по-моему, «герой» своего рода и нашего

времени. В моём сжатом рассказе многое упущено, многое забыто, но если проследить жизнь этого человека, невольно бросается в глаза, что в этой жизни играют роль три фактора: женитьба, растрата и тюрьма. В этом прошла вся его жизнь. Наверное, и первая его жена, бедная девица мещанского происхождения, неграмотная, была не более как жертва его обмана и сластолюбия, не захотевшая сожительства с ним иначе как законным порядком. По-другому и нельзя объяснить его женитьбы на ней. Что могло быть общего у него, человека образованного, юриста, с неграмотной мещаночкой? И за это она поплатилась, последовав за ним в ссылку. Она сделалась здесь жертвой его сластолюбия: ходил слух, что она была отравлена той девицей, которая жила у них в кухарках и сожительствовала с А.И. А что сделал он со второй женой – изуродовал всю её жизнь! А что было с теми неизвестными нам женщинами, которые сходились с ним, и которых он обманывал! А сколько он наплодил и разбросал по белому свету детей! Много я видел на своём веку искателей приключений и всевозможных авантюристов, но такого не встречал. Этому есть чем помянуть свою долгую жизнь, полную всевозможных похождений, плутней и обманов. Жутко становится за себя, за то общество и за те законы, охранять которые поручены такому гению по части всяких авантюр, каким был А.И. К такому человеку вполне приложимы слова нашего поэта народной скорби:

Не страшат его громы небесные,
А земные он держит в руках…

Впрочем, если вы желаете проверить мой рассказ, разыщите где-нибудь в архивах номера газеты «Сибирский вестник» за 1886 год, издававшейся в Томске под редакцией В.П. Картамышева; там вы найдёте первую часть моего рассказа в корреспонденции из Мариинска, написанную неким Овсянниковым. Ну а теперь рассказ мой кончен. Надоел я вам с ним. Предоставляю вам судить о его достоинстве.

Поблагодарив старика, мы разошлись по домам. Чем-то кошмарным и тяжелым давил нас этот рассказ.

Валентина Бойешан

Я ЖИЛА КОГДА-ТО В ОМСКЕ…

Воспоминания о жизни школьницы в военные и послевоенные годы

(Окончание. Начало см. «ГС» №5)

Приехав в Омск, маме удалось устроиться преподавателем немецкого языка в мужскую школу-десятилетку №1. Она находилась не в привокзальном районе, а в городе, далеко от нашего дома. Много времени уходило на дорогу. Мама проработала там три года. Я же поступила в женскую семилетку рядом с нашим домом. Постановление о разделе школ на мужские и женские было принято на второй год войны. Не знаю, чем это было обосновано. Разделили только городские школы. Сельские оставались смешанными. В деревне у меня осталось много друзей – мальчишек. Они мне целый год писали письма в Омск. Школа только женская мне не понравилась, но потом я привыкла. Женская школа №16 относилась к омской железной дороге. В нашем районе все школы принадлежали железной дороге. Мы, ученики, не чувствовали никакого «железнодорожного» влияния, но учителя получали льготы в виде бесплатных билетов по всем дорогам СССР во время каникул.

Я прибыла в мою новую школу в четвёртый класс. В предыдущих школах у меня были только отличные отметки. Омская учительница сначала с недоверием посмотрела на меня: ведь приехала девочка из деревни! Но за четверть убедилась, что мои отметки в метрике были заслуженные и перед новым годом меня, одну из класса, выдвинули в число школьниц, которым выпала честь поехать на Большую Ёлку – праздник, который проводился в Драматическом театре.

Нарядная большая ёлка стояла в фойе театра. Дети танцевали, водили хоровод, каждый ученик получил пакет со сладостями. А потом нас пригласили в зал и показали пьесу. Простите, уже не помню точно, какую. Вроде бы «Любовь Яровая». Я, которая никогда раньше не бывала в драматическом театре, была восхищена представлением больше, чем ёлкой. Особенно меня поразил свет разных цветов, которым освещалась сцена. Дома, рассказывая о

впечатлениях, больше всего говорила об этом свете, а мама сказала, что в театре всегда так и я ещё много раз увижу цветное освещение. И это было действительно так.

В городском драматическом театре той поры очень часто ставились детские спектакли. Приходили школами, классами, вместе с учителями. Мы снимали с себя валенки, зимние пальто, шапки, варежки и муфты, всё это сдавали в гардероб, и одевали лёгкую обувь. Проходили в зал нарядными. Всё это создавало атмосферу праздника, возвышенности. То же самое через несколько лет я почувствовала и в Ленинграде. Я так много пишу об этом, потому что в Румынии 1955 года, куда я приехала после института, выйдя замуж за румына, в театрах столичного города Бухареста меня поразило, что зрители входят в зал в пальто, и, занимая места, кладут его себе на колени. Никакой торжественности! Много позднее румыны в обязательном порядке стали пользоваться гардеробами в театрах. А в сибирском городе Омске в разгар войны дети приходили на представление с обувью на смену валенкам и старались выглядеть как можно красивее в своей убогой одежде, потому что их воспитывали уважать театр.

Кроме драматического театра, дети той поры видели ещё много всяких представлений. Мы ходили в цирк, куда приезжали и артисты из других городов. В летнее время на сценах парков, а в остальное время в клубах и даже просто в школах показывали своё искусство «бродячие» артисты. Их было много тогда, бродячих, согнанных со своих прежних сцен войной. Особенно много было акробатов. Никогда в жизни потом я не видела столько акробатических номеров, как в те военные 1943-1945 годы. Уже после войны летом мы слушали оперу в городском парке, где на сцене ставили представления оперные театры других городов.

Ходили мы и в исторический музей. Нам рассказывали об экспонатах, а потом приглашали в большой зал, где мы слушали лекции о музыке и композиторах. Они сопровождались игрой на рояле и пением артистов. Почему-то из всех лекций мне запомнилась больше всего об Алябьеве. Кроме всем известного «Соловья», мне понравился романс «Беги, Иртыш, катитесь волны...». Музыка и слова запали в мою душу. Я сразу же подумала, что, уехав из Омска, где-то далеко буду связывать свои воспоминания о нём с этой

песней. А ещё представила, что, если когда-нибудь заслужу, и меня спросят, что бы я хотела послушать по моей заявке, я бы сказала: «Романс Алябьева “Беги, Иртыш”». Но этого не случилось. Меня никто никогда об этом не спрашивал, а я никогда в жизни больше не слышала такой музыки.

Но чаще, чем театры, мы посещали клуб имени Лобкова, который находился в нашем железнодорожном районе. Не знаю, может, это была в то время такая специальная программа партии, а, может, и просто инициатива местного руководства, но выходило так, что, чем труднее были условия, тем больше привлекались дети к разным культурным мероприятиям. Я помню, что мы в школе постоянно что-то репетировали, потому что предстояли очередные выступления в клубе Лобкова. Были выступления по случаю всех возможных праздников, различные соревнования между школами на разных уровнях: районном, городском, областном. В нашем клубе выступали представители всех школ Ленинского района, плюс дети из детдома. Детдомовцы всегда побеждали. У них был самый лучший художественный коллектив. Они были красивее всех одеты, в одинаковых костюмах, и лучше подготовлены, вероятно, потому, что они репетировали в том же доме, где и жили. Для обычных школьников, конечно, такое было невозможно.

В те времена детские дома были наполнены сиротами войны. Дети нормальных, хороших родителей, никаких не алкоголиков; умные, развитые, очень серьёзные и ответственные. В моей школе не было детдомовцев, так что я с ними в обычной жизни не сталкивалась, но, благодаря нашим многочисленным соревнованиям на клубной сцене, я многих хорошо знала в лицо. Вскоре после войны детдомовцы куда-то исчезли. Вероятно, их перевели в другое место или часть из них нашла своих родителей, я этого не знаю, но без их участия соревнования потеряли накал, а потом вообще художественная деятельность в клубе Лобкова «приувяла». Правда, на праздники всегда были выступления школ. Я помню себя, читающей стихи на сцене, когда училась уже в последних классах.

После 7-го класса закончилось наше пребывание в школе-семилетке №16. В конце учебного года к нам пришли какие-то начальники, рассказывали о возможностях устроиться на работу. Особенно мне понравилось предложение пойти на хлебозавод – это же

около моего дома! – или поступить в техникум. Помню, что сердце моё наполнилось гордостью: вот я уже какая большая, меня берут на работу!

Но никто из наших на хлебозавод не пошёл. Весь класс почти целиком перевёлся в школу-десятилетку №13, находящуюся близко от клуба Лобкова, которую только что отремонтировали после того, как здание освободилось от действовавшего там всю войну госпиталя для раненых бойцов. Но о средней школе я ещё расскажу, а сейчас хочу поделиться воспоминаниями о семилетке, в которой я училась до лета 1947 года.

Как я уже писала, школа находилась очень близко от моего дома, но в противоположном направлении от нашей секции. Здание небольшое. Мне кажется, что оно было деревянное, двухэтажное. Внизу раздевалка, уборные, буфет и несколько классов. А на втором этаже в центре – большое пространство, которое служило актовым залом. Там проводились общие собрания и праздничные выступления. С одной стороны были окна, а с трёх других помещались классные комнаты и учительская. Вероятно, это была типичная планировка для небольших школ России. Деревенская, где я училась до Омска, построена по такому же плану, только актовый зал был на первом этаже, там же и учительская. Но при деревенской школе существовала и квартира для директора, с выходом в здание через учительскую. В городской школе такой квартиры не было предусмотрено.

Учителя в нашей школе №16 были все средних лет или пожилые (или мне так казалось?) Во всяком случае, очень молодых, только что из ВУЗов, не было. Моя мама после трёх лет преподавания в мужской школе перешла в ту, где я училась. Она говорила, что в школе был сильный преподавательский коллектив. И качество знаний учеников, их сознательность она тоже очень хвалила. Через много лет, когда она уже работала в других регионах, часто сравнивала своих новых учеников с сибирскими. Наверное, сама обстановка военного времени и сталинская железная дисциплина, которая распространялась на все стороны жизни, делали своё дело и дети той поры были сознательнее теперешних и хорошо учились.

Я помню, мы все очень много читали. Уроки русского языка велись так, что нам для выполнения домашнего задания нужно было

обязательно обращаться к произведениям классиков, выискивать строки, которые бы иллюстрировали то или иное грамматическое правило. Придуманные собственные предложения учительницей отвергались, она обязательно хотела, чтобы для примера была использована цитата из известных авторов. Это заставляло нас искать, а, значит, читать книги.

Учитель географии приглашал целый класс к себе домой. У него было много книг, карт, рисунков, пособий, их невозможно приносить всякий раз в школу и он предпочитал приглашать нас в гости.

Учительница истории, приходя в класс, оповещала: «Следующую главу учебника прочитаете дома», после чего рассказывала о том, что не написано в нём, приносила с собой альбомы, показывала репродукции картин художников на исторические темы, обращала наше внимание на художественную литературу.

Учителя той поры не были только преподавателями наук. Они участвовали в нашей жизни, работали вместе с учениками в колхозах на уборках урожая. И даже больше того, классные руководительницы водили детей в общественную баню раз в неделю и там мыли головы девочкам с длинными волосами, а таких было большинство. Возможно, сейчас это покажется диким и непонятным, но в военные годы общественные бани очень ценились, так как дома почти не было возможности помыться из-за отсутствия ванных комнат, тёплой воды и канализации. В банях всегда были огромные очереди, простаивали в них многие часы. И поэтому руководство города решило выделять школам определённые дни в банях. Были дни для женских школ и для мужских, классы соблюдали часы по расписанию. Приходили в баню строем, каждый класс со своим классным руководителем того же пола или с выделенным для этого дела учителем. Эти «надзиратели» следили, чтобы все хорошо помылись и помогали по надобности. В те времена всё это нам казалось в порядке вещей. Помню, что эта «банная» традиция продолжалась потом и в других городах. Так, поступив в Ленинградский Технологический институт в 1950 году, я вместе с другими студентами из общежития проходила обязательное мытьё в бане и пропаривание белья для выведения вшей. Избавление Советского Союза от вшей было тогда, после войны, государственной политикой.

Но вернусь к Омску. Кроме учёбы, мытья в бане, репетиций художественной самодеятельности, у нас, учениц женской школы №16, были и другие обязанности. Развивалось тимуровское движение: пионерские команды ходили по домам, где жили одинокие, больные или старые люди, семьи с малыми ребятишками, у которых отцы были на фронте. Мы им помогали, как могли: посидеть с ребятами, постоять в очереди за хлебом, убраться в доме. Многие семьи к нам искренне привязались. Так же радовались нашему приходу раненые бойцы, лежавшие в госпитале. Перед ними мы пели, танцевали, декламировали стихи. Но им больше нужна была наша помощь, чтобы написать письма. Большинство из них, лежачих, с перевязанными или ампутированными руками, не могли сами писать и даже читать писем, и поэтому наш приход был всегда кстати.

Кроме работы с населением, тимуровцы несли шефство над ученицами младших классов. В начале учебного года, когда я пришла в 5-ый класс, нас выстроили на линейку – с одной стороны мы, а напротив малышки из первого класса. Руководство школы объявило, что каждая девочка из 5-го класса будет шефствовать над одной ученицей из первого. Первоклассница, оказавшаяся в шеренге напротив меня, стала моей подшефной. Теперь я за неё отвечала. Я уже не помню точно, проверяла ли я, как она учит уроки, как читает и пишет, но мне запомнилось, как я приготовляла ей тетради. Тогда, в 1944 году, тетрадей нам не выдавали и купить их было негде. Но танковый завод посылал в школу листы от использованных чертежей. Эта бумага была с одной стороны сиреневого цвета, с вычерченными на ней деталями, схемами, а с другой – белая. Вот на белой стороне мы и писали, предварительно разрезая листы, потом сшивали их, превращая в тетради. (У меня и сейчас ещё есть одна такая тетрадь. Она сохранилась потому, что я писала в ней черновики своих детских стихов и моя мама их не выбросила после того, как я уехала из Омска).

Но маленькие девочки из первого класса не могли сами себе шить тетради, вот им и нужны были помощники-шефы. Мы не только кроили и шили нитками тетради, мы их ещё и линовали. Для начинающих писать первые буквы нужны тетради, разлинованные в горизонтальные и косые линии. Расстояния между линиями должны быть одинаковые, а это сделать совсем непросто.

Сначала нужно, используя линейку, разметить точками с двух сторон листа одинаковые расстояния, а потом их соединять. Так пролагались горизонтальные линии. Потом при помощи треугольника задавался нужный наклон первой косой линии и после этого параллельно ей проводились остальные. Я была очень горда, что выполняю такую ответственную работу, старалась, чтоб линии действительно были на равных расстояниях и мне это в большинстве случаев удавалось. Теперь я думаю, что было бы совсем неплохо, если бы и нынешние дети помогали младшим в школе. Это воспитывает сознательность, ответственность, с которой остаёшься на всю жизнь.

Косые линии требовались только в первом полугодии, а потом надо было линовать только горизонтальные, – это проще. А когда девочки подросли, то сами справлялись с такой работой. Я уже не помню, чтобы в шестом классе шефствовала над кем-то. Правда, хорошим ученикам приходилось помогать товарищам из своего же класса, которые были к ним «прикреплены».

Атмосфера военного времени пропитывала всю нашу жизнь, в школе, на улице, дома. Зимой в квартире – холодно, батареи центрального отопления – чуть тёплые и поэтому на них хорошо было сидеть, не опасаясь ожогов. Я подставляла к батарее стул, влезала на неё и так просиживала часами, уча уроки или просто читая и слушая радио.

В доме радио никогда не выключалось. Во всех квартирах был репродуктор, регулярно передавались новости с полей сражений и другие последние известия. Война уже шла к концу, и очень часто звучал победный голос Левитана. Ни с чем не сравнимый, возвещавший о наших победах. Я говорю о наших, потому что мы все, взрослые и дети, жили в общем единении, мы каждой клеточкой своей души чувствовали причастность к общему делу. И потому никакие лишения и неудобства были не страшны и не раздражали, как раздражают сейчас любые мелочи.

Я помню, как мы праздновали мамин день рождения. Это было 4 марта 1944 года. В этот же день был день рождения сестрёнки моей подруги и одноклассницы, жившей двумя этажами ниже. Наши мамы решили отметить этот день вместе. И отметили. Мы пришли к ним. Уж не помню, что мы принесли, но у них была

картошка – не сушёная американская, а настоящая, горячая, от которой шёл пар. Давно не виданная роскошь! Но нас было пятеро, а картофелин только четыре. И помню, как мы их делили, чтобы всем досталось поровну. И были так довольны и счастливы! Я до сих пор помню этот день нашей солидарности и дружбы.

И ещё я помню другое ощущение радости, которое делила с другими. В школе нам каждый день выдавали по ложке сахарного песка на человека. В большую перемену мы всем классом спускались в буфет, держа в руке пустой бумажный кулёчек, свёрнутый в виде воронки. Мы подходили по очереди к буфетчице, и она высыпала ложечку сахара каждой девочке в кулёчек. Обычно мы этот сахар в школе не ели, а уносили домой. Мы делились сахаром с домашними. Помню моё чувство гордости, когда мы всей семьёй по субботам собирались пить чай с сахаром, накопленным мной за неделю. Ведь в моём пакетике набиралось целых шесть чайных ложечек сахара!

Воспоминаний о воскресеньях, проводимых в кругу семьи, у меня нет. У нас просто не было общих воскресений как свободных дней. Я и мама по воскресеньям не ходили в школы, если не было каких-либо мероприятий. Но мой отец в воскресенья работал, так как в городе не было общего для всех трудящихся свободного дня. Каждый завод имел свой собственный выходной, вместо привычного воскресенья. Я сейчас не могу объяснить, чем было вызвано такое решение, но тогда оно казалось разумным. Папин завод, вместо воскресенья, имел свободный день во вторник, когда мы с мамой были заняты.

И всё же был в году такой день, когда люди могли собраться всей семьёй! 22 января – вроде праздника, знаменательный День Смерти Ленина! Я очень любила этот единственный день в году, когда я могла быть с отцом. Поскольку это был зимний день, мы отправлялись на прогулку на лыжах. Помню, что до войны, когда наша семья жила в Великом Новгороде, на лыжах мы выезжали все трое: папа, мама и я. И это случалось часто. Но в этот омский, единственный совместный свободный день в году, я помню, что выезжала на лыжах только с отцом. Мы двигались далеко вниз по замёрзшему и покрытому снегом Иртышу и возвращались обратно, когда уже порядком стемнело. И один раз помню, что мороз

был сильный, и обморозилось моё лицо, и дома мне его растирали снегом мама и бабушка, а потом мазали рыбьим жиром.

И, вероятно, таких памятных дней не было больше двух-трёх, поскольку после Победы воскресенья вошли в свои права, но те свободные январские, ленинские, вспоминаются по особому. Почему это Сталин устроил людям праздник в день смерти Ленина, а не в его день рождения?

Как я уже писала, радио никогда не выключалось. И если не выступал Левитан или не передавались другие последние известия, из репродуктора непрерывно лилась музыка. В основном это были песни, те военные, задушевные, от которых у нашего поколения и сейчас текут слёзы, если мы слышим их. Мы знали все слова этих песен, принимали их умом и сердцем. Мы их исполняли в школе (в семилетке были уроки не музыки, а пения). Мы их пели в пионерских лагерях и когда собирались кучками в подворотнях своих домов. Они звучали повсюду во время войны и ещё несколько лет после. А через десятилетия их стали исполнять в радиопередаче «Встреча с песней». Сейчас всё другое, иные времена и музыка. Но то, что я слушала в детстве, живёт со мной, как и в душах других старичков. А если не передавались песни, слушали арии из опер, симфоническую музыку. Это была музыка моего детства.

Потом в один прекрасный день мы услышали, что кончилась война. Мы уже давно ждали этого известия, но, когда по радио объявили, что Германия безоговорочно капитулировала, радости не было конца. В то утро родители послали меня за молоком. Его приносили крестьяне и горожане, у которых были коровы. Они приходили и садились у стены нашего большого дома, как раз около нашей секции. Я спустилась со своей верхотуры к сидящим женщинам и там разговор был только о конце войны. Праздник был всеобщий, долгожданный, выстраданный всем народом. Мы чувствовали себя в тот день единой семьёй, мне всех хотелось расцеловать.

Второй раз единство с людьми, но уже не такое острое, я ощутила через несколько месяцев, когда услышала, что американцы сбросили атомную бомбу на японские города. Теперь мы знали, что победа уже окончательная, и опять радовались. Тогда ещё никто не знал, что значит атомная бомба, какова её разрушительная сила и сколько несчастий она принесёт населению. Для нас тогда

эти две атомные бомбы были только символом окончательной победы над фашистами. И мы радовались.

Весной и летом 1945 года мы ещё так же жадно слушали по радио все новости, читали газеты. Я помню, что Сталин наградил короля Румынии орденом Победы. Самое удивительное для меня было, что король такой молоденький и красивый. Его портрет был помещён в газете. Мы видели до тех пор снимки наших маршалов, которые выглядели мужественными и солидными. А король Михай был молоденький красавец. Я запомнила его по снимку в газете, а через два года, когда я с родителями отправилась в первый наш отпуск после войны, в поезде на обратном пути нам пришлось ехать в купе с одной супружеской военной парой, которая возвращалась из Румынии. Они рассказывали, что много раз видели румынского короля, что он очень подружился с русскими военными в Бухаресте, и даже просился вступить в Комсомол, но получил отказ по случаю своего несоответствия из-за своего царского происхождения. Не знаю, было ли это правдой или только расхожими байками – во всяком случае, когда я стала жить в Румынии, мне никто не подтвердил таких рассказов – но тогда я сразу поверила и молоденький король мне стал ещё симпатичнее. Теперь уже старый король Михай живёт в Румынии, его возвращение не было ни простым, ни славным и о его роли в Победе над фашистской Германией вспоминают только в памятные даты.

А жизнь в стране после окончания войны стала быстро налаживаться. Эвакуированные возвращались в Ленинград и в доме освобождались квартиры. Тогда и наша семья получила комнату в новой квартире, на втором этаже в 14-ой секции. Квартира была двухкомнатная. В одной комнате жила семья с двумя девочками, а в другую, боковую, въехали мы. В этой квартире было гораздо удобнее и приятнее жить. Во-первых, меньше народу, соседи оказались очень хорошими и нам стали, как родные. А во-вторых, в этой квартире была канализация, – уже не надо бегать на улицу за надобностью и с помойным ведром. Я не знаю, когда в 14-ой секции провели канализацию; теперь думаю, что, может, она у них была и во время войны – я что-то не помню, чтобы в той стороне дома располагалась общественная уборная на улице. Когда мы переехали в эту квартиру, условия были почти нормальные.

Только ванная не работала, и мы по-прежнему регулярно ходили в общественную баню. Но там уже не было таких очередей, как во время войны.

Вторую крупную перемену принесла денежная реформа 1947 года. В Германии во время войны напечатали много фальшивых советских денег, которые доставлялись в Советский Союз. Цены возросли неконтролируемо. Поэтому выпустили новые деньги, а старые обменяли в небольшом количестве. И сразу жизнь в стране изменилась. В магазинах появились новые продукты: колбаса, которую мы не видели с довоенных времён, и, к ещё большей нашей радости, белый хлеб. Откуда только всё взялось! Отменили карточки.

Никогда не забуду, как мы все трое: мама, бабушка и я – уселись на табуретки в круг, каждая напротив двух других, и стали есть белые булки, ни с чем, просто наслаждались вкусом, потому что всю войну и после, до самой реформы, по карточкам выдавался только чёрный хлеб.

Денежная реформа 1947 года совпала с моим переходом в среднюю школу №13. Жизнь налаживалась, мы подрастали. Наш класс в основном состоял из тех же девочек, с которыми я училась в семилетке. Но некоторые мои бывшие одноклассницы не пошли в среднюю школу, устроившись в техникумы и иные места. Было несколько параллельных классов, так как в новую десятилетку перевелись и ученицы из других школ. Преподавательский состав тоже был смешанный, прибывший из разных школ, в том числе и из моей «родной» семилетки. Так, я очень обрадовалась, увидев среди преподавателей нашу любимую учительницу истории Ольгу Фёдоровну Андрееву, а также учительницу химии Нину Михайловну Ковалёву. Однако сменились учителя по русскому языку и литературе, а также по математике.

Наша новая преподавательница по математике, Мария Васильевна Каеш, была уже в возрасте, с обычаями других времён. Говорили, что она до революции имела собственную частную школу, которая очень славилась. Каждый год её ученики ездили в путешествия по России, на восток, дальше в Сибирь, и на запад, в Петербург, другие города. Но мы об этом слышали, как о легенде. Она была очень строгой и старалась выработать у учеников

точную математическую речь. Спрашивала какую-нибудь ученицу и, не получив правильный ответ, оставляя её стоять за партой, показывала рукой на другую и говорила: «Девочка» – и та должна была дать верную формулировку. Если ответ опять не удовлетворял, она направляла палец на следующую ученицу и говорила снова: «Девочка» – а предыдущая оставалась стоять за партой. И так могла поднять чуть ли не весь класс, пока не прозвучит точный ответ. Вероятно, этот метод давал хорошие плоды. Я знаю это по себе. Так, на первом курсе института в Ленинграде я сдавала устный экзамен по высшей математике. После моего ответа преподавательница института меня спросила, где я окончила школу. Я ответила, что в Омске. И тогда экзаменатор, поинтересовавшись, как звали мою школьную учительницу, просила передать ей благодарность за то, что она привила нам такую точную математическую речь. Я исполнила эту просьбу.

Это очень важно, где именно довелось учиться. Омские школы военных и послевоенных лет были на высоком уровне, и я очень им благодарна. В стенной газете, выпущенной по поводу окончания учебного года, были помещены следующие мои стихи:

Сегодня, аттестаты получая,
Благодарим мы всех учителей,
Что, знаниями нас обогащая,
Воспитывали нужных вы людей.
Желаем, чтобы труд ваш благородный
Всегда давал достойные плоды
И чтоб вам в общей славе всенародной
Принадлежали первые ряды.

22 июня 1950г.

После окончания школы я уехала из Омска в Ленинград поступать в Технологический институт им. Ленсовета. Началась новая полоса моей жизни. Но я всегда помню Омск, как важный и очень интересный этап биографии. Спасибо тебе, мой Омск, Сибирь, Россия.

Румыния

Леонид Лопатин

ЖИТЬ ВО ЛЖИ

Советское образование и воспитание в пятидесятилетних наблюдениях школьника, студента, учителя, профессора[1]

(Продолжение, начало см. «ГС» №5)

Мои родители

Знали ли мои родители при советских вождях политическую правду? Не ту «правду», что лилась из газет и по радио, а ту правду жизни, которой жили предшествующие поколения российских людей. Не сомневаюсь, они знали. Знали и молчали. Лишь изредка мой отец, Николай Артамонович, позволял себе собственные комментарии событий. Комментировал так, что лет через 10-20 оказывалось, что он был прав. Откуда у него, простого железнодорожного мастера без образования, было такое провидение? Да и у одного ли его?

Как он комментировал события при Сталине, я, разумеется, не знаю по малолетству. Но хорошо помню, как мы с братом Геннадием не раз молодыми петушками наскакивали в конце 50-х годов на своего «непонятливого» отца, повторяя сказанное учителями об очередном мероприятии коммунистической партии, казавшимся нам перспективным и правильным. Мы, например, искренне не понимали, почему отец вслед за ними не восторгается, скажем, задачами построения коммунизма, когда об этом стали всюду говорить с 1958г. Мы, помнится, «доказывали» отцу замечательность того времени, когда при коммунизме вся собственность будет всеобщей. Ещё бы! У нас не было велосипеда, а у соседского Ваньки Бобрышева, по кличке Чекист, он был. (Его родители работали в торговле, оба были судимы за хищения.) Мы считали, что при коммунизме тот ванькин велосипед будет принадлежать и нам. «Но тогда и твои (назывались какие-то ценные для нас вещи) будут ванькиными», – говорил, усмехаясь, отец. А этого нам уже почему-то не хотелось. Не понимали мы отца и мать, когда те в 1959г. осуждали правительство за ликвидацию домашнего скота, говоря, мол, так

до голода опять можно докатиться. А нам нравилось, что теперь с поросятами не надо возиться, сажать столько много картошки…

Скажем, мы восхищались щедростью Хрущёва, который во время визита в Индию подарил индусам пассажирский самолет, кажется, ИЛ-18. А родители почему-то недовольно ворчали: «Всех <…> кормим, а самим жрать нечего». Нам было невдомёк, что наши отец и мать народным нутром чувствовали лживость и фальшь идеи мировой революции, когда советские люди (то есть мать и отец, в том числе) должны были «тянуться» на «братьев» из социалистических стран… Судя по отдельным репликам, родители считали, что всех их содержит наша страна.

Так оно и оказалось. После развала социалистического лагеря в 90-е годы бывшая элита соцстран цинично признавалась, что в лице СССР они видели свою «дойную корову». А эксцентричный Ф. Кастро рассказывал своим соратникам, как ему удавалось в очередной раз «выбить из СССР 20 миллионов долларов». Это были деньги моих родителей. Отец и мать, вдвоём проработав почти 100 лет на государство, так ни разу не съездили на море, всю жизнь держали подсобное хозяйство, зная, что даже на две зарплаты семью прокормить нельзя. А ведь отец был отнюдь не рядовым низкооплачиваемым рабочим. Да и мать, Александра Ивановна, пошла на пенсию по подземному довоенному и военному шахтерскому стажу, последние 15 лет проработав на исключительно квалифицированной и ответственной должности машинистки скипового подъема.

Однако это не значит, что родители вели с нами специальные разговоры на политические темы. Правильнее будет сказать, что они избегали таких разговоров. Это у них прорывалось либо в раздражении, либо у подвыпившего отца. Родители постоянно предупреждали нас, «чтобы не болтали лишнего». Они твердо знали, что вокруг есть те, кто обязательно донесёт «органам». И действительно, в 90-е годы были публикации, утверждавшие, что такими доносителями в СССР был каждый седьмой человек, а в ГДР – четвёртый. А мать рассказывала, как на шахте «Зиминка» её саму в 40-е годы вербовали в такие агенты.

После падения социализма в Чехословакии (осенью 1989г.), замминистром госбезопасности стал известный у них диссидент, от

которого общественность ждала публикации списка доносчиков. Однако публикации не последовало. «Когда из документов я узнал фамилии доносивших на меня, – говорил потрясённый министр, – я понял, что публикация их имён вызовет гражданскую вражду в стране». Журналисты выяснили, что на него регулярно «писала» жена, личные друзья и политические соратники.

В 90-е годы и я считал, что списки доносчиков КГБ публиковать не надо. Понимал одного из лидеров шахтёрского движения Александра Валентиновича Асланиди, который, обнаружив в дни провала путча ГКЧП (август 1991г.) список доносчиков из шахтёров, не отдал его журналистам. Но сейчас, когда после развала КПСС прошло 15 лет, когда острота социального конфликта миновала, списки доносчиков не только можно, но и должно опубликовать. Подозреваю, что оправившись от испуга за ожидаемую расплату, именно эти люди и их отпрыски сегодня усердствуют в формировании авторитаризма. Нравственно нечистоплотным людям не должно быть места ни во власти, ни в науке, ни, тем более, в преподавании. Люди без чести создают вокруг себя хамскую среду, среду подлецов и нравственных уродов. Не такая ли среда, как наследие социалистического эксперимента, и доминирует в нынешнем российском обществе?

Мы на кафедре тоже знали, что о содержании наших занятий доносят завербованные студенты и кто-то из преподавателей. Запомнился случай из 1980г. На ежемесячных политзанятиях, обязательных для всего профессорско-преподавательского состава института, я прочитал лекцию о политическом кризисе в Польше и деятельности профсоюза «Солидарность» под руководством Леха Валенсы. Объясняя причины тех кризисных событий, я так красочно расписал неэффективность экономики Польши, коррупцию чиновников и пр., что профессор Владимир Григорьевич Богданов (кафедра оперативной хирургии) искренне воскликнул о точно такой же картине и в СССР. Кто-то из слушателей тут же донёс об этой лекции «куда надо». И секретарь парткома Анатолий Васильевич Литвиненко (кафедра госпитальной хирургии), председательствовавший на том занятии, на другой день ответствовал за неё аж (!) перед самим первым секретарем обкома КПСС Л.А. Горшковым.

Мои отец и мать не уставали повторять нам, чтобы мы не смели ничего подрисовывать на газетных портретах вождей. Пережив голод и репрессии 30-40-х годов, они постоянно напоминали детям (нас было шестеро), «говорить, как велят в школе», иначе, мол, «нашего папку посадят».

Мать была верующим человеком. В обеих комнатах нашего дома были иконы (позднее – только в одной). В дошкольном и раннем школьном возрасте мать пыталась приобщить нас к религии. Отец, кажется, в этом её не поддерживал, но и не препятствовал. Это точно. Сам участвовал в религиозных процедурах только по случаю Пасхи.

Мне было лет семь, когда мы с братом несколько недель аккуратно молились по утрам. Крестились перед едой. Крестились после неё. Уж очень хотелось нам впоследствии попасть в рай. Однако вскоре из-за лености молиться перестали. А мать не настаивала. Хотя она была волевым человеком, и принудить нас могла запросто.

Мать была, как стали говорить позднее, экстрасенсом. И, видимо, сильным целителем. Могла не только избавить ребенка от грыжи, корову от мастита, но и излечить человека от заикания. К ней приезжали даже из других городов. Деньги за лечение она ни разу не взяла, говоря, что Бог дал ей этот дар бесплатно.

Так что приобщить нас к религии она могла. Но не приобщила. Только много позже я понял причину такой ненастойчивости матери, когда узнал о статье УК №58.10, в которой религиозное воспитание детей квалифицировалось контрреволюционной пропагандой (до расстрела). Советское государство, таким образом, лишило меня значительной части цивилизации, если её понимать по философу А. Тойнби как счастливое сочетание материального и духовного.

Увы, духовного воспитания на одних только уроках литературы или истории не наберёшься. Отсюда такой колоссальный дефицит нравственности у людей, переставших читать книги. Религиозная культура им не ведома, а со светской – они давно перестали общаться. Если не считать за такое общение телевизор с его идеологизированными передачами в советское время и развлекательно-похабными – сейчас. О значении религиозной

культуры процитирую замечательного русского философа Ивана Александровича Ильина, прах которого совсем недавно возвращён в Россию и захоронен в Донском монастыре. Он писал: «Воспитать людей к справедливости нельзя без веры и религии, ибо вера в Бога есть главный и глубочайший источник чувства ранга и воли к качеству».[2] «Жизнь на земле невозможна без терпения, смирения и отречения. Эти три основы были заповеданы нам Евангелием. […] То, что Евангелие раскрыло нам как добродетель и мудрость, как религиозное служение, – коммунисты возложили на нас в порядке каторжной покорности и притом без меры, без чести, без свободы и без духа – в виде публичной порочности и в форме политического пресмыкательства; и то, что в евангельском учении являлось добровольным самоограничением и в христианском обществе творило духовную культуру, – оказалось в коммунистическом порядке источником всеобщего культурного снижения и разрушения.»[3]

В какой-то степени через образование мне, видимо, удалось компенсировать дефицит собственного духовного воспитания. И, тем не менее, многое в изобразительном искусстве эпохи Возрождения или русской иконописи мне становится понятным только после объяснения моей дочери Наталии, которая не только знает, но и душой воспринимает христианство.

Ну, а те мои ровесники или их дети, кто книжек не читал и не читает? Чем они компенсируют духовный вакуум? Не эта ли духовная пустота – причина массового безнравственного поведения моих сограждан, проявившаяся в ограблении успешного соседа во время коллективизации 30-х годов; доносов на «врагов народа» и расстрелах соотечественников в 20-50-е годы; блата и взяточничества в годы «застоя»; «большого хапка» в дни приватизации 90-х; пьянства как образа жизни; бытовых убийств; воровства и грабежей; хамства как во все советские, так и постсоветские годы?

Известный журналист Вячеслав Костиков образно сравнил нашу страну со сталинской зоной, заявив, что эта «зона живет внутри нас, в нашей памяти, в страхах, нашей обезображенной и обезбоженной душе».[4] Отсюда, именно отсюда и происходит воровская культура власти (как главного пахана). Отсюда

и «культура» заискивающего народа, готового стерпеть любое хамское поведение чиновника, милиционера, сержанта-«деда» и дурака соседа.

Уважение к старшим

Ещё не понимая всей политической правоты родителей, как правоты народа (!), я «списывал» их недовольные реплики о действиях властей на «отсталость людей старшего поколения». Так меня учили и в семилетней школе №17, и в средней школе №84. Коммунистическая партия формировала нового человека с нетрадиционными приоритетами. Люди извечно стремились жить в иерархии ценностей: человек – семья – общество – государство. Советское государство их принудило к иному противоестественному порядку: государство – общество – человек. Эти приоритеты должны были в корне изменить сознание человека. Что, естественно, резко дисгармонировало с мироощущением и поступками старшего поколения. Вот почему коммунистической партии так необходимо было оторвать молодёжь от их предков, противопоставить «новое» – «старому».

Деятельность русского человека издревле была сопряжена с оглядкой на мнение предков. Отказ от предков был равносилен предательству или измене. Русский человек с дохристианских времен возводил авторитет предка, авторитет деда, авторитет человека преклонного возраста в культ. Славяне полагали, что даже умерший предок способен их защитить. Обращались к нему в момент опасности, говоря заклинания: «Чур – меня!» (то есть пращур, защити меня!).

Отлично помню, мои родители и их ровесники так и строили свою жизнь в 50-е годы, ориентируясь на старших и всеми уважаемых людей. Скажем, для моего иногда буйного отца высшим авторитетом был его родной дядя Лаврентий. Стоило матери сказать, что она пожалуется дяде Лаврентию, как отец сразу сникал. Не только родственники, но и все жители трёх посёлков (Сахалина, Тугая, Кривого) обращались за советом к деду Сорокину, ослушаться мнения которого было не просто постыдно, но и в голову никому не приходило. После его смерти такую роль арбитра стал выполнять Андрей Иванов (с Кривого)[5], который был хотя и

не намного старше соседей, но слыл умным и рассудительным. К тому же он был ещё и костоправом.

Мы, дети, не могли игнорировать замечание взрослого. И речи не могло быть, скажем, о курении в присутствии взрослого, сквернословии, игры в пристеночек, в карты на деньги. В свою очередь и малышня не смела нам перечить.

О нашем трепете перед взрослыми можно судить по случаю из середины 50-х, когда нам было 9-10 лет. Семь домов нашего поселка (так называемый Сахалин) были отгорожены железной дорогой от основного жилого массива (Тугая). Хозяева этих домов поочередно «гуляли» друг у друга. И детвора тоже составляла нечто единое, общинное. Почти в каждом доме ставили «ёлку», украшая берёзовую ветку самодельными бумажными и камышовыми игрушками. Справной считалась «ёлка» в том доме, где на ней висели бумажные фантики из-под конфет. И уж совсем богатой была та, на которой блестела станиолевая конфетная обёртка, называемая у нас «золотинкой». Цвета золота мы не знали, и всё сталистое называли золотым.

Нового года мы очень ждали, так как это был единственный день в году, когда из школьного новогоднего подарка мы ели по одному яблоку и одной мандаринке. Новогоднее яблоко и мандаринка – единственные в году, вошли не только в мемуарную, но и художественную литературу. Не являются ли они свидетелями исключительно хамского отношения советского государства к людям, полного наплевательства к их элементарным нуждам? А, может быть, потому и не было в свободной продаже фруктов до 90-х годов, чтобы, однажды получив их, человек испытал счастье и чувство благодарности к дающему?

Не потому ли люди моего и особенно более старшего возраста вспоминают советское время как счастливое время? Получил раз в году яблоко – счастье! Хватило муки, за которой ты стоял в очереди ещё с вечера вчерашнего дня – счастье! Чекисты, приехавшие ночью, постучались не в твою, а в соседнюю дверь – счастье! Подошла десятилетняя очередь на покупку автомобиля – счастье! Перед праздником распределили тебе на заводе мясо (колбасу, конфеты, сгущёнку, коньяк, кофе, чай, шпроты, печень трески и другую еду) – счастье! Так и жил

советский человек в ощущении состоявшегося или грядущего счастья. Не то, что в 90-е годы, когда всё кругом есть. Никакого счастья от приобретения не только апельсин, но даже автомобиля и нет. Пошёл и купил. Какое уж тут счастье? Вот раньше было…, мечтательно закатывают глаза люди из советских времен. И осуждать их не берусь. Они действительно ощущали радость от вышеперечисленного и подобного везения.

Но вернёмся к новому году моего детства из середины 50-х годов. В тот год старшие пацаны[6] впервые сходили в тайгу (километров за восемь) за настоящей ёлкой.[7] До праздников её спрятали за домом Ткаченко, в котором жили самые старшие подростки в посёлке – Лида и Толя. Ёлка была такая красивая и чудесная, несла столько праздничного в наш незамысловатый быт, что даже взрослые заходили полюбоваться ею.

И вот это наше сокровище высмотрел мужик из города и унёс елку. А мы во все глаза смотрели на него и даже не кричали. Никому и в голову не пришло пожаловаться родителям, тем более налететь на вора, как сделали бы современные дети.

Ведь перед нами был взрослый человек, осуждать действия которого малышне было нельзя. За тем мерзавцем мы издали бежали километра полтора. Надеялись, что у него проснётся совесть, и он отдаст елку. Так обидно было! Не знаю, кто вокруг той похищенной ёлки в тот Новый год водил хороводы. Но не думаю, что им прибавилось счастья от переполнявшей наши детские души отрицательной энергетики.

Увы, такой порядок устройства жизни через уважение к старшему почти ушёл уже к концу 50-х. В деле разрушения традиций и обычаев советская власть преуспела. Разорвала поколения. В результате уже к 70-м годам общество имело негативный образ «бабки», презрительную квалификацию почтенных по возрасту людей – «старичьё». Так на наших глазах исчезала важнейшая черта российской национальной культуры. Нравственная деградация человека становилась почти неизбежной.

Пропагандисты же и наш брат – преподаватели вузов и школ – декларировали будто бы о «всё возрастающем росте культуры». Однако в годы горбачевской полусвободы конца 80-х годов («гласности») люди всё больше стали задумываться над истинностью

такого утверждения. Стали писать о культурной революции вовсе не в прелестных тонах. Однако в постсоциалистические годы мысль о деградации национальной культуры получила неожиданный выверт. Утвердился ложный постулат об утрате культуры будто бы в реформаторские 90-е годы.

Особенно много твердили о потере патриотизма. Хотя на самом деле патриотизм изничтожался все годы советской власти. И происходило это через уничтожение памяти предков. Антипатриотическая политика была самой сутью советской власти. Она была основным содержанием внешней и внутренней политики КПСС.

Патриотизм

Против патриотизма большевики целенаправленно боролись, ещё даже не будучи у власти. Об этом красноречиво говорят их лозунги в годы Первой мировой войны: «поражение своего правительства!»; «превращение войны империалистической в войну гражданскую!». Придя к власти, они рассматривали патриотизм как проявление буржуазного национализма. В соответствии с марксистским постулатом – «пролетарий не имеет отечества» – коммунисты были озабочены не воспитанием любви к родине, а формированием интернациональных чувств «во имя социального освобождения пролетариата всего мира».

Руководители СССР были настолько преданы идее мировой революции, что для её реализации превратили нашу страну в завод по производству оружия. Индустриализация была проведена не для народа, а для военно-промышленного комплекса. Коммунисты отказались от национального гимна, взяв (до 1943г.) за таковой гимн революционеров («Интернационал»). Они заменили национальный флаг России революционным (красным). Государственный герб СССР (серп и молот на фоне земного шара) символизировал вовсе не национальную идею, а идею мирового господства социализма. Руководство страны было так озабочено интернационализмом, а не патриотизмом, что написало антипатриотичный призыв («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!») даже на государственных знамёнах и сделало его эпиграфом для каждой советской газеты. Даже гордое название страны «Россия» было заменено на оскорбляющее слух патриота слово «РСФСР», а затем – «СССР».

Почему СССР и Германия, став союзниками в 1939г., осуществили совместную операцию по захвату Польши и, в ознаменовании той победы над Польшей, провели в г. Львове советско-германский военный парад? Почему Сталин и Гитлер были настолько большими друзьями, что с августа 1939г. по октябрь 1941г. (?!) за антифашистскую пропаганду в СССР расстреливали? Да потому, что советские вожди руководствовались отнюдь не патриотическими интересами. Для них важнее всего было реализовать идею мировой социалистической революции при помощи гитлеровской Германии, которая, победив европейские страны, создаст в них революционную ситуацию.[8]

Война, утверждали классики марксизма, создает необходимые условия для революции. И самое лучшее, если правительство капиталистической страны терпит поражение. Предполагалось, что к 1942г. Гитлер разгромит европейские страны. Там начнутся восстания народов, произойдут социалистические революции. А Красная армия им поможет. Вот отчего 22 июня 1941г. Сталин на целую неделю впал в прострацию. Хотел всю Европу сделать социалистической, а пришлось воевать за сохранение социализма хотя бы в одной стране.

Российский патриотизм был временно впервые реабилитирован лишь 3 июля 1941г. в речи Сталина в связи с начавшейся войной. Вождь вдруг вспомнил национально-освободительный опыт и патриотизм русского народа, неожиданно назвал слушателей его речи не казенно-партийным – «товарищи», а вполне человеческим – «братья и сёстры». Коммунисты были вынуждены временно забыть о своей главной заботе – мировой социалистической революции и ликвидировать в 1943г. её штаб – Коминтерн. Из интернациональной, пропаганда превратилась в патриотическую – «бей немца!», «защищай свою Родину!». Были восстановлены национальные офицерские звания и военная российская форма. Армия была переименована из революционной (Красной) в национальную (Советскую). Наконец-то введен национальный гимн и др.

Но уже к концу войны, и особенно после неё, интернациональные интересы опять были поставлены выше национальных. О каком патриотизме коммунистов можно говорить, если полстраны

лежало в руинах, каждые рабочие руки были на счету, а советское руководство продолжало удерживать людей в многомиллионной Советской армии, используя её силу для насаждения социализма в Восточной Европе и Азии?! В 1946 году в собственной стране – голод, а правительство гнало эшелоны с продовольствием за границу! И всё это лишь для того, чтобы немцы, поляки, венгры, румыны, чехи, и др., получив еду от нас, а не от американцев, строили социализм.

Надо было восстанавливать своё разрушенное хозяйство, а советским людям приказали строить сотни заводов в странах-сателлитах! Причем – заводы тяжёлой промышленности, что стало одной из основных причин бунта венгров в 1956г. Коммунистам было не до заботы о собственном народе. На первое место опять выдвинулась задача мировой революции, забота об «угнетенных» народах. Где только советские парни не погибали, выполняя «интернациональный долг»? Они гибли в Китае, Корее, Вьетнаме, Венгрии, Чехословакии, Египте, Сирии, Анголе, Сомали, в Афганистане! Социалистическое государство затевало войны (в то числе и Вторую мировую), а российский народ погибал в них либо миллионами, либо десятками тысяч. А ведь это наши отцы, братья, мужья, соотечественники.

У моего друга юности Павла Шлёмина отец погиб на фронте. Мать одна растила трёх сыновей. Старшего призвали в армию и в 1956г. убили в Венгрии при подавлении антисоциалистического мятежа. За что парень погиб, если в 1990г. почти все соцстраны встали на тот путь, по которому Венгрия пыталась пойти ещё поколение тому назад? У моего друга и коллеги по кафедре Александра Николаевича Чернышева отец воевал в трёх войнах, Финской, Германской, Японской. С женой они вырастили восьмерых дочерей и сыновей. Самый младший – Григорий, воевал в Афганистане и сгорел в бензовозе. А через пять лет после его гибели выяснилось, что мы напрасно вели там войну, выполняя некий «интернациональный долг». За что погиб Григорий, не оставив на Земле своего потомства? Неужели он пришёл в этот мир только для того, чтобы погибнуть в захватническо-гражданской войне, затеянной советскими вождями?

От антинациональной идеи мировой социалистической революции советское руководство отказалось лишь в 1986 году. После кровавых «разборок» Советской армии в 1989, 1990, 1991 гг. с жителями Тбилиси, Баку, Вильнюса пришлось отказаться от ставки на силу в решении интернациональных задач. Не задавили военной силой (как было в обычае советской власти) шахтёров Кузбасса и «нежные революции» в странах Восточной Европы. Это и привело к быстрому разрушению лагеря социализма и самого СССР, как искусственных образований, державшихся на силе Советской армии, КГБ и идеологическом обмане. Беловежское соглашение декабря 1991г. (увы!) было не причиной, а только констатацией уже развалившегося союза советских республик.

Альтернативой Беловежью была бы посылка моего сына Олега (хирурга) и сыновей моих одноклассников в Литву, Латвию, Эстонию, Украину и др. республики для борьбы с уже объявленным там суверенитетом. Гражданская война вновь могла опять разгуляться в России.

Патриотизм не умрёт, если люди любят свою Родину и передают эту любовь детям, причём не в виде высушенных пропагандой догматов. Понятие «Родина» индивидуально и не связано с государственной атрибутикой. Можно любить Родину и не любить государство, поскольку государство есть лишь комитет по делам управления обществом на основе закона и власти. Государство лишь составная часть Родины и вовсе не главная. И не надо приучать людей любить какой-то там комитет с его вожаками.

Любить надо маму и папу, сестёр и братьев, племянников и внуков, студентов и учеников, врачей и больных, соседей и коллег. И не позволять бандиту или чиновнику обижать их. Пока не будет любви в этой главной части Родины, ни о какой любви к большому территориальному пространству не воспитать.

Советские ученые-обществоведы, партийные пропагандисты и учителя (в том числе и я) воспитывали советский патриотизм на основе индустриальных достижений СССР в виде металлургических комбинатов, шахт, электростанций, самолётов и ракет. Самым нашим расхожим аргументом был приоритет Советского Союза в освоении космоса. С таким патриотическим «преимуществом» можно согласиться, лишь оговаривая эти индустриальные

достижения только для военно-промышленного комплекса. Кстати, неплохо бы и знать, что этот приоритет всё-таки пропагандистский, если вспомнить высадку именно американцев на Луну в 1969г. и знать, что из всех грузов, находящихся в космосе, 80% – американских. Для рядового человека, для моих отца и матери этих достижений почти не было.

Нравственность

Мало того, жизнь советского человека в 1917-1950-е годы по сравнению с дореволюционным периодом была явно хуже. *Во-первых*, в эти годы людей в массовом порядке (миллионами) убивали по суду, псевдо суду или вообще без суда. *Во-вторых*, страну «накрыл» голод (1918-1920гг.; 1922г.; 1932-1933гг.; 1946г.), перманентное нормированное снабжение по карточкам (1918-1921гг.; 1929-1935гг.; 1941-1947гг., 80-е годы) и вечные продовольственные дефициты вплоть до гайдаровской реформы цен (январь 1992г.). *В-третьих*, советская власть установила такую низкую зарплату (рабочим, инженерам, учителям, врачам и др.), что пришлось отправить на производство и хранительницу домашнего очага – женщину. А колхозникам долгое время вообще почти ничего не платили. В царской же России замужняя женщина не работала на производстве. Это считалось позором для мужа. *В-четвёртых*, ввели уголовное наказание за нарушение трудовой дисциплины. Работников (рабочих и служащих) закрепили за предприятиями. Крестьян закрепостили в колхозах, запрещая им свободный выезд. *В-пятых*, задавили мысль, превращая человека в послушного робота, зомби. Как выразился замечательный писатель Чингиз Айтматов – в манкурта.

Мало кому из советских людей удалось выйти из этого зомбированного, манкуртизированного состояния и за свободные 90-е годы. Для этого у нас не хватило ни образования, ни собственного достоинства, ни желания.

В плане ухудшения жизни человека после социалистической революции 1917г. можно говорить и в-шестых (недостойной одежде), и в-седьмых (убогом жилье), и в-восьмых (падении уровня образования), и в-девятых (извращении национальной культуры), и в-десятых (разложении общества), и в-одиннадцатых (утрате

национальной кухни и культуры питания), и т.д. Но не слышит современный россиянин этих аргументов. И все корявости современной жизни никак не хочет выводить из коммунистического прошлого. Чиновник-взяточник и олигарх-наглец, преступник и хам, недовольство которыми мы так дружно выражаем, присланы нам отнюдь не с Марса. Они – привет нам из социализма.

Но самое важное, я убеждён, даже не в исчезнувших в советское время продуктах, одежде и других материальных благах. В царской России были великие ценности, которые историк Наталия Нарочницкая выделяет в качестве определяющих цивилизацию: вера, отечество, честь, долг, любовь.[9] За них, по её словам, и крестьянин, и барин готовы были умирать. На бытовом уровне эти ценности проявляются через целомудрие, через детей, через церковь, через народный обычай. Именно это, а не освоение космоса или металлургические гиганты и есть для каждого человека цивилизация. Где в СССР эта цивилизация?

Где вера? Веру в Бога (Иисуса, Магомета, Будду и др.) уничтожали, заменяя её верой в «рабоче-крестьянских» вождей и коммунизм. Утратив веру, получили извращение нравственных устоев общества. Для нескольких поколений россиян потеряли христианскую, мусульманскую, иудейскую, буддистскую культуру.

Где отечество в нашем сознании? Его заменила мировая социалистическая революция, символы которой вывели в гербе, государственном знамени, гимне. Защиту отечества свели к «интернациональному долгу», за который (как уже говорилось) гибли наши парни в чужих странах.

Где честь в нашей повседневности? Разве могли сказать: «Честь имею!» даже высшие сталинские чиновники, скажем, М.И. Калинин (формальный глава государства) и В.М. Молотов (некогда формальный глава правительства), жён которых Сталин отправил в лагеря, в которых они, по обычаям зоны, могли стать лёгкой сексуальной добычей любого лагерного мерзавца (в военной форме или робе «зэка»)? Мог ли эту фразу с внутренним достоинством применять к себе инженер (учёный, врач, рабочий, крестьянин), которого принуждали доносить на соседа, коллегу, сослуживца? Советская система воспитывала не честь имеющих, а пресмыкающихся. Пресмыкались перед лагерным охранником,

колхозным бригадиром и председателем, чекистом и чиновником, «блатным» преподавателем и продавцом – «благодетелем».

Где долг, как образ жизни? Выполняет ли долг перед обществом человек, не воспитывающий своего сына и дочь, а лишь материально содержащий их? Должно ли и по достоинству ли мы выполняем свои профессиональные обязанности? Можно ли считать выполнением долга халтурную работу слесаря, некачественно починившего кран; инженера, из-за корявого руководства которого гибнут шахтеры; учителя, который преподаёт историю, до сих пор ориентируясь на «Краткий курс ВКП(б)»? Да что там долг перед обществом! Долг перед собственными детьми и родителями перестали выполнять. Не говоря уж о нравственном долге перед чужими людьми (стариком, женщиной, инвалидом, ребёнком).

Где любовь? Любовь – к женщине, ребёнку, земляку, соотечественнику? Её заменила классовая борьба, как движущая сила истории. Советская история может считаться историей ненависти и насилия. Эти – ненависть и насилие, культивировались советской властью, поскольку в её основе лежит идея К. Маркса о диктатуре пролетариата. Основываясь на диктатуре (ДИКТАТУРЕ!!!), советская власть и держалась в 1917-1991гг. С первых дней Октябрьской революции 1917г. людей учили ненавидеть буржуазию, помещиков и священников. В период нэп объектом ненависти стали нэпманы и, по-прежнему, священники. В конце 20-х и 30-е годы всех научили ненавидеть самую трудолюбивую часть российского крестьянства – кулаков.

В те же годы (как ленинские, так и сталинские) формировали стойкую и глубокую неприязнь к интеллигенции. Эта неприязнь так прочно утвердилась в сознании людей, что в 1966г. моя семиклассница (отличница) Галя Олешко пришла в ужас от моих слов, что учителя – это интеллигенция. Девочке было неведомо подлинное значение слова «интеллигенция». Но она твердо знала, что интеллигенция – враг народа.

В повседневном общении советские люди были приучены видеть, в основном, не партнёра, а врага. Покупатель неприязненно относится к продавцу, пассажир – к кондуктору, студент – к преподавателю, гражданин – к чиновнику. Когда же к нам возвратится любовь, чем так отличалась Россия от Европы?

У Ленина есть концепция о двух культурах в каждой нации: культуры господ и культуры народа.[10] Для Ленина они фактически антагонистичны. Приоритет для него, естественно, – у народной культуры. Потому-то революционеры с лёгкостью и громили барские усадьбы с их библиотеками, школами, картинными галереями. Сто с лишним тысяч помещичьих имений, находясь на стыке тех двух культур, безвозвратно погибли для России как очаги культуры, как проводники «господствующей» культуры в народ.

Но так случилось не только с «культурой господ». Разгромили и народную культуру. Прежде всего, произошло крушение традиционной крестьянской трудовой культуры, сформированной поколениями с языческих времен. Крестьянин, как хозяйствующий субъект, оказался в колхозе в раздвоенном состоянии. Он разрывался между личным подворьем (за счёт которого выживал) и коллективным хозяйством, не приносящем ему, как правило, ни материального, ни морального удовлетворения. Не мог он в таких условиях трудиться, как привык, с полной отдачей.

Если в первом поколении колхозников (1930-40-е годы) крестьянин хоть сколько-то придерживался воспитанной в нём трудовой культуры, то в последующих поколениях эта культура постепенно уходила. На смену ей пришла «вроде работа», когда «отмечавшие» праздник крестьяне могли по нескольку дней не кормить и не доить коров.

Много раз мне приходилось наблюдать, как мой брат Геннадий, работавший в 70-е годы директором совхоза «Октябрьский», в праздничные дни метался из деревни в деревню, «выгоняя» «гуляющих» доярок и скотников на ферму. В доколхозное время было немыслимо, чтобы крестьянин «по пьянке» не накормил или не подоил корову. Его бы запрезирала вся деревня. В порядочных односельчанах ему было бы не ходить.

В советское же время трудовая безнравственность стала нормой, как в городе, так и в деревне. Падение нравственности усугублялось голодом. Главное, что двигало советским человеком в голодные, либо вечно дефицитные годы, было простое физическое выживание. Это, именно это, и стало его общественным приоритетом на все советские поколения. Цивилизация уходила из повседневной жизни советского человека. Разумеется, далеко не

все утратили трудовую и нравственную культуру. Но уже, увы, не они «заказывали музыку».

Изменение характера трудовой деятельности сопровождалось и духовными деформациями, ставшими результатом реализации марксистского постулата о культурной революции (воспитание нового человека) как существенной части задачи построения социализма. Одной из главных составляющих культурной революции в деревне стало вытеснение массовой культуры в виде традиций и обычаев, которые в колхозах декларировались как отжившие архаичные. За короткое время были вытеснены традиционные праздники с их обрядовостью, за которыми стоял глубокий социокультурный смысл.

Религия была фактически запрещена, как конкурент в борьбе советской власти за сознание человека, за его внутренний мир.

Постепенно оказалась утраченной и коллективная песенная культура. Культура отдыха как семейного времяпрепровождения заменилась физическим восполнением жизненных сил (сон).

Репрессии родных и близких, хроническое недоедание, материальная нищета не способствовали сохранению праздничной атмосферы ни в деревне, ни в городе.

В качестве суррогатной компенсации праздника и традиционного отдыха народ выработал новую традицию проведения досуга – пьянство, которое не было распространённым в досоветском обществе. У моей дочери Наталии об этом написана монография.[11]

Удовлетворение эстетических потребностей через праздничную одежду почти исчезло. Если в досоветском обществе при посещении церкви нужда в праздничной одежде была почти каждодневная, то в советских колхозах и в городском быту потребность в «выходных одеждах» была сведена к минимуму (редкие гости, редкое кино).

В условиях никогда непрекращающегося дефицита продовольствия фактически погибла национальная кухня. Потому-то в 90-е годы «кулинарные» телепередачи стали самыми рейтинговыми. Они шли на всех каналах. Считалось, что именно на них эффективность рекламы самая высокая. Люди смотрели Андрея Макаревича и многочисленных его телеподражателей,

пытаясь научиться готовить нечто иное, кроме привычной советскому человеку жареной картошки, котлет и гарнира.

Потому и изменился менталитет россиянина, то есть некий духовный сплав, определяющий предрасположенность индивида мыслить, чувствовать и воспринимать мир. Главными отличительными признаками этого нового менталитета стали:

– лёгкое отношение к труду как досадной необходимости, от которой можно, при случае, уклониться («вроде работа», «халява»);

– нравственное оправдание практики воровства общественной собственности (а потом и личной), как следствие потери культуры частной собственности;

– неуважительное отношение к старшему поколению и манкирование собственными воспитательными функциями по отношению к подрастающему поколению;

– этатизм и социальное нахлебничество;

– ханжество;

– двойственность поведения и дуализм мышления.

– терпимое отношение к пьянству, ставшему обыденной повседневностью, а для некоторых – и образом жизни;

– снижение толерантности с неадекватным проявлением злобы и ненависти к окружающим, в том числе и в семье;

Россияне прочно забыли, что такое милосердие, что такое благотворительность. Творить благо – это стало не по нам. Нам бы чего-нибудь разрушить, кого-то посвергать, или хотя бы покритиковать (лучше – с фигой в кармане). Один из героев моей книги, бывший первый заместитель председателя Кемеровского облисполкома Алексей Антонович Гребенников, с которым я беседовал, в 1996г. говорил: «Советские руководители экономики не знают. Они привыкли работать лишь по указаниям свыше. … Они экономики не вытащат…».[12]

Заходясь от критики окружающей действительности в 90-е годы, мы не захотели понять, что на второй день после катастрофичного социалистического эксперимента не может быть изобилия. Как не может быть чистеньких лужаек после грязевого потока. Лужайки надо расчистить, траву на них вырастить, а потом и постричь. Но мы захотели получить всё сразу и много, всем поровну и на уровне

европейских стран. А раз не получили, значит, надо возвратиться в социализм. Пусть там опять будет всего одна мандаринка за весь год, но зато «как у всех». Пусть будет зарплата низкая, но зато и работать можно, как попало. Пусть отбирают свободу слова, но разве от них прибавляется колбаса.

Народ не захотел видеть и слышать, что у него постепенно отбирают его права. Прошедший школу страха и насилия, советский человек никак не научится требовать правды и справедливости. Народ неукоснительно продолжает соблюдать главные правила сталинских лагерей: «не высовываться», «не качать права», молчать и терпеть. Наше терпение – это наш страх, наш ужас перед властью. За годы советской власти советский народ разучился уважать себя. Он даже не хочет знать своих прав, не говоря о том, чтобы отстаивать их.

Советская история – это история ухода великого народа от цивилизации. «Испортили такую страну», – сказала 93-летняя крестьянка Анастасия Захаровна Михайлова, которая рассказывала мне и моей дочери Наталии в 1999г. о своём пребывании в коммуне и в колхозе.[13]

Через теорию марксизма к знанию российской трагедии XXв.

Занимаясь политикой, я не считал её своим главным делом. Главным для меня всегда было просвещение.

Просвещение тем знаниям, которые открылись мне, и было моим основным занятием и в учебных аудиториях, и в лекциях на предприятиях, и на страницах газет. В 70-80-е годы мне дались те знания, до которых, к глубочайшему сожалению, не могут дойти многие мои коллеги и в 21в. И дело не каких-то моих особых способностях. И не в моём институтском образовании. Оно, кстати, было весьма заурядным.

Моё обучение в Кемеровском пединституте в 1962-1966гг., было, признаюсь, для меня малоинтересным. За исключением, пожалуй, лекций и семинаров Кривошеевой Евгении Антоновны по новейшей истории зарубежных стран. Возможно, поэтому, позднее я стал лектором-международником и в 80-е годы даже возглавил этот сектор в областном обществе «Знание».

Только хорошим запомнились занятия профессоров – Владимира Григорьевича Мирзоева, Анатолия Ивановича Мартынова, Зинаиды Георгиевны Карпенко, доцентов – Юрия Григорьевича Варнакова, Павла Кузьмича Редькина, Татьяны Петровны Костиной, Дмитрия Васильевича Кацюбы, Анатолия Фёдоровича Гоголина, супругов Данковых и др.

Начало прорыва к знаниям у меня состоялось, когда я проходил пятимесячное повышение квалификации в Уральском университете в 1971г. Там были лекции Ивана Пименовича Плотникова, который готовил нас к сдаче кандидатского минимума по истории КПСС. Он читал их без особой оглядки на политическую «правильность» и позволял себе сомневаться в устоявшихся историко-партийных догмах. Привил мне вкус к чтению трудов классиков марксизма-ленинизма, знание которых и привели меня сначала к убеждению, что социализма в СССР не построено, а потом к мысли, что социализм в марксистской интерпретации может быть только таким, каким он есть в СССР, странах Восточной Европы и Азии.

Однако настоящий прорыв у меня произошёл в аспирантуре МГУ, куда я поступил в 1972г. Моя шефиня профессор Елена Дмитриевна Козочкина была большой умницей. Именно благодаря ей мне не пришлось переписывать ни одного параграфа диссертации, чем обычно занимаются аспиранты у других руководителей.

На первом курсе она дала мне странное, как считали мои однокашники, задание. Она заставила меня выявить и законспектировать всё, что писали классики марксизма-ленинизма об управлении народным хозяйством.[14] На это ушло несколько месяцев. А однокашники тем временем уже утвердили план. Затем она заставила меня выписать всё, что по этому вопросу было в решениях партии и правительства. Улетело ещё несколько месяцев. А однокашники тем временем уже работали в архивах и собирали материал. Я знал, что из собранного мною за полгода материала по первоисточникам сгодится для диссертации всего несколько цитат. Раздражался шефиней. Готов был бросить никчёмную, на мой тогдашний взгляд, работу.

Тем более что дома у меня осталась красавица жена и двое детей: Олегу – 7 лет, Наташе – 7 месяцев. Но мой институтский друг, уже опытный в науке Володя Шнейдер, живший тогда в Москве,

сказал, что моя шефиня молодец, но об этом я узнаю лишь через год.

Оказалось, что благодаря этой «ненужной» работе я точно знал – как должно было быть в теории. По архивам же и газетам я узнал, как было в действительности. А потом стало лишь делом техники подогнать полученный материал под требуемый идеологический стандарт. То, что за подгонкой скрывался настоящий исторический материал, заметил на защите мой официальный оппонент из Института истории СССР М.И. Хлусов, указав на эту нетрадиционность для историко-партийной науки моей диссертации.

Шефинина школа по изучению источников даром не пропала. Диссертацию я написал к концу второго года обучения (в аспирантуре их – три) и защитился в срок (единственный из 34 чел. из трёх кафедр истории КПСС МГУ). И однокашников я обогнал на стройности структуры работы. Благодаря чему мне не пришлось ничего переделывать. Не пришлось собирать и дополнительный материал, чем обычно занимаются аспиранты на третьем году обучения. Но главное, благодаря той работе я узнал марксизм и как теорию, и как практику первых десятилетий его применения.

Утверждаю, что многие мои коллеги марксизма не знали и не знают, хотя преподавали его десятилетиями. Они знают лишь те статьи и книги, которые изучали со студентами. Да и то – не творчески, а начётнически и заскорузло. Отсюда их догматизм в понимании советской истории. Я уж не говорю про обывателей. Не могу и я похвастаться полным знанием всех произведений классиков марксизма. Но суть марксизма до меня дошла.

С позиций знания марксизма нет проблем с научной интерпретацией, скажем, массовых репрессий. Репрессии легко объясняются марксистской идеей обострения классовой борьбы и идеей диктатуры пролетариата. Об этом Ленин писал неоднократно, говоря о необходимости и даже неизбежности гражданской войны. Потому она фактически и продолжалась до 1953г., в котором одна часть населения наконец-то перестала убивать другую. Именно на основе марксистской идеи трудовой повинности граждан следует объяснять существование ГУЛАГа, как народно-хозяйственной структуры и иное внеэкономическое принуждение для

$^{4}/_{5}$ граждан СССР. Через марксистскую идею мировой социалистической революции вполне объяснима задача сверхбыстрых темпов индустриализации и её главной ориентации на военно-промышленный комплекс как в 30-е, так и в последующие годы. Зная идею отмирания товарно-денежных отношений при социализме на основе общественной собственности, легко понять сущность колхозов как витрины социализма. И тогда не пришлось бы объяснять их существование будто бы необходимостью накопления средств для индустриализации, как сделали кемеровские историки в «Истории Кузбасса» (2006г.), или, ещё хуже, кулацким террором в «Летописи села Кузбасса» (2001г.).

И никакой демонизации роли личности Сталина и других вождей ВКП(б) в трагической истории 30-х годов не потребовалось бы. Советские руководители были последовательными сторонниками марксизма. Настолько последовательными, что даже в послевоенной работе об экономических проблемах социализма Сталин говорил о прямом продуктообмене между городом и деревней. Пожалуй, единственным пунктом, в котором Сталин и его соратники принципиально отошли от марксизма, был вопрос об отмирании государства. Что и продекларировал Сталин на 19 съезде ВКП(б) в 1939г.

Врать или не врать?

Учась в МГУ, я имел возможность без спешки работать над центральными архивами и материалом периодических изданий. Это дало мне громадное преимущество над теми, кто основывал свои исследования только на местных архивах, бывая в центральных – лишь в кратковременных командировках. Фактически, я катался на машине времени. Зная, что будет впоследствии, я по газетам, архивам и книгам 30-х годов с интересом наблюдал за действиями партработников, журналистов, писателей, хозяйственников. Видел их муравьишкины усилия подольститься к власти. (С тем, чтобы через несколько лет от неё и погибнуть.) Катаюсь на сей машине до сих пор. И в многочисленных дискуссиях чувствую себя уверенно. Такое чувство полного владения ситуацией должно быть знакомо любому спортсмену, играющему против более слабого противника.[15]

В периодической печати меня стали публиковать лишь с 1988г., когда в обществе проявилась большая потребность в правде об истории страны. И самая острая необходимость была в публикациях о событиях 20-30-х годов. Первая моя статья, опубликованная в газете «Кузбасс»[16] под названием «Горе не от ума» не осталась незамеченной. Ещё бы! Люди привыкли с придыханием говорить о советской образовательной системе. А я рассказал о двухтрёхлетней практике подготовки горных инженеров из людей, не имевших даже среднего образования. «Это был штурм, – писал я тогда. – Но не знаний, а – дипломов. От того, что недоучка получал диплом, инженером в действительности он не становился. Его отношение к техническому руководству так и осталось ненаучным, примитивным, обыденным, на уровне здравого смысла. Недостаток научной подготовленности стал нормой. Так формировалась наша многомиллионная армия “вроде инженеров”, “вроде учителей”, “вроде врачей”».

Последняя фраза напрямую касалась меня самого. С высоты полученных к тому времени знаний я понимал ничтожность моей профессиональной подготовки на момент окончания пединститута в 1966г. А ведь я учительствовал, чему-то учил. Прискорбно, но учительская практика такова, что в теоретическом плане слишком многие не растут, а падают по сравнению с институтским уровнем. Проведя опрос 93-х лучших выпускников школ 1994г. о знании советской истории, я писал в статье «Кто бросил грабли?»[17]: «Грустно от того, что студенты приходят из школы с такими же историческими знаниями, какие были у их отцов и дедов. Печально, что мы готовы вернуться в прошлое».

Уже упоминал, что мои статьи всегда попадали в болевые точки. Друзья и коллеги не раз задавали мне вопрос – почему так? Обычно я отшучивался, сам не задумываясь, почему. Сейчас думаю, что дело было в искренности моих намерений изменить неправильно устоявшуюся жизнь страны. В чём она неправильна, я узнал в читальных залах Государственной библиотеки им. Ленина и научных залах трёх центральных и шести областных архивов страны. Там я увидел, как в действительности всё происходило в 30-е годы, и как об этом потом лживо писали историки. Проведя документальное расследование по архивным материалам и

газетным публикациям, ещё в 70-е годы установил обман со стахановскими рекордами, которыми был заворожен ещё со школы. Оказалось, что целая бригада из 11-15 человек работала на одного рекордсмена.

Зная, что моя мать в 10-12-летнем возрасте едва не умерла в Прокопьевске от голода в 1931г., я искал его причины. Меня поразило, что ни в архивных документах, ни в газетных публикациях слова «голод» мне ни разу не встретилось. Но я-то точно знал, что голод был. Причины его установил в 1980г. по статистическим справочникам, увидев рост вывоза хлеба за границу.[18] Поразили цифры падения производства мяса и др. в связи с коллективизацией.

Вошёл в азарт. Установил, что в 1926г. реальная зарплата составляла 88,3% от уровня 1913г., а потом она падала. Видел, как в условиях карточной системы и нищенской зарплаты из семьи вытащили мать на производство. Всё, или почти всё, о чём стали робко писать в годы перестройки, я увидел в архивах собственными глазами гораздо раньше. Меня не могла сбить с толку истерика моих коллег и особенно партийных работников о «предательстве перевёртышами» идеалов Октября, о чём стали писать с конца 80-х годов замшелые идеологи, среди которых многие имели учёные звания.

Написал, что именно знания сделали мои статьи интересными для людей. И остановился. Неужели, думаю, скажем, мой коллега историк профессор Н.П. Шуранов знает меньше меня? Не меньше. Уверен, много больше. Уверен в его мудрости и отношусь лично к нему с большой симпатией. Но не к тому, что он пишет. Конечно, были и такие историки, что меньше знали. К примеру, – покойный профессор N.[19] Отрицательно рецензируя диплом моей дочери о падении жизненного уровня кузбассовцев в 30-х годах, полагаю, именно из-за собственного незнания истории он искренне писал: «В 1929-1937гг. масса, народ, сам установил (принял идею и воплотил её на практике) моральные законы коллективизма, и не нищенского (как пишут исторические спекулянты) а достаточно сытого, процветающего».[20] Если бы профессор видел архивные документы в сопоставлении с газетными публикациями тех лет, то ему бы хватило честности признать гигантскую ложь

знаменитого сталинского изречения 1937г.: «Жить стало лучше, жизнь стала веселее». Кстати, на процедуре защиты диплома об этом фактически и говорил профессор Г.Г. Халиулин, заявив, что ему лично приходилось изучать документы 20-30-х годов, которые подтверждают вывод студентки о падении, а не подъеме жизненного уровня народа.[21]

Если бы такое писал профессор, скажем, в 1984г., было бы как-то оправдано давлением КПСС. Но эта рецензия писалась в 1994г., когда цензуры давно уже не было. Только человек с недостаточными историческими знаниями мог писать о 30-х годах как «сытых» и «процветающих».

Учёные Кемеровского госуниверситета (научная школа профессора Н.П. Шуранова) и в 21в. продолжают штамповать работы с таким выводом. Недавно моя кафедра как ведущая организация давала отзыв на докторскую диссертацию М.В. Казьминой. Не без изумления читал о повышении жизненного уровня трудящихся к концу 30-х годов. Внешне это как будто бы и так: отменена карточная система, повысилась зарплата (особенно у стахановцев), благоустраивались города и пр. С обыденной позиции и Сталин высказал это в виде утверждения, что жить стало лучше, жизнь стала веселее.

Но с позиции теории прибавочной стоимости Маркса просматривается наступление советского государства на интересы трудящихся, усиление их эксплуатации. В 30-е гг. произошло фактическое увеличение рабочего дня рабочего и колхозника в связи с их обслуживанием своего личного подсобного хозяйства. За необходимое время работник не создавал стоимости, эквивалентной потребностям его семьи, так как в советском рабочем дне прибавочное время составляло львиную долю. А у колхозника практически весь рабочий день состоял из прибавочного времени. Потому – и личное хозяйство, потому – и втягивание жены на производство, потому – и сокращение свободного времени, используемого для отдыха, культуры, образования. Это, во-первых. Во-вторых, – повышение жизненного уровня по сравнению с каким годом? Если с предголодным 1930г., то тогда на обыденном уровне это как-то можно принять. Но если сравнивать с царским 1913г., то вывод о повышении уровня

жизни рабочих и особенно крестьян (тем более Сибири) становится крайне неубедительным.

Рискуя в глазах таких учёных выглядеть «историческим спекулянтом», приведу пример из жизни моей матери Александры Ивановны Зориной (в девичестве), вступившей в 30-е «сытые» годы подростком.

Она родилась в 1919г. Примерно в 11-летнем возрасте её бросила мать, посчитавшая невозможным выжить в начинающееся голодное время с двумя детьми и старой матерью. Живя вдвоем с бабушкой, девочка едва не погибла от голода. Но ещё большая опасность умереть от голода была у бабушки, которая не съедала свой паёк, полученный по «иждивенческой» карточке, надеясь таким образом подкормить вечно голодную растущую внучку. В 12-летнем возрасте моя будущая мать устроилась пасти свиней в подсобное хозяйство прокопьевской шахты «Зиминка». Из-за того, что колхозы не обеспечивали страну продовольствием, в то время на промышленных предприятиях стали создаваться «сельскохозяйственные цеха», где выращивались овощи, содержался скот для самопрокорма рабочих.

Когда закончилось лето 1931г. (или 1932г.), в подсобном хозяйстве забили свиней. Всех рабочих уволили. Оставили только членов профсоюза. Каково было удивление матери, когда она, двенадцатилетняя, вдруг оказалась членом профсоюза. Выяснилось, что парторг шахты (Григорий Зорин), зная об их с бабушкой катастрофическом положении, приказал выписать ей профсоюзный билет, произвольно прибавив 4 года возраста (она была рослой девочкой и сошла за 16-летнюю).

Об этом парторге (он был родственником по материнской линии) мать всегда рассказывала нам как о своём и бабушкином спасителе. Однажды, рассказывала она, парторг увидел, как свинарки, сберегая продовольственный паек для своих домашних, ели из корыт, расталкивая свиней. Он дал денег и сказал, чтобы они купили посуду и себе варили отдельно от свиней. Предупредил, что если они вынесут за пределы свинарника хоть одну картошечку, то получат три года тюрьмы. Но если они кому-то расскажут о приказе парторга варить себе отдельно и не есть со свиньями, тогда ему дадут лет десять, а то и расстреляют.

В тот год (1932г.) вышел закон о борьбе с хищениями социалистической собственности. В народе его называли «законом о горсте гороха», «законом о колосках». За колосок, поднятый на поле после уборки урожая – суд. За горсть гороха в кармане фартука – суд. Колхозники нашли способ обмануть закон: осенью они старались либо плохо убрать картошку, либо сделать «схороны», чтобы весной мёрзлую картошку уже безбоязненно собрать. За зиму картошка полусгнивала. И из этого месива пекли оладьи, которые за их специфический вкус народ ещё до войны прозвал тошнотиками. Как показали специальные опросы около 1000 очевидцев тех лет, такое было не только в достаточно бедных областях центральной России, но и в изобильной Сибири.

В ходе исследования родословной я встретился со своей теткой Клавдией Дементьевной Алейниковой (1911г. рождения). Она рассказывала: «В Прокопьевск наша семья приехала из Алтая. Мы бежали от коллективизации. Мы не были богачами и жили как все». Но на вопрос: «Сколько же у вас было лошадей и коров?», она ответила совершенно непонятно для тех, кто не знает о доколхозной изобильной Сибири: «Да кто же у нас их считал?». При подсчёте всё-таки выяснилось, что коров было «не то 16, не то 18». Подобную информацию можно встретить и в печати. Самый главный коммунистический журнал «Большевик» в 1927г. привёл слова сибирского крестьянина Корнея Гнидова, который говорил: «До войны у нас было по 10-15 коров у плохого хозяина, а теперь 2-3 – у хорошего. До войны Сибирь вывозила за границу 4 млн. пудов зерна. Теперь нечего вывозить».[22]

Казалось бы, не стоило столь много уделять внимание научной неосведомлённости отдельного профессора. Однако в этом эпизоде отразился весь «научный» мир советских историков. Этот мир, похоже, мало чем изменился и в 2000-е годы.

Скрывая правду от себя и других о трагедии России в 20в., историки не выполнили перед современниками своих профессиональных обязанностей. Они не исполнили своего гражданского долга, воспитывая в заблуждении своих учеников и студентов, обрекая тем самым и новое поколение на историческое невежество и ложь. Мои 17-18-летние студенты гораздо менее, чем их ровесники в 60-е годы (то есть, – мы), ориентированы на ложь,

как привычную повседневность. Это можно было отчетливо понять по их реакции на одну из моих статей четырёхлетней давности[23], с которой я их ознакомил в декабре 2006г.

В той январской статье по просьбе редакции газеты «Край» я излагал свою концепцию отечественной истории XXв. И потребовалась она мне в качестве учебного материала на итоговом занятии со студентами. Однако вместо обсуждения сюжетов истории студенты стали заинтересованно обсуждать тезис А.И. Солженицына «жить не во лжи». Их очень взбудоражил практический аспект жизни по норме «не врать», изложенный в статье: «*Родителям* не врать детям в том, что материальная нищета в их семье происходит из-за будто бы демократов, Гайдара-Ельцина. Сознаться, что в молодости родитель предпочитал пить-гулять, не утруждая себя получением добротного образования. Признаться, что и в зрелые годы любит за бутылочкой пива-водки искать виноватых вместо того, чтобы, пробуя то одно, то другое дело, наконец-то найти себя и обеспечить семье достойное существование.

Учительницам не врать, скажем, про вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз как будто бы первопричину колоссальнейших жертв советского народа. Сознаться, что СССР вступил во Вторую мировую войну в 1939г. на стороне фашисткой Германии, провёл согласованные с Германией военные действия в Польше, Финляндии, Прибалтике и пр., а потом союзник Гитлер перехитрил союзника Сталина.

"Новым русским" не врать, что его крутой автомобиль, роскошная квартира и дача на Майами результат только его интеллектуального менеджмента. Сознаться (или хотя бы осознать), что в основе его богатства, согласно научной теории прибавочной стоимости, лежит неоплаченный труд работника, что долг бизнесмена вернуть обществу часть этого труда в виде пожертвований на больницу, выпуск книги, стипендию талантливому музыканту и пр. Так делали русские купцы, чем и остались памятны в истории.

Руководителям государственных энергетических, транспортных кампаний, ЖКХ и пр. не врать, что рост цен на их услуги вызван только технологической модернизацией. Сознаться, что

высокие цены нужны для того, чтобы обеспечить им вызывающе нескромные зарплаты, “мерседесы”, дорогущие офисы. Это же сколько пенсионеров надо обобрать в виде платы за свет, чтобы обеспечить зарплату одному только Чубайсу (по его признанию – 300 тыс. долларов в год)! Неужели труд ему подобных в тысячу раз полезнее обществу, чем труд, скажем, врача, не получающего и 3 тыс. долларов в год!

Политикам не врать, что, проголосовав за них самих или за их партии, люди уже завтра получат процветающее общество. Сознаться, что путь к такому обществу лежит только через упорный труд, энергичную деятельность самих людей, а политик лишь может им помочь или помешать в этом…».

Таков был мой перечень повседневной лжи, с которой мы свыклись, не замечая её.

А студенты её неожиданно выделили из всего текста статьи. Заинтересовавшись такой неожиданной для меня реакцией, я попросил студентов ознакомить с этой полузабытой статьей своих родителей и пересказать их мнение. Мне было важно знать, что думают 40-50-летние люди о практике всеобщего вранья. Ожидал услышать и осуждение в свой адрес. Ведь я говорил и о родительской лжи. Но опять случилось неожиданное. Словно сговорившись, студенты говорили, со слов родителей, о смелости автора.

Про оценку своих статей с позиции авторской смелости я успел прочно забыть ещё где-то в 1990г., когда у меня пропал страх перед властью. В 90-е годы никому и в голову не приходило говорить о смелости. Была демократия. Поскольку люди вновь заговорили о смелости автора в высказывании своих мыслей, постольку это можно интерпретировать как реакцию общества на качественное изменение внутриполитической жизни.

Собирая в 90-е годы рассказы очевидцев коллективизации, мы с дочерью меж собой посмеивались над опасениями почтенных стариков за правду, рассказанную нам о пережитой трагедии. Испытав «на своей шкуре» все подлости советской власти (убийство близких, грабеж, налоги, хамство, враньё, цинизм), старики смотрели на свободу слова 90-х годов как на временное явление…

Продолжение следует…

Сибирь - Казахстан